

СОВРЕМЕННЫЕ
ПОЛЬСКИЕ
ПОВЕСТИ

II



БИБЛИОТЕКА ПОЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Ю. Н. ВЕРЧЕНКО
В. Ф. ГРИНЕНКО
В. С. СТОЛБОВ
МАКСИМ ТАНК
Н. С. ТИХОНОВ
Ю. В. ТОРСУЕВ
В. А. ХОРЕВ
Е. Э. ЦЫБЕНКО



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1974

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЬСКИЕ ПОВЕСТИ

В ДВУХ
ТОМАХ

II

Перевод с польского



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1974

**И(Польск)
С56**

**Составители
В. Борисов и В. Хорев
Справки об авторах В. Хорева**

**Оформление художника
В. Медведева**

**© Издательство
«Художественная литература», 1974 г.**

С $\frac{70304-166}{028(01)-74}$ 152-74

СОВРЕМЕННЫЕ
ПОЛЬСКИЕ
ПОВЕСТИ

ТЕТКА

I

Она просто не замечала меня. Впрочем, так же мгновенно лишалась она зрения при виде любого члена семейства Зарембов, с которым неожиданно-негданно в один из зимних вечеров породнился ее брат, более того — наследник. Тогда я и увидел впервые бачевскую помещицу. Четырнадцатилетний мальчишка, я, стоя у занесенной снегом калитки нашего дома (позже его окрестили усадьбой), напряженно всматривался в даль — туда, где обычно, если воздух был чист и прозрачен, торчала башенка деревянной часовни и откуда должны были вот-вот появиться сани, везущие соединенных священными узами сестру мою и ее бари́на-мужа.

Об этом барстве любил распространяться мой отец. Ради него он и велел потом с таким почтеньем выражаться о нашем старом доме, ради него расшвырял далеко от сада весь навоз, горой возвышавшийся — как обычно в деревне — у стены хлева, и тщательно покрасил дощатую стену, чтоб и следов никаких не осталось. Тогда же мы перестали сажать мальвы под окнами. Хотя цветы эти исконно польские, — рассуждал отец, доказывая матери необходимость такой меры, — и даже зятю вполне приличествуют, ведь он по окончании войны наверняка в уланы пойдет, однако уж очень они простецкие.

Увы, розы, доставленные за пару откормленных гусей из далекой Прирейнской области, не пожелали обвить потемневший сруб нашей избы, а после первой же зимы — у нас называли ее русской — их веточки вконец почернели. Когда весной мы спяли с роз соломенные прикрытия, которые должны были охранить их от лютой, исключительно для немецких войск предназначенной, зимы, то уж нечего было и мечтать о зеленых листочках. Пришлось, пережив утрату двух подаренных фельдфебелю с Рейна гусей, остаться при мальвах да при «усадебке» — название это подтвердилось лишь старыми бумагами, которые отец выгреб с чердака.

Нет, бумаги те не были фальшивыми. Мать моя, тоже умиравшая после «русской зимы», не пережившая трудный год кары божьей, родом была из мелкой шляхты. Есть ли еще шляхетские усадебки в Подлясье? Дома там ставят не как в обычной деревне, а поодаль от дороги. И всегда, словно ограждая их от придорожной пыли (в голубой цвет, как в деревне, дома там не красят), у въезда высятся ворота, а за ними — садовая аллея. В шляхетских деревнях принято также сажать лиственницы — мода, крестьянским дворам неведомая.

У нас лиственницы тоже не прижились. Когда, уже настолько повзрослевший, чтоб осознать, более того, возненавидеть смехотворную амбицию отца, я с удовольствием наблюдал, как зеленые спервоначалу саженцы этих нежных деревцев еще быстрее, чем прирейнские розы, желтеют, ржавеют, а потом приобретают цвет, смердящий гнилью, — садовые неудачи отца воедино связывались в моем сознании с прочими невзгодами нашего семейства, судорожно цеплявшегося за поношенное шляхетство моей матери.

И если б я тогда имел право голоса, — увы, такие, как я, этого права не имели в нашем оседавшем в песок доме, если б не уверенность, что во время обильного застолья, когда отец, угощая соседей по случаю убоя свиней, перед тем как подать последнюю бутылку вишневки (самогона у нас не пили), переходил от разговоров о деньгах к бредням о шляхетстве и лекциям о гербах, так вот, если б не уверенность, что никто за тем столом и внимания не обратит на мои

слова, — я б не преминул напомнить ему семинарские, а если грубее — поповские его штучки. Почему — трудно сказать, но все худшее, что в нем есть, все самое отвратительное восходит еще к тем временам, когда он продавливал благочестивыми своими коленями скамеечки для моления в часовне.

То, как он поджимал губы, широта его жестов — все изобличало в нем несостоявшегося ксендза. Словно бы преданная им некогда в порыве слишком поспешной отваги духовная семинария с ее ледяной атмосферой, семинария, обучающая человека необходимости притворного смирения, настигла его тут, мстя за давнее непослушание приступом смешившего всех нас, почти ребяческого в своей безграничной наивности высокомерия.

Впрочем, даже тогда, решившись прервать так превосходно начатую в марианском братстве карьеру, он не отважился смело броситься прямо в бурные волны, — как он выразился, — сплетен, травли и досужих вымыслов. Пожелав плыть, он, однако, выбрал безопасный пруд, где легко можно достать ногами, коснуться пальцами спасительно близкого дна.

Так мать моя стала униатской попадьей. Мне она никогда не говорила, зачем согласилась на это. В беседах наших, — обычно мы вели их вечерами, оба больные и одинокие в этом душном доме, — мы деликатно обходили все, что могло бы напомнить тот день, когда насмерть перепуганный собственной независимостью, уже опомнившийся, — вернее, пожалуй, не определишь чувство его растущего страха перед местью костела, — отец узнал, а может, предусмотрел, какие заботы выпадут на долю нового старосты местечка, расположенного на границе Волыни и полесских болот, уже собирающегося в дальний путь, чтобы занять свою должность. А если я, возбужденный, отупевший от постоянных скачков температуры, забывался настолько, что отваживался задать матери вопрос: «Как ты могла смириться с такой внезапной переменой в образе жизни близкого человека?» — она, снова обходя эту опасную мель в лениво текущем потоке наших вечерних бесед, односложно отвечала: «Да ведь и десяти лет это не длилось».

«Выходит, она все еще любит его, — думал я. — А может, он вовсе не такой, каким мне представляется?» И, даже обрадованный тактичностью матери, я никогда больше не выспрашивал ее о жизни отца на полесско-волынском пограничье. Впрочем, все достойное внимания я и так знал. Достаточно было заглянуть в скрываемый со времен увлечения шляхетством толстый альбом фотографий. На них рядом с благодетелем — старостой, разрешившим женатому человеку выполнять обязанности священника, восседал мой отец — бородатый, с большим крестом в складках сутаны на животе.

— Только и требовалось бороду отрастить. А так — все то же самое — и служба, и верность тому же папе. Борода, только борода, рост у меня, к счастью, вполне белорусский оказался, — посмеивался отец, описывая широкую дугу вокруг своих чисто выбритых теперь щек.

Итак, он был белорусом, верным Польше и папе Римскому. Перед старостой маленького местечка, гниющего от подступивших к самым домам болот, несомненно открывалась блистательная карьера. Уже сама фигура его, облаченная в сероватую, ни дать ни взять легионерскую куртку, наклон головы — вылитый Пилсудский, — все это, конечно же, предопределяло, что его место не рядом с избежавшими неприятностей попами и не с тупым капитаном местного пехотного отряда, а в канцеляриях высочайших государственных учреждений. Воскресить униатские традиции. Припомнить все наиблагороднейшее, что было в религиозном движении сопротивления стоявших на болотах деревенок и обратить это на пользу своей карьере — до чего же соответствовала этим устремлениям фигура моего окладистобородого родителя: и свойский-то он, и здешний, и старосте предан, и Варшаве.

— Многие приходили ко мне без всякого принуждения, — заверял отец. — Это очень поощрялось, к тому же я убеждал их, что они нисколько не отступают от своей веры. Я даже любил их, — он обдал меня сладким запахом домашней наливки, — этих тихих людей, пчел... болота...

— И комаров тоже? — спросил я без всякого, впрочем, намерения съязвить, и единственный, пожалуй, за всю мою жизнь разговор о тех временах завершился звонкой пощечиной.

* * *

Дозволенный этап отцовских деяний начинается от памятного сентября, когда он, не имея, правда, понятия, как выглядит немецкий солдат, но зато прекрасно сознавая, что грозит ему, если подтвердится весть о переходе немцами восточной границы, вслед за своим опекуном удрал на запад — все равно куда, лишь бы на запад.

Потом пришло время возненавидеть немцев, позабыв при этом, как выглядела первая радостная встреча. А выглядела она так: пробираясь на груженной телеге окольными путями от перелеска, отец вдруг осадил лошадь перед замаскированным немецким мотоциклом. Я даже допускаю, что радость, искренняя радость при виде (уже знакомого по сентябрьским радиопередачам) сукна цвета *feldgrau*¹ спасла ему жизнь, зависящую от мановения пальца обрадованных неожиданным развлечением солдат.

Кто знает, не тогда ли мать моя подумала о нем то, что позже я прочел — написанное мелкими буквами — на полях ее молитвенника. За цветной картинкой, вложенной между литанией всем святым и утренними молитвами, рукою лежащей теперь в могиле женщины было написано: «О боже, зачем ты дал мне в мужа паяца».

И хотя мне памятны многие сцены, достойные такой именно реакции, я твердо уверен, что слова эти написаны во время первой молитвы в нашем новом доме. Потому что, насколько я помню, во время войны она не пользовалась этим служебником. Лишь случай, распоряжение Тетки — она решила все же приехать на похороны и возглавила батальон плакальщиц, оккупировавших большую комнату нашего дома, — приказ ее, который вытащил меня из моего убежища на чердаке и бросил на поиски «чего-нибудь

¹ Защитный (нем.).

такого, что не стыдно было бы вложить в руки покойнице», позволил свершиться этому открытию. За притворенной дверью большой комнаты шумели, сливаясь в один бормочущий поток, ручейки литании по умершим; между одним «вечный покой дай ей, боже», и другим, слыша, как клянут порядки в доме, где и громницы не сыщешь, и невзирая на опасность быть захваченным врасплох, я раз за разом повторял написанную на полях фразу о моем отце.

За этим занятием и застала меня Тетка. Еще прежде чем она притворила за собой дверь, я уже знал: сейчас она вырвет у меня из рук книжечку в черном переплете и увидит то, что я предпочел бы скрыть от ее пронизательного взгляда. И потому на вопрос — что там у тебя — я послушно протянул ей раскрытый молитвенник.

— О, выходит, она была не столь уж глупа, — произнесла Тетка и, словно только сейчас заметив мою особу, сказала: — Ну, беги, беги на свой чердак. — И добавила сама себе: — Этот молитвенник должен с ней в землю уйти.

На чердаке, среди легкой паутины и шороха мышей, обитающих в залежах старого хлама, я стал припоминать нашу первую встречу с немцами. Да, мать, без сомнения, ее имела в виду, вынося приговор своему супружеству в маленьком молитвеннике. Я вызывал в памяти каждый шаг отца, каждый радостный его поклон — он извертелся весь перед неподвижно стоявшими солдатами, опасаясь, как бы его поклоны не расценили как попытку к бегству, разводил руками — пусто, мол, оружия нет. Сутана, несколькими взмахами ножниц наспех перекроенная в длиннополый сюртук и застегивающаяся, как у ксендза, на стайку маленьких пуговичек, морщилась на его потной спине; а ниже виднелись штаны — потешные штаны бывшего попа, верхняя их часть из зеленоватого в рыжую полоску (под сутаной не заметно) куска еврейского сукна... Наконец, решившись более явно продемонстрировать свое смирение, отец вдруг с отчаянием прыгнул прямо в автоматную пасть.

Этот внезапный прилив храбрости мог стоять ему жизни — один из солдат отпрянул, вскинув кверху дуло, но отец уже припал к руке старшего по чину

среди тройки мотоциклистов (не знаю уж, как ему удалось разобраться тогда в немецких знаках различия) и, смиренно целуя ее, захныкал: «Ich in Russe kranken, nicht Kommuniste, nicht»¹, описывая уже знакомым мне жестом дугу у выбритого своего подбородка — впрочем, теперь это означало всего лишь, что там, «in Wolynien, Polesien», он бежал прямо из петли палача.

Впрочем, своего он добился. Уже через два дня после этих памятных событий, окончательно подорвавших наивную веру моей матери если не в благородство, то уж, во всяком случае, в смелость человека, называвшегося ее мужем, мы получили во владение новое хозяйство в Мазовше.

Теперь можно было и патриотом стать. Спустя два месяца после получения «отчины» — так назывался наш дом до того, как его нарекли усадьбой, — отец мой начал собирать жителей деревни на польские богослужения. В конце одной такой службы он даже решился затянуть известную и популярную в то время молитву к всевышнему, прося его удостоить эту страну милостивого своего благословения. Несмотря на подобные религиозные манифестации, нам сурово было запрещено даже заикаться кому бы то ни было о папашинем белорусско-церковном прошлом. Да, он был там, служил, но право рассказывать о той роли, какую вынужден был играть на далеких болотах и песках, оставлял только за собой.

Итак, он не был трусом. После смерти деда, когда «отчина» полностью перешла в его собственность, в доме нашем нередко находили ночлег люди, говорившие вовсе не с мазовецким, а с иным, городским акцентом. Они во время кратких своих визитов сумели убедить отца в том, что высокие сапоги, которые он до сих пор презирал, считая неотъемлемой принадлежностью крестьянина, есть признак барского происхождения.

В нашей кладовой теперь время от времени появлялись французские консервы, добытые с направляющихся на восток немецких транспортов. За домом, вблизи хлева и навозной кучи, был выкопан глубокий ров,

¹ «Я в России болел, не коммунист, нет» (искаж. нем.).

потайным ходом соединенный с овином. На случай, если бы внезапно нагрянули немцы. К счастью, отцу не пришлось воспользоваться этим рвом. Единственный, кто укрывался там в течение двух ночей, когда кружили слухи, что патрули якобы прочесывают окрестные леса, был будущий муж моей сестры.

Мне он нравился, хотя именно в его честь перекрестили наш старый дом и есть мы стали в большой комнате. Кто знает, возможно, мы с мамой, догорающей уже тогда от чахотки, больше любили его, чем его будущая жена (не упуская случая напомнить, что ей всего года не хватило до аттестата зрелости, «и, кабы не эта война и не ужасная оккупация, быть бы ей сейчас секретаршей воеводы»), девица, ловко запоминавшая ультрапатриотические цитаты из Мицкевича или Словацкого, чтобы вернуть их в разговорах на высокие темы.

Теперь я думаю, что наша к нему симпатия была основана на уверенности, что как мы не имеем ничего общего с теми, кто управляет нашей «усадебкой», так и он чувствовал себя чужим в своем доме, который держала в «ротмистровских», как он выражался, руках его старшая сестра.

Кроме чувства симпатии, память моя мало что сохранила о нем. Я даже не могу явственно припомнить тогдашние его движения, манеру поведения. Фотографии, которыми густо увешаны стены Теткиного кабинета, не имеют ничего общего с юношей, который бывал в нашем доме. На этих фотографиях он словно бы преобразился под ее упорным взглядом в благовоспитанного, немного меланхоличного, золотоволосого барчука. Словно мифом были все его дела и все принятые им решения, начиная от венчания с моей сестрой, — ведь он прекрасно понимал, что оберегающая чистоту генеалогического древа бачевская помещица сделает все, чтобы не допустить до свадьбы, — и кончая главным в его жизни решением, которое он несколько лет спустя вынужден был принять под дулами винтовок во время единственного, пожалуй, в стране, весьма странного раздела помещичьей земли, какой имел место в Бачеве.

Вот так. Бачевская помещица не намерена была мириться с крестьянскими, или — как их называли в

гостиной, вспоминая наиболее оригинальные подвиги предков, — с «хамскими склонностями» своего брата. Уж если, по ее собственному утверждению, она решилась нести на себе тяжкий крест стародевичества, то не ради того, чтобы земля, помещичья земля, искони им принадлежавшая, пошла под крестьянский лемех. Такой вот, проклинаящей хамов, я и увидел Тетку впервые, когда в санях с неподкованными полозьями, да к тому же по иронии судьбы деревенских, она мчалась по припорошенной снегом дороге к часовне.

Сперва, немного уже озябший от стояния у калитки, я услышал нежный перезвон колокольцев, возвещающий о скором прибытии свадебного кортежа. Заглядевшись в ту сторону, откуда вот-вот должны были вынырнуть из молочно-белой пелены пышущие паром кони, я чуть не попал под копыта ошалевших от ударов кнута Теткиных рысаков. В последнюю минуту кучер, уже не видя, а лишь чуя опасность, резко осадил коней; маленькие, неприспособленные к такому галопу крестьянские санки заскребли неподкованными полозьями, накренились, — я мог бы поклясться, что услышал басовитый Теткин голос: «Под пах стегани их, Константы, под пах», — и, взметая комья мерзлой земли, исчезли в снежной белизне, там, где я высматривал свадебный кортеж.

Не понимая еще, что случилось, чем вызван этот внезапный галоп, я поднялся и, встав на корточки у вырытой полозьями колеи, подивился ее глубине — сквозь рассеченный полозьями лед виднелись смерзшиеся пласты ноябрьской грязи.

II

Тетка, возлежавшая на старой софе в Охотничьем Домике — единственном уцелевшем от артиллерийских снарядов свидетеле давнего великолепия Бачева, — снова напоминала ту женщину, которую я увидел спустя полчаса после бешеного галопа.

Еще не успев доехать до деревянного домика станции Бачев, я уже знал, почему усадьбе грозит «опасность». О том, что стряслось несколько дней назад

в приусадебном парке, было уже широко известно. Меня даже удивило, что этим до сих пор не заинтересовались «соответствующие инстанции». Впрочем, это лишь доказывало, какое магическое влияние имела Тетка на представителей местных властей. С того года, верней, с той минуты, когда она заняла и отремонтировала заброшенный Охотничий Домик и, превращая его в подобие особняка, стала возрождать значение бачевской усадьбы, минуло уже много времени, богатого разного рода процессами и травлей, но каждый раз победа оставалась за Теткой.

Она сумела покорить враждебную ей власть мнимой уступчивостью, скрупулезным выполнением всяческих возложенных на нее обязанностей. И теперь снова, после десяти с лишним лет незаметного существования, могла позволить себе подъехать к костелу в двуконном открытом экипаже, и во время богослужения опуститься на колени у почетной скамьи, которую все обходили стороной. Многочисленные выигранные ею процессы в конце концов убедили ее ненавистников (а во всей округе не нашлось бы, пожалуй, никого, кто симпатизировал бы Охотничьему Домику), что становиться помещице поперек дороги не стоит. Потому и удалось Тетке спокойно выкопать яму в приусадебном парке и среди бела дня добыть оттуда окованный дубовый сундук. Раз помещица копает среди бела дня, значит, закон, хоть вроде бы ей и противодействующий, все же, как обычно, на ее стороне. Добиться своего можно только силой.

— Понимаешь, вошли без спроса. Не стали дожидаться, пока я приглашу их сесть. — Тетка, с трудом приподнявшись на кушетке, показала на пол, словно там еще виднелось грязное клеймо, черный, как бы выжженный подкованным мужицким сапогом след, оскорбляющий усадьбу и память всего рода Бачевских.

Я понимающе кивнул головой. Как-никак упорство этой старой женщины, несмотря на всю его бессмысленность, заслуживало крупницы уважения.

Итак, она была захвачена врасплох неожиданным громким топотом сапог в гостиной. Но то, что они сочли своей победой — «пани помещица с перепугу

нас ужином угостила», — свидетельствовало лишь о Теткином самообладании.

— Я сказала им, что сейчас велю чаю подать. Понимаешь, — зашлась она сухим кашлем, — мне как-то неясно было, не захотят ли они силой открыть ларь. Он вот тут стоял, — она показала на угол между софой и часами, — мы даже не успели его ковриком прикрыть. Но пусть бы только попробовали, — она подняла кверху старческий кулак, — уж я бы им показала, где раки зимуют.

И чай был выдуман для того лишь, чтобы, выбежав на кухню, вытащить из буфета спрятанный там под полотенцами старый, уже знакомый мне короткоствольный пистолет. Всякий раз, когда Бачеву грозила опасность, Тетка рылась в пропитанном ароматом яблок белье, а потом, взведя курок, перекладывала эту музейную, но еще способную ранить древность куда-нибудь поближе, чтобы «под рукой был».

Пользование пистолетом и даже одно намерение им воспользоваться всегда кончалось одинаково: апоплексическим ударом. Так было и в тот раз, когда она впервые решилась с оружием в руках встать между своим братом и его будущей женой. В дом наш ее привезли уже без сознания, с посиневшим, как у утопленника, лицом. Словно наказанная богом за свою гордыню, она вынуждена была оставаться в ненавистном ей доме до самого конца весны. Вызванные братом врачи со всех сторон простукивали ее и твердили в один голос: любая попытка сдвинуть с места это медленно возвращающееся к жизни тело может кончиться полным параличом.

Сидя у ее постели и отвечая на несложные вопросы, которые она задавала мне, — то ли чтоб услышать хоть какой-нибудь ответ, то ли прощупывая, насколько я понятлив, — я не раз вспоминал сцену, когда ошалелые сани остановились у часовни, а она с заряженным пистолетом в руке ворвалась через боковые двери вовнутрь и тут же, не успев сделать и шага, крикнула, встав над коленопреклоненной парой:

— Не позволю! Отменяю венчанье. Развод немедленно.

— В римско-католической религии нет разводов, — загремело с амвона, и тут только бачевская помещица заметила, что обряд венчанья свершает приходский ксендз того костела, где с незапамятных времен стояла почетная скамья ее предков.

— А вас, ксендз, что сюда принесло? — крикнула она и вот тут-то, как потом рассказывали, шагнула вперед и нацелилась из мушкета прямо в ксендза, заслонившего собою ковчег со святыми дарами.

Узнав поближе ксендза Станиславского, я твердо понял, что он ни под каким видом не отказался бы от только что свершенного им обряда. Добродушный, с животом, как бы созданным для неустанных сборов пожертвований, он всем своим тучным телом загородил маленький алтарь, оставшийся в нашей часовенке со времени сентябрьской кампании, когда здесь два дня квартировал конный артиллерийский полк. Молодые так и застыли на коленях. И в ту секунду, когда, казалось, лишь гром выстрела может прервать зловещую неподвижность этой сцены, у главного входа раздался вдруг крик:

— Она осквернит костел!

Старый костельный сторож, спотыкаясь второпях, схватил судорожно вытянутую руку помещицы.

— Немедленно брось оружие, Эмилька, — крикнул, придя в себя жених. Но Тетка, костенея от наплыва злости, не обращая внимания ни на сторожа, дергающего ее за руку, ни на окрик брата, кричала так, словно они с ксендзом договорились встретиться в этой часовне, чтобы свести наконец старые счеты:

— Ваше место, ксендз, в Бачеве. Я обеспечиваю эту вашу римскую независимость...

— Но позвольте, сударыня, — пытался утихомирить ее толстяк, навалившись на алтарь, — это как-никак дом божий...

— Я соержу дом божий. Я, бачевская помещица. И я не позволю, — тут голос Тетки перешел в шепот, — не позволю Бачевскому брать в жены первую встречную.

— Она из гербовых, — вскинулся вдруг мой отец. — Шляхтянка... в своей усадьбе... — ненависть к этой женщине, обнажающей позор его «хамского происхождения» (с трудом скрытый мелкопоместным

шляхетством жены), не позволила ему даже закончить любимую поговорку¹.

— Видали мы таких гербовых, у нас их сотни в услужении, — отрезала Тетка, и тут ксендз Станиславский как раз и произнес то, что мгновенно вызвало у Тетки апоплексический удар.

Сперва, с трудом выудив у костельного сторожа, что там сказано было «о гербе Бачевских, о Ястшембце каком-то подпорченном, с пятнышком», я подумал было, что сторож присочинил — с него станется. И лишь спустя несколько лет понял, почему один лишь намек на сомнительность происхождения потряс Тетку больше, чем вид коленопреклоненного, идущего под венец брата.

Впрочем, объяснила мне это сама бачевская бабыня. И присовокупила фантастическую историю о королевском происхождении одного из внебрачных сыновей какого-то старосты, жившего в восемнадцатом веке. Но от моей беспощадной мальчишеской проницательности не мог укрыться сам факт незаконного происхождения основателей Теткиного рода.

— А ведь таким вот побочным сыновьям тогда давались гербы с пятнышком, — изрек я, выслушав эту путаную историю, и тут впервые услышал от нее, что «натура у меня все же хамская».

Впрочем, случай этот не нарушил нашей растущей симпатии. Напротив, словно бы укрепил ее. Тетка постепенно смирилась со своей участью. Лицо ее уже не было таким кошмарно синим, как в тот день, когда ее мигом доставили к нам — к ближайшим родственникам, ведь мы вопреки ее воле все же породнились. Постепенно приходя в сознание, Тетка внимательно разглядывала нашу темную мебель. Два дня она прикидывалась, что дар речи еще не вернулся к ней. (Я подсмотрел, как, уверенная в том, что ее никто не видит, она шептала какие-то молитвы.) Вероятно, ей хотелось под прикрытием болезни спокойно обдумать столь противоестественную для нее ситуацию.

Мы знакомились все ближе. На седьмой день после происшествия мать моя, вероятно, рассчитывая, что

¹ «В своей усадьбе и шляхтич — воевода».

я, калека, грустным своим видом вызову в парализованной родственнице чувство сострадания, послала меня к ней с большой охапкой срезанных утром еловых веток. Я осторожно приотворил двери и, убежденный в том, что Тетка спит и мне не придется долго лицезреть ее страшное лицо, быстро сунул ветки в большую вазу, стоящую в углу затемненной комнаты.

Я уже собрался было уходить, когда со стороны скрытой в тени Теткиной кровати донеслось нечто вроде храпа или скуления. Голос этот — мысленно я сразу же связал его с отекившим лицом, которое представало глазам моим в полосе света, падавшего из открытых дверей нашего дома, когда туда вносили безжизненное тело, — голос этот испугал меня, но и заставил подойти к самому краю широкой кровати. Тетка продолжала что-то бормотать. Я зажег маленькую керосиновую лампу и в тусклом ее свете увидел Теткино лицо — совсем другое, спокойное, полное достоинства, хотя еще со следами недавней отечности. Вероятно, тогда я и полюбил бачевскую барыню. Любвьюю особенной — калеки к калеке...

Нет, увечной она не была, но в ее поведении, несмотря на упрямство, крылась за наглостью какая-то застенчивость — черта, которую я, горбун, выросший в деревенском семействе с его жестокими нравами, очень хорошо умею распознать и оценить. Она была калекой — еще более я уверен в этом сейчас, после ее смерти. И так же как увечные девушки порой привязываются к детям своих сестер, любят их больше, чем родная мать, так и она опекала своего брата. То была столь знакомая мне горькая любовь человека, который хорошо понимает, что он любит не так, как все, жаждет привязанности, но при этом сознает, как мало у него права на такую любовь, и в конце концов, вымолив себе самую несчастную судьбу, остается в одиночестве.

Когда я поднес керосиновую лампу к изголовью кровати, Тетка медленно повела глазами. Я понял: она велит мне сесть у ее неподвижного еще тела, — и, повинувшись ее требованию, верней, интуитивно почувствовав, чего она хочет от меня, я взял в свои пылающие ладони ее мертвую руку. Потом, тоже

предугадав следующее требование, я поднял ее руку и пальцами, — лишь они, вероятно, хоть немного сохранили чувствительность на этом парализованном болезнью теле, — коснулся своего лица.

Тетка улыбнулась, верней, то было лишь подобие улыбки, даже кончики губ не дрогнули. Я поцеловал ее руку, а потом, осторожно положив на простыню этот, хоть и оживленный искрой чувства, но все же еще предмет, тихо выскользнул за дверь.

Так выглядела важнейшая наша встреча. Позднее она ни разу — даже когда мы вместе переживали последние дни бачевской усадьбы — не позволяла мне такой, граничащей с фамильярностью, сердечности. Мне было известно — она ведь не преминула огласить это, — что по завещанию я один из немногих ее наследников, но — словно бы именно этот дар, долженствующий усладить мне момент ее погребения, делил нас на того, кто удостоивает жертвы, и того, кто эту жертву принимает, — мне даже не разрешалось входить без доклада в восстановленное из руин крыло дома, ставшее временной ее резиденцией. И звал я ее «Теткой», хотя это не соответствовало истинному нашему родству. «Тетка» — достаточно близко, чтобы избежать ненужной сухости в наших беседах, но и достаточно далеко, так что я никогда не забывал о своем положении почти нахлебника в доме.

И к сестре моей она относилась примерно так же, а может, и того хуже. Тетка умела с такой интонацией произносить самые любезные фразы, что они тут же определяли соответствующую дистанцию. Сестра моя — любопытно, что именно за это я ее возненавидел, — после каждого разговора с владелицей Бачева и после того как нам с ней были предоставлены «апартаменты», со злостью глядя на утварь этого дома, преданную бачевской барыне старосветской чопорностью покрытого золотистой политуры дерева и обветшавшей обивки, — раздражалась непристойной бранью. Она не чувствовала себя хозяйкой в этом доме. А я, хотя и должен был бы желать ей добра, втайне этому радовался. Они с отцом были тут чужаками. Нелепыми со своими претензиями, с требованием предоставить им самое почетное место на резной скамье.

Впрочем, отец оказался более верным своим извечным стремлениям. А может, не таким ловким, как сестра (слишком уж стар он был, чтоб быстро смекнуть, сколь сомнительными становятся шансы бачевской усадьбы и ее владельца). Так или иначе, отец не осмелился покинуть Тетку и после смерти моей матери уже навсегда обосновался в этом доме с его обстановкой, сам уподобившись не то мебели, не то прирученному животному.

И вот теперь, размахивая своими толстыми, как и подобает попу, ручками, он, волнуясь, рассказывал, как три дня тому назад они с Теткой решили наконец выкопать клад под старым ясенем у барского особняка. Он еще считал это «кладом». Думаю, если б не растущий с годами панический страх перед Теткиной силой, он, не мешкая, подобрал бы ключик к старому заржавелому замку, на который еще и здесь, в гостиной, заперт был огромный сундук.

Клад. Подобно моему отцу, все окрест убеждены были в неизмеримой ценности густо просмоленного сундука. Те, кто помоложе, рассказывали, будто он доверху набит бумажными долларами, другие, наслышавшись старых легенд, болтали об огромных — с тарелку — золотых дукатах, «которыми Бачевские набивали сундуки еще со времен барщины».

— Дукаты с тарелку, — хихикала довольная Тетка. — Ну, так пусть себе отбирают эти «крепостные дукаты»...

Упоминание о барщине, восходящее, по всей вероятности, к проповедям ксендза Станиславского, особенно ее радовало. И если б я знал тогда, чем кончится вся эта заваруха, может, в ином свете видя все Теткины действия, я сумел бы уловить в самом зародыше овладевающее ею безумие. Потому что с Теткой творилось что-то неладное. С виду спокойная и, как обычно, полная достоинства, она, заслышав очередную версию о кладе, раздражалась ранее мне незнакомым, визгливым хохотом. Словно бы «заблуждение деревни относительно ценности выкопанного сундука стало мстью Тетки и за отобранную усадьбу, и за смерть молодого бачевского помещика, связанную как-никак с актом реформы.

Не успел я, приехав, смахнуть пыль с сапог, как Тетка постучалась ко мне и с каким-то несвойственным ей нетерпением велела тотчас следовать за ней в гостиную.

Тут бы мне и призадуматься. Не удивляться надо было этой необычной для нее бесцеремонности, а понять, что женщина, которая ведет меня в гостиную по длинному коридору, осторожно ступая при этом, словно опасаясь малейшим шорохом спугнуть мнимых воров, — эта женщина совсем уже не та, какую я оставил после трагической гибели ее брата.

Но я шел за ней. Послушный, как всегда. Тетка, шикая и крадась самым нелепым образом, наклонилась вдруг и, прежде чем переступить порог гостиной, осторожно заглянула вовнутрь. Впервые, с тех пор как я знал ее, она выглядела комически. В одних чулках, в левой руке судорожно сжаты снятые, чтоб заглушить шаги, башмаки, в правой, поднятой кверху, — тяжелый подсвечник. Когда пламя свечи осветило дверь, я понял, что бачевская помещица пристально вглядывается в щель, образованную осколком шrapнели в двери, которая некогда вела в людскую, а теперь — в гостиную.

— Сбежали, — со злостью констатировала она. — А я думала, что мы наконец их поймаем. Вместе с твоим папусенькой. Думаешь, я не вижу, как он, что ни день, к замку крадется? Вчера волос прилепила... И вот, пожалуйста, сорван. Уж очень им хочется знать, сколько этих самых дукатов Бачевские в сундуке заперли.

Я устремился за ней, как в тумане. Не перестань она — убедившись, что никаких врагов здесь нет, — со злостью посматривать на мои скрипящие в тишине коридора башмаки, я бы покорно снял их, чтоб, уподобясь ей, в одних носках красться в гостиную к стоявшему там сундуку. Тетка стремительно отворила дверь и, перепрыгнув через порог, махнула подсвечником в ту сторону, где чернела глубокая, наполовину закрытая шкафом ниша в стене.

— Пусто, — разочарованно протянула она, и в ту же минуту, еще прежде чем погасло задутое сквозняком пламя свечи, я услышал ее крик — такой пронзительный, будто в окне, с треском распахнувшимся от

порыва ветра, снова вдруг, как несколько лет назад, показалась голова крестьянина, возвестившего о гибели помещика.

— Свет! Быстрее свет! — вне себя кричала Тетка, в то время как я, проклиная собственную неловкость, одну за другой терял и ломал не желающие загораться спички. Наконец, держа в сложенных на манер раковины ладонях одну-единственную спичку, которую мне посчастливилось зажечь, я осторожно двинулся туда, где, как мне казалось, должна была находиться бачевская барыня. Под ногу мне подкатился какой-то предмет, я поднял его — оловянный подсвечник со свечой, и, к счастью, не поврежденной. Теперь, вооруженный наконец тусклым, колеблющимся над стеариновым кружочком светом, я стал высматривать фигуру одетой в черное женщины. Свет свечи раз-другой скользнул по стенам, покрытым вылинявшими обоями; и лишь когда я — уже уверенный в том, что Тетка каким-то необъяснимым образом сумела выбежать из комнаты и скрывается в коридоре, — поспешил к дверям, то увидел в затененной нише ее побелевшее испуганное лицо. Она плакала, но плакала так тихо, словно бы никто, даже я, стоявший совсем рядом, стиснув в руке подсвечник, не должен был слышать ни единого ее всхлипа.

— Эмилька, — впервые в жизни я назвал ее так, как обычно — хотя имя это не вязалось со всем ее обликом — обращался к ней ее убитый брат. Тетка закашлялась и, уже не скрывая своих рыданий, повернулась лицом к стене. Я приблизился к ней, и когда, второй раз в жизни произнеся это легкое, как пух, имя, осторожно погладил ее хрупкое, птичье плечо, она медленно обернулась и, еще шмыгая носом (такая заплаканная, что, казалось, вот сейчас прильнет ко мне), в мгновение ока залепила мне пощечину.

III

Утром, как мы и предполагали, снова появились делегаты. Так, во всяком случае, окрестила Тетка мужиков, которые, с тех пор как был выкопан ларь, ежедневно приходили в усадьбу и без лишних слов,

монотонно твердя: «И нам кое-что причитается», — добивались дележа воображаемого клада. Представляю, как неуклюже шествовали они по навощенному полу, как садились на уцелевшую после грабежа усадьбы кушетку. Тетка, как никто другой, умела, строго соблюдая видимость вежливости, ясно дать понять, как презирает она тех, кто поселился на усадебной, по ее мнению, земле. Впрочем, к незаконным хозяевам этой самой земли она причисляла всех, попадавших ей на глаза во время ее редких поездок через деревню. Всех, без исключения. Порой мне казалось, что даже ксендза Станиславского она подозревает в том, что он урвал частичку неожиданной добычи, которую деревня получила благодаря реформе, а по мнению Тетки, прежде всего благодаря «неизлечимой демократической мании» Молодого Помещика.

Думаю, она не помнила ни лиц, ни имен ближайших соседей. В ее глазах все они были врагами, и им наперекор надо было поднимать из руин престиж усадьбы — преобразовывать в нелепую пародию на бывший барский особняк крохотный Охотничий Домик, уцелевший после артиллерийской канонады и нашествия обеих армий. Мало сказать уцелевший, полностью сохранились — ни один осколок не повредил их — его псевдомавританские башенки, нелепо соединявшиеся красной черепичной крышей с широкой, на манер скандинавских строений, сводчатой галереей. На диво безобразна была эта причудливо перекрученная глыба белого камня, к тому же с готическими проемами окон, украшенных голубого цвета фрамурами. До того безобразна, что порой, добравшись до убежища Тетки, до резервации, как я его называл, при свете дня, я не мог отделаться от ощущения, что уродство этой с трудом созданной имитации усадьбы — не иначе как божья кара за непреходящую спесь семейства Бачевских. И если мне случалось провести хотя бы день в этих сводчатых комнатах, столь же странных, сколь гнетущих, я старался выйти оттуда через кухонные двери на двор. Вид простых, сбитых из сосновых досок сараев, даже смрад, которым тянуло от потемневшей стены хлева, — все это действовало на меня успокоительно. Утомленный

затхлым, сырым воздухом гостиной, я с радостью засыпал под нагретой крышей сарая, в котором Тетка намеревалась открыть ветеринарную лечебницу.

Вот именно—лечебницу. Так же как с презрением, достойным лучшего применения, она принимала в гостиной редких своих просителей, так и теперь добротой своей, приправленной, как и ее чай, пренебрежением, она намеревалась оскорблять всех окрестных жителей. Тетка рассчитывала на редкую—как она не раз утверждала—алчность крестьян. Поэтому и возник у нее замысел открыть лечебницу для больных животных.

— Ты не понимаешь, — доказывала она, — для них одно важно — животные. Если в деревне заболит ребенок, они тянут до последнего, только бы расходов не понести. А лошадь, видишь ли, дело другое. Без лошади ни тебе вспахать, ни тебе в город поехать. Вот и пойдут ко мне, ведь я буду меньше брать, чем в городе. А может, и вовсе ничего не возьму, — добавила она, подумав. — Во всяком случае, детей их я лечить не стану. Предпочитаю лошадей.

В этих словах отразилась вся Теткина натура. Не зря о ней говорили: «Людей бачевская помещица ни в грош не ставит. Уж лучше за лошадь сойти». Порой, задумываясь над этой весьма, впрочем, характерной для Бачевских чертой, я приходил к выводу, что и во мне она видит нечто вроде домашней собаки редкой породы. Впрочем, так она относилась ко всем, кто сумел завоевать ее расположение. И если бы не трагическая смерть (в которой отчасти повинно ее упрямство) единственного на свете человека, к которому она относилась так, как того заслуживает человек, и не вызванное этим безумие, эти черты характера были бы не более чем чудачеством старой девы, свойственным ей пороком. Но смерть Молодого Помещика наполнила Тетку, пожалуй, неведомой ей раньше ненавистью к людям. Раньше она не замечала людей — теперь она вредила им. А поскольку ненависть эта, возникшая по другим причинам, соединилась в ее уме с убеждением, что семейству Бачевских нанесен ущерб, а также с жадностью — она всегда отличалась жадностью — и с ужасом перед реформой, тоже связанной с трагической смертью брата,

то она и решила во имя этой ненависти сохранить «усадьбу».

«Усадьбу» в том виде, как она себе ее представляла. Потому что ощущая связанное с именем Бачевских право на власть, она распространяла это право на умы «окрестных крестьян». Более того, эта «моральная власть» казалась ей самой важной. Имущественное превосходство было лишь придатком, чем-то само собой разумеющимся. Впрочем, это не помешало ей ради такого превосходства решиться на недостойную бачевской барыни борьбу за каждый клочок земли. И занять позицию, которую ксендз Станиславский метко определил странно звучащим в его устах прозвищем «кулачка».

— Да, да, мой милый, — кулачка, — повторил он, при виде моего изумления. — Большевики в бога не веруют, и это, между прочим, очень мешает им проводить в жизнь коммунистические принципы, но что касается земных дел — тут они все как надо поназывали. Она такая и есть. — Он поднял сжатый кулак. — Вроде бы и человеческая рука, а ничего-то из нее не вырвешь... Отсохнет, а куска никому не подаст, — добавил он чуть погодя.

Взгляды священника на проблемы небесного коммунизма, которые он при случае излагал, подкрепляя свои тезисы обильными цитатами из Нового завета, не будили во мне особого энтузиазма. Однако то, что он сказал о Тетке, никак нельзя было назвать старческим маразмом; даже когда его суждение о характере бачевской помещицы стало основой всех его воскресных проповедей о человечности. Опершись на вытертую грубой сутаной доску амвона, он почти на каждой обедне внушал прихожанам, что святой Иосиф заботился не только о себе, но искусство плотничьего своего ремесла употреблял на благо соседей. Так и длился этот спор. Иосиф совершал все более утонченные акты милосердия, а его бачевская антагонистка только и думала об удовлетворении своих низменных, гордыней продиктованных желаний.

— Но не полагайте, дети мои, — вещал ксендз, — что каждое благодеяние есть акт праведный. Порой — это я говорю вам — за видимостью милосердия, под

его покровом скрывается дьявольское зловоние спеси. Те, что готовы даже помочь ближнему, в ожесточении своем нередко творят это во зло человеку, дабы еще более унижить его. По плодам их узнаете их! — выкрикивал он обычно в завершение своих доводов.

Все это, конечно же, было направлено против Тетки и ее ветеринарной лечебницы. И кто знает, то ли благодаря этим проповедям, то ли по другим каким причинам, специально выстроенный сарай, где должны были проводиться всякие несложные операции, пока что пустовал. Узнав о проповедях — сама она потому и не ходила к обедне, что служил их ксендз Станиславский, — Тетка настолько продвинулась в своем стремлении воссоздать особую атмосферу, при которой «все вертится вокруг усадьбы, как вокруг солнца», что сама стала зазывать всех встречаемых и поперечных в Охотничий Домик. Местные жители, — насколько я мог судить по Теткиным, напоминавшим дневник, письмам, которые она регулярно высылала на мой городской адрес, — спокойно выслушивали ее, даже тревожились за состояние — угрожающее, — как уверяла Тетка, своей лошади или коровы и предпочитали отправляться в город. В первые месяцы существования сарая сюда привели не более трех животных. А потом и вовсе перестали ходить. Думаю, в основном — по причине скандала, как бы венчающего пророчества священника, громкого скандала, который разразился между Теткой и неизвестным мне владельцем некоей заморенной клячи.

— Приезжай немедленно, предстанешь в суде, — с обычной своей лаконичностью протелеграфировала Тетка, и я стал одним из свидетелей этого, сделавшего ее посмешищем, процесса об отравлении лошади. Впрочем, выиграть процесс было невозможно. Хорошо еще, что мне удалось добиться полюбовной сделки. Тетка же, разумеется, сочла дело проигранным по причине моей врожденной тупости, но, к счастью, согласилась вернуть сумму, в какую после долгих торгов оценили эту клячу, преобразившуюся вдруг в лихого скакуна.

— Это же разбой, — уверяла она. — Только ихняя революция могла довести до того, чтобы я, разбираю-

щаяся в лошадях куда лучше, чем целый табун этих, с позволения сказать, судей, платила за попытку спасти несчастную.

— Надо было отослать его домой вместе с этой горемыкой. Пусть бы шел себе к ветеринару, — ворчал я. — Зачем понадобилось силой отбирать у него больную клячу?

— А как я должна была поступить, если он не верил, что это последняя надежда на спасение? — возразила Тетка.

Ну конечно же, по ее понятиям, а она осталась им верна, надлежало тут же — после слабой попытки подействовать уговорами — схватить висевшую на стене сарая плетъ и, свирепо размахивая ею, шугануть вопящего хозяина клячи с усадебного двора. И кто мог предвидеть? Вместо того чтобы явиться на завтра с повинной и признать правоту помещицы (кстати, тогда она, возможно, дала бы ему часть денег на покупку другой лошади), крестьянин, отчаянно ругаясь, помчался на ближайший милицкий пост.

И ладно бы еще милиционеры пришли тотчас же. Увы, сержант, заявивший Тетке, нервно дергая шеей в тесном воротничке, чтобы она «вернула чужое имущество», смог всего лишь зарегистрировать причины смерти клячи, слишком уже хворой, чтобы выдержать какие бы то ни было, даже самые нужные процедуры.

Итак, сарай пустовал, а напряженные отношения между усадьбой и приходом, — Тетка, объясняя свою неприязнь к этому «сумасшедшему демократу в сутане», всегда вспоминала венчанье моей сестры и Молодого Помещика, — теперь можно было с полным правом назвать враждебными.

— И пусть бы она все делала из жадности, — говорил ксендз. — На этих бесплодных землях жадность — не такой уж грех. Вон, погляди. — Он подвел меня к своему крыльцу, откуда не видно было радующей глаз речной голубизны и вид открывался удручающий: синеватые песчаные наносы выходили на поверхность даже на сравнительно урожайных полях. — Где уж тут быть щедрым. Но у нее, — он махнул рукой в сторону Охотничьего Домика, — и в мыслях нет тут продержаться. Я иной раз готов даже

допустить, что она вовсе не верит в возможность возврата к прошлому...

Я с удивлением взглянул на старого священника. Снова увлекшись своими рассуждениями о значении Нового завета, этой «во сто крат превосходящей все коммунистические манифесты» программы обновления, он даже не догадывался, что, говоря о Тетке, почти дословно повторяет ее собственные, высказанные в письмах ко мне взгляды.

«Ты не в силах понять, — писала она, — как они ненавидят меня за то, что я снова отбираю у них землю. Беря ее, они думали: Бачеву — конец. И чуть не оказались правы. Он никогда не сумел бы вернуть наших привилегий. Нет, не думай, что дело только в тех расписках, которые он выписал вопреки нам, защищавшим свою землю. Анджей никогда не годился в помещики. Я поняла это — надеюсь, не обидишься за откровенность, — когда он решил жениться на твоей сестре. Порой я даже радуюсь тому, что у меня уже нет данных мне от рожденья привилегий. Власть и землю я сумею добыть сама. Вчера я снова купила два морга земли, и владения мои протянулись клином к реке. Больше уж не нужно...»

Припоминая топографию деревни, я видел, как тянется — от первых деревьев у Охотничьего Домика и до сочных прибрежных лугов — полоса хорошо возделанной земли. Тетка, хотя бы в этом следуя моему совету, никогда не выкупала ни клочка парцеллированной усадебной земли. Действовала она осторожно, понемножку тратя сохранившееся золото; каждые два месяца выезжала в Варшаву — выяснить, сколько еще можно будет прикупить на старые броши, которые некогда носила на позабытых теперь губернских балах. Кто знает, возможно, необходимость продвигаться именно в глубь бывшей крестьянской земли даже доставляла ей своеобразное удовольствие? Мои предостережения — пусть она не вздумает покупать бывшей усадебной земли, ведь враги только того и ждут, чтобы обвинить ее в попытке взять под сомнение реформу, — она приняла с полным пониманием,

— Итак, мой милый, я отберу у них то, чем они владели до закона о разделе земель Бачевских, — заявила она и вскоре, сообщив мне в одном из писем, что старые брошки на исходе, написала эти слова, необычайно точно выражающие характер ее ненависти:

«...Продавать мне уже нечего. Теперь я так же как они, владелица полоски земли, двух коров и одной лошади. Никто не скажет, что новое владение далось мне без труда. И они ведь, хоть и твердят постоянно о «труде рук своих», не всего сами добились. А теперь потягаемся, кто кого, и клянусь тебе, — я буду здесь самой богатой. Докажу им, что я — иной породы».

Это упоминание об иной породе вызвало в моей памяти первые вечера в усадьбе. Я приехал туда по просьбе сестры, к тому же меня заинтересовало, как правит этим огромным домом та самая женщина, с которой я впервые познакомился, когда она лежала в темном углу нашей парадной комнаты. Тетка ловко завязывала беседы, целью которых было разъяснить нам, что причина ее неприязни, как представительницы древнего рода, вовсе не в нашем ничтожном, если не сказать хуже, имущественном положении. Мы были другой породы. И так же как в коневодстве испокон веков не положено скрещивать породистых коней с крестьянскими клячами, так и это супружество, по ее мнению, было противозаконием. И тем большим и оскорбительным, что благословил молодых «сумасшедший, изменивший своему призванию священник». И если она все же решилась признать за моей сестрой право носить господскую фамилию, то из одного лишь убеждения, что представителям старинного рода неизбежно свойственна фанаберия.

— В Польше говорят теперь: Потоцкие, Замойские... Ну что ж, не худшие из родов, но, милый мой, когда они еще рвались к власти и к должностям, нам это уже наскучило.

Это она говорила обычно, перелистывая страницы старых гербовников, показывая вычурные рисунки старинных гербов и разоблачая фальшивые, за деньги купленные генеалогические древа. Я тогда ознакомился

с девизами, сохранившими аромат девственных лесов, — с Окшами, Помянами, Леливой, Ястшембцем. И даже несколько раз порывался спросить об этой истории с пятнышком, но суровое, сосредоточенное выражение Теткиного лица, когда она, страница за страницей, открывала побегі давних родственных связей, удерживало меня от этой жестокости. Бачевская помещица со вздохом захлопывала фолианты, перед тем старательно вытерев с них пыль, и, показывая в окно на бродящую среди кухонных отбросов легавую, горько изрекала:

— И к нам такое уже пришло. Старость требует обновления крови. Даже собак тут тянет на простую жратву...

Вероятно, именно так, как следствие взыгравшей крови, расценила она знаменитые расписки Молодого Помещика. Не признавая реформу, она признала право брата раздать свои владения. Признала расписки, которые муж моей сестры давал всем, кто «боялся брать нужное». Помещик не пожелал отказаться от дарственных, значит, надо было признать его волю. Такие идеи, случалось, и раньше приходили в голову потомкам этого, избегавшего высоких должностей, рода. Она же, призванная хранить значение рода, обязана была с такой же страстью бороться за свою землю, с какой помещик раздавал ее окрестным крестьянам. С тем же упрямством и лихостью, с какой он осуществил свою скандальную женитьбу.

Когда же сестра моя решилась покинуть Бачев, бросить ненавистного мужа, Тетка приняла эту весть с явным облегчением. Источником все растущей ненависти между двумя помещицами было, мне кажется, некоторое сходство характеров. Обе они, хотя совсем по разным причинам, жаждали, чтобы богатство вернулось в стены старого дома. Но если богатство в понимании Тетки было лишь одним из второстепенных признаков превосходства Бачевских, сестра моя, жаждущая ощутить свое барство, тоскующая по балам и маскарадам, известным ей лишь из довоенных газет, видела в богатстве единственную причину своего и мужа будущего веса. Она стала карикатурой на Тетку; мечты ее, вроде бы те же самые, казались ста-

рой помещице оскорбительной насмешкой над всем, что она любила.

— Как она говорит: *земля*, — со злостью цедила Тетка. — С той же интонацией, что деньги. *Деньгá*. Вот именно, даже не деньги, а *деньгá*, — смаковала она это незнакомое слово, звучащее для нее хуже всякого проклятия. — Маленькая, жирная купчиха. Поповна.

То, что поповна никогда не любила бачевского помещика, с первых же дней не подлежало никакому сомнению. Поэтому — утверждала Тетка — не было ничего неожиданного в ее внезапном решении бросить все и податься на Запад. Детей у них не было, и даже к лучшему, что эта горе-жена не пожелала дожидаться возвращения мужа, двигавшегося с армией куда-то за Одру. Нельзя сказать, чтобы Тетка не отличалась благочестием, просто она считала небо своеобразной разновидностью земной усадьбы и была убеждена, что помещик вскоре после счастливого своего возвращения вступит в новый, более удачный союз. Потому, вызвав прислуживавшего на том безумном венчании церковного сторожа, она принялась выпытывать у него, не было ли каких-нибудь отклонений в венчальной церемонии, облегчающих возможность «раздельной жизни или развода, как это там называется». Старания ее, видимо, увенчались успехом, раз сторож уехал домой на подводе, груженной мешками с отборным картофелем. Не его вина, что он не принял в расчет ни характера помещика, ни внезапности реформы.

О реформе говорили все чаще. Люди из отдаленных деревень, приезжавшие в наш костел на ежегодный храмовой праздник, рассказывали, как распахивают новые межи на целинных усадебных черноземах. Другие говорили об убитых — о тех, кто отважился протянуть руку за чужим добром. Нам все это еще казалось небылицей. Мы с сестрой слушали, как к маковскому помещику пришли поутру трое с винтовками на ремне и без дальних слов велели ему прочитать какую-то бумагу.

— И что, так прямо и вошли в комнаты? — допытывалась сестра. Ее вопросы: верно ли, что люди с винтовками не удосужились даже вытереть ноги, —

казались мне, по меньшей мере, смехотворными. Но она упорно выводывала, были ли то чужаки или местные — из приусадебной деревни, и вообще «как они представились». Узнав, что пришельцы были из усадебных барачков и что они даже не помышляли докладывать, зачем лезут в гостиную, сестра неожиданно велела мне поторопить возницу и ехать домой. И тут же, не дожидаясь, пока я найду его в толпе разглагольствующих у стойки, уселась в бричку, стоявшую в проулочке. Всю дорогу она расспрашивала, верю ли я этим рассказам, а когда я сказал, что не впервые слышу о подобных случаях, да еще неосмотрительно добавил, что помещик из Макова арестован за попытку поджечь свои амбары, она вдруг объявила:

— Уеду. Пойми, я вовсе не намерена помогать Тетке при поджоге бачевских гумен. Сами загорятся. Дерево уж очень старое.

— Какое еще дерево? — спросил я, ошеломленный столь внезапным решением. Тогда сестра склонилась ко мне и прошептала так, словно эта была страшная тайна:

— Генеалогическое.

Впрочем, то же самое она сообщила бачевской барыне. Старая помещица смирила ее таким взглядом, словно перед ней вдруг очутилось говорящее животное, и, кликнув горничную, велела ей паковать вещи Молодой.

— Завтра пусть кучер подъедет к утреннему поезду. Молодой надо уладить кое-что...

Сестра спокойно отнеслась к этому решению. Хотя вряд ли предполагала, что ее желание уехать из Бачева осуществится столь быстро. Так или иначе, виду она не подала, и ранним утром мы с Теткой поехали провожать ее на станцию. До сих пор не пойму, чего ради Тетка проявила столь несвойственную ей любезность. Я даже думаю, что она до последней минуты опасалась отмены отъезда. И, чтобы не допустить этого, предпочла сама при сем присутствовать.

Мы ехали медленно, перебрасываясь пустыми фразами о родственниках, которых сестра при случае собиралась навестить. Ничто вроде бы не предвещало прощания навеки. И Тетка и сестра беседовали так,

словно с грустью расставались на пару дней. Помню, сестра просила приготовить банки для варенья, напоминала о сроках ежегодной уборки. И лишь когда бричка миновала распятие, у которого кончались бачевские земли, сестра, глядя на осеняющую себя широким крестом Тетку, спросила:

— Интересно, хоть это они оставят?..

— Что оставят? — удивилась Старая Барыня, внезапно вздрогнув, словно утренняя сентябрьская прохлада пробрала ее даже сквозь толстый шерстяной платок.

— Нет, ничего, — прервала сестра. — Это ведь уже не будет иметь значения. Начнут, вероятно, с того, что запустят хозяйство. Не свое ведь...

Тетка сжала губы. Теперь она сидела неподвижно, выпрямившись, вперив глаза в одну точку, точно так, как на удивление деревни восседала на резной почетной скамье в костеле. Перед отходом поезда она подала сестре руку, украшенную мужским перстнем с печатью. И когда Молодая Барыня, то ли движимая чувством вины, то ли сожалея о том, что ей предстояло через минуту покинуть, поцеловала ее длинные, ревматические пальцы, бачевская помещица прошептала:

— Жаль, моя милая. Кто знает, может, мы бы в конце концов поладили... — И, словно бы отвергая эту неожиданную мысль о дружбе с женщиной, которой должны были отойти во владение все коридоры, комнаты и закоулки бачевской усадьбы, прибавила: — Во всяком случае, напиши, где ты будешь. Я постараюсь первое время присылать тебе какое-нибудь содержание...

IV

Содержание для Зарембьанки — так, лишив ее звания Молодой Барыни, стали называть после отъезда мою сестру. Деньги, высылаемые ей регулярно, раз в квартал, послужили причиной нескольких лаконичных писем, которые Тетка направила ксендзу Станиславскому. Ибо священник знал, где обитает вдова бачевского помещика, и время от времени — так было условлено — обязан был оповещать усадьбу о том, как ведет себя Зарембьанка.

Отчеты его, он присылал их ровно за неделю до очередной выплаты, Тетка складывала в особую шкапу, которую прятала под груды белья, заполонившего старый комод. Я никогда не видел, чтобы Тетка читала то, что своим размашистым почерком доносил «сумасшедший» ксендз. И когда ей случалось получить его письмо в моем присутствии, она демонстративно, даже не вскрыв конверта, прятала его в скрипящее нутро старых ящиков. Письма священника не представляли для нее важности. Вдова помещика, по убеждению бачевской барыни, имела право на ту именно сумму, которая ей высылалась.

В самые трудные моменты, когда восстанавливалось разоренное хозяйство и Тетка питалась, как беднейший батрак в бывшем поместье, сухой картошкой и кислым молоком, сестра моя день в день получала обещанные деньги. По-моему, именно регулярность выплаты позволяла Тетке верить в прежнее значение Бачева. А то, что там делалось, было, по ее мнению, всего лишь следствием кратковременного бессилия власти божественной и земной. «На бога надейся, а сам не плошай», — поучала старая помещица; то, что она ни разу не запоздала выслать деньги, должно было свидетельствовать небу, что из всех подверженных каре божьей поместий только одно ее не противится высочайшему судье. Не противится, но и от борьбы не отрекается. Впрочем, борьба, по твердому убеждению Старой Барыни, была куда угодней небесам, чем песнопенье, а тем более молитва или пассивное ожидание чуда.

Итак, раз в квартал из прихода в усадьбу приносили и относили конверты. И я мог бы поклясться, что в письмах из Охотничьего Домика не содержалось ничего, кроме стереотипной благодарности и очередной положенной суммы.

Однако письма эти привели все же к новой встрече помещицы с «сумасшедшим» священником. Я, как всегда в моменты для Бачева важные, был вызван срочной телеграммой, из которой нельзя было понять, что опять стряслось на этих бесплодных песках. Именно тогда — единственный раз за время частых моих приездов — у маленького деревянного здания станции меня ожидала двуконка.

Ошеломленный столь неожиданным доказательством признания, я заметил, что лошади не усадебные, лишь когда кучер, вместо того чтобы свернуть к Охотничьему Домику, крыша которого уже виднелась за кронами деревьев, объехал усадьбу и, полоснув гнедых кнутом, подкатил к воротам священника.

Парадный вход, обычно наглухо заделанный паклей и мхом для защиты дома от холодных порывов ветра с реки, сейчас был открыт. Еще сидя в сотрясавшейся от резкого торможения коляске, я увидел го-стиную ксендза и в ее темной глубине склонившуюся над столом уже белую голову Тетки.

«Плачет, — с удивлением подумал я. — Она плачет...»

Тетка словно бы не заметила моего прибытия, хотя его возвестили скрип экипажа и фыркание коней. То, что она сидела, склонившись над темной крышкой стола, почти невидимая в сумраке, позволило мне, сойдя с коляски и медленно ступая по коридору, обдумать слова, которые надо было сказать сейчас этой, впервые увиденной мною в слезах, женщине.

— Слава господу нашему, — пробормотал я, решив, что это самое подходящее приветствие в доме священника, крышу которого осеняет тень костельной башни.

— Во веки веков, — загремел ксендз, погруженный в свое высокое кресло, и тут лишь, направившись не то в его, не то в Теткину сторону, я понял, что она просто сидит так, сгорбившись, но вовсе не плачет.

Нервно роясь в карманах в поисках запропавших очков, Тетка пыталась прочесть, что написано на маленьком голубом листочке; когда она поднесла его к свету, я узнал мелкий, весь в завитушках почерк моей сестры.

— Ну и что пишет эта дура? — крикнула Тетка невозмутимо сидящему ксендзу.

— А то, что вы, сударыня, изволили прочитать, — ответил «сумасшедший» ксендз из глубины своего кресла, как из окопа. — Выходит, будем заказывать памятник на могилу пана Анджея.

— Памятник! — Тетка припечатала кулаком клочок голубой бумаги. — Как она смела даже подумать о памятнике бачевскому помещику — она, Зарембянка...

— Вы, сударыня, плохо прочитали. — Ксендз встал с кресла и, показывая письмо сестры, повторил: — Должно быть так: «Незабвенному мужу в годовщину трагической смерти — Жена». А внизу, если вы изволите выразить согласие, приписано: «семья». Для этого, собственно, я и пригласил вас в приход, милостивая сударыня.

— Что это еще за семья? — возмутилась Старая Барыня и, словно только теперь заметив меня, протянула мне руку для поцелуя. — Скажи, разве она имеет право ставить памятник на могиле? — обратилась ко мне Тетка.

— Ну, как бы это сказать... — заколебался я. — По нынешним...

— Короче, — прервала она. — Меня как раз интересует, как это будет по нынешним незаконным установкам. Раньше мне бы и в голову не пришло спрашивать, имеет ли она право. Раньше я тут права устанавливала. И никто не может пожаловаться... — прибавила она, повернувшись в сторону неподвижно сидящего в кресле ксендза. — Никого не убивали, никто ни у кого земли не отнимал. А вы, ксендз, все поучаете: не укради...

Все немного помолчали. Потом Тетка коснулась пальцем письма и, словно бы черпая в этом прикосновении силу для дальнейших вопросов, сказала:

— Ну, так имеет она сейчас право или нет...

— Имеет, — пробормотал я, а ксендз добавил:

— Ну, сами видите, сударыня...

— Пока еще ничего не вижу, — сказала Тетка, вставая, — ничего еще не вижу... У вас тут темно.

И вдруг, — мы были убеждены, что сейчас она выйдет из комнаты, — бачевская помещица тяжело оперлась о стол, а потом, как-то смешно растопырив пальцы, принялась рвать на себе ворот темного, застегнутого под самую шею платья.

— Сударыня, — перепугался ксендз, — может, воды...

Тетка выпрямилась и, схватившись рукой за спинку кресла, прошептала:

— Здесь — ни хлеба, ни воды. — И не успел я подбежать к ней, она тихо, легко опустилась на пол гостиной ксендза.

Так началось мое вторичное бдение у ее постели. На этот раз, быть может, так же, как и я, вспоминая то время, когда она с парализованными конечностями лежала в ожидании выздоровления в лучшей комнате нашего дома, Тетка принимала мои заботы с невиданной доньне благодарностью. Впрочем, она как-то притихла в последние годы, и порой, сидя подле нее и нащупывая кончиками пальцев ее едва заметный пульс, я невольно думал, как все же устала бачевская помещица. Теперь она не могла уже, как бывало прежде, даже в год убийства брата, находить в себе все новые запасы сил. Слухи о ее твердости уже не соответствовали действительности. Именно в то время, внезапно разбуженный среди ночи, я впервые услышал ее плач.

Тетка лежала неподвижно и, вглядываясь в тусклый огонек негасимой лампы перед старым, помнящим еще графские паломничества в Рим, образом, то и дело надрывалась от кашля. И если бы не слезы, медленно катившиеся по ее исхудавшему лицу, я бы подумал, что ошибся и что это просто-напросто кашель.

— И для чего все это, — шепнула она, когда я склонился над ней, пытаюсь как-то остановить ее скорей похожие на икоту рыдания. — Одна я теперь осталась... С этой... — Она взглянула на потрескавшийся, отделанный под мрамор алебастровый потолок. — С позволения сказать, усадьбой...

— Может, все еще поправится, — пробормотал я, тупо всматриваясь в запутанную сеть трещин, в новые и новые изломы, возникающие за каждым слоем масляной краски. — На пасху я привезу мастеров из города. Они лучше это сделают...

— Ты и вправду веришь...

— Ну да, — поспешил я ее успокоить. — Я лично знаю нескольких хороших мастеров. Из тех, знаете, тетя, что в давние времена в усадьбах работали...

— Ах, в усадьбах, — донеслось до меня из постели. — Они теперь безработные, верно...

— Уже недолго, — заверил я ее, думая о близком восстановлении Охотничьего Домика. — Еще несколько месяцев... Пасха...

Но Тетка уже забыла о потрескавшемся потолке. Она взглянула на меня и, когда я нагнулся, чтобы разобрать ее шепот, произнесла вдруг неожиданно громко:

— Чепуха, ничего уже не изменишь. Ни на какую пасху... — А потом добавила потише: — Усадьбам конец. Бачевская умерла с Молодым Помещиком.

Этот ночной разговор был, впрочем, единственным, когда Тетка обнаружила столь тяжкие сомненья в целях своей борьбы. Никогда более, даже перед самой смертью, не дано мне было видеть ее слез. Впрочем, не думаю, чтобы она сама считала этот ночной разговор недопустимой слабостью, следствием болезни и что нам обоим лучше было бы забыть о нем. Бачевская помещица просто высказала мне то, о чем, верно, не раз задумывалась в одиночестве. Я был удостоен чести быть посвященным в ее сомнения. Однако тот факт, что она уже не верила в возможность возврата к прошлому, отнюдь не менял ее обычного поведения. Это, возможно, прозвучит слишком патетически, но она, подобно человеку, твердо знающему, что болезнь неизлечима, даже не пыталась причаститься другой, способной недели на две оттянуть ее смерть, но столь чуждой ей жизни. Тетке оставалось лишь до самого конца скрывать от окружающих тот факт, что она сознавала закономерность своей смерти. Именно потому я и расценивал тот ночной разговор как честь, оказанную мне, как отличие, которое я заслужил многолетней своей благодарностью.

О ночи той не вспоминалось больше никогда. Единственным, пожалуй, ее следствием были участвовавшие теперь разговоры о бачевском помещике. Тетка, единожды одарив меня своим доверием, позволила теперь вспоминать это имя; более того, даже сама пыталась каждый вечер во время своей болезни вызывать его в нашей памяти.

Я мог подробней, чем другие, рассказать ей о его смерти. А предвидел я эту смерть с тех самых пор, когда после прихода армии Молодой Барин поехал в город и вернулся оттуда в мундире капрала. На его конфедератке вместо довоенного орла красовалась пястовская «ворона». В местных трактирах, где в ожидании лучших времен отсижива-

лись парни, не желавшие примириться с новой эмблемой этой странной польской армии, много разглагольствовали о помещичьей «вороне». Даже больше, пожалуй, чем о его нашивках, — вопреки всем ожиданиям он был тогда всего лишь в чине капрала. Бачевский с капральскими нашивками и с лишенным короны орлом на конфедератке...

Именно необычность его жизненного выбора помогла ему, как я думаю, весьма быстро получить мундир. Не прошло и двух дней со времени вступления помещика в коммунистическую армию, а новый президент города на торжественном банкете уже ораторствовал о тех, кто, несмотря на чуждое классовое происхождение, присоединяется к правому делу.

— Мы не отвергаем никого из тех, кто хочет вместе с нами созидать основанное на справедливости отечество, — говорил он, провозглашая очередной тост. — Вот вам, — бывший помещик становится капралом народного войска. Идет на Берлин, воюет против гитлеровцев... А если потребуется, пойдет вместе с нами, как хороший солдат и честный гражданин, против тех, кто любой ценой хотел бы сохранить власть помещиков и фабрикантов...

В городских трактирах велись долгие споры о том, согласен ли молодой Бачевский с заключительными словами тоста. То, что он пошел против немцев вместе с коммунистами, было еще понятно. Кое-кто из трактирных стратегов намекал даже на необходимость использовать любую форму борьбы. Вспомнили о литературных интересах Молодого Барина. Старый усадебный гувернер, сколотивший себе немалое состояние — около двадцати гектаров земли — на торговых сделках с оккупантами, гремел на весь зал:

— Он всегда зачитывался Конрадом Валленродом. Вы, конечно, понимаете, дорогие мои, Конрадом Валленродом...¹

— Как бы он не просчитался с этим самым Валленродом, — откликнулся один из ожидавших лучших

¹ Герой поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод» (1828) — литвин, ставший магистром Ордена крестоносцев, чтобы помочь соотечественникам в их борьбе против Ордена.

времен парней. Они сидели рядом у стойки, сторожко разглядывая зал, наблюдая за дверями, встревоженные этим неожиданным для них поворотом истории. Я опасался этой их тревоги.

«От этого страха, — думал я, наблюдая, как они судорожно ощупывают внутренние карманы курток, — от этого страха они и перед убийством не останутся».

— Ну, земляк, так как же с Валленродом? Верно это или нет? Только ясно отвечай, по-солдатски, — приказал тот, что сидел рядом с моим столиком.

— А что, если он шпионит по приказу бывшего помещика, а нынешнего народного вояки? — раздумчиво произнес какой-то блондин.

— Глуп он для этого. И Старую Барыню слушает, — заявил бывший гувернер. — А что та обо всем об этом думает, вам известно.

— Итак, здоровье старой Бачевской, — поднялся один из сидящих у стойки. — Да здравствует истинная польская гетманша!

— И наследница сенаторов! — завопил развеселившийся гувернер и вдруг осекся, с ужасом глядя в глаза парней, замерших у стойки по приказу «смирно». А те, спокойно выпив за здоровье Тетки, сели, балуясь содержимым внутренних карманов и не сводя глаз с незадачливого шутника. Гувернер нервно тянул руки по швам псевдвоенных бриджей. Под взглядами парней его загоревшая, отливающая медью голова покрылась испариной. Наконец один из них оторвал руку от кармана куртки и рывкнул:

— Вольно.

А так как гувернер, неуверенный, позволительно ли сесть после этой команды, продолжал стоять у своего столика, человек, подавший команду, подозвал его к себе и сказал вроде бы шепотом, но так, чтобы все в зале его слышали:

— Скажи ему по старому знакомству, в Валленрода пусть лучше не балуется. Прошло время с крестоносцами драться...

Это предостережение, видимо, не достигло ушей Молодого Барина. Прежде чем завсегда и местных трактиров успели установить, является ли он сторонником коронованного орла и как относится к ре-

форме, он уже лежал в поморском военном госпитале. Из письма, которое получила моя сестра, стало известно, что ему прострелили легкое в бою за какую-то местность с непольским, труднозапоминающимся названием. К тому же его произвели в сержанты, и это обстоятельство привело Тетку в бешенство. «Что за абсурд, — сокрушалась она, бегая по опустевшим комнатам Охотничьего Домика. — Чтобы помещик носил нашивки армии, снарядами уничтожившей усадьбыные строения!» И никакими уговорами нельзя было убедить ее в том, что артиллерийский огонь, срезавший верхушки парковых деревьев, вовсе не имел целью сровнять Бачев с землей.

— Настоящее польское войско, — сетовала она, — никогда бы не осмелилось обстреливать усадьбу. В двадцатом году уланы сражались тут с большевиками. Я была при этом и видела, как, входя в комнаты, уланы даже сабли приподымали, чтоб пол не оцарапать. Все тут в развалинах, а он, видите ли, в сержанты произведен и в полевом госпитале лежит.

Несмотря на эти сетования, в усадьбе готовили для раненого внушительных размеров котомку, которую должна была отвезти ему моя сестра. Меры, которые она предприняла, чтоб получить разрешение на проезд в военных эшелонах, ее старания во что бы то ни стало добиться расположения начальника местного гарнизона, — все это, как мне кажется, положило начало ее будущему разрыву с мужем и с Бачевым. В разговорах, которые сестра пыталась тогда вести со мной, она то и дело повторяла еще незнакомое мне выражение: чуждый элемент.

— Но ведь его наградили Крестом Доблестных, — возражал я.

— Это ничего не значит, — бубнила сестра как затверженный урок. — Он не сможет тут остаться. Получит какую-нибудь должность на западных землях, — там, куда уж никто ехать не хочет...

— Почему он не сможет тут остаться? Ведь его не в чем упрекнуть.

— Хватит и того, что он бачевский помещик.

Визит к раненому, как я и ожидал, не принес сестре утешения. Из каких-то сплетен она узнала, что

рана ее мужа была результатом бессмысленной бравады. А может, иначе — молодой Бачевский вынужден был один атаковать немецкий пулемет. В мрачных залах переоборудованного под полевой госпиталь юнкерского замка кружили слухи, будто Молодой Помещик решился на этот обреченный на неудачу поступок после спора с политруком своего отделения. Чуждый элемент, — твердили эти, ставшие мне ненавистными слова, — должен был делом доказать свою верность новой идее.

— А ему все равно не верят, — твердила сестра. — Лежит там и ждет официального утверждения своего звания и награды. Понимаешь, даже этого им мало.

В госпитале, по ее рассказам, горячо осуждали такое обращение с героями. Но в госпитале работали тоже чуждые элементы, в лучшем случае, нейтрально настроенные люди — врачи, аптекари...

— Там его вынудили к рискованной атаке, а тут повелят реформе поклониться. Еще должен будет у них руки целовать за то, что они его поместье забрали.

Хуже всего, что слова ее вполне могли сбыться. И я, столь убежденный в несомненных заслугах молодого Бачевского, не мог все же вообразить, что же будет, когда он вернется. Как он расценит, например, визит, который нанесли Тетке представители комитета по разделу господской земли.

Тетка приняла их в самой лучшей комнате Охотничьего Домика. Облаченная в темно-коричневое с кружевами платье — напоминание о минувших временах, — она со вниманием выслушала все, что они имели сообщить ей. Потом, словно они сейчас только вошли, указала им тросточкой на стулья, пригласила сесть и спросила:

— Итак, господа, насколько я поняла, вы явились с просьбой в усадьбу?

— Не с просьбой, а с государственным уведомлением, — спокойно промолвил руководитель делегации. Впрочем, его одного не испугала манера поведения помещицы, не ошеломил столь изысканный прием. Грозно поглядывая на двух здешних батраков, которые рады-радешеньки были бы поскорей улизнуть отсюда, он спокойно разъяснил, что усадебная земля

уже перестала быть собственностью Тетки и «переходит в руки этих вот людей, — с пафосом закончил он, — тех, кто испокон веков ее возделывал».

— Эти люди — возделывали? — удивилась Тетка. — Да ведь Михал, — она указала на одного из делегатов, — всегда был фореитором при цуговых. Ты же в жизни плуг в руках не держал, верно, Михал?

Огорошенный столь неожиданным оборотом разговора, делегат Михал испуганно всплеснул руками и признался:

— Да вроде так.

— Ну, видите, — обратилась Тетка к главному. — Я же сразу сказала, что вы пришли с просьбой в усадьбу. Понимаю, — предупредила она возражение делегата, — сейчас трудности с продовольствием. И как христианка я готова даже отдать часть земли в аренду по низкой, ну, скажем, символической, цене. Пусть и батраки поиграют в хозяев. Старым слугам положена помощь...

Наступила тишина. Тетка выждала минутку, а потом, полагая, очевидно, что на горячую благодарность делегатов за ее милосердие рассчитывать нечего, попросила меня принести чаю.

— Простите, господа, но сейчас я лишена слуг. Через год все образуется. А может, ты, Михал, предпочитаешь водку? — обратилась она к фореитору.

— Не надо, — ответил Михал.

Держа кувшин в руке, я видел, как он демонстративно сунул руку в карман, вытащил оттуда огромный кисет с махоркой, оторвал клочок официального уведомления и стал скручивать «козью ножку».

— Михал, ты же испортил служебную бумагу, — заметила Тетка.

— Ничего, ведь вы уже знаете ее содержание, — сказал главный. — Мы оставляем вам этот домик и часть парка с садом, сочтя это службами. И то лишь благодаря вашему брату, — добавил он.

Старая Барыня поднесла ко рту стакан и, отпив глоток чаю, вымолвила с удивлением:

— Не могу взять в толк, о чем это вы? Я ведь уже сказала, что из милосердия выделяю дворовым людям усадебную землю.

— Да речь-то не только о дворовых, — прервал ее Михал. — Деревенские тоже получают.

— Как это, деревенские?

— Малоземельные, — добавил главный.

— Что это еще за малоземельные? — удивилась Тетка.

— Деревня делится на малоземельных, — стал объяснять Михал, — то есть бедняков, а еще на середняков и богатеев, иначе говоря, кулаков. Эти ничего не получают.

— Впервые слышу, — удивилась Тетка с такой улыбкой, словно ей рассказали о новой разновидности перепончатокрылых. — Это даже интересно, то, о чем ты говоришь. Я вижу, ты, Михал, усвоил азбуку, которой я тебя тут, в усадьбе, выучила... Понимаете, раньше, — обратилась Тетка к главному, — деревня делилась на крестьянство и дворянство. А что, «малоземельные» дворяне тоже получают землю?

— Если малоземельные, то получают, — подтвердил главный.

— Странно, ведь они, так же как и я, эти... как их, напомни, дорогой...

— Чуждые элементы, — подсказал я.

— Не понимаете вы, пани помещица, — снова начал Михал, но Тетка прервала его, властно взмахнув тросточкой, и, поднявшись с места, что должно было означать конец визита, промолвила:

— Надеюсь, вас, господа, удовлетворит мое обещание выделить из христианского милосердия окрестным беднякам усадебную землю на Гурешне.

Два местных делегата побледнели. А чужой, не зная, что Гурешно означает непроходимые болота, и потому не понимая всей глубины оскорбления, еще пытался что-то разъяснить помещице:

— Вы снова нас не поняли...

— Она очень даже хорошо нас поняла, — рявкнул Михал и, приблизившись к Тетке, закончил:

— Прошло ваше времечко... Думаешь, по-прежнему свою усадебную задницу выгрывать тут будешь?..

— Пан Стоковский, — воскликнул потрясенный глава делегации.

Тетка отпрянула и, мгновенно занеся свою окованную серебром трость, изготовилась расцечь побагровев-

шую физиономию Михала. Форейтор заслонил лицо, и оба они замерли так, словно шепот делегата: «Опомнитесь, пан Стоковский», — возымел силу чудодейственного заклинания. Наконец Тетка опустила трость и, указав на дверь, промолвила:

— А теперь вон.

Михал, подталкиваемый остальными делегатами, попятился к двери и, заботливо подняв опрокинутый стул, заметил спокойно:

— Жаль, коли сломается. Тоже ведь наш будет.

— Стекло! — вдруг крикнула Тетка. Испуганный этим криком, вроде бы никак не связанным с предыдущими событиями, я взглянул на нее. Стискивая в руке осколки раздавленного стакана, она тупо всматривалась в капельки просочившейся сквозь пальцы крови.

V

Спустя месяц вернулся Молодой Помещик. Люди, описывающие последние недели его жизни, готовы признать, что это его встречал на перроне бургомистр и прочие городские власти. А как же иначе? Ведь благодаря своей смерти молодой Бачевский стал героем местной легенды. Так стоит ли помнить, как он выглядел в действительности? Тщедушному пареньку — даже с орденскими своими ленточками, криво пришитыми на сержантском кителе, который он вывез из-под самого Фюрстенвальде, он казался мне гимназистом в одежде с чужого плеча — этому пареньку местная молва приписала черты истинного героя.

Его наделили силой. Да кабы не измена, твердили вокруг, он никогда не оказался бы на площадке, где за старыми деревьями и сейчас еще возвышается статуя святого Флориана. Даже поставленный лицом к лицу с крестьянами, которых силком выгнали из хат, он — если верить легенде — еще мог спастись бегством. Разве они не помогли бы? Такому человеку деревня помогла бы, это точно. Тут же, за купой деревьев, окружавших статую патрона пожарников, начиналось поле с кустами можжевельника, а за ним — густой сосновый молодняк.

— Да ему стоило только знак подать, — уверяли очевидцы последних минут жизни Молодого Помещика. — Стоило лишь моргнуть, и мы бы кинулись на них. Ведь эти недобитки скрывавшихся в лесу «отрядов» чувствовали себя здесь не очень-то уверенно.

— Вот там, в усадьбе у помещицы, — следовал жест в сторону торчащих башенок Охотничьего Домика, — они как дома были. — А здесь победили только из-за измены. И родилась эта измена за стенами восстановленной Теткой псевдомавританской развалины. Уверенность в том, что бачевская помещица сознательно выдала брата, обрекла его на смерть, как Иуда Христа, была непоколебима. «А теперь веночками хочет откупиться, возлагает их на его могиле во все дни поминовения». Но бог, по всеобщему мнению, таких измен не прощает. Он нетороплив, но справедлив — придет час, он поразит сердце Старухи, и тогда уж ничто ей не поможет — ни восстановленные гостинные Охотничьего Домика, ни отобранные у крестьян земли, те, что она в воскресные дни объезжает в своей коляске.

Все это ложь. А точнее, в этом столько же правды, сколько в торжественной — по всеобщему убеждению — встрече вернувшегося с войны молодого Бачевского. Кому же сегодня охота помнить, что помещик, как и все прочие, вернулся поездом, до отказа набитым военными, и лишь в толпе своих товарищей имел честь выслушать блистательную речь бургомистра, завершаемую мощным ревом труб местного оркестра, гремевшего «Роту».

Как беднейший из бедных направился он домой пешком. Весь в пыли — ее вздымали мчавшиеся во весь опор подводы — он медленно брел по обочине, равнодушный к тому интересу, который возбуждали и это пешее его странствие, и сержантские нашивки, столь несоответствующие положению Бачевских. Тетка, когда я спросил ее об этом, призналась, что понятия не имела о его возвращении. Он появился в Охотничьем Домике лишь поздним вечером, до такой степени грязный, словно долгие часы, что прошли с момента его приезда на станцию до той минуты, когда он решился наконец постучаться в заслоняющие узор мавританских

окон наспех сбитые дощатые ставни, он провел, бродя по окрестным болотам, там, где некогда гости Бачевского неутомимо выслеживали стайки уток-чирков.

— Я подумала, из деревни кто-то, от больного, — рассказывала Тетка. В то время, несмотря на растущую ненависть между усадьбой и окрестными крестьянами, кое-кто из деревенских еще приходил за лекарствами или за советом к известной своими врачевательными способностями помещице. Чего там вспоминать старые обиды, если больному помощь нужна. Впрочем, для многих крестьян обещанный раздел усадебной земли представлялся дурным бредом представителей новой власти. Горячкой, которой следует опасаться и тут, на земле, — к ним ведь наведывались враждебные новой власти отряды — и на небе, — вряд ли можно рассчитывать на милость неба к тем, кто покусился на чужое добро.

— Вон, видишь, — Тетка показывала темное пятно на полу, — только я протянула руку к аптечке за лекарством, постучали во второй раз, я услышала его голос, и баночка с соляной кислотой так и выпала у меня из рук. Ничем не смывается. Весной придется доску менять.

До этого дело не дошло. Пятно на полу дождалось той минуты, когда в соответствии с предсказанием деревенской легенды справедливый бог поразил перстом своим сердце бачевской барыни. И, пожалуй, никто, кроме меня, не знал, как сильно любила она брата. Как, готовая ради него на любые уступки, она просто захотела еще раз — последний — испытать волю человека, которого никак не могла признать взрослым мужчиной.

— Мой мальчик, — говорила она о нем даже в минуты сильнейшего гнева. — Братишка...

Ведь, по сути, они были очень похожи друг на друга. Но это бросалось в глаза лишь при длительном с ними общении. Вдруг обнаруживалось, что в резких жестах Тетки как бы в зародыше кроется столь характерное для поведения ее брата застенчивое удивление.

— Сестра как-никак, — говорил ксендз Станиславский. — Я не стану вмешиваться в семейные неурядицы...

Не в силах разобраться, что же происходит в маленьких комнатках Охотничьего Домика, я почти ежедневно прибегал в приход. Это от меня ксендз Станиславский узнал о гайных вечерних встречах Молодого Помещика с окрестными крестьянами. Я даже спрашивал его, не надо ли оповестить об этом Тетку. Потому что меня пугали разговоры, которые вел вечерами бывший владелец Бачева, а ныне сержант народного войска, сидя на заборе, огораживающем участок усадебного парка, уцелевший после артиллерийской канонады. Еще издалека, по дороге от Охотничьего Домика к службам, видны были огоньки батрацких сигарок.

— Махоркой воняешь, — нервничала Тетка. — И когда уже я перестану за версту узнавать в тебе героя битвы под Шлохау, или как там называли его в поздравительном послании, под Члуховом.

Я уверен, она никак не предполагала, что вонь грубого самосада, которой пропитан был сержантский китель Молодого, есть первый вестник скорого упадка имения.

А пока что в Бачеве было спокойно. После визита к Тетке на усадебных полях появились одиночные фигуры землемеров. Запахнувшись в солдатские шинели, под морозящим, холодным в том году, как в ноябре, апрельским дождиком, они переставляли с борозды на борозду длинные конечности сажени. Так как Тетка ежедневно посылала меня узнать, как продвигается «эта работа», я видел будущие контуры новых межей. Но земля пока что не возделывалась.

— Ага, боятся взять. Вот видишь. Я даже не думала, что здешний народ так к нам привязан, — говорила Тетка. — Ты вот уже освоился с этим коммунизмом, скажи-ка, а что будет, если крестьянам как раз и не понравится реформа, а? Ведь явно же она им не по душе.

— Ничего не будет, — угрюмо отвечал Молодой Помещик.

— Как это ничего? — удивлялась Тетка. — Ведь земля не может долго не возделываться.

— Не знаю...

— Помяни меня, годик этак спустя приедет ко мне сам староста или бургомистр. Поклонятся низко: «Сде-

лайте милость, хозяйствуйте, пани помещица. Нам в городах хлебушек нужен». А я их приму. Да, да, приму, важничать не стану. Видишь ли, — обратилась она ко мне, — эта революция и меня кое-чему научила. Чего уж там, прав был благочестивый ксендз в своих проповедях. Гордыня сверх меры обуяла Бачевских. Такой уж это род. А теперь мы служим в народном войске, так что и я могу поставлять зерно на хлебушек для рабочих. Не вечно же на «них» оглядываться.

«Они» были командирами двух разбитых войском отрядов и ждали «с оружием в руках, пока кончится кратковременная передышка в войне». По их убеждению, наступить это должно было очень скоро. Сколько может длиться шок, несомненно поразивший тех там, на Западе, после уничтожения немецкой армии? От силы полгода.

Вера в то, что лишь короткая передышка отделяет мир от решающего сражения, позволяла им спокойно выжидать, оберегая свои драгоценные жизни от излишних конфликтов с представителями новой власти. Порой они приходили на проповеди и, смешавшись с толпой, спокойно выслушивали недвусмысленные намеки ксендза Станиславского, который не упускал случая прогromеть с амвона о тех, кто непотребно растрачивает молодой энтузиазм, и напоминал, что сам Христос велел воздать кесарю кесарево, хотя кесарь и не верил в истинного бога. После богослужения отряд, построившись в шеренги, маршевым шагом направлялся в деревню. Там, как раз у изваяния святого Флориана, происходил небольшой смотр — к страху прятавшихся на это время по сусекам сторонников и служителей нового порядка.

Все чего-то ждали. Я тогда почти ежедневно ходил из Охотничьего Домика в деревню и ощущал какой-то дух временности в осторожных разговорах о политике. Хозяйки не желали ничего продавать за новые деньги, крестьяне, несмотря на близость жары, забивали свиней и солили мясо. Некоторые не верили даже, что им удастся завершить жатву. Зачем же тогда выпаживать новые межи на усадебной земле?

На торжество вручения актов надела землей послушно явилась вся деревня. С интересом слушали

приезжих певцов, внимательно смотрели выступления военных танцоров. Ждали, чем все это кончится. Акты на пожалованную землю заботливо упрятали в сундуки, в старое шматье, — пока что они были не более чем многообещающими бумажками. Некоторые по этому поводу ходили на исповедь.

— Понимаешь, — говорил ксендз Станиславский, — я и сам не знаю, что им посоветовать. Но мне кажется, что по божеским законам можно взять эту землю.

— Почему же вы, ксендз, не провозгласите это с амвона? — со злостью ответил я; уж очень претил мне невозмутимый покой, царящий тут, в тени лип и башни костела.

«Пусть бы уж решился, — думал я, — пусть бы выбрал — за деревню он или за усадьбу».

Его колебания каждый раз напоминали мне мое собственное, весьма мерзкое положение Теткиного доверенного слуги, состоявшего при этом в дружбе с «местными» — она ежедневно посылала меня в деревню узнать, что там новенького. Однако твердо встать на сторону одной из борющихся сторон я не мог. Одно то, что деревенские приходили к ксендзу советоваться, как быть с землей, то, что они старательно припрятали пока что бесполезные акты наделов, означало: придет время, и деревня поторопится прибрать свое к рукам.

Впрочем, не все умели ждать. Батраки из имения, поселившиеся в недогоревших руинах бывшего барского дома, не могли спокойно смотреть, подобно крестьянам — из тех, кто имел хоть клочок собственного поля и запасался на случай будущей войны, — как осыпаются песобранные колосья.

Сперва косили по ночам.

— Ах, воры, и всегда были ворами, — говорила Тетка при виде торопливо выкошенного косяка в целине ржаного поля. — Что поделаешь, пусть крадут, пока что я вынуждена разрешить им это.

После каждого такого воровства регулярно вызывались представители местной власти. Они озабоченно осматривали вытоптанные в спешке участки ржи, скрупулезно подсчитывали убытки и в который уж раз призывали народ открыто взять себе усадебные земли.

После какого-то очередного их визита в деревне грянула весть, что оставшуюся рожь скосят и заберут в свои склады военные. Власти, мол, не могут допустить, чтоб хлеб безнаказанно погиб.

На следующий день на полях появились батраки. Стоя на взгорке, с которого открывалась побуревшая уже целина ржаного поля, я смотрел, как наспех налаженные старые телеги вязли в песке на дороге, ведущей к руинам усадьбы. Коровы, запряженные в эти широкие, решетчатые, тяжело груженные возы, упирались худыми ногами и, подгоняемые окриками, медленно, шаг за шагом, продвигались вперед. Наконец копыта их, вязнувшие в сыпучем песке, ощутили твердый грунт хорошо утрамбованной дороги, телеги пошли быстрее, людей и животных словно бы напугала нависшая над деревьями парка мрачная грозовая гуча. Облако поднялось выше — и вот уже под ним блеснули первые языки пламени.

— Закон божеский позволяет брать эту землю. В этом я уверен. Но что я могу им посоветовать, — задумался, слушая мой рассказ о пожаре, ксендз Станиславский. — По деревне пошли слухи, будто сожжение усадебных руин, в которых жили батраки, это, мол, божья кара за грехи. Но я же не господь бог и не могу защитить их от пожара. Грех, такой грех, что даже священник тут беспомощен.

— Выходит, пусть ждут? — спросил я.

— Сам не знаю. — Он беспомощно развел руками. — Я с амвона буду опять все то же твердить. Но словами тут не поможешь. Нужно, чтобы все без исключения взяли землю. Всей деревни «они», — он показал пальцем в сторону голубеющих вдаль лесов, — спалить не смогут. Понимаешь, надо брать землю, и как можно скорее, пока ничего не изменилось. Чтобы они считали ее своей. Но я то и дело слышу, что это, мол, грех, кража.

— Ну да, а Тетка, само собой, не подтвердит законность этих государственных актов, — заметил я, чтобы как-то, пусть дурацкой шуткой, закончить этот разговор, и вдруг, словно пронзенные одной мыслью, мы с ксендзом одновременно взглянули в сторону узкой дорожки, ведущей к Охотничьему Домику, порой уже называемому Новой Усадьбой.

Теперь, вызванный Теткой для спасения этого домика, я мог наконец просмотреть запертые в сундук вместе со всеми бумагами, что остались после Молодого Помещика, юридически равные нулю, но ценные здесь когда-то выше законных актов пожалования, — листочки, подписанные первым хозяином Бачева. Именно так, подчеркивая временность правления Тетки, стали величать тут ее брата уже недели через две после его возвращения с войны. Бывая в деревне, я обратил внимание, что молодого Бачевского уже не называют, как прежде, — «сержантик».

Еще далеко было до позднейших легенд о нем, когда низкое, по мнению деревни, воинское звание героя стали объяснять его скромностью, даже женитьбой, якобы не позволившей ему «отказаться от солдатских сапог и приладить звездочки к погонам»; еще дивились вокруг: «как же так, ведь Бачевские всегда в офицерах ходили», но никто уже не смел говорить о нем с презрением.

Вечерами — обычно, когда в окнах Охотничьего Домика отражался багровый свет заходящего за болотами солнца, Молодой закрывал на ключик ящики своего стола и, медленно, неумело скрутив «козью ножку», шел в деревню — вечерами вокруг него собиралось теперь много народу; люди слушали, как он хрипловатым своим голосом рассказывал о войне, о том, что происходит в мире и «что будет дальше».

Видимо тогда, во время этих популярных бесед о ближайшем будущем Бачева, и было произнесено впервые слово о разделе земли. Не думаю, чтобы крестьяне ждали от Молодого Барина поддержки указа новых властей, как-никак лишшающего его земли. Возможно, его даже пытались склонить к жалобам на тяжкую долю бывшего солдата, у которого отбирают его собственность. И если это предположение верно, Молодой сразу же должен был понять, сколь нелепым покажется всем этим искони жаждущим земли, голодным до нее крестьянам, его собственное, совпадающее с реформой решение.

Признайся он во всем откровенно, и люди перестали бы ему верить. Очевидно, поэтому доходившие до

Тетки вести о вечерних сходках не вызывали у нее беспокойства. Ей и в голову не приходило, что именно там предreshен будет скорый конец усадьбы.

— Понимаешь, у Бачевских всегда была какая-нибудь слабость, — говорила она, наслаждаясь, по обыкновению, чаем в недавно переделанной под гостиную центральной комнате Домика.

— Опыт с твоей сестрой ничему его, как видно, не научил. По-прежнему готов броситься в огонь за кем попало.

Слова эти имели конкретный смысл. Из деревни передали, будто это Молодой Помещик руководил операцией по спасению батрацкого добра во время знаменитого, расцененного, как божья кара, пожара в руинах усадьбы. Деревенские рассказывали, — подробно, как всегда рассказывают о несчастье, — что прибежал он со стороны парка и при виде толпы голосащих женщин под окнами первого этажа, из которых клубами валил дым, схватил одну из них за плечо и, сунув ей в руки лоханку, валявшуюся во дворе, велел, не мешкая, заливать огонь водой. Приказ этот, произнесенный не терпящим возражения голосом, позволил организовать хотя бы слабое подобие борьбы с огнем. Пока с поля, что в двух километрах от усадьбы, бежали мужчины, детей уже успели вывести в безопасное место, а женщины, только что вопившие о каре божьей, без усталости заливали водой выбрасываемый из окон, еще не объятых огнем, убогий батрацкий скarb.

— Только подумай, мой милый, как люди меняются, — задумчиво говорила Тетка, перебирая в который уж раз подробности рассказа о деяниях брата. — В детстве он, бывало, брезговал прикоснуться даже к полотенцу, которым невзначай вытерла руки горничная или нянька. Считал их, видишь ли, кем-то вроде нечистых животных. Начитался тогда разных книжек и никак не мог взять в толк, как это я, его сестра, могу ходить в эти грязные халупы, лечить... Перед первым причастием, — сомнения его тогда одолели, как же увязать такое с проповедями ксендза о милосердии? — он выдумал себе теорию. Я сохранила его тетрадку с сочинением на тему: неотвратимость божьих заповедей.

И Тетка с улыбкой процитировала: «Не надо бояться, — видишь, он уже тогда любил патетику, — не надо бояться милосердия. Оказывать его — мое призвание, — но значит ли это, что так уж необходимо касаться руки нищего?..»

— Глупышка, и вечно-то у него крайности, — добавляла она с нежностью. — Знаешь, я теперь почти уверена, что брак с твоей сестрой был чем-то вроде искупления за прежнюю гордыню. А теперь он выволакивает из огня клетчатые крестьянские перины. Боже, как он выглядел, когда вернулся с этого пожара!

Картина, врезавшаяся нам в память в тот вечер, действительно не имела ничего общего с образом мальчика, одержимого манией превосходства. Тетка как раз гнала меня пойти узнать что-нибудь об этом, как выразилась бачевская барыня, достойном сожаления случае. Надевая пальто, я выслушивал подробные указания, как вести себя, если батраки спросят, что обо всем об этом думает помещица. Тетке, видимо, хотелось убедить деревню в полной своей непричастности к беде, слишком явно связанной с первой попыткой овладеть усадебной землей.

— В долгие разговоры не вдавайся, пусть лучше своим умом дойдут, что это заслуженная и суровая кара за одну лишь мысль о краже, — поучала она и вдруг, легонько вскрикнув, оперлась рукой о кресло.

В дверях маленькой гостиной стоял Молодой. В волосах, которые он, испытующе глядя на нас, медленно прочесывал растопыренными пальцами, еще торчали остатки перьев из выброшенных на усадебный двор перин. Китель, вымазанный в саже, прожженный искрами, ничем не напоминал прежнюю его одежду — элегантную, несмотря на простоту, ладно сидевшую на его мальчишеской фигуре. Молодой Помещик опустил руку, Тетка подбежала к нему и, всмотревшись в странно выглядевшее без очков лицо брата, воскликнула:

— Глаза?..

— Ничего. Ты мне одно скажи, зачем тебе понадобилось даже коней сжечь? — неожиданно спросил Молодой.

И прежде чем Тетка успела как следует разглядеть его покрасневшие от дыма глаза, он повернулся и, не промолвив больше ни слова, будто вопрос его для нас и так очевиден, сделал несколько неверных шагов к двери своей комнаты и с треском захлопнул ее.

За все время болезни брата Тетка не сумела ни словом обменяться с ним. Мечась под дверями комнаты, где в полумраке лежал Молодой, она пыталась уловить хоть какой-нибудь шорох, скрип кровати.

— Как же так? — выпытывала она. — Лежит и — ничего. Может, он все же сказал тебе что-нибудь?

— Нет, — в который уж раз повторял я. Молодой Помещик не соизволил даже движением век дать мне понять, что он замечает мое постоянное присутствие.

Сидя, по указанию Тетки, в этой душной комнате, почти скрытый от глаз больного резной глыбой старого шкафа, я порой начинал ощущать, что уже оказываю ему последнюю земную услугу — дежурю у его трупa. Когда никакими силами не удавалось отогнать от себя эту жуткую мысль, я принимался шелестеть старыми газетами, лежавшими в углу, за шкафом. Больной, не поворачивая головы, взглядывал на меня своими налитыми кровью глазами, губы его шевелились, он словно решался поверить мне во время этого последнего дежурства нечто чрезвычайно важное, возвращающее его к жизни, — но законы смерти пересиливали. Губы, готовые произнести неведомые слова, теряли живые очертания, и, торопливо покидая комнату, я снова прощался с живым трупом...

Первые четыре дня болезни Тетка свято верила в эффективность приписанных городским аптекарем микстур. Она ревностно выпрашивала, глотает ли больной то, что она велела вливать ему сквозь недвижные губы, но когда ясно стало, что, несмотря на пассивное его повиновение, ничто не предвещает поправки, она велела мне немедленно выяснить, что означают эти странные, «заживо сожженные кони», виновницей смерти которых она якобы является.

О врачах в Охотничьем Домике пока что и не помышляли. По Теткиному убеждению, вызвать кого-то из этих «коновалов, разносящих микробы смерти от

больного к больному», означало бы признать неизлечимость болезни. С незапамятных времен врачей в Бачев приглашали — считая это чуть ли не официальной их обязанностью — лишь для свершения печального обряда: они закрывали глаза покойникам. Так что мне поручено было пока что узнать подробности о пожаре у батраков, а главное — о лошадях.

— И ты думаешь, он имел в виду тех двух замороженных полудохлых кляч? — взволновалась она, когда я, сбегав в деревню, подробнее рассказал ей о событиях, которые, по нашему мнению, были причиной странной болезни Молодого Помещика. Да, так оно и было. Он, в ком старшая сестра воспитала культ породистых и презрение к бесполезным животным, имел в виду именно двух запаршивевших, чудом еще державшихся на ногах кляч; поскольку они совсем вышли из строя, их оставили на волю судьбы в конюшне.

Не удивительно, что во время пожара о лошадях этих начисто забыли. Сбитая из смоляных досок конюшенка поставлена была в стороне, чтобы зараза, поразившая несчастных ветеранов усадебной службы, не перекинулась на здоровых, купленных еще во время отступления немецкой армии першеронов, — и потому огонь, охвативший все прочие постройки, сперва пощадил ее.

Но спустя немного времени, когда на гумне грохотались уже горы туго набитых подушек, обломки мебели, попоны, одеяла и все это старательно заливалось водой, — сухая веточка акации, росшей на задах усадебных руин, оторвалась вдруг и, неся на себе быстрые язычки пламени, упала на крышу пропитанного смолой сарая. Жалкие доски крыши мгновенно занялись, и тут — рассказывали мне — все услышали крик; не вопль, не ржанье, а именно крик заживо горящих кляч. Теперь, когда стало широко известно, что сказал молодой Бачевский своей сестре, — а деревня ненавидела ее и даже подозревала в соучастии при поджоге — все настроены были приписывать мгновенной и жестокой смерти хворых лошадей слишком большое значение.

— Ишь, какие чувствительные, — издевалась Старая Помещица. — В бачевских хибарах, верно, впер-

вые в жизни так много говорят о смерти животных. Это они-то — любители лошадей? Будто я собственными глазами не видела, как они в течение многих лет мучили усадебных животных, стоило только отвлечься на минуту. — И нервно выстукивая дробь пальцами по столу, она рассказала мне, как ей пришлось даже прогнать двух батраков за то, что они лупили вальками по изувеченной спине лошадь, неспособную сдвинуть с места тяжеленный груз.

— Вот тогда-то я и дала впервые батраку в морду, — заявила она.

Я хорошо знал эту сцену, ее часто вспоминали в бараках. Впрочем, никто и не думал тогда оспаривать Теткино право давать в зубы. Ведь избиваемая дубинками «живность» была как-никак ее собственностью. Рассказчики особенно подробно описывали дрожащую, как осиновый лист, лошадь, которая ржала, не в силах сдвинуться с места, и «пухла на глазах». Когда Тетка подбежала к избивающим, из ноздрей животного текла быстрая струйка крови и тут же закала, чернела на пропыленной шерсти.

— До сих пор жалею, что слишком слабо ударила, — нервничала бачевская барыня. — Тоже мне, любители животных. И как же он, зная меня, осмелился допустить мысль, что это я обрекла на смерть тех двух бедолаг. Так ты говоришь, не «ржали», а «кричали»? — переспросила она.

Именно этот лошадиный крик, пронзительный вопль, донесшийся вдруг из пылающего сарая, заставил на мгновение всех, занятых гашением тлеющих перин, взглянуть в ту сторону, где, словно бы многократно усиливая этот крик, полыхала старая, сухая акация. И каждый из свидетелей пожара клянется, что видел, как Молодой Помещик, бросив спасать пожитки, ринулся туда, где клубами валил смоляной черный дым.

Тонкие двери сарая, видно, сразу уступили его напору. В пропитанной смолой конюшенке пока что было больше дыма, чем огня. Лошади, ошеломленные внезапным потоком свежего воздуха, утихли, и в этой, почти глухой без их воплей, тишине, нарушаемой лишь потрескиванием огня, все явственно слышали крик

Бачевского: он звал кого-нибудь с топором — обрубить балку.

Только теперь все осознали, что больные лошади неминуемо обречены на гибель. Сарай, выстроенный вокруг старого столба, — давней коновязи для верховых коней, — полыхал ярким пламенем. Каждому, кто знал этот вкопанный в землю столб с вбитыми в его старое дерево крюками, стало ясно, что никакому топору его не срубить. Надо было найти того, кто неосмотрительно замкнул цепь висячим замком, вместо того чтобы просто привязать ее к крепким скобам.

— Ключ, где ключ! — иступленно вопили вокруг, и лишь Михал, — прибежав из парка, он мгновенно понял всю безнадежность поисков ключа, — криком своим: «Цепь размотайте», — напомнил людям, пассивно наблюдавшим за усилиями Молодого Помещика, о простейшем способе спасения обезумевших животных.

Но было уже поздно. И Михал, прыгнув в снопы искр, взметнувшихся над крышей сарая, думал уже только о спасении Бачевского. Крик заживо горящих животных на минуту еще заглушил все отзвуки пожара и утих, задавленный тяжестью рухнувшей на крышу акации. Михал, прикрыв полую куртки лицо спасенного, бежал к колодцу — все так и полыхало на нем, казалось, он слишком поздно покинул пожарище, уже превратившееся в один огромный язык пламени.

— Надо все же поблагодарить Михала за спасение брата, — решила Тетка, и во время очередного своего визита в деревню я сообщил бывшему фореитору, что Старая Барыня хочет срочно повидаться с ним.

Как ни странно, Михал явился в усадьбу на следующий же день. Одетый словно к обеду, он с достоинством поцеловал Тетке руку и поставил перед ней солидных размеров корзинку.

— Это для больного, — заявил он, приоткрыв тряпицу. — Ему сейчас лучше надо питаться. А у вас теперь, известное дело, не густо.

Тетка внимательно поглядела на спасителя Молодого Помещика и, взяв в руки одно из заботливо уложенных в корзинку яиц, презгливо заметила:

— Тебе, мой милый, пора запомнить, что помещик в вашем войске уже отвык, как я слышала, от

всего господского. Теперь и офицеры вроде бы солдатским хлебом питаются. Бедность в новом королевстве, а?

— Бедность, — согласился фореитор, — но уж теперь недолго.

Глядя, как Тетка, осторожно отложив яичко, тщательно вытирает платочком руки, я вдруг вообразил, что этот визит, задуманный как благодарность усадьбы деревне, завершится сейчас звонкой пощечиной. Теткина рука приложится к гладко выбритой, покрасневшей от тесного воротничка физиономии Михала. Но Старая Помещица лишь подошла поближе к своему бывшему батраку и, слегка склонив голову к левому плечу, стала внимательно разглядывать его красное от натуги лицо, тщательно приглаженные волосы, нескладный, переделанный из немецкого мундира пиджак и, словно осмотр этот подтвердил ее мнение, снисходительно заметила:

— Во власть играете. Знаешь, мой милый, — обратилась она ко мне, — когда я еще училась в пансионе, у нас был так называемый «зеленый день». Это значило, дорогой мой Михал, — ведь в твоём семействе никто в пансионе не учился, — что дети в этот день играли в учителей. Ах, как нам это нравилось. Как приятно было хоть на минуту влезть на кафедру. Изобразить старого латиниста или математичку. Но так было лишь в «зеленые дни», понимаешь, а назавтра начиналась нормальная школьная жизнь. Так вот, как бы вам по истории не выставили жирной двойки.

— А почему это нам? — удивился Михал. — Я за эти годы, пока в лесу был, считайте, больше чем начальную школу окончил. Это, правда, меньше, чем пансион, — добавил он, по примеру помещицы склонив голову набок, — но о Шеле¹ нам успели довольно подробно рассказать. Вы небось знаете, был такой...

— Не имела чести лично быть знакома, — холодно изрекла Тетка. — Мне бы не хотелось мешать твоему разговору с Молодым Помещиком, но прошу — не вспоминайте таких грустных легенд. Ведь этого Шелю,

¹Якуб Ш е л я (1787—1866) — известный предводитель крестьянского восстания 1846 года в Галиции.

насколько я помню из истории, кажется, повесили, не правда ли?

— Такое лишь девицам из пансиона втолковывают, — хмуро буркнул Михал.

* * *

Так протекал их последний разговор. Потому что следующая их встреча, когда внезапный стук в ставню вынудил моего отца покинуть теплую постель и, прежде чем Тетка успела добежать из соседней комнаты, он широко растворил окно невероятной вести, которая свалила наземь бачевскую помещицу, — следующая их встреча длилась ровно столько времени, сколько понадобилось Михалу, чтобы выдавить из себя несколько страшных слов об убийстве Молодого Помещика.

— У него не было времени на долгие разговоры, — рассказывал отец об этом визите Михала. — Ведь у него у самого земля под ногами горела.

Это было сказано столь же точно, как и «свалила наземь», — так отец, немного грубовато выразил свое изумление, когда, закрепляя раскрытые настежь ставни, он, еще не расслышав, что именно пробормотал вынырнувший из мрака человек, заметил вдруг смертельную бледность Теткиного лица. И прежде чем, запутавшись в муслиновых занавесках, отец успел подбежать к ней, чтоб довести до ближайшего стула, на полу гостиной вспыхнуло пламя — от лампы, задетой Теткой при падении.

— Я позвал его, — рассказывал отец, дрожа при одном воспоминании об этом, «к счастью, еще вовремя погашенном огне», — чтобы он помог мне хотя бы перенести барыню на кровать и забросать одежкой горящие доски пола, но Михала уже и след простыл. Исчез, как дух, — добавлял отец, суеверно крестясь и признавая, какой страх объял его при виде пустого окна, где сквозь развевающийся и уже тронутый огнем муслин не видно было ничего, кроме безжалостных в своей сухости ветвей осеннего граба.

— Потом мне сказали, что он бежал в сторону болот. И правильно сделал, не хватало еще, чтоб он остался тут и ухаживал за помещицей, дожидаясь, пока

за ним придут те, кто застрелил Молодого... Но тогда, пока мне не удалось погасить этот проклятый огонь, зажечь свечи в канделябре и принести подушку, я желал ему скорой смерти в трясине. Длилось это почти полночи. Сам я не в состоянии был перенести ее на кровать. Пришлось ждать, пока она очнется; лишь под утро я сообразил побрызгать ее водой, чтоб привести в чувство. Она открыла глаза и тут же спросила: «Где Михал?» Я ответил, — потому что и сам в это поверил, — что это, мол, обман зрения, призрак, дурной сон, — а она сперва заплакала, а потом снова сознание потеряла.

Михал и вправду прятался на болотах. Когда я, побуждаемый странным письмом отца, снова приехал в Бачев, в деревне рассказывали, как он пытался застрелить из револьвера одного из конвоирующих помещика «лесных», а потом выскочил из овина, что неподалеку от статуи Флориана, и помчался напрямиком в усадьбу.

Однако Михал не стрелял. Спрятавшись — как я позже узнал от него самого — за тонкой стенкой полуразрушенной конюшни, он видел, а вернее, больше слышал, чем видел, весь ход этой неожиданной экзекуции. Еще прежде, чем я успел спросить его о револьвере, которому отведена была столь важная роль в легендах об этих событиях, он сам, горячась, стал объяснять, что и впрямь подумывал застрелить хоть одного «из этих убийц», но что бы это дало? Сразу открыли бы его убежище — и все.

— Это Она, — так он называл теперь Тетку, — распускает слухи, будто я трусил, не хотел защитить его. Я, мол, уговорил помещика, спятившего после того случая с лошадьми, подписать бумажки, где разрешалось брать усадебную землю. А на самом-то деле я всего лишь то ему и сказал, что в деревне, мол, бояться усадебные земли брать. Не верят реформе.

Как раз это и нужно было. Я припомнил свой разговор с ксендзом и подумал, что молодой Бачевский, вернувшись домой, видимо, тут же понял, в чем причина странного равнодушия деревни, неприязни крестьян к реформе или страха перед ней.

Потому и приходили они к нему за бумажками. Молодой Бачевский скрупулезно выписывал их, ставя

на каждой свою четкую подпись. Как законный наследник, он имел право отдавать то, что ему принадлежало. Никто, — даже если слухи о скором падении власти коммунистов подтвердились бы, — не смог бы отменить эти дарственные.

Отменить их мог только он сам, бачевский помещик, одержимый, если верить Тетке, после того пожара манией раздачи крестьянам родовых владений. Вот почему и возникла мысль принудить помещика отказаться от дарственных. Поставить его лицом к лицу с деревней, и пусть он объявит во всеуслышание, что дарственные — недействительны, что, подписывая аккуратно выведенные на больших листах канцелярской бумаги «акты братского пожалования земли», он был не в своем уме.

Мнение деревни — и оно непоколебимо — гласит, будто все, что случилось потом у статуи Флориана, было задумано обезумевшей от алчности старой помещицей. Она якобы донесла «лесным» о тайной реформе, она внушила им страшную по своим последствиям мысль о насильственной отмене пожалованной земли. Слушая рассказы о том, как она в течение нескольких недель сносила с руководством «истинной Польской Армии», уговаривая «лесных» выступить в защиту усадьбы, я — несмотря на твердую убежденность в ложности всех этих подозрений — вынужден был признать, что вообще-то Тетка способна была на такого рода действия. Как случилось на самом деле, теперь уж никто не узнает. Но если она и вправду пыталась столь рискованным способом склонить брата к отмене дарственных, то, конечно же, не предвидела, просто не могла предвидеть его гибели.

Помещик был схвачен солдатами «истинной Армии» во время одной из дальних своих прогулок, — он часто совершал их теперь — то ли для поправки здоровья после недавней болезни, то ли — это мое мнение — чтобы ограничить до минимума свои встречи с Теткой. Итак, Бачевский, приведенный под конвоем на середину деревни, должен был под дулом парабеллума, приставленным к его торчащим из-за худобы ребрам, отречься от всех своих обязательств.

Впрочем, на это рассчитывал и Михал. Ошеломленный неожиданным поворотом событий, он рассказы-

вал, что, наблюдая за всем этим сквозь щель в стене своего укрытия, он даже курок револьверный не взвел, так убежден был, что через минуту молодой Бачевский начнет послушно зачитывать протянутую ему бумагу.

— Он такой спокойный стоял, что я только об одном и подумал, не пришло бы им в голову в довершение всего ближайшие овины обшарить. Ведь не я один прятался. Деревня уж наперед знала, откуда они идут, еще прежде чем его к Флориану привели. Ну и, как обычно, перед приходом «лесных» люди стали поросят прятать, муку; девушкам — тем, что покрасивше, — за гумном велели отсиживаться. А у меня даже мысли такой не было, чтоб добро спасти. Только собственную шкуру. Даже кожуха не прихватил.

Про кожух он то и дело поминал, словно одна уж эта картина — он, в одном пиджачишке перебегающий дорогу, где слышен уже визг свиней, заталкиваемых за двойные стенки дровяных сараев, — доказывала бессмысленность какой-либо попытки сопротивления.

— Кто знал, что он таким гордым окажется, — рассуждал Михал, пытаясь объяснить, почему он не решился применить оружие. — Кто знал, что он, Бачевский, не захочет врать даже по принуждению.

Минут через пятнадцать у статуи Флориана собралось почти все население деревни. Еще тянули, ждали тех, кто жил теперь в развалинах усадьбы. Офицеры, окружавшие Молодого Помещика, нервно постукивали носками запыленных сапог о каменный цоколь статуи римского legionera — покровителя пожарников. Один из них, словно раздраженный равнодушным ликом Флориана, с усилием льющего воду из ковшика, взял из рук солдата винтовку и стал поправлять четки, криво висящие на руках святого.

— Так можно порвать веревку, и все рассылетя, — равнодушно заметил Бачевский. — Все тут сгнило от дождя.

— Церковное хозяйство обычно приходит в упадок, когда священнику грезится правление Христа на земле, — ответил офицер. — О Рыболове грезит, — прибавил он, закулив сигарету. — Вы, пан Бачевский, наверно, внимательно слушали его проповеди в прошлое воскресенье. Так вот, когда вы уйдете отсюда, будьте

любезны, передайте ксендзу от нас горячий поклон, а так же просьбу, чтобы в этих сказаниях о двух ипостасях Христа — и где он вроде короля, и где как бедный Рыболов по свету скитается и учит равенству между людьми, — он не заходил бы слишком далеко. Покорнейше просим об этом...

— Когда уйду отсюда... — задумчиво произнес Молодой Помещик.

— Ну да, уйдете, вот только маленькие формальности уладим. Во всяком случае, мне бы не хотелось в будущее воскресенье слышать проповедь с красивой цитатой из Евангелия: «раздайте все нищим и следуйте за мною...»

— Нельзя запретить священнику цитировать Евангелие, — заметил Бачевский. — Это же входит в его обязанности.

— Насколько я помню, в том же Писании сказано о Христе, что он пришел не мир принести на землю, но меч. Так, во всяком случае, проповедуют ксендзы в соседних приходах. Я думаю, с проповедями о раздаче всего нищим несомненно надо обождать, пока кончатся эти бредни о реформе.

— Тихо там, — рявкнул вдруг кто-то в шеренге солдат, окружавших группу офицеров, и словно бы окрик этот имел силу удара, под ноги одного из конвоирующих помещика «лесных» покатился сверток, отобранный у какой-то бабы. Офицер осторожно отодвинул его и, прислушиваясь к стонам хозяйки узелка, — ее ткнули прикладом в живот, — быстро повернулся к Бачевскому.

— Вас, я вижу, не очень трогают эти рыдания. Верно говорили, что Бачевские — люди твердые.

— А вы, капитан, разве не из поместья? — поинтересовался помещик.

— Нет, из деревни. Хозяйство у меня.

— Как это, хозяйство?

— Вы, помещики, верно, думаете, что мы отсиживаемся в лесах ради того лишь, чтобы вас защищать, — рассмеялся капитан. — Вам-то все равно конец. Но сейчас нельзя допустить, чтобы землю получили от коммунистов.

— Почему же? Земля-то одна...

— У вас еще есть несколько минут на размышление. Вот придет наше время — тогда подписывайте эти бумажки на здоровье. И приверженцем Евангелия мы тоже никому быть не воспрещаем. Но не сейчас. Не сейчас. Сперва усадебная земля, а потом колхозы и кулаки. Я был там у них, в Советах, — он придвинулся к Бачевскому, — понимаете? Был. Видел, как все это происходит. Быстрехонько, — проскандировал он и, явно утомленный этими объяснениями, направился в ту сторону, где солдаты, образуя широкое каре, присоединяли к собравшейся толпе батраков, живших теперь в руинах усадьбы.

Итак, все было готово к той минуте, когда Молодой Помещик, выслушав краткое обращение капитана к собравшимся крестьянам, должен был зачитать врученную ему бумагу. Этим актом он добровольно признавался перед лицом всех собравшихся в минутном помрачении рассудка, что повлекло за собой поспешный и непродуманный поступок — дарственные на землю. Разумеется, дарственные эти — недействительны. Эту истину должен был внушить собравшимся маленький чернявый подпоручик.

Согнанные на площадь крестьяне были выстроены в длинные ряды. Под напором ружейных прикладов ряды эти сломались, образуя огромный, неправильный четырехугольник. Двое «лесных» еще пытались придать этой нелепой фигуре достойные очертания квадрата, но капитан, махнув рукой, счел приготовления удовлетворительными.

В своей сухой речи, произнесенной привыкшим отдавать команды голосом, он предостерег деревенских жителей, чтобы они не вздумали слишком доверять мнимым победам коммунистов.

— Этому скоро конец, — кричал он, — а те, кто опозорил звание гражданина и поляка, кровью своей за это заплатят. Не видать им пощады — эти слова были явно обращены к помещику, ожидавшему, когда ему велят читать заявление, — никому не видать пощады, будь то простолюдин или, не дай бог, предатель из больших господ. А этих, — распалился оратор, — мы покараем особенно сурово. Потому что наша власть, в отличие от власти красных, — справедливая и де-

мократичная. И мы постепенно разберемся, что кому причитается — награда или кара.

В заключение капитан заявил, что сегодня, по случаю близящегося рождества, руководство отряда истинной Польской Армии постановило в последний раз отпустить прегрешения перед богом и отечеством и остеречь, чтоб никто больше не поддавался нашептываниям красных комиссаров.

Закончив тираду, оратор еще раз оглядел благоговейно молчавшую толпу и, очень удивленный, обратился к солдатам, окружавшим крестьянский четырехугольник:

— Что эти люди, онемели, что ли?

— Ну-ка, кто поблагодарит пана капитана за добрые советы и милосердие? — спросил чернявый подпоручик.

Как рассказывал потом Михал, крестьяне, пятясь под натиском солдатских шеренг, в течение почти десяти минут упражнялись:

— Благодарствуем, пан капитан.

Наконец после вполне удавшегося крика капитан соблаговолил прекратить обучение, и на площади у статуи Флориана воцарилась внезапная тишина.

— Я чуточку сдвинул доску и увидел, что молодого Бачевского подталкивают к тому месту, где перед тем стоял командир «лесных».

Лязгая зубами от пронизывающего ветра, который срывал остатки крыши с коровника, бывший усадебный фореитор мог теперь как следует разглядеть щуплую фигуру Молодого Барина.

Помещик спокойно взял бумагу из рук чернявого подпоручика и, еще раз прочитав про себя текст заявления, отдал его обратно несостоявшемуся юристу. Охрович растерялся, но решив вдруг, что оно, пожалуй, даже достойней будет, если Бачевский подтвердит фразу: «Да поможет мне бог», завершающую это путаное обращение, стал медленно, повторяя наиболее трудные места, сам читать заявление о незаконных дарственных. Бачевский слушал спокойно, казалось даже, что он одобряет наиболее интересные формулировки.

Когда Охрович, с пафосом провозгласив: «Да поможет мне бог», — обернулся, ожидая повторения клятвы, помещик снова взял у него из рук бумагу и, под-

няв ее высоко к свету, еще раз пригляделся к написанному, словно надеясь обнаружить на листочке тайные водяные знаки.

Капитан «лесных», удивленный затянувшимся молчанием, коснулся его плеча и процедил:

— Ну же, прошу вас. Скорее, пан сержант.

— Это нас и спутало, — объяснял Михал. — Похоже было, что вот сейчас помещик скажет наконец то, чего от него требуют. Кто б его за это упрекнул? И смотреть было вроде уже рискованно. Я задвинул доску и стал подумывать, куда бы скрыться, пока они не взялись обыскивать овины.

Да, это нас спутало. Такого мы, однако, от него не ожидали, — повторял он, пытаясь передать, как велико было изумление стоявших в тесных шеренгах крестьян, когда они вместо клятвы, которая подсказывалась Молодому Помещику, услышали хруст разрываемой бумаги и увидели подхваченные ветром клочья заявления о незаконных дарственных.

VII

Уверенность Михала, что помещик наверняка будет вынужден отступить от своих обязательств, видимо, разделялась всей деревней. Принимая от Молодого Барина подписанные им дарственные и даже считая эти не имеющие никакой юридической ценности бумажки действительным разрешением на землю, крестьяне не верили в демократизм Бачевского. Для всех местных он по-прежнему оставался ребенком — человеком куда менее значительным, чем его сестра, которую ненавидели, но и уважали чрезвычайно.

«Он всегда человечный был», — говорили о нем, имея в виду его душевную теплоту, упорное стремление дружить с теми, кто жил по другую сторону парка и которых его старшая сестра частенько обзывала «полухамами». Он был товарищем игр деревенских мальчишек и особенно любил бывать в той части деревни, где, отгороженные лиственницами от пыльного тракта, располагались старые усадьбы мелкопоместных шляхтичей. Какое-то время он даже учился в деревенской школе. Ксендз Станиславский, души не чаявший

в молодом наследнике из Бачева, часто рассказывал; какой скандал разразился в усадьбе, когда мальчик заявил там, что ему-де не нужны никакие другие учителя, кроме деревенских.

— Он один не боялся Старой Барыни, — говорил ксендз.

Уже тогда, вызванный в усадьбу, чтобы «задушевно» поговорить со строптивым ребенком, не желающим слушать советов старшей сестры, ксендз понял, что этот мальчик не будет похож ни на одного из владельцев усадьбы. Впрочем, упорством он обладал воистину бачевским. И такой силой характера, что даже временная владелица усадьбы вынуждена была покориться ему. Остальным, — то есть мягкостью, обаянием и полным отсутствием спеси, «отмечающей дьявольским клеймом всех, кто носил эту фамилию», — он был обязан, по мнению ксендза, своей матери. Об этой рано умершей, тихой, святой женщине более всего можно было узнать из рассказов священника.

Тетка предпочитала избегать такого рода воспоминания. По смутным слухам, тоже исходившим от ксендза, между этой мягкой женщиной и ее дочерью, унаследовавшей все пороки рода Бачевских, нередко доходило до резких столкновений. Во всяком случае, ксендз недвусмысленно намекал, что в краткий период Теткиного правления, когда из-за болезни матери она «слишком рано получила права совершеннолетней», тяжкая атмосфера продолжала царить в усадьбе.

— Правда, она взяла на себя заботы о маленьком братце, который появился на свет шестнадцать лет спустя после нее и был первым долгожданным мальчиком в роду. К тому же, совсем не зная отца, даже в младенчестве. Его называли «посмертник», вспоминая тот страшный день, когда в усадьбу прибыло двое товарищей погибшего, чтобы вручить беременной вдове сообщение о героической гибели ротмистра Бачевского в боях под Березиной и о присвоении ему посмертно Креста Доблестных за героическую борьбу с красными казаками Буденного.

Так и рос Молодой Помещик — между «тяжкой, злой любовью сестры, которая хотела сформировать его по образу и подобию отца, и благожелательностью

деревни, помнившей доброту его матери». Мальчик был невысокий, худощавый, одна внешность его словно бы уже исключала всякое сходство с доблестным ротмистром. Впрочем, деревня никогда не принимала Молодого всерьез, в отличие от на редкость вспыльчивого отца его, будившего ненависть к себе, но и смешанное со страхом уважение. Крестьяне обычно с интересом ожидали, какой еще фортель выкинет «барчук». После брака с моей сестрой, к которому деревня отнеслась так же враждебно, как Тетка, там пророчили, что пришло время взрослому помещику расплачиваться за мальчишеские свои выходки. Уход Молодой Помещицы лишь подтвердил это мнение о наследнике бачевской фортуны — хоть и хороший он человек, да зелен уж больно. И то, что он роздал земли, отнюдь не расценивалось, как тщательно продуманный, мужской поступок. В этом скорее усматривали отречение, неприятие всякой борьбы, свойственное роду, из которого происходила его мать. Подписи, которые он ставил под дарственными, всего лишь ускоряли и так бесповоротно принятое крестьянами решение вторгнуться на усадьбные земли.

— Мог бы и прочесть, как ему велели, ту бумагу, и поклясться, что не в своем уме тогда был, все равно усадьбе той земли уже вовек не видать.

Столь неприятная для всякого, кто поддался обаянию этого мальчика, убежденность в бессмысленности его смерти, повелела мне воспротивиться безжалостно правдивым — я хорошо это чувствовал — словам Михала.

— Он как-никак голову за это сложил.

— Не он один, — заметил Михал. — Но славы он добился, это точно. Зря вот только мы оставили тут его сестру.

— Ты тоже считаешь, что она подослала тогда «лесных»? — спросил я. Это был главный пункт, от него зависела дальнейшая оценка Теткиных поступков. Только это и не было бесспорным — даже заклятые враги Старой Барыни вынуждены были отказаться от слишком поспешно вынесенных приговоров над «братоубийцей».

— Нет, — сказал Михал. — Наверняка не она. Но нельзя было тогда оставлять ее тут, позволить жить

почти на том же самом месте. Вот и сбылось то, что нам тогда в городе предсказывали.

Я хорошо помню наши старания удержать Тетку в Бачеве. Оставить ей Охотничий Домик и несколько примыкающих к нему моргов земли, которые из-за недосмотра землемеров не были учтены реформой. Вместе с Михалом мы настойчиво боролись против официального указания: не оставлять бывших помещиков на земле того же уезда. Мы стучались в двери местных начальников, одержимые уверенностью: нельзя допустить, чтобы у последнего представителя рода Бачевских не осталось тут ни одного, пусть даже самого никудышного родственника, который бы ухаживал за его могилой.

И случилось так, что решение, в конце концов поставившее Тетку вне суровых законов реформы, было единственным ощутимым результатом деятельности Молодого Помещика. Потому что, вопреки заверениям ксендза Станиславского, я уже не верил в силу «морального разрешения», — так священник называл дубликаты дарственных актов, которые выдавались в усадьбе. Да и кому нужно было это «моральное разрешение»? Более всего ему, священнику, так и не сумевшему до конца совместить божьих заповедей с превышающей его революционные устремления действительностью первых послевоенных месяцев. Благодаря этой смерти, рассуждал он, добродетельный акт — дележ с ближним избытком собственности не превратился «в насильственный, боже избави, захват». И нищих одарили, и богачей не выгнали прочь с земли, которая была — как он красиво выразился в одной из торжественных проповедей — «могилой их отцов».

— Сбылось все, что нам предсказывали, — повторил Михал. — Теперь она опять тут первая. Землю у крестьян выкупает, а беззаконием такое не назовешь. И это тут, — возмутился он, — где сгоревшие деревья еще напоминают, как рухнула старая усадьба.

Наблюдая, какой он стал порывистый, резкий, я понял, сколько правды содержалось в сплетнях, будто Михал вернулся из своего убежища на болоте совсем другим человеком. Он, как и Тетка, был одержим теперь борьбой за власть в Бачеве, власть, которую Старая Помещица уже никак не могла вернуть, даже если

о выкупила всю ранее принадлежавшую крестьянам землю. Но при этом он потерял способность благоразумно оценивать свою противницу и ее поступки.

«Не стоит, — подумал я, — не стоит рассказывать ему о визите в Охотничий Домик мнимых посланцев деревни, которые требовали немедленно отдать им клад, якобы укрытый в сундуке, выкопанном самым наглым образом среди бела дня». Я даже не знаю, слышал ли он вообще об этом Теткином поступке, хотя всю округу облетела весть, как Старая Барыня появилась в парке с лопатой в руках и у самого дома выкопала ларь, содержимое которого никому не ведомо.

«Впрочем, я ведь увижу этих посланцев», — подумал я, вспомнив, что именно сегодня, по словам Тетки, они должны были прийти для окончательного разговора. Меня даже удивило, что известная своей сухостью бачевская помещица решила так бессмысленно затягивать эти странные переговоры. О том, чтобы она отдала содержимое выкопанного два дня тому назад ларя или хотя бы сооблаговолила объяснить, что хранится в сбитом из толстых дубовых, почерневших от времени досок сундуке, конечно, не могло быть и речи. Тетка обладала особого рода храбростью, растущей по мере усиления опасности. А затягивающиеся переговоры казались мне все более опасной игрой.

— Поймите же, тетя, — разъяснял я ей, — все это совершенно бессмысленно. Я даже не уверен, имеют ли право эти люди, пусть даже незаконно, называть себя делегатами деревни.

— Вот именно, — подхватила Тетка. — Я как увидела их, сразу поняла, что они не здешние. Но ведь так было во все времена, когда зло грозило усадьбе. Чужие пришли сюда невесть откуда, чужие велели отобрать у нас землю, чужие, — прохрипела она, — забрали у меня брата и убили его.

Я знал — ничто не сломит ее упорства. Ей снова казалось, что она проникла в причины крушения мира, в котором, несмотря на все испытания, продолжала жить. Я хорошо знал этот мир. Люди, живущие по его законам, не допускали и мысли о черной неблагодарности «любимых и добрых крестьян». Зло, причиненное поместьям, объяснялось вмешательством неведомых сил, почти что безумием, которое обуюало «всех

этих несчастных бедняг». Казалось бы, Тетка, много лет ведущая упорную борьбу за удержание позиций усадьбы, лишена хотя бы этих иллюзий. Ведь она отбирала у крестьян искони принадлежавшие им земли, боролась с ними так, словно они-то и были виновниками всех бед, постигших род Бачевских. Побудила ее к тому единственно жадность к земле, чувство, которое она познала, восстанавливая морг за моргом, свое значение на этих бесплодных полях. Но в последних письмах я заметил словно бы перемену в ее убеждениях. Стареющая, одинокая, она, видимо, не могла уже, как раньше, с презреньем отметать мысль о том, что неволью стала причиной смерти любимого брата. Доказательством того, как жаждала она любым способом отделаться от этих мыслей, была ее отчаянная борьба за право поставить такой памятник незабвенному покойнику, который указывал бы, пусть посмертно, на его неразрывную связь со своим родом.

То же, что задумала моя сестра, было профанацией идеи единения всех Бачевских, которую воплощал в себе воздвигнутый, вернее, обновленный и расширенный старый фамильный склеп. Там — рядом с ротмистром, тело которого, с невероятным трудом было все же доставлено с маленького, затерянного в полесских лугах солдатского кладбища, рядом с его женой, рядом со старыми надписями на могилах прадедов, положили гроб с телом столь необычного в этом роду помещика.

Здесь, перед лицом «узаконенной, господской», как я мысленно ее называл, смерти, на почтительном расстоянии (как почетные лавки в костеле) от заурядных могил, можно было даже примириться с наградами, полученными Молодым Помещиком в «войске коммунистов». Крест Доблестных, который дали ему за мужество, проявленное во время взятия поморского городишки, ничем не отличался тут от той же награды, присвоенной посмертно его отцу за сопротивление «большевистскому нашествию». Эта мнимая общность и позволила Тетке строить старческие химеры о деятельности «чужаков», которые якобы опутали крестьян, уничтожили усадьбу, убили помещика, а теперь хотят помешать исполнению его последней воли.

— Хамы, ну просто хамы, мой мальчик, — говорила она. — Думаешь, я их боюсь? Знаю, им не по вкусу огласка его последней воли. Они надеются уничтожить то, что сделал мой брат. Хотят отобрать у меня бумаги, где значится, что он, — понимаешь, он сам, — отдавал землю крестьянам. А потом, когда бумаг этих не будет, они станут уверять, что сами это сделали... Их реформа. Сотрут благодарную память о нас. — Резко постаревшее за последний год лицо Старой Барыни напоминало застывшую маску.

«Как же она изменилась, — подумал я. — Ведь совсем еще не старая...»

— Понимаешь... Отобрать все... Перечеркнуть... Обо мне, выкупавшей их обремененные долгами угоды, чтоб они не достались в чужие руки, теперь говорят, будто я, как все Бачевские, пью «кровь народа». Крозь народа! — крикнула она с такой страстью, что удивление мое, когда она неожиданно заявила о защите крестьянской земли от посягательства чужих, — уступило место страху.

Женщина, выбрасывающая сейчас из глубины дубового ларя пропитанные сыростью бумаги, способна была без оглядки поверить в любой, ею же созданный миф. Лишь бы миф этот отогнал подальше мысль об истинных причинах упадка имени и смерти брата.

— Она старела, сын мой. И сердце у нее давно уж пошаливало. — Священник, пригласив меня зайти с кладбища к нему, в его темную гостиную, не преминул поразмышлять вслух над причинами столь резкой перемены в характере Тетки.

— Впрочем, была ли перемена? — задумался он. — Мне, мой милый, всегда казалось, что она в равной мере могла стать и святой, и великой грешницей. Такой уж у них был характер. Похожа на брата, ох, как похожа. Но я ей этого не говорил. — Он вознес руку, так же как во время длинных проповедей, направленных против «алчной, хоть и щедро одаренной богом, грешницы». — Нет, я не сказал ей этого, пока не сложились в ней вавилонская ее гордыня.

Слушая библейскую ругань ксендза, я думал: вот и этот уже отходит в тень. Скоро и он уйдет, как его бачевская антагонистка, ненужный здесь со своими

рассуждениями, основанными на цитатах из Евангелия, с проповедями, которые призваны были пробуждать «совесть фарисеев», а оставили вечный след лишь на плюшевой подстилке амвона благодаря мощным, достойным пророка ударам его кулака.

— Так вот, я объявил ей это, когда она воистину примирилась с богом и осознала грех свой — чрезмерную гордыню.

Священник поднялся с кресла и, торжественно указав на стоявшую под «Чудотворным Иисусом из Роси» обшарпанную скамеечку для моления, возопил:

— Тут заливалась она горькими слезами. Горькими слезами искупления. Сперва я, бедный грешник, не поверил, что бог снял с нее проклятье алчности и гордыни. И сказал я ей, — прости мне, господи, мои прегрешения, — чтоб шла она, как и прежде, к викарию на исповедь. Он, мол, не станет требовать, чтоб она полностью отринула дух зла и уничтожила все, до последнего, зернышки плевела. А она — ничего, только плачет, бедняжка. — Он вдруг расчувствовался, и вместо вылитого портрета Скарги¹ — этого любимейшего проповедника всех ксендзов, я увидел перед собой старикашку, тихо оплакивавшего в зимние вечера за пасьянсом умерших своих прихожан.

— Боже мой, ничего, ни слова, только стоит коленопреклоненная и плачет. — Священник вынул из глубины сутаны маленький кружевной дамский платочек и показал мне его: — Вот, тут позабыла. Когда я взял его в руки, видит бог, слезы можно было выжимать. А я, понимаешь, еще уперся: «С чего бы это, — спрашиваю, — почему именно тут?» А она на образ показывает. Образ этот, видишь ли, отец ее привез, еще когда в уланах служил. Матери на именины. А та после смерти костелу отписала, спаси, господи, ее душу. Нет, нет, — поправился он. — Спаси, господи, их души. Одна семья.

— Ну, мне пора, пожалуй, — неуверенно пробормотал я. Похоронная церемония смертельно меня утомила. Я мечтал лишь об одном — как можно скорее уехать отсюда и забыть все, что связано с Охотничьим

¹ Скарга (Петр Павенский, 1536—1612) — иезуит, католический проповедник.

Домиком. Забыть об этом псевдодворце, об устаревшем, гербами украшенном склепе, где около полудня мы погребли рядом со сгнившим уже гробом молодого Бачевского тело его «смирившейся» сестры.

— Нет, нет, сын мой. Я же тебе еще главного не сказал, — запротестовал ксендз. — Впрочем, может, ты знаешь. Может, она и тебе сказала. Ну конечно же, сказала. Ты же вроде адвоката у нее был. Тогда скажи мне только, что ты об этом думаешь?

— О чем? — спросил я.

— Как это о чем? О ее исповеди. Или она тебе никаких бумаг не оставила? — изумился ксендз.

— Что еще за исповедь? — рассердился я. И вправду, я был сыт по горло Бачевым, и мне вовсе не улыбалось сидеть тут еще несколько недель, чтобы в роли «почти адвоката» Тетки исполнять какие-то ее, необходимые для «примирения с небом» желания.

— Значит, она и в самом деле ничего не оставила. О, святой Иисусе из Роси! — воскликнул ксендз. — В самом деле, ни бумажки, ни письма...

— Да вы же сами знаете, что осталось...

— Неужели опять эта дьявольская гордыня? — вслух размышлял ксендз Станиславский, в упор разглядывая красочное изображение Чудотворного Иисуса. — Блудница Иезавель, — буркнул он и вдруг, словно бы получив из уст нарисованного Христа удовлетворительный ответ на мучающий его вопрос, рухнул на скамеечку и принялся яростно колотить себя в грудь.

— Я согрешил, сын мой, — сказал он, наконец вставая. — Она, бедная, просто не успела написать своей последней воли. Сердце подвело...

— Какой там еще воли? — путанный его рассказ вызвал у меня раздражение. Мне ясно стало, что Тетка приходила к нему сразу же после первого визита домогавшихся клада делегатов. Вернувшись тогда вечером, она впервые завела разговор о «чужих», которые хотят перечеркнуть все, что сделал для деревни Молодой Помещик.

— Сейчас, минуточку... — урезонивал меня старик. — Все вы теперь такие нетерпеливые... Ну так вот, когда я кончил, она заплакала, а потом и говорит, знаешь, что она сказала?

— Не знаю, — отрезал я.

— Вот именно, — обрадовался вдруг ксендз. — Мрак, он не сразу рассеивается... Особенно душевный, — прибавил он почти шепотом. — Так вот, она выплакалась перед образом господа нашего Иисуса Христа...

— Перед образом плакала? — воскликнул я.

— Да, я уж рассказывал тебе. Ну и что ты об этом думаешь?

— Я... А может, это вы, ксендз, посоветовали ей отвезти в город копии дарственных с подписью Молодого Помещика? — спросил я со злостью.

— Ну да, я, — с гордостью признался священник. — Она хотела этот ларь у меня оставить. Боялась, бедняжка, каких-то «чужих». А я убедил ее, что лучше в городе хранить. В учреждении. Оно и верно, — он снова воздел руку на манер Скарги, — то, что сделано Молодым Помещиком, не должно быть предано забвению. Теперь вам кажется, все равно: по принуждению земля отдана или по-христиански. Но поверь мне: земля земле рознь. Та святее, на которой милосердие ближнего свершилось. Я и ей так сказал.

— А может, вы, ксендз, сказали, куда именно отвезти эти бумаги? — желчно спросил я.

— Как это куда. Я же ясно говорю: в город. Там, в учреждениях, знают, где такие святые бумаги поместить надо, чтоб сберечь их, сохранить, ведь они свидетельствуют, что мы сами, по-христиански, поделили между собой плоды матери нашей. Сами. Не по принуждению. Не по замыслу чужих народу и вере людей, а по закону, в Евангелии вычитанному.

Так вот, значит, где начало легенды о мифических «чужих». О тех безбожниках, которым не по вкусу пришлось, что не они отдали землю бачевским крестьянам. А уж тут само собой напрашивалось, что те самые люди, которые убили Молодого Помещика, теперь подкарауливают бумаги, закопанные в сундуке. Их-то, «не ведающих ни бога, ни отчизны» и ожидала Тетка в тот памятный вечер накануне нашего путешествия в город, где «должны же найтись учреждения, сумеющие оценить такие документы».

Тогда, вечером, не подозревая еще обо всей этой галиматье, я с удивлением наблюдал, как тщательно

готовится бачевская помещица к этому никчемному визиту. Мне-то ясно было, что эти люди, — по словам Тетки, уже раз предлагавшие ей поделить выкопанный в парке клад, обещая хранить молчание, а если нужно то и помощь оказать, — всего-навсего самые обыкновенные воришки, каких немало в наших, не избалованных божьей милостью краях.

После первых же Теткиных слов: «Сундук я открывала открыто, чего скрывать, своя ведь собственность», — я понял, что за цель преследовали тайные визиты людей, которые выдавали себя за старых товарищей Молодого Барина и во имя этой дружбы требовали от его сестры поддержки для якобы пробуждающихся к жизни «новых центров протеста». Выдумка с этими «центрами» доказывала, что во главе шайки обманщиков стоял кто-то, хорошо знавший здешние взаимоотношения и местную интеллигенцию. Таким путем — и я с ним вполне согласен — легче всего было вытянуть у скаредной владелицы Охотничьего Домика запертые в тяжелом сундуке драгоценности.

— Знаешь, мой милый, они допытывались, нет ли там, кроме драгоценностей, каких-либо иностранных монет. Я спросила, что именно они имеют в виду, а они мне на это, что, мол, руководство новой освободительной армии депонировало в свое время какое-то состояние и теперь его никак не могут отыскать. И, понимаешь, — засмеялась Тетка, — я должна была помочь им в этих розысках. На это требовалось ни мало ни много — несколько сот долларов и золотых рублей, на которые они, от имени своей организации, обещали выдать мне долговую расписку. От имени своей организации! — воскликнула она. — Мне это хорошо знакомо, и я не позволю снова обесчестить память моего брата.

— А что вы, тетя, намерены им сказать? — недоверчиво спросил я.

Трезвость взглядов бачевской барыни невольно внушала уважение. Не понимая истинных причин столь внезапного нежелания оказать помощь освободительным организациям, я, как нельзя более ошибочно, усматривал причины реалистических взглядов Тетки в обычной ее феноменальной скупости.

«Она так упорно боролась за каждый клочок земли, что теперь, верно, чувствует себя типичной деревенской богачкой», — подумал я, с усмешкой глядя на ее сморщенное от солнца лицо, так непохожее на белый лик давней помещицы.

— Ясно, что скажу, — рассеянно ответила она. — Видишь, как я для них одеваюсь. Это позволит припомнить кое-какие события. Нет уж, больше нас не обманешь. Хотя, — прибавила она, помолчав немного, — нас и тогда не удалось обмануть. Нет. Только слишком дорого все это обошлось...

Задумавшись над необычной позицией Тетки, — неожиданность для меня бо́льшая, чем содержимое ларя, в котором оказались всего лишь отсыревшие бумаги, — я даже внимания не обратил на эту ее странную фразу. В наряде бачевской барыни бросалась в глаза неуместная для такого случая торжественность. Лишь позже, уже зная причины редкостного скряжничества владелицы Охотничьего Домика, я, припомнив этот разговор, понял, каково было истинное назначение ее тогдашнего наряда.

Тетка была одета точно так же, как после окончания следствия, когда нам наконец разрешили похоронить тело ее застреленного брата. Украшенное старинными кружевами платье должно было напомнить теперь мнимым посланцам «освободительных организаций», что бачевская барыня поняла истинные причины трагедии, постигшей ее семью. Когда я думаю сейчас, сколько же лет потребовалось Тетке, чтобы таким вот способом защититься от неотступно преследовавшей ее мысли, что и она ответственна за смерть любимого брата, последнее ее решение не кажется мне простой случайностью. Ночная встреча с посланцами воображаемой подпольной организации, которая любому из нас доставила бы лишь неприятные переживания, для Старой Барыни, пожалуй, равноценна была вторичной смерти брата.

«К каждому из нас приходит час, когда почва уходит из-под ног», — так патетически воскликнул ксендз в своей проповеди у открывшегося в последний раз склепа Бачевских. Ксендз так и остался непримиримо суровым к умершей помещице.

Проповедь эта, нашпигованная цитатами из Библии, — старый священник, видимо, в последний раз демонстрировал свое красноречие, — неожиданно, уж очень она была туманна, произвела впечатление. Смотревший в глубь склепа ксендз, казалось, знал всю подноготную этой женщины, ожидавшей сейчас погребения в освященную землю. Шептались, что, если б не обязывающая его тайна исповеди, власти вряд ли так равнодушно восприняли бы смерть бачевской помещицы и ее загадочное, лишь начатое и неведомо кому адресованное письмо; ведь власти «в конечном счете отвечают за то, что тут творится». Теперь только все стали задумываться, что же в самом деле хранилось в столь демонстративно выкопанном сундуке.

То, что Тетка открыто решила выкопать сокровища, предполагало всякого рода сенсации. К моим словам, что в добытом из земли «так нагло, как только бачевская помещица умела», сундуке не было ничего, кроме пачки отсыревших дубликатов некогда подписанных Молодым Помещиком «дарственных», относились в основном презрительно. Даже те, кто готов был поверить в правдивость моих показаний, тут же давали мне понять, что Тетка попросту подшутила надо мною, как, впрочем, не раз это делала. Я ведь не принадлежал к людям, достойным быть допущенным к великим тайнам владелицы Охотничьего Домика, вот Тетка и сообщила мне — как доверенному слуге — лишь о мнимом содержании ларя. А правду о нем знал только священник. Я же был использован, в лучшем случае, как помощник в задуманной ею с целью обмана поездке в город.

В то, что Тетка и вправду внезапно решила отдать на сохранение в соответствующие городские учреждения или даже в тамошний костел «драгоценные документы — свидетельство того, что мы сами, без всякого нажима чужих, отдали землю крестьянам», — никто не хотел верить. Не для того же, в самом деле, бачевская помещица столько лет боролась с лишениями, сидя тут и выкупая крестьянскую землю, чтобы вдруг, по примеру своего симпатичного, но такого ребячливого брата, отдать ее, как и он, — крестьянам.

— Она такая жадюга была, что, пожалуй, только спятив, могла такое сотворить, — хихикали вокруг. И это была правда. Тетка сперва должна была спятить. Оставаясь наедине со своей виной — я убежден, что с годами уверенность в том, что она виновна в смерти брата, в ней возрастала; избегая исповеди у «знавшего все секреты ее души ксендза», она могла в конце концов прийти к выводам, перечеркивающим все прежние ее старания.

— Да ведь такого никто бы из вас не выдержал, — разъяснял я тем, кто сомневался в правдивости моей версии о Теткиной поездке в город. — Столько лет окруженная ненавистью. Одна-одинешенька. Ведь ей даже некому было передать эту купленную землю, этот отделанный под особняк Охотничий Домик. Никто бы такого не выдержал...

— Да, никто, кроме нее, — отвечали мне, и я не мог открыть в памяти ни одного факта, который доказал бы неоправданность вечно питаемой к ней ненависти. Те, кто видел ее в последние месяцы, клялись, что она проходила мимо столь же равнодушно высокомерная, как прежде, словно бы и за людей не считала своих соседей по возрожденной усадьбе. Как же совместить такое с угрызениями совести, которые якобы заставили ее поверить в воображаемые причины смерти Молодого Помещика? Нет, слишком это сложно для Теткиной натуры — прямой и жестокой.

— Пустое мелешь, — заключил ксендз Станиславский, когда я и ему решился рассказать, как Тетка, борясь в течение ряда лет с мыслями об ужасной смерти брата, уверовала наконец, что и она хотела отдать эту землю крестьянам.

— Ведь вы, ксендз, и сами это говорили, — доказывал я. — О том, что реформу надо проводить собственными силами. Что из-за упорства наших магнатов мы отданы на оскорбительную для бога и отечества милость чужих и враждебных нам пришельцев. Поймите, ксендз, это наконец и до нее дошло. И не моя в том вина, что столь нелепые взгляды заставили ее поверить в мнимые причины смерти Бачевского.

— Что это еще за «вздорные взгляды»! — возмутился ксендз. — Ты, дитя мое, как и все вы тут, свое

отечество оскорбляешь и бога своего. Я всегда говорил, что тем и кончатся принесенные с Востока реформы. Но она, — он вытянул свою сухую руку и погрозил ею в сторону кладбища, расположенного у подножья костела, — она была из тех, кто неисправимой своей приверженностью благам земным способствовал тому, что сейчас, — как я вижу, — происходит. Из-за их упорства не Евангелие, а иные книги приносят теперь нищим утешение. И ты еще будешь утверждать, что она перед смертью хотела отдать свою землю тем, у кого украла ее? Да, — распалился он, — украла, потому что от денег, которыми она платила, смрадом несло, как от Иудиных.

— Небось, когда это были пожертвования на костел, вы, ксендз, их не обнюхивали, — сказал я и вышел, тихонько прикрыв за собой дверь, что выглядело, наверно, бóльшим оскорблением, чем громкое хлопанье ею. Итак, никого нельзя было убедить в истинных причинах Теткиной поездки в город. Впрочем, я вовсе не собирался оправдывать ее. Но пусть бы хоть признали ее любовь к умершему брату. Любовь, которая и довела Тетку до безумия.

Потому что иначе не объяснишь Теткину уверенность в том, что убийцы ее брата теперь хотят выкрасть оставшиеся после него бумаги. Впрочем, все способствовало укреплению в ней этой веры. Только теперь я понимаю, как, должно быть, она боялась пришедших делить клад посланцев организации. Словно сам демон зла подсказал им именно такой, «позволяющий присвоить часть клада», замысел. Припоминая ловко инсценированную комедию с посланцами подполья, рассчитанную на патриотические чувства бачевской помещицы, я все более убеждаюсь, что они, именно они, жаждавшие дележа сокровищ, поверили бы в мою теорию о Теткиной ненормальности.

Впрочем, им это было без надобности. Их замысел был основан на другом: раз старая помещица так упорно борется за восстановление усадьбы, значит, она уже не в состоянии разумно оценить создавшуюся ситуацию. Так же твердо, как отбирала она у крестьян морг за моргом их исконные земли, очевидно, веря в возврат давних времен, так должна она теперь поверить в существование готовой к действию, но пока

что скрывающейся в подполье, освободительной армии. И посланцам этой армии должна без сопротивления отдать часть добытых из земли золотых рублей и долларов.

Так, во всяком случае, рассуждал сидевший напротив Тетки «посланец штаба армии», до самых глаз прятавший лицо в высокий воротник.

— Мы верим в ваш патриотизм, — он слегка поклонился, — и никогда ни к кому не отважились бы обратиться с подобной просьбой. Но с вами нас связывают некие, весьма печальные переживания.

Помню, увидев, как задрожали вдруг плечи бачевской помещицы и изменился, правда, едва заметно, ее голос, я подумал, что, может, виной тому холодный ветер с болот, проникший сквозь открытое еще окно гостиной. Я подошел к окну и, воюя с перекошенными створками, немного оглушенный дребезжанием стекол, вздрагивающих под моими ударами, еле уловил тихое:

— Если не ошибаюсь, вы имеете в виду смерть моего несчастного брата.

— Вот именно, — поддакнул «посланец штаба армии». — Честно говоря, от того, какую позицию вы сейчас займете, во многом зависит позднейшая оценка его — назовем это так — юношеского поступка. Мы даже готовы допустить, что поступок этот вызван был ложно понятым патриотизмом.

Слушая тогда эту чушь о возможности «искупления вины» или «ошибки вашего брата», я не очень-то понял, чего ради так распинается сидящий перед нами посланец. В лице его — мы, собственно, видели только стеклянные, лихорадочно блестящие глаза и покрытый мелкими капельками пота лоб, — в его жестах, во всем его поведении было столько решимости, что в какую-то минуту я чуть было не поверил, будто все, что он говорит, правда, и подпольная, готовящаяся к удару армия действительно существует. Тетка невозмутимо наблюдала лихорадочные усилия посланца. Внимательно взглянув на него, она наконец спросила:

— Значит, содержимое ларя представляет для вас большой интерес?

— Да что там говорить, — вознегодовал посланец. — Это необычайно важно для меня. Для нас, —

поправился он, заметив мой иронический взгляд, — для штаба, для наших целей, да, да, для важнейших целей...

Если б он мог хоть на минуту допустить тогда, что в действительности устилает сырое дно не дающего ему заснуть сундука! Помня свое изумление при виде покрытых плесенью бумаг, я подумывал, а не лучше ли сразу же открыть ему, как выглядит этот его вожделенный клад. Но нет, это не имело смысла. Делегаты воображаемой подпольной армии — а я все больше убеждался, что и армия и штаб ее существуют лишь в воображении надеющихся на легкую добычу бандитов, — не поверили бы самым горячим моим заверениям. Для них существование пачек долларов и, по крайней мере, мешка с золотыми царскими рублями было бесспорным фактом. А поскольку Тетка, ненавидя местные власти, намеревалась собственными силами решить этот странный спор, уверенность бандитов даже охраняла ее от неожиданного (что легко могло случиться) нападения. Широкая огласка была не в их интересах.

Наблюдая, как терпеливо бачевская барыня ведет переговоры, я убежден был, что она, так же как и я, намерена прежде всего с выгодой для себя использовать возбуждение посланца подпольной армии. Так как Тетка еще в полдень объявила мне о предстоящей ночной поездке в город, я рассчитывал, что она, отдав сундук на попечение любого, лишь бы не бачевского, ксендза, поедет, как бывало уже не раз, на несколько дней туда, где раньше продавала свои драгоценности. Это был бы наилучший выход.

Глядя в отупевшие от избытка эмоции глаза посланца, я думал: ну, кажется, пришло наконец время — Тетка вынуждена будет продать проклятую землю. Больше ей не продержаться. Теперь, когда она в ином свете видит смерть своего брата, может, хватит у нее сил уехать отсюда и оставить мечты о возрождении бачевской усадьбы.

Честно говоря, я был скорей обрадован, чем поражен внезапным гневом Тетки, когда, объявив мне, что ночью надо ехать в город, она вдруг заговорила о «никому не известных причинах убийства у статуи Флориана». Как фурия бегая по гостиной, потрясая

пожелтевшими и заплесневевшими листками дарственных, она стала доказывать, что сама уговаривала брата отдать землю. («Раньше, понимаешь, раньше, чем эти там о крестьянах вспомнили».)

Но потом, когда оказалось, что до настоящего конца войны еще далеко, надо было удерживать когтями эту, мысленно уже отданную крестьянам землю. Да, именно так она и сказала: когтями.

— Я не собиралась быть такой ненормальной душой, как эти тут, в драме о какой-то Белой Перчатке, — крикнула она, показывая зачитанный почти до дыр том Жеромского. — Нет, мы, Бачевские, на крутом тесте замешаны. И не должно быть ни тени сомнения, что мы отдаем землю по собственной воле, а не по принуждению. Но он поспешил. Ты же знаешь, он был не от мира сего... Эти походы с их армией до самого немецкого Поморья, сержантские погоны, — я не сумела втолковать ему, как это преждевременно... Ведь крестьяне хотели еще обождать. Готовы были ждать целыми годами. Ну скажи сам, — она показала туда, где за забором тянулись отстроенные теперь бараки, — скажи, разве не правда, что они умели терпеливо ждать? Потому что знали. И моя вина, что я позволила ему раньше времени подписать эти бумаги...

— Я убила его, — зашлась она сухим кашлем. — Они, коммунисты, конечно, не могли допустить, чтобы у них отобрали право раздать наши земли крестьянам. Единственное право, которое тут уважали. Потому они и подослали своих убийц. А потом внушили всем — это, мол, за то, что он был на их стороне. Надо открыть глаза людям, — решила она, захлопывая ларь. — Сохранить документы...

Более того, теперь, в годовщину его смерти, она докажет этим убийцам из-за угла, что они проиграли. Для того она и выкупила эту землю. И отдаст ее, обогащенную, сама, когда тем, кто отобрал у Бачевских право дарить свое добро, уже нечего будет давать. Отпишет свое имущество достойнейшим из крестьян — я должен был завтра же, по приезде из города, подготовить нужные документы, определить фамилии, — отдаст добровольно, по собствен-

ному христианскому убеждению то, что сумела удержать. И те, кто так охотно распоряжался чужим добром, одаривал других за чужой счет, не смогут упрекнуть ее, что она, мол, не отдает свою собственность. Причем даже не унаследованную, а как у крестьян — заработанную своими руками...

Все складывалось как нельзя лучше. Пусть отдает землю, если это принесет ей спокойствие. «Прежде чем охотники за кладом сориентируются, в чем дело, — думал я, рассеянно прислушиваясь к новым аргументам, какие выдвигал от имени «освободительной армии» закутанный в плащ посланец, — пока они спохватятся, мы будем уже в городе. Этот тип скорее поверит в смерть, чем в то, что Тетка намерена раздать свою собственность. Здорово же они просчитались, думая, что бачевская помещица, полная дурацкой веры в «приход лучших времен», клонет на удочку мошеннического штаба воображаемой «подпольной армии».

— Так что же мне сообщить своему начальству? — спросил, поднимаясь с места, посланец штаба. — Только то, что решение будет принято завтра?

— Я же сказала, завтра, — закончила разговор Тетка. — Мне надо еще подсчитать кое-что.

— Прошу вас, помните об истинном отечестве, — патетически увещевал закутанный по самые глаза человек. — В вашей ситуации я бы не советовал тянуть слишком долго. Обращаясь к вам, — он по-военному щелкнул каблуками, — мы оказываем вам честь.

— Знаю, — спокойно согласилась Тетка.

— Итак, до завтра, — с достоинством поклонился посланец. Он медленно сделал несколько шагов, но у самых дверей обернулся и, утратив все высокомерие представителя всесильной армии, робко спросил: — А может, все же удалось бы сегодня получить хоть часть обещанной суммы?

— Видал этого обманщика? Один из тех... — сказала Тетка, когда, понуждаемый ее нетерпеливым жестом, делегат штаба прикрыл наконец за собой дверь и за окном утихли его торопливые шаги. — Лгут-то как, а? Вроде бы о деньгах речь, но меня не проведешь, это они вынюхивают, где спрятаны ком-

прометирующие их реформу бумаги. Не забудь, сегодня едем, — прибавила она вдруг. — Надеюсь, не трусишь?.. Если трусишь, — она положила руку мне на плечо, — я и сама справлюсь. А может, так даже лучше?

— Нет, не трушу, — ответил я, легонько поглаживая ее пальцы, до того сухие, что мне даже стало не по себе — словно гороховой соломы коснулся.

IX

Вопреки моему ожиданию, в город мы поехали не кратчайшим путем. Когда, погоняя еще не проспавшихся пегих, запряженных в старательно подремонтированную старую усадебную колымагу, я взмахнул кнутом, чтобы еще раз подстегнуть их и выскочить на твердый грунт ведущей мимо костела дороги, Тетка вдруг потянулась через мое плечо и, дернув поводья, направила облако пыли, в котором мы тряслись, наслаждаясь бесплодными подлесскими песками, прямо на проселок — к статуе Флориана. Высокие колеса тут же увязли в трясине, граничащей с песчаными наносами; теперь мы медленно, шаг за шагом, продвигались вперед, прислушиваясь, как смыкается за нашими спинами рассекаемая ободьями топь.

— Быстрее, — шепнула Тетка. — Надо опередить их.

Я снова поднял кнут; боязливо озиравшиеся лошади попытались перейти на рысь, но уже через минуту, дрожа от усталости, замедлили свой бег по разжиженной тележными колесами грязи поймы. Мы приближались к реке. Вскоре, окутанные облаком тумана, поднимавшегося над трясинной, мы потеряли из виду темные глыбы строений, которые рисовались на сером фоне неба. Кони беспокойно фыркнули, под их копытами хлюпала доходившая теперь до деревенских плетней темная торфянистая вода.

— Тише, — забеспокоилась Старая Барыня, и я, придерживая рвущихся пегих, потихоньку въехал на взгорок, с которого начинались уже сухие поля. Туман остался позади. Предупреждая жест Теткиной руки, я направил лошадиные морды туда, где широко

раскинувшиеся по всему ночному горизонту крыши деревенских строений внезапно обрывались, оставляя свободную, даже без деревьев площадку, — на ней-то и высилась, кажущаяся очень высокой на этой голой плоскости, статуя патрона пожарников. Поставили ее там после очередного пожара, решив не строить больше на этом, вероятно, богом проклятом месте, ни дома, ни даже овина. Бричка медленно миновала пригорки, кони, разгорячившись, понеслись, и мы то и дело теряли из виду бугор с вытесанной из песчаника нелепой фигурой святого. Когда колеса подпрыгнули на заросшем пыреем и сухой травой фундаменте одного из давно сгоревших домов, мы увидели перед собой статую, у которой погиб Молодой Помещик. Ростом не выше карлика, святой, как всегда, равнодушно лил воду на высеченный у подножья низкого постамента горящий городишко. Над его лишенной ореола головой торчали длинные железные прутья — подпорки жестяного навеса.

Тетка придерживала коней и торопливо соскочила с брички, не дождавшись даже, пока я — как всегда бывало при совместных наших поездках — подам ей руку. Я привязал вожжи к перилам оградки и, послушный громкому шепоту Тетки, поднял голову кверху, туда, где сквозь продырявленный в нескольких местах жестяной лист виднелось уже чуть посветлевшее ночное небо.

— Тут, — констатировала Тетка. — Наверняка тут. Гляди, следы от пуль остались.

— Да, тут, пожалуй. Во всяком случае, те, что видели, так говорят, — подтвердил я.

— Видели. Видели и ничего не увидели, как слепцы. Или они, — она показала на громоздившиеся невдалеке темные глыбы халуп, — так ни о чем и не догадываются? Даже эта смерть ни в чем их не убедила...

Я беспомощно развел руками и принялся отвязывать замотанные вокруг ограда вожжи.

— Погоди, — сказала Тетка. — Отойди на минутку. Мне еще помолиться надо.

Потчуж лошадей крохами найденного в кармане хлеба, я бездумно смотрел на эту нелепую, словно бы горбатую в своем неестественном наклоне фи-

гуру святого, густо обсаженную цветами; лепестки их, смешавшись — видимо, после недавнего дождя — со струйками вытекающей из-под пьедестала грязи, покрывали каменную плиту, на которой молилась снова пытавшаяся разобраться в себе бачевская помещица.

Ничего не скажу ей о маленьком чернявом офицеришке, решил я, который, как утверждают, даже замахнулся на Бачевского, чтоб хоть пощечиной отплатить за презрение, с которым Молодой Помещик разорвал пополам протянутую ему для чтения бумагу. Зачем говорить?

Я знал — Тетке не известны подробности смерти брата. Теперь, когда она, кажется, решила выведать, как он умирал, как выглядели его убийцы, когда не боялась уже знать, думать об этом, — я не имел права подорвать в ней веру, благодаря которой она наконец могла оплакивать брата уже не как ожесточившаяся в своей ненависти бачевская барыня, а просто как старая, больная, перстом божьим отмеченная женщина: не имел права, даже если вера эта основана была на заблуждении.

Теперь не имеет значения, — внушал я себе, спешно придумывая историю, которую должен был поведать сейчас Тетке, — не имеет ровно никакого значения, что его друзья были ее врагами, а убили его как раз за то, что он выступал против того, за что она боролась. Это не имеет значения. Первые страшные годы уже позади, и сейчас у статуи Флориана молится всего лишь старая, обезумевшая от своих мыслей женщина.

Итак, ни слова об истерических выкриках несостоявшегося юриста, ни слова о речи командира «лесного отряда», который, объявив, что в будущей Польше воцарится истинная демократия и каждому воздастся по заслугам, будь то крестьянин, ксендз или помещик, вдруг так закончил свое выступление: поскольку «стоящий тут перед нами потомок знатного рода опозорил память отцов своих, оскорбил закон и отечество и не пожелал воспользоваться редчайшим, любой бы руки нам за это целовал, актом милости, — над ним, во имя будущей демократии,

свершится приговор, который он заслужил позорными своими деяниями».

Когда она спросит меня, как он умер, я отвечу одно — спокойно. Ведь она ни от кого не узнает, что залп не попал в цель, что бывший студент юридического факультета, вытащив огромный парабеллум, спокойно, выстрелом в упор добил Молодого Барина.

Зачем ей знать все это? Завтра утром мы отдадим ларь на хранение в ризницу какого-нибудь городского костела, а потом уж я сам займусь продажей земли, чтобы ей, последней в роду старухе, осталось немного денег на будущую ее жизнь в городе.

— Спасибо тебе, — сказала, вставая с колен, Тетка. — Теперь можем ехать. Только быстреей.

Я осторожно проехал еще несколько холмиков, на которых тоже некогда стояли дома, и, сократив таким образом путь — объезд был далеко, — вывел лошадей на гравий шоссе.

— Дальше, — одобрительно шепнула Тетка. Я взмахнул кнутом; теперь мы неслись коротким галопом, сотрясаясь от толчков, когда колеса брички подскакивали на выбоинах. Было что-то упоительное в этом беге среди темнеющих в ночи высоких тополей на обочине. Там, где в вырытых некогда огнем артиллерии воронках посадили молодые деревца, кнутовище в моей вытянутой руке ритмично подрагивало от легких ударов тоненьких веточек. Капли росы, возвещающей близость рассвета, падали с листьев от этих ударов и мелким дождичком разбивались на наших лицах.

— Быстреей! — воскликнула бачевская барыня. Ее как подменили. Откинувшись назад, будто с поводьями в руках, она тоже правила переходившей в продолжительный галоп упряжкой, Тетка сперва улыбнулась неуверенно, а потом — лицо ее перестало выражать страдание и ненависть — вдруг крикнула как некогда, во времена наших первых совместных поездок:

— Стегани, стегани, э-эх, родимые!

Но полный ямщицкой удали окрик этот словно бы пробудил в ней прежнее страдание и ненависть, накликав беду, и лошади, подстегнутые резким уда-

ром кнута, не рванули, как можно было ожидать, вперед, а неожиданно осели на крупы, — колеса брички занесло за придорожную канаву, отделявшую шоссе от поля.

— Дьяволы, — выругалась Тетка, грузно поднимаясь с лавки, угрожаяще накренившейся над темной полосой рва. — Верно, колесо отлетело. Какой идиот положил тут бревно?

— Простите великодушно, пани помещица, — отозвался из густой тьмы придорожных кустов резкий голос, по которому я сразу же узнал «посланца подпольной армии».

Мгновенье Тетка колебалась. Если я верно прочел ее мысли, она прикидывала в уме все варианты бегства. В ожидании ее приказа я легонько натянул вожжи и даже немного успокоил еще дрожавших от испуга коней. Левая моя рука нащупала лежащее на заднем сиденье кнутовище.

«Как только она крикнет, — думал я, — надо будет сперва хлестануть по физиономии делегата штаба, а потом стегануть по крупам пегих, чтоб они одним махом вытащили бричку; а там уж, проскочив бревнышко, лежащее на дороге, гнать прямоком в город». Именно так и думала Тетка. Низко перегнувшись, словно бы испуганная рискованным положением экипажа, она внимательно посмотрела на зарывшееся в песок высокое заднее колесо.

— За что же мне прощать? — сухо спросила она. — Вы, молодой человек, — обратилась она к нему, словно к мальчишке, — вы, молодой человек, лучше бы помогли помещице.

— Слушаюсь, — слегка поклонился посланец штаба. Следя, как он направляет вниз скудный свет «летучей мыши», я сжал в руке кнутовище и, осторожно откинувшись назад, изготовился нанести решающий удар.

— *Allez!*, — прошипела бачевская барыня, и не успел конец кнута коснуться глаз светившего нам фонариком посланца, как «летучая мышь» со звоном

¹ Давай (франц.).

отлетела в сторону; во внезапно наступившем мраке лошади резко дернули, копыта их коснулись твердого грунта шоссе. Бричка накренилась влево, мы с минуту балансировали, повиснув на двух колесах, но следующий удар кнута заставил лошадей рвануть галопом напрямик к мосту.

— Дальше, — смеялась Тетка.

Слыша, как сухо потрескивает гравий под колесами брички, я определил, что мы мчимся по последнему, еще не законченному отрезку дороги, ведущей к мосту. На каком-то очередном ухабе левое большое колесо сильно ударило в крыло экипажа.

— Как бы не треснуло, — предостерег я Тетку. Обернувшись назад — не видно ли мигающего лучика фонаря, — я придержал поводья и перевел лошадей на небыструю рысь.

— Вперед, почему не гонишь? — нервничала бачевская барыня. — Кони же хорошие. Еще из старой усадебной конюшни. Удрали, — захихикала она, — не правда ли, мой милый, удрали...

— Ну да, только вот колесо... — развел я руками. Смех Тетки по поводу нашего удавшегося бегства теперь напоминал резкий кашель. Согнувшись, почти касаясь коленями подбородка, она требовала, чтоб я немедленно прибавил ходу. Потом стала допытываться, угодил ли я меж глаз этому посланцу коммунистов, прикидывающемуся делегатом независимой Польши.

— Ах, если б он метко стрелял, если б метко стрелял, — повторяла она вроде бы без всякого смысла, и лишь внимательно взглянув на предмет, который она вытащила из-под сиденья брички, я с ужасом узнал в нем старинный пистолет, обычно висевший на стене гостиной.

— Надеюсь, тетя, вы не собирались из этого стрелять, — осторожно сказал я, придерживая поводья. Мы уже въезжали на мост, и резкий смех Старой Барыни звучал особенно зловеще на фоне мерного глухого перестука конских копыт по не накрепко еще прибитым доскам.

— А почему бы и нет! — неестественно громко воскликнула она. — Ведь с этим Бачевский в отряд

пошел. Во время январского восстания¹ у москалей винтовки были, а наши все равно перестреляли их, как уток, из старых двустволок. Как уток, понимаешь?.. — повторила она со злостью. — И я из этого вот чужих перестрелять сумею. А то выдумывают нам тут невесть что. Ну, давай поехали...

Я послушно хлестнул коней. Мне уж страшно становилось от этой ночной езды, от этого смеха, скорей похожего на крик. Доски затарахтели громче, и в тот момент, когда мы наконец достигли выступа в конце моста, одна из пегих тяжело осела на передние ноги. На мосту вдруг замигали бледные в пред-
рассветной мгле огоньки фонариков.

— И зачем было так коней гнать? — спросил чей-то незнакомый низкий голос. — И кони добрые... Так ведь о веревку споткнуться недолго.

— Это уж наше дело, — сказал я. Наклонившись, чтоб соскочить с брички, я не заметил едва уловимого движения Тетки, вынувшей из-под сиденья пистолет. Лишь коснувшись ногой земли, равнодушный к ворчанию стоявшего на мосту предводителя, я услышал вдруг тихое бряцание металла и тут же вспомнил о существовании заряженного дробью старого пистолета.

«Спускает курок», — мелькнуло у меня в голове, и в мгновение ока я схватил Тетку за руку, неподвижно вытянутую в направлении стоявшего на мосту человека.

Курок снова щелкнул, и молчавшая до сих пор помещица разразилась истерическим хохотом.

— Осечка, — прокашляла она, — все-то у нас устаре-
ло.

Прежде чем подозрительно наблюдавший за ее действиями человек, — до него, я думаю, только сейчас с опозданием дошло, что мы можем быть при оружии, — прежде чем он успел укрыться за фыркающими лошадьми, пистолет, резким движением отброшенный в сторону, описал большую дугу и с шумным всплеском исчез во тьме реки.

¹ Имеется в виду национально-освободительное восстание 1863 года в Королевстве Польском.

— Поддай же руку, — набросилась на меня Тетка. И, словно от иступленного смеха тело ее налилось свинцом, она, слезая, тяжело оперлась о мое напрягшееся плечо.

Х

Временами, пытаясь вспомнить все события, предшествовавшие смерти — причины ее и сейчас еще до конца не выяснены — бачевской барыни, я готов поклясться, что случай, благодаря которому «домогавшимся дележа клада» бандитам пришло в голову протянуть веревку в конце надводной части моста, роковым образом предопределил жесточайший финал всех Теткиных жизненных устремлений. Ведь если б не это, «посланцы армии», даже открыв сундук и убедившись, что там и в самом деле нет ничего, кроме пачки полусгнивших бумаг, не стали бы трогать его жалкое содержимое. И тогда я, возможно, да что там, наверняка, сумел бы укрепить в сестре убитого под статуей Флориана Молодого Помещика спасительную для нее уверенность, будто она никогда не была на стороне его убийц.

Впрочем, именно так я и думал, когда, обрадованный осечкой и еле переводя дух от испуга, вел повисшую на моем плече Тетку навстречу главарю банды, все еще подозрительно следившему за нашими движениями. Лишившись моей опоры, бачевская помещица оперлась рукой о шею одной из лошадей и так, медленно поглаживая потную серую шерсть пегой, выслушала резкие упреки суетившегося главаря шайки. Из слов его можно было заключить, что «они напрасно доверились некоей особе, которая, изменив своему долгу, вере и отечеству, пытается контрабандой вывезти национальное достояние».

— Вот именно — национальное, — заключил главарь. — Но мы ожидали такое вероломство. Яблоко от яблони недалеко падает. Там, — он указал на дорогу, где мы оставили «посланца штаба», — у вас еще был шанс свернуть с избранного пути. Но случилось так...

В душе я подивился его актерскому упорству: ведь теперь-то уже незачем было рассчитывать на глупость старой помещицы, которая позволит ему забрать львиную долю выкопанных денег для воображаемой армии. Мог бы обойтись и без этой дурацкой болтовни. Однако удовлетворение от ловко задуманного обмана, видимо, пересиливало в этом человеке ощущение действительности. Он еще верил, что Тетка примет за чистую монету его бредни об армии, о нуждах отечества и о страшной каре, которая ожидает изменников, выдавших сам факт существования возрожденной подпольной армии.

«Похоже, он рассчитывает, что, отупев от его немолчной болтовни, мы, как он того требует, сохраним все в полнейшей тайне», — подумал я; мне даже приятно было смотреть на этого дурня, предвкушая, как через минуту он убедится в своей, может быть, наигорчайшей в жизни, ошибке.

Главарь, с нетерпением подозвав одного из своих товарищей — у того был фонарь, — сам ухватился за ручку ларя. Как я и предвидел, он, видимо, рассчитал, что набитый рублями ларь должен быть тяжелее, и потому уже в том, как он согнулся, было нечто предвещающее жалкий финал этой истории, основанной на примитивной уверенности в несметных кладах Бачевских.

— А ну-ка, поддержи с другой стороны, — крикнул он, пробуя открыть обветшалую крышку сундука.

— Нет, — крикнула Тетка. — Вы не имеете права уничтожать это. Там нечто важное для всех нас...

— Я же сказал, это национальное добро, — самодовольно просопел главарь, открывая крышку. — И никто его не собирается уничтожать, — прибавил он, уже погружая руку в сухие тряпки, которыми прикрыты были сверху бумаги. — Не собирается уничтожать. Все пойдет на восстановление страны. Все, — крикнул он, грозно выпрямившись, чтобы с жадностью схватить торопливо поданный ему фонарь.

И тут наступило то, чего я более всего боялся. Рассказывая в который уж раз изумленному ксендзу весь этот решающий эпизод, я вынужден был признать, что лишь провидение спасло нас от бешенства

рывшегося в никчемных бумагах, обалдевшего от неожиданности, главаря.

— Несомненно, дитя мое, божественное провидение, — с готовностью подхватывал ксендз и велел мне снова — вероятно, предполагая возможность вмешательства неба в Теткину жизнь, — со всеми подробностями повторить ему весь ход «этих поразительных событий».

— А что тут, собственно, поразительного, сверхъестественного? — не выдерживал я, и тогда священник принимался разъяснять мне суть обета пресвятой девы, которая «всем вершившим девять причастий по пятницам обещала смерть с миром в душе».

— А ты же сам признаешь, что у помещицы не было мира в душе. Ей еще нужно было время, чтоб исповедаться богу в грехах своих. В особых случаях этого достаточно, — размышлял ксендз. — А вообще-то — необходима исповедь. Но она, я помню, еще девушкой честно отправляла свои пятницы. Значит, ясно, ей полагалось еще несколько часов на молитву.

— Да я же слышал, как она молилась у Флориана, — возразил я. Мне не нравилась эта его версия спокойной смерти примиренной, хотя для остротки других, достойной осуждения грешницы.

— Молилась, молилась, но это был лишь первый зов божий. Предчувствие смерти, — нервничал ксендз. — А потом, ты же сам говоришь, она вскипела гневом. Может, даже смерти желала тому грабителю.

Против этого трудно было возразить. Когда ошалевший от волнения главарь подскочил к бачевской барыне и стал хриплым шепотом требовать, чтобы она «немедленно показала место, где спрятано это проклятое золото», Тетка мгновенно занесла руку, и только способность к быстрой ориентации спасла стоявшего перед ней мужчину от звонкой пощечины.

Главарь отскочил и, возясь с застегнутым карманом куртки, минуту раздумывал вслух, не послать ли к дьяволу одним выстрелом эту сумасшедшую воровку и колдунью. Даже тут не позабыл он о своей роли конспиратора-борца за возрождение отчизны. Разразившись градом проклятий по адресу «алчных бога-

теев», он оперся о балюстраду моста и, пиная ларь сапогом, надолго замолк.

Решительность, с которой Тетка, ни минуты не раздумывая, чуть было не отвесила ему оплеуху, видимо, убедила его, что наши, а вернее, мое утверждение, что никакого клада не существует в природе, увы, должно быть, соответствует истине.

— Но зачем тогда вы везли эту мерзость в город? — неуверенно спросил он.

— Понимаете, — я принялся было объяснять ему и вдруг услышал за спиной истерический смех Тетки.

Ксендз, терпеливо выслушавший мой лихорадочный рассказ о событиях последних двух дней, никак не соглашался, что то было хихиканье сумасшедшей.

— У нас, мой милый, нет никаких оснований считать ее больной... — говорил он. — Я сам не раз задумывался над этим и уверен, что, благодарение богу, не ошибся: у нее был жестокий, твердый нрав, — последняя из Бачевских унаследовала его от предков. И я говорил об этом вслух, — голос его набрал силу, — ломая ее железную волю по велению божьему.

Впрочем, слова ксендза не поколебали моего убеждения, что, уж во всяком случае, та, последняя сцена свидетельствовала о ненормальности Тетки. Надрываясь от переходящего в кашель хохота, Тетка кричала, что ей хорошо известно, зачем они подстерегали тут бумаги Молодого Помещика. Жалкие прислужники, холуи коммунизма, они, конечно же, не могли допустить и мысли, что реформа осуществилась без их никому не нужной милости.

Поведением своим она полностью оправдывала мнение почтенного ксендза об этих, не признающих божьей узды Бачевских. Подойдя вплотную к неподвижно стоявшему под градом оскорблений главарю банды, она снова подняла руку, крича, что таких, как они, чужаков тут скоро будут косами выкашивать.

Не успел я подбежать, как главарь опять схватил ее за руку и, видимо, задетый этим вымыслом, подвещающим сомнению его патриотизм, спросил, указывая на валявшийся у их ног открытый сундук:

— По-вашему, мы за этим охотились?..

— Да, — твердо ответила Тетка.

— Прошу вас, сударыня, возьмите это себе. — Главарь учтиво поклонился. А так как бачевская помещица непонимающе уставилась на него, крикнул со злостью:

— Ну, быстро, не будем же мы тут стоять у твоего драгоценного ларя, ты...

Я как замороженный смотрел на Тетку, а она, еще не веря в благосклонность этого человека, наклонилась и с трудом оперла ларь о балюстраду моста.

— Спасибо, — тихо сказала она. — Я напрасно вас подозревала. Вы истинные поляки.

— Нет, ну полная идиотка, — возмутился главарь. — А кто же, по-твоему, истинный поляк? Ты что, и вправду думаешь, — прибавил он, помолчав, — что кому-то нужны эти ваши вонючие бумаги? Землю хотели нам подарить. Теперь, когда уж не владеют ею. А где вы раньше были? — Он ударил кулаком по ларю. — Почему раньше не дарили?

— Оставьте ее, пожалуйста, — крикнул я, видя, как ошеломлена Тетка; словно впервые в жизни поверив, что и ее могут ударить, она боязливо заслонила голову руками. — Оставьте ее, пожалуйста, — повторил я, подбегая к этой, так непохожей на знакомую мне бачевскую барыню, согбенной, старой женщине... И тут я увидел, что ларь, который Тетка выпустила из рук, накренился через перила моста...

— Только то и сказала? — выпрашивал ксендз Станиславский. — Я всегда утверждал, что они, Бачевские, виду не подадут, даже если горе великое. Только всего и сказала, что, мол, зачем этот крик?..

— Вот именно. И все. Отняла руки от головы и шепнула: «Зачем этот крик по пустякам?» — подтвердил я, вспоминая побелевшие губы бачевской барыни, когда она медленно отвела взгляд от падающих в реку, выветленную первой зарей, видимо, сырых еще, очень уж быстро они падали, бумаг.

— Воистину было откровение святой Марии Магдалине, — обрадовался священник. — Эта история — тому доказательство. Даже такие упрямые характеры, если они в молодости по пятницам причащались, удостоиваются милости — им дается время для примире-

ния с всевышним. А ей этого времени много надо было...

Я сочувственно закивал головой. Если ксендз Станиславский был прав, то небесам пришлось приложить немало стараний, чтобы сломить упорство этой женщины, с посеревшим лицом сидевшей рядом со мной. Возвращались мы шагом, покачиваясь в бричке, кривившейся на один бок. Лошади лениво отгоняли первых утренних, разбуженных осенним солнцем, мух. Миновав парковую аллею, мы въехали в ворота Охотничьего Домика.

— Ты сразу отца к себе заберешь? — спросила Тетка, глядя на сидевшего на крыльце старика.

Тогда я не очень-то уразумел, что она хотела этим сказать. Если небо и в самом деле вело, как хотел того священник, ожесточенную борьбу за ее черствую душу, должно быть, именно в этот момент она с особенной ясностью подумала о приближающейся смерти. А может, даже сумела определить время ее прихода. Я соскочил с брички и, ведя бачевскую барыню к дверям ее восстановленной усадьбы, ожидал, что сейчас она скажет мне, как быть дальше и раскроет смысл странного вопроса о будущем моего, уже много лет живущего здесь, отца. Но когда я объявил, что намерен уехать отсюда, так как не вижу, чем могу быть еще полезен, Тетка спокойно выслушала меня и, не обратив внимания на тревогу, которая слышалась в моих словах, сказала:

— Так тому и быть. Это хорошо. К каждому приходит его время...

И, словно припомнив что-то необычайно важное, показала рукой на недавно восстановленные, но уже облупившиеся от дождя аркады, провела ладонью по начинающим рассыхаться деревянным, выкрашенным масляной краской колонкам и вздохнула:

— Боже мой, какое это все старое. Незачем и восстанавливать.

И я уехал, предоставив Тетку с ее усадьбой воле более сильной, чем моя, — воле божьей. На станции, всматриваясь в клубы темно-бурого дыма над товарным составом, я на минуту подумал: «Теперь она, пожалуй, наверняка спалит усадьбу, ведь больше так жить невозможно, чего ради вся эта борьба за землю...»

Но мысли эти скорей были вызваны крайним переутомлением. Я по горло был сыт Бачевом. И, конечно же, не подозревал, что это предпоследний мой визит сюда и что я снова приеду в Бачев послезавтра, чтобы прочитать страничку, на которой бачевская барыня слабеющей рукой своей написала то же самое, что пыталась разъяснить мне накануне, глядя на проглядывающую из-под свежей краски и штукатурки неотвратимую дряхлость восстановленной усадьбы.

ПИНГВИН

Все это я пишу только потому, что лежу в постели и зализываю раны, как какой-нибудь повстанец или мученик; времени у меня полно, и я слушаю магнитофонные записи, а особенно часто ту, с моим голосом. Я его записал только вчера, когда ушли предки. Сначала идет какой-то твистик, потом Хелена Майданец, а потом мой голос. Я ужасно много наболтал и уже несколько раз прослушал все, но не знаю, пожалуй, лучше все равно не выйдет. Вот оно: «...не могу сказать тебе этого прямо в глаза, потому что запутался бы и все вышло бы очень глупо, я бы не выдавил из себя ни слова, а так, на ленте, это легче, ведь я должен тебе сказать, что чертовски люблю тебя...»

На этом месте я выключаю магнитофон, не дожидаясь конца: как-то глупо слушать такие слова, хотя в комнате никого нет, — о, черт, неужели я дам ей это слушать, неужели у меня хватит духу пустить при ней ленту?

Вон он я, в зеркале: герой-любовник Ромео, с эдакой мордой, уродливой от рождения, к тому же обмотанной сейчас бинтами, с синяками и ссадинами, с переломами в нескольких местах.

Но надо с самого начала, а то трудно понять, почему я лежу здесь, избитый, как паршивый пес, и даже шевельнуться не могу — до того все болит, и почему я записал на пленку такую странную речь.

Это началось в прошлую субботу, хотя назревало раньше, с той самой минуты, когда я ее увидел. В ту

субботу я вышел с факультета один — солнышко, весна — и остановился у доски с объявлениями, хотя знал их наизусть, чтобы ждать здесь, делая вид, что вовсе не жду, как обычно и поступают такие робкие, пугливые и застенчивые, как я. Я уже прочитал списки, вывешенные деканатом, и объявление о воскреснике по уборке сквера, потом начал было читать все сначала, но тут увидел их.

Оказалось хуже, чем я ожидал: рядом с Баськой шла вся троица — Адашь Бончек, Марек Бояновский, Антек Вализка и еще одна девушка, Магда Козакевич. Черт, сделать вид, что не замечаю их? Но я же поклялся себе обязательно подойти к ним. Да и Баська тоже хороша, не могла себе найти компанию получше, вечно летят на нее разные Бончеки и Вализки, как мошकारа на свет в открытое окно, а ведь она не стреляет глазками, не зазывает, как другие, не заигрывает с ребятами. Я на нее насмотрелся, как следует разглядывал и на лекциях, и в коридорах, и в очередях разных, и на улице, она всегда — мрамор, Коперник и Цезарь, эдакое лицо карточной дамы без всяких гримас и улыбочек, вроде бы модная, но загадочная какая-то, что ли. Видно, эта ее загадочность и привлекает тех гавриков, и фигура тоже — что за ноги! — потому что так-то она не ахти какая красавица: широкоскулая и бледная довольно, но очень уж современная, изящная, умеет одеться, из ничего конфетку сделать, к тому же и фигура что надо, а ноги... глянешь на нее — и готов!

Она не раз снилась мне, и я часто о ней мечтал, мне хотелось докопаться до главного, понять, что там кроется, под этой оболочкой, о чем она думает, что у нее внутри, должно же что-то там быть, я чувствовал; каменное лицо — просто защитная маска. После занятий она всегда куда-то исчезала, очень торопилась, наверное, у нее была какая-то другая жизнь, может, там она смеялась и болтала, черт ее знает, но здесь никогда.

Этот Адашь Бончек давно уже ее обхаживает, а с ним его сателлиты — Бояновский и Вализка. Я всегда держался от них подальше, но с ней-то они были ниже травы, тише воды, а она постоянно смывалась от них, и Адася, этого папенькиного сыночка, так и трясло от

этого, не любил он не получать того, что хотел иметь, очень не любил. Нынче, в субботу, он все-таки до-рвался до нее, и вот они шли вместе, а эту Магду Козакевич он отдал Бояновскому, она ко всем добра. Адасть шел рядом с Баськой, вел ее, как пойманную овцу, а она не удирала, идет себе и идет на своих длинных ногах, и лицо, как всегда, каменное. Они уже подходили ко мне, и в последнюю минуту, собрав всю силу воли, я заставил себя отклеиться от доски объ-явлений.

— Адасть, есть парочка новеньких твистов, — ска-зал я эдак небрежно.

— Ну так давай, — скомандовал Адасть и протянул руку.

Я вынул из сумки пластинку, приготовленную именно на этот случай, но Баська не проявила к ней ни малейшего интереса. Странно, девчонка с такими ногами должна отлично танцевать!

Адасть взял пластинку, рассмотрел ее и засунул к себе в сумку с книгами.

— Но-но, только без таких штучек, — возразил я. — Этот кусочек пластмассы стоит сто пятьдесят злотых.

— Я тебе выпишу чек, — ответил Адасть, — а пока можешь выпить пивка, я угощаю. Пошли, Баська.

Он обнял ее за плечи и потащил к павильону на углу, но она выскользнула из-под его руки. Теперь мож-но было не отставать от них, у меня был предлог. Я встал рядом с Баськой, Адасть заказал шесть кружек. Чуть поодаль двое пьянчуг поносили какого-то Мальца, этот Малец — кошмар, несчастье и зараза, бегал к началь-ству, фискалил, делал вид, что болеет за работу, а на самом деле был стервецом и вором.

Баська взяла кружку, не спеша поднесла к губам, глотнула раза два — у нее была великолепная шея, длинная, стройная, гладкая, — потом слегка поморщи-лась и отставила кружку. Остальные быстро выпили эту дрянь, вокруг воняло кислятиной, я тоже отодви-нул почти полную кружку, поставил ее рядом с Бась-киной, она взглянула на меня как-то серьезно, без улыбки, а я улыбнулся, у нас было теперь кое-что общее — недопитые кружки с этой гадостью в воню-чей забегаловке, баре для нищих.

— Да уж, с пильзенским сие не спутаешь, — заявил Адасть, отер рот, вытащил горсть монет и небрежно, не считая, швырнул на стойку.

Он разыгрывал из себя эдакого шикарного парня из кинофильма — в присутствии Баськи ему было наплевать на злотый-другой. А она как будто даже не заметила ничего или сделала вид, что не заметила, и мы пошли дальше.

— Холера! Ну и что? — спросил Адасть.

— А ничего, — ответил Вализка.

— Нет у тебя сотняги? — спросил меня Адасть. — Завтра отдам, завтра мой старик возвращается из Бинго-Банго.

— Мои капиталы в банке, — пошутил я. Кажется, он считал меня круглым идиотом.

— Что за жизнь без денег, — вздохнул Бояновский. — Да еще в субботу!

— Сплошное прозябание, — добавил Вализка.

— Я бы хотел быть старым, очень старым, усталым и слабым, иметь три должности в разных местах сразу и чтоб у меня были разные консультации, совещания и потиражные, — вздохнул Бояновский. — Тогда бы я все деньги отдавал молодому двадцатилетнему сыну.

— А также машину, дачу и возможность разъезжать по заграницам, — добавил Адасть. — Ничего, скоро хозяевами станем мы.

— В самом деле, зачем им деньги? — спросил Бояновский. — Ведь их уже ничего не волнует. Сидят себе дома, да и все.

— Они только о деньгах и думают, — сказал я Баське. Она слегка шевельнула губами, самым уголком рта. Вот сюда я хотел бы ее поцеловать, в этот уголок, подвижный, мягкий и теплый. Адасть Бончек взглянул на меня с удивлением, как это я вообще осмелился подать голос.

— А ты, Пингвин, чем сыт? Идеалами? Или, может, онанизмом?

Я знал, что он напустится на меня, он непременно должен был напуститься на меня в ее присутствии, чтобы разбить наше безмолвное единство, высмеять меня, обозвав Пингвином. Черт его знает, как это прозвище попало из школы на факультет, какая-то ско-

тина сболтнула. Все рассмеялись, вроде бы я такой и есть — нескладный, смешной, некрасивый и несмелый с девушками, но Баська и глазом не моргнула.

— Оставь ты эту мямлю, — сказал Вализка, — видишь, у него уши покраснели. Он же тебе дал пластинку.

— Это точно, на сегодня он откупился, — сказал Бояновский, — и облапил Магду за талию, этакий супермен, автомат для держания девушек за талию.

— Лишь бы он только город не взорвал, — продолжал Адасть, — он там, дома, небось атомную бомбу мастерит. Пингвин несчастный. Вы не представляете, сколько в этих пингвинах злости к людям. Надо бы о нем в милицию заявить.

— Ну, если я этой бомбой взорву тебя, человечество потеряет не много, — отпарировал я, но это прозвучало как-то тяжеловесно и глупо.

— Дама скучает, — заметил Адасть, глядя на Баську, — не будем утомлять ее Пингвином.

Вот как он меня уничтожил, этот самоуверенный папенькин сынок: одной-единственной фразой. Уши у меня горели, я должен был что-то сделать, дать ему в морду или плюнуть на них и с презрением удалиться, словом, уйти гордо, но здесь была Баська, и я хотел уйти с ней, я не мог взять и смыться, она сочла бы это трусостью.

— Ну что ж, привет! — сказала Баська, дойдя до угла. — Я пошла.

— Погоди минутку, — возразил Адасть и обхватил ее за талию, обхватил вроде бы в шутку, но я-то видел, как его чертовски тянет к ней. Она повернулась и выскользнула из-под его руки, изящно, как танцовщица. Боже, до чего же она изящна, до чего стройна! Держать такую девушку в объятиях, прижать к себе... в ней должно что-то быть; если бы можно было прочитать ее мысли, проникнуть в них, послушать их хотя бы минуту, полминуты, пять секунд!

— Погоди, — повторил Адасть. — Есть сообщение. Приходите ко мне в шесть. Сегодня последний вечер свободна хата, завтра предок возвращается из Бинго-Банго.

Это было уже нечто, он сразу овладел ситуацией, сразу стал самым главным — в нашу эпоху бурного

роста населения свободная хата ценнее золота. И вдобавок какая хата! Старый Бончек архитектор и часто ездит в Африку, строит там какой-то президентский дворец. Адашь никак не может дожидаться отца, чтобы вытянуть из него денег, хотя денег у него полным-полно. Я смотрел на Баську: согласится или нет? Ведь Адашь из-за нее пригласил всех, он знал, что одна она не пойдет, на остальных-то ему было плевать, особенно на меня.

— Придешь, Баська? — спросил Вализка, верный сателлит.

— Ясно, придет, — ответил Адашь. — Никакой скуки, гарантирую. Только ритмы, развлечения и напитки. Никаких разговоров о Пингвине.

Я выдержал и это. Баська молчала, и все ждали ее ответа. По ее лицу, как всегда, ничего нельзя было понять.

— Может, приду, — сказала она наконец. — Привет.

И свернула за угол. Мне тоже надо было в ту сторону, но я не смел бежать за ней, стеснялся пойти за ней на глазах у этих быков и прирос к тротуару, не зная, что сказать, хотя меня тянуло к ней с бешеной силой. Другая, не меньшая сила удерживала меня на месте, и я, точно пьяница у дверей кабака, не решался ни войти, ни остаться.

— Вот это вышагивает, — сказал Вализка, — что-то, а ноги у нее сила.

— У нее все сила, — убежденно заявил Адашь.

— Ну, я пошел, привет, — наконец выдавил я из себя, — а пластинку заберу вечером.

Таким образом дав понять, что приглашение Адася мной принято и я отнюдь не намерен откупиться пластинкой, я вроде бы не спеша направился к углу. Они наверняка сказали про меня какую-то гадость, потому что сразу же начали гоготать. Я был смешон, я чувствовал это; я был смешон, и Магда — эта тряпка, о которую все вытирают руки, тоже запищала, ее выгонят через год, невелика потеря, что ей до механики, она пришла на факультет, чтобы найти себе парня, и нашла их двадцать, правда, на несколько дней, а теперь пошла по рукам, к ней, как в пункт Скорой помощи, бегал весь институт.

Я медленно шел по направлению к углу, их гогот холодил мне затылок, как дуло пистолета, стегал сзади автоматной очередью — той самой, о какой не раз вспоминал отец. Уши у меня горели. Наверно, они были очень красными, и что только с ними сделать, вечно они краснеют, вырвать бы их или отморозить, что ли. А те гогочут, продолжают гоготать, и зачем только я к ним сунулся, ведь я все равно никогда не стану ихним. Сам я, сам виноват — книгами, учебой заниматься надо. А все из-за этой Баськи...

Наконец я свернул за угол и бросился бежать. Это была Аллея Неподлеглисти, широкая улица, все кругом видно, и я сразу заметил Баську, она стояла на остановке. Жила она где-то далеко, на Жолибоже, когда-то я наткнулся в каком-то списке на ее адрес и переписал его. Я замедлил шаг, чтобы она не заметила меня. К счастью, не видно было ни трамвая, ни троллейбуса, хорошо бы сейчас авария какая-нибудь случилась — город без тока, гигантская пробка... Прячась за людьми, я подошел к ней, встав рядом, она все еще не заметила меня и вообще глядела невидящими глазами куда-то вдаль, напряженно думая о чем-то. О чем она думала, кто она, такая каменная, настоящая карточная дама. Я впервые был с ней вдвоем, хоть и на улице.

— Ты тоже едешь? — глупо спросил я и почувствовал, как у меня краснеют уши.

Она слегка вздохнула, но и только. Никаких эмоций. Мое присутствие мгновенно превратилось в ничто, даже застав ее врасплох, я мог лишь испугать ее, помешать ей думать — не более, чем внезапно залаявший пес.

— Еду, — ответила она.

— А ты далеко живешь?

— На Жолибоже.

— Там у вас просторно, гулять хорошо.

— Если время есть.

— А ты очень занята.

— Да, очень занята,

Теперь уж я совсем не знал, что сказать. Приблизился какой-то трамвай, я чувствовал себя навязчивым, она отвечала нехотя, не знала, как избавиться от меня, с нетерпением ожидала трамвая, он был для нее спасением от зануды, который притащился сюда и

задает глупые вопросы. В моем распоряжении оставалось несколько секунд. Надо было во что бы то ни стало в эти несколько секунд хоть что-нибудь выдать из себя, даже если бы мои уши полностью сгорели.

— Знаешь, я тебя сразу заметил в институте. В первый же день.

— Я так бросаюсь в глаза?

— Нет... просто ты такая... Ну... такая интересная. Сразу привлекаешь внимание.

— Спасибо, — ответила она без улыбки. — Я поехала. До свидания.

— До вечера! — крикнул я.

Она быстро села в первый же подошедший трамвай, лишь бы отделаться от меня. Как я глупо себя вел, из-за своей робости едва лепетал что-то. Придется вечером что-нибудь сделать, иначе все пропало, она даже не глянет в мою сторону и всегда будет уезжать первым же трамваем.

Наконец я доплелся до своего дворца, — унылого стандартного дома с аллегорическими фигурами на крыше, какие строили в эпоху архитектурных излишеств первых послевоенных лет. Мы жили в семнадцатом подъезде, четвертый этаж, пятые двери направо, в двухкомнатной квартире. Я тихо отворил дверь и услышал голос отца. Ну да, ведь сегодня суббота, и отец вернулся из института раньше!

— Вот именно... Но послали Богданюка. Делать доклад поедет Богданюк. Решение Главного. Что я мог сказать? Не буду же я просить за себя...

— Богданюк! — со злостью воскликнула мать. — Опять Богданюк! Всюду Богданюк! Этот Богданюк просто из милости должен тебя добить! Зачем тебе продолжать мучиться?! Пусть Богданюк сжалится, пусть уничтожит тебя и произнесет над твоим гробом красивую речь!

— Не стану я ввязываться ни в какие закулисные интриги, — ответил отец усталым голосом. — Мне это противно. Пусть с Богданюком воюет Врачек. Увидишь, в конце концов все равно всем станет ясно, кто чего заслуживает...

— Как бы не так, дождешься ты этого! — воскликнула мать, но я громыхнул чем-то в коридоре, и они сразу замолчали...

— Анджей пришел, — предостерегающе произнес отец.

Я знал, что при мне о Богданюке не будет произнесено ни слова, и хотя мои предки всегда говорили о нем тайком, я все равно все слышал. Отец был работягой, добивался всего тяжким трудом, потом и кровью. Он не умел хлопотать за себя, не искал блата, не бегал по начальству, не ловил его в коридорах, не выслуживался. И для такого человека с его добропорядочными принципами Богданюк был кошмаром, Богданюк всегда умел все устроить, применить хитрую тактику, он всюду лез, Богданюк стал незаменимым, без Богданюка ни шагу, ни одного решения, ни одного совещания, он обогнал отца на целый круг, на три круга, хотя, как говорили, не знал и половины того, что знал отец. Отец не упоминал при мне о Богданюке, он вообще старался скрыть от меня все, что могло прозвучать нелояльно; делал вид, что вокруг все хорошо, что наш мир устроен очень правильно, что все люди именно такие, какими и должны быть; он никогда не затрагивал ни одной темы, которая могла бы вызвать сомнение в совершенстве этой его идеальной действительности. В разговорах с ним я тоже делал вид, будто все обстоит так, что лучше не придумаешь, что в голове у меня существуют только самые что ни на есть образцово-показательные мысли и что милиция всегда во всем бывает права. Отец чувствовал себя ответственным передо мной за все, но он был всего лишь винтиком в машине — работал в Институте организации экономики и писал диссертацию. Ему хотелось упорядочить весь мир, он не любил непорядка, а Богданюк был непорядком так же, как нехватка чего-нибудь в магазинах.

Мать выбежала в коридор, она была взвинчена разговором о Богданюке, ее гнев должен был обрушиться на мою голову, сейчас она что-нибудь придумает, я угодил в самую плохую минуту.

— Ты принес оливковое масло? — спросила она.

Разумеется, я забыл купить оливковое масло. Было мне когда о нем думать! Баська, а не оливковое масло заполняла все мои мысли. В нашем районе этого масла не было, и я должен был поискать его в центре,

в больших магазинах, в «Деликатесах», в диетическом или в гастрономе возле института — какая-то знакомая сказала матери, что оно там есть. Мои предки вынуждены были есть все только на оливковом масле, это была единственная роскошь, которую они себе позволяли, у них вышли из строя не то желудок, не то кишки, не то печень, так что я уже три дня подряд приносил им это оливковое масло. Я-то мог спокойно есть все даже на машинном масле, для меня сейчас существовала только Баська. Я сказал, что магазин закрыт на учет.

— Врешь! — воскликнула мать. — Ты отвратительный эгоист! Тебе нет никакого дела до родителей! Ты тут как квартирант, попробуй допроситься, чтобы помог по дому! Стакана воды не подашь! Не дай бог, заболеем с отцом — ты будешь равнодушно смотреть, как мы мучаемся, как подышаем! Тебе ни до чего нет дела! Ты ничего не замечаешь дома! Тебя интересуют только собственные удовольствия и развлечения! Что тебе до того, что родителям необходимо оливковое масло! Что отец корчится от приступов печени? Что мать все время тошнит и у нее все ноет внутри?! Что мы не спим по ночам?! Себялюб, мерзкий себялюб! Янек, поговори с ним, у меня уже нет сил!

И она, хлопнув дверь, убежала на кухню. Я вошел в комнату, где сидел отец. Меня прямо трясло от этого крика. Я был виноват, конечно, я был виноват и оттого злился еще больше. У меня-то было оправдание — Баська; но ведь это только в собственных глазах! Я не мог сказать им о Баське, это было бы просто глупо. Что для них Баська в сравнении с оливковым маслом? Об оливковом масле нельзя забывать даже ради ста Басек. Я знал, что сейчас будет. Отец никогда не кричал, он был кроток, как первые христиане, он выполнял долг — отец должен по-мужски поговорить с сыном, и он будет петлять, повторяя одни и те же слова. Я был зол и, подойдя к столу, незаметно выдвинул ящик. В нем стоял магнитофон — моя собственность, мое богатство, моя гордость, предмет, ради которого я шел на многие лишения, на всем экономил. Микрофон я приготовил еще вчера и загородил книжками, так что он не был виден, мать не прикасалась к моему письменному столу, я сам убирал его.

Отец крикнул, закашлялся, так как много курил, и беспомощно взглянул на меня.

— Придется нам поговорить серьезно, Анджей, — торжественно начал он.

Меня ожидала беседа из телевизионных передач — несколько гладеньких фраз, этаких «открытий» и истин вроде «ученье свет, а неученье тьма», взрослых надо уважать, кто не ест супа, тот обязательно умрет, кто тебя родил, неблагодарное создание, «вперед, к победам!», образцовый сын, студент-отличник и сознательный гражданин... Иногда мне становилось его жалко, я видел, как он мучается, как трудно ему сказать что-нибудь толковое, вырваться из круга этих пустых фраз, но у него всегда выходило одно и то же, все та же пластинка. Я включил магнитофон, одновременно скрипнув для маскировки стулом. В окно доносились отголоски уличного шума, диски магнитофона крутились тихо, я опустил глаза, как и полагается раскаивающемуся грешнику, и немного сгорбился.

— ...поговорить серьезно, Анджей. Нельзя так пренебрегать своими обязанностями... И вообще, я тебя не понимаю... Не могу понять почему... Не забывай, что тебе созданы все условия и твои успехи в жизни зависят только от тебя... то есть от твоих способностей и знаний. Все тебе приготовлено, пододвинуто, подано на этом... на подносе. Перед тобой гладкая и прямая дорога, тебе ни о чем не надо заботиться, только учись и веди себя прилично. Мы не требуем от тебя ничего, кроме простой благодарности, соблюдения правил человеческого общежития. Немного сердечности, помощи — вот и все, что от тебя требуется. Неужели за все, что мы для тебя сделали, ты хочешь отплатить нам пренебрежением? Подумать только... да если бы у меня в твоём возрасте были такие условия, как у тебя...

Он всегда попрекал меня в своих проповедях этими условиями, будто я был виноват, что он родился в Польше, как говорят, в «центре циклона», что он бегал в детстве без башмаков и жил в трущобах среди бедноты и что потом, в каком-то там году, вспыхнула новая война и были ужасные концлагери; он сражался, сидел в одном из них и пережил весь этот кошмар, а учился лишь после войны, без отрыва от

производства. То были тяжелые времена, но при чем тут я? Может, на Марсе или во Флориде было лучше, и сейчас шестидесятые годы двадцатого века, и то, что было, не принимается в расчет. Что, меня спрашивали, что ли? И вообще, разве кто-нибудь у кого-нибудь спрашивал его мнение обо всем этом? Я тоже могу произносить речи и предъявлять претензии, что все так, а не иначе. Вон отец вроде бы доволен тем, как они устроили этот мир, а можно было бы, пожалуй, устроить все и получше, без притворства и замалчивания, без этих занудливых бесконечных речей, без разных табу — ясно и открыто.

Когда-то, когда я был еще наивным ребенком, я всегда говорил то, что думал, и, хотя мои мысли не всегда были разумными, вопросы были искренними. Теперь мне скоро будет уже двадцать, я совершеннолетний, у меня есть паспорт, и я имею право ходить один ночью по городу, могу покупать водку и смотреть в кино любые фильмы, и теперь я уже разговариваю в институте иначе, чем дома, с профессорами иначе, чем с товарищами, с отцом иначе, чем с матерью, а с бабушкой и вовсе иначе — она меня ужасно любит, но приходит, только когда отца нет дома, и слезно просит ежедневно молиться, а также, для спокойствия ее души, ходить в костел на воскресные службы.

Я раз и навсегда убедился, что говорить то, что думаешь, можно только, если твои убеждения совпадают с убеждениями собеседника, если они отражают их, как зеркало. А так не бывает, и я терпеть не мог, когда мне навязывали прописные истины, я их ненавидел и бунтовал против них. Узнай об этом старшие, они разозлились бы, потому что каждый хотел видеть во мне свою копию, воплощение его правд и принципов, его отношения к миру. Вообще-то они считали меня молокососом, нулем, мешком, в который надо побыстрее затолкать свой багаж, свое пропотевшее тряпье, пока этот мешок не перехватил кто-нибудь другой. И они тянули его каждый к себе, вырывали друг у друга и запихивали внутрь все подряд — пса, кота, лису, канарейку и жабу, а потом еще удивлялись, почему там что-то шепуршится, прыгает, кушается, рычит и пищит.

Отец уже перестал говорить, и на душе у него явно стало легче. Я выключил магнитофон. Вся его речь была теперь у меня на пленке. Но ведь мне еще нужно было выбраться из дома, а сказать о вечеринке я не мог: атмосфера была не та.

— Ты прав, отец, — сказал я покорно, — я виноват. Под вечер я выйду и куплю масло, а после зайду к товарищу.

— Это к кому же?

— К Адаю Бончеку, у нас там дискуссия о счастье будет.

— Что, что?! — изумился мой старик.

— О счастье. Знаешь, его отец — известный архитектор, и у них большая квартира. Счастье — это серьезная проблема.

— А кто организует дискуссию? Союз молодежи, Союз студентов?

— Нет. Мы сами, стихийно, так сказать, инициатива снизу, вне рамок организации, в кругу друзей.

Отец смотрел на меня с сомнением, должно быть, счел инициативу такого рода подозрительной. В его мире для дискуссий раз и навсегда были установлены рамки и вывески; дискуссия, лишенная узды, всегда может удрать в кусты и показать оттуда язык или даже задницу.

— О счастье... — вздохнул отец. — Ну что ж, дискутируйте на здоровье.

И он склонился над своими бумагами. Он был большой трудяга, писал докторскую диссертацию по экономике, твердо решил перейти с административной работы на научную и корпел над диссертацией по ночам, а тут Богданюк, мать с ее подсчетами, как дотянуть до полочки, сын-эгоист, очереди за мясом, увеличенная печень и больной кишечник, ванна засохла, штукатурка в коридоре осыпается, брюки протерлись и радиоприемник каждую неделю портится — какое уж тут счастье, все эти разговоры о счастье ерунда; стоит людям обзавестись собственными ваннами, как они сейчас же разводят дискуссии о счастье; учиться соплякам надо и не висеть на подножках трамваев.

После обеда я попробовал читать — не шло, опять о концлагерях и смерти, о пищеводе и смерти, плевал

я на смерть, на преисподнюю и на небытие. Какой-то там парень боится смерти, а я боюсь войти в комнату, полную людей. Почему все время пугают смертью, изводят разговорами о смерти, ждут ее, и подтрунивают над ней, и заигрывают с нею, написали бы лучше о жизни — как завоевать Баську, как все это повернуть, как войти без страха в комнату, полную чужих людей.

Я переоделся в ванной, надел свою лучшую рубашку, тесноватые брюки и выскользнул из дома, вроде бы за этим оливковым маслом, и действительно отправился за маслом, повиснув на подножке трамвая. Вечно они разбухшие от людей, эти беременные трамваи. Я нашел магазин самообслуживания, где было масло; вот и корзинки, и скандал с продавщицей. «Вы мне будете указывать? Нет уж, указывать вам буду я! Я вас вежливо спросила, есть ли яйца, а вы хамите в ответ!» — «Вот именно, я-то вежливо отвечаю, а вы самая настоящая хамка! Яиц нет и не было, под юбкой я их, что ли, прячу? Были бы у меня яйца, я бы вам их во все дырки напихала, очень мне нужны ваши яйца!» — «К вам под прилавок заглянуть, так не только яйца найдутся, небось и сосиски припрятаны, и лимоны, и филейная колбаса, уж я-то вас знаю!» — «Заглядывать это вы у себя дома можете, а не в магазинах, подумаешь, инспекторша какая выискалась, будут тут всякие ходить да под прилавками копать, напаялила горшок на голову и воображает». Они загородили проход, скандал разгорался, обе покраснелись, я искал взглядом масло, оливковое масло в консервных банках, а не в бутылках, испанское масло «*A veite de oliva rigo*». Я протиснулся в проход, продавщица размахивала руками и угодила мне по лицу, даже не заметив этого. Испанского масла уже не было, оставалось только масло в бутылках, если бы я пришел раньше, например, утром, бесовестный сын... Я подошел к продавщице совсем близко, так, чтобы оказаться прямо перед ее глазами, метавшими громы и молнии.

— Будьте любезны, оливковое масло в консервных банках! Испанское!

Продавщица услышала — я как раз угодил в секундную паузу, она вдруг перестала кричать про

яйца и опустила руки, мое робкое вмешательство оказалось кстати, теперь она могла предстать перед той покупательницей в своем истинном свете: изысканная, безукоризненно воспитанная продавщица, продавщица-дама.

— К сожалению, последнюю банку масла мы продали несколько часов назад. Но в бутылочках масло тоже из натуральных оливок, греческих или итальянских. Разницы никакой нет, оно очень хорошее, я сама его беру для салата и, как видите, совершенно здорова, никаких прыщей, никаких болей, можете смело покупать, я гарантирую.

В магазине все остолбенели от удивления, потрясенная покупательница лиц молча испарилась, ибо продолжать спор о яйцах было уже невозможно, а я чуть не поддался уговорам продавщицы — вежливость ее проняла и меня до самого сердца, — но все же, пробормотав слова благодарности, я выбежал из магазина. Я сам был во всем виноват: не забудь я просьбу родителей, у них было бы их масло, масло-лекарство, масло-спасение, именно это, одно-единственное, в банках, а не в бутылках. Я побежал дальше, у меня было еще немного времени. Повсюду очереди — суббота, да еще день зарплаты, нигде нет масла в консервных банках, раскупили все испанское масло в банках, везде полно масла в бутылках, горы масла в бутылках; до этого масло было только в банках, а в бутылках нигде, днем с огнем не найдешь. Я бежал по площади Конституции, по Маршалковской, по Ерозолимским Аллеям и содрогался от угрызений совести. Негодный сын, себялюб, эгоист с прыщавой мордой, не мог же я вернуться домой без оливкового масла. Скоро шесть часов, может, Баська уже там, борьба между чувством и долгом, между Баськой и маслом, долг победит, долг прежде всего, это достижение человечества вопреки эгоистам и себялюбам. Что за конфликт, что за драма! К счастью, все это только до семи часов, потому что в семь магазины с маслом закрываются.

Свернув с освещенных центральных улиц к Мокотову, где жил Адашь, я влетел на Раковецкую улицу. Небольшая тренировка, марафонский бег за маслом, по дороге зигзаги в боковые улочки — время близилось

к половине седьмого. Где-то в темном переулке неоновые буквы «Овощи», гаснут и зажигаются кружочки, черточки, треугольнички, неоновое разноцветное чудо, все буквы горят, даже красная точка, на-верное, только вчера смонтировали, надпись — скоро-преходящее чудо, надпись — двухдневный мотылек, в витрине грязь, пыль, земля-матушка, капуста, брюква, свекла, перевернутые ящики, червивые яблоки под сказочной неоновой надписью, есть и банки, есть оливковое масло!!! Полно оливкового масла в банках, сплошь оливковое масло в банках, только оливковое масло в банках, никто никогда не слышал об оливковом масле в бутылках.

Я хватаю банку, две банки, четыре, мать выдала пятьдесят злотых, добавляю свои кровные пятьдесят, все, что у меня есть, я не бессовестный сын, пятидесятизлотовая бумажка действует на нечистую совесть, как мыло, бегу дальше, к дому Бончека. Чем ближе к нему, тем муторней на душе — все уже там веселятся, я заявлюсь ни к селу, ни к городу, буду среди них, как кролик среди кошек, зачем мне все это пужно, куда я лезу за этой Баськой, ведь она меня даже не замечает, я сам выдумал весь этот роман, он ничего общего не имеет с действительностью, она никогда не заметит меня, глупого Пингвина, никогда не полюбит, да и за что меня любить? Домой, Пингвин, брысь домой, к своим книжкам! Что за победы тебе снятся? Вот если бы ты совершил подвиг, прославился, победил на соревнованиях по слалому-гиганту, сыграл главную роль в фильме... На это нужно время, а тут... Нет, время не ждет, а у меня нет условий, может, через пятнадцать лет я и стану главным инженером, но она не будет ждать; может, у нее уже кто-то есть, ведь я ничего не знаю о ней, у нее наверняка кто-то есть, она бежит к нему после лекций, может, он сегодня уехал или у его тети именины, и потому она согласилась прийти к Адасю, а я что?

Бончек жил в особняке для двух семей, черно-желто-белая роскошь, гараж, отдельная комната с окном в сад, через это окно можно было приводить девушек. В холле полно масок, тамтамов, пищалок, тотемов, эбеновых изделий, тростника, сплошная Аф-

рика-загадка — там скульптура, тут палица, женщина или столб на двух ногах. Адасть жил среди всего этого, и в башке его все время кружили черные мысли: где-то рядом, в шкафу или в письменном столе, есть несгораемая касса, а в ней шахтеры¹, он метался, как пес у колбасной лавки: как бы добраться до окорока? Мать его шлялась по городу, торчала в кафе и парикмахерских, я ее видывал и с молодыми, и со старыми, надо думать, она не очень-то блюла верность Бончеку-отцу, но тот, видно, не обращал на это внимания, он все время был в разъездах, а Адасть только злился. Очень, поди, песик Адасть мучился возле окорока...

У меня-то все было иначе, отец целиком отдавал зарплату матери, и они распределяли ее на весь месяц. Впрочем, теперь стало хуже, урезали работы по договорам, мать все реже приносила домой переводы, старики выбивались из сил, экономили, дрожали над каждой десяткой. Раньше, когда отцу случалось подработать или когда у матери бывал гонорар за перевод, дома устраивался праздник, появлялись деликатесы, в разговорах упоминались комиссионные магазины и даже звучали намеки на то, что хорошо бы, мол, завести малолитражную «Сиренку» — словом, король с королевой на один вечер, они выпивали маленько, несмотря на печень, утром просыпались охая, и все возвращалось на свое место, все шло своим чередом. «Лучше быть бедным и больным, чем богатым и здоровым», — говорила в утешение бабушка, у нее все в голове перепуталось, один только святой Антоний занимал ее думы.

Дверь мне открыла мать Адася, она как раз выходила из дому. Глаза подведены — сверху фиолетовым, по углам черным карандашом, ресницы торчат от туши, как щетка, кремов, красок и запахов столько, что чихнуть охота. Ухоженная, ведьма, шикарная, вся начищенная-наблищенная, холеная, подтянутая, наложенная.

— Здравствуйте, пан... не помню... ах, Анджей! Пожалуйте, пожалуйста... — Она смотрела на меня, заметила меня, крепко пожала мою лапу. Знаю я

¹ Купюра в сто злотых с изображением шахтера.

таких, у нее-то я имел бы шанс, таким как раз по вкусу мои девятнадцать лет. — Все сидят у Адася.

Она ушла, захлопнув дверь. Я полез вверх по лестнице. Слышалась музыка. Мне надо было избавиться от масла, банки распирали мне карманы. Я поставил их на столике возле зеркала, под какой-то черно-красно-желто-голубой мордой из дерева, прилизал волосы, теперь пора было входить. А входить было страшно, я мало знал эту банду и не любил их. Что они говорили обо мне? Они считали меня дубиной, бараном, тюфяком, пацаном, я не был ихним, притворялся, что чувствую себя с ними свободно, но это у меня не выходило, каждое будто бы свободное движение было неестественным и слишком свободным, громкий смех скрывал дрожь и был слишком громким, — словом, судорога, сводящая скулы, оцепенение, паралич. Я бы не мог быть оратором, актером, деятелем, душой компании, самым мировым парнем во всем классе, любимцем девушек и избранником судьбы. Вот если бы я умел играть на чем-нибудь, на пианино или лучше на саксофоне или дирижировал джазом! Все тебя слушают, девушки пожирают глазами, ребята проталкиваются к тебе, приглашают, угощают, ожидают. Петь бы, как Седака, чернокожий Тейлор, — вокруг рев, взбесившаяся публика, свист, летят стулья, проваливаются полы, зал в обломках, кругом сплошная давка, свалка, мордобой, всяк, кто жив, воеет, врывается на эстраду, не помогает ни милиция, ни Союз молодежи, ни дружина, ни горсовет, на мне рвут брюки, меня кусают, лижут... потом сирены, кареты «скорой помощи», носилки, я уже пою за решеткой, решетка отгораживает эстраду от зрительного зала, толпы на улице, два миллиона девушек, миллион писем в день, а я внимательно смотрю, велю поднять решетку, спускаюсь в зрительный зал, вижу Баську, подхожу к ней, она не верит своему счастью...

Наконец я открыл дверь в комнату Адася. Он кривлялся посредине, извивался в твисте перед сидевшей в кресле Баськой.

У него был и радиоприемник, и стереофонический проигрыватель, и заграничный магнитофон, и зеленый телефон (в коридоре я видел красный). В углу

Бояновский «пилил» твист с Магдой, Вализка, мастер по всякой механике, ковырялся в радиоприемнике. Они едва заметили меня. Адасть сказал: «Валяй, влезай, Пингвин», — он был весь какой-то взвинченный, возбужденный, наверное, уже глотнул чего-нибудь из отцовского буфета. Баська сидела с каменным лицом и даже не смотрела на все эти приемники, проигрыватели и аппараты. Адасть сменил пластинку и взглянул на Баську. Вся эта затея была ради Баськи, мы были ему нужны только для того, чтобы заполучить Баську, чтобы иметь возможность похвалиться перед Баськой отдельной комнатой с зеленым телефоном и заграничным магнитофоном. Он выбежал в холл, позвякал бутылками и вернулся с армянским коньяком, английским виски и кубинским ромом. Все это зверски дорого стоит, — такие цены в гастрономе просто оскорбление для народа и дренаж рынка. Силен Бончек, до чего выпендривается перед Баськой, вот он, гвоздь программы, свет прожекторов на него, одна бутылка — это почти вся ее стипендия. Он наливал, вещал, рассуждал, знаток вонючий, к виски-де полагается вообще не содовая вода, а соки, а марка «Блэк энд уайт» лучше «Белой лошади», наверное, дольет потом воды, чтобы старик не заметил убыли, когда вернется. Он возбуждался, и дергался, и говорил, говорил, говорил о путешествиях и о разных там Африках, и о том, что старик отдаст ему свой «фольксваген» и они поедут на Адриатическое море, потом снова переменял пластинку, закрыл стереофонический проигрыватель, опять сбегал в холл, вернулся с негритянским барабаном, тамтамом, и включил заграничный магнитофон. У него были записи самых что ни на есть последних новинок, самых модных мелодий в исполнении богов рева, ритм — мечта, ритм — гашиш. Он отбивал ритм на тамтаме, топал, сгибался, ритмично извивался, потом швырнул тамтам Вализке, схватил Баську, потащил ее, она начала танцевать рок, сохраняя это свое каменное выражение лица, мелькали только ее ноги, он хотел притянуть ее к себе, прижать, но она не далась, не далась! Она выскользнула и села с тем же выражением лица, а он остался стоять посередине с пустыми руками, пышащий жаром, как раскаленная кафельная печь;

он наткнулся на стену, и все его хвастливые заходы отлетели от нее, все разлетелось вдребезги — столько слов, столько ужимок, столько бутылок, столько аппаратов!

Я любил Баську, я вдвое больше любил ее за это, я хотел бы встряхнуть ее как следует, чтобы она улыбнулась или заплакала, сбросила с себя привычную маску — такая девушка, что за ноги, даже жарко становится, изящна, как само изящество, должно же в ней что-то быть!

Адась постоял с минуту, видно, он был взбешен, он уже настроился на Баську, он хотел иметь эту Баську, как «фольксваген», еще секунда, и он начнет реветь и топтать ногами: «Я хочу Баську!!! Я хочу Баську!!!» Это был конец, Мацейовицы¹, могила, нокаут на глазах у всех, да еще при ком — при Вализке, Бояновском и при мне! Этого Адась не простит! Но нет, он только выпрямился, выпил рому, усмехнулся, выключил заграничный магнитофон, Бояновский и Магда бухнулись с разбега на тахту, Вализка еще раз стукнул кулаком по тамтаму.

— Сыграем во что-нибудь? — предложил Адась.

— Сыграем, — поддержал его Вализка.

— В «минуту искренности»! — воскликнул Адась.

Я не любил таких игр, я не мог быть искренним с ними и не мог ничего сказать искренне Баське — тут-то они бы уж завyli, что пришел конец света, если даже глупый Пингвин лезет со своими чувствами. Им эта игра нужна была для всякого свинства, они могли говорить, что угодно, их искренность была ужасной, они без стеснения спрашивали обо всем, все топтали ногами, лезли сапогами в душу, похабно хихикая; копались грязными ручищами в живой, пульсирующей аорте, раздирали когтями ее красную мягкую ткань, хватали и живьем рвали на части птичку, чтобы заглянуть ей внутрь, туда, где бьется сердце.

— Я не буду играть в искренность, — заявила Баська очень твердо. — Иначе мне пришлось бы сказать тебе, что я о тебе думаю.

¹ Деревня, возле которой в 1794 году было разгромлено повстанческое войско Тадеуша Костюшки.

Вализка стукнул в тамтам и заготовал. У Адася был такой вид, словно ему дали по морде. Должно быть, она думала о нем то же, что и я, и он понял, что Баська его не выносит, что ничего с ней не выйдет ни сегодня, ни завтра, ни в следующем семестре, что время потеряно зря и игрушку не добыть ни за какие деньги. Он даже задохнулся, игра в искренность была последним номером в программе, больше у него в запасе ничего не осталось... Я был отомщен, Баська отомстила за меня, за этого глупого Пингвина, за все. Но Адась снова усмехнулся, и усмехнулся очень зло, потом взглянул на приемник — видно, задумал какую-то гадость.

— А может, хочешь узнать, что думают о тебе? — процедил он.

— А что обо мне могут думать? — задиристо спросила Баська.

— Сейчас услышишь, — усмехнулся Адась.

Наверное, он подготовил и этот номер, все возможно. Возле зеленого телефона лежал кусок кабеля, должно быть, он забавлялся таким образом не впервые — прием известный, — он соединил этим кабелем телефон с приемником, включил приемник и еще раз взглянул на Баську, на ее каменное лицо. Он что-то затаил, припрятал за пазухой какую-то крупную мерзость, это было сразу видно по его глазам. Я сидел сбоку, рядом с остальными и, как зритель в театре, затаив дыхание, следил за развитием действия. Я весь был покрыт красными пятнами, уши у меня горели, но это было зрелище, и я не мог ворваться на сцену. Адась поднял трубку и медленно набрал номер. Баська даже не шелохнулась. В динамике приемника трещало вовсю, пока он набирал цифры, потом что-то стукнуло и послышался сигнал. Он включил динамик на полную мощность, радио загудело на весь дом.

— Слушаю! — рявкнул мужской голос.

— Лукаш? — спросил Адась.

— Собственной персоной.

— Привет, старик.

— Привет.

— Ты можешь разговаривать?

— За двоих.

— Что подделываешь?

- Вернулся и ухожу.
- А у тебя случайно нет Баськи Орачевской?
- Уже давно нет. Что, ты ее хочешь?
- Быть может...
- Тогда будь осторожен, старик.

Я посмотрел на Баську. Она сидела, опершись о спинку кресла, такая же, как всегда, только, пожалуй, глаза у нее были расширены чуть больше обычного. Вализка захохотал, но Адашь утихомирил его жестом.

- Это почему же?
- Да так. Трудно отвязаться.
- Будет заливать-то!
- Ничуть не заливаю.
- Она не из таких!
- Вот именно из таких. Могу доказать. Хочешь, прочту?

— Что?

— Письма. У нее нет телефона, поэтому она пишет письма.

В приемнике раздалось какое-то хрипение, слышались шаги, видно, Лукаш направился к столу или к шкафу. Эти шаги терзали мои пылавшие уши. Баська, не дыша, смотрела на приемник, какая-то совсем уже окаменевшая. Лукаш быстро вернулся к аппарату, видно, он держал ее письма под рукой, — может, читал их перед сном или показывал гостям.

— Первое попавшееся... вот! «Встала сегодня рано, в восемь первая лекция, дома мрачно и холодно, за окном моросит дождь. Мне было очень худо, но я подумала о тебе, милый, и сразу же на сердце засветило солнышко, стало тепло, прошла тоска...»

Баська сидела, не шевелясь, и только смотрела на приемник, как на двадцатый круг ада. Вализка тихонько хихикал, те двое глупо ухмылялись.

— Да это же поэзия! — вскричал Адашь.

— Мне, старик, везет на дамочек. Слыхано ли, чтобы кто-нибудь теперь писал такие письма? Например, эдакое: «Сегодня ночью я снова думала о тебе... Все время меня не оставляет тревога, кажется, что нам что-нибудь помешает, разрушит наши отношения, я предчувствую это и боюсь, дрожу за нас... Достаточно тебе не прийти на наше место, как это было

сегодня... Я ждала почти два часа, милый... Я знаю, у тебя много дел, и ты не обещал ничего наверняка...»

Вдруг Баська шевельнулась, словно что-то ослабело у нее в позвоночнике, но она все еще и бровью не вела, другая давно бы уже сбежала. Те глупо прыскали со смеху, скоты. Адасть торжествующе поглядывал на Баську. Это и была его мерзость — наверное, обдумал заранее эту месть Баське за ее презрение. А Лукаш, подлец, продолжал шелестеть бумагой.

— Или вот еще: «Ты снова не пришел сегодня, хотя я весь вечер вслушивалась в шаги на лестнице. Зачем ты так мучаешь меня, милый? Почему не говоришь ни слова? Ты и представить себе не можешь, как ужасно такое ожидание, какая мука сидеть и ждать тебя вот так...»

Я увидел в глазах у Баськи слезы, не помогла ей ни каменная маска, ни стиснутые кулаки, она не смогла удержать слезу, покотившуюся по щеке. Я не мог больше выдержать этого, не мог взглянуть Баське в лицо, меня больно бил каждый звук. Я вскочил, подбежал к приемнику и вырвал из него кабель.

— Хватит! — крикнул я и потянул Баську за руку. Она сразу встала. Послушно поднялась и пошла за мной! Этот Адасть, наверное, забыл обо мне, я тихо сидел в углу, я вообще не шел в счет, скорее уж он мог ожидать, что появится шериф с револьверами из ковбойских фильмов, чем произойдет то, что я сделал. Он схватил меня за плечо.

— Ты... глупый Пингвин?! Ты что, спятил? Ну, погоди же...

Я оттолкнул его, и притом довольно сильно, как это случается с человеком в состоянии аффекта — тогда для него нет сильных, он бросился бы и на чемпиона мира в тяжелом весе. Мы с Баськой были уже возле дверей, а Адасть еще только поднимался с пола, там, где стоял стереофонический проигрыватель; слышно было, как Лукаш тихо хрипит в трубке, он, наверное, не понимал, в чем дело, и преврал чтение.

Мы выбежали на улицу. Баська нуждалась в темноте, темнота была для нее, как повязка на рану. Она

часто и глубоко дышала, глаза ее были полны слез. И ничего не говорил — о чем было говорить, нужно было дать ей пережить свой стыд в одиночестве. Ох, и выкинула же она номер, вечный ты неудачник, глупый Пингвин, собрался ей в любви объясняться, нечего сказать, подходящее выбрал время для объяснений; вот что было у нее внутри, этот Адазь просветил ее насквозь, вывернул наизнанку, расковырял ей все нутро — влюблена, как девчонка! Как этому Лукашу удалось из нее столько выжать, из всякой ли девушки можно столько выжать, подумать только, что ему это не нужно, плевал он на это, видно, матерый сукин сын; как она, должно быть, смотрела на него — подумать только, черт! — как она, должно быть, смотрела на него, сколько бы я дал, чтобы она так взглянула на меня, чтобы так написала мне, да я бы стоял у ее дома день и ночь, но теперь все кончено, теперь у нее надолго пропадет вкус к нежным словечкам, может, навсегда, теперь она избавится от этого, больше не будет писать таких писем, это ее отучит. Растратила понапрасну свои взгляды и слова, выложились перед стенным шкафом, для него все это, как розы для шимпанзе, как духи для коровы, а ведь многие отдали бы за это не знаю что, сколько их мечется по городу, без отдыха, с утра до ночи, — тех, которые не могут допроситься и дождаться, бьются головой о стену и воют, как собака на луну.

Я бежал рядом с ней и ничего не мог сказать, я был парализован мыслью, что все прозвучит сейчас глупо, у меня вообще все всегда звучало глупо, а теперь это уже было бы верхом глупости.

Так мы добежали до угла Аллеи Неподлеглости и Раковецкой, светофор как раз вспыхнул красным, Баська остановилась, видно, подсознательноотреагировала на красный свет. Она не смотрела на меня и плакала, уже не сдерживая слез, только утирала их, губы у нее прыгали, она вздрагивала всем телом — вот в какую бедную девочку она сразу превратилась! Маленькая бедная девочка, которую обидели в большом городе Варшаве, та-та-та, сказка для маленьких. Каменная маска полетела к чертям, вся оболочка лопнула, сгорела от жаркой обиды, но я не мог прикоснуться к Баське, даже подумать об этом не мог. Я дро-

жал вместе с ней и не мог прикоснуться к ней даже пальцем.

— Не расстраивайся, Баська, — сказал я, пытаюсь изобразить безразличие. Но голос выдал мою дрожь.

Она взглянула на меня, внезапно пораженная, испуганная, должно быть, она вообще обо мне забыла; не знала, что я все время бежал рядом, ей было все равно, есть я или меня нет, лучше даже, чтобы меня не было, ибо что я вообще такое? Ничто.

— Что? — резко спросила она.

— Я говорю — не расстраивайся.

Она смотрела на меня еще с минуту, ее лицо уже снова было неподвижным, таким, как всегда, потом, совершенно непонятно почему, она начала смеяться. Черт, она начала смеяться!

— Ну, ясно! Утешать меня вздумал! Ты что ж, решил, что я это всерьез, да? Я — и такие вещи?! Глупый ты, ведь я переписала это из одного романа! А он... все вы готовы поверить, что вас любят до безумия! Все должны вас любить до безумия! И вы ужасно удивлены, если из любви к вам не умирают. Привет!

И она перебежала на другую сторону. Я бросился следом.

— Подожди, Баська! Может, отвезти тебя домой?

— А может, дать мне нюхательной соли? Или бром? С чего это я вдруг свой дом не найду?

Подошел троллейбус, она вскочила в него, затерялась в толпе, исчезла. Мне было чертовски неловко и за себя и за нее. Троллейбус тронулся. Теперь она осталась одна, прибежит домой и... вот когда она задаст ревака, уткнувшись в подушку! Но лучше уж пусть ревет, чем так смеяться. Надо переждать, терпеливо переждать, пусть забудет этого Лукаша, а я, болван, чуть не сунулся к ней с объяснениями, это при моей-то роже, да я бы ему, скотине, зубы повышибал, чтобы он выплюнул их все из своей пасти. Адасю тоже причитается, смотри-ка, ведь выкопал же откуда-то этого Лукаша, подружился с ним — свояк свояка видит издали, они всегда найдут способ отыгаться на девушке.

Я открыл дверь, тихо вошел в коридор, и тут меня как по лбу стукнуло: масло! Я оставил его у Адася

на столике под цветной мордой! Из комнаты слышался голос матери:

— В понедельник пойдешь к директору и скажешь: «Или Богданюк, или я!» Пусть выбирают! Пусть наконец решат! Или карьеризм, подлизывание и интриги, или честный, добросовестный труд для института! Это будет пробным камнем! Если они предпочитают карьеристов, то могут их иметь! Целые тонны! Целые вагоны карьеристов!

— Но, Иренка, пойми, Главный не откажется от Богданюка... Он нуждается в нем! Богданюк расхваливает его на всех собраниях. Всегда его поддерживает. Выдвигает его кандидатуру. Ему пришлось бы найти вместо него другого, но не меня. Я не гожусь в кадиллики, в подхалимы; может, Врачек подойдет, он ученик Богданюка, не знаю только, будет ли Врачек лучше...

— Причем тут Врачек! Врачек — ноль! Мы говорим о Богданюке и о тебе! Кто окончательно подорвал свое здоровье, просиживая в институте с утра до ночи? Кто трудится в поте лица, пока тот бегаёт по городу, торчит на разных совещаниях, заседаниях и вечерах, как какая-нибудь кинозвезда? На ком держится весь институт? Кто отказался от карьеры ради института, потому что институту нужны кадры! И за все это ни одного доброго слова, никакой признательности! Где уж там! Выдвижение — Богданюк! Премия — Богданюк! Командировка за границу — Богданюк! Медали — Богданюк!

Богданюк засел у матери в кишках, она уже не могла без него жить, о чем бы она говорила с отцом, если бы не было Богданюка! Он стал для нее наркотиком, этот Богданюк. Отец отказывался от всякой борьбы с ним. Богданюк растер бы его в порошок, разложил на молекулы, Богданюк сидит в ста местах одновременно, выглядывает из каждого кабинета, из каждого зала собраний, чарует по телевизору, выступает по радио, вот он уже в Щецине, Познани, Сан-Франциско, Аккре и Конакри, он позирует перед объективом, примазывается ко всем, кого фотографируют, чтобы не остаться за кадром, это страшно — остаться за кадром, но нет, он попал в кадр, стоит рядом с председателем, Главным, министром. Главный улы-

бается ему, все хорошо, все ему улыбаются — ведь это Богданюк! — даже министр улыбается. Богданюк всегда изучает улыбки, улыбка Главного — не изменилась ли она, может, она стала более холодной? Нет, улыбка приветлива, Богданюк может спать спокойно, жизнь — это постоянное карабканье по шатким лесам, завтра кто-нибудь может нашептать Главному, накрутить его, опутать, подложить Богданюку свинью, эдакую огромную свиноматку, потом могут снять Главного, может наступить новый этап, этап без Богданюка! Богданюку снится, что настал новый этап без него, он рычит сквозь сон, задыхается и хрипит, просыпается потный, садится на кровати, нет, наяву все прекрасно. Главный улыбается как обычно, все по-старому, еще не настал этап без Богданюка, Богданюк необходим, незаменим, еще незаменим, еще нет никого, кто мог бы занять его место, выжить его, до этого еще никто не дорос...

Успокоившись, Богданюк ложится, но тут же снова садится. Врачек! Врачек — его любимчик, его выкормыш, согретый на собственной груди, выведенный Богданюком в люди, внедренный в организации, комитеты и комиссии, чтобы иметь там свою руку. Врачек — эхо Богданюка, его верное отражение, его рычаг и электронный мозг, который включается им, когда нужно повернуть собрание, совещание, выдвинуть список комитета, протолкнуть решение, резолюцию или предложение, войти в состав комиссии, правления, консультативного органа, определить состав делегации, даты заграничных командировок или приема гостей на месте. У Богданюка на висках снова выступает пот, ибо недавно этот самый Врачек, вылепленный Богданюком из пластилина и оживший благодаря тому, что Богданюк вдохнул в него собственное дыхание, этот робот Богданюка, настроенный на его частоту, действующий безотказно и четко, Врачек — ничто, Врачек — собачье мясо, дохлое без Богданюка, несуществующее, безмолвное, никакое, — этот Врачек встал и высказал собственное, неинспирированное мнение. Мнение его было вредным, глупым, противоречащим мнению Богданюка, косвенно атакующим Богданюка, недопустимым, скандальным, хулиганским и анархи-

ческим, а что еще хуже, Врачек заупрямился, отстаивал свое мнение, управление роботом совершенно вышло из строя, импульсы уже не воспринимались им — бунт робота, кошмар, робот, живущий собственной жизнью!

Напрасно Богданюк тряс его за грудки, чтобы у него внутри все встало на место, чтобы он начал действовать, как прежде, — Врачек отстаивал это свое глупое мнение бесстыдно и цинично, повторял его с упорством, верил в него, вдруг поверил в собственное мнение, заstopорился начисто! Это могло стать началом конца: да ведь если Врачек будет иметь собственное мнение, если каждый вот так будет иметь собственное мнение — тогда конец. Кто поддержит предложение Богданюка, кто выберет Богданюка, кто пошлет Богданюка делегатом? Не поможет чувство долга по отношению к Богданюку, чувство признательности, наоборот, они сейчас же забудут, чем они обязаны Богданюку, они все охотно позабудут, никто не хочет быть никому ничем обязанным, будто они всего достигли сами, собственными талантами, а кем бы он был, этот Врачек, если бы не Богданюк!

И вот Богданюк, весь взмокший, извивается и думает обо всем самом худшем. Над его головой поднимается все выше и раздувается Врачек — Троянский конь, Врачек — Конрад Валленрод, Врачек — архангел с мечом, который сразит Богданюка.

Все это рисовалось так в моей голове на основе подслушанных разговоров родителей. Это были гнусные делишки, и я был целиком на стороне отца, одобряя то, что он не вмешивается в них, а просто работает, что он не любит быть на виду и не любит шума. Я, глупый Пингвин, отлично понимал его, но мать хотела шума, деятельности, успехов, повышений и орденов, ее честолюбия хватало на них обоих, отсюда и Богданюк, вечно Богданюк, всюду Богданюк, Богданюк нашей жизни, образец, враг, звезда.

— ...если ты в понедельник не пойдешь к Главному и не скажешь: «Или я, или Богданюк».

Я открыл дверь, чтобы выручить отца, и мать оборвала фразу на полуслове, но она еще не высказалась до конца, она выпустила пар только наполовину, и

то, чему не миновать, должно было незамедлительно последовать...

— Масло я купил, четыре банки, но забыл их у Бончеков. Завтра схожу — принесу.

Матери только того и надо было. Не могла же она остаться под давлением своего пара! Клапан открылся:

— Разумеется! Забыл! То, что нужно родителям, ты забываешь, но о своих делах хорошо помнишь! А если бы я вдруг хоть раз забыла тебя накормить? Выстирать белье? Сменить постель? Пришить пуговицы и заштопать свитер? Накопить денег, чтобы ты мог поехать в горный лагерь в Закопане? Простоять полдня в очереди, чтобы принести тебе апельсинчик? Почему я ничего не забываю, почему? Потому что я не эгоистка! Отвратительный себялюб! Жестокий, грубый себялюб! Сибарит, выросший на родительских хлебах, политых тяжким потом! Богданюк!

И она выбежала, хлопнув дверью. Мне нечего было сказать. Вообще не следовало ни отвечать, ни оправдываться, я же не мог сказать о том, что было в действительности.

Отец вглядывался в меня усталыми от чтения глазами, эта непрерывная работа добивала его.

— Ну, как ваша дискуссия о счастье? — спросил он.

— Трудный это вопрос, — вздохнул я.

— Труднее, чем тебе кажется, — улыбнулся отец.

Мне захотелось вдруг все рассказать ему, но уже через секунду это желание пропало. Что они поймут!.. Отец отхватил себе жену так, мимоходом, они с матерью вместе были в подполье; воин-герой, подвергавшийся опасности, девушки любили героев, раз-два, стрельба, смерть поджидает за каждым углом, любовь приходит сама, патриотическая любовь, наспех, на ходу, между тайной переправкой гранат и комендантским часом, завтра мы, может быть, погибнем, нет времени на охи и вздохи, прощай, ухожу в лесной отряд, явка провалена, приказано исчезнуть из города, привет дорогая, сердце в вещмешок, рыдай о храбром воине, борьба продолжается. Потом его схватили, отправили в концлагерь, мать целые дни простаивала в

очередях с передачами, он кое-как выжил, не погиб, вернулся, и вот они теперь сидят вместе, обсуждают Богданюка.

Я бы тоже так завоевал Баську, уж тут-то я бы наверняка ничего не боялся; я бы взорвал сто поездов с врагами, да еще казармы, пять складов боеприпасов и двадцать две цистерны с бензином, уж тогда бы она меня заметила, я наделал бы столько шума, был бы так прекрасен в своей отваге! Наверное, ни один герой на войне не имел трудностей с женщинами, вон как они все разговаривают в кинофильмах, достаточно посмотреть на них в кино, послушать, что они говорят, там каждого любили — и красавцев, и тех, у кого кривые ноги или уродливый нос. Все времена по-своему хороши, но, по крайней мере, тогда на войне сразу стало бы ясно, чего стоит такая собачонка, как Адашь, или такой мерзавец, как Лукаш, тогда человек был наг, в счет шло только главное — отвага, преданность, идеалы и тэ дэ.

Мы с отцом молчали, разговор у нас не клеился, его голова была забита законами стоимости, труда и производства, товарной массой, методами, цифрами, у меня были свои волнения — Баська, и с моей Баськой его экономику увязать было нельзя. У каждого из нас была своя тема в жизни, у матери тоже был ее Богданюк, и ни один из нас не мог говорить непридуманно на другую тему.

Я пробовал читать, не вышло. Наконец мы сели ужинать. Мать стучала тарелками, храня гордое молчание, отец включил телевизор — это был выход из создавшегося положения. На экране мелькали какие-то машины, мы смотрели на них, не видя их, гремела веселая музыка, диктор бравым тоном расхваливал машины, потом замелькали, двигаясь в обратном направлении, другие машины, и, хотя отец не раз подчеркивал роль механизации, он все-таки не выдержал и выключил телевизор, и мы продолжали сидеть молча, думая каждый о своей теме в жизни.

Наконец мать нарушила тишину.

— Ты был у Бончека?

— Ага.

— Я читала в газете о его отце. Он опять получил какую-то награду.

- Да. Говорят, он очень хороший архитектор.
- Было бы неплохо, если бы ты подружился с этим Бончеком. Ты познакомился с его матерью?
- Познакомился.
- Симпатичная?
- Очень симпатичная.
- Кто у них был еще?
- Несколько человек. Вализка.
- Вализка? Кто это?
- Наш однокурсник.
- Симпатичный?
- Очень симпатичный.
- И хорошо вы развлекались?
- Хорошо.
- А танцы-то хоть были?
- После дискуссии. Немного.
- И ты тоже танцевал?
- С двумя девушками.
- Красивые девушки?
- Красивые и симпатичные.
- А что ж вы так рано разошлись?
- Да так уж получилось, действительно, на редкость рано.
- Что же вам помешало?
- Ничего, просто завтра утром отец Адася возвращается из Африки, и Адасю надо на аэродром.
- Видишь, какой он хороший сын.
- Вижу. Хороший.

Отец посмотрел на меня, должно быть, старина что-то смекнул. Я давился, глотая хлеб с ветчиной. Теперь наступила тишина, тишина-ширма, тишина-духота. При первой же возможности уйду из дома. Я знал, что для этого пришло время. Наступает пора когда птенец, даже самый жалкий, покидает свое гнездо, когда даже самый паршивый щенок покидает свое логово. Я уже не вернусь сюда. Мне было жаль их, особенно каждого в отдельности, но это уже конец — благодарность, чувства и тэ дэ. Нельзя больше жить вместе, я уже тоже взрослый, а здесь я всегда буду сопляком. Я могу снимать угол, лишь бы только закончить институт, дотянуть до диплома, но без этого сюсюкания: «Послушные детки идут спать», — все послушные, все знают, что хорошо, а что плохо.

Потом среди ночи, да нет, пожалуй, уже на рассвете, в шестом часу утра, зазвонил телефон. Звонок был хорошо слышен в обеих наших комнатах. Он так и звенел у меня в ушах, но я чертовски крепко спал — заснул я уже после полуночи, голова была полна Баськой и всем происшедшим. Телефон стоял возле тахты, где спит отец, и я слышал его голос:

— Да... Кто? Ага... Пожалуйста, пожалуйста... Нет, ничего не знаю... Сейчас разбужу Анджея.

Я босиком подбежал к телефону, придерживая рукой пижамные штаны, потому что в них лопнула резинка.

— Пан Анджей? Говорит Бончек, мать Адася. Вы не знаете, что с ним могло случиться? Его нет дома! Я вернулась сейчас от знакомых, а его нет...

— Когда я ушел, он оставался с товарищами дома...

— Да, а потом они тоже ушли. Я только что говорила с Марекком Бояновским. Адась простился с ними около одиннадцати вечера и собирался идти домой... Я уже звонила в скорую помощь и в милицию... Ведь через несколько часов приезжает муж!

— К сожалению, он ничего мне не говорил. Просто не представляю, что могло случиться... просто не представляю.

Пани Бончек буркнула что-то и повесила трубку. Видно, струсилась не на шутку: до последней минуты шлялась по гостям, веселилась вовсю, а тут бац, нет Адася, и как раз тогда, когда возвращается муж, ну и утречко у нее!

— Горе с этими детьми, — проворчала в темноте мать, — растишь их, растишь, столько лет жизни им отдаешь, вот они уже вроде бы взрослые, кажется, можно и отдохнуть, заняться наконец собой — ведь вон какой бык вырос, пусть дальше сам шагает, можно бы уж и не волноваться о нем, а он вдруг берет да и не приходит ночевать. Не приходит, и все! Убили его, под грузовик попал, сбежал, в тюрьму угодил, влип в какую-нибудь грязную историю?.. И опять у родителей сон прочь, мучайся, дрожи, страдай, убивайся!

— Никуда этот Адась не денется, можешь быть спокойна, мама, скорее сто других, куда лучше его, пропадут, — заверил я мать и вернулся к себе, но

спокоен я отнюдь не был. Мне мерещились разные ужасы, и все они, конечно, были связаны с Баськой — может, он выкрал ее, изнасиловал, убил, а может быть, просто напился на какой-нибудь вечеринке или заночевал у девчонки?

Я заснул, когда было уже совсем светло. Однако спать пришлось недолго, в это воскресенье мы должны были работать на уборке скверика — общественный почин, — делать игровую площадку для пацанят, студенты — пацанам, создадим сквер для пацанят, чтобы они не обрывали дверные ручки, не звонили в квартиры, не били стекла в окнах, не расписывали свежепобеленные стены разными словечками, не поджигали помойки, не кидали камни в фонари и прохожих, не выламывали части у автомашин, не топтали цветы, не играли на чердаках в крестоносцев, ковбоев, полицейских и робингутов, но чтобы они делали куличики из песка на скверике и съезжали бы на попке с горки.

Я быстро встал. Отец уже сидел над своей экономикой, просто танк, а не человек! Я позвонил Бончекам, старый Бончек как раз только что вернулся из Африки — сумасшедший дом, отчаяние, об Адасе ни слуху ни духу. Адашь знал, что отец приезжает, что он привезет подарки. Адашь ни за что не пропустил бы такого момента, это и в самом деле было странно, ведь у него наконец появилась возможность дорваться до старика и как следует его очистить. Пани Бончек умоляла меня прийти.

Однако сначала я побежал на скверик. Кучи кирпичей, обломков, вокруг новые дома, стекло, желтые балконы... Здесь так красиво, светло, кипит жизнь, растет наша Варшава — что за дома! Именно в них и производят пацанят, даже стекла дрожат от этого производства.

Наши уже собрались. Роман Жильский, деятель из молодежной организации, раздавал лопаты. Ни Баськи, ни Адася не было. У кучи кирпичей махал лопатой Вализка, мужик сильный, как бульдозер, даже свистело вокруг, когда он взмахивал лопатой. Он успел уже занять очередь в кино неподалеку за билетами на какой-то вестерн.

Я тоже начал махать лопатой, куда ж деваться! Вализка уже все знал, старый Бончек поймал его

утром в общежитии. Вализка смеялся надо всем этим, говорил, что Адася украла баба-яга, которая уже давно занимается его просвещением, она вроде бы разведена, муж оставил ей однокомнатную квартиру и удрал от нее чуть ли не на границу с ГДР. Адася бегал к ней всякий раз, когда не было девочки получше. У него, у Вализки, тоже есть такая бабенка, муж ее постоянно разъезжает, он официант в вагоне-ресторане, и пока он катает по всей Польше, подавая водочку и бифштексы, Вализка тоже исколесил в его постели чуть не половину Польши, отлично ездить в этой постели, мягко, как в вагоне первого класса, для того, кто живет в паршивом общежитии, это, браток, роскошь, ого-го!

У Вализки была здоровенная скуластая морда, и от него веяло бычьей силой, но такие голубоглазые блондины нравились девушкам, хотя он, как никто другой, мог извергать потоки мерзости. Откуда в нем эта злоба, кому он мстил? Он приехал из Млавы, может, у него было тяжелое детство или еще что-нибудь, может, к нему плохо относились в школе, может, он подкидыш, может, его мать была женщиной легкого поведения — отчего ему хотелось так все оплевать, облить помоями?

Должно быть, он почувствовал, что меня тошнит от всего этого, ибо я не отвечал ему в том же духе, и он стал изрыгать свои гнусности еще громче, назло себе и мне, теперь он поносил женщину, с которой встречался, и старался не оставить на ней ни одного чистого местечка, топтал ее в самой грязной грязи, волочил ее по этой грязи за волосы, а ведь он обнимал ее, и она охватывала его шею руками, прижималась своей щекой к его щеке...

Я изо всех сил махал лопатой и так отшвыривал от себя землю и кирпичи, что кругом только посвистывало. Всю свою злость вкладывал я в эту работу. Наконец Вализка выдохся, должно быть, выплюнул из себя все, что мог, и блондин Вализка, довольный собой, закурил, настоящий мужчина, полубог. Но, видно, ему было мало этого. Его злило, что я молчу и только махаю лопатой, он просто не мог спокойно видеть человека, который не пачкает себя и других

в грязи, смеет увиливать от этого, потому что он тут же прогнусавил:

— Ну и выкинул же вчера Адашь номерок, разделал эту Баську под орех!

В самое сердце угодил мне Вализка! Я перестал махать лопатой и взглянул ему в глаза.

— Ни под какой орех он ее не разделал. И вообще никто из вас не мог бы разделить ее под орех.

— Дурень ты, Пингвин, он ее именно под орех разделал, подстриг под ноль, да еще как! Теперь-то уж не будет нос кверху драть, паскуда! Подумаешь, какая нашлась, лучше других, что ли? Такая же шлюха и дешевка, тудыть ее рабтудыть!..

Я бросился на него, даже не подумав, стоит ли это делать. Я вообще ни о чем не мог думать, мне хотелось только изувечить эту грязную пасть, заткнуть ее! Я как следует двинул кулаком в его огромную злобную морду, он даже чуть не упал, из губы у него брызнула кровь. Такого он не ждал — конец света. Пингвин полез драться! — я успел еще лягнуть его в колено, он согнулся, но тут же выпрямился и бросился на меня. Он влепил мне так, что у меня потемнело в глазах и я опрокинулся на кучу камней. К нам сразу же сбежались все ребята, поднялся шум, крики о хулиганстве, вот-де какой пример студенты подают детям, будущему народу! Я был в глазах всех зачинщиком, я напал на бедного Вализку — не мог же я объяснять, что я рыцарь, что он оскорбил мою даму и только кровь может смыть такое оскорбление! К счастью, я был известен как тихоня, который только и знает, что учится, вдобавок я уже успел нашвырять гору земли на этот скверик для цветов нашей жизни, для милых деток, и, кроме того, их рассмешил мой вид, и то, что я напал на быка Вализку, моська и слон, так что нас наконец оставили в покое и даже не сделали выводов.

Я слез с кучи камней, на которой валялся, все тело у меня болело — падая, я ободрал себе лапу и теперь слизывал с нее кровь, а этот Вализка начал гоготать во всю глотку. Я даже не взглянул на него, не на что было смотреть. Подумать только, что когда-нибудь эдакая мразь еще пролезет в руководители и будет командовать людьми, ведь не выгонят же его ниоткуда

на то только, что он скотина, тем более если он будет хоть как-то учиться и говорить при ком надо что надо.

Отряхнувшись, я во всю прыть пустился к автобусу. Там я вытащил бумажку с адресом Баськи — все было поводом, чтобы увидеть Баську, плевал я на Адася и его исчезновение, раз это не имело отношения к Баське; даже с общественной точки зрения его исчезновение не было исчезновением, оно не создавало никакой пустоты, так же как если бы кто-нибудь зачерпнул кружкой воды в озере. Адазь был настоящим эгоистом, я по сравнению с ним — самокат против реактивного самолета, никто его не любил, никто не нуждался в его обществе, если к тому не было особого повода, никто не почувствовал бы, что его не хватает, что в рядах образовалась брешь. Конечно, его предки — дело другое, им и положено горевать, они же его родили, пичкали шоколадами, осыпали подарками, разными погремушками и стереофоническими проигрывателями, но даже и в их жизни он не занимал почти никакого места — они жили, каждый сам по себе, встречались только у чемоданов с барахлом и пластинками, которые привозил старый Бончек, и встревожились о сыне, лишь когда он не пришел ночевать.

Я тоже не находил общего языка со своими предками, мы все больше отдалялись друг от друга, потому что они иное поколение, из другой эпохи, довольные тем, что у них есть центральное отопление и ванная, «у нас никогда не было ванной, мы впервые в жизни живем, как цивилизованные люди, с ванной и центральным отоплением», «есть хлебушек, не падают бомбы и не арестовывают невинных...». Но я знал, что мои предки не спускают с меня глаз, иногда я доходил до бешенства оттого, что они так любят своего отпрыска, так им занимаются и так страдают потому, что он уже ускользает из их рук, для них я все еще был беспомощным птенцом, но, пожалуй, это было лучше, чем то, что у Адася.

Наконец я дотащился до этого чертового Жоли-божа, ткнулся в одну сторону, в другую, мне указывали то направо, то налево, в конце концов я нашел ее улочку — три с половиной домика, садики какие-то, почти деревня. Домик Баськи еще носил следы воен-

ных бурь, стены были изрешечены шпателью или чем-то в этом роде, видно, здесь тоже когда-то шла серьезная драка, штукатурка на лестничной клетке вся ободрана... Баська жила на втором этаже, три звонка. Я позвонил три раза и стал ждать, вслушиваясь в звуки за дверью. Там шумела вода, мурлыкал голос диктора, ведущего воскресный концерт по заявкам: «Лучезарной пани Ивоне, сверкнувшей на дороге моей жизни между станциями Мальборк и Гданьск-Главный, посылает эту песню пораженный в самое сердце Ежи Бегус из сельхозкооператива в Моронге». Что-то зашелестело, дверь открылась, на пороге стояла Баська в халате. Я с облегчением вздохнул: она дома, ничего не случилось, Адаś не украл ее. Лицо Баськи, как всегда, ничего не выражало, но в глазах у нее мелькнул испуг, и она сделала такое движение, точно хотела преградить мне вход.

— Ты? Что случилось?

— Бончек не вернулся домой ночевать.

— Знаю. Они уже были у меня. Я сказала, что ушла вместе с тобой, когда все еще оставались. Я не могу тебя пустить в комнату, потому что мать еще спит, она только в воскресенье и может выспаться.

Баська стояла в дверях, придерживая на груди выцветший халатик из оранжевого вельвета, такая худенькая и бледная, с темными кругами под глазами оттого, что плакала или не выспалась. Черт, до чего она в этот момент была чужая и какая-то недостижимая! Страшная для нее ночь осталась позади. Баська была не из тех, кто вспарывает вены из-за любви, но я был свидетелем ее унижения, того, как растоптали в грязи все, что шло прямо из ее сердца, и теперь она стояла, оцетинившаяся, и, наверное, ненавидела меня так же, как тех, теперь-то уж мне совсем не на что надеяться, никогда.

Я лизнул свою лапу.

— Что это у тебя? — спросила она.

— Содрал кожу в порыве трудового энтузиазма на воскреснике.

— Лопатой тоже надо махать умеючи!

Она смотрела на мою лапу, я был смешон со своей «раной» и все же отважился, я знал, что из этого ничего не выйдет, но все-таки отважился:

— Может, вылезешь сегодня из дома? Погулять, в кино или еще куда-нибудь, а, Баська?

— Нет. Дать тебе бинт?

— Спасибо, не надо. Я ее еще малость полижу.

Она взялась за ручку двери, и я понял, что мне пора уходить. Говорить больше было не о чем, тоненькая нить оборвалась, Баська была как мертвая, все, что я мог ей сказать, не дошло бы до ее сознания, оно не действовало, было холодно, как выключенная батарея. Для того чтобы включить его, нужно было потрясти ее чем-нибудь очень сильным, но мог ли я, глупый, бедный Пингвин, вообще потрясти ее чем-нибудь?

— Ну что ж, Баська, привет, — сказал я.

— Привет.

У меня горели уши, я шел от нее, как тот глупый вшивый Вертер, плевала она на мои порывы, и если б я даже издох у ее порога, она не хранила бы обо мне память, тоже еще донкихот чокнутый выискался, рыцарь, ободравший лапу в бою за честь возлюбленной, как будто нет других девушек — да их полно, как мороженого зимою!

Я снова вскочил в автобус и, полизывая лапу, доехал до Раковецкой, но прежде чем доплелся до дома Бончеков, у меня уже созрел новый план. Моя глупая башка, заполненная Баськой, непрерывно работала, мысли вертелись только вокруг Баськи и всего, что имело к ней отношение, — как бы подобраться к ней поближе, начать действовать, во что бы то ни стало что-то сделать. Это была чертовской силы энергия, на ней могла бы работать водяная мельница, заводская электростанция, с ее помощью можно было бы смолотить все запасы кофе в гастрономе или запускать ракеты: меня носило по городу, я должен был бегать, это давало надежду, поддерживало во мне надежду, я не мог бы сейчас зажать в себе чувство и страдать втихомолку, ничем не проявляя его; и хотя я был смешон, я должен был сейчас — при моей-то роже и патологической робости — быть победителем сердец, петухом, ловеласом, Казановой или кем-нибудь еще в том же духе, до того меня проняло, до того меня трясло и заносило на поворотах.

У дома уже стоял «фольксваген» Бончека-отца, видно, старик гонял по городу в поисках своего сокровища. В квартире был ералаш, торопливо распаковывались чемоданы, на столе лежало разное бабье барахло — нейлоновое, шелковое, кожаное, причиндалы для того, чтобы прикрывать, обнажать, уменьшать, умножать, красное, черное, блестящее, сверкающее — дань супруге; были также маски для украшения стен, пластинки для увеселений. Тейлоры и Седаки, Бренди и Элвисы, «попмюзик» и гитаристы моих снов — в общем, праздник в доме, день сплочения семьи у чемоданов, минута глубочайшего единения... И вдруг — нет Адася, это неслыханно, Адась не явился в такой момент, он погиб смертью храбрых, пропал без вести или еще что-нибудь... Меня тут же отвели в комнату Адася, рядом уселись отец с матерью, где-то там бегали еще бабушка и дядя, в общем, похороны, сплошная могила. Пани Бончек даже не сделала обычной косметической маски, позабыла о красках, кремах и туши, по всему ее лицу, обвислому и бледному, дрожали морщинки, вся морда была испещрена ими, все сразу вылезло на эту ее физию — и ее годы, и ее забавы, и это ее увеселение нынче ночью, и этот страх.

— Я всюду был, у всех его друзей. Никто ничего не знает. Он простился с ними у гостиницы «МДМ» и пошел прямо домой. Его нет ни в одной больнице, ни в одном отделении милиции, он не значится ни в одном перечне несчастных случаев... Вы ничего не знаете? Вам ничего не приходит в голову? Куда бы он мог пойти?

Мне ничего не приходило в голову, о его разведенной с мужем даме говорить было трудно; если он закатился к ней, то и так вот-вот явится.

— А может, он просто «нырнул в Польшу», — робко подал я мысль...

— Что значит — «нырнул в Польшу»?!

— Ну, сбежал...

— Сбежал?! Куда? Зачем? Что ему, дома плохо, что ли?

— В день приезда отца? Не предупредив? Это невозможно!

— Ведь у него было все, что он хотел! Все, о чем мечтал!

Они замолчали, глядя друг на друга все более неуверенно, святое возмущение, вся эта их святая невинность начали сходиться с них; и зачем только я ляпнул это, теперь они будут грызться. И действительно. Старик начал первым:

— Знаешь, дорогая... Теперь мне уже полезли в голову всякие мысли... Может, он специально выбрал такую минуту? Может, мы виноваты перед ним? Не уделяли ему должного внимания? Может быть, у нас оставалось для него слишком мало времени?

Долго уговаривать пани Бончек не пришлось, старт был взят с места в карьер:

— Конечно! Мы его забросили! Мы жили рядом с ним, как чужие! Мы даже не знаем толком, чем он жил, о чем мечтал! Мы не знали души нашего ребенка! Это ты виноват! Ты все время разъезжаешь по командировкам, живешь своей жизнью, какое тебе дело до ребенка, какое тебе дело до всего, что делается дома!

— А ты?! Всегда бегаешь где-то по городу, терпеть не можешь своего дома, бежишь из него, боишься его, у тебя в голове одни только тряпки, флирты, развлечения, тебе хочется догнать время, взять от жизни все, ты боишься прозевать что-нибудь, мечтаешь... Матери так не поступают!

— Боже! Он такой впечатлительный, должно быть, он мучительно переживал, что мы такие эгоисты... он чувствовал себя ненужным... Он ушел, он просто ушел!

— Лишь бы он только вернулся!

— Влодек, обещай мне... если он вернется... мы должны вознаградить его за все... И надо же мне было вчера тащиться в этот театр!

— А зачем ты ходишь по театрам? Я же купил вам телевизор.

— Да что там телевизор! Я теперь вспоминаю, как Адашь посмотрел на меня, когда я вчера уходила... В его взгляде был упрек! Да, упрек!

— Я ему привозил все новейшие пластинки...

— Дело не в пластинках!! Отделяться подарком мало! Ребенок нуждается в ласке! Ему нужно отдавать время и сердце! А он этого не видел! Боже, подумать только, ведь с ним могло что-нибудь случиться! Я теперь покоя себе не найду.

Я вжался в кресло, чтобы меня здесь было как можно меньше, но они убивались вслух, не обращая внимания на мое присутствие, забыв обо мне, словно я был мебель или воздух. Они действительно были в отчаянии, вдобавок, она наверняка еще не очухалась после бурно проведенной ночи, а он не выспался в дороге. Оба они то и дело поглядывали на зеленый телефон: не звонит ли? Бедные предки — что-то понявшие задним умом, такие по-человечески страдающие, такие любящие, мне было их жаль. Если бы Адашь, эта скотина, сейчас вернулся, он бы мог как следует обобратить их.

Пани Бончек вдруг заметила меня и умолкла, ей стало стыдно, она даже одернула свое кудое платье, прилегающее и облегающее, безуспешно пытаясь прикрыть высоко обнажившиеся ноги. Ноги были у нее на двадцать лет моложе физиономии, на них еще можно было смотреть.

— Значит, вы ничем не можете нам помочь, пан Анджей? — спросила она.

— Да вот я как раз все время думаю... Не знаю... Вчера, когда мы сидели здесь и слушали пластинки, Адашь звонил одному парню, Лукаш его зовут.

— Знаю! — вскричала она. — Лукаш Брода! Он раз за два был здесь. Милый паренек, но для Адася его общество не годится. Он бросил учебу, неизвестно чем занимается, еще может дурно повлиять на Адася... Знаешь, это сын того Броды из Бюро путешествий, который был руководителем нашей туристической группы в Югославии.

Она оживилась, стала копаться в телефонной книге, потом схватила трубку, набрала номер. Двадцать восемь, двенадцать и еще что-то, последнюю цифру я не разглядел под ее ладонью.

— Пан Брода? Это пан Лукаш? Говорит мать Адася Бончека. Нет, на этот раз именно вы мне нужны. Адашь вчера ушел из дому и до сих пор еще не вернулся... Кажется, он вчера вам звонил... Ага... И больше ничего? Он не говорил, куда идет? Встревожена! Вы еще спрашиваете, встревожена ли я! Ну-ну... благодарю вас.

Она положила трубку, эта впавшая в отчаяние мама, желтая, как подгнивший лимон.

— Ничего не знает. Они только договорились, что Адася сегодня позвонит ему и покажет подарки, которые ты ему привезешь. Ну, сделай же что-нибудь, Влодек, сделай же, наконец, что-нибудь!

Отец Адася бегал по комнате и действительно не знал, что делать. Угрызения совести гнали его то туда, то сюда, от одной стенки к другой, жаль было смотреть на него. Когда-то у нас подошла от чумки собака, и был тогда еще маленький, и меня тоже мучили угрызения совести из-за того, что я измывался над ней при жизни, подымал ее за хвост, привязывал к хвосту заведенный автомобиль и надевал на морду материн пластичный чулок. К сожалению, она издохла, и я уже ничем не мог вознаградить ее за страдания.

— Влодек, сделай же что-нибудь, я повешусь от всего этого!

— Сделай! Что я могу сделать? Я уже всюду был! Всюду! Надо ждать! Ничего другого не остается, будем ждать!

— Ждать! Да я с ума сойду! — вскричала пани Бончек и тоже начала бегать по комнате.

С меня было вполне достаточно. Своим напряжением они так накалили все вокруг, что мне тоже захотелось включиться в этот их кросс по комнате. Просто невозможно было усидеть на месте. Я встал, чтобы как-то ретироваться, но остановился в нерешительности, не зная, прервать ли их беготню и проститься или исчезнуть беззвучно, испариться из этой наэлектризованной комнаты. Пока я раздумывал, переступая с ноги на ногу, зазвонил телефон. Звонок прозвучал, как на сцене, — в самый драматический момент. Он так и полоснул по нервам, этот звонок!

Разумеется, они оба наперегонки бросились к аппарату, но отец был более прыткий, более развитый физически, по сути дела он вообще был симпатичный парень, загорелый от этого своего африканского солнца, худощавый, малость уже седоватый, поди, вволю изменял там под пальмами своей размалеванной мумии... Одним словом, он добежал первым, схватил трубку, которая от волнения запрыгала у него в руках, гаркнул «алло» и потом уже, только один раз сказав «да», слушал, слушал, слушал, и глаза его прямо-таки выскакивали из орбит, он даже согнулся весь над ап-

Паратом, до того, наверное, было важно то, что ему говорили, он так и сжимал трубку, чтобы не пропустить ни слова.

— Громче, говорите громче! — вдруг рявкнул он и снова стал слушать.

Меня это тоже захватило, хотя собственные мои дела были поважнее, и мы стояли так возле него с маман, разгоряченные, она вся в пятнах, а я с пылающими ушами.

— Хорошо, — наконец сказал он. — Да-да, разумеется. Все будет сделано. До свидания. — Он отложил трубку и, обернувшись, тихо сказал: — Адашь похищен.

— Похищен?! — закричала мать. — Кем?!

— Не задавай глупых вопросов! Не знаю кем! Если б я знал, кто его похитил, я велел бы его арестовать! Они требуют сто тысяч! Мы должны дать им сто тысяч!

— Когда?

— Завтра! Где я возьму сразу сто тысяч? Надо бежать одалживать...

— Боже, сто тысяч! Они еще сделают с ним что-нибудь!

— Я обещал не заявлять в милицию. Пан...

— Анджей, — подсказал я.

— Пан Анджей, я побегу собирать сто тысяч, но во имя всех святых, во имя вашей матери, умоляю, никому ни слова, потому что они могут что-нибудь сделать с Адашем, вы же знаете, такие вещи уже случались...

— Можете быть спокойны, — серьезно ответил я. — В таких делах я — могила.

— Благодарю вас! — простонал бедный отец и выбежал из комнаты.

Жена бросилась за ним с криком: «Бандиты! Бедное мое дитя!» Эти сто тысяч сильно потрясли их, но им придется извернуться, задолжать, адьё барахлишко, адьё поездочка на Адриатику. Впрочем, это не такой уж большой выкуп, вполне умеренная сумма, примерно столько стоит «шкода-октавия». Бандюги соблазняли дешевизной, сто тысяч за жизнь взрослого сыночка — это недорого, почти задаром, ведь они крупно рисковали, похищая такого здорового быка, он мог

вырваться, опознать их потом, это же не грудной младенец, украденный у миллионера Пэжо, это скорее уж напоминает номерок с Синатрой — тому тоже было двадцать лет, но и выкуп за него требовали в двести сорок тысяч долларов, сказочная сумма, чтобы ее собрать, потребовалась бы складчина сотни таких ада-севых папаш, да и того было бы мало. Я за Адася и пятерки бы не дал, неважнецкий товарец, красная цена ему — стоимость его джинсов да самописки с фонариком. До чего ж, однако, судьба справедлива: вчера свинство с Баськой, сегодня самого украли, может, они там дадут ему по заднице, чтоб не дрыгался, пусть хоть денек пострадает, узнает, почем фунт лиха или что такое жизнь, превратности судьбы, страх, голод и холод.

Делать мне тут больше было нечего, я вышел на улицу. Бедные его предки, конечно, заплатят по счету как миленькие. Меня-то уж никто не похитил бы, даже если б я сам стал набиваться, с моего предка что возьмешь — две зарплаты с премией, больше и нет ничего.

Обо всем этом я думал только одной половиной своей черепушки, в другой все время сидела Баська, даже во время разговора по телефону я только наполовину был взбудоражен и только наполовину захвачен, теперь я выключился из всего этого дела Адася и целиком вернулся к Баське. Она была моим электроприводом, моим топливом, и так меня сразу раскрутила, что я помчался бегом. В ближайшей автоматной будке телефонной книги не оказалось. Но я и так знал, куда бежать. С цифры двадцать восемь начинались телефоны центрального района города, значит, в центр, может быть, на Мокотовское поле, ага, вот и троллейбус, долетим до Ерозолимских Аллей, там рядом вокзал «Срюдместе», телефоны, телефонные книжки, большой мир. Вокзал «Срюдместе», иногда мы захаживали сюда посидеть, — чудо Варшавы 1963, салоны, неоны, Европа, электропоезда въезжают во дворец; если это и есть социализм — милости просим, человеку уже живется лучше и веселее, даже без денег в кармане. Контролер у входа не поспевал проверять билеты, морда как щетка, я крикнул ему в ухо: «Побрейся, пан!» — он остолбенел, но билета не спросил, только провел ру-

кой по щекам, видно, не лишен чести, еще исправится. На перроне стоят телефоны-автоматы, ну и броня! На цепочке от телефонной книги можно повесить лошадь; толщина этой цепи обратно пропорциональна вере в честность. В книге было несколько Брод, но я помнил первые четыре цифры: двадцать восемь, есть такой! Действительно, он живет на Натолинской улице, в доме 10, этот счастливый возлюбленный. Я содрал бы с него шкуру и надел на себя, я бы согласился выглядеть, как Лукаш, — поди, морда великолепного болвана, — но если уж она так его любила, значит, что-то в нем все-таки есть. Время было довольно позднее, в горле все пересохло, у меня во рту с самого утра маковой росинки не было, предки давно сидят за столом и ждут, но что поделаешь, больно здорово меня проняло. Ее письма доконали меня, я влюбился еще и в эти ее смешные фразы из романа, я бы отдал всю свою жизнь вместе со всеми врожденными способностями, лишь бы только она так писала мне и говорила со мной, именно это желание и сжигало меня, от одной только мысли об этих словах меня обдавало жаром даже сейчас, на Маршалковской улице, между «Деликатесами» и Домом культуры Чехословацкой Социалистической Республики. Это были не просто слова, болтать-то можно разную дребедень, — в них были слезы, дрожь, бессонные ночи, блеск в глазах, жарко сплетенные на шее руки, улыбка, от которой в человеке тает весь лед. Вот такая Баська была на самом деле, под этой ее застывшей маской карточной дамы.

Я вбежал на Натолинскую улицу. Сплошь новые дома, списки жильцов в подъездах, вот он, Брода, квартира 65. Вежливо позвонив, я вытер ноги о соломенную подстилку и стал ждать. Потом позвонил еще и еще раз и уже не знал, что делать, когда за дверью что-то тихо стукнуло, точно кто-то задел о стул. Тогда я начал звонить долго и часто, тревожно и неотступно. Видно, для Лукаша это было уже слишком, он не выдержал, хотя сперва решил не отворять двери, да кто ж в состоянии выдержать такие звонки, они высасывают человека из квартиры, гипнотизируют, как индус кобру, заставляют думать бог знает что. Песлышался скрип половиц, — поди, строители-бракоделы торопились настелить паркет, щелчок замка, и двери

открылись. Передо мной стоял писанный красавчик, шатен, выше меня ростом, и нос долучше моего, джинсы приклеены к ногам, острижен коротко, как джазмен, в общем, такой современный парнишка, ультрасовременный, сама современная мода, просто жуть, до чего современен, такого можно точно представить себе во всех деталях, даже никогда не видав его. С первого взгляда было ясно, что такие письма не для него, писать ему такие письма — все равно что подавать заявления с просьбой о жилплощади или кормить свинью апельсинами.

— Лукаш? — спросил я.

— А что?

— Есть разговор.

— А ты кто?

— С Адасем Бончеком учусь вместе.

Он с неохотой пожал плечами, продолжая загораживать собой дверь.

— Я его не видел. Я же говорил его матери.

— Да черт с ним! Я не о нем.

— А о чем?

— Мы что, так и будем разговаривать на пороге?

— Так и будем. У меня девушка. Впрочем, можно спуститься вниз, только быстро, чтоб раз-два.

Он захлопнул за собой дверь, и мы сошли вниз. У выхода из подъезда он спокойно оперся спиной о стену.

— Ну что?

— Хочу поторговаться.

— Чем?

— Пластинками.

— Ну и торгуй, друг, на здоровье, я-то здесь при чем? У меня девушка наверху!

— Постой... Знаешь, какие у меня есть... Седака. Две сотни ведь стоит. А я тебе так отдам.

Это его заинтересовало.

— Что значит «так отдашь»? А я тебе что должен дать? Ты псих, что ли? И вообще, друг, мне некогда. Меня там девушка на тахте дожидается.

— Я хочу за них только Баськины письма.

Он посмотрел на меня так, точно не поверил собственным ушам, чего-чего, а такого он никак не ожидал. Лукаш вдруг рассмеялся. Все у него было на месте,

все как полагается, и нос, и рот, и зубы, эдакая чарующая улыбка, завлекательная улыбка для девушек, улыбка, от которой их тут же бросает в трепет.

— Джентльмен не торгует письмами женщин.

— Но читает их по телефону.

— А, так ты и есть тот малый, который выдернул провод! Спасибо, друг, спасибо, ты настоящий парень. А этому Адасю я набью морду при встрече.

— Я тебе дам в придачу еще пластинку с твистом.

— Сказал же я тебе. Шагай домой, друг, привет! Я загородил ему дорогу.

— Погоди... Я тебе все отдам... все свои пластинки. Они не меньше полторы тысяч стоят.

Он еще раз взглянул на меня, весьма снисходительно взглянул, хам паршивый. Я был смешон, глупый червяк, что я за угроза для него, он играл со мною.

— Что мне твои полторы тысячи! Я эти письма внукам читать буду, чтоб знали, как их дедушку любили. Кто теперь пишет такие письма, ну скажи сам, друг? Такие письма поценнее всех твоих Седак. Я, друг, их каждое воскресенье перечитываю, и во мне сразу восстанавливается подорванная за неделю вера в человека, понимаешь, друг? А тебе они на что? Какое-нибудь грязное дельце затеваешь?

— Я их Баське отдать хочу.

— Вот тоже еще опекун нашелся, тихий обожатель! А доверенность у тебя есть?

— Нет.

— Ясно, нет. Ей этот адрес хорошо известен, если она захочет забрать свои письма, так может лично их получить, и вовсе не за деньги. Ты, наверное, думаешь, что за деньги все можно получить? Фи, друг, до чего ты развращен! Ты совсем не веришь в человека! Надо верить в человека, друг!

— Постой... ты... я тебе магнитофон отдам!

— Глупый ты, друг! Нынче воскресенье, день отдыха, а ты меня так обижаешь. Ну да ладно уж, прощаю я тебя и даже по роже тебе не съезжу. Пони-маешь? Не съезжу тебе по роже!

И он пошел. Я мог еще побежать за ним, двинуть его ногой, набить ему морду, я был так разгорячен, что стал думать: может, подговорить ребят? Объяснить им, что к чему, у нас много хороших ребят, они

бы мне помогли, мы бы его в вонючую кашу превратили... но я хорошо знал, что никому не открою своей тайны. Почему он не хотел ни пластинок, ни магнитофона, зачем ломался и разыгрывал из себя что-то, скотина? Я ему, гниде, хотел отдать все, что у меня есть. Наверное, у него и так полно денег, но не от отца же! Отец его работает в Бюро путешествий, конечно, много ездит, он ведь руководитель туристических групп, а может, и спекулирует чем-нибудь, какими-нибудь сигаретами, жвачкой, аппаратами, икрой, транзисторами, консервами, дубленками или еще черт знает чем. Если бы его предок не ездил, может, у них с Баськой и не дошло бы до этого, у этого Лукаша слишком часто бывает свободна хата. Стервец! И откуда только возле этой Баськи столько всяких подонков, неужели красивая девушка всегда притягивает к себе таких, со всего города трутни слетелись. Вчерашний спектакль с телефоном они, конечно, тоже заранее отрежиссировали, договорились между собой, Лукаш перепродал Баську Адасю, что ему до нее. И вдруг мне пришло в голову простейшее объяснение, от него даже жарко стало, и вся моя кровь с силой застучала не только в сердце и висках, но и в животе, и даже в ногах — я подумал, что он просто не может продать эти письма, даже если бы ему и хотелось это сделать, потому что он уже отдал их ей или разорвал при ней, и что пока я, Вертер занюханный, глупый Пингвин, скулю здесь, вымаливая ее письма, предлагая отдать за них все, что только у меня есть, она сидит там у него на тахте, ожидая, пока он вернется, ибо она все ему простила, потому что он ее объехал на кривых, замазал ей глаза, заговорил зубы. Влюбленной девушке можно внушить все на свете, потому что она хочет верить, она чертовски хочет верить и поверит тебе, что снег черный, что слова значат совсем другое, чем то, что они действительно значат, что ты так не думал, как говорил, что с той, другой, ты вовсе не спал, а беседовал о нефтепроводе «Дружба» и мирном сосуществовании государств. Может, теперь Баська уже обнимает его и снова говорит все свои глупые слова, те самые слова. Я стою здесь, у его дома, уже понемногу темнеет, а он рассказывает ей обо мне, о том, как я хотел купить ее глупые пись-

ма за такие деньги, точно это были письма Шопена или какая-нибудь средневековая рукопись, и при этом лопается от смеха, а она вторит ему, потому что хочет ему нравиться, хочет думать так, как думает он, смеяться, когда он смеется, плакать, когда он злится, лишь бы только он был с нею, всегда был с нею, не оставлял ее ни на минуту, а я для нее ничего не значу, для нее никто ничего не значит, она от отца и матери отречется, лишь бы только он ее хотел, потому что он, скотина, наглая скотина, красавчик с чарующей улыбочкой, истинно мужской мужчина, который всех подряд скосит, не то, что я.

Я метался так между высокими домами Натолинской улицы, гонимый ударами собственного разъяренного сердца. Добежал даже до автобусной остановки на Кошиковой, чтобы съездить к Баське, — убедиться, дома она или нет. Однако сразу вернулся обратно, потому что это ничего бы не дало, она могла уйти с матерью в кино, или к подруге, или пойти отсиживать воскресный визит у тети, никто не ответит мне на мои три звонка, и я никогда не узнаю, была она у Лукаша или нет. Я снова подошел к его дому: Улочка была пуста, кое-где стояло только несколько «октавий» и «вартбургов» да один «оппель-рекорд». Уже стемнело, в окнах загорался свет. Я знал, что не уйду отсюда, пока она не выйдет от него, пока я не удостоверюсь, не увижу, не услышу, даже если бы мне пришлось ждать здесь до утра. Чертова сила бушевала во мне, лишая способности соображать. Я добежал до его подъезда, взлетел по ступенькам вверх, выглянул в лестничное окно и определил, где должны быть окна Лукаша: первые два-три окна налево от лестницы. Выбежав на улицу, я увидел, что у него горит лампа, свет которой едва пробивается сквозь цветные занавески на окнах. Всюду такие занавески, раскрашенные, согласно моде, пестрым узором, сплошные амебы и эмбрионы, желтые, красные, серые, вся Варшава в эмбрионах, эмбрионы — в массы, может, они благотворно влияют на плодовитость и сон. Напротив стоял похожий дом, тоже высокий кубик, времен переходного периода, сменившего эпоху излишеств в архитектуре, узкие аккуратненькие окна, занавески с эмбрионами. Я вбежал на третий этаж,

есть! Окно Лукаша напротив, чуть пониже и чуть левее моего, занавески плотно закрыты, иногда лампу пагоразживает чья-то тень. Это хорошо, что они время от времени ходят по комнате, может, он рассказывает ей сказочку для наивных, хвалится. Я присел на подоконник и стал ждать, пока что-нибудь произойдет или хотя бы приоткроется занавесь и станет видно ее лицо. Нет, мне совсем не хотелось увидеть ее лицо, я дорого дал бы, чтобы не видеть его сейчас. Хотя бы у него была другая девушка, неважнецкая девушка, какая-нибудь Магда Козакевич, эдакая снотворная таблетка... По лестнице поднимались и спускались люди, разные пары, совершающие торжественный воскресный выход в кафе или кино, вокруг пацанье, где-то хлопали двери; всякий раз, как нажимали на кнопку, трещал автомат, освещающий лестницу, я отсчитывал сорок секунд, и свет на лестнице гас; иногда я задираю голову, делая вид, что жду кого-то, кто должен спуститься сверху. В какой-то момент внизу послышались голоса целой банды: «Ты, Веся, танцуешь, как Матейко!», «Когда танцует Веся твист, вокруг лишь ветра слышен свист!», «Томек, отвяжись от меня!» Взрывы смеха, их смешит все подряд, они тащат магнитофон, бутылки с вином, наверное, идут на вечеринку, воскресенье, во всех домах вечеринки, высший демографический показатель вечеринок. Первым поднимается по лестнице их поэт, король жизни, душа общества, с гитарой под мышкой, весельчак и остряк, парень из тех, что нарасхват, уверенный в себе и довольный собой до ужаса. Для такого войти в комнату, где сидят чужие люди, раз плюнуть; что бы он ни сказал — взрыв смеха, без Томека нет вечеринки. Томек говорит стихами на любую тему. Томек бренчит на гитаре, Томек поет:

Эллипс, космос, атом, НАТО,
Много ль нам от жизни надо,
К черту слов высоких плесень,
Мы без слов приляжем с Весей!

Снова рев хохота, Веся тоже смеется, гордо шагает с гитарой трубадур вечеринок, вот он забренчал твист — всякое время имеет своего трубадура. Они прошли мимо меня равнодушно, едва взглянув, — что

им грустный парень, пусть стоит на лестнице, как стоял, что нам до него, мы веселимся, — и вкатились в какие-то двери. Я снова стал смотреть на окно Лукаша, пожалуй, прошел еще час, прежде чем занавесь шевельнулась и из-за нее выглянула мордочка Лукаша. Она была хорошо видна в свете уличного фонаря. Лукаш внимательно посмотрел вдоль улицы направо и налево и снова исчез. Я продолжал ждать. Если у него Баська, то она, конечно, пойдет домой, к матери, она не сделает такой подлости, не оставит мать ночью одну, не может же она быть такой свиньей, она обязана считаться с матерью, кто же ее родил, если не мать! На душе у меня стало тошно, и меня понемногу начала грызть досада на Баську за то, что у нее нет никакого характера. Я злился, что она так исподличалась, унизилась, пресмыкается именно перед Лукашем, который ее так опозорил, облил грязью. В ней нет ни капли достоинства, все-таки существуют границы, которые нельзя переступать, даже если подымаешь от боли, а то что же тогда вообще останется от человека! Но, видно, она была такая же, как и другие, — эгоистка, поглощенная своей болью, лишь бы только ей не было больно, лишь бы облегчить эту боль, обмануть ее хоть на минутку, любой ценой! А люди пусть думают, что хотят, пусть болтают, что она, мол, тряпка, таких тряпок много; это и есть новая романтичность, теперь все носят со своими страданиями, цацкаются с ними, пользуют всякое лекарство от них, тут все средства хороши — будь то бальзам, будь то навоз.

Я так пристально вглядывался в эту занавесь, что у меня даже начали слезиться глаза, и вообще я уже совсем поверил в то, что Баська там. Столько раз я слышал о том, как девушки завоевывают парней, как они бегают за ними, прячутся у них под кроватью или за шкафом, стоят часами возле их дома или беспрерывно звонят по телефону, потому что нынче такие времена, когда девушки завоевывают парней, этих мягкотелых, податливых парней с бабьим характером, торгуют ими между собой, вырывают их друг у друга из рук, как лимоны у прилавка в «Деликатесах» и тэ дэ, лишь бы только «он» протянул руку, «ему» даже не надо вставать, пусть только протянет руку,

и она уже будет стоять и ждать, чтобы «он» ее взял. А я торчу здесь, как болван, и никто меня не хочет, никто ко мне не подходит и не подойдет. Мне вдруг стало дьявольски жаль, что я такой типичный неудачник и что она, оказывается, такая же, как другие, именно она, одна-единственная, должна быть гордой, неприступной, полной достоинства, назло остальным должна быть самой лучшей, самой прекрасной и недосыгаемой, как облако в небе. Стыдно сказать, но, стоя на лестничной клетке, я вдруг начал реветь, как глупая сопливая довчонка в каком-нибудь жалостном фильме; слезы текли у меня по лицу, и я отирал их своей грязной лапой, размазывая засохшую на ней кровь. Я всхлипывал и сопел, как мальчишка, весь перепачканный липкой смесью слез и крови, я ревел, как бедный неуклюжий пацан, который заблудился в большом городе, испугался до смерти и хочет к маме.

Прошло еще полчаса. Вечеринка наверху была уже в полном разгаре, всюю гремел магнитофон, слышались стуки, громкие голоса, шарканье ног, Томек резал всех подряд, подражал Седাকে и Тейлору, ни одна девушка не устоит перед ним... Улица была пуста, воскресенье, я немного успокоился и стал облизывать лапу, потому что из нее опять пошла кровь. Я должен был знать наверняка, сидит Баська у Лукаша или нет, от этого зависела моя судьба, вся моя жизнь, без этого не существовало завтра, меня не интересовало никакое завтра, если она там.

И вдруг, как по заказу, как в театре, цветная занавеска с пятнами и эмбрионами приоткрылась, это Лукаш подошел к окну и отдернул ее в сторону. Должно быть, им стало душно. На мгновение я увидел сидевшего на тахте человека: это был Адашь Бончек! В одной руке он держал бокал, в другой — карты.

Наконец-то жизнь улыбнулась мне, шесть точных попаданий в спортлото «Тото-Лётэк», мерзавец стоимостью в сто тысяч, «школа-октавия» с электрозажигалкой, он сидел здесь, воскрешая во мне надежду на победу, прелестный Бончек, любимый Адашь, он сидел, потягивал вино и играл, разгоняя скуку, в картишки. Номерок из классики, какого же черта он делал на этой галере, зачем полез на эту галеру, платите, богачи, за сына, Скапен из вас все выжмет,

Я сплясал рок под музыку, доносившуюся сверху, и снова раскровянил лапу, но все это была чепуха, и бежал вниз по лестнице и любил Адася. Бедненький Адася, просто боженька дал ему эгоистичных родителей, а он всего лишь эгоист в квадрате, жертва наследственного эгоизма. По телевизору разные дамы тоже говорили о детях, ребенок — это хрупкое растение, его нужно не только удобрять азотом учебы и общественного воспитания, но и поливать родниковой водой родительской любви. Адася вырос горбатым, потому что его не поливали. Вализка ругаясь, как извозчик, потому что у него было тяжелое детство, говорят, у него вообще не было родителей, поди, опять последствия человекоубийственной войны. Лицом к детству, поливать растеньица, удобрять их, иначе нас ждет крах. Так говорили дамы и, пожалуй, были правы. А что делать при такой морде, как у меня, и при такой робости — этого они не сказали, видно, об этом говорилось по другой программе. Ладно уж, да здравствует Адася, обделенное судьбой растеньице, пусть живет и здравствует за то, что сидит там вместо Баськи. Любовь меня облагораживала, я вдруг стал таким снисходительным, всепонимающим, всем бы я все простил, всех оправдал. Сбегая с лестницы, я летел на крыльях, как цесарка, и все во мне радостно кудахтало. Но я выбежал на улицу и очутился лицом к лицу с действительностью. В жизни никто не спрашивает, у кого какие были родители и не роняла ли его в детстве бабушка. Человек должен страдать за свои грехи, а я должен бороться за Баську. И я побежал на Кошикову улицу, строя на ходу разные планы.

Все автоматы поблизости не работали, и мне пришлось бежать до самой площади Конституции. Там было полно людей, двигавшихся замедленным темпом. Они сидели, стояли, сновали, одолеваемые липкой воскресной скукой, за ними так и тянулся какой-то густой след скуки. Я ворвался в эту толпу, как человек, для которого уже нет никакого воскресного вечера, я был среди них утреннепонеделничным человеком и на какой-то момент нарушил весь их ленивый хаос. В будке автомата ворковали две девушки, я переступал с ноги на ногу, мигали рекламы польских

авиалиний и голландских королевских авиалиний, настоящая авиапровокация — всего несколько часов отделяют тебя от бомбеев и шанхаев, ривьер и бординьер, аккр и конакр; только сядь в самолет, — а тут площадь Конституции, вся из домов стройки 1952 года, когда воздвигали монументы, это же было сто лет назад, я тогда пошел в первый класс, а теперь здесь воскресная толпа и на стоянке автомашин — «тундербирты», «сирены», «Волги», «фиаты», «Варшавы», хром, сверканье, никель, световая газета распарывает небо красными буквами: «Эсэсовцы из Освенцима продолжают на процессе прикрываться отсутствием памяти». Это тоже было тысячу лет назад — человекоубийство, эсэсовцы, лавочники, аптекари, адвокаты и врачи, иная действительность, вокруг несколько разных действительностей, совершенно не связанных друг с другом. Площадь Конституции. Рекламы авиалиний. Эсэсовцы-аптекари: «Сейчас я дам вам, дорогая фрау Браун, какое-нибудь снотворное, бессонница — это мучение, к счастью, есть современные средства, вот таблетки, они навевают сон, радость, моя профессия состоит в том, чтобы помогать людям и избавлять их от боли». Нынче таблетки, а когда-то газ, сон и смерть, целые поезда навсегда усыпленных, избавленных от боли.

Девушки в будке автомата продолжали трещать, выхватывали друг у дружки трубку, я злился, как черт, а они кудахтали, пищали, извергали потоки глупости. «Нет, она врет! Когда Юзек пришел, я сделала вид, что не замечаю его, а он сейчас же подлетел ко мне и давай рассыпаться: «Ты мне больше нравишься, эта Ромка — дрянная девка, таскается с кем попало, да еще нос дерет». В общем, он всю дорогу со мной танцевал, и прижимался ко мне, и говорил все такое, сама знаешь, а потом заказал вишневую наливку и венгерский торт и вообще все время за руку меня держал, так что парень втюрился по уши...» Вторая вырвала у нее трубку: «Да не верь ты ей, Крыська, врет она, сама к нему все время приставала, позлить нас хотела, доказать, что может сходу его окрутить, а по правде, ничего у нее не вышло, за эту вишневку и торт венгерский нам пришлось самим платить, и мы все, кто сколько мог, дали, а он даже и не собирался

платить, взял да и ушел, вроде в уборную вышел, а самого целый час не было...» На мое счастье, первая девчонка обиделась, двинула по рычажку телефона и разъединила подружек, видно, ей не хотелось, чтобы Крыська все знала. Она выскочила из будки, вторая за ней: «Стой, психа несчастная, ты же сама знаешь, как все было...» Я влетел в будку, она вся воняла духами этих девчонок, в нос било какой-то дешевой дрянью.

Мне снова пришлось долго ждать, пока звонки заставили его подойти к телефону. Свою речь я уже не только продумал, но и выучил наизусть:

— Лукаш? Слушай, друг, внимательно, что я скажу, и не прерывай. Во-первых: родители Адася очень волнуются, плачут и убиваются. Ты, друг, малость разложившийся элемент, но ты не будешь таким, тебе придется проявить уважение к человеку, облегчить страдания Адасовых родителей, вернуть им дитя, вернуть Адася! Пусть-ка этот мерзавец бросит карты, быстренько допьет свое вино, сгрызет несколько зернышек кофе, дабы предки не унюхали аромату, а потом пусть вылезет из галеры и быстренько побежит броситься им на шею. И притом совершенно задаром, парень, без всяких ста кусков. Сто кусков испарились, друг, как дымок от «Махорочных», в рулетке выпало нечетное число, проиграл ты, друг, проиграл, и все тут. Но зато ты поверишь в человека, друг, увидишь, как старики обрадуются, как расцелуют свое дитя, как эти бедные родители заплачут от счастья. Ты будешь доволен, друг, из глаз твоих брызнут слезы, что там сто тысяч в сравнении с этими искренними слезами! Подумай, друг, а вдруг существует загробная жизнь? Тогда за такое благодеяние тебя ждет солидное вознаграждение, считай, что у тебя уже есть вклад в банке, можешь грешить теперь вовсю, этот вклад все превысит, теплое местечко в раю тебе обеспечено, ангелочки уже надпись на солнышке прибавляют, прямо возле президиума: «Для Лукаша, который верил в человека». А теперь второе дельце. Ты соберешь все письма Баськи, все до единого, друг, положишь их в карман и принесешь в два счета на площадь Конституции. Буду ждать тебя возле будки милиционера на площади и предупреждаю:

если сфилонишь, я тут же обращусь к этому самому милиционеру в будке, и мы вместе звоним в отделение милиции, откуда через пять минут будет машина. Насколько я знаю Адася, он парень слабый, он еще не верит в человека и свалит все на тебя, скажет, что ты его на самом деле запер у себя, напоил и не пустил к маме, так что ты, друг, можешь загреметь на парочку лет. А так — могила, никогда ничего не было. Ты все понял, друг? Я же тебя спрашиваю!

Он молчал довольно долго, этот красавчик. Что ж, удар по скуле вышел что надо, и у него, непобедимого боксера, малость помутилось в глазах. Он уже не улыбался, его, поди, впервые так стукнули. Должно быть, он лихорадочно искал какую-нибудь лазейку, соображал, как бы смыться куда-нибудь с Адасем, но сто кусков им уже улыбнулись, разве что он пристукнет меня, труп ничего никому не скажет, но это же мокрое дело, процесс, телевидение и головка с плеч. Пожалуй, он не из таких, какой-нибудь тупица, точильный камень, может, и рванул бы на такое, а он парень сообразительный, вон как у него глазки блестящие, он дальше не пойдет, он будет играть в границах дозволенного, наверняка, сидя в теплой квартирке.

— Ну, что, друг? У меня нет времени. Я спрашиваю, ты все понял?

— Не очень... Ты там плетешь чего-то с пятого на десятое. Я только одно и понял: тебе очень нужны зачем-то эти письма. Но откуда мне знать, что ты их не используешь в низких целях, что-то у меня нет в тебя веры.

— Придется тебе, друг, поверить. Просто тебе не остается ничего другого, как только преисполниться этим прекрасным чувством веры! Увидишь, вера в человека окупится, благодаря ей ты избежишь решетки, вот тебе сразу и награда. Итак, жду на площади еще пятнадцать минут, запомни: возле милицейской будки, недалеко от почты.

Я повесил трубку и не спеша направился к будке милиционера. Он как раз куда-то звонил, вокруг будки медленно и неуклюже, как майские жуки под акацией, ползали по-воскресному неторопливые люди,

здесь Лукаш не мог мне ничего сделать, ни один номер не пройдет. Приятно быть доброй феей, взять и так, всего-навсего только телефонным звонком, пока- рать зло и воздать за добро, внести какой-то смысл в эту нарушенную последовательность. Я стоял возле милицейской будки и зорко смотрел вокруг, он дол- жен появиться со стороны Кошиковой улицы, так что я увижу его издалека. Световая газета беззвучно со- общала: «Химическая промышленность выполнила план... Инициатива Польши в вопросе создания безъ- ядерной зоны в Европе...» Я увидел его, он шел бы- стро, небрежной и изящной походкой. Вдруг я понял, почему он не хотел продать эти письма, они ведь надеялись получить сто кусков, завтра они хапнули бы у папы по пятьдесят кусков на рыло, стоило ему мараться с такой мелочью, как пара моих тысчонок, он мог позволить себе широкий жест, но его погубил этот жест, погубила воровская заносчивость, прихоть, желание разыграть из себя джентльмена. Он подошел ко мне и сунул руку в карман.

— Письма?

— Есть.

— Давай.

— Минутку... Раньше дай слово, что не будешь больше трепаться об Адасе, бросишь этот бред...

— Даже в горячке, даю слово. Пусть он только будет ровно в восемь дома.

— Ой, друг, ой, друг...

— Что «ой, друг»?

— Послушайся-ка моего совета, забудь ты вообще об этом Адасе.

— Письма.

Он смотрел на меня, вроде бы улыбаясь, но это не была улыбка номер один, та самая, которую обо- жали девушки. Должно быть, он был дьявольски зол, этот Лукаш, я видел это по его улыбочке и по его глазам, глаза у него просто выскакивали от бешен- ства. Милиционер вылез из будки и стал прогуливать- ся между столбиками, которыми была обнесена пло- щадь. Лукаш рванул из кармана письма и протянул мне. Это были разрозненные, вырванные из блокнота странички.

— Все?

— А где ты видел больше? Наверное, у своей бабушки?

Я засунул письма во внутренний карман пиджака, как можно глубже.

— А теперь, друг, забудь о том, что у тебя был приятель Адашь. Утешайся, друг, этими письмами, читай их с утра до вечера и воображай, что она пишет тебе, что это она тебя так любит, пусть тебе снится, что ты каждый день получаешь по такому письму, ибо ты же знаешь, друг, что, даже если ты из кожи вон вылезешь, если заберешься на шпиль Дворца культуры или родишь близнецов, тебе все равно никто не напишет таких писем, ибо ты, друг, не из тех, и всю жизнь ты будешь только бегать да подслушивать, подглядывать за другими, бегать с доносами и стонать, глядя, как девушка твоей мечты тискается с кем попало.

— Адашь должен быть дома в восемь часов, друг. Я позвоню к ним ровно в восемь.

— Ой, друг, в последний раз тебе говорю: забудь ты об Адаше! Сразу же забудь, сию минуту. Не твое это дело, друг, твое дело письма, можешь торчать у ее дома всю ночь, вздыхать, любить. А об Адаше забудь, друг.

— Адашь в восемь должен быть дома.

— Глупый ты человек, друг, очень глупый. Жаль мне тебя, друг, так далеко не уедешь, того и гляди, несчастье догонит.

— Что ж поделаешь. На то и пословица: несчастья не в лесу живут, а по людям ходят. Так вот, в последний раз повторяю: Адашь должен быть дома в восемь часов, — быстро сказал я и побежал, потому что к горлу у меня подступили слезы.

Я должен был как можно скорее уйти. От остановки как раз отходил трамвай, я вскочил в него — этот Лукаш знал, куда меня пырнуть, — трамвай вез меня в сторону Мокотова, Баська живет на Жолибоже, но мне надо сперва сбегать домой за деньгами. Сегодня меня весь день преследует ощущение чего-то неделанного, ага, вспомнил, оливковое масло, без него нельзя показаться дома; забегу к Бончекам, заберу масло, проверю, вернулось ли сокровище, отдам матери масло, возьму у отца денег в долг, у меня

имеются собственные доходы, негритянская работа, чертежи, я их забросил, но завтра опять возьмусь за них, все с завтрашнего дня, сегодня только Баська, у меня ее письма.

Меня вдруг толкнул какой-то здоровенный бык, я упал на кондукторшу, она удержалась сама и ударила меня — привычная, видно; нет, этот бык толкнул меня случайно, просто неловко уступил место старушке с ребенком: «Пожалуйста, садитесь». — «Все-таки есть достойные молодые люди». Старушка садится, благодарит, все вокруг смотрят на них, рядом сидит какой-то пацан, вокруг полно старушек, пацан окружен венком старушек, толпой старушек с детьми на руках, он притворяется спящим, но чувствует себя глупо, боится открыть глаза, проклинает быка за то, что тот уступил свое место старушке, нарушил солидарность пацанов — тоже еще выскочка, баран чертов. Теперь все старушки расхрабрились, алчно смотрят на пацана, он чувствует на себе их жадные взгляды, не помогут ему закрытые глаза, моральное давление сильнее — видно, пацан еще не окончательно исхмился и зачерствел; он желает старушкам внезапной смерти, пусть катятся домой убирать, готовить, слушать радио, смотреть телевизор, трамваи для здоровых и сильных, в трамваях борьба за существование, закон джунглей, старики, женщины и дети для него ничто. Но пацан не выдерживает безмолвного общественного давления, он сломлен, сдается, обмякает, как тряпка, может, из него еще выйдет человек — вот он поднимается, разъяренный, делает вид, что ему выходить, но ничего не говорит, никакого подходящего слова ему и вовек не произнести, оно у него в глотке застрянет, он пробирается на площадку, прячется в самый дальний ее угол, сбоку от мотора, жертва компромисса, побежденный трамвайный пацан. Старушка красно-зеленого цвета, толстая, как сто свиноматок, садится, отдувается, удовлетворенно чмокает, сопит, разглаживает платок на голове, прижимает к себе сумку, чтобы из нее ничего не украли, — в трамваях воруют в дни получек. Она рассаживает малышей по бокам, укутывает ими себя, как овчиной, это же счастье — сидячее место, кто бы мог надеяться, в воскресенье-то вечером, когда все старушки со всеми

малышами возвращаются из гостей, навестив разных теть и дядей.

На углу Раковецкой я выскочил, улица была пуста. Подойдя к фонарю, я вытащил Баськины письма, они жгли меня, это уже был просто мазохизм, какое-то ковыряние шпилькой в зубе с оголенным нервом, меня тянуло к этим письмам, хотелось причинить самому себе боль. Я взглянул на верхний листочек, она писала самопиской, должно быть, на лекциях: «Любимый, ведь ты не можешь быть плохим...» Нет, не буду и этого читать. Этот бандюга не может быть плохим! Каким же она его тогда видела, как он сумел так замаскироваться, так влюбить ее в свою морду, в свою улыбочку, он все прятал за этой улыбочкой, такой современный, как сам атом, — это его непроницаемое лицо, ирония, улыбочка, держится свысока, кошачьи движения, эдакий аристократ с Вислы, никаких сдерживающих центров, никаких тормозов, к черту тормоза, долой тормоза, кому это надо сдерживаться, во имя чего, только во имя страха! Я снова спрятал письма в карман, оглянулся вокруг, было пусто, им, пожалуй, и в голову не пришло, что я потонаю к Адаю. Лукаш, верно, специалист по телефонным звончкам, мошенничеству, угрозам, шантажу, но все это, однако, всухую, без мокрой работы.

Когда я приплелся к Бончекам, до восьми оставалось минут пятнадцать, «фольксваген» снова стоял у дверей, маман сразу же открыла мне, она была уже более подтянута: подмазанная, зашпаклеванная, даже улыбнулась печально.

— Извините, пожалуйста, я вчера оставил у вас оливковое масло... В передней... четыре банки...

— Масло! Господи, до масла ли мне сейчас! Ну, войдите, поищите сами...

Маман впустила меня, через открытые двери было видно, как, сгорбившись, сидит за письменным столом папан. Бросив на стол газету, он обернулся.

— А, это вы... Вы помните наш уговор?

— Помню. Можете быть во мне уверены.

Он ответил улыбкой и приподнял газету. Деньги уже были собраны и лежали стопками по пятьсот злотых, он начал снова пересчитывать их. Сто кусков. Анонимный благодетель, я не испытывал благород-

ного удовлетворения; я сохранил им кучу денег, могли бы отвалить за это с десяток сотен — мне не помешал бы приличный костюмчик, и Баську можно было бы завалить цветами; да что уж тут говорить, известно, на всякого бедняка довольно и добродетели.

Моих банок с маслом под всяческой мордой не было, вместо них там стояла какая-то фарфоровая штука вина.

— Не знаю, может быть, прислуга отнесла в кухню. А вам необходимо сегодня это масло? Может быть, вы зайдете завтра?

Она поглядывала в комнату, на эти пачки денег, должно быть, мысленно переводила их в разные модные материалы, всякие эластики и нейлоны, косметики и побрякушки, ей хотелось как можно скорее сплавить меня, своего благодетеля, знала бы, что к чему, — руки бы мне целовать должна была, чучело эдакое, грязь из-под ногтей вылизывать, уж она на эти деньги набросится, как только Адашь вернется, бедный Бончек не вынесет их отсюда, она со своим сыночком расхватает их, отберет у Бончека, она-то их не упустит, тут же ринется в город за шиншиллами с соболями да за всякими кружевами-парчами.

— Вы уж меня извините, но это масло очень нужно моей маме, она на нем готовит, они с папой не могут есть на другом, у них желудок и печень больные, я вчера весь город избегал в поисках этого масла, мне обязательно надо принести его домой, а то мама будет ужасно сердиться...

Она со злостью взглянула на меня. Адашь похищен, сто тысяч на столе покоя не дают, она даже лицо не заgrimировала как следует, а я суюсь со своим дурацким маслом, зануда малокровная, маменькин сыночек несчастный. Но без масла ей от меня не избавиться.

— Ладно, пойду посмотрю на кухне, — раздраженно ответила она и вышла.

Я стоял у цветной морды, сам, как эта морда, только бледный, в зеркале отражалась до того бледная морда, что мне даже тошно стало, так бы и бил по ней, да еще и смотрел бы, со всех ли сторон распухает. Маман гремела в кухне кастрюлями, звякала, брякала, наконец позвала меня туда. Когда я вошел,

она стояла на стуле, снизу на нее смотреть было куда приятнее, она, как рыба, портилась с головы. Две банки уже были найдены, маман продолжала искать, роясь в стенном шкафу. Оттуда посыпалась какая-то крупа.

— Больше нету, — сказала она и, сойдя со стула, взглянула на окно. — Вот и третья банка стоит. К сожалению, прислуга уже открыла ее, она, наверное, думала, что это я принесла...

Одну банку она открыла, эта их прислуга, другую свистнула, чтоб у нее все сгорело на этом масле, черт меня дернул еще свои собственные деньги доплачивать. Я схватил уцелевшие банки, и в эту минуту в передней что-то закрипело, маман онемела, точно в ожидании страшного известия, хлопнула входная дверь, и в переднюю торопливо вошел Адасть. Я с облегчением вздохнул.

— Сынок! — взвизгнула маман и бросилась целовать и обнимать его. Вслед за ней, наивно оставив на столе денежки, к Адастью кинулся папан. Меня-то этот их любимый сынок сразу заметил, у него даже язык отнялся; конечно, он не ожидал встретить меня здесь, а может, просто перетрусил, думая, что я продал его, нарушив джентльменский уговор. Старики окружили Адасть, рвали его друг у друга из рук, наперебой осыпали нежностями. Я, как дурак, стоял со своими банками. Адасть то и дело стрелял в меня злобными взглядами поверх их голов. Теперь уж они выделяют ему такую порцию нежности, что ему тошно станет, распустится весь, как мыло в воде, но до денежек-то он, как пить дать, дорвется, старики ему, поди, мотороллер купят и вообще все, что он захочет. А пока этого скота трясло от бешенства и досады.

— Что случилось, Адасть? Что за похищение? Ну скажи же, деточка, как это случилось? Где ты был? Может, это была чья-то глупая шутка? Расскажи же, сыночек!

Его чертовски смущало мое присутствие, ни секунды не колеблясь, он с наслаждением растоптал бы меня, впрочем, я и сам торопился, но уйти сейчас было неловко, и я тихонько стоял у стены, сторонний

свидетель семейного счастья. Было любопытно, как он вывернется, что соврет, что они там вдвоем придумали. Он еще раз скопил на меня свое миндалевидное око.

— Я убежал, — сказал он.

— Убежал?! Вот это молодец! Ай да сынок у нас! Ты слышишь, Влодек, он сбежал от бандитов! А ты знаешь, сынок, что они потребовали за тебя сто тысяч? Папа сегодня бегал по всему городу за деньгами! Он как раз только недавно их принес. А как тебе удалось убежать?

Адась стрельнул глазами в комнату, уж я-то знал, почему — деньги были дома, может, еще не все пропало, он уже что-то снова обмозговывал насчет того, как бы их выудить, а пока что включил пластинку.

— Они куда-то меня перевозили, я и сам не знаю куда, глаза у меня были завязаны не то шарфом, не то бинтом или еще чем-то, я притворился, что сплю, даже похрапывал, вдруг машина затормозила, что-то ей помешало. Теперь или никогда, сказал я себе, я не допущу, чтобы они выудили из моих родителей деньги. Я нащупал ручку дверцы, раз-раз, и, прежде чем они спохватились, был уже на тротуаре — срываю с глаз повязку, а тут толпа, несчастный случай, трамвай столкнулся с автофургоном, милицейские машины, спецы меряют сантиметром расстояние... Я нырнул в толпу, поближе к милиции, те, в машине, дали задний ход и дёру, только я их и видел, а я сел в трамвай, где ехали какие-то военные, и вот приехал.

— Ты запомнил их номер? Какая у них машина? Мы сейчас же позвоним в милицию, сообщим обо всем!

— Да где там! Чего сообщать-то? Смылись — и ладно. На улице ведь темно было, ничего не видно, даже машину и то толком не разглядишь. Марка, по-моему, «Варшава», а вот цвет не то вишневый, не то темно-серый, точно не скажу...

— Ну хорошо, может, ты запомнил какой-нибудь адрес, какие-нибудь приметы... — настаивал отец.

— Какой уж тут адрес... они меня схватили возле дома, набросили сзади мешок, потом долго везли и посадили в пустую комнату без окна. Это могло быть

и в районе Таргувка, и на Белянах, и в любом другом месте.

Стоять дольше не имело смысла, он как следует вызубрил свою легенду, а они поверят всему, что скажет этот герой, он же спас сто тысяч, зачем их Адасю, их сыночку, врать.

— Браво, Адам, — сказал я из своего угла.

Все обернулись. Я протянул ему руку, он подал мне свою, и мои пальцы попали под гидравлический пресс, он вложил в это благодарное рукопожатие всю свою ненависть, уж он бы сейчас как следует изуродовал мою морду, но вынужден был продолжать разыгрывать из себя пай-мальчика, нежного сыночка, и тэ дэ. Я сказал:

— Браво, Адам. Желаю тебе всего самого лучшего, мы тут очень беспокоились о тебе, родители просто были в отчаянии, а ты вон какой герой оказался, шутка ли, сто тысяч родителям сберег. Ну, привет, я пошел, мои родители тоже заждались, наверно. Желаю вам всем всего хорошего. Доброй ночи.

Они едва ответили мне, я для них не существовал, они, обнимая свое сокровище, вели его в комнату.

— Идем, деточка, сыночек наш любимый, ты у нас такой молодчина, идем, Адашь, идем, дорогой. Теперь ты отдохнешь как следует, выкупаешься, мама тебе сейчас ужин приготовит, мы тебя уже не пустим из дому, мы тебя уже больше не выпустим, наш сыночек теперь будет сидеть дома с мамой и папой...

Сыночек чувствовал себя наверху блаженства от такого предложения! Уходя, я еще встретился с ним глазами, они были полны бешенства. Так ему и надо, пусть посидит дома, теперь они, по крайней мере, целую неделю, а то и две подержат его дома, во всяком случае, вечерами ему наверняка придется сидеть дома, его ждет тепло семейного очага, ужины в кругу семьи, ласки, никаких штучек, никаких разведенных дамочек, никаких шалостей, пока старикам снова не надоест эта возня, пока они не оправятся от шока.

Я выбежал на улицу. Было чуть больше восьми. Надо заглянуть на минутку домой, отнести масло, взять денег. Интересно, удастся ли Адасю позвонить Лукашу, сообщить, что он видел меня. Я вскочил в троллейбус, все-таки три остановки, я и так сегодня

набегался. А там, у них, сто кусков, уж Адашь заставит хорошенько платить ему за каждый день их любви.

Возле нашего дома обычное движение, на лестнице шепчется и хохочет какая-то парочка, у этих только одна проблема — хата, влюбленные без базы, любовь цветет на улице, весь воскресный день они в городе кино, кафе, потом прогулка, лестничная клетка, вокзал, улица, снова кафе — климат нас губит, любовь под открытым небом возможна только один месяц в году.

Я тихо открыл дверь, в комнате мать говорила о Богданюке, снова накачивала отца, вытряхивала его из книжного мира:

— Завтра ты пойдешь к Главному, обещай, что завтра пойдешь к Главному, дольше этого терпеть нельзя!

— Но я же тебе говорю, что только Врачек, только Врачек может заменить Богданюка!

Я вошел в комнату, держа в руках по банке, бесценное оливковое масло в банках, оно было моей защитой против матери. Но нет, мать обернулась, и я понял: она снова полна Богданюком, я снова угодил в самый плохой момент, масло не спасет меня, к чему моя беготня, сыновье самопожертвование и тэ дэ, моя морда не нравилась матери, ей надо было еще пороть, это сидело в ней, рвалось наружу, оно зрело и разбухало в ней целый день.

— А-а-а-а, добрый вечер! Мы уже и не рассчитывали на столь приятный визит! Мы уже потеряли надежду! Я его часами жду обедать, ужинать, бегаю, подогреваю шницелек для сыночка, жарю картошечку, готовлю салат, супчик любимый, сама недоедаю, может, он захочет покушать, может, он изволит заметить, похвалить, оценить материны труды, два часа толкотни по очередям, три часа в кухне, мусор уже три дня не вынесен, а его нет, плевать ему на все! Даже позвонить из автомата за пятьдесят грошей не может, за целый день ему ни один автомат не попался, мы же в джунглях живем, у него ручки отвалятся, если он наберет наш номер, зачем, с родителями можно не считаться, эгоист, павлин, трутень, в нем нет ничего человеческого, чудовище. Янек, поговори с ним!

Разумеется, мать была права, по-своему права: это была ее вымученная в очередях, выстоянная у плиты правда. Она выбежала в кухню звенеть тарелками и разогревать ужин, бедная мать, ей хотелось, чтобы все было как можно лучше, я чувствовал себя последней свиньей. Но меня все-таки опять понесло: некогда до чертиков, надо еще одолжить денег, вообще какое-то дурацкое положение, а тут еще шницелек с салатом, при чем тут шницелек с салатом, до них ли сейчас! Я мог есть сухую картошку, как они во время войны, брюкву, кота в собственном соку, все равно что. Меня даже затрясло, до того я раздражился. Отец поглядывал на меня из-за книжек, чувствовалось, что он затюкан уже Богданюком, матерью и мною, созрел для «речи» и сейчас я, конечно, услышу его фразочки, те самые, что и всегда, он их пробурчит, как заученный урок, и оба мы с ним почувствуем себя глупо. Я поставил масло на стол и выдвинул ящик с магнитофоном.

— Анджей, я опять должен с тобой поговорить.

Я нажал на кнопку, диски с лентой завертелись. Отец на секунду задумался, в это время магнитофон как раз нагрелся, из ящика заскрипел его голос:

— ...поговорить серьезно... Нельзя так пренебрегать своими обязанностями... Я вообще тебя не понимаю... Не могу понять почему... Не забывай, что тебе созданы прекрасные условия и твои успехи в жизни зависят только от тебя... то есть, значит... от твоих способностей и знаний. Все тебе приготовлено, пододвинуто под нос, подано на этом... на блюде. Перед тобой гладкая и прямая дорога...

Отец сидел не поворачиваясь. Этот голос ударил его по голове, по спине, он сгорбился, опустил глаза, растерянно снял очки и провел рукой по лицу. Он был беспомощен в отношениях со мной, беспомощен с матерью, беспомощен с Богданюком. Он становился слепым и беспомощным, как только его отрывали от работы, от книг, лишали привычного мира взаимосогласованных правил и заранее определенных процессов, в котором были гармония и порядок. Я восставал против его порядка, мать не подчинялась его порядку, Богданюк разрушал его порядок, все вокруг противоречило его порядку.

Он еще некоторое время сидел так, сгорбившись потом, повернувшись, взглянул на меня. Я немедленно выключил магнитофон.

Мы смотрели друг на друга в этой внезапно наступившей тишине, и трудно было сказать, кому из нас было более горько, оба мы были напряжены, оба — на грани слез, оба жаждали правды и искренности, но как к этому прийти, как найти общий язык — я не пережил человекоубийства и периода искажений, а он, — что он знал о моем мире? Я же не могу ему ничего рассказать, он такой организованный, разложенный внутри по полочкам, весь правильный и устроенный, я только нарушу в нем все это... И что же, неужели мы так и разойдемся навсегда?

Это продолжалось секунду, ну, может, три или пять секунд. Мы так напряженно смотрели в глаза друг другу, что у меня даже заболело все внутри. Вдруг глаза отца посветлели, помягчели, и он неожиданно разразился смехом. Я тоже расхохотался от всей души, и мы смеялись так оба, нос к носу, ужасно весело смеялись, мы ждали этого смеха, мы задохнулись бы без него, это был кислород, азот, витамины и вообще все.

— Я тебе хотел сказать что-то, — начал я.

— А ты, случайно, не влюблен? — прервал меня отец.

Я даже подскочил от удивления, до того метко он угодил!

— Влюблен!

— Но это не освобождает тебя от обязанности выносить мусор.

— Да я сейчас вынесу. Просто это были исключительные дни.

— Их будет еще немало, этих исключительных дней. Или у тебя не все в порядке, заминка какая-нибудь?

— Ага.

— Это мне знакомо. И со мной так было. Я тоже был застенчивым. Придется тебе это преодолеть. Со временем все пройдет.

— У меня нет времени.

— На это должно быть время. У меня тоже не получалось.

— Тебе было легче. Ты ходил в героях.

— Ничего подобного. Мне все доставалось дорогой ценой. За все в своей жизни я платил очень дорого. Ты тоже должен дорого платить. И это хорошо.

— Хорошо?

— Иначе по-настоящему ничего не добьешься и ничего не оценишь. Надо быть щедрым, сынок.

— Стараюсь.

— И надо быть уверенным, что это стоит того.

— Знаю. Мне надо идти, пап. Мне обязательно надо сходить кой-куда.

— Тогда иди. Может, тебе нужны деньги?

— Немножко надо бы. Я верну на будущей неделе...

— Ладно.

Он вытащил две сотни. Больше у него в бумажнике ничего не было, только эти две сотни.

— Ты же останешься без денег, — сказал я.

— Мне не надо. Бери.

Помявшись немного, я все же взял обе бумажки.

— Я вижу, тебя здорово захлестнуло, — как-то печально констатировал он. — Ну, иди.

Конечно, ему хотелось еще поговорить со мной в этот первый вечер взаимного понимания, но я должен был идти. Мне было жаль его и жаль отказываться от возможности поговорить с ним, он многое понимал. Я поговорю с ним завтра, обязательно поговорю завтра, ведь у нас наступил перелом, мы докопались друг до друга, пробурили навстречу друг другу тоннель, тоннель под Мон-Бланом, да здравствует техника и магнитофон, лишь бы отец подождал до завтра, сегодня я действительно не могу, никак не могу.

— Ты, пап, не переживай из-за этого Богданюка. Он и сам лопнет, как мыльный пузырь.

Отец с удивлением взглянул на меня, рухнула еще одна тухлая липа, исчезло еще одно табу. Я побежал в кухню, мать ковыряла вилкой в сковородке, я схватил помойное ведро, сказал: «Извини, мамочка, я не могу есть, сейчас я ничего не могу есть, отец тебе все объяснит», — мать подняла вилку, чуть не выколов мне глаз, но я уже, хлопнув дверью, сбежал по ступенькам. Четыре этажа, ведро воняло падалью всего мира, но мне было радостно и легко.

Что мне вонища, я бы сейчас все вытерпел, даже человекоубийство, пережитое отцом, любовь тоже надо заслужить. Любовь, не окупленная страданием, это не любовь, она растает, как дым, она не может продолжаться долго и сгорит с шипением, как бенгальский огонь, любовь должна выплавиться в страдании, как сталь, тогда она чего-то стоит. Одни только улыбочки, свидания, ухаживания, постель или даже женитьба — этого мало, из этого никогда ничего не бывает, через год — измена и все в пух и прах.

Выбросив всю эту ужасную вонищу в мусорный ящик, я помчался наверх, размахивая ведром, как знаменем любви, прыг-прыг через пять ступенек, потом тихо отворил дверь, поставил ведро на кухне, матери там уже не было, схватил плащ и выбежал на лестницу. Мать, конечно, слышала, что я уйду, но молчала, отец ей, наверное, сказал. Она до сих пор очень любит отца, это после двадцати-то с лишним лет супружества, и Богданюк — это ведь тоже проявление ее любви к отцу, они никогда не изменили друг другу и никогда не расстались бы, может быть, они действительно дорого заплатили за это тогда, когда человек был наг. Теперь она допоздна просидит над переводом с русского, который с победоносным видом притащила несколько дней назад, будет сидеть, все время думая о Богданюке, все время проклиная Богданюка. У каждого есть свой Богданюк или свой Лукаш, и каждый ненавидит его, презирает и в чем-то ему завидует, завидует оттого, что тому все легко дается, а тебе самому — так тяжело.

Я выбежал на улицу и вскочил в трамвай. Время близилось к девяти. Меня охватила такая лихорадка, такое нетерпение, что я не мог стоять на месте. Я пробежал весь вагон, выскочил на переднюю площадку, вылез на подножку, потом опять поднялся наверх. На площади Конституции я соскочил с трамвая. Здесь еще должен быть открыт частный цветочный магазин, государственные магазины уже давно закрыты, нет, и этот закрыт, только и можно полюбоваться на гвоздики в витрине — бегом на Мокотовскую, там есть такой малюсенький магазинчик, увы, и он уже закрыт; почему это не бывает дежурных цветочных магазинов, есть же дежурные аптеки —

стекло, что ли, выбить или еще что-нибудь сделать, я должен принести ей цветы, именно сейчас, самые лучшие цветы в мире. Скорее на Вильчую, там есть такой закуток с цветами, наконец-то открыто, здесь открыто! Я вбежал в магазинчик, розы по двадцать золотых, гвоздики по пятнадцать, розы бледные, гвоздики красные, даешь красные гвоздики, нынче идет в счет только красный цвет. Я выложил обе отцовы сотни, к черту деньги, их как раз хватит на тринадцать гвоздик, неудачник приносит тринадцать гвоздик, надо бросить судьбе вызов, вот куплю тринадцать гвоздик, и все!

Я выбежал с цветами на улицу, к счастью, вокруг пусто и темно, в автобусе я забился в угол, цветы спрятал за спину. Пингвин едет объясняться в любви! Лукаш-то ей наверняка никогда не преподнес даже самого дохленького цветочка, он не из тех, кто даст хоть что-нибудь, это опозорило бы, осрамило его, он только берет, берет, как свое, все, что хочет.

Спрыгнув на площади Парижской Коммуны, я побежал вниз, оставив позади яркий свет уличных фонарей. Здесь было мрачно и безлюдно. Улочка налево, улочка направо, теперь ее улочка. На углу какая-то старушка высаживает у забора маленькую собачонку, ласково воркует над ней, просит ее любовно, уговаривает, как ребенка, только эта собачонка и осталась у нее от всей ее жизни, последний объект любви, без любви она не может доживать свой век. Я убавил шаг, третий дом от угла, обшарпанный, стоявший здесь еще с довоенных времен. Сердце мое забилося так, что удары его заполнили меня с головы до пят, и весь я стал сплошным пульсом. Дотронувшись до кармана, я услышал, как зашелестели письма, еще двадцать метров... о, они уже здесь!

Я разглядел их в темноте, эти три или четыре фигуры, они ждали у забора напротив, опираясь на него, повернув головы к Баськиному дому, видно, глазели в ее освещенное окно. Они слышали мои шаги, но еще не видели меня как следует и не могли узнать. Все же они приготовились, один из них даже наклонился вперед, только поэтому я их и заметил. Они знали, что я приду сюда, на эту пустынную улочку, приду наверняка. О боже, возле меня ограда

из проволоочной сетки, но она совсем развалена, ее можно перепрыгнуть. Я перепрыгнул через сетку — не видать им Баськиных писем, — бумага, в которую завернуты цветы, порвалась о проволоку, я пробежал, перепорхнул через этот садик или палисадник перед домом и ворвался в подъезд. На лестнице светло, внизу стукнула калитка, они спохватились, да поздно, я уже был на втором этаже и позвонил три раза. Господи, только бы Баська оказалась дома! Внизу я услышал их шаги, они остановились и ждали, вслушиваясь, нас разделял один ничтожный этажишко, но они, наверное, работают втемную, без свидетелей, а здесь выскочат жильцы, поднимут шум — ясно, я и так от них не уйду, я уже как мышь в мышеловке. За дверью слышались шаги, Баськины шаги, дьявольское счастье, я спрятал гвоздики за спину. Баська открыла, ее освещал слабый свет от грязной лестничной лампочки. Лицо ее даже не дрогнуло, снова это каменное спокойствие, ну теперь-то я заставлю ее сбросить обычную маску, она сбросит ее для меня и из-за меня, хоть бы это стоило мне не знаю чего!

— А, ты! Что случилось?

Я услышал, как внизу что-то хрустнуло, кто-то из них переступил с ноги на ногу, кто-то приоткрыл дверь.

— Можно войти?

Она замаялась, видно, ей не хотелось принимать гостей, в другое время я бы, конечно, смылся, терпеть не могу быть непрошеным гостем, мне самому это всегда обходится дороже, чем хозяевам, сейчас, однако ж, я был тверд.

— Влезай... — сказала она.

Я влез, продолжая держать цветы сзади. Она направилась в комнату, я пошел за ней. Комната у них была большая, радиоприемник тихо наигрывал какую-то песенку, все кругом было заставлено, буфет, на нем разные фигурки, две тахты, грязноватый потолок и довольно обшарпанные стены, на окне электрическая плитка, чайник, пачка дешевого чая, хлеб и кусок сыра. Мне повезло — матери не было дома. На Баськиной тахте раскрытая книга — наверное, пыталась обмануть себя, делая вид, что читает, — на столе стопка школьных тетрадок.

Она вопросительно взглянула на меня, я вытащил из кармана ее письма и протянул их вместе с цветами в разорванной бумаге. Должно быть, у меня слегка дрожали руки, когда я все это вот так подал ей. Глаза у нее вдруг стали большими, она схватила письма, видно, сразу узнала их и стояла так молча, с этими листками в руках, зажав в ладонях все, что осталось от ее великой любви. Я не знал, что мне делать с собой и с этими цветами, не отправит же она меня с ними обратно...

— Что ты хочешь за это?

— Чтобы ты взяла цветы, а то я стою с ними, как дурак.

Видно, она только теперь заметила цветы и, положив письма на стол, взяла у меня из рук букет, развернула его — право, этих гвоздик я мог не стыдиться, — поставила в вазу и вышла в кухню, за водой. Я подошел к окну, оно было приоткрыто, раздвинул занавески, но ничего в темноте не увидел и не услышал, радио заглушало все звуки снаружи, должно быть, меня ждали на лестнице, боясь, что я снова смоюсь через какую-нибудь дыру. В трубе заурчала вода, и в комнату вошла Баська с вазой. В ее движениях было что-то, что наводило на мысль о похоронах, особенно то, как она несла эти красивые гвоздики, такие бессовестно свежие и красные, просто пылавшие на фоне серой комнаты. Она поставила вазу на стол и, по-прежнему избегая моего взгляда, принялась спокойно и методически рвать свои письма — сначала на большие куски, потом на более мелкие, потом совсем на мелкие клочки. Она вырывала все это из своей жизни, вырывала очень тщательно и именно сегодня, в воскресенье вечером, чтобы в понедельник утром этого в ее жизни уже не было, в понедельник много дел — занятия, собрание, дискуссия, — голова должна быть как следует прочищена. Все клочки она сложила в пепельницу, включила электрическую плитку, зажгла от нее бумажку побольше и положила в пепельницу. Костер разгорелся быстро, бумажки, охваченные огнем, выгибались, точно от нестерпимой боли, пробовали взлететь вверх. Баськино лицо было освещено огнем, мы стояли, молча вглядываясь в язычки пламени, это

соединяло нас, она уже больше не таилась, не лгала, хотя я грубо ворвался в ее жизнь; Баська не пыталась травиться какими-нибудь порошками или газом, потому что была сильной, и ее не унизила обманутая любовь, это был всего лишь проигранный матч, один-ноль в пользу жизни. Она должна теперь быть более бдительной, более подозрительной и недоверчивой, она уже не позволит застигнуть себя врасплох, никогда не обнаружит своего слабого места, не даст вонзить нож прямо в сердце.

Догорели последние клочки, огонь уменьшился, потом затух, от писем осталась лишь кучка пепла, дунуть на нее — и развеется на все четыре стороны вся проблема. Конец. Точка. Не будем больше возвращаться к этому.

Она подняла голову, увидела цветы и взглянула на меня. У нее был такой вид, словно она только что обнаружила мое присутствие — что-то надо было со мной делать, ведь я торчал здесь, возле нее, и подглядывал за ее жизнью.

— Прекрасные гвоздики. Спасибо.

— Что это ты делаешь? — Я кивнул в сторону тетрадей.

— Проверяю домашние задания.

— Разве ты учишь в школе?

— Нет, мать учит. Она взяла еще и частные уроки. Я ей просто помогаю.

— Тоже даешь частные уроки?

— Дубинам.

— А я могу записаться в их число?

— Ты не дубина, — серьезно ответила она. Должно быть, это был комплимент, но какой-то очень скромный. — Адашь вернулся?

— Вернулся, — неохотно ответил я и машинально взглянул в окно.

Хотя радио продолжало играть, мне вдруг показалось, что кто-то из них захохотал. Они наверняка стояли у самого дома, в нескольких метрах от нас. Я чувствовал их спиной.

Из-за зеркала, висевшего возле окна, торчала небольшая фотография, на ней был мужчина с большой светлой шевелюрой.

— Брат?

- Отец.
- Жив?
- Жив.

Больше спрашивать было нельзя. Но вся ее искусственная загадочность и так уже рассыпалась в пух и прах, за неподвижным лицом карточной дамы крылись труд и заботы, ежедневные стычки с жизнью и больно ранящие занозы; такой она нравилась мне куда больше, она оказалась настоящим человеком, проверяла вместо матери тетрадки сорванцов, пила дешевый чай, ела на ужин засохший сыр и не искала пути полегче.

Я так и стоял в плаще, пряча в кармане ободранную лапу с засохшей на ней кровью, кажется, сегодня кровь вообще крупно брызнет из меня... Баська все еще не предлагала мне сесть, и я был в идиотском положении, но у меня не хватало силы уйти, мне нужно было пережить что-то большее, прежде чем я сойду вниз, к тем, я еще не был к этому готов. А что, если подойти к ней и обнять ее, сжать, поцеловать в этот уголок рта, в шею, ну просто обыкновенно взять и поцеловать, как это давно сделал бы на моем месте любой другой парень? Лукаш, поди, даже и не вставал, так, приподымался только, улыбался и притягивал ее к себе, на тахту, одной рукой, прижимал мягко и лениво, потом целовал, и она уже была его. Это может удаться только один раз, а мне нельзя этого делать, мне нельзя ничего того, что делал он, все должно быть иначе, ничего общего с ним, не то я проиграю, все раз и навсегда проиграю. Впрочем, я и не умел так улыбаться, у меня была другая линия рта, да я бы и дрожать сразу начал, я боялся этого, я еще не мог сказать ей, как страшно люблю ее. Это угодило бы в пустоту — после того, что она выстрадала, никаким словам уже нет места, она теперь не воспримет слов, высмеет меня за них, слова уже никогда ничего не будут для нее значить, а мне все это дается нелегко, не так, как другим, я должен буду заслужить ее страданием, таким же большим, какое испытала она сама.

Из приемника доносилась какая-то ужасно слащавая песенка, неизвестная дева рыдала о том, что все еще ждет «его». У меня вдруг что-то сжалось внутри,

и я почувствовал, как на глаза, откуда ни возьмись, навертываются проклятушие слезы.

— Пожалуй, я пойду, — сказал я, услышав, что по лестнице кто-то тяжело и шумно поднимается.

— Погоди, — вдруг сказала она. — Я не могу предложить тебе посидеть у меня, потому что сейчас придет мама, ты сам видишь, как у нас тесно...

— Да, я понимаю, — ответил я.

Конечно, я понимал, что в довершение ко всему она ужасно глупо чувствует себя и из-за этой комнаты, и из-за этого засохшего сыра на ужин, и из-за этих моих бессовестно ярких гвоздик.

— Но я могу ненадолго выйти с тобой... прогуляться. — Она внимательно посмотрела на меня. Лицо ее было очень бледным.

— Нет, Баська, — ответил я. — Тебе же неохота сейчас никуда выходить. И я ведь ничего этого не прошу... Я просто пойду, и все.

— А то, может, все-таки...

— Нет, Баська, сегодня нет... Если хочешь, давай завтра.

— Что ж, будь по-твоему... давай завтра.

Когда она говорила это, лицо ее как-то на мгновение посветлело. Она смотрела на меня и, может быть, в эту секунду не помнила обо всем том, а может быть, подумала сейчас обо мне, и я перестал на какое-то мгновение быть смешным Пингвином, может, в ней рождалось что-то хорошее ко мне, может, я должен сейчас схватить ее, обнять, прижать к себе...

— Спокойной ночи, Баська. Добрых тебе снов.

— Спокойной ночи, Анджей. Спасибо... за все.

Она протянула мне руку. Я осторожно взял ее руку и с минуту подержал в своей заскорузлой лапе. Я почувствовал, как ее кровь бьется рядом, совсем рядом с моей. Теперь я уже мог идти.

Когда я вышел на лестницу, в квартире напротив захлопнулась дверь. Кто-то тяжело ворочался за ней. Вдруг послышался женский голос:

— Явился, падаля ты эдакая, явился! К жене, к детям пришел! Вспомнил! С двенадцати утра до самой ночи пил, все воскресенье, чтоб эти твои дружки передохли, чтоб их всех, вместе с их шлюхами,

паралик разбил! А ну, катись из дома! Слышишь, вон отсюда, не то...

Я начал медленно спускаться вниз. Крик женщины взвизывался все выше, как ракетный самолет, переходя уже в сверхзвуковой писк.

— Кому говорю, вон? Катись, откуда пришел! Нечего мне здесь зубы заговаривать! Хоть бы детей постыдился, гадина эдакая! Где у тебя деньги, трепло бессовестнее, где, покажь, покажь свои деньги? Это столько-то ты мне с детьми оставил?! Что ж, мы теперь с голоду подыхать должны? Через твою пьянку, что ты ее с утра развел и всех дружков поил? Ах ты, подлец ты эдакий, стерва ты окаянная, ни стыда, ни совести у тебя нет!

Что-то глухо стукнуло, я закрыл уши ладонями. Я стоял уже внизу у дверей, за ними меня подстерегала темнота улицы и те, кто жаждал расплаты. Я был готов платить, но совсем не за то, за что они предъявляли мне счет.

Шагнув в темноту, я успел только закрыть за собой дверь, и в ту же секунду меня ослепил сноп света от большого фонаря, нацеленного мне прямо в глаза.

— О, пардон, — сказал кто-то, и свет погас.

Я ощущал их вокруг себя — двоих, троих, четверых, черт знает скольких. Должно быть, они уже пропустили по стаканчику, им было тепло, они чувствовали себя по-царски, для полного счастья не хватало только избить кого-нибудь.

— Ты, ну-ка, дай закурить, — прохрипел второй голос.

Они развлекались, разыгрывая случайную встречу, так, мол, от нечего делать, разговорились.

— Не курю.

— Не куришь? А что ты здесь делаешь?

— Вот именно, что он здесь делает?

— А может, он тут кого-нибудь вынюхивает?

— Факт, вынюхивает!

— Он же стукач. Подглядывает за людьми в квартирах.

— Да его сразу видно, что стукач.

— А мы не любим стукачей!

Их было трое, Лукашем и не пахло. Наверное, показал им меня и смылся, чистая работка, его никогда

не было, а они — просто соскучившиеся в воскресный вечер рыцари темной улицы, романтики отбитых желудков и легких. Целую тройку спустил он с цепи против одного глупого Пингвина.

— А кого он тут вынюхивает?

— Ты кого вынюхиваешь, стукачок?

Не отвечая, я шагнул вперед, чтобы облегчить им дело. Кто-то из них тут же толкнул меня, другой придержал. Я молча смотрел на них.

— Ну, чего вылупился на нас, стукач!

— Пошли, заберем его отсюда, этого стукача, пусть люди живут спокойно.

— Шагай-ка, стукач, за своей судьбой, мы тебе ее выдадим.

Они вытолкнули меня на середину улочки, но тут я остановился. Я решил не уходить из-под Баськиного окна. Из квартиры пьяницы уже не было слышно никаких криков, видно, он заснул на полу, там, где упал, а жена устала его отчитывать. Теперь была слышна тихая песенка из Баськиного приемника.

Один из них схватил меня за плечо, я оттолкнул его, тогда второй размахнулся изо всей силы. Я увернулся, видно, он был пьян и бил неточно, кулак угодил мне в плечо. Как умел, я лягнул его в колено. Он завыл от боли, и все разом бросились на меня. Я не кричал, не хотел звать на помощь, в нескольких метрах от меня Баська слушала песенки, может быть, проверяла тетради, поглядывая иногда на мои бесовестно яркие гвоздики. Я сопел, извивался, вырывался, бил, снова сопел, лягался, давал сдачи, но они сомкнули вокруг меня кольцо, их было трое. Лишь бы только не упасть, ни в коем случае нельзя упасть, иначе затопчут, убьют, держаться на ногах во что бы то ни стало, они пьяные, бьют неточно, держаться, несмотря на боль, несмотря на разбитую скулу, на выбитый зуб, на кровь из носа или черт ее знает откуда еще, заслонять живот, не дать им попасть в живот, двинуть кому-нибудь из них как следует, пока я еще вижу, пока кровь не залила глаза. Я видел с каждой минутой больше: сателлиты, ракеты и взрывы, космические сотрясения и метеоры, меня распирало во все стороны, я рвался на части, наверное, я уже лежал на земле, наверное, меня уже топтали, они были вы-

нуждены бить меня здесь, под Баськиным окном, и не дал им утащить себя в ночь... Глаза, надо за-слонить руками глаза, я глотал кровь, во рту было полно крови, вдруг стало светло, блеск света, треск мотора, много-много света, треск мотора и тишина. Теперь, свободный, я поплыл куда-то вверх, слегка покачиваемый не то волнами, не то ветрами, невесомый, повиснувший в каком-то ватном и ослепительно светлом пространстве.

— Молодой человек! Эй, парень, ты живой, а? Отзовись, ты жив?!

В какой-то момент я увидел того, кто выкрикивал все это. Он стоял надо мной, в полосе света от направленных на меня фар, огромный мужик, державший заводную ручку, — казалось, он достигает неба.

— Пожалуйста... — прошептал я. — Пойдите, пожалуйста, туда...

Я хотел указать ему на окно, на это светившееся напротив окно, но не смог ни шевельнуть рукой, ни добавить хоть слово, что-то снова потянуло меня назад, мне уже не надо было ничего говорить, потому что Баська стояла возле меня, она ворвалась в свет, слышала шум, несмотря на радио, а может, мне только показалось, что она подбежала, узнала, крикнула:

— Анджей!!!

Я снова нырнул куда-то в волны, в светлую вату. И даже не успел улыбнуться ей или ее призраку, вызванному лихорадочным воображением.

И вот я уже несколько дней лежу дома, в постели; отец, как всегда, пошел в институт, что-то неладное стряслось там с Богданюком, говорят, должно состояться собрание, на котором больше не выберут Богданюка, выберут, наверное, Врачека, в институте наступил новый этап; мать готовит в кухне обед, праздничный, торжественный обед в честь падения Богданюка, а я прокручиваю эту пленку, потому что вот-вот должна прийти Баська. Она придет в первый раз, до сих пор я не разрешал ей приходить, а теперь можно, она увидит большой кусок лица — мне уже приоткрыли щеку, глаза, нос и весь подбородок, и я лежу и записываю эти свои слова на пленку, но у меня ни черта не получается. Вот я еще раз про-

кручиваю пленку с самого начала, чтобы ничего не было заметно, сперва так, какой-то твистик. Хелена Майданец, а вот и оно! Я снова повторяю в микрофон:

— Я не могу сказать тебе это прямо в глаза, потому что стал бы путаться и все вышло бы очень глупо, кто теперь говорит такие вещи, я бы не выдавил из себя ни слова, а так, на ленте, у меня это получается легче, должен же я сказать тебе, что чертовски тебя люблю и не знаю, можешь ли ты полюбить меня, я хотел тебя заслужить, но не знаю, заслужил ли, может, я смешон, с этим своим докладом, может, я вообще смешон, но знаешь, я еще смогу очень многое, я сделаю для тебя все-все, и тебя наверняка никто не будет любить так, как я...

На этом я кончаю свою болтовню, я и так уже напорол видимо-невидимо, дальше снова идет музыка, та самая песенка, которую мы слышали у Баськи по радио, я ее случайно записал. Все. Сейчас придет Баська, и я буду все знать. Конечно, если наберусь духу пустить эту пленку. Вот и все об этой моей истории. Я не стану дописывать конец, зачем мне конец, я и так его узнаю, а писал я так просто, от скуки, потому что скучно было лежать в постели и ждать, пока все срастется и заживет.

А вот и звонок. Бросаю перо, наверное, Баська...

САД ГОСПОДИНА НИЧКЕ

I

Второго мая в половине седьмого утра господин Рудольф Ничке открыл дверь веранды и вышел в сад. Он пребывал еще в мягком полусне, но чувствовал себя хорошо отдохнувшим и бодрым. Утро после вчерашнего дождя было чистым и солнечным; в холодном воздухе ощущался запах фабричного дыма, но его заглушали совершенно иные, новые запахи: аромат пахнувшей грибами земли, свежей зелени, цветущих слив и черешни. «Как чудесен этот весенний букет юной зелени; никакая промышленность, никакая цивилизация не может одарить человека таким совершенством!»

Такие мысли, вернее, чувства, владели господином Ничке, шагавшим по тропинке к забору, который отделял его сад от участка соседа. Он спешил туда с большим нетерпением. Дней шесть назад он перекопал землю, обильно сдобрил ее азотистыми удобрениями, костной мукой и роговыми стружками, тщательно разровнял и высеял под шнурок крупную белую фасоль. Прошло уже достаточно времени, чтобы фасоль дала ростки.

С тропинки сорвался дрозд, крикнул, низко, у самой земли, перелетел на другой конец сада и исчез в кустах сирени. Какое-то мгновение мысли Ничке были заняты этой одинокой грустной птицей, но тут же вернулись к фасоли. Только он ее посадил, как на

следующий же день наступили заморозки, а вдруг это столь нежное, теплолюбивое растение пострадало.

Приблизившись к грядке на расстояние трех или четырех метров, господин Ничке остановился, заметив на ней какую-то перемену: еще вчера поверхность ее была идеально ровной, а сейчас тут царил какой-то беспорядок, или, вернее сказать, беспокойство. Ну конечно! У господина Ничке не было никаких сомнений: фасоль взопшла. И все это произошло за одну ночь. Наклонившись, он внимательно присматривался к этому маленькому чуду, которое всегда вызывало у него глубокое волнение: из влажной, пахучей земли, приподнимая на согнутых в дугу плечиках мелкие камешки, осколки стекла, кирпича, соломенные соринки и кусочки щепы, вытянулись побеги фасоли. Ничке наклонился еще ниже, потом присел, чтобы разглядеть их поближе. Побеги были еще очень бледными, но уже с жадностью хватали утренний свет, чтобы приобрести яркую зеленую окраску. Некоторые почти на два сантиметра приподнялись над землей, другие только вылезали, а многих еще не было видно. Господин Ничке это несколько встревожило. Может, они погибли? Но тревога тут же улеглась. Он вскоре понял, что все дело в неравномерной глубине, на которой оказались зерна. И подумал, что, к сожалению, этого избежать не удалось, — что поделаешь, человек не машина. Но легкая тревога лишь на мгновение омрачила его настроение в столь важную, можно даже сказать, торжественную минуту. Ничке, как и все люди, был весьма чувствителен к явлению, которое авторы учебников по сельскому хозяйству в издательстве «Парейя» именовали «тайной жизни». Господин Ничке, независимо от чтения учебников, с юных лет был чувствителен к этому явлению природы. И вот он снова имел счастье стать свидетелем чуть ли не рождения этой тайны. Из сухого зернышка, которое казалось мертвым и неподвижным, словно камешек, под влиянием тепла и влаги в пышной, хорошо удобренной земле пробился луч жизни! Это было чудо, и господин Ничке, как каждый человек, чувствовал себя немножко причастным к этому.

Он встал и медленно прошел до конца грядки, потом удалился от нее, но, разумеется, не намеревался

покинуть ее совсем. Вскоре он вернется, чтобы снова увидеть пробивающиеся ростки и еще раз пережить минуты великой радости. А пока он направился дальше, вдоль низкого, обсаженного подстриженной бирючиной забора из проволочной сетки, у самого угла свернул и оказался на задах своего владения, в наименее приятном его месте. Здесь росло несколько чахлых елок, почти круглый год осыпавшихся; вся земля возле них была усеяна желтыми иглами. Сколько раз Ничке собирался их вырубить, чтобы посадить ну хотя бы орешник, который так быстро разрастается, что очень скоро закрыл бы вид на узкую, некрасивую, посыпанную черным шлаком тропинку, на распространяющий зловоние ручей, берущий свое начало у железнодорожных мастерских, на полуразвалившуюся кирпичную стену, огороженную длинным рядом искривленных, опоясанных колючей проволокой бетонных столбов. А за проволокой находился поросший сорняками пустырь. В будущем там предполагалось что-то построить. Исходя из принципа, что всякий владелец недвижимого имущества имеет право знать, чем цивилизация намерена его осчастливить, господин Ничке уже несколько раз осведомлялся у соседей и даже в магистрате о дальнейшей судьбе этого пустыря, но никто толком ничего не знал. Однажды, правда, кто-то сказал ему, будто соседний пустырь принадлежит военному ведомству. Это его несколько успокоило, ибо любое сооружение для армии все же лучше, чем, к примеру, кожевенный завод или фабрика искусственного волокна. Но пока все здесь являло собой зрелище если и не безобразное, то, во всяком случае, совершенно бессмысленное.

Эта часть сада была наиболее затененной, и Ничке засадил ее растениями, которые, как он выяснил из учебника, не требуют много солнца. Лучше всего тут рос хрен, его бледно-зеленые, будто вырезанные из гофрированной бумаги листья уже на несколько сантиметров возвышались над землей. На узкой, бегущей вдоль проволочной сетки грядке год назад он посадил ландыши и фиалки. В прошлом году они еще не цвели, но господин Ничке надеялся, что этой весной среди прямых, свернутых в трубку листьев ландыша и мелких темно-зеленых листьев фиалок он в один пре-

красный день увидит бутоны, а затем и цветы, столь необходимые именно в таком некрасивом и заброшенном углу. Он живо представлял себе нежные белые ландыши и маленькие темно-фиолетовые, окропленные утренней росой фиалки и почти чувствовал их delicate аромат. Ссутулившись, Ничке медленно двигался вдоль грядки, стараясь обнаружить бутоны. Но видимо, их время пока не наступило. Зато неожиданно он оказался с глазу на глаз с созданием, которого в своем саду еще ни разу не встречал: это была огромная жаба — огромная, конечно, по тем представлениям, которые у него были об этих существах. Серо-зеленая, покрытая бородавками жаба сидела неподвижно, вытаращив круглые глаза. Это было на редкость омерзительное создание. «Откуда она взялась в моем саду? — подумал Ничке. — Наверно, забрела издалека, может быть, от Тренчей. В их одичавшем, заросшем сорняками саду легко могли завестись такие твари». А может, кто-нибудь подбросил ему эту пакость? Так как господин Ничке еще не составил себе определенного мнения, насколько жабы вредны или полезны для сада, он оставил ее в покое, решив как-нибудь потом заглянуть в энциклопедию. Мысль о Тренчах немного испортила ему настроение; впрочем, к этим Тренчам ему придется еще вернуться.

А пока господин Ничке покинул эту не по его вине столь безобразную часть сада и направился к плодовым деревьям на прилегающей к улице части усадьбы. Осенью прошлого года он посадил там несколько слив и яблонь, по рекомендации редактора «Советов садоводу», предварительно вырубив несколько оставшихся от предыдущих хозяев старых, прогнивших и покосившихся груш. Кроны молодых деревьев, посаженных Ничке, были обрезаны так, как рекомендовал учебник. Однако мероприятие это причинило господину Ничке немало волнений и беспокойства. Правда, со всеми своими сомнениями он боролся, ибо верил в печатное слово, особенно в печатное слово специалистов. Впрочем, в учебнике было сказано, что рост деревьев может иногда значительно запаздывать. Это и понятно, ведь дереву приходится испытать тяжелое потрясение — оно заново вырастает в землю, заживает раны. Когда господин Ничке

приблизился к деревьям, он увидел, как по земле быстро-быстро бежит дрозд, на которого он еще прежде обратил внимание, — бежит, потом с криком взлетает, низко-низко, огибая кусты и деревья, парит над землей, потом взмывает вверх и исчезает в саду у соседа. Ничке остановился, с грустью посмотрел на одинокого дрозда и, когда птица скрылась с глаз, сказал:

— Не улетай, не улетай, останься здесь у меня! Останься здесь, у меня, порезвись в саду, попрыгай вволю, где хочешь. Ешь червячков на здоровье, ешь их побольше!

Но дрозд не послушался, и господин Ничке занялся осмотром деревьев. В прошлом году, когда он обрезал их кроны, сердце его кровью обливалось. Под ножом секатора летели ветки с большими, набухшими почками, а на оставшихся ветках почки были мелкие, жалкие, плотно прижавшиеся к ветке. Ничке страдал, но что он мог сделать? В учебнике по садоводству точно было указано, сколько веток нужно обрезать. А Ничке верил учебнику, ведь его автор был доктором и профессором. На одной из слив — на коротком сучке, прямо на основном стволе — единственная, но невероятно толстая почка все же уцелела. Он не обрезал ее, ибо в учебнике ничего не было сказано о почках, растущих прямо на стволе. Господин Ничке не был знатоком сельского хозяйства. Он родился и воспитывался в городе и всеми познаниями в области садоводства был обязан только книгам. Он был убежден, что, если поступать точно в соответствии с учебником, можно быть спокойным за результаты.

Впрочем, это не мешало ему считать подобные явления природы чудом. Правда, такое чудо планировалось и управлялось человеком, но ведь, если делать все по правилам науки, остальное — дело времени. Вот и сегодня эта огромная почка, которая была предметом стольких забот, ожиданий и надежд (что касается учебника, то его автор о цветении и плодоношении молодых деревьев говорил очень мало и несколько загадочно, во всяком случае, весьма неясно, как о явлении, которому не следует придавать особого значения), — да, именно сегодня большая почка и расцвела! Господин Ничке заметил это уже на расстоянии нескольких метров.

Он приближался к дереву очень осторожно, даже замедлил шаг, словно почка была мотыльком, который присел на секунду на ветке его дерева и в любое мгновение может вспорхнуть и исчезнуть. Поэтому на расстоянии двух или трех метров от дерева Ничке остановился и присмотрелся: чудо длилось! Издалека донеслось гудение электровоза, слышался шум пролетающих под виадуком вагонов. У господина Ничке исчезли все сомнения — нет, ему это не померещилось, это вполне реальное явление.

— Мой чудесный цветок, мой чудесный, волшебный цветок... — радостно повторял он.

Между тем цветок оставался недвижим, на том же самом месте, словно ожидая господина Ничке. Чтобы лучше присмотреться, господин Ничке нагнулся над ним, и — о ужас! — лепестки у цветка были обгрызены и разодраны в лохмотья, а жирный, белый, толстый червяк с черной головкой спокойно пожирал его сердцевину. Все самое важное у цветка, все то, благодаря чему дерево плодоносит и размножается — пестик и нежные, осыпанные желтой пылью тычинки, — все было съедено дотла!

— Ах ты свинья, ах ты вонючая свинья, ах ты свиное дерьмо! — От гнева и возмущения Ничке не находил слов и твердил одно и то же. У него так тряслись руки, что он лишь с трудом смог при помощи спички вытащить из цветка тучного червя. Господин Ничке раздавил его, вытер пальцы о траву и, проклиная червяка, долго еще затапывал землю ботинком.

Господин Ничке на этом прервал осмотр деревьев и пошел к бассейну вымыть руки. Он открыл кран, укрепленный на торчащей из земли и обернутой еще с зимы соломой железной трубе, и с большим усердием принялся мыть руки под струей холодной воды, стекавшей в круглый бетонированный бассейн. При этом он пользовался старой щеточкой и мылом, специально хранившимися для такого случая в расположенном неподалеку сарае с инструментами. Руки он мыл очень долго и очень старательно, и волнение его постепенно улеглось. Нельзя сказать, что возмущение утратило свою силу, но чувство это приобрело качественно новый характер — возмущение уступило

место досаде. Размышляя о случившемся, господин Ничке пришел к выводу, что нельзя возложить всю ответственность на глупого, неразумного червяка, который делает только то, что велит ему инстинкт. Нет, виноваты те, кто убил дрозда, ибо дрозд, таков уж закон природы, питается червяками; благодаря этому он является союзником человека и, следовательно, другом господина Ничке. В саду, вернее говоря, в густых зарослях дикого винограда, который обвинял южную сторону дома, свила гнездо пара дроздов, и господин Ничке, как владелец дома и сада, чувствовал себя также хозяином и опекуном птиц. Он радовался, что дрозды выбрали его владение и поселились на его участке. Но вот дня два назад Ничке нашел одного дрозда мертвым. Неподвижная птица лежала на земле возле железной сетки, ее блестящие, черные перья на груди слиплись от крови, глаза подернулись тонкой пленкой, в раскрытом клюве виднелся язык. Ничке поднял дрозда и отнес на компостную кучу; а вчера, заметив, что птицу облепили мухи, присыпал ее известью.

Таким образом, господин Ничке, который два дня назад уже похоронил дрозда, пережил эту потерю, оплакал его звонкий, чистый голос, так чудно звучавший по вечерам, сейчас, увидев, какой вред нанес его саду червяк, заново, еще болезненнее пережил смерть дрозда и воспылал жадой мести.

Вымыв руки, он решил вернуться домой и позавтракать. За чашкой кофе и утренней газетой он надеялся снова обрести столь необходимый ему покой. Но тут вдруг по другую сторону низкой, чуть повыше пояса живой изгороди появился сосед. Он только четыре месяца назад приобрел дом и сад и ежедневно по утрам — правда, не в столь ранний час, как господин Ничке, но с таким же энтузиазмом и рвением — хозяйничал в своем саду. Сосед этот, по фамилии Копф, недели две назад первым нанес визит господину Ничке, как более давнему владельцу недвижимости. Ничке узнал, что он приобрел усадьбу, думая о внуках, которые учатся в школе и будут приезжать сюда на каникулы. Копф не произвел на господина Ничке благоприятного впечатления; судя по нескольким фразам, которыми они обменялись на-

счет двух последних войн, ему было приблизительно столько же лет, что и Ничке, но выглядел он, пожалуй, старше. Иссеченная морщинами шея, худое загорелое лицо, на щеках сетка красных жилок. На этом старом лице выделялись удивительно ровные, по-молодому крепкие зубы. Господин Ничке смотрел на них особенно внимательно и вынужден был признать, что зубы у Копфа свои, не искусственные, впрочем, стопроцентной уверенности на этот счет у него все же не было.

— Доброе утро, сосед!

— Доброе утро, доброе утро, — ответил Ничке.

— Хороший сегодня денек, не правда ли?

— Да, пожалуй, — неохотно ответил господин Ничке.

— Жизнь такая короткая и такая паршивая, что человек должен радоваться каждому хорошему дню, — продолжал господин Копф, вовсе не обескураженный холодным тоном господина Ничке. Соседи через изгородь подали друг другу руки, но при этом господин Копф мог ухватиться только за кончики пальцев господина Ничке, тем не менее он несколько раз потряс его руку.

— *Morgenstunde hat Gold im Munde...*¹ — пробормотал Копф, жмуря глаза и сверкая белыми зубами. Ничке в это время думал о том, есть ли смысл сказать Копфу о дрозде и о том ущербе, который он, Ничке, понес в результате гибели дрозда. Он решил не говорить, но, видимо, не совсем отказался от этой мысли, так как вдруг услышал самого себя:

— Погода чудесная, мир прекрасен, но, увы, люди гнусны.

— К сожалению, вы правы, господин Ничке. — Копф наклонился, вырвал какой-то сорняк и, оглядывая его со всех сторон, добавил: — Но что можно поделать? Так было, есть и будет.

— Хотите закурить? — спросил Ничке, подавая через изгородь коробку с папиросами.

— Какой из меня курильщик! Я только испорчу вам папиросу. А кроме того, перед завтраком...

¹ Утренний час дарит золотом нас (нем.).

— Вы правы. Сейчас столько говорят о вреде курения. Но люди неисправимы — продолжают курить, хотя знают, что это им вредно.

— Назло самим себе...

— Вот именно...

— Впрочем, с этим курением странное дело. Знаете, я, еще будучи холостяком, не раз пробовал курить. Потом война, безработица, вторая война. Вроде бы поводов хоть отбавляй, а между тем курильщика из меня не получилось. Так, иногда вдруг вспомню и закурю. Видно, некоторые люди без этого не могут, а другим оно ни к чему.

— Совершенно верно. А все потому, что каждый человек отличается от другого человека и двух одинаковых людей в мире нет. У каждого свои потребности и свои пристрастия. Один любит одно, другой — другое, — заметил Ничке.

— А вы много курите?

— Сорок — пятьдесят штук и две сигары.

— Как, в день? — изумился Копф.

— Да.

— Но это же стоит кучу денег. И очень вредно!

— Что делать? Привычка.

— Надо отвыкнуть.

— Пробовал.

— Нет, вы обязательно должны покончить с этим. Вот посмотрите на меня: я бросаю свою папиросу. Скажите себе: к черту! И сделайте то же, что и я. Ну!

Ничке, уступая напору соседа, бросил свою папиросу, хотя и не думал отказываться от курения.

— У людей столько разных неприятностей. Папироса успокаивает, — заметил он.

— Согласен с вами. У каждого свои заботы. Но из этого еще не следует, что все мы должны раньше времени отправиться на тот свет. Прав я или нет? Извините, я на минутку, возьму только молоко. — Господин Копф направился к калитке, взял у молочника бутылку молока, поставил ее на крыльцо и вернулся к изгороди.

— Вы правы на сто процентов, господин Копф, на все сто, но вы же сами только что сказали, что есть люди, которым трудно обойтись без папиросы. Наверно, я принадлежу к их числу, — сказал Ничке и

почувствовал внезапную симпатию к своему соседу. Поэтому он добавил: — Скажите мне, господин Копф, что бы вы сделали, если б какой-нибудь бандит застрелил вашу птицу?

— Птицу? — удивился Копф, внимательно и даже с некоторым беспокойством взглянув на господина Ничке.

— Да, птицу — дрозда. У меня в саду жила пара дроздов, и одного из них какой-то негодяй застрелил.

— Да, это неприятно. Наверно, кто-нибудь из озорства, просто так, для забавы.

— Для забавы? Такая забава, господин Копф, должна быть запрещена полицией.

— Конечно, это должно быть запрещено. Да, я не раз видел дроздов и у себя в саду. Очень печально, — продолжал господин Копф таким бесстрастным тоном, что было похоже, будто он думает совсем о другом. — Если это сделали дети — еще полбеда. Дети — глупые варвары. Гораздо хуже, если это сделал взрослый человек.

Господин Ничке подумал: «Ну, конечно, его это мало волнует, ведь птицы жили не в его саду и ущерб понес не он». Он решил больше с ним на эту тему не говорить и, уж во всяком случае, смолчать о своих подозрениях относительно виновников гибели дроздов. Ничке все более утверждался в мнении, что убийцей птицы был один из сыновей судьи Тренча. В этом районе парков и садов господину Ничке довольно часто случалось слышать эхо выстрелов из детского ружья. А разве несколько дней назад (когда это было — во вторник или среду?) он не видел, как они крадутся вдоль забора. При этом старший — ему, наверно, лет пятнадцать — держал в руке что-то вроде духового ружья. Неужели же судья Тренч — столь суровый по отношению к другим — разрешает собственным детям совершать недозволенные поступки? Это было бы весьма пикантно. Но жизнь — огромное собрание парадоксов, и это вполне вероятно. В самом деле, что мы знаем о людях? Вот, например, что господин Ничке знает о господине Копфе? Только то, что месяца три назад или чуть побольше тот приобрел соседний дом и поселился в нем. Что он так же, как и Ничке, протестант и получает пенсию. Еще что? Что он знаком

с судьей Тренчем — Ничке однажды видел, как они разговаривали через изгородь, — что у него внуки, уже школьники. И все. Очень немного.

Господин Ничке и господин Копф еще некоторое время стояли друг против друга и разговаривали, но господин Ничке перевел беседу на другую тему. Потом они расстались, — у калитки послышался звонок, Ничке попросил у соседа извинения и отправился за почтой. Почтальон, как обычно, принес газету, а также долгожданные иллюстрированные проспекты с расценками на садовый инвентарь, цветы и семена. Кроме того, господин Ничке получил открытку от дочери. Медленно направляясь к дому, он ее прочел. Вот что писала дочка:

«Дорогой папочка!

Мы все, слава богу, здоровы. Только Хенни часто хнычет, у нее прорезаются зубки. Если бы ты, папочка, знал, какая она прелестная! Эрика получила вчера двойку по арифметике и долго плакала. Мы хотели приехать в пятницу, на твой день рождения, но Рихарду не дали отпуска. Поэтому приедем в субботу вечером. До свидания, папочка! Целуем тебя — твои Хедди, Рихард, Эрика и маленькая Хенни.

Папочка! Эрика и маленькая Хенни просят тебя прослушать концерт по заявкам в пятницу в 21.15!»

Господину Ничке всегда хотелось иметь внука, но судьба полгода назад одарила его второй внучкой. Такое известие огорчило его, но мысль о том, что с планированием в этой области, как видно, пока обстоит еще неважно, несколько утешила.

Впрочем, Хедди был всего тридцать один год, и Ничке мог не терять надежды. Он очень любил свою дочь и заранее радовался ее приезду. Вернувшись домой, Ничке приготовил себе завтрак и за едой сперва просмотрел газету, потом занялся проспектами, а когда обратился к проспекту, посвященному георгинам, неприятная история с цветком сливы отступила на второй план. Там были изумительные по краскам цветы: красные, как кровь, золотые, фиолетовые и белые, словно снег. Каждая разновидность имела свой порядковый номер, название и очень под-

робную родословную. Ничке узнал имена выдающихся садоводов и селекционеров, посвятивших десятки лет жизни тому, чтобы из многих поколений прекрасных и породистых сортов георгинов вывести именно этот, наиболее совершенный, поражающий красотой и изысканностью окраски цветов и дать ему имя царствующей особы или выдающегося сановника. Если даже продавец несколько преувеличил, все равно это был потрясающей красоты цветок. Ничке карандашом отметил на полях сорта, которые собирался приобрести. Георгины цветут осенью, в печальное время года, когда природа отдыхает от трудов. И вот в один из холодных и осенних дней на фоне увядающих листьев и пожелтевших газонов вдруг расцветает такое чудо. Это будет настоящим триумфом сил природы и красоты над временем, разрушением и смертью!

Точное, яркое и поэтичное жизнеописание каждого сорта завершилось сухой, деловой информацией о его продажной стоимости, обозначенной в ценах за штуку, десятков и сотню штук. Клубни таких замечательных отборных экземпляров георгинов стоили дорого, даже очень дорого, но господин Ничке с этим не посчитался. Те, кто был хорошо с ним знаком и знал Ничке как очень экономного человека, наверно, удивились бы его расточительности. Но все дело в том, что господин Ничке просто очень любил цветы.

И вот снова наступил прекрасный день. Один из тех, которые называют «кристальными» или «прозрачными, как хрусталь», так как их хочется сравнить с чем-то безупречно чистым и совершенным. Была как раз пятница — день рождения господина Ничке. Ночью шел дождь. Ничке слышал шум дождя и, проснувшись около часу ночи и потом уже под утро и предполагая, что будет слякоть, решил встать немного позже обычного, и вдруг такая неожиданность! Отдернув занавеску и открыв окно, чтобы убедиться в правильности своих предположений, Ничке увидел свой сад, исполненный непостижимого очарования. В идеально прозрачном воздухе он сиял всеми мыслимыми красками. Ничке стоял у открытого окна и чувствовал, как его охватывает какое-то торжественное и одновременно

радостное возбуждение. И длилось это долго-долго. Господин Ничке ни о чем не думал, он был счастлив.

И тут вдруг в глубине его бездеятельного в эти мгновения мозга мелькнуло какое-то смутное и не очень приятное воспоминание о давнем и таком же ясном, как и это, утре тех лет, когда господину Ничке нередко случалось вставать очень рано; но воспоминание это словно его и не касалось, словно господин Ничке от кого-то узнал, что кто-то из его добрых друзей именно в такое утро пережил трудно объяснимое и непонятное огорчение. Все вокруг — и воздух, и деревья, и земля — было наполнено неумолимым птичьим гомоном. В нем нельзя было различить ни отдельных голосов, ни даже звуков — все птичьи голоса слились в сплошную, столь же неизъяснимо совершенную музыку, сколь совершенны воздух, которым мы дышим, и вода, которую пьем.

Четверть часа спустя господин Ничке пережил новую, но на этот раз вполне конкретную и поэтому еще более волнующую радость: в его саду после ночного дождя произошло чудесное превращение. В течение одной этой ночи все, что в нем было посажено, вдруг рванулось вверх с такой невероятной стремительностью, как бывает, пожалуй, лишь в трюковых кинофильмах. Вот, например, помидоры. Он посадил их четыре дня назад и поливал дважды в день, но у них еще вчера после обеда был весьма невзрачный и блеклый вид. Сейчас они стояли ярко-зеленые, толстые, сочные стебли выпрямились, а мясистые листья и ветки торчали так, словно их развесили на невидимых, сильно натянутых нитках, они жили, дышали, пили воду, поглощали солнечный свет. А вот и фасоль, первые ростки которой еще две недели назад доставили господину Ничке столько радости, — теперь эта фасоль стояла, как лес. Растения выстроились ровными рядами, словно деревья в питомнике или солдаты на смотру. Даже холода, которых он так опасался, не мешали им; взошедшие сначала неравномерно всходы сейчас выровнялись, отстававшие слабые растения окрепли, и все оделось в новый, ладно скроенный наряд из листьев. Каждое растение само по себе было прекрасно, и хотя все они были похожи друг на друга, все же каждое было существом глубоко индивидуаль-

ным и имело свое собственное лицо, несмотря на то что листья их по форме и окраске следовали одному образцу. Ничке мог радоваться: «Прекрасная у меня фасоль, удалась на славу! Скоро должна зацвести». Он не знал точно, когда это произойдет, но, наверно, скоро. Вчера он заметил, что одно растение пустило первый ус, а вот сейчас даже поразился, как этот ус вырос за одну ночь, — ну конечно, вчера он был еще так далеко от торчащей рядом подпорки, а сегодня уже цепко обвился вокруг нее.

Что за инстинкт, какая мудрость руководит простой фасолью и заставляет ее безошибочно выполнять все, что необходимо для жизни и размножения? Ничке присел возле растения и долго рассматривал его, он даже коснулся пальцем его шершавого, словно бы покрытого мельчайшей щетинкой усика и погладил его.

Сегодняшнее утро было примечательно еще одним событием. Покинув делянку фасоли, Ничке отправился на свою «передовую» — к грядкам с редиской, луком и салатом. Одна из грядок уже много недель пустовала, но Ничке все равно полонил ее и поливал. Месяц назад он посеял тут петрушку и наперед знал, что ожидать ее придется долго. Однако срок, указанный на пакете с семенами, давно прошел, и господин Ничке уже примирился с мыслью, что грядку придется перекопать. Впрочем, убыток был невелик. И вот сегодня, оплаканная и уже немножко позабытая, петрушка взошла! Правда, пока это было не особенно эффектное зрелище: невзрачные, едва приметные, прерывавшиеся во многих местах зеленые следы обозначали линию посева. Но как обрадовался господин Ничке, что этим тщедушным слабым зернышкам все же в конце концов удалось осилить гнетущую тяжесть земли.

В это прекрасное утро Ничке не работал в своем саду. Он только осматривал растения, удивлялся им и радовался. Вот из свернувшихся в трубочку листьев ландыша уже показались первые, еще закрытые бутоны; вот в гуще мелких листочков блеснула первая фиалка. Над головой господина Ничке пели птицы, а неведомо откуда набегавший ветерок то и дело сбивал с деревьев капли воды и уносил их с собой. Время от времени капли падали господину Ничке на лоб или щеку; он смахивал их и улыбался. Он решил, что се-

годня не будет заниматься прополкой, хотя после дождя, особенно в северной части сада, появилось множество сорняков, не станет окучивать помидоры и вообще работать не будет. Устроит себе праздник. В самом деле: его это день рождения или нет? А разве сама природа не сделала сегодняшнего дня праздничным? Ничке решил, что сейчас он немножко погуляет, потом пойдет на кухню, приготовит к завтраку яичницу с грудинкой и откроет банку с джемом, присланную Хедди. Выпьет кофе и позавтракает, почитает газету, которую скоро принесет почтальон, а может, еще какие-нибудь письма, прејскуранты и проспекты. Потом вынесет в сад шезлонг и до обеда будет читать начатую вчера книжку о кампании Роммеля в Африке, передвигая время от времени шезлонг, чтобы оставаться в тени от стоящего посреди сада спокойного, тихого дома. А потом, в ознаменование своего дня рождения, наденет свежую рубашку, новый костюм и отправится в ресторан «Под каштанами» — посмотрит, что этот старый мошенник Биттнер приготовил сегодня на обед. Господин Ничке еще раз прошелся по саду, затапывая на ходу извилистые и потрескавшиеся следы крота, который в поисках червей проделал свой ход совсем близко от поверхности земли. Потом он остановился и стал высматривать своего соседа. Господину Ничке хотелось сегодня первым с ним поздороваться. Но господин Копф как раз был очень занят, он все время что-то возил на тачке, и в глубине сада, среди деревьев, мелькала лишь его белая рубашка.

Наконец Ничке уловил удобный момент и крикнул:

— Доброе утро, господин Копф!

— Доброе утро, доброе утро.

— Что вы так суетитесь с самого утра?

— А вот вожу компост под огурцы! — крикнул в ответ Копф и остановился.

— Прекрасно все растет после дождя.

— Как на дрожжах! — ответил Копф и снова исчез в глубине сада. Ничке вернулся в дом и занялся приготовлением завтрака.

Он как раз резал хлеб на хлеборезке, когда послышался звонок. Ничке выглянул через выходящее на улицу узкое кухонное окно и вместо ожидаемого письмоносца увидел мужчину и женщину. Они стояли воз-

ле калитки, женщина оперлась на нее рукой и смотрела куда-то вверх: через плечо у нее висела полотняная сумка. Мужчина разглядывал окна дома господина Ничке, в его облике не было ничего примечательного. Ничке не знал, кто бы это мог быть, он никогда не встречал этих людей, и вид их ни о чем ему не говорил. Потом ему что-то почудилось или померещилось, но он решил, что они, наверно, из тех, кто ходит по домам и скупает старые бутылки, банки и всякий бесполезный в хозяйстве хлам, представляющий, видимо, еще для кого-то определенную ценность, раз его можно продать. Он нажал кнопку автоматического замка, и замок тихо загудел. Потом выглянул еще раз в окно, чтобы убедиться, воспользовались ли незнакомцы сигналом, и, обнаружив, что они идут по каменной дорожке в сторону дома, продолжал резать хлеб. Но когда через минуту, услышав шаги под окном, он вышел, чтоб впустить их в дом, стало ясно, что это вовсе не сборщики бутылок, а просто какие-то бродяги, и он пожалел, что отворил калитку. На мужчине был дешевый, измятый и запачканный холщовый костюм, его худое, изможденное лицо было покрыто редкой рыжеватой растительностью, и он смотрел каким-то странным, будто стеклянным, казалось, отсутствующим взглядом. Этот взгляд его был устремлен не на господина Ничке, а куда-то мимо него. Ничке не сумел бы определить, сколько этому человеку лет, — ему с одинаковым успехом можно было дать и тридцать, и все пятьдесят. Женщина была немолода — лицо потное, жирное, склеившиеся пряди волос. Бесспорно, это были люди, которые спят, где придется, и никогда не умываются.

— Чему я обязан? — спросил Ничке, сиюсь говорить в шутливом тоне и с трудом сдерживаясь, чтобы не захлопнуть у них перед носом дверь. Мужчина смотрел сейчас так, словно был косоглазым, он уставился на господина Ничке и наконец произнес:

— Господь бог духов пророческих прислал ангела своего, чтобы передал слугам своим, что должно вскоре произойти. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды своей. Ибо тогда будет великая скорбь...

— А кто причиняет зло, пусть еще причиняет зло, а кто есть в нечисти, пусть и пребывает в ней. А кто справедлив, пусть будет оправдан, а святой пусть будет принесен в жертву, — сказала женщина, вздохнув, опустила глаза и сняла соломинку с рукава своей куртки. Она держала соломинку двумя пальцами, разглядывая ее, потом уронила на землю.

— Что за вздор вы несете и что вам от меня нужно?

— Книжки открыты, — говорил мужчина, — и осуждены будут все согласно тому, что написано в этих книгах, согласно поступкам, совершенным ими...

Мужчина произносил свой текст, как плохо выученный урок. Речь его была понятной, произношение правильным, но слова звучали так чуждо и мертво, словно это говорил робот. Господина Ничке вдруг охватило странное чувство, будто он этого человека знает, будто он уже где-то видел это измученное и отсутствующее лицо. «Откуда я его знаю? Вздор. Я его совершенно не знаю... Впрочем, во время войны с кем только не приходилось встречаться», — подумал Ничке, чувствуя все нарастающую неприязнь к бродягам. В какой-то момент он даже ощутил страх перед этими не совсем нормальными типами и попытался закрыть дверь:

— Ладно, ладно. С богом. Лучше бы взялись за какую-нибудь работу.

Но худой мужчина крепко ухватился за дверную ручку, обнаружив при этом незаурядную силу, и продолжал:

— Приближается час, когда нам придется предстать перед ликом всемогущего и всевидящего господина нашего. А время это уже близко. Как же предстанем перед ликом господина мы, немцы, руки которых по локти в крови?

Мужчина пристально вглядывался в лежащую на дверной ручке ладонь господина Ничке.

Теперь у Ничке уже не было никакого сомнения, что он имеет дело с сумасшедшими. Он извлек из кармана полмарки и протянул монету женщине, но та спрятала руки за спину и отрицательно покачала головой. Она стояла неподвижно, с открытым ртом, уставившись на него бессмысленным взглядом. А мужчина все продолжал свою речь, но теперь уже другим тоном:

— Мы, немцы, принесли людям столько зла, что сейчас должны сделать для них очень, очень много хорошего...

— Пошли вы к дьяволу и оставьте меня в покое! — довольно громко сказал господин Ничке, но вместо того чтобы закрыть, распахнул двери еще шире, не встречая на этот раз сопротивления. — Ступайте в другие дома, там тоже живут люди!

Господин Ничке подумал, что, пожалуй, употребил слишком резкие выражения, но у мужчины и женщины был такой вид, словно его слова вообще к ним не относились. Повернувшись, они сошли с крыльца и молча пошли по каменной дорожке. Выглянув в кухонное окно, он увидел, как первой вышла за ограду женщина, мужчина обернулся и тщательно притворил за собой калитку.

Человеку кажется, что он сам распоряжается своей судьбой, а между тем он всего лишь игрушка сил, действия которых невозможно предвидеть. Вроде того шарика в настольном бильярде, который выскакивает с огромной силой, уверенный в своем успехе, потом наталкивается на один гвоздик, другой, третий — и оказывается невесть где, иногда в самой худшей ячейке. Вот и господин Ничке посвятил в этот день несколько часов делам, которыми сегодня вовсе не собирался заниматься. А именно: заглянув после завтрака на чердак, чтобы проверить, не протекла ли после ночного ливня крыша, он убедился, что с крышей ничего не случилось, но ужаснулся при виде царившего на чердаке беспорядка. Быть может, этому способствовала сегодняшняя погода: в лучах солнечного света, падающего через чердачное оконце, господин Ничке вдруг, словно в свете рефлектора, увидел всю мерзость этого скопища рухляди. Сколько раз он давал себе зарок разделаться с этим хламом, оставленным бывшими владельцами! И подумать только, что так долго он вынужден был терпеть у себя над головой подобное безобразие! Какие-то старые абажуры, сломанный пылесос, заржавелые части велосипеда, противогазы, заплесневелые и твердые, как кость, армейские ремни, сумки, вещевые мешки, кипы покрытых пылью газет, писем,

открыток — целое кладбище давно изъятых из употребления предметов. Все это ржавело, гнило и отравляло воздух. Ничке снял пиджак и принялся наводить порядок.

Время от времени он подходил к окну, чтобы подышать свежим воздухом, и, закулив папиросу, оглядывал окрестности. Смотрел на крыши вилл, темневшие среди нежных крон деревьев, на подернутый дымкой город, видневшийся вдали. За городом высилось великое множество фабричных труб, а над ними, наподобие знамен, колыхались черные и желтые ленты дыма. Все они были направлены в одну сторону, и над ними в том же направлении плыли белые облака. Слышался треск и грохот проносящихся электропоездов, где-то неподалеку раздавался собачий лай. Для Ничке все это было отдыхом. Он набрал в легкие свежего воздуха и прибодрился; да, во всем этом, бесспорно, есть нечто, укрепляющее силы человека: и в том, что он смотрит на спокойный и упорядоченный мир, и в том, что знает, — все это является делом рук людей, действующих мудро, целеустремленно и гармонично, в полном согласии с природой и в соответствии со своими потребностями. Потом, вернувшись к прерванной работе, он старался придать ей возможно более организованный характер — такова уж была его натура.

Ничке складывал отдельно железные предметы и отдельно бронзу, латунь и никель. Точно так же он поступал с кожаными изделиями, бумагой и стеклом. Но через некоторое время пришел к выводу, что внутри этих групп следует произвести дополнительную сортировку: на вещи, ни для кого не представляющие ценности, и такие, которые еще можно продать. Предметы, имеющие какую-то ценность, следовало бы разложить в соответствии с их назначением. Господину Ничке вдруг пришло в голову, что, пожалуй, с самого начала следовало принять другую систему. Так, например, кожаную сумку для велосипедных принадлежностей и резиновую покрышку лучше положить рядом с велосипедной рамой, а нанизанные на нитки стеклянные бусинки, пожалуй, имеют больше общего с абажуром, нежели с бутылочками из-под уксуса, хотя они и сделаны из одного и того же материала. Эти рассуждения

вызвали у Ничке хорошее настроение; в какой-то момент он даже сказал себе: система — это еще не самое главное. Система может быть и такая, и совсем иная. Самое важное — ее осуществление. Суть именно в этом. Кроме того, труд захватывает человека, заставляет его забыть о всех хлопотах и заботах и приносит радость даже в тех случаях, когда он наперед знает, что ни когда не увидит результатов своей работы. Труд сам по себе — уже благодеяние, освобождающее и возвышающее человека.

Взглянув на часы, господин Ничке не без удивления обнаружил, что с того момента, как он взобрался на чердак, прошло уже более трех часов. Вот еще одна особенность труда: он поглощает, можно даже сказать, пожирает время. Однако то, что время летит так быстро, в его положении, вернее, в его возрасте, пожалуй, наименее положительная сторона труда.

Постом Ничке подумал еще о том, что с ним иногда случается довольно странная и непонятная вещь. Бывали моменты, когда он в своем стремлении привести все в идеальный порядок забывался до такой степени, что незаметно для себя переступал некую черту, грань, за пределами которой самый идеал его порядка превращался — как бы это поточнее сказать — в демона анархии и уничтожения. Вопреки своей воле Ничке доходил до такого состояния, что в его воображении вдруг все результаты его трудов сводились на нет. Он представлял себе, что неожиданно разразилось какое-то бедствие — война, землетрясение, ураган, и все, что было им так хорошо упорядочено и уложено, вдруг начинало колебаться, падать, разлетаться на куски и приходить в полный беспорядок. Нужно сказать, что Ничке очень страдал от таких видений, но даже в эти минуты все же там, в далекой перспективе, светился огонек надежды: после хаоса снова наступит момент, когда нужно будет, засучив рукава, спокойно приняться за упорядочение всего этого балагана.

Такие мысли не покидали Ничке, тщательно отмывавшего специальным порошком руки, с которых в струе воды стекало невероятное количество грязи. Потом он еще раз вымыл руки туалетным мылом и стал бриться. Брился он электробритвой. Мерное жужжание

идеально работающего механизма доставляло ему особую, хотя и привычную радость — ведь электробритвой пользовался он уже давно.

Приняв ванну, Ничке надел чистое белье, серый костюм и голубой галстук. В передней внимательно оглядел себя в зеркале и, сняв с вешалки зонтик, так как небо стало хмуриться, вышел из дому. Сейчас у него не было никакой охоты болтать с соседом, но господин Копф, вооружившись молотком, отверткой и клещами, как раз возился с замком у своей калитки, и Ничке не мог выйти на улицу, не заговорив с ним.

— Ремонт, ремонт... — сказал он, закрывая за собой калитку.

— Хочу приделать к калитке замок, — стозвался Копф.

— Правильно. Я это давно уже сделал. Мне совсем ни к чему, чтобы всякий, кому заблагорассудится, шатался по моему саду.

— Вот именно. Сегодня, например, ко мне на участок зашли какие-то ненормальные — толкователи Священного писания, методисты или как их там называют. И отняли у меня целый час, — промолвил Копф, не прерывая работы. Ничке заметил, что у Копфа худощавые, но довольно мускулистые плечи и сухие, цепкие пальцы.

— Они и у меня были, — сказал он. — Плели черт знает что.

— Значит, и у вас были?

Господину Ничке показалось, что Копфу это известие доставило удовольствие, он испытующе посмотрел на него, стараясь проникнуть в его мысли. Копф прервал работу, обернулся к господину Ничке и, глядя ему в глаза, спросил:

— Скажите, а чего они, собственно, от нас хотят?

— Кто?

— Ну, все эти, разные... Их теперь полно. Чего они хотят от нас, немцев? Я ведь, знаете, читаю и газеты и книги, радио слушаю. Раньше мы, немцы, были очень хорошими, а теперь вдруг стали очень плохими. Я лично думаю, что мы, немцы, не хуже и не лучше всех остальных. Такие же, как другие люди. Точно такие. Прав я или нет, господин Ничке?

— Конечно, правы.

Копф собрал инструменты и осторожно разложил их на железной рамке решетки, из чего господин Ничке заключил, что соседу охота поговорить. Он поглядел на часы и добавил:

— Нам с вами надо будет как-нибудь обо всем обстоятельно потолковать. Верно, господин Копф?

— Обязательно.

— А пока до свидания.

— До свидания, до свидания, господин Ничке.

Ничке застегнул пиджак и перешел на другую сторону улицы, затененную густыми кронами вязов. Не доходя до трамвайной остановки, он вспомнил, что у него кончились папиросы, и зашел в табачную лавку. Там он немного постоял, ожидая, пока продавец отпустит товар двум девочкам, покупавшим шариковые ручки. Хозяин лавки был инвалид, страшно изувеченный войной. Тело его казалось неуклюже склеенным из разных кусков, оно все тряслось и будто скрипело. Когда это едва напоминавшее человека существо пыталось заговорить, оно широко открывало полный золотых зубов рот и словно бы зевало или кривлялось. Ужас! Господин Ничке не переставал удивляться, что инвалид все же как-то жил, общался с людьми, продавал товары, давал левой рукой сдачу (пустой правый рукав его опрятного, украшенного орденскими колодками пиджака был заправлен в карман). Пока девочки, хихикая и строя рожицы, делали покупки, господин Ничке рассматривал газетный стенд, а потом положил на прилавок деньги и сказал:

— Как обычно...

Переговоры с хозяином табачной лавки были сведены у него до минимума. Господин Ничке получил, как всегда, три пачки папирос, шесть сигар и сдачу. Спрятав папиросы в карман, он вышел, но через минуту вернулся и, положив на прилавок только что полученную сдачу, довольно сухо заметил:

— Мне ваши деньги не нужны, господин Хирш!

Рука инвалида словно бы на шарнирах сделала движение по направлению ко лбу, голова стала приподыматься, потом опустилась. Ничке взял с прилавка сдачу, которая ему фактически полагалась, приложил по-военному руку к шляпе и вышел. Хирш не успел его

даже поблагодарить. Какой-то покупатель в тирольской куртке, выбиравший в этот момент сигары, приподнял шляпу, хотя господин Ничке не был с ним знаком.

Весь свой дальнейший путь — вдоль цветущих кустов шиповника, мимо прачечной и кинотеатра, вплоть до самого ресторана «Под каштанами» — Ничке проделал, ни о чем определенном не думая, в приятно приподнятом настроении. Хорошее настроение — психологическое следствие только что совершенного, впрочем, столь естественного поступка — не покидало его. В сущности, честное отношение к владельцу табачной лавки было самым элементарным проявлением порядочности, но господином Ничке невольно овладело сознание своего неизмеримого превосходства над всеми. Ведь далеко не каждый смог бы это сделать так просто и непринужденно, как это сделал он, господин Ничке.

У входа в ресторан, чтобы пробиться сквозь толпу юнцов, скопившихся возле автоматических игр, Ничке пришлось пустить в ход — правда, очень осторожно — зонтик. Он терпеть не мог этих одетых в американские брюки и кожаные куртки пятнадцати-шестнадцатилетних подростков с тонкими шеями, розовыми ушами и прыщавыми лбами. Они слишком шумно вели себя во время идиотских игр, наблюдая за крохотными футболистами на доске, стреляя из электрических автоматов по жестяным самолетам, пароходам и медведям. А Ничке не выносил шума и толчеи, он любил покой и тишину. И только уединившись в кабинете, отделенном от соседнего ажурной ширмой и смешными кактусами в разноцветных горшочках, он почувствовал себя хорошо. В центре за столиками сидела какая-то солидная супружеская пара, двое молчаливых молодых людей и женщина с ребенком. Ничке довольно долго изучал меню, потом расспросил кельнера о тонкостях приготовления некоторых мясных блюд и салатов, поинтересовался происхождением пива и только после этого сделал заказ. Треск автоматов, стук бильярдных шаров и выстрелы из электрического ружья заглушались монотонным шумом вентилятора, нагнетавшего холодный свежий воздух. Ничке, не надеясь,

что раньше чем через десять минут ему подадут суп, закурил папиросу и задумался. «Вот скоро мне исполнится шестьдесят два года. Мама родила меня что-то около пяти часов вечера. Прожит солидный кусок жизни. А сколько еще осталось? Гораздо меньше, черт возьми! Однако все не так уж плохо. Могло быть хуже. Бывают ситуации, когда впереди уже ничего нет. И все равно надо как-то существовать».

Ничке огляделся вокруг. Солидная супружеская пара молча ела рыбу или что-то другое, требовавшее сосредоточенности, а молодые люди молча, не проронив ни слова, смотрели друг на друга, только дама что-то непрерывно говорила мальчику, у которого было несчастное и вместе с тем сердитое выражение лица. Наверно, за что-то его отчитывала. Именно эта дама и привлекла на какое-то время внимание господина Ничке. Ей могло быть лет тридцать пять, самое большее — сорок. Это была светлая блондинка с темными глазами, одетая в голубой джемпер и серую очень короткую юбку, из-под которой высывался краешек розовой, прозрачной, как дымка, нижней юбки. Господин Ничке долго всматривался в ее декольте, особенно в то место, где видна была бороздка между грудями, но дама изменила положение, и ее бюст перестал быть виден. Тогда он перевел взгляд на бедра и ноги, сильно загорелые и чем выше, тем все более массивные. Господин Ничке охотно рассмотрел бы их повыше, но, к сожалению, мешала юбка. Дама снова изменила положение, оглянулась, и господин Ничке увидел ее лицо в профиль. Дама уже громко отчитывала мальчика, который, впрочем, казался довольно послушным. Ничке мог видеть теперь ее загорелую щеку, нежное розовое ухо и красные полные губы. Он подумал, что лицо ее выглядит так, словно бы изнутри его освещали маленькие лампочки; и ему пришло в голову, что он сам, несмотря на свои шестьдесят два года, не выглядит еще старым. Помнится, как-то рабочий, привозивший кокс, сказал, что никогда не дал бы ему больше пятидесяти восьми. Между тем ему уже шестьдесят два. Впрочем, никого это не касается, это его абсолютно личное дело. Но вот, кажется, к его столику танцующей походкой приближается официант. Ничке, правда, не был еще уверен, не направится ли официант к мо-

лодым людям или к даме с мальчиком, но тот только на секунду задержался возле буфета, чтобы взять прибор, и, балансируя подносом, направился прямо к нему.

День в мае длинный, и в такую теплую прекрасную погоду, как сейчас, даже в девять часов вечера можно еще сидеть в саду, но Ничке закрыл книжку, сложил шезлонг и отнес его в сарай с инструментами. Потом еще раз прошелся вокруг своего утопавшего в глубокой прохладной тени сада. Среди темных, растрепанных туч, которые казались недвижимыми, плыл острый, блестящий месяц. «Уже прошло, наверно, мигнут пять», — подумал Ничке и вскоре убедился, что не namного ошибся. Когда он вошел в комнату, на стенных часах, ходивших очень точно, было восемь минут десятого. Ничке постоял минутку у открытого окна; где-то по соседству громко играло радио, пел, видимо, итальянский тенор. Из темной глубины сада, который почти не был виден из окна освещенной комнаты, послышалось вдруг какое-то странное ауканье. Оно доносилось из заброшенной господином Ничке части сада, со стороны колючей проволоки — оттуда, где совершенно невероятно разрослась крапива и другие мерзкие сорняки. Ничке затворил окно и задвинул занавески, так как становилось холодно, впрочем, он не любил темноты — зажег свет и включил радио. Пока еще шла рекламная передача о стиральных порошках, папиросах и коньяках. Ничке пошел на кухню и поставил чайник на газ, а вернувшись в комнату, уселся поудобнее в кресле и закурил сигару в ожидании того, что должен был вскоре услышать. Время летело, автоматически приближая его к этому мгновению. И вот заговорил диктор, потом чистый, звонкий женский голос сказал:

— Любимому нашему дедушке в шестьдесят вторую годовщину со дня рождения шлют сердечные пожелания здоровья, счастья, долгих лет жизни и просьбу: дедушка, люби нас и будь к нам всегда так же добр, как сейчас. Твои внучки Эрика и маленькая Хенни. Дедушка, послушай вместе с нами песенку, которую, как говорит наша мамуся, пела наша бабушка, когда была твоей невестой...

Несколько мгновений был слышен тихий аккомпанемент гитары, а потом, когда умолк голос диктора, Ничке услышал песенку, которую так хорошо знал. Ее пел слегка вибрирующим баритоном мужчина, наверно, немолодой, ибо пел он с таким чувством, словно вспоминал собственную молодость. Вероятно, он был родом из той части Австрии, где родилась жена господина Ничке, ибо у него было точно такое же произношение, мягкое и шелестящее, похожее на щебетание ребенка.

Я шел с нею рядом к стене крепостной,
Кто в мире был счастлив, как мы под луной?
И губы слились, и с душою душа,
И знали мы оба, что жизнь хороша...

Ничке приглушил радио, снова сел в кресло и закрыл обеими руками лицо.

На следующий день, в субботу, накануне приезда дочери с мужем и детьми, господин Ничке был как-то совершенно равнодушен к чарам своего сада. Он поспешно покинул свое владение, задержавшись у калитки лишь настолько, чтобы закрыть ее — как это он обычно делал, когда надолго уходил из дому, — на щеколду и на ключ. На самом деле это далось ему не так легко, он все время чувствовал, будто отрекается от удовольствия в пользу чего-то, что является не только удовольствием, но и долгом. Впрочем, Ничке очень любил свою дочь, а к внучатам, о существовании которых иногда и забывал на долгие недели, у него было совершенно особое чувство. При виде этих прелестных, столь беспомощных и несовершенных существ, он всякий раз чувствовал прилив огромной нежности. Ведь в этих существах была его плоть и кровь, они были его потомством, были им самим, его повторенным и возрожденным заново существованием. Разве нас не трогают чужие дети, которых мы видим где-нибудь в парке или автобусе, когда они играют, смеются и плачут? А ведь это дети, которых мы не знаем. Что же удивительного, что Ничке переживал столь естественное волнение, глядя на своих внучат. «Быть может, в радости, которую нам приносят дети, есть и немного грусти, —

думал Ничке. — Грусти, идущей от сознания того, что само существование детей как бы подтверждает ту неотвратимую истину, что все люди смертны?»

Ничке покидал сад с тайной надеждой, что, после того как вновь насладится обществом дочери и внучат и они должны будут уехать, он снова вернется в свой сад, который за эти два дня станет, быть может, еще прекраснее, еще пышнее. Он отдавал себе отчет в том, что механизм природы работает без остановки и он, Ничке, может только в какой-то мере управлять им — ускоряя его или притормаживая, — но ни он сам, ни кто другой не в силах остановить этот механизм.

Вот примерно о чем думал Ничке, направляясь в электричке в город. Эти мысли не покидали его даже тогда, когда с сумкой в руке он протискивался сквозь толпу покупателей, чтобы сделать в продовольственном магазине необходимые покупки. Впрочем, он довольно быстро освободился от наплыва чувств и от ненужного фантазирования, которые ему сейчас были не только не нужны, но даже вредны. Сейчас надо было заняться делом. Он вынул из кармана подготовленный за завтраком список покупок и, шагая вдоль прилавков, время от времени останавливался перед завернутыми в целлофан кусками ветчины, грудинки, колбасы, внимательно разглядывал их узорчатый, напоминавший мрамор срез, тщательно проверяя их качество и дату упаковки. Много времени он уделил вину и сырам. Сладостей он не покупал, уверенный, что об этом позаботится Хедди. Она всегда сама привозила торт и разные пирожные и очень не любила, когда дедушка угощал детей шоколадом или конфетами. Последний раз, когда Ничке был на пасху у дочери, Хедди устроила настоящий скандал, заявив, что он развращает детей, пичкая их шоколадом, который портит не только желудок, но и характер, а это хуже всего. Ему, может быть, это даже доставляет какое-то злорадное удовольствие, а она потом должна принять столько мучений, чтобы заставить ребенка проглотить хоть ложку манной каши. Хедди тогда очень рассердилась, вырвала у Эрики шоколадку, на всех накричала, и в глазах у нее загорелись гневные огоньки. Такой уж у Хедди характер; через минуту она успокоилась, просила у отца извинения за то, что вспылила, поцеловала его в щеку,

и снова воцарилось согласие. Оба рассмеялись, а когда Эрика, всхлипывая, вышла из комнаты, долго говорила о ней, и господин Ничке должен был признать, что воспитание детей, если хочешь, чтобы из них получились порядочные люди, дело нелегкое. Полностью разделяя мнение дочери относительно методов воспитания, Ничке тем не менее сделал сейчас то, что вовсе не соответствовало его педагогическим принципам: хихикая, он вложил в корзинку две молочные шоколадки с ореховой начинкой, которые так любила Эрика; орехи, нарисованные на красивой пестрой обертке шоколадок, были как настоящие, один даже слегка надколотый и сквозь окруженную толстой скорлупой трещину виднелось аппетитное зернышко. Ничке нащупал сквозь обертку шероховатую поверхность шоколадок и пообещал себе на этот раз быть более осмотрительным.

Он вернулся домой около двенадцати, так как именно на этот час пригласил прибрать квартиру знакомую вдову, некую госпожу Рауш. Это была не генеральная уборка — ее делали дня три назад, — а сейчас, как говорила опытная в таких делах госпожа Рауш, перед самым приездом гостей надо было сделать последний штрих, разумеется, если хочешь, чтобы квартира уже с порога дышала чистотой и порядком. Госпожа Рауш с голубым пластиковым ведерком, в котором было все необходимое: порошки, жидкости, паста, а также свернутый фартук, розовый с зелеными горошинами, — ожидала его уже у калитки. Она не лишена была чувства юмора и говорила, что во время последней войны погиб не только ее муж, но также и тот, за кого она должна была вторично выйти замуж, и поэтому она осталась вдовой. У нее были жилистые икры, довольно узкие бедра и какое-то неопределенное лицо — не некрасивое, но и не красивое, а на вид ей можно было дать пятьдесят один — пятьдесят два года. Она была немного болтлива, но Ничке прощал ей эту слабость, потому что работала она, как машина — быстро и точно, — и отличалась большой чистоплотностью. Окончив уборку, госпожа Рауш обычно довольно долго задерживалась в ванной.

— Ну и быстро вы ходите, я едва за вами успеваю! — сказала она, когда Ничке открыл калитку и,

не заботясь о госпоже Рауш, поспешно направился к дому.

Позже, когда Ничке раскладывал продукты в кладовой и холодильнике, а госпожа Рауш в войлочных туфлях натирала паркетный пол, одновременно сметая пыль с мебели, беседа стала несколько затруднительной. Но, натирая пол, госпожа Рауш все же неуклонно приближалась к кухне.

— Когда вы ожидаете гостей? — спросила она.

— Они уже выехали, — нехотя ответил господин Ничке.

— На машине? — Госпожа Рауш вытряхнула в открытое окно тряпку. Ничке обернулся и увидел ее слегка приподнятую ногу, а под распахнутым фартуком обтянутые тонкой серой юбкой ягодицы. У него появились какие-то мысли насчет госпожи Рауш, впрочем, не в первый раз, но госпожа Рауш знала всех в округе, и у нее был длинный язык. Она же, например, рассказывала ему, что судья Тренч в отсутствие жены вел себя не совсем так, как подобает пожилому мужчине, занимающему высокий пост, и что она, госпожа Рауш, была вынуждена обратить на это его внимание.

— Да, на машине. Они должны быть здесь около четырех.

— Прибудут вовремя. Погода сегодня отличная.

Госпожа Рауш отошла от окна, сложила тряпки и спрятала их на место, на самой нижней полке буфета, возле щеток, баночек с пастой и бутылочек с жидкостями для стирки и чистки. Когда она выпрямилась, лицо у нее было красное, черные волосы растрепались. Ничке как раз кончил резать длинным ножом охотничью колбасу и раскладывал ломтики на тарелочке. Оторвавшись на мгновение от работы, он заметил, что у госпожи Рауш розоватая шея и даже грудь; он сделал несколько необычных наблюдений относительно ее скромного, но довольно хорошо сохранившегося бюста: госпожа Рауш не носила лифчика, поэтому ее груди двигались под платьем совершенно свободно. Ничке кашлянул и сказал:

— Так, поставим все это в холодильник, и закусочка будет готова.

— Надо прикрыть салфеткой, а то ветчина заветрится. Сейчас я ее вам подам.

Госпожа Рауш вернулась с салфеткой в руке, подаяла ее господину Ничке и заметила:

— Разве это мужская работа? Только жена умеет все это делать как полагается.

— Стоит ли жениться на старости лет!

— Что это вы говорите, какая там старость? Интересно, сколько вам лет, если не секрет?

— Шесть десятков уже стукнуло.

— Шестьдесят? Да вы шутите! Нет, вы еще мужчина, что называется, в соку! — воскликнула госпожа Рауш. — Помнится, моему отцу было уже семьдесят пять, а знаете, что он делал? Когда надо было развернуть во дворе подводу, он брал ее за задние колеса и перетаскивал — раз, другой, третий, и готово. Мужчина не стареет, господин Ничке! — закончила госпожа Рауш с подъемом, окинув взглядом фигуру мужчины в белой рубашке с засученными рукавами, в черных кожаных подтяжках, поддерживающих брюки на отчетливо выпирающем животе.

— Не стареет, но умирает, — сказал Ничке, улыбаясь. Он подошел к раковине, пустил горячую воду и принялся мыть руки.

— Ой, пожалуйста, тут не брызгайте! Очень прошу! Идите умываться в ванную. Ванную и уборную я буду убирать напоследок, можете там полоскаться сколько влезет.

Ничке послушно пошел в ванную, куда еще долго доносились рассуждения госпожи Рауш относительно возраста мужчин. Вернувшись в комнату, он высказал предположение, что ввиду отличной погоды гости, пожалуй, могут приехать и раньше. Госпожа Рауш стала собираться, она пожелала ему хорошо провести время и, уже уходя, добавила, что гостей, особенно близкую родню, очень приятно принимать, но, к сожалению, они всегда оставляют в квартире чертовский беспорядок. Ничке попросил ее прийти в понедельник и напомнил, чтобы она как следует захлопнула за собой калитку.

Он смотрел, как госпожа Рауш прошла с ведерком в руке по выложенной каменными плитами дорожке, открыла калитку, закрыла ее за собой и проверила, хорошо ли она захлопнулась. Потом взглянул, на часы — было половина третьего. Чтобы поскорее прошло

время, которое, когда чего-то ждешь, всегда медленно тянется, он походил по квартире, переставляя стулья и отдельные предметы, потом сел в спальню комнате в кресло и стал ждать. Было уже около трех часов. Ничке уселся таким образом, чтобы в окно можно было видеть калитку, но через некоторое время пришел к выводу, что смотреть в окно очень скучно, время тянется особенно долго, и переменял положение. Он взял книжку и расположился в глубине столовой возле стола, прямо перед окном, выходящим в сторону владений соседа. Некоторое время он смотрел на участок соседа, но господина Копфа нигде не было видно. Дом казался пустым и наглухо закрытым. Он подумал, что Копф, наверно, уехал к семье, и попытался восстановить в памяти прерванную вчера нить повествования. Через некоторое время ему это удалось, и вскоре он уже всецело погрузился в чтение, избавившись наконец от того неприятного чувства, которое испытываешь, когда время как будто останавливается. Вдруг послышалось несколько хаотичных и настойчивых звонков. Ничке вскочил и через выходящее на улицу окно увидел голубой «фольксваген», а возле него всех своих родственников: Хедди с малышкой на руках, Эрику — это звонила именно она — и мужа Хедди, Рихарда, который тащил какие-то коробки, корзины, сумки. Возле них находилось еще что-то, вносящее дополнительную сумятицу, только потом Ничке разобрал, что под ногами у гостей путается маленький черный щенок.

Из-за этого черного, лопоухого щенка приветствия, поцелуи и первые поздравления были, пожалуй, не такими, как следовало бы, так как его нужно было звать, отгонять, ласкать, восхищаться и ругать. Ничке радовался ему так же, как и гостям, которым принадлежал щенок, он очень любил животных, особенно молодых, хотя ему редко случалось иметь с ними дело. Но, к сожалению, щенок вскоре явился причиной маленькой семейной ссоры. Когда все вошли в столовую и Хедди срочно принялась пеленать, кормить и укладывать маленькую Хенни, чтобы она в дальнейшем уже не мешала, Эрика вдруг сказала упавшим голосом:

— Мама, смотри, что Блоха делает...

Щенок присел посередине комнаты, и на блестящем паркете образовалась огромная лужа, после чего, очень довольный тем, что ему стало легче, он стал носиться как угорелый, лаять и прыгать вокруг стола. Ничке увидел, что лицо его дочери внезапно изменилось, подкрашенные губы сузились и искривились, глаза заблестели. Хедди ринулась ловить щенка и, наконец, поймав его, стала тыкать мордочкой в лужу и бить. Щенок завизжал, но Хедди, крепко держа его за шиворот, продолжала осыпать шлепками мягкое бесформенное тельце. Эрика громко заплакала, покинутая на кушетке маленькая Хенни тоже заревела. Не выдержав, Ничке воскликнул:

— Перестань, Хедди, это же глупое создание!

— Оставь меня в покое, папа! Я знаю, что делаю.

Хедди наградила щенка еще одним шлепком, приговаривая:

— Этого нельзя делать, понимаешь, понимаешь? — Потом она вынесла скулящего щенка из комнаты и выкинула за дверь. Было слышно, как она кричит: — Здесь надо делать, понимаешь? Здесь собака делает, а не там, в комнате!

Эрика разревелась не на шутку; она сидела в кресле, головой упираясь в край стола, и громко рыдала. На столе громоздились картонные коробки, среди них была и круглая, в которой Хедди всегда привозила торт.

— Я пойду к машине, — сказал Рихард. — Может, и вы, папа, хотите посмотреть нашу новую машину?

— Пусть лучше папа возьмет Эрику и погуляет с ней в саду. А ты, Рихард, оставайся, ты мне здесь покадобисься. Эрика, прежде чем идти в сад, марш в ванную!

Девочка послушно встала и, заслоня локтем заплаканное лицо, отправилась в ванную. Там она долго и старательно мыла лицо и руки. А господин Ничке вышел на кухню, вынул запрятанную плитку шоколада и украдкой положил ее в карман. Эрика вернулась наконец из ванной, подала дедушке руку, и они вместе направились к двери, но тут их остановил голос матери:

— Эрика!

— Да, мамочка!

— Ты причесалась?

— Нет.

— Обязательно причепись!

Эрика отпустила дедушкину руку, вернулась в ванную и вскоре возвратилась с гладко причесанными волосами. У нее были красивые светлые волосы с золотистым отливом. Для своих семи лет это была очень крупная девочка. Она еще раз подала дедушке руку, которая показалась ему совсем маленькой, и они вышли во двор. По пути к ним присоединилась Блоха. Она уже забыла о полученной трепке, радовалась обществу людей и была счастлива, что снова вернула их расположение. Блоха бежала впереди и время от времени останавливалась, оглядываясь и словно стараясь предупредить желания людей; однако она была еще очень молода и то и дело забывала о своих обязанностях. Вдруг она почуяла, что где-то неподалеку зарылся в землю зверек, преследуемый всем ее собачьим родом. Немного отстав, она погрузила нос в землю, принюхивалась и фыркала, рыла лапами и вновь пахала носом землю, забыв обо всем на свете. Эрика пошевелила рукой в ладони дедушки.

— Дедушка, смотри, что Блоха делает!

Они оба вернулись и остановились возле щенка, который так забылся в своем охотничьем азарте, что не обратил на них никакого внимания.

— Что она делает, дедушка?

— Наверно, почуяла крота.

— А что такое крот?

— Это такое животное, оно живет под землей. Вам не рассказывали о кротах?

— Нет, только о ласточках.

Беседуя таким образом, дедушка и внучка прогуливались по усыпанной гравием и тщательно расчищенной вчера дорожке. Солнце уже спряталось за мелкими неподвижными облаками, похожими на стадо барашков, но до конца дня было еще далеко. Щенок бегал взад и вперед, а потом остановился и, задрав голову, принялся лаять на вспорхнувшую у него из-под носа птицу.

— Сейчас дедушка покажет тебе фасоль, — сказал господин Ничке. Ему действительно хотелось похвалиться своей отличной фасолью, и вместе с тем он

надеялся, что, может быть, при этом господин Кофф увидит, какая у него красивая и большая внучка.

— Фасоль? Которую едят?

— Да, съедобную. Вот здесь растет фасоль. Некоторые растеньица уже цветут, видишь? Потом из цветков вырастут стручки, а осенью дедушка соберет их, высушит, и в каждом стручке будет много белых зернышек.

— Как много фасоли! — удивилась Эрика, но ее реакция была слабее, нежели предполагал господин Ничке. — А что дедушка будет делать с этой фасолью?

— Ее можно будет есть.

— Мапочка покупает фасоль в магазине господина Вислитца.

— Вот видишь. А сейчас мама сможет столько взять, сколько ей нужно.

— Это хорошо. Я очень люблю фасоль. А остальную, что останется, можно будет продать и на эти деньги что-нибудь купить. Например, кемпинговый прицеп к машине, — фантазировала Эрика, сжимая дедушкину руку.

Ничке рассмеялся.

— Ты, говорят, не очень в ладах с арифметикой...

— Нет, отчего ж...

— Мама писала, что ты получила двойку.

— Ох, это потому, что у нас очень строгая учительница.

— Что, задача была очень трудная?

— А, это об одном... — сказала Эрика, высвободив руку, и поправила падавший ей на щеку локон, — об одном мальчике, который принес в класс яблоки из собственного сада и разделил их среди детей... Но я точно не помню, может, это была другая задача.

Они проходили мимо покрытых редкими маленькими листочками молодых деревьев.

— Ты видишь молодые деревья?

— Да.

— Они вырастут большими, и на них будет много плодов — сливы, яблоки, груши.

— Это хорошо.

— А вот здесь, смотри, возле дорожки, с обеих сторон, будут расти прекрасные цветы, большие и яркие, как в сказке. Они называются георгины.

— Когда они будут цвести?

— Когда ты приедешь на каникулы, они будут уже большие, а когда будешь уезжать, некоторые уже расцветут.

— Большие?

— Большие, красивые. А кусты будут такие высокие, что ты сможешь в них спрятаться.

— Сейчас здесь еще ничего нет...

— А дедушка их посадит только на будущей неделе.

Они замолкли, вокруг дома с его самой некрасивой стороны, где они шли, уже кое-где росли фиалки и ландыши, и Ничке хотелось, чтобы Эрика сама разыскала цветочки и собрала букет. Вдруг послышался шум открываемого окна, раздался голос Хедди:

— Эрика, ты хорошо ведешь себя?

— Да, мамочка!

— Где у тебя вино, папа?

— В кладовой. Сейчас я покажу тебе.

— Не беспокойся, я сама справлюсь. Оставайтесь в саду, пока я вас не позову. Минут через двадцать. Поняли?

— Так точно, поняли! — ответил Ничке, выпрямившись по команде смирно, потом они с Эрикой переглянулись и, тихо засмеявшись, отправились дальше. — Ты любишь цветы? — спросил Ничке, когда они приблизились к месту, где росли фиалки и ландыши.

— Да, очень люблю.

— А какие цветы любишь больше всего?

— Разные. Например, фиалки. Папа купил вчера маме букетик фиалок. Нет, не вчера, а позавчера.

— А ландыши любишь? — спросил Ничке, предчувствуя, что его исполненное радости сердце ждет еще большая радость.

— Тоже очень люблю.

— Тогда можешь собрать фиалки и ландыши, сделать букетик и подарить его маме.

Господин Ничке произнес это с гордостью, которая заставляет человека выпрямить спину, от которой напрягаются мускулы и даже крепнет голос, становясь более солидным и глубоким.

— Где фиалки и ландыши?

— Вон там, возле забора!

Эрика отпустила дедушкину руку, побежала к елочкам, наклонилась, и Ничке услышал ее радостный возглас:

— Дедушка, сколько здесь цветов!

— Собирай, собирай, сделай два красивых букета, — сказал Ничке. Он вынул сигару, обрезал конец и закурил.

Господин Ничке шел медленно, останавливался, иногда наклонялся, чтобы вырвать неизвестно откуда взявшийся сорняк, который на этом месте настойчиво возрождался из каких-то дремавших под землей неисчерпаемых запасов зла, восхищался новыми красивыми листьями благородных растений и радовался их победе над злом — победе, для которой он, Ничке, так много потрудился. Он остановился на минутку возле живой изгороди, отделявшей его владения от сада господина Копфа, и заглянул к соседу, но того нигде не было видно. Потом посмотрел на Блоху, гонявшуюся за белой бабочкой, которая не обращала на щенка ни малейшего внимания. Обманывая его и искушая, она взлетала, снижалась, словно бы теряя силы, и снова взлетала. Блоха лаяла и скулила от злости, а Ничке улыбался. Он ясно представлял себе, как собачонка жаждет добычи и как ей хочется схватить ее зубами! Но вот бабочка поднялась высоко-высоко и исчезла за деревьями. Так как все это происходило на месте, где должны были быть посажены кусты орешника, Ничке вспомнил о шоколадке с орехами у себя в кармане. Он подошел к Эрике, постоял минутку, глядя на маленькие ручки, срывавшие среди густой травы фиолетовые цветочки, и тихо позвал:

— Эрика...

— Что, дедушка?

— Ты любишь шоколадки с орехами?

— Да, очень люблю, — ответила Эрика, подняв голову и наградив Ничке удивленным, словно бы недоверчивым взглядом.

— Только не говори маме, а то она рассердится...

— Не скажу.

— Спрячемся здесь, за беседкой. Ладно?

— Ладно.

Вот так Ничке совершил это маленькое преступление и сделал Эрику своей сообщницей. Они стояли,

спрятавшись за беседкой, опираясь спиной о покрашенные зеленой краской доски. Ничке вынул из кармана шоколадку и медленно развернул обертку, на которой были так хорошо изображены лесные орехи. Он отломил кусочек и угостил девочку. Эрика набила рот и потянулась за следующей долькой. Ничке тоже взял кусочек.

— Правда, хорошая шоколадка? — спросил он.

— Отличная!

Они съели еще по кусочку, потом Ничке сказал:

— Дедушка сейчас вытрет тебе платочком щечку, чтобы не было видно.

Они снова берутся за руки и идут дальше как ни в чем не бывало.

— Тебе нравится мой сад, Эрика?

— Очень, — говорит Эрика и, проглотив последнюю дольку шоколадки, продолжает с большим оживлением: — Здесь столько цветов, и деревьев, и разных растений, и все время видишь что-то новое, и Блохе есть где побегать, у нас дома надо все время выходить с ней на прогулку.

Господин Ничке чувствует, как маленькая ручка, словно живой зверек, червячок или жучок, трепыхается в его ладони. Он слышит голос Эрики:

— Мапочка говорила, что когда дедушка умрет, то все-все достанется нам — и дом, и сад, и деревья... Это правда?

Ничке останавливается. Не выпуская руки Эрики, он бессмысленно смотрит перед собой. Вот за живой изгородью соседский сад; в глубине его сквозь молодую листву виднеется затененный деревьями дом, точнее, стена дома с деревянной, покрашенной в коричневый цвет решеткой, на фоне которой торчат похожие на разветвления канделябра распяленные ветки карликовых яблонь. Еще глубже, уже менее отчетливо — хотя у Ничке хорошее зрение, — сквозь густую зелень мелькают серые стены и темно-красная черепичная крыша виллы судьи Тренча. Он говорит:

— Конечно, Эрика. Каждый человек должен рано или поздно умереть. Я тоже умру и в могилу все это с собой не заберу.

Ничке снова чувствует легкое движение руки Эрики в своей ладони:

— А когда дедушка умрет?

— Не знаю, деточка. Наверно через несколько лет. Во всяком случае, скоро, я уже довольно старый.

Разговор этот не принес Ничке особого огорчения. «Это моя родная дочь, мое собственное дитя так рассуждает обо мне в своей семье», — с полным хладнокровием подумал он. И вдруг почувствовал, как что-то сдавило ему сердце, а потом горло, как глаза неожиданно наполнились жгучей влагой и по щеке из правого глаза медленно покатились слеза. Ничке услышал отчетливо доносившийся грохот колес электропоезда; вагоны промчались один за другим, и снова наступила тишина. Однако ясная, красочная картина мира, на которую минуту назад он так спокойно взирал, вдруг совершенно потускнела, и господин Ничке был вынужден достать носовой платок.

— Почему мы здесь стоим? — спросила Эрика.

— Дедушке попало что-то в глаз, — ответил он, вытирая платком щеку.

— Наверно, сажа из трубы. Когда мы с папой идем на прогулку через мост над железной дорогой, мне тоже очень часто попадает соринка в глаз, и папа тогда вынимает ее платочком. Позвать папу?

— Не нужно, я уже вынул, — сказал Ничке и снова взял Эрику за руку.

Как раз в этот момент их окликнули:

— Дедушка, Эрика, мы ждем вас!

На крыльце, опершись о железные перила, стояли рядом Хедди и Рихард. Рихард был в темном костюме. Хедди в фиолетовом, с золотыми нитями платье. Хедди говорила что-то мужу, снимая и складывая при этом яркий, разноцветный фартук. Ничке с досадой обнаружил, что его правый глаз по-прежнему слезится и, что хуже всего, он никак не может с этим справиться.

— Дедушке попала в глаз сажа, — доложила Эрика.

— Уже все в порядке, — откликнулся Ничке, еще раз вытер глаз и спрятал платочек в карман.

— Блоха, Блоха, домой! — позвала Эрика.

— Не зови ее, пусть остается в саду, — сказала Хедди.

В столовой, как обычно после полудня, царил полумрак. На столе, покрытом белой скатертью, были расставлены тарелки, рюмки, стаканы и бутылки. Хедди поставила на стол все, что купил в городе Ничке, и все, что сама привезла: жареных цыплят, салат с майонезом, какую-то рыбу, сыр, фрукты. И, как всегда, посередине стола красовался огромный ореховый торт с горящими свечками. Ничке не нужно было их считать, он знал, что их должно быть шестьдесят две; Хедди не могла забыть, сколько ему лет. Ничке подумал, что, пока свечи горят, не надо зажигать электрического света. Их маленькие желтоватые, мигающие и колеблющиеся при малейшем движении огоньки дают вместе довольно много света. Они отражаются в окнах, в зеркале и придают фарфору и стеклу торжественный блеск, а их запах напоминает детство.

— Как ты все красиво устроила, Хедди, — сказал Ничке.

— Эрика, иди вымой руки. Папочка, прошу к столу. Рихард, налей всем по рюмочке!

Госпожа Рауш хлопотала в квартире и, с подчеркнутым усердием наводя чистоту, толковала на различные темы, но главным образом о том, какой беспорядок бывает в доме после посещения гостей. Ничке уже побывал в саду, сейчас он завтракал в своей комнате и размышлял о разных вещах. Он все еще находился под впечатлением утренней прогулки в саду; день был погожий, теплый, и воздух казался удивительно мягким и нежным, в нем как бы чувствовалась уже близость летней поры — того полного расцвета, к которому неизменно стремится вся природа. Ничке проснулся сегодня в плохом настроении. Позавчера, пожалуй, он выпил многовато водки и вина. «Черт возьми, какие у этих молодых крепкие головы и здоровые желудки! Рихард выпил столько же, сколько я, а на следующий день сел за руль автомобиля». Ничке содрогнулся при одной мысли об этом. А у него, когда он сегодня утром проснулся, печень, сердце и желудок, не говоря уже о голове, весьма ощутимо дали о себе знать. Но какой воздух окутал его со всех сторон, как только утром он вышел в сад! У него было

такое чувство, будто он вошел в животворный, целебный источник.

— В вашем возрасте и на вашем месте я бы себя больше берегла, — сказала госпожа Рауш, намекая на окурки и пустые винные бутылки.

— Что значит — в моем возрасте, госпожа Рауш? Совсем недавно, всего-навсего позавчера, вы называли меня молодым мужчиной! — возразил Ничке.

— В чем-то вы еще молоды, а в чем-то уже нет, — загадочно ответила госпожа Рауш и прошмыгнула за его спиной к открытым дверям балкона, чтобы вытряхнуть тряпки. Ничке почувствовал при этом запах жидкости для мойки окон, который ему был приятен.

Вернувшись, госпожа Рауш сказала:

— Все хорошо и прекрасно, пока человек здоров. А, не дай бог, заболит — сразу сказывается и возраст и одиночество...

Ничке промолчал. Если бы госпожа Рауш только знала, о чем он сейчас подумал. А Ничке как раз думал о том, что госпожа Рауш довольно симпатичная, чистоплотная, трудолюбивая женщина и что он вполне мог бы на ней жениться. Назло Хедди и Рихарду, которые только и мечтают о том, чтобы он поскорее умер. А может, не обязательно сразу жениться, можно, не давая никаких обещаний, сначала просто сблизиться, но так, чтобы госпожа Рауш чувствовала, что их связывает нечто большее, чем еженедельное вознаграждение за уборку. Для начала выпить вместе на кухне по рюмочке оставшейся настойки, потом какая-нибудь шуточка, одна, другая, и — кто знает, может, она как раз и ждет этого? Ведь брак с ней... Но тут Ничке вдруг подумал, что может иметь сколько угодно женщин и помоложе госпожи Рауш, стоит только пальцем поманить. «Вот бы Хедди вытаращила глаза, когда б узнала, что я женюсь! А что, разве я не имею на это права? Глупости! Кто смеет запретить мне делать то, что под конец жизни мне на пользу? Вот бы у них вытянулись физиономии, если б они узнали, что после смерти «любимого дедушки», дом, сад и все остальное, о чем они кое-что знают — хотя и не все, — не достанется им целиком...» Ничке кончил завтракать и был в отличном настроении.

Госпожа Рауш как раз убирала спальню, и оттуда доносился ее голос:

— За примером недалеко ходить. Ваш сосед еще три дня назад был здоров, а теперь лежит в постели.

— Какой сосед?

— Ну, господин Копф.

— Что вы говорите! Откуда вы знаете?

— Мне сказала госпожа Циммер, она убирает у господина Копфа, как я у вас.

— Возможно. Вот уже несколько дней его не видно в саду.

— Не возможно, а наверняка. Даже врач был, не помню его фамилии, пожилой такой, не то знакомый, не то товарищ господина Копфа еще с войны.

— А что случилось с господином Копфом?

— Кажется, аппендицит.

— Если аппендицит, его взяли бы в больницу.

— Не знаю. Только это случилось неожиданно, как всякая беда.

Госпожа Рауш продолжала свои рассуждения о человеческих судьбах, но Ничке ее не слушал. В этот момент, неизвестно почему, он подумал о совершенно ином — о человеке в тирольской куртке с костяными пуговицами, которого в последнее время довольно часто видел прогуливающимся взад и вперед по улице. Человек этот вел себя «подозрительно», как говорят, когда имеют в виду преступников или тех, кто за ними следит. Таким людям, хотя они и стараются быть похожими на обычных прохожих, это редко удается. Обычно они лишь притворяются, будто ведут себя как простые смертные, и от этого их движения, поступки, жесты становятся какими-то искусственными или даже фальшивыми. Ничке окончил завтрак, закурил папиросу и, не подходя к окну, из глубины столовой внимательно осмотрел улицу. Подозрительного субъекта сегодня не было, однако через некоторое время Ничке увидел другого типа, который тоже вел себя как-то странно. Ничке решил поразвлечься. Вынув из шкафа бинокль, он направил его на человека, стоявшего в этот момент спиной к нему на другой стороне улицы. Человек обернулся, и Ничке увидел, что это молодой мужчина, самое большее лет тридцати, с непокрытой головой и прической ежиком. Мужчина мед-

ленно вынул из кармана пачку сигарет, закурил, отогнал рукой дым, потом тупо уставился на сигарету, страхнул пыль с рукава и снова повернулся к Ничке спиной. Он стоял, опираясь руками о низкую ограду, отделявшую от улицы сад и старую запущенную виллу, в которой жил владелец антикварного магазина некий фон Демерацки с женой. На калитке висела дощечка с надписью: «Сдается комната, справки от 7 до 9 вечера, телефон...» — и какой-то номер. Ничке не помнил какой. Всякий раз, направляясь в город, он проходил мимо этого участка и теперь никак не представлял себе, что там могло быть любопытного. Спрятав бинокль в шкафу, среди шляп и шарфов, он почувствовал известное сострадание к этому человеку, которому приходится все время выдавать себя за кого-то другого.

В этот день Ничке поработал в саду несколько часов. Он полтел, копал, окучивал, а потом умылся, пообедал дома остатками того, что осталось после именин, и, положив в сетку бутылку вина и кусок торта, отправился навестить больного соседа. Калитка была открыта, но у входной двери Ничке пришлось ждать довольно долго. Наконец он услышал шарканье шлепанцев и голос Копфа:

— Кто там?

— Это я, ваш сосед, Ничке.

— А, очень приятно. Заходите, пожалуйста...

Копф был в пижаме и халате, но не выглядел больным.

— Пожалуйста, проходите. Прошу меня извинить, но я снова лягу в постель, прошу вас, не обращайтесь на это внимания. Садитесь, пожалуйста. Поговорим, — болтал Копф, снимая халат. Он лег в постель и прикрылся одеялом.

— О, я вижу, у вас тут целый арсенал! — воскликнул Ничке, осматриваясь. На одной из стен, напротив кровати, висели винтовки, охотничьи ружья, сабли и пистолеты. Ничке не особенно хорошо в них разбирался, но ему показалось, что это еще вполне пригодное к употреблению оружие.

— Скорее музей, господин Ничке, просто небольшой музей, — улыбнулся Копф, блеснув при этом своими великолепными здоровыми зубами.

— Такой винтовки я никогда не видел, — заметил Ничке, снимая со стены первый попавшийся экземпляр. — Как игрушечная. Малого калибра.

— Это японская винтовка, так называемая арисака, калибр шесть и пять десятых образца тысяча девятьсот десятого года.

— Они применяли их во время войны?

— В первую мировую войну.

— Совершеннейшая игрушка.

— Выглядит безобидно, а своя сила у нее есть. Очень хорошее оружие, если можно назвать хорошим то, что несет смерть... — сказал Копф, снова сверкнув зубами.

— А это как будто ковбойская?

— Вы угадали. Это винчестер. В первую мировую войну их завезли сюда американцы.

— Заряжается снизу?

— Вот именно, и потому очень непрактичен и в окопе и в укрытии. Надо всякий раз поворачивать его боком. Из винчестера хорошо стрелять стоя или из седла. Впрочем, его быстро сняли с вооружения и заменили спрингфилдами.

— О, это я узнаю — это наш почтенный маузер...

— Семейное сходство. Это дед того, которого вы знаете. Образец тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года...

— В общем, в случае чего вы сможете выдержать и месячную осаду.

— Да, только где взять боеприпасы? Ведь это уже устаревшее оружие.

— Да, — повторил господин Ничке. — Но что же вы, дорогой сосед, решили болеть в такую погоду? Чем лежать в постели, лучше пойти в сад.

— Конечно, лучше, — сказал Копф, конфузливо улыбаясь.

— Ну, так выпьем по рюмке — и айда с кровати! — решительно заявил Ничке, вынул из сетки вино и поставил бутылку на стол.

— О, большое вам спасибо! Только к чему, господин Ничке, такие расходы?! Я ведь не пью!

— Не пьете, не курите... Какие же радости остаются у вас в жизни?

— Ну, мои дела не так уж плохи. Кое-какие удовольствия все же еще остаются. У меня очень способные внуки. Старший учится в химическом институте, младший кончает гимназию, у него большие способности к живописи. Он даже стихи пишет. Как-нибудь покажу... — сказал Копф.

Ничке пододвинул стул к постели больного.

— Ну, ладно, шутки шутками, но что все-таки с вами, господин Копф? Что-нибудь серьезное?

— У меня, знаете, желудок пошаливает.

— Врач был? — спросил Ничке, взглянув на лекарства в цветной упаковке, какой-то пузырек с каплями и зеленую жидкость в стакане.

— Был, но медицина плохо разбирается в болезнях. Дал мне что-то болеутоляющее, но разве это лечение? Я, господин Ничке, уже давно сам лечусь травами.

— Травами? — удивился Ничке.

— Да, травами.

— Я не особенно верю в такое лечение, — сказал Ничке, разглядывая Копфа.

Казалось, будто под его загорелой или смуглой от природы кожей был еще слой кожи землистого цвета. Копф, если к нему присмотреться поближе, действительно выглядел больным и осунувшимся. Слегка приподнявшись и опираясь на локоть, он с оживлением заговорил:

— Ведь человек — продукт нашей земли, не так ли?

— Это, конечно, верно.

— И всякое добро и зло, каким слепой рок наделяет человека, тоже рождено на нашей планете?

— Пожалуй...

— Значит — и болезни? Не с луны же они свалились?

— Безусловно.

— Ну, а раз на этой земле есть болезни — значит, должно быть и лекарство от них.

— А может, не обязательно?

— Нет, обязательно!

— Я не так уверен в этом, как вы.

— Значит, вы считаете, что на этом свете только зло имеет все права, а добро должно ему подчиняться?

— Этого я бы не сказал. Но что вы считаете добром?

— Добро — это то, что для человека хорошо и полезно.

— То, что для одного человека хорошо, для другого может быть плохо, — сказал Ничке, бросив выразительный взгляд на коллекцию оружия на стене.

— Я понимаю, что вы имеете в виду. Но дело не в том. Согласитесь, однако, что болезни — это для каждого человека плохо.

— Бесспорно.

— А раз так, то от каждой болезни где-нибудь на земле должно быть лекарство.

— Вы оптимист!

— Так же, как от огня — вода, от кислоты — щелочь, а от яда — противоядие.

— Ах, если бы знать, что человеку помогает и что вредит! Ведь существует столько болезней, против которых медицина совершенно бессильна.

— Природа, господин Ничке, природа — вот она, наша неиссякаемая аптека. Если бы не травы, я со своим желудком уже давно был бы на том свете. Но я еще в тысяча девятьсот шестнадцатом году познакомился на фронте с одним эльзасцем, который научил меня разбираться в травах. Если бы вы только знали, что это был за человек! К сожалению, он в тысяча девятьсот семнадцатом году погиб под Аррасом. Как сейчас помню, это случилось в чудесный апрельский день. После него достался мне блокнот с рецептами лекарств из трав. Я его берегу, как Евангелие. Как-нибудь покажу вам.

— А я, господин Копф, предпочитаю, чтобы в случае воспаления легких меня лечили пенициллином, а не лекарственными травами...

— Ага, вот вы и попались! А что такое пенициллин?

— Кто его знает? Кажется, какой-то грибок.

— А гриб, господин Ничке, растение.

— Вы правы, — согласился Ничке; в ботанике он был не очень силен. — Ну, тогда давайте закурим эту травку! — сказал он, доставая папиросы.

— Благодарю вас, я не буду.

— А вам не помешает, если я закурю?

— Курите сколько угодно, раз уж вам своего здоровья не жаль. Эта травка, к сожалению, ядовитая. Бывают и такие. Посмотрите, где-то там должна быть пепельница!

Ничке отправился на розыски пепельницы в указанном Копфом направлении, и, поскольку ею редко пользовались в этом доме, он обнаружил ее в самом неожиданном месте — где-то за занавеской, на подоконнике. Впрочем, это была не совсем обычная пепельница. Она была сделана из рассеченной вдоль артиллерийской гильзы и украшена венчиком из винтовочных и пистолетных пуль различного калибра. Ничке лишь по окурку сигары догадался о назначении этого странного предмета.

— Что за удивительная пепельница, — сказал он, снова усаживаясь на стуле у постели больного.

— Это я от скуки сделал в тысяча девятьсот пятнадцатом году, под Френом.

— Неужели под Френом было так скучно?

— Когда там бывало затишье, это было настоящее затишье, иногда оно длилось целую неделю. Но когда начинались бои, это уже был сущий ад.

И это все, что он мог сказать о битвах во Франции, о битвах, вписавших славные страницы в историю немецкого оружия? Ничке знал о них по литературе и по рассказам. Ад — да, такое определение повторялось в каждой книге и в каждом воспоминании. Но, судя по тому, что Ничке знал о тех временах, это было, пожалуй, похуже ада. Люди утопали по пояс в грязи, перемешанной с кровью и испражнениями, и зарывались, как черви, в исковерканную артиллерийскими снарядами землю, в которой человеческие кости смешались с человеческим мясом, мозгами, внутренностями. Но у самого Ничке было совсем другое представление о битвах во Франции; они казались ему чем-то необыкновенно возвышенным и вместе с тем отвратительным, так и хотелось сказать, нужник героев! А этот от скуки мастерил пепельницы! Интересно все же, что он за человек, что у него за душой?

— А может, вы все-таки не откажетесь от рюмки вина и кусочка торта? — спросил Ничке.

— Нет, торт ни в коем случае. А какое, простите, вино?

— Красное, хорошее.

— Ну что ж, могу только пригубить за компанию, — сказал Копф. Он спустил ноги с кровати и попытался найти домашние туфли.

Ничке взял его за руку и заставил снова лечь. Он склонился над ним и тихо, заговорщицким тоном произнес:

— В каждом порядочном немецком доме есть кухня, верно?

— Есть...

— А в каждой кухне должен быть буфет.

— Есть и буфет, господин Ничке...

— А в буфете тарелки, тарелочки, рюмки и так далее, словом, все, что полагается...

— Вы очень любезны, господин Ничке, — прошептал Копф, ослабившись, однако выражение лица у него было несколько озабоченное.

— Положитесь на меня и лежите спокойно, хорошо?

Ничке направился на кухню и в старом дубовом буфете со множеством всевозможных украшений, ящиков и отделений легко нашел все, что надо. Кухня была оборудована богато, хотя и старомодно — кто же теперь пользуется ручными кофейными мельницами, ступками, метелочками! Все содержалось в чистоте, блестело и сверкало, из чего можно было заключить, что у госпожи Циммер такая же страсть к чистоте и порядку, как у госпожи Рауш. Одно лишь здесь было неприятно — запах. Казалось, будто где-то гниет картошка и кислая капуста. Вернувшись в комнату, Ничке откупорил бутылку и наполнил рюмки.

— Ну, за ваше здоровье, дорогой сосед! За ваше скорейшее выздоровление. Ведь время идет, а работа в саду стоит!

— За ваше здоровье, дорогой господин Ничке.

Копф едва пригубил рюмку, Ничке выпил до дна.

— А где вы обедаете? Я не заметил, чтобы вы ходили в ресторан.

— Я не питаюсь в ресторанах. С моей диетой это было бы сложно. К тому же, люблю точно знать, что я ем.

— Вы сами себе готовите?

— Да.

— Восхищаюсь вами.

— В этом нет ничего особенного. Только немного практики.

— А что вы готовите?

— Главным образом овощи. Иногда сделаю яичницу-глазунью, к ней немного моркови, брюссельской капусты, кусочек цветной капусты. Ем то, что у меня под рукой, вернее, что принесет мне госпожа Циммер — она убирает и стирает у меня, очень симпатичная женщина. А вчера, например, у меня был шпинат из собственного огорода.

— У вас уже есть шпинат? — Ничке вовремя удержался, чтобы не выразить удивления, и добавил: — Да, действительно, уже пора.

— О, шпинат у меня уже целый месяц. Я посадил его ранней весной в таком месте, где земля была теплой и удобренной. А поливал отстоявшейся водой.

— Что у вас еще есть хорошего в огороде?

— Салат.

— Так я к вам приду на салат...

— Пожалуйста.

— Я шучу. У меня тоже есть салат, только в нынешнем году он что-то не удался. — Ничке нарочно сказал «в нынешнем году». Ему было неприятно признаться, что только теперь, в шестьдесят лет, он впервые начал выращивать салат.

— Салат, должен вам сказать, очень любит влагу. Вода, вода и еще раз вода. Ну, и легкая почва. Легкая, но не бедная. У вас, кажется, салат уже зацвел?

— Один зацвел, другой не очень вкусный, горчит.

— Наверное, в почве слишком много азота и фосфора?

— Да, я, пожалуй, перестарался. Ну, а что у вас еще есть? — спросил Ничке и подумал про себя: «Этот дьявол понимает толк и в оружии, и в огородничестве, и в лекарственных травах. Интересно, в чем он плохо разбирается?..»

— Да так, ничего особенного. Редиска, лучок. Через несколько дней должна поспеть кольраби. А может, уже есть, я давно не заглядывал в огород.

— Вот редиска у меня хорошо уродилась.

— А у меня не очень. Компосту было маловато.

— Со временем все будет. Главное, чтобы было здоровье. У вас здесь очень приятно. Можно заглянуть в другую комнату?

— Пожалуйста, только там ужасный беспорядок.

— Я хочу выглянуть на улицу, не прибыла ли почтовая машина. Жду посылку от овощеводческой фирмы.

Ничке солгал, ибо фирма уже сообщила, что посылка с клубнями георгин прибудет только на будущей неделе. Просто ему хотелось осмотреть всю квартиру Копфа, а также — что уже вошло у него в привычку — выглянуть на улицу. Впрочем, на этот раз у него был конкретный повод. Соседняя комната, нечто вроде мастерской, была действительно заставлена всякой всячиной и довольно грязновата. Старые шкафы, полки с книгами, на стенах — семейные фотографии, снимки времен первой мировой войны и в позолоченной рамке цветная репродукция какого-то крейсера, кажется, «Эмдена». На картинке была ночь, синее море, черное небо; корабль стрелял из всех орудий, огненные блики освещали пенистые гребни волн и исчезали далеко-далеко в пустынном мраке. Под репродукцией стоял слесарный верстак, заваленный инструментами, среди них лежала разобранная на части двустволка. Ничке закурил и посмотрел в окно: напротив дома, самым бесцеремонным образом уставившись в окна Копфа, стоял все тот же молодой человек, которого он видел утром. Это было уже слишком, и Ничке почувствовал непреодолимое желание, даже потребность поделиться своими мыслями с Копфом. Но он этого не сделал и, вернувшись в спальню, сказал:

— Если бы я знал, что у вас слесарная мастерская!

— А что?

— Заказал бы у вас запасной ключ. Впрочем, может, это, так сказать, не по вашей части?

— Пустяки, приносите. Я вам сделаю.

— Я шучу.

— Нет, серьезно, если вам только что-нибудь понадобится, пожалуйста, не стесняйтесь. Нет смысла с каждой мелочью ездить в город к слесарю.

— В таком случае, непременно воспользуюсь вашей любезностью. Надеюсь, вы не очень дорого с меня возьмете?

— Как-нибудь договоримся. Вы мне заплатите натурой. На другом конце сада у вас очень хороший сорт черешни. Я бы попросил у вас несколько черенков.

— Пожалуйста, сколько угодно.

— Возьму у вас осенью три-четыре черенка, дереву это не повредит.

Они опять заговорили о саде. Господин Копф ожил, выпил, вопреки заверениям, целую рюмку вина, а Ничке подливал себе еще дважды. Потом Копф снова заговорил о лекарственных травах и спросил Ничке, хорошо ли тот спит.

— Не могу жаловаться. Засыпаю довольно быстро. А встаю рано, в пять, половине шестого.

— Я спрашиваю потому, что у меня есть отличные травы от бессонницы. Знаете, когда после первой мировой войны я в тысяча девятьсот восемнадцатом году вернулся домой — я ведь был тогда еще совсем молодым человеком, — то некоторое время страдал ужасной бессонницей. Мы жили тогда в Регенсбурге, и были ночи, когда я слышал, как час за часом били часы на церковной башне, как проезжали один за другим все поезда, как пели петухи. Измучившись, я вспомнил о моем эльзасце, извлек из рюкзака его блокнот, заказал в аптеке смесь из трав по его рецепту — и бессонницы как не бывало.

— Да, война, война, — вздохнул Ничке и посмотрел на часы.

Было около пяти. Уже несколько дней не было дождя, и не похоже было, что его можно вскоре ожидать. Сегодня непременно нужно как следует полить сад. Но Копф, видно, не собирался так скоро расстаться с соседом.

— Война, — поспешно вставил он, — большое свинство.

— И это говорит обладатель такой внушительной коллекции, предназначенной как раз для войны! — сказал Ничке с улыбкой, указывая на стену, увешанную винтовками.

Копф лег на спину, видимо, у него при этом что-то заболело — лицо его исказилось, и он широко открыл рот. Ничке мог теперь хорошенько рассмотреть его

крепко сидящие в деснах белые, здоровые зубы и позавидовал ему. Его собственные зубы всегда оставляли желать лучшего.

— Может, я могу вам помочь, что-нибудь подать? — спросил он.

— Нет, нет, благодарю. Это ужасно. Стоит человеку немного заболеть, как он уже никуда не годится. Я, знаете ли, с юных лет очень любил оружие и так же страстно увлекался им, как другие, например, почтовыми марками или голубями. Потом мне пришлось в жизни много раз иметь с ним дело. Но оружие, господин Ничке, собственно говоря, только для того и создано, чтобы убивать людей и животных, но, главным образом, людей.

Ничке подумал, что разговаривает со старым, больным человеком и надо, как-то поддержав этот разговор, быть может, и помочь ему.

— Оружие было предназначено для этого, так сказать, еще с сотворения мира. Не вы его выдумали и можете спать спокойно.

Ничке встал, застегнул пиджак и добавил:

— Ну, мне пора, господин Копф. В саду еще много работы, а уже вечереет. Очень приятно было с вами побеседовать.

— Мне также. Не забывайте меня, господин Ничке.

— Наверно, скоро увидимся в саду?

— Надеюсь. Думаю, что завтра, самое позднее послезавтра я уже встану...

Прощаясь, они сердечно пожали друг другу руки.

Ничке в этот день работал в саду до позднего вечера. Он выкопал двенадцать лунок под георгины — по шесть с каждой стороны дорожки, — в каждую насыпал компосту. Потом стал окучивать помидоры и фасоль, но это занятие пришлось вскоре прервать — сломался черенок мотыги. Она досталась ему вместе с домом: Ничке нашел ее в беседке и долгое время с успехом ею пользовался. Мотыга была хорошей, а черенок прогнил, и Ничке давно уже купил новую буковую палку, нужно было только насадить на нее мотыгу. Но сегодня уже поздно, а у Ничке и без того еще много дел. Пока совсем не стемнело, он все носил лейками воду и поливал грядки.

За ужином он почувствовал себя таким усталым и таким сонным, что просто с ног валился. Но это была здоровая усталость. В тот вечер он заснул, даже не успев прочесть ни одной страницы из книги о кампании в Африке.

Яркий солнечный день, но по небу плывут грязные, темные, лохматые облака; время от времени они заслоняют солнце, и поэтому все вокруг постоянно меняется — то ослепительно сверкает, то становится тусклым, матовым. Ничке идет к Копфу. Он поднимается по ступенькам на крыльцо его дома, толкает выкрашенные в зеленый цвет двери — они легко открываются. За дверью стоит Копф. На нем синие военные брюки и белая рубашка. Похоже, что он ждал господина Ничке и даже шел ему навстречу. Ничке держит в руке рукоятку от мотыги, только что отломившуюся у основания, и испытывает неприятное чувство от того, что это орудие стало легким и как бы утратило свой смысл. Ничке сжимает в ладони твердую буковую палку, чувствует ее овальную форму, и, несмотря на то что на ней нет мотыги, палка становится как будто массивнее и тяжелее. Ничке медленно поднимает ее и неожиданно бьет Копфа по голове. Но палка соскальзывает по уху и плечу Копфа, и Ничке бьет еще раз, но уже более метко. Он слышит глухой звук удара; Копф шатается и прислоняется к стене. Из его носа и уголков рта течет струйка крови, глаза вылезают из орбит, но губы стиснуты, он не произносит ни одного слова. Ничке чувствует, что должен ударить еще раз, потом еще и еще, пока Копф не свалится на землю; нельзя оставить Копфа стоящим у стены, ибо это будет незавершенное дело. Копф молчит, но его вытаращенные глаза словно бы умоляют и даже приказывают: «Бей, бей сильнее, пока не упаду, пока не околею!» И Ничке делает это — он продолжает молотить Копфа, хотя тот лежит уже у стены на бетонных ступеньках крыльца своего дома с разбитой головой, из которой ручьем бежит кровь, образуя огромную лужу и ручейками стекая по ступенькам. Ничке медленно пятится назад, вниз по ступенькам, и вдруг замечает, что его брюки до самых

колен забрызганы кровью. Руки тоже испачканы в крови, хотя он и не касался тела Копфа. Но вот рядом с господином Ничке оказывается госпожа Рауш со своим голубым ведерком в руке. «Отойдите, пожалуйста, в сторону, — говорит она, — а то запачкаетесь, я все уберу...» — «Эту свинью надо закопать в саду», — говорит Ничке и копает круглую глубокую яму там, где цветут фиалки и ландыши, уничтожая при этом много других растений. Потом он тащит труп за ноги и сталкивает носком ботинка в яму. Копф лежит на дне, свернувшись в клубок, он весь как-то съежился и похож не на себя, а скорее на хозяина табачной лавки Хирша. Но Ничке ни на минуту не сомневался, что это Копф, его сосед. Он берет лопату, и земля сыплется на руки, на лицо, на тряпье, прикрывающее тело Копфа. Потом Ничке утрамбовывает ботинками землю, чувствуя при этом, как колыхнется и прогибается под ногами человеческое тело.

Взяв в руки грабли, Ничке разравнивает землю и сажает сверху цветущие кустики фиалок и ландышей. Теперь тело Копфа спрятано, его никто не увидит, но им, Ничке, овладевает чувство гнетущего страха. Страх гнездится не в сердце, а где-то ниже, словно бы в желудке, и к этому страху примешивается нечто другое, еще более ужасное — предчувствие, что преступление будет раскрыто.

В таком состоянии страшного нервного потрясения Ничке пребывает еще долгое время после пробуждения. Он отлично понимает, что все было лишь в идиллическом сне, но страх остался, и он не может избавиться от этого глупого чувства даже во время бритья в ванной. Ничке включает электробритву, кладет ее на стеклянную полочку и идет в кухню только затем, чтобы посмотреть в окно на дом Копфа. При виде крыльца Ничке еще раз с ужасающей отчетливостью переживает момент убийства. Но ведь это был только сон! Вот крыльцо, ступеньки, серая шероховатая стена дома, и ведь на самом деле там не случилось ничего, что могло бы вызвать у Ничке тошноту и сердцебиение. Вскоре все эти нелепые мысли все же рассеялись. Выйдя после завтрака в сад, Ничке смог удостовериться, что там, где во сне он копал яму, чтобы спрятать тело Копфа, земля не тронута, что она густо по-

росла фиалками и ландышами. Ничке даже наклонился и долго рассматривал ее бугристую, уже подсохшую после вчерашней поливки поверхность.казалось, после такого осмотра Ничке должен был бы обрести полное спокойствие духа. Но, к сожалению, ему удалось достичь этого значительно позже. Пока что за повседневными, привычными занятиями он смог добиться лишь того, что прескверная смесь страха со стыдом и гневом постепенно исчезала. Вот что может наделать глупый сон. Но все же сон — это только сон, и, в конечном счете, он рассеивается, как туман, сон — каким бы неприятным он ни был — не что иное, как туман или дым.

Дождя не было уже несколько дней, и господин Ничке поразился, выйдя рано утром и увидев свой сад, словно только что вынырнувшим со дна океана. Он был еще влажным и сверкал мириадами искр.казалось, будто это не капельки воды, а жемчуг и драгоценные камни. Ничке подумал, что если это роса, то она не имеет ничего — или, во всяком случае, очень мало — общего с водой. Это какая-то тончайшая ее фракция, нечто такое, что природа может сотворить в величайшей тайне под покровом ночи и чего не могут создать самые искусные руки. В сущности, ведь только природа в силах творить настоящие сокровища. Так размышлял Ничке, задумчиво шагая по своему саду, похожему на храм. Солнце еще пряталось за деревьями, но все огромное чистое небо напоминало гигантский освещенный изнутри фонарь, из которого лился яркий проникающий повсюду свет, зажигающий огоньки в каждой самой маленькой, спрятанной в глубине листвы капельке росы. Воздух был напоен так хорошо уже знакомой Ничке неповторимой утренней свежестью, легкостью и ароматом, а сегодня к нему примешивался легко уловимый запах близкого лета.

Вот фасоль, которую он посадил полтора месяца назад. Ее ростки дотянулись уже до живой изгороди и вскоре совсем отделят участок господина Ничке от владений соседа. Ничке сам не знал, что лучше: ежедневно видеть Копфа и общаться с ним или жить в

своим миром, не интересуясь чужой жизнью и не выставляя свою напоказ. Ничке хозяйничал тут уже год с лишним, Копф — неполных полгода, а урожай у него лучше. Разница была не столь разительной, но достаточной, чтобы время от времени вселять беспокойство и даже вызывать зависть. Взять хотя бы те же помидоры: разве он, Ничке, не выполнял в точности все советы авторов специальных пособий? Разве жалел извести, азота или фосфора? В один из дождливых дней, поборов тошноту, Ничке даже полил все грядки жидким навозом, что, впрочем, Копф сделал раньше. Оба брали рассаду у одного и того же огородника. А все-таки помидоры у Ничке были похуже. В высоту они, может, немного и перегнали помидоры Копфа, но ботва у них тоньше, листья мельче и не такие ярко-зеленые, а на нижних ветках даже какие-то сморщенные. Вот что касается фасоли, то Ничке не чувствовал себя в опасности; Копф, полагая, что фасоль вредна для его слабого желудка, вообще ее не сажал. По правде говоря, это была легкая победа, но в конце концов не имеет значения, каким образом мы достигаем преимущества над другими, в расчет принимаются только факты! Если говорить о цветах, то здесь Копфу было далеко до Ничке. Копф, правда, говорил, что любит цветы, но, по-видимому, был лишен настоящей потребности общения с прекрасным. Он отказался от него, объясняя это — что за мелочность! — нехваткой денег. Ничке процитировал как-то Копфу эпиграф из одного проспекта по цветоводству. Этот эпиграф, взятый из книги какого-то восточного мудреца, гласил: «А у кого два хлеба, пусть продаст один и купит на эти деньги цветы, ибо цветы — пища для души!» Копф отшутился: наверно, душа его страдает отсутствием аппетита, поскольку она не жаждет обладать цветами — ей довольно тех, что растут на лугах и в парке. Тем временем георгины, посаженные две недели назад, уже дали сильные ростки. Постепенно они разрастутся и расцветут, образуя густую шпалеру вдоль дорожки, от калитки до ступенек крыльца. Ничке не мог нарадоваться, глядя на них. Он видел их уже в цвету, словно на картинке каталога. Счастливый и гордый, что его мечта начинает сбываться, он даже испытывал нечто вроде благодарности к людям,

которые пообещали ему, что в его саду будут цвести красивые цветы, и пока не подвели.

Ничке уселся в старое плетеное кресло и закурил; солнце выглянуло из-за деревьев и осветило весь сад. Он был весь во власти ласковой тишины, спокойного дыхания земли и ни о чем не думал. Ему казалось, что сама земля, словно огромное, живое тело, ритмично дышит — то опускается, то поднимается, а он удобно и надежно сидит в кресле, стоящем на груди этого великана.

Но этому погожему и спокойно начатому дню, к сожалению, суждено было стать неприятным для Ничке. Все началось с того, что Копф, который уже успел выздороветь и, как обычно, появился рано утром в саду, вдруг окликнул его:

— Добрый день, дорогой Рудольф!

Ничке уже избавился от глупого, щемящего под ложечкой чувства страха от совершенного во сне убийства, но тем не менее всякий раз при встрече с Копфом ему было не по себе. Как ни странно и не смешно, но господину Ничке казалось, будто Копф не только знал об этом, но даже словно бы участвовал в том сне в роли жертвы, и его улыбка была улыбкой соучастника.

— Добрый день, добрый день, дорогой Вильгельм. День сегодня действительно добрый и хороший, — откликнулся отдыхавший в кресле Ничке.

— А у меня к вам просьба, дорогой сосед!

— К вашим услугам! — сказал Ничке, приподнимаясь.

— Я видел у вас как-то маленькую удобную лестницу. Не могли бы вы мне ее одолжить?

— Ну, конечно, дорогой Вильгельм, я сейчас вам ее принесу.

— Не утруждайте себя. Подайте мне ее прямо через забор.

Ничке направился к беседке, где хранилась лестница. Копф пошел по другой стороне изгороди, и оба оказались в самом дальнем конце сада, который не был виден с улицы. Приняв от Ничке лестницу, Копф прислонил ее к стволу дерева.

— Я хотел бы вам кое-что сказать, хотя, возможно, мне и не следовало бы этого вам говорить. Но по-

сколько это касается также и вас, я не считаю себя вправе молчать. Вчера вечером меня посетил один субъект, знаете, из полиции.

— Понимаю. Ну и чего он хотел?

— Вот именно. Трудно сказать, чего он хотел. У них всегда так. Когда я его спросил, чем обязан его визиту, он сказал, что в свое время я это узнаю.

— Он был в тирольской куртке? — спросил Ничке.

— Нет. В обычном костюме. А почему вы спрашиваете?

— Я несколько раз примечал каких-то подозрительных лиц на нашей улице.

— Возможно. Так вот этот тип сначала очень интересовался той старой рухлядью, что висит у меня на стене, но когда я ему сказал, что у меня есть на все разрешение, он успокоился. Потом его интересовали какие-то мои имущественные дела — этот дом, видите ли, когда я его купил, был заложен. Под конец он начал расспрашивать о разных людях. Интересовался; кого из соседей я знаю и что о них думаю. Между прочим, спросил и о вас.

— Надеюсь, вы обо мне не очень плохого мнения, — проговорил, улыбаясь, господин Ничке.

— Что вы, дорогой Рудольф! Я сожалею лишь о том, что не мог сказать о вас больше хорошего! Впрочем, по правде говоря, его это мало интересовало. А вообще трудно понять, что ему было нужно. Расспрашивал о том о сем, так, с пятого на десятое.

— А вы, господин Копф, поинтересовались, имел ли он вообще право задавать вопросы?

— Должен признаться, что мне это не пришло в голову. Он показал мне какое-то удостоверение.

— Значит, любой бродяга, показав первое попавшееся удостоверение, может спокойно войти в ваш дом, рассматривать все, что ему заблагорассудится, и задавать вопросы?

— Вы меня огорчили, господин Ничке.

— Сколько разных обманщиков и злодеев бродит по Германии!

— А что бы вы сделали на моем месте?

— Прежде всего тщательно осмотрел бы его удостоверение.

— А я этого не сделал, — расстроился Копф.

- Ну, ничего, впредь будете осторожнее.
- Может быть, сообщить в полицию?
- Делайте, как считаете нужным. Это уж решайте сами.

Разговор этот происходил утром. Потом Ничке долго работал и сделал до обеда массу дел, в том числе прополоч солидный участок огорода. Чтобы втянуться в такую малоприятную работу, заставить мышцы и нервы автоматически выполнять все эти скучные движения, надо было найти в себе немало сил, терпения и упорства. Ничке достиг превосходных результатов, он даже так забылся за работой, что пришел в ресторан Биттнера на час позже обычного, и ему пришлось удовлетвориться довольно жестким жарким и подогретыми клецками. Это несколько испортило ему настроение, особенно потому, что клецок он не любил и, выйдя из ресторана, явственно ощущал их присутствие в желудке. В связи с этим Ничке решил совершить после обеда продолжительную прогулку, обойти вокруг виллы, пройти через парк и вернуться домой лугом. Всю первую половину дня он гнул спину над грядками, а теперь еще эти клецки! Да и вообще Ничке в последнее время чувствовал себя неважно. Врачи утверждают, что прогулка, это передающееся всему телу ритмичное движение ног, ускоряет кровообращение, улучшает работу сердца, перистальтику кишечника и вообще является естественным регулятором всех функций человеческого организма. Ничке слышал об этом от многих знакомых — своих сверстников, которые совершали прогулки и хвалили их благотворное влияние на здоровье, но сам относился к таким прогулкам недоверчиво, считая их даже чем-то вроде чудачества, и думал: кто знает, может, от них и стареют. Ничке считал, что только труд и целенаправленная деятельность держат человека в хорошей форме. Но, возможно, те люди тоже правы.

Сегодня суббота, и для того чтобы выбраться из окружающего шума и суеты, Ничке волей-неволей пришлось сначала окунуться в эту стихию. Надо было пересечь главную улицу, где в четыре ряда шли автомашины, потом площадь и перекресток, по которому, скрежеща тормозами, кружили, как в мельничном

колесе, машины, потом миновать большую автостоянку. В некоторых машинах неподвижно, как манекены, застыли молодые люди. В одной Ничке заметил целующуюся пару. Ну что за идиотские нравы, как можно так вести себя в публичном месте! Три паренька в компании двух очень молоденьких девиц стояли на тротуаре. Один из них крутил на пальце автомобильный ключ, двое его товарищей, опустив руки и растопырив ладони, застыли в позах героев вестернов, готовые в любую минуту схватиться за рукоятки воображаемых кольтов. А может, это был обычный жест, для которого не нужны даже вымышленные кольты? Их спутницы были по-дурацки размалеваны, и, глядя на их лица, Ничке невольно вспоминал сумасшедшую дочку пекаря, которая всегда смотрела в окно, когда он мальчишкой шагал в школу. Ничке быстро прошел мимо этих людей, принадлежавших к другому, совершенно чужому и непонятному для него миру. Как и обычно, когда ему приходилось сталкиваться с нынешней молодежью, он подумал, что у его поколения была более здоровая психика.

Миновав полотно электрической железной дороги, Ничке очутился в парке, среди разросшихся на просторных лужайках высоких старых деревьев. Здесь можно было гулять по удобной асфальтированной дорожке, которая вилась среди деревьев, и отдохнуть на скамейках, где сидели люди с книгой или газетой. Чаще всего это были люди его поколения, а иногда и постарше: одинокие женщины с собачками и даже старики. Особой симпатии Ничке к ним не испытывал и скорее ограничивался чем-то вроде благосклонного равнодушия. Он замедлил шаг, свернул на боковую дорожку, которая шла через перекинутый над ручьем мостик, и вдоль опушки парка направился в сторону пустынных, широко раскинувшихся лугов.

Он возвращался домой с чувством здоровой усталости и, наверно, закончил бы день прогулкой по саду, а вечером посидел бы около радиоприемника с книжкой, если бы не одно непредвиденное событие.

Ничке возвращался к своему дому со стороны железнодорожных мастерских по тропинке, ведущей вдоль вонючей канавы. Он проходил возле дома судьи Тренча и как раз собирался свернуть в свой переулок, когда

из глубины дикого, заросшего кустами и сорняками сада донесся выстрел духового ружья, а потом запоздалый стук пули по стволу дерева. Ничке не сразу связал звук выстрела с гибелью дрозда. Эта ассоциация родилась у него чуть позднее, когда он с ужасом и бешенством вспомнил, что уже давно не видел в своем саду второго дрозда! Он остановился и прислушался: кто-то, хрустя сучьями, пробирался сквозь густые заросли, и похоже было, будто он разыскивал что-то под ногами. Ничке еще долго прислушивался, но вокруг было тихо, и никаких выстрелов больше не последовало.

У каждого человека бывают хорошие и плохие минуты. С некоторых пор Ничке был не в форме, все его раздражало и действовало ему на нервы. Если бы не плохое настроение, возможно, воспоминание об убитом дрозде и беспокойство за судьбу осиротевшей птицы не так остро подействовали бы на него. Как человек с нарушенным внутренним равновесием, которому угодили в больное место, Ничке теперь бурно реагировал на все. Он решил, что должен немедленно сделать то, что давно следовало сделать. Ничке был возмущен и готов на все. И вот, вымыв руки и надев галстук, он уже стоял у порога виллы Тренча и нажимал кнопку звонка. Ждать пришлось довольно долго. Он стоял, перечитывал медную табличку с надписью «Д-р Йозеф Тренч — окружной судья» и рассматривал старомодный витраж, на котором была изображена женщина с обнаженной грудью, держащая на голове корзину с фруктами. Ничке собирался позвонить еще раз, когда за дверьми послышались шаги и чей-то голос спросил:

— Кто там?

— Рудольф Ничке, сосед!

Дверь отворилась. Судья Тренч был в туфлях и домашней куртке.

— Чем могу быть полезен? — спросил он.

— Я, господин доктор, по одному делу, как сосед.

— Пожалуйста, пройдите; прошу извинения за мой костюм, но сегодня суббота, и я по-домашнему. Жена в городе, мальчишки куда-то умчались, а я немного вздремнул. Прошу вас, пройдемте ко мне в кабинет!

На стене над столом висел портрет молодой женщины в красном платье. В длинных пальцах женщина держала папиросу, дым тоненькой струйкой вился вверх. В черном шкафу, за стеклом, — толстые книги в кожаных переплетах. Над книжным шкафом — крест, но какой-то странный, нездешний, во всяком случае — не протестантский. «А может, этот Тренч еврей? — подумал Ничке. — Говорят, будто он всю войну и много лет перед войной провел где-то за границей — во Франции или Испании, а может быть, даже и в России? Но на еврея он не похож. Нос у него большой, но слишком тонкий, губы поджатые, и он совсем не лопухий».

— Я уже давно хотел с вами познакомиться. Мы ведь близкие соседи. Ваш дом там, около Домерацки, Копфа, Линке? — спросил Тренч, снимая очки и глядя в глаза господину Ничке.

— Да.

— У вас порядок, чистота, чудесный сад. А у меня все заросло сорняком, одна крапива да лопухи, как в заброшенном замке...

— В этом тоже есть своя прелесть.

— Прелесть прелестью, а я предпочитаю порядок. Но моя жена работает в городе, она врач, а мальчишки — разве их заставишь работать, когда у них в голове совсем другое?

Ничке с удовлетворением отметил, что беседа идет по правильному руслу, и спросил:

— Сколько лет вашим сыновьям?

— Старшему пятнадцать, а младшему в июле исполнится тринадцать.

— Да, это самый трудный возраст. Мальчики в этом возрасте способны на все. Мне крайне неприятно, но я вынужден пожаловаться на ваших сыновей...

— Интересно, что же опять натворили мои сорванцы, снова, наверное, выбили стекло? — спросил Тренч весело, но не без некоторого злорадства в голосе.

— Стекло это пустяк. Они мне доставили совсем другого рода неприятность...

Тренч, глядя в глаза господину Ничке, даже наклонился в его сторону.

— Вы меня огорчили, господин Ничке. Но что они все-таки натворили?

— Они застрелили из малокалиберки дрозда, и у меня есть основания полагать, что сегодня такая же судьба постигла вторую птицу.

— Постойте, постойте. Во-первых, если это сделали они, то не из малокалиберки, а из духового ружья.

— Возможно, я в этом плохо разбираюсь.

— Однако расскажите, как это произошло?

— Два месяца назад я нашел у себя в саду мертвого дрозда. Он лежал недалеко от изгороди. На груди у него была огнестрельная рана, перья слиплись от крови...

— Это очень неприятно... Вы курите? — Тренч надел очки и потянулся к коробке с сигаретами и сигарами.

Оба закурили, наступила пауза. Через некоторое время судья Тренч продолжал:

— Если я правильно понял вас, вы считаете эту птицу чем-то вроде своей собственности, верно? Но ведь вы не держали ее в клетке?

— В моем саду свили себе гнездо дрозды, я видел их ежедневно. Слышал их щебет. Я просто привязался к ним, — сказал Ничке раздраженным тоном.

— Я вас понимаю. Это неприятная утрата. Очень неприятная. — Тренч снова на мгновение замолк, потом произнес: — Но почему вы приписываете эту утрату, так сказать, действиям моих сыновей?

— У них есть оружие, они стреляют. Я без конца слышу эти хлопки. Только что я снова слышал выстрел в вашем саду.

— Вокруг полно духовых ружей. У каждого второго мальчишки есть такое ружье.

— Я постоянно наблюдаю, как они носятся с этими ружьями, — сказал Ничке и сам почувствовал, что все его обвинение зиждется на очень зыбких основаниях.

— Вы упомянули вначале, что у вас есть основания обвинять моих сыновей в убийстве второго дрозда. Какие это основания?

— Просто я давно уже не вижу птицу в своем саду.

Ничке ожидал, что судья Тренч спросит, не считает ли он, что птица могла просто улететь в другое место, но Тренч этого не спросил. Ничке подумал, что Тренч

сделает все, чтобы защитить своих сыновей; было бы странно, если бы он поступил иначе. Вообще судья Тренч за время этого разговора очень изменился, изменилось и его лицо: нос обострился, уши, казалось, еще больше прижались к черепу. Он был весь насто-роже, как полицейская собака. «Странно, почему он не воспользуется слабыми пунктами моего обвинения?» — подумал Ничке с некоторым беспокойством. Судья Тренч отвернулся и посмотрел через окно в сад. А потом сказал:

— Ну что ж, поиграем в следствие. Возможно, это сделали они. Я не хочу выгораживать сыновей, но вы понимаете, что мне, как отцу, нелегко их и осуждать. Извините!

Он встал, с трудом открыл туго поддававшееся окно и крикнул:

— Артур, Эвальд! Где вы?

— Я здесь, папа!

— Позови Артура, и зайдите оба ко мне на минутку. Потом снова будете бегать.

Тренч закрыл окно, сел за стол и сказал:

— Помнится, когда мне было семь или восемь лет, я убил маленького котенка. Сейчас я уже не припомню за что, а вернее — зачем я это сделал. Но тогда я сделал это сознательно. Впрочем, дело не в подробностях. А сейчас, господин Ничке, я не мог бы убить даже мухи. Может, я немного преувеличиваю, но, во всяком случае, воробья — наверняка нет...

— Да, человек меняется, — сказал Ничке.

В прихожей раздался грохот, будто кто-то пытался выломать дверь, потом послышался стук, и в комнату, не ожидая разрешения, ввалились двое мальчишек. Они отнимали друг у друга какую-то вещицу, толкаясь и вертясь при этом, как бильярдные шары.

— Что это за возня! — не слишком сурово прикрикнул на них Тренч. — Поздоровайтесь!

— Здравствуйте, — пробормотали мальчики, еле взглянув на господина Ничке. Младший, воспользовавшись моментом, вырвал что-то у старшего. Оба были потные и грязные.

— Эвальд, положи сейчас же на стол, — сказал Тренч.

Мальчик повиновался. Ничке и Тренч взглянули на то, что он вынул из кармана и положил на край письменного стола, и оба подумали, что это пустяковина, которую можно найти в траве, в канаве, на помойке и которая может на что-нибудь пригодиться только детям.

— Послушайте, ребята, — начал Тренч. — Скажите мне, вы знаете, чем отличается дрозд от воробья?

— Дрозд черный, в три раза больше, чем воробей, и у него желтый клюв. Он быстро бегает по земле. Довольно хорошо умеет петь, — без запинки и, как показалось господину Ничке, не без иронии произнес младший.

— Дрозд-самец — черный, а самка посветлее, иногда даже коричневая, — добавил старший.

— Хорошо. Я вижу, вы разбираетесь в птицах. А теперь ты, Эвальд, пойди в спальню, только не подслушивай, мы тут играем в одну игру, и это будет нечестно. Потом я тебя позову.

Мальчик, закрывая за собой дверь, скорчил какую-то непонятную мину. Тренч тихо сказал:

— Артур, подойди поближе. Скажи, кто из вас убил дрозда?

— Не я и, наверно, не Эвальд. Мы не стреляем по дроздам.

— А по воробьям и другим птицам стреляете?

— Нет. Может, только по воробьям. Раз два стреляли, — сказал Артур и оглянулся на дверь, за которой скрылся брат.

— Хорошо. Можешь идти. Принеси только ваше ружье и несколько патронов. Нет, не теперь, а когда Эвальд выйдет отсюда.

— Хорошо! — ответил Артур, повернулся и вышел.

— Эвальд, — позвал Тренч и внимательно посмотрел на господина Ничке. — Эвальд, можешь войти!

Мальчик вошел, остановился и взглянул на предмет, лежащий на столе. Ничке только теперь догадался, что это таксе: это было нечто, похожее на алюминиевую крышку от чайника. Она, по-видимому, побывала в огне, частично расплавилась и покоржилось.

— Скажи мне, Эвальд, почему вы застрелили дрозда?

— Никакого дрозда я не застрелил, — ответил мальчик.

Судья Тренч недовольно поморщился и сказал:

— Вы сваливаете один на другого. Артур сказал, что это сделал ты.

— Артур свинья.

— Значит, это Артур застрелил дрозда?

— Я не знаю, — ответил Эвальд.

— Хорошо, можешь идти.

Мальчик как будто только этого и ждал. Он схватил со стола предмет, похожий на крышку от чайника, спрятал его в карман и выбежал из комнаты.

— Они еще совсем дети, — сказал, вздыхая, Тренч.

— Да, — вынужден был признать Ничке.

Послышался стук в дверь, и в кабинет вошел Артур с ружьем в руках. Тренч надел очки и сказал:

— Заряди!

Артур сделал это с необычайной ловкостью.

— Готово! — заявил он.

— Хорошо, положи сюда, на стол.

Артур положил ружье на бумаги.

— Ты будешь стрелять, папа?

— А разве мне нельзя?

— Конечно, можно. Только ты не сумеешь. — Артур был готов предложить свои услуги.

— Можешь не беспокоиться. Как-нибудь справлюсь. Ну, марш! Мама еще не вернулась?

— Нет.

— Когда она вернется, пусть зайдет ко мне. А вы к автомобилю не подходите, он мне еще сегодня понадобится.

— Хорошо, — ответил Артур, но не тронулся с места. — Почему ты сказал, что я говорил, будто Эвальд застрелил дрозда?

— Извини. Это была такая игра в следствие.

После ухода сына судья Тренч долго копался в кипе газет, пока не извлек толстый воскресный номер «Frankfurter Allgemeine», сложил его в восемь раз и примостил на ручке двери, ведущей в спальню.

— Я очень не люблю заниматься дома тем, с чем приходится иметь дело по службе. А вы?

— Я уже на пенсии, — ответил Ничке.

— Ах да. Может быть, вы хотите пострелять? — спросил Тренч и улыбнулся при этом так многозначительно, будто предлагал господину Ничке отправиться за компанию в публичный дом.

— Нет, не хочу.

Тренч снял очки, прицелился и выстрелил. Пуля ударила по газете и пробила дырку как раз на том месте, где была реклама коньяка «Норис».

— Меткая игрушка, — сказал Ничке.

— И какая ударная сила! Это даже опасно. Можно невзначай поранить, выбить глаз. Да, из такого ружья можно, пожалуй, застрелить довольно большую птицу, — сказал Тренч, бросая газету в мусорную корзину, и придвинул к Ничке коробку с папиросами. — Я исчерпал все свои средства, господин Ничке. Даже такие, которые не применяют, не вызвав отвращения к самому себе. Тем не менее мы не сдвинулись с места и по-прежнему не знаем виновников. Я мог бы еще расширить следствие, устроить очные ставки и позвать сюда в свидетели других сорванцов. Но, может быть, вы избавите меня от этого, господин Ничке?

— Разумеется. И простите меня за беспокойство.

— Нет, лучше вы меня простите, если это сделали мои сыновья. Но вы сами видите, — и тут Тренч не то скорчил гримасу, не то улыбнулся, — следствие не располагает прямыми уликами. Есть обвинитель, но нет тела жертвы. О, простите, а может, есть?

— Наверно, уже разложилось в компосте...

— Есть оружие, которое могло быть орудием преступления, и есть два человека, которые потенциально могли быть убийцами, но нет никаких доказательств, что они ими были...

— Это верно, — вынужден был признать Ничке.

— Скажите, дорогой господин Ничке, так, начистоту, вы по-прежнему подозреваете моих сыновей?

— По правде говоря, да. Но, к сожалению, следствие не обнаружило доказательств их вины, — сказал, улыбаясь, Ничке. Он подумал в этот момент, что судья Тренч не должен был спрашивать мальчишек, известно ли им, чем отличается дрозд от воробья, потому что это заставило их насторожиться.

— В иные времена было достаточно, чтобы суд выразил так называемую уверенность в вине обвиняе-

мого. Но мы не будем применять этот метод, не правда ли?

— Конечно...

— Я не хотел бы также, как говорится, «принуждать» этих сорванцов давать показания. Как отцу и как судье, мне бы было трудно это сделать.

— Разумеется...

— Итак, во время расследования мне пришлось прибегнуть к определенному приему из репертуара провинциальной полиции. Я это сделал, как уже говорил вам, с отвращением.

— Заставили старшего свалить вину на младшего?

— Да.

— Я представляю, как это было вам неприятно.

Тренч взял сигарету, закурил и, пуская клубы дыма, произнес:

— Видите ли, для того чтобы показать, чем отличается наше теперешнее судопроизводство от судопроизводства прежнего времени, мы должны в каждом отдельном случае установить виновность на основе тщательного, временами даже чересчур мелочного анализа фактов. Наш способ расследования иногда может показаться даже просто смешным.

— Но, по крайней мере, судьи могут сказать, что совесть у них абсолютно чиста, — вежливо заметил Ничке.

Тренч глубоко затянулся, выпустил вверх дым, взглянул на господина Ничке и сказал:

— Никогда нет абсолютной уверенности, что вынесенный приговор справедлив. Даже тогда, когда, казалось бы, все свидетельствует о вине подсудимого. Чем крупнее преступление, с которым мне приходится иметь дело, тем меньше я бываю убежден в справедливости приговора. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что многие преступления даже для нас, юристов, которые ведь только с преступлениями и имеют дело, кажутся чем-то граничащим с абсурдом? Однако вернемся к дроздам. Я вполне допускаю, что мои сыновья могли их застрелить. Но они в этом не признаются, и это вполне понятно. Кто в здравом уме признается в совершенном преступлении? Кроме того, человек стыдится преступления, особенно убийства.

Не признаваясь, он как бы пытается сделать убийство не совершившимся...

— Оставим в покое эти дела. Я сожалею, что вообще сказал вам об этом.

— Почему? Напротив, очень хорошо, что вы мне это сказали.

— Моих дроздов это не вернет, а вам я доставил лишние огорчения...

Визит господина Ничке к судье Тренчу закончился довольно приятной беседой о садоводстве. Тренч оказался совершенно несведущим в этой области. На прощание судья Тренч заверил господина Ничке, что делает все возможное, чтобы дрозды и другие птицы могли спокойно гнездиться в садах. Он еще раз повторил, что рад знакомству с господином Ничке, с которым давно уже хотел познакомиться, и выразил надежду, что следующая встреча произойдет при более благоприятных обстоятельствах.

Болезнь господина Ничке имела непосредственную связь, вернее сказать, была следствием определенных забот, которые совершенно неожиданно свалились на него через две недели после визита к Тренчу. Именно из-за них Ничке несколько дней находился вне дома, недосыпал и питался не так, как следовало бы. Две ночи он провел в поезде, так как считал уместным навестить своего старого товарища, с которым давно не видался, но знал, что и у него были подобного рода неприятности. Люди в возрасте господина Ничке, как правило, стараются держать все свои дела в порядке и заботятся о том, чтоб иметь под рукою все необходимые бумаги. А Ничке к тому же по натуре был очень аккуратным человеком, даже педантом, и у него всегда все бумаги были в образцовом порядке — для чего же в конце концов существуют все эти папки, скоросшиватели, автоматические держатели, обеспечивающие сохранность различных документов? Но человек остается человеком и нервничает даже тогда, когда у него все как будто в идеальном порядке.

Первый день, проведенный Ничке в городе, был ужасно жарким, а Ничке, вместо того чтобы надеть что-нибудь полегче, облачился в темный шерстяной

костюм и белую нейлоновую рубашку, которой, в сущности, терпеть не мог, — он в ней потел и задыхался. В теплом пиджаке и рубашке с галстуком, к тому же с тесным, нестерпимо сдавливавшим горло воротником, он промучился несколько часов. В таком неподходящем костюме ему пришлось улаживать не очень приятные дела и слушать, что ему говорят, да еще внимательно следить за тем, что он сам говорит. Чувствовал он себя все время прескверно. Может быть, уже тогда началась эта болезнь? Сейчас, как никогда, ему нужно было быстро соображать, а у него в голове гудело, будто на мельнице. Ничке испытывал странное чувство, словно бы в какой-то момент внутри него что-то вдруг щелкнуло, как в коробке передач, и с этого момента внутренний мотор стал работать на других, более быстрых оборотах. Несмотря на столь плохое самочувствие, Ничке слышал самого себя и контролировал свои поступки, ясно сознавая, что все, что он говорит и делает, вполне разумно.

Вечером ему не удалось вернуться домой, принять ванну и отдохнуть после тяжелого дня в собственной постели. Съев на вокзале порцию гуляша и запив его пивом, он был вынужден снова сесть в поезд и трястись в нем всю ночь, чтобы наутро оказаться в небольшом приморском городишке. Здесь, правда, жары не было, но зато целый день дул сырой, мешавший дышать ветер, и Ничке почувствовал себя еще хуже. Он стал задыхаться, и вдобавок ко всему на него напал ужасный кашель. На другой день, чтобы выиграть время и срочно попасть домой, пришлось снова ехать ночным поездом. К тому же он хотел сойти раньше и задержаться на несколько часов у Хедди.

Именно в эту вторую, проведенную в поезде, ночь он, наверно, и простудился. В купе было ужасно душно, когда же Ничке предложил открыть окно, какая-то толстая пышногрудая дама громко запротестовала, а сидевший возле окна с сигарой во рту пожилой господин заявил, что тот, кому жарко, может выйти в коридор и охладиться. Тогда Ничке напомнил, впрочем, очень вежливо, что он, как и все, заплатил за проезд и вместе с билетом приобрел одинаковое со всеми право пользоваться всем, что необходимо для путешествия, в том числе и свежим воздухом. В ответ на

это он услышал от господина, который по-прежнему дымил и даже не соизволил вынуть сигару изо рта, что действительно все пассажиры пользуются одинаковыми правами, то есть дышат спертым воздухом, чему, впрочем, не в малой мере способствует и сам Ничке (остальные пассажиры громко рассмеялись), и положение это может измениться только с согласия большинства, ибо давно уже прошли те времена, когда один человек мог решать за всех. У Ничке от пота нестерпимо зудело все тело, и рубашка была мокрая, хоть выжми. Он встал, открыл дверь и вышел в коридор. Закрывая дверь, он хлопнул ею, быть может, сильнее, чем следовало, но нужно учесть, что нервы его и в самом деле были напряжены до предела. В коридоре он открыл окно, расстегнул рубашку и закурил папиросу. Ворвавшийся косою струей холодный ветер охлаждал и успокаивал. Поезд мчался сквозь ночь, и ветер выхватывал искры из папиросы. Время от времени в темноте вдруг совсем близко зажигались огни — это вагоны с оглушительным грохотом мчались вперед, оставляя за собой разъезды, и порою казалось, что колеса катят не по рельсам, а прямо по щебню и мусору, сокрушая на своем пути камни и железный лом. В окнах мелькали на мгновение станционные постройки и разноцветные сигналы огней, потом снова все неожиданно гасло, и поезд мчался дальше сквозь пустоту и мрак.

Ничке вернулся домой позже, чем предполагал, — лишь на следующий день вечером, — Хедди сумела его убедить, что спешка — плохой советчик. Она готова была даже взять с собой маленькую Хенни, поехать вместе с отцом и побыть с ним какое-то время, чтобы он в пустом доме не чувствовал себя таким осиротевшим. Но Ничке не хотелось, чтобы Хедди жила сейчас у него.

Когда он открывал ключом садовую железную калитку, было уже темно. Кругом царил тишина, и пустой темный дом, видимо, нагретый солнцем за день, казалось, излучал какое-то внутреннее тепло. Сад спал и спокойно дышал прохладным, ароматным воздухом. Ничке так устал и измучился, что и мысли и тело его стремились только к покою. Ему хотелось немедленно

вытянуться на кровати, закрыть глаза и уснуть... Не раздеваясь, он сел в кресло. «Я очень, очень устал, — думал он. — Так плохо, пожалуй, я не чувствовал себя никогда в жизни». И еще он думал: «Я смертельно устал. Неужели это предвещает близкий конец?» Долгое время никакие другие мысли не приходили ему в голову. Но все же он твердо знал: независимо от того, что будет с ним потом, он еще сегодня должен сделать то, что нельзя откладывать ни на один день. Ничке не в состоянии был даже подняться с кресла. Он чувствовал себя так, словно его к этому креслу привязали. Ему удалось встать лишь через некоторое время, и то благодаря какому-то пришедшему извне импульсу, который, подобно удару, заставил его преодолеть собственное бессилие. Он встал и почувствовал, что силы возвращаются. Открыл шкаф, вынул спрятанную в нем вещь. Это была продолговатая коробка, некогда предназначавшаяся для хранения противогАЗа, а в конце войны и даже долгое время после войны употреблявшаяся совсем в иных целях, не имевших ничего общего с первоначальным ее назначением, — в ней хранились всякие мелочи.

Однако хранившиеся в ней вещи могли сейчас принести Ничке много неприятностей; их давно уже следовало убрать из дому. К сожалению, он не сделал этого вовремя, а через три дня, пожалуй, будет уже поздно. Но не мог же он ее прятать средь бела дня. По весу коробки Ничке определил, что то, что он в ней хранил, не исчезло (он не стал в нее заглядывать — сверху лежал плотный слой бумаги), повесил коробку через плечо, погасил в квартире свет, открыл дверь на крыльцо и вышел во двор.

Долго стоял он, вслушиваясь и вглядываясь в темноту. Ночь была безлунная, небо покрывали тучи, кругом царила тишина. Уличные фонари были закрыты листьями, и свет их падал только на мостовую. Спустя довольно длительное время Ничке стал кое-что различать, но это были лишь контуры ближайших предметов, а сад казался ему похожим на мрачную черную бездну. Ничке медленно спустился со ступенек и погрузился в эту бездну. Он еще ни разу не был в своем саду ночью и шел осторожно, вытянув перед собой руки, словно опасаясь каждую минуту натолкнуться

на какое-то препятствие. «Ночь и мрак, — подумал он, — делают предметы загадочными». Минуту спустя, благополучно добравшись до беседки, он пришел к убеждению, что этот загадочный мир заселен существами, которых днем совершенно не видно. Сад был окружен солидным забором, ворота закрыты на замок, но все же какие-то создания в него пробрались и сейчас бежали, шуршали в листве, натыкались на стволы деревьев. Ничке чувствовал, как сильно и гулко колотится у него сердце. Еще с минуту он посидел на скамейке, вслушиваясь в голоса ночи, потом нащупал лопату и принялся медленно и осторожно копать яму. Он копал в том месте, которое мысленно наметил по дороге к беседке: это был довольно глубокий и наклонный подкоп под стену беседки, сделанный с таким расчетом, чтобы коробка оказалась под стеной. Отставив лопату, Ничке всунул коробку в яму, руками засыпал и разровнял землю, а сверху поставил ящик с инструментом. Это все, что он мог сделать. Теперь у него хватило сил только на то, чтобы вернуться домой и вымыть руки.

На следующий день госпожа Рауш нашла господина Ничке в таком состоянии, что тут же помчалась за доктором, не успев даже сказать, что она думает о мужчинах. Все переговоры с доктором пришлось вести госпоже Рауш, так как Ничке настолько охрип, что не мог вымолвить ни слова. Впрочем, у него не было никакого желания разговаривать. Его охватила ужасная сонливость, и он чувствовал, что у него наверняка высокая температура. Когда доктор закончил осмотр, госпожа Рауш спросила:

— Что вы находите, господин доктор?

— Что? А, ничего серьезного. Простуда. Сильная простуда.

— Не воспаление легких?

— Пока нет.

— Господин доктор, вы дадите рецепт?

— Даже три, — сказал доктор и сел за стол. Это был старый человек, из ушей у него росли пучки седых волос, он был угрюм и нелюбезен, но пользовался отличной репутацией.

— Может быть, нужен пенициллин? — осторожно осведомилась госпожа Рауш.

— Когда нужно будет, дадим. Пока не нужно, — ответил доктор и, достав ручку, принялся писать рецепты.

Госпожа Рауш молча стояла в ногах постели, улыбалась господину Ничке и кивала головой. Больной закрыл глаза. Госпожа Рауш в этот день оставалась в доме до позднего вечера. Она только сходила в аптеку за лекарством, но очень быстро вернулась. Сквозь дремоту Ничке слышал, что она здесь, и ему это было приятно. Госпожа Рауш в мягких туфлях тихо передвигалась по комнате, подавала ему чай с лимоном, на обед приготовила куриный бульон, настаивала какие-то травы, которые принес Копф. Сам он в комнату не входил, но велел госпоже Рауш кланяться больному и пообещал завтра его навестить. Ничке слышал приглушенные разговоры, которые госпожа Рауш вела на кухне, сперва с Копфом, потом с кем-то посторонним — не то разносчиком молока, не то письмоноском.

На следующее утро благодаря не то лекарствам, не то травам господина Копфа Ничке, проснувшись, почувствовал себя намного лучше. Исчезла хрипота, и даже частично вернулся голос. Госпожа Рауш, которая, уходя вчера ночью, без спроса взяла с собой запасные ключи от дома, с раннего утра хлопотала на кухне. Сквозь щели в ставнях падали острые, режущие глаз полосы света, но по ним все же трудно было определить, какая сегодня погода. Ничке вдруг почудилось, будто все, что с ним вчера произошло, было очень давно, а на дворе уже выпал снег. Такая нелепость пришла ему в голову, наверно, потому, что в комнате было очень светло, а ему показалось, что и холодно, даже ноги у него немного замерзли. Когда госпожа Рауш заглянула в комнату, он спросил:

— Какая сегодня погода?

— О! — воскликнула госпожа Рауш. — Сразу о погоде! Сперва доброе утро, господин Ничке, и скажите, пожалуйста, как ваше здоровье?

— Доброе утро. Так себе. Вроде получше.

— Ну и отлично. А погода... Все залито солнцем, днем опять будет жара.

— А я что-то замерз.

— Замерзли?

— Только ноги.

— Ах, вот как? Может, открыть ставни?

— Пока не надо. У меня немного болят глаза.

Госпожа Рауш удалилась и через минуту вернулась с грелкой. Она завернула ее в полотенце и положила под одеяло, обнаружив при этом, что у Ничке действительно холодные ноги. От грелки исходило приятное тепло, оно разливалось по всему телу, и вскоре господин Ничке почувствовал себя совсем хорошо. Госпожа Рауш поправила у него в головах подушку, а на коленях разместила принесенный, наверно, из своего дома большой деревянный поднос. На подносе, застланном чистой белой салфеткой, были кофе, хлеб, масло, джем, яйцо, прикрытое вязаной салфеточкой, чтобы не остыло, а на краю, под пепельницей, лежала газета. На отдельной тарелочке были приготовлены лекарства, которые Ничке должен был принять после завтрака.

Ничке позавтракал, если не с аппетитом, то, во всяком случае, без отвращения. Может быть, именно потому, что все было так хорошо подано? Госпожа Рауш не мешала ему все спокойно съесть и даже не завела никаких разговоров, пока он просматривал газету. Она вообще исчезла где-то в глубине дома, может быть, вышла в сад и появилась как раз в тот момент, когда поднос стал господину Ничке обременительным. Забирая посуду, она спросила, что нового в газете.

— Возле вокзала нашли труп какой-то женщины.

— Опять, наверно, эти проклятые заграничные рабочие, какие-нибудь сербы или турки. Я даже днем, когда их вижу, умираю от страха.

— Да, симпатичными их не назовешь, — сказал Ничке, перелистывая газету.

— Дикие и грязные люди, в какой нейлон их ни одень... Я хотела помыть окна, вам это не мешает?

— Пожалуйста, мойте, дорогая госпожа Рауш. А открытые окна мне сейчас не повредят?

— Но ведь на дворе гораздо теплее, чем в комнате!

Госпожа Рауш открыла окна. Из сада плыл свежий, ласковый, теплый воздух и доносилось громкое чириканье воробьев. Госпожа Рауш молча совершала свой обычный ритуал мойки окон. Ничке он нравился — и не столько из-за запаха химической жидкости, слегка

щекотавшего ему ноздри, сколько из-за того, что госпожа Рауш ставила себе целью непременно вернуть оконным стеклам их первоначальную, так сказать, заводскую прозрачность. Немного погодя госпожа Рауш спросила, что пишут о погоде. Ничке ответил, что с завтрашнего дня облачность будет увеличиваться, возможны осадки и грозы с последующим незначительным понижением температуры. Он еще немного почитал газету и задремал.

После обеда госпожа Рауш сообщила, что пришел гость, господин Копф. Ничке согласился принять его, но просил, чтобы госпожа Рауш дала ему понять, что больной еще не чувствует себя в силах вести длительные разговоры. Копф был в рубашке с отложным воротничком. Его сильно загоревшая жилистая шея и худое лицо составляли резкий контраст с белизной воротника. Едва переступив порог, он воскликнул:

— Что же это такое, где вас так угораздило?!

— Простудился, — сиплым голосом ответил Ничке.

— Это я вижу, дорогой господин Ничке, вернее, слышу, но как это вы умудрились сейчас, в июле...

Копф расставлял на столике какие-то пузырьки, баночки и пакетики.

— Вспотел, выпил холодного пива.

— Вы поступили как ребенок, господин Ничке. В нашем возрасте нужно хоть немножко следить за своим здоровьем.

— В нашем возрасте! — заохал Ничке. — Садитесь, господин Копф.

— Благодарю. Мы, конечно, уже не молодые, но все же почему бы нам еще немного не пожить? Ведь спешить-то некуда!

— Но и бороться, собственно говоря, не за что. У меня, господин Копф, все лучшее уже давно позади.

— У меня тоже, дорогой господин Ничке. Пока человек молод, он по-настоящему не ценит жизни. Годы идут, только что была весна, глядишь — уже зима. А ведь иногда мы просто так убивали время, случилось, даже не знали, чем его занять! Не правда ли?

— Случалось...

— А сейчас каждый день дорог. Нужно увидеть и то и это, что-то сделать, что-то прочитать, кому-то написать. Нет, дорогой господин Ничке, спешить на тот

свет нет никакого смысла. Жизнь здесь интересна, а что будет там — неизвестно... боюсь, что будет очень скучно...

— Смерть может быть и освобождением, избавлением, успокоением...

— Ну и выбрали мы себе тему для разговора! Видно, путешествие это пошло вам не на пользу, господин Ничке. Вы не только простудились, но еще испортили себе настроение. Где это вы странствовали?

— Так, разные неприятные семейные и имущественные дела.

— Да, это вещи малоприятные, — сказал Копф и задумался.

Раздался стук в дверь, и в комнату вошла госпожа Рауш. Она была одета по-праздничному — в голубом платье, в белом с кружевами переднике. Госпожа Рауш спросила, не желают ли господа кофе или чаю? Копф попросил налить ему не очень крепкого чая, господину Ничке госпожа Рауш посоветовала выпить кофе со сливками и спросила, что ему подать на полдник — гренки с маслом, бисквит или песочное пирожное? Она напомнила также господину Ничке, что пора измерить температуру, Копф рассматривал в это время написанный масляными красками пейзаж, изображающий покрытые снегом Альпы с домиком на первом плане. На крыше домика лежали тяжелые камни, вокруг на зеленом лугу цвел шафран. Потом он стал разглядывать вышитые серебряными нитками на черном шелке строчки из Священного писания: «Останься с нами, ибо уже приближается вечер и день клонится к закату...» — и наконец остановился возле тусклой, пожелтевшей фотографии, изображающей молодую женщину в длинном платье. Женщина сидела в парке на скамейке. Он спросил:

— Это фотография вашей жены?

— Да.

— Видно, была красивая женщина?

— Очень красивая. Красивая и добрая. Я пережил с ней немало прекрасных минут, — сказал Ничке и почувствовал в правом глазу крупную, горячую слезу, которая, однако, не скатилась по щеке, а каким-то непонятным образом протекла прямо в горло.

— Оба мы, господин Рудольф, пережили с нашими

женами немало прекрасных минут, — вздохнул Копф и замолчал. Он постоял еще минутку, вглядываясь в фотографию госпожи Ничке, пока его внимание не привлекла фотография семи-или восьмилетнего мальчика в коротких штанишках и матросской блузе; со скрипкой в руках он стоял у колонны, обвитой гирляндами из роз. Копф спросил с интересом:

— А мальчик со скрипкой — это вы?

— Вроде бы я...

— Значит, вы играете? — обрадовался Копф.

— Учился, но уже давно не держал скрипку в руках. А сейчас вообще не играю.

— Какую же скрипку вы играли?

— Вторую.

— Да вы, господин Ничке, просто находка! Я уже два месяца ищу вторую скрипку для нашего квартета!

Ничке вынул термометр и зажег ночник: 37,6. Ну, что за температура — не болен и не здоров! Ему пришло в голову нечто нелепое: нужно притвориться, что ты болен сильнее, чем на самом деле. Это поможет избежать других несчастий, даст возможность притаиться где-то в стороне, вдали от всех этих бед и пакостей, непрестанно преследующих нас в этом мире.

— Сколько? — спросил Копф.

— Тридцать восемь, — ответил Ничке и, погасив свет, стряхнул градусник.

— Отлично! Через три дня на прогулку, а через недельку мы уже устроим первую репетицию квартета! Вы знакомы с фон Домерацки?

— Нет.

— Он живет напротив вас. Очень симпатичный и культурный пожилой человек. Он играет на виолончели, судья Тренч взял бы альт, я первую, вы вторую скрипку и — па-па ри-ра-ри-ра пам-пам... — Копф дирижировал одним пальцем, многозначительно улыбаясь господину Ничке. Напевал он какую-то знакомую мелодию, кажется, Гайдна.

Копф, однако же, оказался оптимистом. Господин Ничке болел гораздо дольше, и был даже день, когда он почувствовал себя так плохо, что госпожа Рауш была вынуждена тут же утром побежать за доктором.

Температура поднялась значительно выше, чем этого хотелось самому Ничке, и упала только после серии уколов. Ничке еще и потом долгое время чувствовал себя очень плохо и, что самое скверное, стал страдать бессонницей. Он не мог уснуть до четырех, пяти часов утра, ворочался с боку на бок, слышал шум всех проезжавших ночью поездов и электричек, иногда даже далекий бой часов. А когда наконец под утро удавалось уснуть, ему снились какие-то дурацкие, запутанные и мучительные сны, после которых он просыпался весь в поту, а сердце колотилось так, словно он только что прибежал откуда-то издалека. Видно, болезнь, а может быть, и лекарства, которых он принял великое множество, всколыхнули в его мозгу какие-то пласты старых воспоминаний; так, например, ему несколько раз приснилась мать, которую он едва помнил, потому что она умерла, когда ему было всего шесть лет. Ему приснилось, что он вместе с матерью оказался в маленькой еврейской лавчонке; они покупают соломенную корзину для белья, и хозяин лавчонки дает ему розовый леденец, а мать снимает блузку и обнажает белую грудь. Одна грудь матери вдруг начинает расти, делается все больше и больше, покрывается жилками и пятнами и постепенно превращается в отвратительное месиво кровавых внутренностей. Потом мать исчезает, ее как будто ветром сдуло, а он бежит по улице, влетает в какие-то ворота и приподнимает железную крышку бетонного мусорного ящика, влезает в него и захлопывает крышку. Он должен спрятаться от отца, так как совершил некий поступок, какой — не помнит, знает только, что его ждет наказание, ужасно боится и чувствует себя очень несчастным. Он даже уверен, что это не он совершил тот поступок, а кто-то другой, сидевший внутри него плохой мальчишка, но отец не поймет и не даст ему это объяснить.

Через некоторое время Ничке все же стало лучше, и он понемногу начал поправляться. Большую часть времени он теперь проводил, сидя в кресле у себя в комнате. Иногда госпожа Рауш выносила кресло на крыльцо, чтобы он мог наблюдать, как она вместо него занимается прополкой, окучиванием, поливом и сбором первого урожая. Время от времени они с гос-

пожой Рауш обменивались соображениями относительно урожайности и способов ухода за землей, причем Ничке с удовлетворением отмечал, что госпожа Рауш, хотя и превосходно знала, как обрабатывать землю, никогда ничего не предпринимала без его согласия.

— Может быть, пасынковать помидоры? — спрашивала его госпожа Рауш.

— Пожалуй, да, — немного подумав, соглашался Ничке.

Или:

— Не кажется ли вам, что нужно закрыть цветную капусту листьями, а то будет некрасивая, желтая? — обращалась она к нему с вопросом.

— Если у вас нет более срочной работы, то пожалуйста, — отвечал Ничке.

Копфу так и не удалось создать квартет, так как Ничке, едва почувствовав себя немного лучше, на месяц уехал к дочери. Но еще до отъезда — словно в подтверждение того, что беда не ходит в одиночку, — произошло одно довольно неприятное событие. А именно: однажды утром Ничке вдруг услышал звонок и, выглянув в окно, увидел напротив своего дома фургончик с надписью: «Götz u. Söhne — Hoch u. Tiefbauunternehmung»¹. Прибывшие на этой машине люди были тут, наверно, уже порядочное время, так как успели установить посреди улицы теодолит и треножник, направленный трубой в сторону дома господина Ничке. Двое итальянских рабочих в пестрых шапках с козырьками, черные, как дьяволы, на другой стороне улицы приподнимали киркой плиты тротуара. Возле калитки стоял человек, похожий на мастера, и смотрел в окна дома господина Ничке. Ничке набросил на пижаму халат и вышел в сад.

— Мы приехали, — весело заявил человек, похожий на мастера.

— Простите, а по какому делу? — спросил Ничке, не открывая калитки.

— Будем копать. Мы это сделаем быстро — раз, два.

¹ «Гёц и сыновья — наземные и подземные строительные работы» (нем.).

— Копайте, сколько влезет, но при чем тут я? — сказал Ничке, похолодев от волнения.

Человек, похожий на мастера, рассмеялся:

— К сожалению, дорогой хозяин, у нас нет вертолета...

— Где же вы хотите копать?

— Как где? У вас в саду!

— Вы с ума сошли! — воскликнул Ничке, стараясь преодолеть внезапно напавшую на него одышку.

Человек вовсе не считал себя обиженным. Поведение Ничке он принял, видимо, за следствие какого-то недоразумения. Очень вежливо он объяснил, что фирма, которую он представляет, ведет по заказу армии земляные работы и прокладывает кабель, необходимый для питания каких-то устройств, сооружаемых на территории, находящейся по ту сторону сточной канавы, что на задах владения господина Ничке. Ров предполагается выкопать за шесть часов, приблизительно столько же времени понадобится, чтобы проложить кабель и засыпать ров. Завтра, примерно в это же время, все будет закончено. Представитель фирмы «Гёц» сказал еще, что придется выкопать два молодых деревца и все георгины, добавив при этом, что потеря не так уж велика, если учесть, что их владелец получит за все убытки соответствующее вознаграждение.

Перед запертой калиткой, ибо Ничке и не думал уступать, состоялась бурная дискуссия, в которую активно включился привлеченный шумом господин Копф и изрядная толпа прохожих. Господин Копф придерживался мнения, что гражданин немецкого государства должен быть заблаговременно предупрежден о том, что какие-то власти имеют намерение посягнуть на его собственность. А господин Ничке имеет право и не согласиться.

— Надеюсь, вы этого не сделаете? — спросил представитель фирмы «Гёц».

— Нет, сделаю! — воскликнул Ничке. Он ясно представил себе, как после раскопок будет выглядеть его сад, и почувствовал внезапный прилив горечи и злости.

— Во время войны мы понесли большие потери, и никаких разговоров не было, — сказал представитель фирмы «Гёц» и повернулся к господину Ничке спиной.

— Во время войны — другое дело, а сейчас войны нет! — крикнул Ничке и схватился за грудь. Ему показалось, что сердце его подпрыгнуло и вот-вот вырвется из груди. К калитке, расталкивая собравшихся, пробивалась госпожа Рауш.

— Что здесь происходит?! — воскликнула она. — Как вы выглядите, господин Ничке, ведь вам нельзя волноваться! — Затем она повернулась к человеку, которого сразу определила, как виновника случившегося. — Господин Ничке только что встал после тяжелой болезни. Неужели вы хотите, чтобы на вашей совести была смерть человека?!

Так как все симпатии окружающих были явно на стороне господина Ничке, а тот не открыл калитку даже для госпожи Рауш, представитель фирмы «Гёц» прекратил осаду. Рабочие сложили инструменты, погрузили их в машину, и бригада укатила.

Вскоре Ничке узнал, что среди накопившейся корреспонденции, которую госпожа Рауш, чтобы не раздражать больного, спрятала в буфете (ей показалось, что там какие-то счета и напоминания), было также письмо из магистрата, уведомлявшее господина Ничке, что планом строительных работ предусмотрена установка кабеля, проходящего также и через его участок. Письмо содержало оговорку, согласно которой господину Ничке, как владельцу участка, полагалось полное вознаграждение за весь ущерб, который мог быть нанесен земляными работами его собственности. Это его несколько успокоило. Дело тут даже не в возмещении убытков, а в престиже владельца собственности — ведь каждый человек хочет чувствовать себя свободным и независимым и не любит, когда это ставят под сомнение.

На следующий день, перед обедом, как раз накануне отъезда к дочери, Ничке получил возможность окончательно уладить этот вопрос, который стоил ему столько нервов. Госпожи Рауш дома не было, она уехала в город за покупками, а Ничке потихоньку собирался в дорогу, укладывая в чемодан какие-то мелочи, когда вдруг раздался звонок. Ничке выглянул в окно и увидел перед своим домом большой серый «мерседес», а возле калитки офицера в мундире летчика. Ничке нажал кнопку, офицер толкнул калитку и легким ша-

гом направился к крыльцу. В левой ладони он держал сложенные перчатки, а правой делал движения, словно бы с кем-то разговаривал или напевал какую-то мелодию. Ничке снял халат, надел пиджак и открыл входную дверь.

— Я имею удовольствие видеть господина Рудольфа Ничке?

— Да. Чем я могу быть вам полезен, господин полковник?

— Разрешите представиться — фон Тристенгауэр.

— Ничке. Очень приятно познакомиться. Заходите, пожалуйста, прошу вас, — добавил Ничке, ибо гость стоял, видимо, ожидая приглашения.

Полковник вошел, положил перчатки в фуражку и оставил ее в прихожей на столике.

— Чем могу служить? — еще раз спросил Ничке, когда они расположились у него в комнате, и придвинул к гостю коробку с сигаретами.

— Благодарю вас, я не курю, — сказал полковник, встав и слегка щелкнув каблуками.

Ничке не без некоторого удовольствия отметил про себя, что у этого молодого человека, которому в конце войны было не более двадцати лет, — а теперь он уже полковник, — хорошие манеры. Он производил впечатление человека сосредоточенного и вместе с тем по-юношески робкого и застенчивого. Впечатление это помогло Ничке избавиться от чувства неприязни или даже враждебности к человеку, о цели визита которого он сразу догадался. Он скорее почувствовал к нему нечто вроде симпатии, если не благодарности, и мог слушать речь молодого офицера с вниманием и без предубеждения. Все, что он от него услышал, касалось права распорядиться полоской земли шириной в сорок пять сантиметров, лежащей на глубине полутора метров под поверхностью сада господина Ничке, — права, которого Ничке не хочет предоставить германской армии.

Ничке узнал также, что дело, заставившее полковника прийти к нему, имеет огромное значение для обороны и будущего страны. В траншее, рытье которой, как это признал сам полковник, столь грубо нарушает право собственности господина Ничке, будет проложен кабель, необходимый для питания военной аппарату-

ры, устанавливаемой на огороженном проволокой, заброшенном и заросшем сорняками участке. Попутно полковник заметил, что протекающий за оградой сада господина Ничке ручей, не доставляющий удовольствия ни своим видом, ни запахом, будет при проведении работ во внеочередном порядке отведен в бетонную трубу и засыпан землей. Впрочем, полковник пришел не ради этой вонючей канавы, а по серьезному делу: он пришел попросить господина Ничке оказать важную услугу государству и народу. Времена меняются, сменяются правительства, уходят люди. Но есть еще нечто, что стоит над временем и правительствами, над политикой и человеческими страстями, именно оно заставило немцев приносить жертвы, которые повергли в изумление весь мир и дали им возможность выходить победителями из любого положения. Разве каждый из нас, немцев, не был готов всегда, когда этого требовала история, отказаться не только от какой-то части, но и от всего своего имущества и отдать даже жизнь ради идеи, которая столь лапидарно выражена в поговорке: «*Gemeinnutz geht vor Eigennutz*»¹. Времена меняются, и вот представитель германской армии приходит к гражданину Рудольфу Ничке — не с требованием, а с просьбой. Не как насильник, а как проситель...

Молодой полковник на минуту умолк, словно бы измученный речью, которая так нелегко ему давалась. Он и в самом деле говорил не очень складно. Вся эта трескучая и, как казалось, неотразимая риторика, к которой прибегали ораторы двадцать лет назад, действительно давалась ему с трудом. Спустя некоторое время полковник спросил:

— Вы были в армии во время войны?

— Да. Очень немногие немцы не были в армии. Пожалуй, только те, которых тогда уже не было в живых или которые еще не родились... — пошутил Ничке.

— А простите, в каком звании?

— Обер-лейтенанта.

— Господин обер-лейтенант Рудольф Ничке, пол-

¹ Общественное благо выше личного (нем.).

ковник фон Тристенгауэр не приказывает вам, а просит вас...

Госпожа Рауш два раза в неделю посылала письма, в которых коротко сообщала обо всем, что происходит дома и в саду. Так Ничке узнал, что земляные работы продолжались всего лишь день, а ущерб, нанесенный саду, был не так велик, как он предполагал. Правда, две яблони пострадали, но одну из них, пожалуй, можно считать спасенной, и все это благодаря господину Копфу, который собственноручно произвел соответствующую обрезку корневой системы и кроны, штамбы обложил мхом, обвязал веревкой и велел ежедневно поливать деревья и увлажнять окутывавший их стволы мох. Одна из яблонь, за которой столь заботливо ухаживал господин Копф, уже дала новые побеги, и господин Копф заверил, что она будет расти. Весьма возможно, что и георгины не погибнут. По мнению господина Копфа, если будет долгая и теплая осень, то они могут расцвести еще в октябре и даже в ноябре. Со дня отъезда господина Ничке госпожа Рауш уже трижды собирала помидоры. Они были довольно хорошие. Как-то раз она уступила два килограмма госпоже фон Домерацки (деньги в буфете на кухне), а часть помидоров законсервировала. Последний сбор ждет господина Ничке. Госпожа Рауш разместила помидоры в подвале на газетах, чтобы задержать созревание.

Письма от госпожи Рауш приходили очень регулярно, кроме того, раз в несколько дней она пересылала заказной бандеролью наиболее важные письма, поступившие на его домашний адрес. Как-то в конце третьей недели пребывания у Хедди Ничке получил письмо от госпожи Рауш с опозданием на два дня. Это было срочное письмо, и принес его специальный нарочный. Ничке обнаружил в конверте повестку, в которой ему предлагалось явиться в ближайшие дни в суд «в качестве свидетеля».

В письме было еще траурное объявление, повергшее господина Ничке в крайнее изумление:

«Вильгельм Копф,
69 лет,
ружейный мастер,

сержант-оружейник, трижды раненный: в 1915 г. под Френом, в 1916 г. под Верденом и в 1942 г. под Сталинградом, — награжденный дважды Железным крестом I и II класса и Военным крестом заслуги с мечами, после непродолжительных, но тяжелых страданий почил в бозе, о чем с прискорбием извещают внуки, семья, товарищи по оружию».

Комментарий госпожи Рауш к этому событию был очень краток, видимо, она писала в большой спешке, ибо считала себя обязанной помочь в горе семье усопшего Копфа и госпоже Циммер, которая за это время успела сильно привязаться к своему благодетелю. Покойный Вильгельм Копф уже несколько лет страдал какой-то тяжелой болезнью крови, к которой он, неизвестно почему, относился с легкомысленным пренебрежением.

Похороны должны были состояться в тот самый день, когда Ничке получил уведомление, следовательно, все уже было кончено. Ничке вышел в ближайший скверик, где частенько сиживал с газетой в руках, сел на скамейку и в окружении галдевших и игравших в мяч ребятишек думал о Копфе. Он был моложе покойного почти на семь лет, а в их возрасте это очень много. О смерти Копфа он думал так, как обычно думают об этом, когда знакомый человек умирает где-то вдали от нас и мы не были свидетелями его смерти. Мы принимаем его смерть к сведению, но не очень в нее верим, потому что в нашем воображении человек этот по-прежнему жив, и ему даже не так уж плохо. Мысленно представив себя открывающим свою выкрашенную в зеленый цвет и украшенную бронзовой дощечкой с надписью «Рудольф Ничке» калитку, Ничке отчетливо услышал скрип петель и, взобравшись на крыльцо, увидел оттуда живого и совершенно реального господина Копфа. На нем была светлая рубашка с засученными рукавами, и он, как всегда, был очень занят: что-то перевозил на тачке, склонив голову под свисающими ветками деревьев, и то исчезал за домом, то снова появлялся. Все это казалось совершенно естественным, поражало лишь одно: Ничке полностью отдавал себе отчет в том, что он не сможет, как обычно,

сказать Копфу: «Добрый день, дорогой сосед!» Ибо, несмотря на все, Копф, — это только видение, которое нельзя тревожить, и Ничке вынужден будет молчать.

На следующий день утром Ничке прогуливался по коридору здания суда и тупо рассматривал развешанные на белых стенах портреты немецких юристов. Тренч был занят, и секретарша попросила господина Ничке немножко обождать. У секретарши были полные, обведенные толстым слоем помады губы и черная родинка на подбородке. Многозначительно улыбаясь, она сказала, что ждать придется недолго. Она была права, ибо вскоре дверь кабинета Тренча открылась, и в коридор вышел пожилой господин в форме железнодорожника. Секретарша подала господину Ничке знак войти.

— А, это вы. Прошу вас!

Тренч поднялся с кресла, вышел ему навстречу и поздоровался за руку.

— Я получил от вас повестку, господин судья! — сказал Ничке.

— Да, да, знаю. Дорогая фрейлейн Вюнш, принесите, пожалуйста, бумаги «Герстенбауэр — Ничке», ладно?

— Сейчас, — сказала секретарша и вышла.

— Что вы скажете о Копфе? Кто бы мог подумать! Когда вы его видели в последний раз?

— Каких-нибудь три недели назад.

— А я, дорогой мой, видел его шесть дней назад.

В кабинет вошла фрейлейн Вюнш и положила на письменный стол голубую папку. Она бросила мимоletный взгляд на господина Ничке, но по выражению ее лица ни о чем нельзя было догадаться. Тренч надел очки, наклонился над папкой и сказал:

— Благодарю вас, фрейлейн Вюнш!

— И он казался вам совершенно здоровым? — спросил Ничке, когда секретарша вышла из кабинета.

— Ну, конечно! У него было отличное настроение, мы просмотрели с ним ноты и договорились вечером, нет, на следующий вечер вдвоем немножко поиграть. Да! На тот свет можно быстро отправиться...

Слушая Тренча, Ничке думал, что сегодня в нем есть что-то искусственное и что тогда, два месяца назад, когда Ничке был вызван сюда впервые, Тренч казался ему намного симпатичнее.

Судья Тренч снова наклонился над папкой с бумагами, полистал их с минуту, потом, закрывая папку и снимая очки, сказал:

— Итак, я хотел уведомить вас, что нами прекращено следствие против некоего Рудольфа Ниичке с двумя «и» по той простой причине, что, как выяснилось, Рудольфа Ниичке нет в живых.

— Он умер? — спросил Ничке.

— А разве вы не знаете?

— Откуда же мне знать?

— Да, он умер седьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого года в городе Клейн-Роттек, в провинции Мекленбург, при не совсем ясных обстоятельствах. Существует предположение, что он покончил с собой.

— Многие тогда пускали себе пулю в лоб...

— Это легко себе представить. Итак, останки Рудольфа Ниичке были погребены в тот же день на местном евангелическом кладбище. До сих пор живы свидетели: местный пастор и бывший Blockleiter. Да, ваша фамилия, господин Ничке, на одну букву короче. Одна буква, но для полиции это значит очень много. Одна буква — это совсем другой человек! — сказал с усмешкой Тренч.

— Ну, наверно, существуют еще и другие различия, господин судья...

— Я, конечно, шучу. Разумеется. К примеру: вы родились в Хебе, в Чехословакии, а Ниичке — в Берлине. В тысяча девятьсот сорок третьем году, о котором говорит этот Герстенбауэр, вы были в Африке, а не в Лангевизене. И так далее, и так далее...

— Этот Герстенбауэр, наверно, немного не в себе?

— Что-то в этом роде. По профессии он каменотес. Пять лет просидел в концлагерях. Нигде не работает, занимается чем-то довольно забавным, а именно — изучением Священного писания. Его лечили в больнице для нервных больных от меланхолии. Судим не был. Что ж, разные люди ходят по земле...

— Значит, настоящий сумасшедший... — сказал Ничке, но тут же подумал, что следовало выразиться как-то иначе. Однако судья Тренч не обратил на это внимания. Он наклонился к господину Ничке и, тихонько хихикая, сказал:

— У меня, знаете ли, есть коллега-прокурор, который всегда говорит, что только среди безумцев попадают порядочные люди...

Ничке из вежливости тоже рассмеялся, но при этом подумал, что некоторых людей приводят в хорошее настроение совершенно дурацкие шутки; и заметил, что судья Тренч значительно старше, чем он сначала предполагал. Смеясь, Тренч вдруг преобразился, лицо его сморщилось, покраснело и на некоторое время стало вовсе неузнаваемым. Ничке смотрел на него с отвращением. Успокоившись, Тренч еще раз повторил:

— Только сумасшедшие порядочные люди... Хорошо сказано, а?

— Отлично. И кто знает, может, ваш коллега и прав.

— А мне, господин Ничке, не все сумасшедшие кажутся порядочными людьми. Но если учесть, что мотивы их действий в большинстве случаев бескорыстны, доля правды все же в этом есть.

Судья Тренч закончил фразу уже серьезно, почти с официальным выражением лица. Он еще раз заглянул в папку и несколько секунд повозился со скоросшивателем. Вытащив несколько скрепленных вместе страниц машинописи, положил их перед собой и добавил:

— Я рад, дорогой господин Ничке, что все это уже позади. Каждое такое дело стоит мне уйму нервов.

— Отлично представляю себе, что ведение подобного рода дел не слишком приятное занятие для немца, — сказал Ничке.

— Увы, это так, господин Ничке. Но нельзя забывать, что Гитлеру в течение короткого времени удалось превратить всю Германию в сплошной бандитский лагерь и многих обыкновенных граждан — в преступников. В этом-то все несчастье.

— Согласен, но, позвольте, неужели же из-за этого

нас, немцев, всегда будут подозревать в разных пакостях?

— Вот именно... — повторил задумчиво Тренч. Он словно нехотя продолжал листать страницы машиннописи и вдруг резким движением протянул их господину Ничке.

— Что это такое?

— Письмо Герстенбауэра, на основании которого мы начали расследование по вашему делу. Местами текст совершенно бессмысленный, но, если вам угодно, можете его просмотреть.

— Надо будет его вам вернуть?

— Нет, что вы! Благодаря трудам фрейлейн Вюнш, которая снимает копии да еще исправляет орфографические ошибки оригинала, судебный архив располагает достаточным количеством экземпляров, — с легкой улыбкой заметил Тренч.

Ничке, собственно, хотелось сказать: «Благодарю вас, меня не интересуют сочинения всяких полоумных субъектов, из-за которых потом честных граждан таскают по судам», — но он этого не сделал. Почему? Помешало какое-то ложное чувство. Ничке взял бумаги из рук судьи Тренча, мельком взглянул на них, улыбнулся, сложил и спрятал в боковой карман пиджака. У Тренча был очень довольный вид. Он проводил господина Ничке до дверей и на прощание сказал:

— Загляните ко мне как-нибудь.

— Благодарю вас, я сделаю это с удовольствием, — ответил Ничке.

Выйдя из здания суда, Ничке пребывал в состоянии нерешительности; некоторое время он даже не знал, куда себя девать. День был чудесный, но не очень теплый. Ветер продувал город во всех направлениях, лишая его уюта и внутреннего спокойствия. Улицы, площади и дома казались совершенно иными, чем обычно, даже как будто незнакомыми. Город словно бы расширился и разросся; господину Ничке вдруг показалось, что до железнодорожной станции, где он оставил на хранение чемодан, идти вдвое дальше, чем прежде. Он переживал странное чувство — ему почудилось, будто он оказался здесь по ошибке или случайно, словно пассажир, высадив-

шийся из поезда не там, где надо, в совершенно незнакомой ему местности. Такой заблудившийся человек покидает не столько то, что было «прежде», сколько то, что было «далеко»; он оставил где-то реальную жизнь, но в этот момент она уже для него ничего не значит, ибо существовала в другом времени и пространстве. Но разве человек из-за того, что вдруг оказался в непривычных для себя обстоятельствах, непременно должен ходить на голове, говорить какие-то странные фразы и делать вещи, которых до сих пор не делал? Нет и еще раз нет!

Как же проводит этот день господин Ничке? Он заходит в магазины скобяных товаров и садового инвентаря, внимательно рассматривает винты, оковки, завесы, разный инструмент, спрашивает совета у продавцов, иногда спорит с ними, делает покупки. Он тратит много денег на предметы, которые не так уж ему необходимы, но и не бессмысленны. Так, например, приобретает прибор для опрыскивания деревьев, хотя обычно эту операцию за весьма умеренную плату проделывает местный садовник при помощи собственного аппарата. Потом Ничке заказывает десять яблонь и груш — их обещают доставить ему в ноябре — и хочет даже купить семена, которые пригодятся ему только весной.

Около четырех часов Ничке, почувствовав голод, решает зайти в какой-нибудь приличный ресторанчик — не обязательно первоклассный, но такой, где можно сносно пообедать и выпить хорошего пива. Там он рассчитывает найти укромное местечко, чтобы спокойно поесть, а после обеда не спеша достать из кармана полученные от Тренча бумаги и, закулив сигарету, просмотреть их, как это обычно делают после обеда деловые люди. (Надо заметить, что Ничке, переделав в течение дня столько дел, все же ни на минуту не забывал об этих бумагах, он все время чувствовал их в кармане, будто в этом месте к его коже был прилеплен пластырь.) К сожалению, ему не везет. Он попадает на один из многочисленных в это время года съездов какого-то союза не то хористов, не то гимнастов; ресторан полон потных и подвыпивших провинциалов со значками в петлицах, которые едят что попало и без конца пьют пиво. Нако-

нец с большим трудом ему удастся найти место за столом, съесть суп, по вкусу напоминавший заправленные мясными консервами помои, и жесткий шашлык. А в электричке, в которой он должен был ехать тридцать пять минут, очень тесно, и он сидит, зажатый, как в тиски, среди посторонних людей. Напротив тоже все места заняты, и все на него глядят. Ничке вынимает из кармана бумаги, разворачивает их, прочитывает две-три фразы, прячет обратно в карман и закрывает глаза.

Выйдя из электрички, Ничке вынужден взять такси. Это из-за чемодана, он не тяжелый, но, как это ни странно, нести его неудобно. Через несколько минут он уже отпирает замок своей калитки. Такси уехало, и сейчас в воздухе слышен только свист крыльев запоздалых ласточек. Они, словно пули, вернувшиеся обратно в дула винтовок, стремительно возвращаются в свои гнезда, тотчас же умолкая. Откуда-то издалека, из-за кустарников, еще доносится тихий женский смех. Сад наполнен зеленью до предела, так и кажется, что ей в саду тесно и она рвется за ограду. Ветер успокоился. Чистый свежий воздух бодрит. А какой у него запах! Ничке останавливается и дышит полной грудью. Да, но все же это уже не то. Чувствуются приметы осени — аромат увядших листьев, влажных трав и чего-то еще менее приятного — не то крапивы, не то истлевшей мешковины. Он запирает калитку и медленно идет к дому. В соседнем доме, у Копфа, горит свет, все окна раскрыты. На крыльце стоит чужой, худой и бледный молодой мужчина в очках, и господину Ничке кажется, что он совсем не похож на Копфа. Мужчина держит в руках книжку, но не читает — на дворе уже слишком темно.

Ничке открывает двери и чувствует знакомое теплое дыхание своей квартиры. Зажигает свет; в тишине слышен лишь шелест электрического счетчика. Этот едва уловимый звук, свидетельствующий о том, что квартира господина Ничке находится под опекой цивилизации, будет постоянным спутником его спокойных одиноких вечеров. Он вносит чемодан в комнату и запирает двери на ключ. Открывает окна, чтобы немного проветрить квартиру, и направля-

ется на кухню. Ставит чай. Газ в столь поздний час горит сильно, и вода быстро закипает. Ничке возвращается в комнату, закрывает окна, завешивает шторы.

Сейчас можно спокойно выпить чаю и прочесть эти бумаги. Потом он их разорвет и выбросит в уборную. Ничке уже не чувствует ни малейшего волнения — наконец-то он выбрался из сложного, трудно поддающегося определению душевного состояния, какого-то внутреннего несогласия с самим собой, состояния, которое в последнее время так ему опротивело. Все, что было, в конечном счете, бессмыслица, всего лишь сон, после которого не остается ничего.

Сегодня он ляжет спать пораньше. Некоторое время посвятит просмотру газет — на столике в прихожей целая стопка накопившейся за это время прессы. Потом потушит свет и быстро уснет. Последним чувством, с которым он погрузится в сон, будет нетерпеливое любопытство: что-то он увидит завтра в своем саду?

II

Ганс Иоахим Герстенбауэр,
толкователь Священного писания,

Марбург, Ander Ecke, 188

В Окружной суд в Гиссен
по делу бывшего оберштурмфюрера СС
Рудольфа Ничке

Пятнадцатого марта 1939 года я получил призывную повестку в армию, а на второй день после моего отказа взять в руки оружие, так как это противоречило бы моим религиозным убеждениям, я был арестован военной жандармерией, передан в руки гестапо и после трех месяцев следствия отправлен в концентрационный лагерь в Шёнвальд. Потом я прошел еще через много различных лагерей, но о них говорить не буду, остановлюсь лишь на одном из них — небольшом лагере Лангевизен, который был филиалом лагеря Юбергаузен. В 1943 году я провел там одиннадцать месяцев и хочу об этом рассказать в связи с личностью коменданта этого лагеря, оберштурмфюрера СС Рудольфа Ничке.

В лагерь Лангевизен я прибыл в феврале 1943 года вместе с группой хефтлигов¹ из лагеря Вальдзее. Нас привезли в товарных вагонах, и через час ходьбы мы издали уже увидели лагерь Лангевизен. Он был ярко освещен, этот огороженный колючей проволокой кусок земли. На следующий день, когда рассвело, мы увидели, что лагерь был небольшой, а вокруг расстилалась каменистая пустыня, поблизости не только не было никакого леса, не было даже ни одного деревца. Нас привели на плац, построили, и началась процедура приема. Не помню подробностей, впрочем, все было примерно так, как в любом другом лагере, мне запомнилось только, что при этом нас били меньше, чем в других местах. После регистрации каждому дали номер, при этом раздавались даже шутки. Нам говорили, что мы счастливики, ибо попали в очень неплохое место, что в Германии есть места и похуже, и не дай бог нам в этом убедиться. Мне об этом можно было и не говорить, так как я до этого уже успел побывать в шести лагерях.

На другой день нас разбудили в четыре часа утра и приказали построиться перед бараком. Пока мы стояли на дворе, в это время Stubedienst — дежурные по бараку — наводили порядок, мыли пол, окна, столы и табуретки, чистили и терли, чтобы все блестело, ибо такие уж порядки в Лангевизене. А мы стояли на морозе в одном тряпье без плащей, так как плащи были только у Aussen Kommando², с четырех до половины шестого утра. Помню, луна блестела над нами в черном небе и была похожа на кусок льда, а мы тряслись от холода, и мороз пронизывал нас до мозга костей. В полдень я впервые увидел коменданта лагеря оберштурмфюрера Рудольфа Ниичке, который обратился к нам, цугангам³, с речью. Он сказал тогда, что нам очень повезло, поскольку мы еще живы, и он, комендант лагеря, дает нам шанс пожить еще немного, если только мы будем умными и дисциплинирован-

¹ От нем. Häftling — заключенный.

² Команды заключенных, работавшие за пределами лагеря (нем.).

³ От нем. Zugang — пополнение; так называли заключенных, прибывших с транспортом.

ными. Лагерь окружен колючей проволокой не для того, чтобы мы удирали на свободу, от которой сами отказались, выступая против фюрера и Германской империи. Каждый, кто попытается бежать, будет убит. Но мы можем здесь жить и до конца своих дней, сколько уж кому отпущено, при условии, что будем работать, работать и еще раз работать. Он повторил также то, о чем все нам говорили: что в лагере есть один вход — через ворота и один выход — через печь, а кому это не нравится, тот может свое пребывание в лагере сократить, он никому не запрещает. И еще сказал, что лично он иногда удивляется тому, что в то время, как лучшие немцы проливают кровь и умирают во славу родины, мы, хефтлинги, такое свиное дерьмо, еще живы, но раз этого желает фюрер, то он, комендант лагеря, обязан лишь выполнять волю фюрера, утешаясь тем, что рано или поздно мы все равно превратимся в навоз, который удобрит немецкую землю.

Примерно такую речь сказал нам тогда комендант Ниичке, и я должен признать, что столь деликатного выступления я еще ни разу не слышал. Коменданты выступали редко, а уж если говорили, то только о смерти, а не о жизни. Но, может быть, причиной тому был ветер с востока, потому что именно там нашим армиям с некоторых пор перестало везти.

Потом потекли обычные лагерные дни, похожие на тысячу дней, которые я уже прожил в других лагерях, с той только разницей, что в Лангевизене были немного другие порядки, и, возможно, даже те, кто утверждал, что это еще не самый худший лагерь, были правы. Здесь меньше били и убивали, чем в других лагерях. Наш староста носил зеленый винкель¹, но человек был неплохой. Он хромал на одну ногу и любил откалывать разные штучки, главным образом во время переклички, особенно же когда в барак прибывали цуганги, которые его не знали. Но он был справедлив и даже евреев не очень преследовал — впрочем, в Лангевизене евреев было немного, их уже

¹ От нем. Winkel — угол; так называли треугольный кусок зеленой материи, который носили уголовные заключенные.

успели уничтожить в других местах. Меня направили в первый же день (прошу извинить за грубое выражение) в так называемую *Scheiss Kommando* — то есть в команду по очистке уборных. Наверно, прочли в моих бумагах, что я толкователь Священного писания и отказался идти в армию. Но я успел за свою веру претерпеть уже столько унижений, что для меня это ничего не значило. Работа в отхожем месте была даже не очень трудной, к тому же здесь можно было узнать все последние лагерные новости. В этой команде я проработал два месяца, а потом меня перевели на худшую работу, к так называемым «неграм». Эта команда целый день разбирала на части использованные электрические батарейки, отдельно раскладывая цинк, латунь, уголь, графит и марганец.

Ничего похожего я не видал ни в одном лагере. У людей от графита, смолы и марганца все было черное: одежда, руки, лицо, даже язык — только белки глаз сверкали у нас, как у негров. Отмыть это было невозможно, а от ядовитых частиц люди опухали, у них появлялись волдыри, заболели почки, и они умирали. На этой работе у меня вскоре начался понос. Он и раньше у меня был, в 1940 и в 1941 годах, но не в такой тяжелой форме. А теперь кровь лилась из меня через каждые полчаса и поминутно схватывали ужасные спазмы; ничто мне не помогало: ни жженный хлеб, ни зола из печи, что бы я ни выпил, что бы ни съел, от всего проносило. Я был уже старый лагерный волк и знал, что нельзя пить воду, что от этого можно умереть, но все равно пил. А как не пить, когда все внутри горит и кажется, что тут же скончаешься, если не выпьешь воды, что только вода — это жизнь. Но, видимо, мне не суждено было умереть, бог хотел, чтобы я уцелел и перед людьми стал свидетелем того, что было. Провидение поставило тогда на моем пути человека, который помог мне. Это было уже позднее, я работал тогда в каменоломне, но все еще был болен. Однажды, когда я заявил старосте, что болен и хочу пойти в ревер¹ за таблетками от поноса, ко мне подошел один француз, его звали Россиньоль, и сказал,

¹ От нем. *Revir* — больница при лагере.

чтобы я и не думал идти в ревир, потому что я «музульманин»¹, а комендант Ниичке, сказал он, часто заходит в ревир и записывает номера «музульман», а потом их вызывают в Politische Abteilung² лагеря Юберхаузен, и оттуда они уже никогда не возвращаются. Россиньолю дал мне две таблетки, на другой день еще восемь, и через три дня я был здоров. Сэтим Россиньолю я потом подружился. Это был хотя и неверующий, но очень добрый и веселый человек, и мы держались вместе.

Но прежде чем рассказать, как погиб мой друг Россиньолю, вернусь немного назад и скажу, как рука провидения управляла моей судьбой. От «негров» меня перевели в такую команду, которая разбирала аккумуляторы. Мы были, правда, не такими черными, как те, что разбирали батарейки, но здесь люди болели от кислот и олова, у них были так искорежены руки и ноги, что выглядели они, как дикие звери, а лица были так изуродованы, как будто они все время смеялись. Они делали под себя, и им ни в чем нельзя было помочь, бедняги лежали в ревирах на нарах, обитых толем, чтобы не загрязнять матрасов, и поправляться почти никто не поправлялся. В Лангевизене были и другие скверные команды. Например, команды, которые посылали за пределы лагерей, на ткацкую фабрику. Там они сортировали разное истрепанное, окровавленное и изгаженное тряпье, отдельно шерстяные, отдельно хлопчатобумажные и отдельно шелковые тряпки. Они тоже болели, от пыли и всякой гадости у них образовывались волдыри, лишай, заболели легкие. Случалось, правда, иногда они приносили покурить, некоторым удавалось найти в тряпках и золотишко. Они потом им торговали, но если попадались, то получали от капо пятьдесят ударов палок по почкам и через два дня были готовы. Такой порядок был везде, но в Лангевизене в этом отношении, пожалуй, строже, чем в других местах. Говорили, что комендант Ниичке лично следит за тем, чтобы каждый самый малейший кусочек золота был отправлен в Рейхсбанк на

¹ От нем. Muselmann — так называли заключенных в крайней степени истощения.

² Политический отдел (нем.).

счет Waffen SS¹, и приказывает в реви́ре даже у живых вырывать золотые зубы, не говоря уже о мертвых.

На разборке аккумуляторов я работал всего лишь неполный месяц. Как я уже упоминал, меня перевели в каменоломню. Почему это произошло — не знаю, просить я об этом никого не просил, может быть, в моих бумагах обнаружили, что я каменотес, видимо, так хотело провидение. Описывать эту работу не буду, все было так же, как в других лагерных каменоломнях, замечу только, что больше всего гибли образованные люди, так как у них не было никакого понятия о такой работе, а о безопасности здесь никто не заботился, скалы и камни валились прямо на голову; работали в любое время — и зимой и летом, в дождь и в жару, и днем и ночью. Я работал там до декабря 1943 года, когда меня перевели в другой лагерь, где я пробыл до конца войны.

А сейчас я вернусь к личности коменданта Рудольфа Ниичке. За время пребывания в Лангевизене я видел его только три раза: однажды изда́лека, когда он выступал перед нами, цугангами, с речью, потом как-то, когда он шел по лагерю, ну и в этот последний раз, о котором я хочу рассказать подробнее.

Когда у тебя позади четыре года лагерей и приходилось видеть столько ужасов, творимых одержимыми дьяволом гестаповцами и эсэсовцами, не удивительно, что мне тогда казалось, будто комендант Рудольф Ниичке не самый худший из них. Он сидел большей частью в своей канцелярии, откуда хорошо были видны ворота и все, что происходило в лагере. Иногда летом он совершал с собакой прогулку по лагерю, но чаще всего направлялся туда, где возле проволочного ограждения был отлогий скат, на который он велел привезти из деревни земли и приказал заключенным, понимающим в огородничестве, посадить помидоры. Сюда-то он главным образом и приходил — посмотреть на помидоры; говорили, что все помидоры у него пересчитаны. Так, наверно, оно и было, потому что, когда однажды кто-то украл два помидора, он приказал всем, кто был в это время в бараках, бегать до тех

¹ Войска СС (нем.).

пор, пока двое хефтлингов не были затоптаны насмерть, а трое или четверо вскоре потом умерли. Меня тогда в лагере не было, потому что я работал в Spätschicht¹ в каменоломне, и сам я все это не видел, а я хочу говорить только о том, что видел собственными глазами.

Однажды меня и француза Россиньоля, о котором я уже говорил, капо послал из каменоломни в лагерь за железнодорожными рельсами, так как на нашем участке нужно было продолжить железнодорожные пути. Мы пошли в сопровождении часового за рельсами, которые были уже смонтированы на шпалах, и если уж стоишь между рельсами, то нести удобно, но быстро идти невозможно, человек шел, словно в упряжке, а рельсы были длиной в восемь метров и все время раскачивались. Россиньоля шел первым, а пост² — сопляк лет восемнадцати — все время только покрикивал: «Schneller! Schneller!»³ И вот, когда мы поворачивали возле комендатуры на дорогу к воротам, Россиньоля занесло; и как раз под окнами комендатуры он невольно шагнул на клумбу и сделал по ней два шага. На клумбе были посажены цветы, и Ниичке, увидев это через окно, выскочил и закричал: «Ах ты, дерьмо свиное, не видишь, куда лезешь?!» Россиньоля плохо говорил по-немецки. «Я не хотел это сделать!» — сказал он. «Ты не хотел, но сделал, этакая ты скотина!» — завопил Ниичке, вырвал из рук у одного из хефтлингов мотыгу и ударил Россиньоля по голове. Россиньоля упал, тогда Ниичке стал его пинать, всячески обзывать и снова бить палкой по голове и по лицу. Россиньоля вообще не кричал, только с ужасом смотрел на него и выплюнул немного крови. Тут один эсесовец — из тех, кто выбежал из комендатуры, — крикнул: «Этот мешок с дерьмом все еще живет!» Ниичке вытащил револьвер, тот эсесовец тоже выхватил револьвер, а часовой, который вел нас, прицелился из карабина. Все стали что-то кричать, что — я уже не помню, и Ниичке выстрелил в Россиньоля. Он выстрелил несколько раз — пять или шесть, на-

¹ Ночная смена (нем.).

² От нем. Posten — часовой.

³ Быстрее, быстрее (нем.).

верно, плохо попадал, потому что Россиньоль даже приподнял голову. Все это я видел, но я не храбрый человек и боялся, я не мог даже сдвинуться с места, хотя Россиньоль и был моим другом.

С того времени, о котором я здесь рассказываю, прошло двадцать два года. Не знаю, что делали все это время те, кто нас тогда мучил и убивал. Я этим не интересовался, меня занимали более важные дела. Некоторых я видел на фотографиях в газетах в качестве обвиняемых, многие, наверно, спокойно умирали у себя дома, простившись с семьей, с женой и детьми. Ясно лишь одно — время течет, и наши палачи, и мы, их жертвы, стали на четверть века старше, пройдет еще столько же времени, и не будет ни их, ни нас, ибо все мы отправимся туда, где всех нас за все наши деяния будет судить праведный суд.

Я сам забыл уже много из того, что пережил, и все чаще, когда думаю о тех временах, мне кажется, что все это было лишь кошмарным сном.

Но когда недавно, во время моих ежедневных странствий из дома в дом со словом божьим, я оказался перед калиткой, на которой прочитал имя Рудольфа Ничке, а потом увидел его, мне что-то так сдавило горло, что жена моя, которая стояла тут же рядом, спросила, что со мной. Но я промолчал. Я подумал — если это он, то и бог с ним, он и так предстанет перед высшим судьей, и не мое дело вмешиваться в неисповедимые пути провидения — это тяжкий грех. Да и что такое преходящая кара в сравнении с вечным осуждением? Песчинка в сравнении с горой. И мы с женой пошли дальше выполнять наше предназначение. Но потом, когда мы вернулись в наш скромный маленький домик и возблагодарили господ за то, что имеем, вдруг все во мне перевернулось. Мне показалось, что пришел Россиньоль, и я слышал, как он говорит, что не хотел наступить на эти цветы, за что же его убили? А ведь он мог бы еще жить и сделать столько добра для своей семьи и для других людей. Мне чудилось, что он просит меня и даже требует, чтобы я, как немец, здесь, на немецкой земле, вспомнил о нем. Он даже сказал нечто вроде того, что если те, кто его убил, будут наказаны, то он оживет и сможет вернуться в свой дом.

Всю ночь до самого рассвета я не спал, все думал и мучился, потому что не знал, что мне делать. У меня не было уверенности, что человек, которого зовут Рудольф Ничке, это именно тот человек, который убил моего друга Россиньоля. Один раз мне показалось, что это он, а потом будто это совсем другой. Чем больше я думал и настойчивее старался вспомнить лицо того, тем больше я забывал его, все стиралось, все затуманивалось, и в конце концов я даже перестал видеть лицо моего друга Россиньоля.

1965

*Ганс Иоахим
Герстенбауэр*

ДИСНЕЙЛЕНД

ГЛАВА I

Я стоял, опершись на барьер у беговой дорожки, и глядел на зеленую траву. Ксенжак сидел рядом, на скамье. Он поигрывал висевшим у него на шее секундомером и тоже пялил глаза на зеленую траву.

Мы напряженно выжидали, кто первым нарушит молчание и заговорит.

Над стадионом прошумел вертолет, хлопая крыльями, пролетели голуби к синевшему в догорающем свете весеннего дня кургану Костюшки. Неожиданно они круто повернули к залитым солнцем башням Вавеля.

По дорожке неторопливой рысью трусил Мигдальский. Отмахивал свои круги. На его физиономии застыла идиотски сосредоточенная гримаса.

«И чего этот осел так старается?» — подумал я.

Я вовсе не сбрасывал его со счета. Я знал, что через год Мигдальский сумеет меня обставить. Он был упорен и честолобив. А главное, бег чертовски много для него значил. Впрочем, сейчас я точно так же подумал бы о любом, кто бежал по кругу. Все казалось мне сплошной глупостью, особенно это.

Неподалеку от нас прыгала Дорота. Слышались топот ее ног и выкрики. Я не смотрел в ту сторону. Вообще-то мне нравилось наблюдать, как она прыгает. Но сейчас меня абсолютно ничто не интересовало.

— Мигдальский! — крикнул Ксенжак,

Мигдальский остановился с вопросительной улыбкой. Ксенжак принялся кричать на него, возмущаясь, что он слишком высоко поднимает ноги. Он грубо ругался. Мигдальский удивленно смотрел на него, потому что обычно Ксенжак был с нами вежлив.

Мигдальский вовсе не поднимал высоко ног, и вообще какое это имело значение? Кроме того, Ксенжак и не мог этого видеть, так как смотрел на зеленую траву. Это я время от времени поглядывал на Мигдальского, который действовал мне на нервы. Ксенжак просто сорвал на Мигдальском злость, его бесило, что я не хотел заговорить первым. Потом принялся отчитывать его, зачем тот остановился. Но ведь Мигдальский вынужден был остановиться, выяснить, чего Ксенжак от него хочет. Слегка растерянный, Мигдальский побежал дальше. Мне стало жаль его. Я недолюбливал Мигдальского, но ведь это из-за меня Ксенжак наорал на него.

— Чертов растяпа! — словно бы про себя пробурчал Ксенжак.

В действительности это была мольба, чтобы я отозвался. А я молчал. И все больше злился на Ксенжака. Когда я понял, какое это с моей стороны свинство, мне стало нехорошо. Но я ничего не мог с собой поделать.

Подошла Дорота. Поправила трусики, хотя они ей нигде не жали. Просто умышленный прием.

— Мэтр, — сказала она, — у меня неразрешимые проблемы.

Ксенжак сердито посмотрел на нее.

— Никогда не ожидал, что ты на такое способна.

Дорота обычно все, что ей говорили, воспринимала буквально, и подчас с ней поэтому трудно было разговаривать. Но было у нее одно достоинство: она абсолютно ни на что не обижалась. Ребята бились об заклад, потешаясь над ней самым немыслимым образом. Она все это принимала с улыбкой. Такое понятие, как обида, для нее просто не существовало. Мне нравилась Дорота. Я отдыхал в ее обществе.

Она поглядела на меня, потом на Ксенжака и спросила:

— Мэтр, что вы хотели этим сказать?

Ксенжак вздохнул.

— Какие у тебя проблемы?

— Мэтр, что я такое сделала, чего вы от меня не ожидали?

— Да ничего, — сказал Ксенжак, — это я просто так.

— Неправда, мэтр, вы никогда не говорите просто так.

Меня злило это ее бесконечное «мэтр». К Ксенжаку все так обращались. И обычно я относился к этому с полным безразличием. Но сегодня даже такой пустяк меня злил.

— Я всегда говорю просто так! — заорал он.

Сила Доротиной наивности была всемогуща. Ксенжак невольно клюнул на нее, но быстро опомнился.

— Ну, скажи, наконец, какие проблемы тебя волнуют? — произнес он усталым голосом.

— Мне кажется, я плохо отмеряю шаг. Хотя, может, дело и не в этом. Я никак не могу попасть на планку. Почему так...

— Идем! — оборвал ее Ксенжак.

Он взял ее за руку. Они направились к спортплощадке.

Я раздумывал, что делать дальше. Уйти вроде бы неловко. Остаться — тоже.

Мигдальский приостановился и крикнул:

— Давай сюда, Марек! Скинь костюм и разомнись немного. Чего ты там нахохлился?

Это был наилучший выход из положения. Но чтобы Мигдальский не очень заносился, я все-таки остался в тренировочном костюме.

Я валял дурака. То обгонял Мигдальского, то позволял ему уйти вперед, и так без конца. Он нервничал и злился, потому что хотел спокойно и размеренно пробежать свои пять тысяч метров. Но именно поэтому я так и поступал. Когда я обгонял его в который-то там раз, он крикнул:

— Осади немного назад, за твоими ушами дорожки не видать.

— Генрик, — отозвался я, — столь сложные остроты явно превосходят твои умственные способности. Смотри, заработаешь воспаление мозга.

Это было не очень остроумно, но для Мигдальского сошло. Он раскрыл рот, не зная, что возразить, но тут

же закрыл его и с прежней сосредоточенной миной побежал дальше.

Уши у меня действительно немного оттопыривались. Но девушки говорили, что это мне даже идет.

ГЛАВА II

Мой отец был ужасным слюнтяем. Это обстоятельство повлияло и на мою жизнь, так как из своей он сделал вывод: слюнтяем быть плохо, а физическая подготовка позволяла избежать многих неприятностей. Он заставил меня заниматься гимнастикой, вообще спортом, изучать приемы джиу-джитсу. Когда мне было семь лет, он хотел научить меня делать сальто. Во время упражнения я сильно ударился головой, сервант опрокинулся, и севрский сервиз разбился вдребезги. Это был не настоящий севрский фарфор, а всего лишь подделка, что имело известное значение в последующей фазе инцидента.

От такого удара головой можно было навсегда остаться дураком. Но у меня оказалась чертовски крепкая голова. Когда потом я занимался боксом, ни один удар не мог свалить меня с ног. В боксе я имел шансы достичь недурных результатов, но как-то раз во время встречи юниоров Краков — Гданьск, когда на ринге дрался именно я, гданьский болельщик крикнул:

— Бей вислоухого!

Тогда я решил, что больше не стану заниматься боксом. Никаких комплексов из-за моих ушей у меня не было. Некоторые даже утверждали, что уши подчеркивают мою мужскую индивидуальность. Но, в отличие от Дороты, я обидчивый. Подчас я обижался даже не потому, что чувствовал себя задетым, а из простого подозрения, будто меня хотят обидеть. По большей части это оказывалось вздором, и окружающие удивлялись, почему я ходил с кислой миной. Из-за ушей у меня не было комплексов. По правде говоря, я перестал заниматься боксом не потому, что меня оскорбил этот выкрик, просто бокс мне осточертел. Я заявил тренеру Шиманяку, что, глубоко уязвленный хамством нашего зрителя, решил оставить ринг. Разговор вышел удивительно дурацкий. Шиманяк ударился в патетику и нес

чепуху относительно позиции спортсмена. Он был интеллигентным человеком, но мое глупое заявление вывело его из равновесия. Особенно, что я повторял одно и то же: «Я не позволю себя оскорблять». Я знал, что несу чушь, но не мог остановиться. Я не раз говорил или даже делал вещи абсолютно идиотские, отдавал себе в этом отчет, но не мог ничего с собой поделать. Шиманяк наконец потерял терпение и крикнул: «Поступай как знаешь и оставь меня в покое!» Я сказал: «Хорошо. Очень хорошо», — и пошел прочь. Тогда он буркнул: «Вислоухий дурак!» Я остановился и повернулся к нему. Постоял с минуту, а потом сказал: «Я как раз пришел к выводу, что вы были правы, и собирался признать это. Но раз и вы меня оскорбляете, я прощаюсь с боксом навсегда». Я понимал, что поступаю нечестно, и все-таки сказал такую вещь. Это было подло, поскольку я догадывался, что «вислоухий дурак» он пробормотал из сожаления, а не по злобе. Но притворился, будто понял иначе. Притворился, чтобы на него свалить ответственность за то, что я покидаю ринг.

Люди страшно лгут. Обманывают себя и других в большом и в малом. Один ненавидит другого. Даже самые близкие враждуют друг с другом. Дружба, родственные чувства, любовь — это лишь форма борьбы, которая идет везде. Я часто думал о жизни. И когда приходил к таким выводам, мне становилось не по себе.

Стычка между моим отцом и матерью походила на столкновение с Шиманяком. Я не утверждаю, что мать ждала случая, когда по вине отца я стукнусь головой. Но она искала повода для ссоры.

Отец был смущен. Он сказал:

— Ну зачем так кричать? Ведь фарфор не настоящий!

Он хотел пошутить. Думал таким образом разрядить обстановку. Но мать истолковала его шутку, как злобный выпад против ее материнских чувств. Как намек на то, что ее больше огорчает разбитый сервиз, чем моя голова. И она накинулась на отца с ответными упреками. А у нее накопилось их немало. Она кричала, и отец тоже пытался кричать, но у него ничего не получалось. У меня гудела голова. Больше от

их криков, чем от удара. Я хотел что-то сказать, но ничего не сказал. На меня ни отец, ни мать не обращали никакого внимания.

Это было в годы оккупации. Ссора затянулась. Стемнело. Отец зажег свет, но забыл спустить шторы, явился немецкий полицейский, который тоже начал орать. Он грозил расстрелом, но, получив стакан водки, рубленую котлету, оставленную мне на ужин, и деньги в придачу, ушел. При этом он держался униженно, как наш дворник Квятковский в канун Нового года.

Поведение немецкого полицейского повергло меня в уныние. Оно показалось мне мерзким, как поведение матери, и жалким, как поведение отца.

Во всяком случае, полицейскому удалось сделать то, что не удалось отцу: он разрядил обстановку. После его ухода родители долго молчали. Потом принялись проклинать оккупацию. А затем родители отправились спать и даже не позаботились положить мне на голову компресс. Впрочем, голова у меня совсем не болела.

Примирение родителей было мнимым. На следующий день разразился еще больший скандал. Виной тому была не моя голова, а комментарии по поводу севрского фарфора. Вскоре после этого мать ушла из дому. Она уже давно жила с одним врачом. Все об этом знали, кроме отца.

Мать была очень красивая. И не могу понять, каким образом она вышла замуж за такого слюнтяя, как мой отец.

Когда двое людей расходятся и у них есть ребенок, этому событию сопутствуют драматические коллизии. В нашей семье ничего подобного не произошло. Мать просто ушла из дому, а я остался. Время от времени она появлялась, чтобы забрать кое-что из вещей. Тогда они переругивались с отцом, но уже иначе, чем прежде. Менее нервозно, без криков. Когда я грохнулся и надо было побеспокоиться о моей голове, ссора началась из-за севрского фарфора. Зато теперь много говорилось о моем ушибе. Ясное дело, забота о моей голове послужила благовидным предлогом для их конфликта и разрыва, а не те постыдные для них обоих вещи.

Каждое воскресенье я приходил к матери обедать. Ее врач оказался симпатичным человеком. Я довольно

быстро подружился с ним, а мать всеми силами пыталась помешать нашей дружбе. Удивительно, но он тоже оказался слюнтяем.

Когда я начал заниматься боксом, он являлся на состязания и там, в зрительном зале, встречался с моим отцом. Они делали вид, что не знают друг друга, но своими криками старались ободрить меня и обменивались впечатлениями. Встречаясь где-нибудь в ином месте, они даже не раскланивались.

Мать не любила, когда я приходил к ней. Эти воскресные обеды были нам обоим в тягость. Как-то в воскресенье мы с ней остались одни в квартире. Ее доктор уехал по каким-то делам в Бохню. После обеда, стоя у окна, я глядел на погруженные в вязкие зимние сумерки краковские улицы. Неожиданно мать подошла ко мне. Некоторое время мы стояли молча, а потом она ни с того ни с сего принялась плакать. Более глупой и нелепой ситуации, думал я, быть не может, но я ошибался, так как через минуту она обняла меня и прижалась ко мне. Я замер, одеревенел, возненавидел ее. Я знал, этот порыв вызван не нежностью, не упреками совести. Ну и слава богу! Наверно, какая-то размолвка с новым слюнтяем. Может, она подозревает, что он поехал не в Бохню, а просто-напросто изменяет ей. Как всякий деспот и эгоцентрик, она была ревнива от природы. Даже моему отцу она закатывала сцены ревности, хотя относилась к нему с полным безразличием. Тогда у окна я подвернулся ей совершенно случайно. Она прижалась бы к каждому, кто оказался бы рядом.

Люди, когда их что-то по-настоящему проймет, ищут утешения в чьих-то объятиях. Это доставляет им психическое облегчение. А мне — нет. Я в таких случаях не только избегаю объятий, но и мое собственное тело мне в тягость. Тогда я отправляюсь в ванную комнату, моюсь, чищу зубы, бреюсь и причесываюсь. Я стремлюсь отвлечь внимание тела от его психических функций.

Меня трясет до сих пор, когда я вспоминаю эту сцену. Я молил бога, чтобы все побыстрее кончилось. Внезапно мать оттолкнула меня. Она перестала плакать, а на ее лице появилось злое выражение. Она дала мне деньги и сказала, чтобы я пошел в кино.

В кинотеатре я попал в облаву. Час спустя меня отпустили, но я заработал по морде от немецкого жандарма, который был весьма удивлен, что от его удара я устоял на ногах, и дал мне за это плитку шоколада, из посылок, какие англичане сбрасывали для нас с самолетов с надписью: «Поляки, мы наготове!» Исключительно вкусный шоколад.

Мать интересовалась мной только по необходимости демонстрировать на публику родительские чувства. Отец даже не пытался делать этого, но зато он все более рьяно занимался моим физическим воспитанием. Однако до меня ему было столько же дела, сколько матери, когда она обняла меня у окна. Он тоже использовал мое тело для расчетов с самим собой.

Он был адвокатом. Я не понимал, почему клиенты поручали ему вести дела. Я никогда не слышал, чтобы он выиграл какое-нибудь дело. Он жаловался на прокурора, на интриги, на то, что все стараются подставить ему ножку. Несмотря на это, многие прибегали к его посредничеству потому, что у него было имя. Отец моего отца был знаменитым адвокатом. Немало негодьяев было обязано ему тем, что он выручал их из беды. Но сам он кончил плохо. Его случайно огрел ломом по голове один преступник-джентльмен, которого он за год до этого спас от каторжных работ. Этот преступник-джентльмен занимал определенное положение в обществе и вел двойную жизнь. Стараниями отца моего отца ему не смогли предъявить никаких улик. Он был потрясен, узнав, что спьяну прикончил на Затишье ломом адвоката Аренса. Потом, на суде, он все время повторял, что никогда себе этого не простит.

Мой отец унаследовал от своего отца контору, клиентов и прежде всего имя. Я ненавижу слово «дедушка». Оно отдает древностью и инфантильностью. Лично я не придаю значения имени. Для меня важно, что человек делает и чего он стоит. Из всех героев древней истории особую неприязнь вызывал у меня Герострат. Я не мог думать о нем без раздражения. Я считал его идиотом.

В жизни нередко тот достигает удачи, кто путем искусных махинаций сумел создать себе имя. Такие используют глупость и нерадивость других, они, конечно, не хотят искать подлинные ценности, а хватают то, что

на виду и само идет в руки. В спорте подобные вещи невозможны. Но насколько я мог судить по разговорам в литературно-артистическом кафе «Под баранами» (куда я ходил только по настоянию Агнешки), в театре, кино и в мире искусства вообще имя играет иную роль. Например, актриса исполняет одну роль за другой и, как это принято у них говорить, роль за ролью «заваливает». Но она являет собой тип женщины, наделенной приятной полнотой, которая безотказно действует на режиссеров. Поэтому ей поручают новые роли. По той же причине всюду мелькают ее фотографии, у нее берут интервью, и так далее. У нее есть имя. Это воздействует даже на режиссеров, равнодушных к ее полноте. Они поступают так по глупости и лени. Если бы она была легкоатлеткой и полнота ее безотказно воздействовала на господина Эйвери Брэндеджа, она не установила бы мирового рекорда, не победила бы даже на окружных соревнованиях. Я не возмущался нравами артистических кругов, а просто констатировал факт. А то, что эта среда действовала мне на нервы, — другой вопрос. Вообще я мало интересовался искусством. Лишь в той мере, в какой меня к этому вынуждала Агнешка.

Спорт тоже нагонял на меня тоску. Я не был поклонником спорта. Выдающиеся профессионалы редко энтузиасты своего дела. Я это заметил. Не знаю, почему так получается. Может, они не забывают о тех мучениях, через которые должен пройти каждый, кто хочет достичь выдающихся результатов. Может, из скромности. Может, играет роль то и другое. Любой энтузиаст своего дела всегда казался мне несколько подозрительным.

Спорт — моя профессия. Даже нечто большее. У меня есть все основания считать себя выдающимся специалистом в этой области. Второе место в чемпионате Европы позволяло мне так считать. Я был бы, вероятно, даже чемпионом, если бы накануне соревнования по бегу не просидел допоздна с фордансерками в ночном ресторане в одном из фешенебельных кварталов города, где проходил чемпионат. Не знаю, чего ради я там торчал. Фордансерки оказались глупыми, мажорными кривляками и совсем меня не забавляли.

Впрочем, довольно о званиях, наградах и прочей чепухе. С этой точки зрения спорт нагонял на меня скуку. Однако он заменял мне дом, семью, детство. Это отец сделал из меня спортсмена. Но я не испытывал к нему благодарности. Наоборот. У меня не было ни малейшего желания стать спортсменом. Я не раз пытался оставить спорт. Но мне это никак не удавалось. Слишком глубоко он вошел в мою жизнь. Решения принимались без моего участия, вопреки моей воле. Я понимал: произошло что-то, что совсем мне не подходило и не имело со мной связи. Я никому не мог бы этого объяснить. Слишком все усложнилось. Я пробовал однажды поговорить с Агнешкой. Она сказала: «Ты усложняешь самые простые вещи. Тебе не хватает естественности». Она не поняла, что я имел в виду, и потому все свалила на меня. Не хватает естественности! Кто это говорил? Временами я начинал ненавидеть Агнешку.

Нет. У меня не было оснований благодарить отца. Я был для него чем-то вроде скаковой лошади. Но я плевал на это. Плевал и на то, как он ко мне относился. Но плевать на то, как сложится моя судьба, я не мог. Как она должна была сложиться? Если бы я мог предвидеть! Меня обуревали желания, стремления, страсти, в которых я не мог разобраться. Иногда я мечтал совершить героический поступок. И назло самому себе хотел, чтобы он остался неизвестным миру и человечеству. В противоположность идиоту Герострату.

Спорт, которым меня заниматься заставили, заменил мне все то, чего меня лишили. Подобно приговоренному к каторжным работам, я находил в нем компенсацию за утраченную свободу.

Нет. У меня не было оснований благодарить отца за то, что с помощью спорта я как-то нашел свое место в жизни. Заодно я презентовал ему имя. Прежде меня спрашивали, не сын ли я известного адвоката. Потом к нему обращались с вопросом: не отец ли он известного легкоатлета? Бог с ним! Это был его последний и, может быть, единственный повод к самодовольству.

Когда мне было двенадцать лет, сальто представлялось мне столь же обычным, как прогулка по План-

там¹. Отец спивался. Он даже не знал, в какую школу я ходил. Не знал, учусь ли я вообще. Когда мне надо было проплыть стометровку кролем, он сам замерял мне время. Однажды он был настолько пьян, что ухнул в воду вместе с секундомером. После этого он стеснялся появляться на тренировках, и это доставляло мне такое облегчение, что я даже полюбил плавание. Но как-то он заявил, будто плавание — глупейший вид спорта, и я должен заниматься боксом. Он невзлюбил плавание потому, что свалился в воду. Бокс не интересовал меня. Собственно говоря, меня по-настоящему ничего не интересовало. По натуре я был абстрактным мечтателем, мне бы родиться сыном миллионера и путешествовать по свету на собственной яхте, восторгаться заходом солнца на различных широтах. Но мой отец был не миллионером, а слюнтяем, и это, пожалуй, к лучшему: благодаря этому я стал спортсменом, что помогло мне как-то утвердиться в жизни. Итак, спорт меня не интересовал и не увлекал, а единственно, что меня действительно занимало, — курган Костюшки. Вернее, не столько сам по себе курган, сколько то, что находится за ним. Когда я спрашивал об этом, мне нетерпеливо перечисляли географические пункты: Беяны, Скавина, Тынец, Лянкорона, и так далее. Но меня интересовало совсем другое, а что именно — я не мог объяснить, поэтому меня называли чудаком. Я любил глядеть на курган Костюшки, особенно на заходе солнца, я любил представлять себе сияющие миры, которые скрываются за ним. Миры, отличные от того мира, в котором я жил, полные неведомых образов и красок, где мне бы все благоприятствовало. Не сделайся я спортсменом, я наверняка свихнулся бы.

В школу я ходил только благодаря слюнтяю номер два, маменькиному доктору. Он поинтересовался, чем я занимаюсь помимо плавания и разных трюков вроде сальто. Когда он узнал, что остальное время я бью баклуши, то определил меня в школу. Мать восприняла это как личное оскорбление. Разразился дикий скандал. Агнешка по временам вела себя точно так же, как тогда моя мать. Ну, я сам обошелся с Шиманяком несколько не лучше. Маменькин доктор своим примером

¹ Бульвар в Кракове.

доказал мне, что трусы в конечном счете всегда проигрывают. Он считал необходимым определить меня в школу, но боялся сказать об этом матери, понимая, что она воспримет это как выпад. По своей наивности он полагал, что, поставив ее перед свершившимся фактом, избежит скандала. Он был невероятным спонтяем. Он выходил из комнаты, когда мать спрашивала меня, как дела в школе. Я нес всякую околесицу. В школу я не ходил. Меня оттуда вышибли. Несколько раз туда вызывали отца, но он ни разу не явился. И все спрашивал у меня, чего от него хотят. Я отвечал, что это, вероятно, по поводу экскурсии на Мазурские озера. Он злился, что по пустякам у него отнимают время, и это успокаивало его совесть. Я никогда не кончил бы школы, если бы не Шиманяк. Он узнал обо всем и попросил заведующего окружным отделом просвещения принять меня обратно. Этот заведующий до войны сам был судьей на ринге. Перед тренировками Шиманяк проверял, приготовил ли я уроки. Если нет, отсылал меня домой. Шиманяк был единственным человеком, который принял во мне участие. Я всем ему обязан. Ну и хорошо же я отблагодарил его, ничего не скажешь! Умный и снисходительный, он умел находить с парнями общий язык. Только один-единственный раз он сорвался. Когда я заявил ему, что уйду из спортивного клуба. Моя глупость вывела его из равновесия. Впрочем, мы скоро помирились, и он продолжал меня опекать. На ринг я не вернулся. Однако это он уговорил меня заняться легкоатлетикой. Он сказал, что у меня фигура настоящего средневика. Он заметил это на тренировках. Но мне не хотелось бегать. Отказаться же от бега я не мог. Первые победы меня несколько воодушевили. Однако энтузиастом спорта я не был и так и не сделался им.

Шиманяк продолжал интересоваться моим учением. Когда я получил аттестат зрелости, он посоветовал мне поступить в архитектурный. Он сказал: «У тебя есть способности к рисованию. Смотри, не растрачивай себя попусту. А то еще станешь художником и начнешь малевать лица без носов или одни торсы с глазами. Ну и что дальше? Сопьешься и вообще перестанешь быть мужчиной. Если у тебя есть способности, надо проявить их в каком-нибудь практически полезном

деле. Иди в архитектурный». И я пошел, хотя архитектура меня не интересовала. И так всегда: всякий раз я безропотно покорялся тому, к чему меня вынуждали. Я подчинялся обстоятельствам. И безвольно плыл по течению. Я не был лишен воли и характера. Но моя воля и характер проявлялись под действием навязанных извне и последовательно развивающихся событий. Они теряли силу и смысл, когда я пытался вырваться из этого заколдованного круга.

Если бы меня спросили, верю ли я в судьбу, я ответил бы, что нечто подобное, возможно, и существует. Однако это не сверхъестественная сила, а стечение обстоятельств. Обстоятельства начинают взаимодействовать, когда мы еще не отдаем себе в этом отчета и не имеем возможности противостоять им. Можно ли противиться судьбе? Тогда требуется противопоставить ей собственную настойчивость, выработать свою правду и отвергать всякое вторжение правд чужих и банальных.

Шиманяк был так ко мне привязан, что я даже подумывал, не педераст ли он? Но мои подозрения развеялись, когда в один прекрасный день он пустил себе пулю в лоб из-за Лели, по кличке «Фиат-1100», жуткой шлюхи, которую каждый мог взять в ресторане «Феникс» за гроши. Он свистнул у милиционера пистолет во время матча с «Гвардией». Милиционер отсидел за это. Шиманяк был одинок, и его терзали неразрешимые комплексы, несбыточные мечты. Мой отец — слюнтяй и интеллигент — занялся моим физическим воспитанием. Шиманяк — дилетант и спортсмен — руководил моим духовным развитием.

Он не был педерастом, но сохранял комплексы в отношении к слабому полу. Эта шлюха оказалась первой женщиной в его жизни. А ему в ту пору исполнилось сорок пять лет. Когда неискuschenность сталкивается с внезапно пробудившейся страстью, происходят ужасные вещи.

Сначала самоубийство Шиманяка не произвело на меня должного впечатления. Лишь потом меня стали неотступно преследовать мысли о нем. Но больше всего меня мучила не его смерть, а то, что он был первым человеком, с которым я обошелся по-хамски. Что из того, что он простил меня? Я следил за вероломной

борьбой, которую люди вели друг с другом, наблюдал за лживостью человеческой натуры. Но когда сам поступил по-хамски, то даже не заметил, что оказался не лучше других. Я часто отдавал себе в этом отчет, но не умел отступать. Вопреки самому себе, я слепо устремлялся к тому, что могло принести мне пользу или удовлетворение. Как я восхищался князем Нехлюдовым из «Воскресения» Толстого. Я думал, способен ли я на такое? Мне казалось, что спасти меня от окончательного падения могло лишь опасение оказаться совершенной скотиной. Я не говорил об этом с Агнешкой. Но чем больше усложнялись наши отношения, тем чаще я возвращался мыслью к первому совершенному мною хамству.

Я по-свински обошелся с человеком, который в моей жизни значил больше, чем отец. Он пустил себе пулю в лоб потому, что его мечты вошли в противоречие с действительностью.

ГЛАВА III

Первый раз я влюбился, когда мне было семнадцать лет. Потом я влюблялся еще несколько раз. Не все увлечения заслуживают того, чтобы о них вспоминать. Но каждое оставляло чувство пустоты и тревоги, что ожидания никогда не сбываются и что наши желания — иллюзия. И еще оставалось чувство стыда оттого, что наши и чужие слова внезапно утрачивают значение.

Мы воображаем, что нас обязательно кто-то полюбит. Кто-то, кого мы рано или поздно встретим. Мы мечтаем о многом, что потом не сбывается.

О том, что такое любовь, я узнал в семнадцать лет. Пожилых людей умиляет любовь в этом возрасте, но они не относятся к ней всерьез. До чего коротка человеческая память! Ведь любовь всегда одинакова. Безразлично, в семнадцать лет или в сорок семь она заставляет людей делать глупости. Коротка человеческая память. Когда любовь проходит, человек удивляется, до чего же он был легкомыслен. И он насмехается над влюбленными, не взирая на их возраст. Коротка человеческая память! Люди легко поддают-

ся собственным иллюзиям, а к чужим относятся враждебно.

В соседней женской школе самой хорошенькой девушкой была Алина Вагнер. Мы не были знакомы, но она действовала мне на нервы. Она носила сдвинутый набок берет. Этот берет выводил меня из себя. Она тоже меня ненавидела. Встречаясь со мной, она делала надменную физиономию. Поскольку я на это не реагировал, она придумывала разные штучки. Однажды показала мне язык. И проделала это очень ловко: сразу же повернулась к своей подружке, будто не мне, а ей показывала язык. В другой раз, издали заметив меня, она передала портфель подруге, а когда поравнялась со мной, схватила себя за уши и оттопырила их. Получилось так же двусмысленно, как тогда, когда она показывала язык.

Накануне Женского дня пришло письмо, адресованное нашему классу. Я первый схватил его. Это было приглашение от девочек из соседней школы.

«Уважаемые друзья!

По случаю Женского дня мы устраиваем танцы.

Просим всех принять участие.

От имени X класса 135-й школы.

Алина Вагнер

P. S. Настоящее приглашение ни к чему не обязывает вашего товарища Марека Аренса. Его опасения, как бы во время танцев ему не отдавили уши, вполне понятны.

А. В.

Я прочитал письмо одноклассникам, опустив постскрипtum, потом изодрал его на мелкие клочки и выбросил.

На другой день после уроков я стоял на улице неподалеку от 135-й школы. Минут через пятнадцать из ворот вышла Алина. Она шла в мою сторону, глубоко задумавшись. Меня она заметила, когда нас разделяло всего несколько шагов. Она замерла на месте, а я стоял и глядел прямо на нее. Минуту спустя она быстро пошла вперед, споткнулась и заторопилась еще больше. Я подождал немного. Потом подбежал к ней

и дал ей пинка. Алина обернулась. Видимо, такого она не ожидала. Потрясенная, она уставилась на меня. Потом зашмыгала носом. Пробежав несколько шагов, она обернулась.

— Ах ты, хам! Мерзавец ты этакий! — кричала она. — Увидишь, мои друзья покажут тебе, запомнишь!

На третьем «ты» она расплакалась и дальше говорила всхлипывая, что было очень смешно. Постояв с минуту, она побежала. Она убегала от меня, боясь, как бы я снова не пнул ее или не ударил. Но я отомстил, и мне этого было достаточно.

А вот почему я побежал вслед за ней, я сам не знаю. Я не старался ее догнать. Приблизившись к ней, я замедлял шаг. Я не знал, что стал бы делать, если бы догнал ее. Прохожие оглядывались на нее. Какой-то мужчина попытался ее остановить. Наверное, спросил, не нужна ли его помощь. Она вырвалась и понеслась дальше.

Время от времени она оборачивалась. Видя, что я бегу за ней, она начинала плакать еще громче и пыталась бежать быстрее, но у нее это плохо получалось. Вероятно, она порядком устала. Добежав до аллеи Мицкевича, она пересекла мостовую, не обращая внимания на машины, и скрылась в Краковском парке. Я тоже перебежал через улицу и стал озиаться по сторонам. Тут мне вспомнился фильм о преступнике, который убил женщину на сексуальной почве. Этот эротоман точно так же оглядывался по сторонам, когда упустил свою жертву из вида. При этом у него было ужасающее выражение лица. Я испугался, не похож ли я на него. Все показалось мне омерзительным. Пинок, погоня, я сам.

Алина сидела неподалеку на скамейке. Она положила руки на спинку скамьи и уткнулась в них головой. У нее вздрагивали плечи. Я подошел к ней. Под ногами поскрипывал гравий. Она не шелохнулась. Я наклонился и стал гладить ее по голове. Берета на ней не было. Она крепко сжимала его в руке. У нее еще сильнее начала вздрагивать спина, и, не поднимая головы, она сказала:

— Ты отвратительное чудовище! Ты дикарь! Если бы ты знал, как я тебя ненавижу!

Я сел на скамейку, она повернулась ко мне и схватила меня за лацканы. Потом положила голову мне на грудь и прикрыла ее полою моего пиджака.

Я почувствовал, что теперь уже не похож на убийцу-эротомана.

Любовь была для меня чем-то совершенно новым. До этого меня занимали только спорт и учение, поскольку мне необходимо было обрести самостоятельность. Теперь я оказался в положении человека, который до этого, не имея никакого отношения к деньгам, вдруг получил назначение на пост директора банка. У нас в стране случаются подобные вещи. Поэтому они кончаются так же печально, как моя любовь.

Прошло немного времени, и Алина начала гулять с другим парнем. Его звали Артур Вдовинский, он был сыном журналиста и считал, что это обязывает его демонстрировать свои хорошие манеры.

Однажды я случайно встретил их в Краковском парке, неподалеку от той скамейки. Они шли, держась за руки. Первой меня заметила Алина. Она отпустила руку Артура и толкнула его в плечо. Он замедлил шаг. Я остановился и загородил им дорогу. Не знаю, зачем я это сделал. Я хотел с презрением пройти мимо них и не подозревал, что во мне столько злости. Алина глядела на меня с таким выражением, как тогда, когда я ее ударил. У нее дрожали губы. У него тряслись руки. Я решил съездить ему по физиономии. Один раз, но с достоинством. Однако в его глазах я увидел, кроме страха, решимость драться со мной. А я тогда был чемпионом Польши среди юношей в полутяжелом весе. Его отчаянность вызвала мое уважение. Я сплюнул ему под ноги и удалился. За спиной я слышал плаксивый голос Алины:

— Это страшный хам. Пойдем, Артур. Ты не представляешь себе, что это за хам.

Я подумал, может, вернуться и сорвать у нее с головы берет? Но мне расхотелось что-либо делать.

С тех пор у меня комплекс на почве беретов. Стоило мне встретить девушку в берете, надетом набок, как меня подмывало подойти к ней и сорвать его с головы.

Артур был предприимчивым парнем. Он сделал с Алиной то, что мне в пору возвышенной первой

любви казалось святотатством. А добившись своего, бросил ее.

Впоследствии я часто встречал его. Он был театральным режиссером. И успешно делал карьеру. О нем говорили и писали. Он снабжал меня контрамарками. И хотя театр нагонял на меня скуку, контрамарками я улаживал с Агнешкой разного рода размолвки. Артур мне нравился. Он был образован и остроумен.

Как-то заговорили о прошлом.

— Послушай, ты действительно стал бы драться, если бы я ударил тебя?

Вопрос был так наивен, что мы оба расхохотались.

— С ума ты сошел, — сказал он. — Я страшно перепугался. Стоило тебе только замахнуться, и я удрал бы без оглядки. — Потом он добавил: — Она любила тебя, а не меня. Когда ты ушел, она заплакала. Мы собирались пойти в кино, но она убежала домой.

Все это было так наивно, что мы опять рассмеялись.

Говорили, что Алина, когда ее бросил Артур, начала пить. Будто бы стала захаивать в «Феникс» и шилась там с кем попало. Я не испытывал от этого удовлетворения. Мне было досадно. Этого бы не случилось, если бы она не бросила меня ради Артура.

На самом деле все было не так. Не Алина бросила меня, а я ее. И из-за меня она пошла по рукам.

Человек хочет, чтобы события развивались в благоприятном для него направлении. Действительность он игнорирует. Бывает глух к ее требованиям, если действительность не преподносит ему того, что его интересует и дает ему удовлетворение. Сколько труда и усилий затрачивает он, чтобы придать реальным фактам нужную ему видимость. И самым надежным подспорьем в этом является короткая память.

Отдельные факты в истории моей первой любви соответствуют истине. Но в действительности все обстояло иначе.

Любовь захватила меня врасплох как нечто совершенно неведомое. Я не мог с нею сладить. Не знал, какое место отвести ей среди остальных дел. И с пылом дебютанта все приносил в жертву любви. Кроме любви, меня ничего не интересовало. Я пылко демон-

стрировал свою жертвенность, делился сокровенными мыслями. А этого не надо делать. Это вызывает горечь и разочарование.

Два существа, которых соединила любовь, не могут стать совершенно одинаковыми. Будто любовь делает людей одинаковыми — безумная выдумка женщин, пробавляющихся литературой. Жертвуя всем и исповедуясь во всем, ты претендуешь получить в ответ точно то же и отвергаешь право другого иначе реагировать на те же самые чувства.

Я любил Алину, а она не давала мне повода думать, что не любит меня. Но во мне с каждым днем росло беспокойство. Мне казалось, что Алина не ценит мою любовь. Она сохранила свою индивидуальность, а я свою потерял, и это рождало во мне бунт. Я чувствовал себя обделенным. Я все меньше верил ее чувствам, мои же собственные перерастали в неприязнь. Я поверил в ее любовь лишь тогда, когда моя собственная любовь угасла. Тогда меня охватил ужас. Не оттого, что моя любовь угасает, а оттого, что ее продолжается. Теперь я не мог пожаловаться на недостаток чувства любви, ее был переизбыток. Я жаждал независимости. Я был измучен. Мне хотелось снова быть самим собой. Я мечтал только об этом. Я нес моральную ответственность за то, что у нее произошло с Артуром. Я мечтал избавиться от Алины. Когда мне это удалось, я принялся лгать самому себе. Я считал себя покинутым, подло обманутым. А потом, перебирая в памяти события, я выхватывал только те, которые отвечали моей ложной концепции. Я чуть было не дал в зубы Артуру, который невольно оказался моим союзником.

Когда Алина якобы пошла по рукам, я окончательно уверовал в собственную ложь и с чистой совестью мог сожалеть, что она так низко пала.

На самом деле Алина вовсе не пошла по рукам. Я встретил ее много лет спустя. Она выглядела великолепно. Лучше, чем тогда. Мы с ней зашли посидеть в «Варшавянку».

— Я рада тебя видеть, — сказала она, — так редко удается встретить старых друзей. Я живу в Новой Гуте. Ты совсем не изменился.

У нее действительно была тяжелая полоса в жизни,

но люди, как водится, преувеличивали. Она стала химиком. В настоящий момент не работает. Вышла замуж, муж ее инженер на металлургическом комбинате в Новой Гуте, у нее двое детей.

— Мне бы хотелось, чтобы ты познакомился с Каролом. У него пунктик на почве спорта. Он боготворит тебя. Во время матча с Англией, когда ты так здорово приложил англичан, он просто спятил от радости. Мне даже неловко было. Хотя все тогда посходили с ума. И я тоже. Но никто не радовался так, как мой Кароль.

«Должно быть, порядочный слюнтяй», — подумал я.

— Когда я сказала, что ты друг моего детства, он умолял пригласить тебя к нам. Приезжай! Увидишь, какой он славный.

— Уж, наверно, не такой хам и чудовище, как я.

Алина улыбнулась. Мне не следовало этого говорить. Я допустил бестактность пространственно-временного характера. Она потрепала меня по щеке и рассмеялась. Мне сделалось грустно. Чувства, которые некогда казались такими важными, теперь сохраняли чисто информационное значение.

Когда-то я говорил Алине, что она моя первая и последняя любовь. Отголоски этих слов снова слышались мне под сводами плохо освещенного кафе. Но они звучали слабо, глухо, почти неразличимо.

Не только ей одной я говорил, что она моя первая и последняя любовь. И всегда говорил правду. Ведь когда любишь, любовь как бы исключает все, что было, и все, что будет.

Эта встреча через столько лет не потрясла меня. А лишь убедила в том, что прелесть первой любви никогда не повторится.

Как-то моя тетка принесла мне конфеты. Ничего подобного я не пробовал в жизни. Я успел съесть только одну конфету. В тот день уезжал брат матери, гостивший у нас, и мать дала ему в дорогу конфеты. Я больше никогда не ел таких вкусных конфет. А может, это были самые обыкновенные конфеты, какие мне не раз случалось есть.

Я с удовольствием пошел бы в гости к Алине и познакомился с ее мужем.

— Тебя видели в «Варшавянке» с какой-то красоткой, — сообщила мне Агнешка через несколько дней.

— Это моя старая знакомая, еще со школьных лет. Она была влюблена в Артура Вдовинского.

Агнешка расхохоталась.

— Брось эти штучки. Ее биография меня не интересует. Ты ведешь себя так, будто я тебе закатываю сцену ревности.

— Я так себя веду?

— Ну а кто, я, что ли?

Я так и не поехал в гости к Алине и ее мужу.

ГЛАВА IV

Как-то январским вечером я вышел пройтись без определенной цели. Прогулки без определенных целей опасны. На Рыночной площади я встретил Артура. Он тоже прогуливался без определенной цели. Мы зашли поужинать в ресторан «Вежинек». Немного выпили, и нам стало весело. Ресторан уже закрывался, а нам не хотелось возвращаться домой, и Артур предложил зайти в «Феникс». Мне не улыбалось появляться в «Фениксе» или «Циганерии». Особенно навеселе. Ксенжак однажды уже читал мне по этому поводу мораль. Мне было наплевать на внешние приличия. Но пребывание в ночном кабаре, право, не стоило той удручающей скуки, которая охватывала меня, когда Ксенжак принимался читать мне нотацию. Артур вспомнил, что в Академии художеств бал-маскарад. Мы решили пойти туда. По пути заскочили к Артуру на улицу Святого Яна и распили бутылку виски — подарок немецкого режиссера из «Ансамбля-театра». Артур порядком набрался. В Академии художеств он с ходу подцепил девицу, изображавшую президента Эйзенхауэра, и быстро исчез вместе с нею. Она была завернута в географическую карту США, а на голове у нее высилась прическа а-ля статуя Свободы. К прическе она прикрепила кусочек картона с надписью: «Я — президент Эйзенхауэр». Итак, они исчезли. А я томился в одиночестве. Возвращаться домой не хотелось, но и оставаться не имело смысла. Я не был пьян. Я никогда не напивался. Во всяком случае, так, как другие. У меня чертовски крепкая голова. На этом маскараде я никого не знал. И не заметил ни одной

хорошенькой девушки. По углам жались парочки. Толстый лысый тип наигрывал на рояле попури из цыганских мелодий и плакал. Все выглядело довольно скучно. Я решил уйти. В вестибюле стояла девушка в восточном наряде. Лицо ее было закрыто, и видны были только глаза. Она стояла перед зеркалом и прихорашивалась. Когда я проходил мимо, она обернулась и посмотрела на меня. Ни разу в жизни я не видел таких больших черных глаз. Я сказал:

— Добрый вечер, вернее, добрый день!

— Спокойной ночи, точнее, всего хорошего, — отозвалась она и повернулась к зеркалу.

Я подошел к ней, обнял и попытался поцеловать. Вообще-то я не очень смел с девушками. Но ночью после возлияний все кажется простым, легким и приятным. Я не рассчитывал на успех и ожидал, что она поднимет крик или даст мне по морде. Такой исход меня не пугал. Ну, будет скандал, и, по крайней мере, я вернусь домой с сознанием, что этой ночью что-то произошло. Поцеловать ее было не так-то просто. Все лицо плотно прикрыто. Куда целовать? Оставались только глаза. Я решил поцеловать глаза, но она отвела голову.

— Лихо вы беретесь за дело, — сказала она.

— Вы дурно истолковали мой жест. Я научный работник, и мне хотелось убедиться вблизи, что это так сияет и вспыхивает — звезды или экзотические бабочки.

— Я хотя и не научный работник, но вижу, что передо мною форменный осел. Отойдите и не заслоняйте мне зеркало.

Я отошел. Она разглядывала себя с интересом. Казалось, она совершенно забыла о моем присутствии.

— Не могли бы вы на минуточку убрать эту завесу и показать свое лицо?

— Нет!

— Почему?

— Может быть, я дурнушка и у меня красивы только глаза?

— Этого не может быть.

— Ну а если я не безобразна, но вам не понравлюсь?

— А для вас важно мне понравиться?

— Это для меня вопрос жизни и смерти.

— Как вас звать?

— Йовита. А вас?

Я не ответил. Произносить вслух свое имя всегда казалось мне детски наивным.

— Ну?

— Не скажу. Вы скрываете лицо. Я скрою свое имя.

— Хорошо. Я буду называть тебя Родриго. Родриго, женись на мне.

— С удовольствием.

Она отвернулась от зеркала, взяла меня под руку и повела к громадному окну. Мы уселись на подоконнике. Своими темными светильниками она стала водить по моему лицу, словно пытаясь на нем что-то отыскать. У меня мурашки побежали по спине. Наверно, нечто подобное чувствовал Ромео, впервые увидев Джульетту.

— Родриго! Поклянись, что никогда меня не бросишь.

— Клянусь тебе, Джульетта... То есть я хотел сказать — Йовита.

— Джульетта? Какая еще Джульетта?

— Ну, Джульетта... Я забыл ее фамилию. Кажется, на К.

— Значит, у тебя кто-то есть. Ты меня обманываешь?

— Нет, нет! С Джульеттой покончено. С той минуты, как я увидел тебя, все красавицы мира для меня самые заурядные доярки.

— О, в наше время не стоит пренебрегать доярками.

— Ну, тогда коровы.

— Коровами тоже не следует пренебрегать.

— Тогда бараны.

— В самом деле?

— Клянусь тебе звездами твоих очей.

Йовита задрала голову и принялась болтать ногами.

— Ужасно скучно на этом маскараде, правда?

— Теперь нет.

— А мне скучно. Ты ведь не весельчак, Родриго. Попробуй развеселить меня.

Я обнял ее и прижал к себе. Она не сопротивлялась, но и не поддавалась. Она продолжала болтать ногами.

— То, что ты делаешь, тебе кажется безумно веселым занятием?

— Скажи, Йовита, тебя никогда не били?

— Ни разу в жизни. А тебе очень хочется меня избить?

— Да. Очень. И я это сделаю, если ты не скажешь, что любишь меня.

— Я не люблю тебя, Родриго. Но чувствую к тебе уважение и привязанность. Но это ведь не любовь.

— Солги, но скажи, что любишь.

— Вот еще! Можешь избить меня.

Я выпустил ее из объятий.

— Оденься как человек и пойдем.

— Куда?

— Ко мне. У меня веселей. И сам я дома гораздо веселее.

— Родриго, что ты мне предлагаешь?

— Ничего плохого. Приготовишь мне завтрак, а потом мы будем смотреть в окно. Из моего окна виден курган Костюшки.

— Никуда я не пойду. Избей меня.

— Не будем терять времени. Я хочу позавтракать, а потом вместе с тобой глядеть на курган Костюшки.

— Не будет никакого завтрака. Ты хотел меня побить.

— Я отколочу тебя дома.

— А я хочу здесь.

Я снова схватил ее и крепко стиснул в объятиях. Стиснул так крепко, что она принялась пищать и вырываться.

— Хватит. Отпусти меня, грубиян!

— Женщины часто называют меня грубияном. Но я не знаю, что это такое.

— А тебе хотелось бы им быть? Прикидываешься грубияном, но у тебя это не получается. Ты пал в моих глазах. Я больше тебя не люблю.

— Ага, призналась.

— Призналась, что не люблю тебя.

— Значит, любила.

— Это было давно. Потом между нами встала Джульетта.

— С Джульеттой у меня ничего не было. И вообще все это вздор! Никакой Джульетты не существовало.

Йовита обняла меня за шею и положила голову на плечо.

— Ох, Родриго! Я чувствую, что могла бы быть с тобой счастлива.

— Я и так уже счастлив.

Я сказал это искренне. И тотчас же спохватился, что у меня слишком искренний тон. Испугался, что нарушил какие-то правила игры и все испортил. И я поспешил прибавить:

— Увы, счастье нам не суждено. У меня жена и четверо детей. А отец жены заведует отделом в некоем министерстве, и он уничтожит нас, если узнает, что я хочу бросить его дочь.

Йовита соскользнула с подоконника.

— Пошли, — сказала она. — Пошли отсюда.

— Куда?

— Безразлично. Надо позавтракать. Можно пойти к тебе или в молочный бар. А лучше всего — ко мне. Из моего окна тоже виден курган Костюшки.

— Ну, тогда пошли.

— А кроме того, дополнительное удовольствие. Я живу с подругой, и она готовит завтрак лучше меня.

— А что будет на завтрак?

Я, конечно, был разочарован, узнав про подругу. Но не подал вида. Я видел, она следит, как я к этому отнесусь.

— Все, что захочешь. Ну, я бегу переодеваться. Жди меня у подъезда.

Она побежала по коридору и исчезла в темноте. Исчезла как сон. Я знаю, что это банально. Но обстоятельства иногда оправдывают самые ужасные банальности. Меня не очень огорчила ее подруга. Мне было безразлично, в какой компании я буду, лишь бы быть с ней.

Я долго ждал у подъезда. Часа два. А может, больше. Гости расходились повеселевшие. Они смеялись и покрикивали. Хмурый, расстроенный, я выглядел, должно быть, пикантно, и девушки улыбались мне и даже пытались заигрывать со мной,

Стало совсем светло. Я поплелся домой. Видно, она удрала черным ходом. Подшутила надо мной.

Я проснулся в полдень. С минуту соображал, не приснилось ли мне все, что произошло вчера. Потом схватил телефонную трубку и набрал номер Артура. Он ответил мне заспанным голосом.

— Я тебя разбудил?

— Вроде этого. Ничего.

— Прости. Что с Президентом?

— С Президентом? Ах, с Президентом? Президент готовит на кухне завтрак.

— Завтрак? Ну тебе повезло.

— Приходи, позавтракаем вместе.

— Нет, мне сейчас не до этого, Артур. У меня к тебе важное дело.

Он, наверно, заснул, так как ничего не ответил.

— Артур! — крикнул я.

— Что случилось? Ах, это ты. Прости. Я на минуту задремал. Знаешь, мы решили с ним пожениться.

— С кем?

— С Президентом.

— Ну да?

— Да, да... Сейчас, дорогая, сейчас. Я разговариваю с приятелем... Ну, что? Как ты вчера повеселился?

— У меня к тебе просьба.

— Ну?

— Очень важная просьба.

— Ну, ну?

— Твой Президент учится в Академии художеств?

— Подожди минутку, сейчас выясню.

Он отложил трубку.

— Да, — сказал он через минуту. — Президент говорит, что учится на третьем курсе.

— Артур, умоляю тебя, выясни, кто был вчера на маскараде в костюме турчанки.

— Турчанки?

— Турчанки, магометанки, одним словом, в восточном наряде, так что видны были только одни глаза.

— Ага. А тебе хотелось увидеть нечто большее, но ты не успел. Подожди.

Он снова положил трубку.

— Она говорит, что пришла под газом, а там еще

поддала. И не помнит, кто во что был одет. Если хочешь, она завтра выяснит.

— Умоляю тебя!

— Будь спокоен. Завтра я тебе позвоню.

— Еще раз извини, что разбудил тебя.

— Ничего. Все равно пора вставать. До завтра. Спокойной ночи.

На другой день я не пошел на работу. Позвонил и сказал, что у меня грипп с осложнениями. Мне не хотелось уходить, не дождавшись звонка Артура. Я боялся, что он вообще не позвонит. Выспится и будет думать, как быстрее избавиться от Президента. К пяти часам я потерял всякую надежду. Минут через десять зазвонил телефон.

— Марек! Президент разыскал твою арабку.

— Не может быть!

— Сейчас удостоверись. Они условились встретиться в шесть в гостинице «Французской». Ее зовут Мика. Приходи.

Он положил трубку. Я в волнении ходил по комнате и думал: неужели я мог оказаться таким идиотом. Втюриться до потери сознания в девушку, поговорив с ней пятнадцать минут и даже не увидев ее лица, и которую в довершение ко всему зовут Мика. Но именно так оно и было. Я принял душ, побрился и смазал волосы бриллиантином. Им меня снабдила Дорота. А ей подарил его влюбленный итальянский дискобол. Ему очень хотелось что-нибудь ей подарить, а все дамские сувениры он успел роздать. Я уже был в пальто, когда снова зазвонил телефон. Я испугался, не отец ли это, и решил не подходить к телефону. Но потом все-таки подошел. Это ведь мог быть Артур с какой-нибудь новостью. Но звонил все-таки отец. Разумеется, пьяный. Он бубнил в трубку, что я самый любимый его сын. Будто у него были другие сыновья. Я знал, ему нужно сто злотых. Я сказал, что оставлю сто злотых у дворника, и повесил трубку. Полнейшее разложение буржуазной семьи!

Я увидел Артура с Президентом еще из гардероба. Девушка рядом с ними сидела ко мне спиной. Я сознательно раздевался не спеша. Вошел небрежной походкой, споткнулся о завернувшийся угол ковра, но она этого не заметила.

— А, Марек, какими судьбами! — окликнул меня Артур и подмигнул.

Девушка повернулась. У нее оказались редкие белесые волосы, анемичная кожа и светло-голубые глазки. Артур и Президент выглядели смущенными, но прикрывали это напускной веселостью. Конечно, это была не Йовита. Я не видел лица Йовиты, но видел глаза, и ошибка исключалась. Эта девушка еще и шепелявила. Она говорила не умолкая, и все, что она говорила, было глупым и банальным. Подчас трудно было понять, о чем идет речь. То она рассказывала о соседском щенке, который все время лает. То, что этажом ниже живет акушерка, которая ненавидит детей, и на этой почве вспыхивают постоянные ссоры. Я думал, она оговорилась, и акушерка ненавидит собак. И переспросил ее. Но она подтвердила, что акушерка ненавидит детей. Казалось, ее оскорбила моя реплика. Потом она говорила попеременно о собаках, детях и акушерке. Ничего нельзя было понять. Я отозвал Артура в сторону. Артур не глядел мне в глаза.

— Артур, — сказал я, — произошла трагическая ошибка.

Он с облегчением вздохнул.

— Я подозревал, что тут что-то не так, но не хотел ранить твоих чувств.

— Президент напортачил.

— Президент не напортачил. У нее был точно такой восточный наряд, какой ты описал. А может быть, ты... Нет. Это невозможно.

— Ты думаешь, я до того упился, что перестал различать что к чему? Нет, мой милый. У той были изумительные черные глаза.

— Знаешь... после пол-литра могут привидеться самые необыкновенные глаза.

— Да. Но голос. И эта болтовня!

— Ты прав. Ошибки быть не может даже после целого литра.

— Артур! В таких костюмах были две девушки.

— Возможно! Президент остановился на первой. Я заставлю ее завтра разыскать другую. Знаешь, я решил жениться. Через месяц — свадьба.

Артур время от времени обещал очередной девице жениться на ней. Он верил, что выполнит свое обеща-

ние. Иногда он носился с этой идеей недели две, иногда больше.

— Артур, как мне тебя отблагодарить?

— Ерунда. Будешь проходить мимо Мариацкого костела, загляни туда и помолись за меня. А сейчас смывайся. Я понимаю, тебе тяжело глядеть на эту скучную самозванку. Я извинюсь за тебя, скажу, что ты внезапно заболел. Ну, иди, иди, и пусть тебе всю ночь снятся глаза твоей бедуинки.

Мне всю ночь снилась Йовита. Через два дня позвонил Артур.

— Марек! Мне очень жаль, но Президент произвел тщательное расследование и выяснил, что другой девушки в костюме баядерки не было.

— Быть этого не может!

— Марек! Примирись с мыслью, что тебе это прикидилось. Нет, нет! Я не думаю, что ты мог флиртовать с Микой. Просто ты заметил издали этот костюм, он произвел на тебя неотразимое впечатление, и ночью тебе приснилась Шехерезада.

— Клянусь тебе, это был не сон.

— Марек! Умоляю тебя, забудь об этой истории и вернись к нормальной жизни. Я тебе говорил, что собираюсь жениться на Президенте? Но, знаешь, я уже стар для подобных экспериментов. До скорой встречи.

Да, загадочная история. Но от этого мне было не легче. Я не мог забыть глаз Йовиты. Я страдал. Жизнь мне опостылела.

ГЛАВА V

На следующей неделе был банкет по случаю пятидесятилетия нашего спортклуба. Идти не хотелось, но отвертеться я не мог. В едва освещенном зале было темно и нудно. Я один раз станцевал с Доротой. Она выглядела прелестно.

— Дорота, как это тебе удастся быть такой красивой?

Дорота нахмурила брови и с минуту молчала.

— Не знаю, — сказала она. — Ты задал мне загадку. Я никогда не задумывалась над этим.

С Дорогой не все было ясно. Иногда мне казалось, что она дурачит нас.

Потом я танцевал с Хеленой, женой Ксенжака. Из уважения к нему. Разговаривать нам с Хеленой было не о чем. Она считалась красавицей. Каждый танцевал с ней по очереди. Не потому, что она красавица, а из уважения к Ксенжаку. Она это понимала и дулась. Она предпочла бы развлечься не как жена Ксенжака, а просто как Хелена. Чтобы сказать что-нибудь, я спросил: «Тебе весело, Хелена?» Она состроила гримасу и пожала плечами. Танец кончился, и я поцеловал ей руку. Она поглядела мне в глаза, улыбнулась и неожиданно потрепала по волосам. Потом повернулась и пошла к своему столику. Я шел за ней и ломал голову, что мог означать этот жест. Расходившийся Ксенжак разбрасывал серпантин.

— Ну что, Марек? Весело, а? Правда? — сказал он.

Я поклонился Хелене. Она кивнула мне в ответ. Она продолжала дуться. Я пошел в буфет. И думал о Йовите. В буфете был только лимонад да десертное вино. У меня в кармане имелась плоская фляжка с водкой. Я отправился в туалетную комнату, чтобы хлебнуть глоток. Там набилось много ребят. И каждый прикладывался к плоской фляге. Если бы в буфете продавали водку, никто не выпил бы больше двух-трех рюмок. Среди нас не было алкоголиков. Пожалуй, я употреблял больше других. Я думал о том, как понимать жест Хелены. Мы говорили о наших футболистах. О том, что они, вероятно, вылетят из первого класса. В секции царит беспорядок. Артур Вдовинский, левый полузащитник, жаловался, что систематически не платят командировочных. Он был слесарем и не имел ничего общего с тем Артуром. Вошел Мигдальский. Он никогда не брал в рот ни капли спиртного. Но враждебная борьбе с алкоголизмом атмосфера в туалете очаровывала. Он явился сюда с бутылкой лимонада, и мы его выставили. Все это мы делали просто от скуки. Даже Артур про командировочные, пожалуй, просто приврал. Кто-то предложил пойти в «Феникс». Но было неудобно уходить отсюда так рано. Впрочем, тащиться в «Феникс» никому не хотелось. Я еще несколько раз приложился к фляжке. Мне стало тепло и приятно. Я вернулся в зал. Меня все еще му-

чил вопрос, как понимать странный жест Хелены. Вдруг я остановился и хлопнул себя по лбу. Хелена — это Йовита. Ясно как день. Иногда она выкидывала номера. Не сказав никому ни слова, она могла отправиться на маскарад в Академию художеств. Я поспешил к столу, за которым сидели супруги Ксенжак. Над тем, что я сделаю, когда подойду к ним, я не задумывался. Но на полпути я остановился. Какой я осел! У Хелены — голубые глаза. У меня отлегло от сердца. Но почему Хелена так странно вела себя после танца? Просто у нее было плохое настроение. И она не хотела, чтобы я истолковал это как пренебрежение к себе. А я вообразил невесть что. Хорошо, что Хелена — не Йовита и ее жест ничего не значил. Хорошенькая получилась бы история, подойди я к ним. Зато я впервые заметил, что Хелена действительно красивая. Раньше я просто воспринимал это как общепринятое мнение. Я оглядывался по сторонам. Зал был декорирован неплохо. Возникла атмосфера гармонии и уюта. Кто это сделал? Они хотели, чтобы это выполнил я, но мне удалось отвертеться. Случай на маскараде не давал мне покоя. Я думал о том о сем, а на самом деле — только о Йовите. Случай на маскараде. Кажется, есть такая поэма или музыкальное произведение. А может, я ошибаюсь. Во всяком случае, звучало это лирически. Вообще-то я старался не поддаваться минутным настроениям. Но иногда это бывает приятно. Тоже своего рода игра. Человек притворяется, что он это не он. Или более веселый, или более грустный, одним словом, не такой, как на самом деле. Своего рода отдых от повседневных забот. Как во время путешествия. Я заметил, что для многих путешествие — это игра. Они как бы берут отпуск у самих себя и прикидываются перед дорожными спутниками, которые ничего о них не знают, кем-то другим. Неведение попутчиков — гарантия успеха в подобной игре. И вот в гимнастическом зале, превращенном в танцзал, я почувствовал себя вдруг кем-то другим. Кем именно, я не задумывался. Да это и не имело значения. Главное, я не был самим собой. Какое это облегчение! Правда, обстановка не была идеальной. Меня здесь все знали, как облупленного. Знали даже незнакомые, которых пригласили члены клуба. И это

омрачало радость. Портило игру. Я решил незаметно улизнуть. Скучно и нельзя отдалиться ощущению, что ты — это не ты. На худой конец можно бы позабавиться с Доротой. С ней мне никогда не было скучно. Но к ней прилип представитель Центрального комитета физкультуры и спорта и не отступал от нее ни на шаг. Возле буфета стоял Леон Козак с какой-то девушкой. Леон был баскетболистом. Рост Леона сто девяносто семь сантиметров. На девушку я не обратил бы внимания, если бы однажды в Закопаном Леон не отбил у меня чешскую спортсменку. Она меня мало занимала, просто я сейчас вспомнил об этом. Может, от скуки. Леон отошел на другую сторону буфета. Оркестр заиграл вальс. Вальс я не любил, но быстро подошел к девушке и пригласил ее танцевать. Я боялся, что она откажется и Леон это заметит. Но она мило улыбнулась, и мы начали танцевать. Я даже не разглядел ее. Я следил за Леоном. Он шел с двумя бокалами вина, умильно улыбаясь и не замечая ничего вокруг. Он следил только за тем, как бы не расплескать вино. И лишь дойдя до того места, где только что стоял с девушкой, Леон поднял голову и удивленно осмотрелся. Увидев нас, он сердито поджал губы. Я поклонился ему. Он сделал нетерпеливый жест, но, видно, вспомнив чешскую спортсменку, погрузился и поставил бокалы на столик. Особой интеллигентностью он не отличался, но надо отдать ему должное: понимал, что такое спортивный азарт.

— Почему вы улыбаетесь? — спросила девушка.

— Я?

— А кто же?

Я взглянул на нее. Она была красива. И главное, у нее были карие глаза. Не такие огромные и черные, как у Йовиты, но большие и темные.

— Потому что мне приятно танцевать с вами.

— Глупый.

— Я?

— А кто же?

— Почему глупый?

— Наверное, родились таким.

— Вы на меня за что-то сердитесь?

— Да, сержусь.

— За то, что я отбил вас у этого верзилы?

— Нет. Я вообще сегодня злая. Я уже два дня злюсь.

— Почему?

— А вам-то что? Это мое личное дело.

— Вы сами заговорили об этом.

— Нет, вы.

— Я?

— Ну а кто же?

Красивая, но ведет себя, как дура. А я терпеть не могу дур, даже самых красивых. Впрочем, на дуру она не похожа и на чувиху, пожалуй, тоже. У нее были коротко остриженные светло-каштановые волосы, небрежно зачесанные за уши и немного растрепанные. Пожалуй, умышленно. Когда она говорила, на щеках появлялись ямочки, и это придавало ей детскую непосредственность. Красота ее не бросалась в глаза, и, если бы не Леон Козак, я не обратил бы на нее внимания. По совести говоря, чудо-красотки немногого стоят: посмотришь на них, и сразу все ясно. По-настоящему ценишь красоту, которую познаешь постепенно, после каждой встречи открывая в ней что-то новое. У девушки, с которой я танцевал, мне больше всего нравились глаза. Они напоминали глаза Йовиты. Но между ними была существенная разница. У Йовиты глаза глубокие, таящие в себе нечто загадочное. У этой девушки глаза ничего не таили. Она глядела на меня без всякого выражения, и даже чепуха, которую она несла, не отражалась в ее взгляде.

— Почему вы молчите? — спросила она. — Вам со мной скучно? Если вам не хочется, мы можем больше не танцевать.

Я мечтал об этом, потому что не терпел вальса.

Играли его невыносимо долго. Казалось, ему конца не будет.

— С какой стати? Я счастлив, что танцую с вами. Я молчал, размышляя, почему вы называли меня глупым.

— Простите, если я вас обидела. А вы такой обидчивый?

— Я не обидчивый. Просто мне интересно, что вы имели в виду?

— Разве всегда надо что-то иметь в виду? Я сказала просто так. А вы кто?

Она не знает, кто я? Ну что ж, можно развлечься.

— Я инженер из Новой Гуты.

— И спортивный болельщик?

— С чего вы взяли? Спорт меня не интересует.

— Чего же вы тут делаете?

— Я любитель вырезать фигурки из бумаги. Это мое хобби. А доктор Плюцинский, председатель здешнего клуба, который лечил меня от печени, попросил меня украсить зал.

— А что такое «хобби»?

— Как? Вы не читаете «Пшекруя»? ¹

— Конечно, читаю. Ага, знаю. Это такая мания, да?

— Что-то вроде этого. А у вас есть хобби?

— Не знаю. Я собираю фотографии кинозвезд. Это хобби?

— Да. Типичное хобби. А чем вы вообще занимаетесь?

— Я легкоатлетка.

— Что вы говорите? Очень приятно. Первый раз так близко вижу настоящую, живую спортсменку.

— Тут прямо в глазах рябит от них.

— Я только что пришел. По обязанности. Доктор Плюцинский попросил меня последить за оформлением зала. А вы член этого клуба?

— Да. Я прыгаю с шестом.

— Что вы говорите? И высоко?

— По-разному. Иногда беру семь метров. Иногда восемь.

— Невероятно!

— Что же тут такого?

— Я не взял бы и пяти метров.

— А вы попробуйте. Надо только как следует оттолкнуться от земли и перебирать в воздухе ногами.

— Конечно, если иметь такие ноги, как у вас.

— А вам бы только плоские комплименты отпущать. Думаете клону? Как бы не так! Вы мои ноги и разглядеть-то не успели!

Я не знал, что ответить, да и отвечать не хотелось. А вальс все не кончался. Неподалеку танцевал доктор

¹ «П ш е к р у я» («Обозрение») — популярный иллюстрированный еженедельник, выходящий в Кракове.

Плюцинский. Он был в отличном настроении и метнул в нас конфетти.

— Берегись, Агнешка! — крикнул он. — Смотри, как бы этот Казанова не вскружил тебе голову. Аренс, почему ты вздумал соблазнять именно мою племянницу? Агнешка, почему у тебя такой глупый вид? Ты что, никогда не танцевала с известным спортсменом?

— Пожалуй, да, — невыразительно ответила Агнешка и отвернулась.

Мы долго танцевали молча.

— О чем вы так напряженно думаете? — спросила она наконец.

— О том, кто же я, собственно, такой? Я совсем запутался.

— Все очень просто. Вы — известный спортсмен. А я племянница доктора Плюцинского. Но с таким же успехом вы могли бы быть инженером из Новой Гуты, который ничего не смыслит в спорте, а я — легкоатлеткой.

— Правильно. Не кажется ли вам, что это обязывает нас выпить на брудершафт?

— Пить это отвратительное десертное вино? Нет. Я специально пошла с вами танцевать, чтобы не пить с тем верзилой.

— Мы найдем что-нибудь получше. Только бы этот проклятый вальс поскорее кончился.

— Вам так тягостно со мной танцевать? Какой же вы глупый.

— Я?

— Ну а кто же?

Агнешка остановилась.

— А я тоже не люблю вальс, — сказала она. — Пойдемте посидим где-нибудь.

Я соображал, где можно было бы с ней выпить? вспомнил про кладовую спортивного инвентаря. Она находилась в коридоре, который вел к гардеробной и душевой. Кладовая, разумеется, была заперта, но возле нее стоял завклубом Цыпрысяк и пил из плоской фляги. Заметив нас, он смутился. Разлил водку и принялся вытирать подбородок.

— Пан Цыпрысяк, — сказал я, — дайте на минутку ключ от кладовой.

Цыпрысяк закинул фляжку в задний карман. Сконфуженный, что его застали на месте преступления, он сделал вид, что смущен моей просьбой.

— Марек, мне очень неприятно. Но вы же знаете, что это запрещено. — Он наклонился ко мне. — Неужели вам для этого нужна кладовая?

Я махнул рукой.

— У вас только одно на уме! — воскликнул я. — Сочувствую вашей жене. К счастью, эта дама не понимает по-польски. Она представительница американского Олимпийского комитета. Я хочу показать ей наш клуб.

Я решил рискнуть и сказал Агнешке несколько слов по-английски. Как-то во время спортивной встречи в Лондоне меня разозлило, что я не могу поговорить с англичанами, и я стал изучать английский язык. Агнешка ответила мне довольно бойко. На Цыпрысяка это произвело впечатление. В Олимпийский комитет он, правда, не поверил и остался при своем мнении. Но что моя спутница — американка, поверил. А гостеприимство поляков по отношению к иностранцам безгранично. Он достал из кармана ключ.

— Я вас очень прошу, Марек, как только эта пани осмотрит наш спортивный инвентарь, тотчас верните мне ключ.

— Будьте спокойны.

— Я не могу быть спокойным. От таких представительниц Олимпийского комитета можно всего ожидать!..

Мы вошли в кладовую. Агнешка взяла с полки скакалку и начала прыгать. Она делала это с обаянием девочки, резвящейся в парке.

— Откуда вы так хорошо знаете английский?

— Где там хорошо! Я беру уроки английского языка, так как собираюсь в Соединенные Штаты.

— На соревнования по легкой атлетике? Прыгать с шестом?

— Нет, у меня там дядя. Он пригласил меня.

— У вас богатый выбор дядюшек.

— Это брат доктора Плюцинского. Он эмигрировал еще до войны. Сейчас он живет в Нью-Йорке и занимается коммерцией.

— Мы намеревались выпить.

Я извлек из кармана флягу.

— В самом деле.

Она положила скакалку и вспрыгнула на козла. Я встал возле нее и протянул ей фляжку. Она сделала приличный глоток и даже не поморщилась.

— Для спортсменки вы пьете недурно.

Я отхлебнул тоже. Она улыбнулась и слегка ударила меня скакалкой по спине.

— Может, вы как-нибудь заглянете на спортплощадку и попробуете прыгнуть с шестом?

Мы оба рассмеялись.

— Чего ради вам пришло в голову выдавать себя за легкоатлетку?

— А почему вам захотелось выдать себя за инженера из Новой Гуты?

— Не знаю. Просто так, от скуки.

— И я тоже от скуки. Но вы мне поверили.

— Вот уж нет! Во-первых, я знаю всех легкоатлетов в Кракове, во-вторых, даже если я их не знаю, они меня знают.

— Предположим, я могла оказаться начинающей спортсменкой, которую никто не знает, и она никого не знает.

— Предположим. Но, в-третьих, женщины не прыгают с шестом.

— Что вы говорите! Какая жалость!

— Мне тоже очень жалко. Это было бы потрясающее зрелище! А вот вы поверили, что я инженер из Новой Гуты, у которого больная печень и который любит вырезать фигурки из разноцветной бумаги.

— С чего вы взяли!

— А я вам не верю.

— Придется поверить. Ведь зал оформляла я.

— Гм... Да! Мы, кажется, хотели выпить на брудершафт!

Она протянула руку. Отхлебнула порядочный глоток и вернула мне фляжку. Я наклонился, чтобы ее поцеловать. Она подставила щеку, но я поцеловал ее в губы. Сначала робко, а потом все крепче и крепче. Она тихо мурлыкнула, что означало и одобрение и протест. Потом легонько оттолкнула меня и соскочила с козла. Мы стояли и смотрели друг на друга. Я хотел

снова поцеловать ее. Я знал, она ждет этого и теперь уже не оттолкнет меня. Вдруг меня осенило.

— Значит, это ты украсила зал?

Мой вопрос ее удивил. Опершись о козла, она поправила прическу.

— Да, я. Ты не веришь?

— Нет, верю. Так ты художница?

— Твоя способность сопоставлять факты восхищает меня.

— Ты кончила Краковскую академию?

— Я учусь на последнем курсе. А ты что, всегда интересуешься анкетными данными каждой девушки, с которой целовался?

Она старалась не показать, что обиделась.

— Ты была на последнем маскараде?

— Нет.

— А может, ты знаешь девушку, которая пришла на маскарад в костюме турчанки?

— Откуда я могу знать, кто во что был одет? Меня это не интересует. А в чем дело? Погоди... Погоди... Знаю.

— Ну? — Я ждал с нетерпением.

— Мика. Этой идиотке всегда приходит в голову какая-нибудь глупость. Я знаю, потому что...

— Нет. Это не Мика. Не о ней разговор. А может, ты знаешь Йовиту?

Агнешка запрокинула голову и засмеялась.

— Йовиту? Конечно, знаю. Но Йовита не учится в академии, и она не художница.

Я сообразил, что веду себя глупо, расспрашивая Агнешку о другой девушке.

— Знаешь, — сказал я уже гораздо спокойнее, делая вид, что меня это не очень интересует. — Произошла загадочная история. Как в фильме Хичкока.

Агнешка рассмеялась еще громче.

— Дай-ка глотнуть еще, — попросила она.

Я протянул флягу.

Она отпила глоток, но бутылку не вернула.

— Я все поняла. В этой истории нет ничего загадочного. Сейчас я тебе все объясню.

Но меня больше не интересовала Йовита. И вообще все, кроме Агнешки, меня перестало волновать.

— Потом объяснишь, — сказал я и хотел ее обнять, но она со злостью оттолкнула меня.

— Не будь агрессивным самцом, — сказала она. — Ты мне напоминаешь Курда Юргенса из фильма «Дьявол в шелках». Пошли отсюда.

Она протянула мне фляжку, поправила волосы. Мы вышли в коридор. Там нас ждал Цыпрысяк, который уже начал проявлять беспокойство. Он с облегчением вздохнул, когда я вернул ему ключ.

— Итак, Йовита, — начала Агнешка, — моя близкая подруга...

— Она меня не интересует.

— А разве я утверждаю, что она тебя интересует? Тебя заинтересовала загадка. Это действительно забавно. Сейчас я тебе все объясню. Так вот, Мика...

Мы вошли в зал. В дверях стоял Леон Козак.

— О! — воскликнула Агнешка. — Куда же вы запропалились?

Леон удивился, он считал, что это она куда-то исчезла. Он ничего не сказал, только поклонился, загадочно улыбнувшись.

— Нехорошо оставлять девушку одну. — (По-моему, Агнешка зашла слишком далеко). — На мое счастье, меня опекал благородный Курд Юргенс. Я мечтаю о бокале отличного напитка, которым вы собирались меня угостить. Вы выпьете со мной?

Она взяла его под руку и, удаляясь, бросила мне через плечо:

— Ты ведь еще не уходишь, дорогой? Увидимся позже.

Леон поклонился мне. Я ответил полным достоинства поклоном. Простодушный Леон! Если бы он знал, как мало занимали меня в данную минуту эти наивные штучки. У него было такое выражение лица, словно он забросил мяч в сетку. Ему по-прежнему казалось, что главное для меня — он, а не эта девушка.

В моей голове все перепуталось. Я уж и сам не знал, что меня больше занимает: Йовита, которую я наконец мог разыскать, или Агнешка. Одно было ясно, я хочу быть в обществе Агнешки. А я оттолкнул ее от себя. Кретин, целовать девушку и расспрашивать ее о другой? Агнешка стояла у буфетной стойки и, держа

бокал, делала вид, что пьет. Леон ей что-то рассказывал. Она прикидывалась, что ей смешно. Все острооты Леона я знал наизусть. Они не могли развеселить Агнешку. Оркестр заиграл рок-н-ролл. Леон поставил бокал и склонился перед Агнешкой. Он прекрасно танцевал. Гораздо лучше меня. Я должен был это признать.

Я снова отправился в туалетную комнату. Моя фляга почти опустела. Здесь уже никого не было. Допив остатки, я возвратился в танцевальный зал. Леон неистовствовал. Агнешка тоже танцевала прекрасно. Леон проделывал с ней невероятные па. Я боялся, как бы он не забросил ее в баскетбольную сетку. Я не ревновал к Леону. И не был зол на Агнешку. Просто я почувствовал себя страшно одиноким. Именно здесь в эту минуту мне стало совершенно ясно, что я потерпел полное поражение.

Ко мне подошла Дорота. Она держала под руку представителя Центрального комитета по делам физкультуры и спорта.

— Что это ты такой мрачный? — спросила она. — Вы знакомы?

— Что за вопрос! — с энтузиазмом воскликнул представитель комитета. — Кто не знает гордости нашей легкоатлетики!

Вообще-то я был падок на комплименты. Но на этот раз комплимент разозлил меня еще больше. Меня подмывало предложить представителю комитета пойти со мной хлебнуть в туалетную комнату. Я хотел его шокировать, заставив усомниться в воспитательном значении спорта. Но мне жаль было огорчать Дороту. А кроме того, моя фляга уже пуста. Поэтому я только улыбнулся с притворной скромностью.

— Леон-то, как танцует, а? — сказала Дорота.

Я поморщился.

— Да, недурно. Но я ни в чем не люблю крайности.

— Что это за кадр он подцепил?

— Дорота, боже мой, где ты набралась таких словечек?

— От вас и набралась, а что особенного?

Представитель комитета несколько смущенно улыбнулся.

— Пойдемте с нами в буфет, — предложил он, — чего-нибудь выпьем.

— Благодарю. Но я уже обещал Ксенжакам посидеть с ними за столиком.

— Знаю, знаю. — Дорота погрозила мне пальцем. — Ты хочешь закадрить Хелену. Не удивительно. Она самая стоящая бабенка в этом зале!

Последнюю фразу она ввернула с умыслом, чтобы слегка порисоваться. Дороте казалось, что это импонирует ее спутнику. Тот действительно взирал на нее с восхищением. Не знаю уж благодаря ее словам или же вопреки им.

Я направился к столику Ксенжаков. Я действительно решил потанцевать с Хеленой. Но на полпути отказался от этой мысли. Мне не хотелось появляться на паркете рядом с Леоном.

Агнешка с Леоном танцевали все танцы подряд. В перерывах пили вино у буфетной стойки. Она делала вид, что пьет. И ни разу не взглянула на меня. Она не искала меня взглядом, чтобы выяснить, что со мной, словно забыв о моем существовании. Я слонялся без дела. Выпил две рюмки вина и почувствовал себя неважно. В пять часов утра я решил уйти. Я подумал, что, может быть, в гардеробной, у входа, будет стоять Йовита в наряде султанши. Но застал там лишь совершенно пьяного толстого лысого типа, который на балу в Академии художеств наигрывал цыганские мелодии. Он декламировал «Оду к молодости»¹. Когда он доходил до слов: «И я над мертвым взлечу мирозданием», то не мог вспомнить продолжения, топал от злости ногами и начинал заново. Интересно, каким образом он проникал всюду?

Было морозно. Падая редкий снег. Месяц светил сквозь тонкий слой облаков, как лампа в окне с задернутой занавеской. По Блоням ехала извозчицья пролетка. Вавель за туманной дымкой и снежной пеленой напоминал театральную декорацию. Я поднял воротник пальто и побрел по напразлению к Плантам. Я думал о необходимости кардинально изменить свою жизнь. Бросить все, что было до этого, и посвятить себя работе на благо других. Уйти в монастырь?

¹ Известное стихотворение Адама Мицкевича (1798—1855).

Подать заявление в партию? Во всяком случае, исключить из своей жизни женщин. Под ногами поскрипывал снег. Доносились веселые голоса приглашенных, расходящихся после танцев из клуба. Кто-то догонял меня.

— Родриго, — неожиданно услышал я, — как же ты посмел бросить свою девушку?

Я остановился как вкопанный. Потом стремительно повернулся. Передо мною стояла Агнешка. Она улыбалась, как расшалившийся ребенок, который знает, что провинился, но что будет прощен. Ее щеки разругманились от мороза, она была в короткой шубке и меховой шапочке. Только теперь я заметил, что у нее чуть вздернутый нос, чего я вообще не люблю. Я старался не показывать, насколько я удивлен происшедшим.

— Ага, — сказал я, — так это ты — Йовита?

Она рассмеялась, как обычно, обнажая зубы.

— Нет, — ответила она, — я не Йовита. Ты на меня не сердишься?

Я не знал, на что мне следовало сердиться: что она не Йовита или что оставила меня на всю ночь ради Леона. Я счел за лучшее выбрать это второе.

— Нет, дорогая, — сказал я независимым тоном. — С какой стати я могу на тебя сердиться? У тебя нет по отношению ко мне никаких обязательств. И я сомневаюсь, выиграл ли бы я дело, подав на тебя в суд за нарушение обещания вступить в брак. Впрочем, Леон действительно великолепно танцует. Если бы я не стеснялся, то сам охотно с ним потанцевал бы.

Я двинулся дальше. Она бежала рядом торопливыми шажками.

— Я не понимаю, из-за чего эта истерика. Только потому, что я несколько раз станцевала с другим? — воскликнула она.

Я вдруг сообразил, что с этой девушкой мы едва знакомы, а разговариваем так, словно уже давно связаны.

— Истерика? Кто закатывает истерику?

— Ты!

— Я?

— А кто же? Ты обижаешься, исчезаешь потому, что я пошла танцевать с другим. Но я должна была

с ним потанцевать. Ведь сначала я покинула его ради тебя. Не следовало ли мне быть справедливой? А ты уходишь, не попрощавшись, и вынуждаешь меня бежать за тобой по морозу.

Я уже знал: она не из-за Леона спрашивала меня, не обиделся ли я. Но сделал вид, что не знаю.

— Тогда почему ты спрашивала, не обиделся ли я? Видимо, ты сама чувствуешь, что неправа.

— Не беги как сумасшедший, — бросила она зло, — разве ты не видишь, что я запыхалась? И вообще, куда мы идем?

Я сбавил шаг. Она взяла меня под руку. Я ничего не говорил ей. Мне не хотелось предлагать ей пойти ко мне. Это прозвучало бы недвусмысленно. Такая недвусмысленность меня пугала.

— Ведь не будем же мы все время разгуливать по морозу. Почему ты не пригласишь меня к себе позавтракать? Ты же Йовиту приглашал.

— Объясни, зачем ты мне морочишь голову? Ты — Йовита.

Она остановилась и засмеялась.

— А ты — болван. Абсолютный болван. Посмотри мне в глаза. Ты, должно быть, совершенно пьян. У Йовиты глаза черные, как уголь. У меня, да будет тебе известно, раз ты сам этого не заметил, глаза карие. Ты видел только ее глаза, но и их не запомнил. Расскажи я ей об этом, она бы еще больше расстроилась.

— Перестань наконец издеваться надо мной. Объясни всю эту историю с Йовитой.

Я посмотрел ей в глаза. Они были темно-карие. Агнешка прищурила их и чуть грустно улыбнулась, как бы сожалея, что они у нее не черные. Мы двинулись дальше.

— Я все время собираюсь рассказать тебе о Йовите, — произнесла она с нетерпением, — а ты меня не слушаешь или прерываешь. Вскружил девушке голову, а теперь даже слышать о ней не хочешь. Вот каковы вы, мужчины!

— Перестань надо мной издеваться!

— А ты так серьезно относишься к этой истории?

— Знаешь, Агнешка, ты просто невыносима!

— А ты глуп, как пробка. Иногда ты понимаешь шутку, а иногда теряешь чувство юмора и не разрешаешь пошутить. Но я вполне серьезно говорю тебе, ты произвел на Йовиту большое впечатление. Она была очень огорчена, что ты ее не дождался.

— Не дождался? Она сама от меня улизнула.

— Ты, по-моему, каждую женщину готов обвинить в том, что она улизнула, как только она тебе надоест. Как меня сегодня.

Я вздохнул и устало покачал головой. Мы шли по направлению к моему дому. Я живу на аллее Словацкого. У маменькиного доктора некогда был здесь кабинет для приема больных. Доктор уступил мне его, а спортклуб уладил вопрос с жилищным отделом. Агнешка широко шагала, стараясь идти в ногу со мной. Она шла, опустив голову, над чем-то задумавшись.

— Ты был пьян? — спросила она. — Признайся.

— Сегодня? Нисколько.

— Нет, тогда, в Академии художеств.

— Ах, тогда? Ну, может быть, слегка. Не очень. У меня вообще крепкая голова.

— Ты был пьян. Если ты хоть минуту мог думать, что я — Йовита, значит, ты был пьян. Разве ты не заметил, что по-польски она говорит с акцентом?

Я задумался.

— Нет, не заметил. Разве она иностранка?

— Польша. Но ее родители эмигрировали еще до войны в Австралию. Она там родилась. Собственно, она превосходно говорит по-польски, но с чуть заметным акцентом. Ты должен был основательно набраться, чтобы не заметить этого.

Я думал не о Йовите, а об Агнешке, о том, что мы идем вместе, что направляемся к моему дому, что она близкий мне человек, хотя еще несколько часов назад я даже не подозревал о ее существовании.

— Акцент тут ни при чем, — сказал я, — если ты встречаешь кого-то на исходе ночи, в восточной одежде и с маской на лице, трудно уловить еще и особенный акцент.

— Ты огорчен тем, что я не Йовита?

— Перестань пристегивать ко мне эту Йовиту. В чем дело?

— Ведь ты же сам затеял этот разговор.

— Я?

— Кто же еще?

— Конечно, мне интересно было бы что-то узнать о ней. Это была забавная и очень странная история. Но теперь она меня не очень занимает. А ты устраиваешь из этого невесть что...

— Но ведь ты сам спрашивал. А когда я начинаю рассказывать, ты не слушаешь. Ты ведешь себя довольно странно.

— Ничего странного в этом нет. Она больше интересуется тобой, чем меня.

— Это, пожалуй, моя единственно близкая подруга.

— В таком случае она в самом деле начинает меня интересоваться.

— Ты иногда такой глупый, что просто хоть плачь! Разговариваешь со мной, как пожарник, который подъезжает к кухарке в расчете на свиную отбивную или на что-то еще.

— Что значит, «что-то еще»?

— Почему я знаю? Может, на бутылку пива или на сто граммов водки.

— Ну и сравнения у тебя!

— Ох! Опять обиделся.

— Совсем не обиделся. Я просто удивляюсь, откуда у тебя такие сведения. От родителей? Теперь нет ни таких пожарников, ни таких кухарок. Пожарник теперь делает доклады, заседает в почетных президиумах, выступает по телевидению и участвует в дискуссиях о воспитании молодежи. Кухарки и котлеты ему и не снятся.

— Но пожары-то он все-таки тушит?

— Только по необходимости.

— Ну, а кухарки?

— Что кухарки?

— Какие теперь кухарки?

— Кухарок в наше время просто нет.

— Скажешь тоже! А кто же готовит обеды?

— У женщин, которые готовят, ничего общего нет с прежними кухарками. Это те могли припрятать в духовке свиную отбивную для своего пожарника или отложить деньги на книжку. А теперь они — члены Женской лиги, им преподносят цветы и подарки к

Женскому дню, и все они большие специалистки по части прав и обязанностей женщин в Народной Польше. Кстати, слово «женщина» означает скорее не пол, а некую расу, или класс, угнетенный в прошлом, который гордится тем, что был угнетен, и тем, что сбросил с себя иго. Поэтому они преисполнены уверенности в себе и задирают нос, а это может плохо кончиться.

— Что именно?

— Женщины могут плохо кончить. Пол — это пол, и ничего с этим не поделаешь.

— Как тебе не стыдно молоть такую чепуху?

— Нисколько, потому что это чистейшая правда.

— И, кроме того, о пожарниках и кухарках тебе известно не больше моего. А рассуждаешь ты так, будто принадлежишь к другому поколению.

— Я, по крайней мере, лет на пять старше тебя. Тебе, вероятно, двадцать один год, не так ли?

— Двадцать два.

— Ну, значит, я старше на четыре года. Это порядочная разница. Мне во время оккупации было семь лет, а тебе — три года, поэтому о кухарках и пожарниках ты знаешь только понаслышке. А я — нет. Наша кухарка угощала меня конфетами, чтобы я помалкивал, что к ней захаживает пожарник и она кормит его обедом. Вот это была кухарка! Самая что ни на есть настоящая кухарка. Не то что эти, из Женской лиги, с их Женским днем.

Во время оккупации у нас никакой кухарки не было, три раза в неделю приходила убирать хромая, беззубая, изможденная женщина — сестра курьера из суда, который погиб в Освенциме. На нее ни один пожарник не взглянул бы, даже если бы ему посулили самую великолепную отбивную.

Снег падал все гуще, мы шли по аллее Словацкого. Я увлекся своей выдумкой, и мне было наплевать на то, что это ложь, вранье. Зато благодаря ей у меня появилось чувство превосходства над Агнешкой. Но, главное, пожарники и кухарки позволяли забыть о Йовите, которая с беспокойной назойливостью вторгалась в дивную тишину снежной ночи. Агнешка спрятала лицо в воротник и слегка наморщила лоб. Мы прошли мимо маленького домика, утопавшего в снегу. В Кракове немало таких домишек. Трудно сказать,

что в них сейчас, что было раньше. Конечно, есть люди, которые это знают. Им не надо строить догадок. Домик напоминал такого добродушного мужчину в белой меховой шапке. В жизни я никогда не встречал добряка в белой меховой шапке, и, возможно, его вообще не существует. Тем это было забавнее. Все вокруг выглядело забавным. Все белое, невесомое и пушистое. Даже пьяный, который при встрече с нами сказал: «Привет, партизаны!» Меня клонило в сон. Но это был не обычный сон, а сонные грезы. Все было сном. Только Агнешка была явью и поэтому казалась привлекательней сна. До моего дома осталось шагов пятнадцать. Но и это расстояние показалось мне бесконечным. Мне захотелось поцеловать ее, поцеловать как можно нежнее и мягче. Это надо сделать ради нее, подумал я, и ради снега и пустынности, что вокруг нас, и еще потому, что я сильный, как атлет. Я остановился, взял ее лицо в свои ладони и стал разглядывать его, а она улыбнулась неуверенно и вопрошающе, хотя прекрасно понимала, почему я так внимательно ее разглядываю. Я наклонился, чтобы ее поцеловать, но она отстранилась, а потом вдруг прижалась щекою к моей щеке, обняла меня за шею и полураскрытыми влажными губами начала целовать меня в щеку, все ближе и ближе к губам. «Ого, девочка, кажется, опытная», — подумал я и тут же устыдился своих мыслей. Но это получилось как-то само собой, без моего участия. Мне не хотелось быть банальным и циничным, мне хотелось быть возвышенным и чистым. То, что я испытывал к Агнешке, не имело ничего общего с обычным приглашением девушки к себе домой после вечеринки. Наши уста сомкнулись, когда Агнешка вдруг с силой отпихнула меня и отвернулась.

— Нет, нет, — сказала она. — Уходи. Отправляйся разыскивать свою Йовиту. Чего тебе от меня надо?

Тогда я разозлился и, уже не заботясь о том, чтобы быть нежным и деликатным, схватил ее и стал страстно целовать, как Грегори Пек гордую индианку в фильме не помню с каким названием, от которой он, кстати, потом не мог отвязаться. Пораженная Агнешка хотела было защищаться, но на улице было скользко, и мы упали. Мы барахтались в снегу, злились друг на друга, и нам было не до нежностей. Но Агнешка

вдруг начала смеяться, тогда я выпустил ее из объятий и тоже захохотал. Мы сидели рядышком на тротуаре и покатывались со смеху. Неожиданно мы перестали смеяться, посмотрели друг на друга серьезно и стали целоваться по-настоящему.

На другой день я проснулся рано с ощущением, что во вселенной царит мир, гармония и порядок. Окинув взглядом свою комнату, я убедился, что это относится не только к сфере абстрактных представлений, которые охватывали и состояние моей души, но и конкретно к моей жилплощади. Обычно в комнате у меня был жуткий беспорядок. Теперь же она выглядела так, как будто ее хозяин включился в соревнование «за образцовый быт». Я не узнавал собственную комнату. Из кухни доносился звон посуды и прочие радостные шумы, по которым я часто тосковал, просыпаясь по утрам у себя дома в одиночестве.

— Агнешка! — позвал я.

— Что? — откликнулась она.

— Что ты там делаешь? Пойди сюда.

— Я готовлю завтрак.

— Ну покажись хоть на минутку. Поздоровайся со мной.

Она ничего не ответила, слышался только стук падающих кастрюль, вилок или ножей и тихое проклятие. Мне хотелось поскорее увидеть Агнешку. Посмотреть, как она выглядит, потому что, когда я влюблен, стоит мне перестать смотреть на девушку — как я забываю ее лицо. Мне грустно, что приходится настойчиво и напрасно восстанавливать в памяти дорогие черты, но в том их и прелесть, что они ни при каких условиях (исключая достоверные измерения действительности) не желают являться. Кроме нетерпеливого желания скорее увидеть Агнешку, меня мучила еще одна проблема. А именно: как она одета? Я заметил, что женщины, покидая общее ложе, любят натягивать на себя различные части мужского гардероба — пижамы, рубашки, пиджаки, иногда даже кальсоны — и расхаживают в них с известной долей пикантности. Лично я от подобных сцен не в восторге. Мне делается как-то неловко, хотя в конце концов почему не надеть пижаму, это даже трогательно, потому что слишком длинная и широкая, она сковывает движения женщины, придавая

им детскую неловкость. Однако все принадлежности моего туалета были аккуратно сложены на стуле. Конечно, не мной, а Агнешкой. Конечно, она могла достать пижаму или рубашку из шкафа, но я был уверен, что она этого не сделает. Ее одежды я тоже не заметил. Значит, она надела вечернее платье или расхаживает полуголой, что женщины тоже ужасно любят и что, надо признать, не лишено очарования, уж, во всяком случае, лучше, чем напяливать на себя мужскую одежду. Не знаю почему, но все это как-то не вязалось с Агнешкой, а какой-либо другой вариант практически был невозможен. Поэтому меня разбирало любопытство: какой из этих нарядов выберет Агнешка. Все они были одинаково неподходящими: в доме прохладно, а потом аромат кофе и звон посуды свидетельствовали о том, что Агнешка занята приготовлением завтрака. Но как же мало я ее знал! Она вошла в комнату энергичной походкой, бодрая, как само утро, весь ее облик как нельзя лучше соответствовал будничной обстановке. Одета она была как и следует, по-моему, быть одетой двадцатидвухлетней девушке утром в будни. На ней, насколько я в этом разбираюсь, была широкая юбка из твида, в светло-коричневую клетку, темно-зеленый мохеровый свитер, зеленые чулки, а, может, колготки? — и коричневые мокасины. Повязавшись фартуком, вернее, полотенцем, она стояла, прислонясь к дверному косяку, и вытирала руки об это полотенце. Агнешка посмотрела на меня смело, даже вызывающе, но с некоторым беспокойством. Наверно, так смотрит укротитель на льва, которого он должен обучить разным фокусам, находящимся в резком противоречии с привычками властелина джунглей.

— Дорогая, — сказал я, — что ты делаешь?

— Пытаюсь установить в доме хотя бы относительный порядок. Боже мой, что у тебя творится! И тебе не стыдно?

— В каждой холостяцкой квартире беспорядок. Только нежная и опытная женская рука в состоянии...

— Не болтай глупостей, — перебила меня Агнешка. Она покраснела от злости. Видно, она восприняла это, как намек, будто она хочет стать хозяйкой в моем доме и поэтому наглядно демонстрирует целесообразность своего присутствия. — Меня несколько не волнует

беспорядок в чужом доме, поверь, у меня нет филантропических наклонностей. Но сама я находиться в бедламе не могу: такой у меня выработался рефлекс. Когда я уйду, можешь возвращаться в первобытное состояние.

Я хотел как бы между прочим сказать: «Ты отсюда никогда не уйдешь», но сообразил, что подлил бы только масла в огонь. Поэтому я улыбнулся:

— Ну, подойди ко мне и сядь рядом со мной, — сказал я. — На одну минутку! Ты можешь поздороваться со мной?

— Нет, — отрезала она и снова удалилась на кухню. Она была оскорблена, что я мог о ней подумать нечто подобное.

Спустя минуту снова забренчала кухонная посуда и послышалось псвистывание. Я не люблю, когда женщины свистят в соседней комнате. Агнешка насвистывала марш из кинофильма «Мост через реку Квай». Но это не имело значения. Ничего хорошего не жди, когда женщина рядом свистит. Когда поет — другое дело. Свист — это не к добру. Ничего хорошего мужчинам он не предвещает. Но тем не менее поведение Агнешки меня радовало. Все, что она делала, было так непохоже на то, что делали другие девушки, которые оставались у меня ночевать. А мне необходимо было что-то новое, иное, мне все время надо было что-то другое. Думаю, что именно из-за этого стремления к чему-то иному моя повседневная жизнь мне так опостылела и казалась такой однообразной.

— Агнешка! — крикнул я.

В ответ послышалось неопределенное бурчание. Однако свист прекратился.

— Агнешка! Когда мы будем завтракать?

— Скоро. Разумеется, ты получишь завтрак. С видом на курган Костюшки.

Впервые со вчерашнего дня, когда мы повалились в сугроб, она намекнула мне на Йовиту. Но я не обратил на это внимания. То есть обратил, но не придал этому особого значения. «Однако она ей все выложила, все, до мельчайших подробностей», — подумал я. И больше ни о чем не подумал.

— Вот здорово! — воскликнул я. — А то я страшно проголодался.

— Только не воображай... — заявила Агнешка и через минуту повторила: — Только не воображай, пожалуйста...

И она снова засвистела.

— Что ты хочешь сказать? Разве мы не будем завтракать?

— Будем. Я уже тебе сказала. Только не воображай, пожалуйста, что я подам тебе завтрак в постель.

Я терпеть не могу завтракать в постели. И ни разу в жизни этого не пробовал. Наверно, у меня кусок в горло не полез бы. Но мне казалось, что заявлять об этом нетактично, и поэтому я решил изобразить разочарование.

— Ничего не поделаешь, — сказал я, — раз ты приказываешь...

— Я ничего не приказываю. Просто не подам тебе завтрак в постель, и все.

— Ничего не поделаешь. Сейчас же надену халат и приду.

— Нет, нет! И не думай даже.

— Ты о чем?

— Никаких халатов. Прими душ, побрейся, оденься — все как полагается, тогда получишь завтрак.

— И башмаки прикажешь надеть?

— Конечно!

Я вскочил с постели и поспешил в ванную комнату. Пустил воду, а сам принялся бриться.

Обычно после девушек в ванной страшный кавардак. Повсюду разбрасывают они свои косметические принадлежности: щеточки, баночки, незакрученные губики, флакончики, источающие аромат, пудреницы с рассыпанной пудрой и прочую чепуху, не лишенную прелести, но способную вывести из себя. И даже самые аккуратные устраивают в ванной беспорядок. Они словно демонстрируют победу женского начала над мужским даже в таких мелочах, как туалетные принадлежности. Они нарочно ничего за собой не прибирают, чтобы эти разбросанные по всей ванной «фактори» и «рубинштейны» или хотя бы зауряднейшие «лехии»¹ свели на нет присутствие мужчины и утвердили здесь

¹ Названия зарубежных и польских косметических фирм.

женское начало. Только перед тем как уйти, они небрежным жестом сгребают все это в сумку с бесцеремонностью деспота, который покидает завоеванную им страну. После Агнешки в ванной не осталось никаких следов. Можно бы подумать, что она вовсе сюда не заглядывала, если вообще существуют женщины, которые, находясь долгое время в квартире, ни разу не войдут в ванную комнату. Интересно, зачем они туда ходят и что там делают. Когда я спросил однажды об этом Дороту, она ответила мне, что я круглый идиот.

Я влез в ванну. Вдруг я подумал: как бы вела себя утром Йовита, если бы пришла тогда ко мне. Наверно, иначе, чем Агнешка, но и не так, как другие девушки, те, типичные. Мне бы хотелось, чтобы она когда-нибудь пришла сюда и я мог бы в этом удостовериться. Из любопытства. Я просто так подумал об этом. Здесь не было ничего дурного. Правда, Йовита перестала меня интересовать. Как мог меня занимать этот нелепый мираж одного-единственного вечера, как могла меня занимать девушка, даже лица которой я не видел? Я любил Агнешку. Проснувшись утром, я убедился, что люблю Агнешку, что она именно та девушка, которую я всю жизнь искал. А о Йовите я подумал просто так. Ведь у человека в голове все время проносятся какие-то нелепые, ни к чему его не обязывающие мысли. Высказанные вслух, они прозвучали бы дико, но как можно нести ответственность за мысли, которые приходят вам в голову, когда вы садитесь в ванну. И вообще повлиять на них можно с таким же успехом, как на радио, которое доносится через стену от соседей. Впрочем, я не вспомнил бы Йовиту, если бы Агнешка не упомянула о завтраке с видом на курган Костюшки. Я начал напевать «Мост через реку Квай». Послышался стук в дверь.

— Агнешка, это ты?

— А кто же? Надеюсь, ты не приглашал на утро гостей?

— Агнешка, я люблю тебя.

— Прошу тебя, перестань петь «Мост через реку Квай».

— Я сказал, что люблю тебя.

— Я уже слышала.

— Почему же ты ничего не скажешь?

— Всему свое время. Быстрой вылезай из ванны. Завтрак готов.

— А почему ты запрещаешь мне петь «Мост через реку Квай»?

— Ты страшно фальшивишь. А кроме того, эта мелодия действует мне на нервы.

— Ты же сама только что насвистывала ее.

— Я?

— Конечно!

— Тебе показалось. — Она некоторое время постояла молча перед закрытой дверью, потом добавила:

— И вообще тебе кажется невесть что. — Она отошла от двери. Я услышал ее шаги, а через минуту — посвистывание.

Я выскочил из ванной. Эта утренняя Агнешка совсем была непохожа на ту, ночную Агнешку. Она отрекалась от той ночной, раз ей нетерпелось поскорее побежать домой и переодеться. Я влюбился в ночную Агнешку, но эту новую, неведомую, дневную я продолжал любить. По существу, несмотря на кажущуюся разницу, обе они имели общий знаменатель, который я затруднялся точно определить. Возможно, им был тот простой факт, что я ее любил. У меня появились все основания считать, что у Агнешки трудный характер, но я был полон решимости приноровиться к ней, уступать ей во всем, лишь бы ей понравиться. Я тщательно, со вкусом оделся, почистил ботинки и даже волосы смазал бриллиантином, полученным в подарок от Дороты. Я решил держаться сдержанно и с достоинством, словно явился на дипломатический завтрак. Я вошел в кухню, поклонился и хотел спросить, можно ли садиться к столу? Но не успел. Агнешка, которая стояла у окна и смотрела на курган Костюшки, обернулась, подбежала ко мне, закинула на шею руки и давай целовать. Мы так и не сели завтракать, верней, позавтракали значительно позже.

Я сказал Агнешке, что она моя первая и последняя любовь.

— Сколько раз ты уже говорил это девушкам? — спросила она.

— Говорил, не отрицаю. Но тогда мне это только казалось, а теперь — другое дело.

— Тем девушкам ты тоже говорил, что теперь другое дело?

— Не помню. Пожалуй, нет. Но даже если...

— Какого черта ты мажешь волосы этой гадостью? У меня теперь руки липкие.

— Это бриллиантин «Ярдлей».

— Все равно. Запрещаю тебе пользоваться бриллиантином. Слышишь?

— Да. Я буду делать все, что ты прикажешь.

— Всегда или только сегодня?

— Всегда. До конца жизни.

— Ха-ха, — сказала Агнешка. Она не засмеялась, а именно произнесла: ха-ха.

— Ты мне не веришь?

— Ясное дело, нет. Каждый мужчина плетет одни и те же глупости.

— А ты меня любишь?

— Разве я похожа на девушку, которую можно подцепить на танцах и привести к себе?

— Нет.

— Тогда не задавай лишних вопросов.

— Но ты мне ни разу этого не сказала.

— Зато ты твердишь об этом подозрительно часто. Ты недостаточно современен.

— Разве любовь несовременна?

— Это ты несовременен.

— В чем же суть современности?

— Не знаю. То есть не могу точно сформулировать. Во всяком случае, не в том, чтобы обставить свою комнату вот так, повесить на стены такие вот картины, а на окна такие занавески... Впрочем, занавески еще кое-как сойдут. Но если хочешь, чтобы я снова сюда пришла, немедленно сними со стены этот морской пейзаж.

Сквозь бежевые занавески с яркими плодами пробивался яркий дневной свет. После снежной ночи всюду светило солнце. Интересно, который теперь час? Но, чтобы взглянуть на часы, надо было высвободить руку из-под спины Агнешки, а мне не хотелось этого делать.

— Ты права. Комната действительно обставлена отвратительно. Такой она мне досталась, и я никак не мог собраться привести ее в порядок. Но это носит чисто внешний характер...

— Внешнее неразрывно связано с внутренним. Утром, когда я проснулась, мне от этих вещей стало не по себе. Рядом с тобой мне было хорошо, и во сне ты выглядел очень трогательно. — Она погладила меня по волосам и тотчас с отвращением стала вытирать руки. — Пожалуйста, отправляйся немедленно в ванную и вымой голову!

Я думал, она шутит, но она не шутила: она разозлилась, спихнула меня с постели, и я пошел в ванную мыть голову. Не знаю, почему она так взелась на бриллиантин. Как известно, от бриллиантина «Ярдлей» волосы не слипаются, а запах у него приятный, ничего не скажешь! Если бы она была в курсе моих дел, я мог бы заподозрить ее в ревности к Дороте. Мне стало обидно. Дорота мне очень нравилась. Может, ее единственную я любил по-настоящему. Нет, это абсурд. Ничего, кроме дружбы, нас не могло с ней связывать. Только теперь я сообразил, что Агнешка и не знает о существовании Дороты. Но так или иначе, я был убежден, что Дорота ей не понравится. Я словно слышал, как она говорит: «Этот бриллиантин тебе подарила Дорота? Конечно, я так и знала!»

Из ванной я вышел с растрепанными волосами. У меня темные, густые волосы, и когда я их вымою, я похож на папуаса. Агнешка засмеялась.

— Я кажусь тебе или смешным, или отвратительным, — сказал я.

— Нет! Когда ты спал, ты не был ни смешон, ни отвратителен, ты был трогателен. Спящий мужчина выглядит по-детски беззащитным. Для женщины нет ничего трогательней спящего мужчины... Не стой, как дурак, посреди комнаты, иди сюда и положи мне голову на плечо, раз она не напояжена. Вот так. Когда я проснулась с тобой рядом, мне было хорошо. Но когда я оглядела комнату, которая, если бы не чертежная доска, была бы совсем похожа на обитель провинциальной маникюрши, и когда я представила себе, что надо встать и навести здесь порядок, мне сделалось не по себе. Я могла ходить либо голая, либо в твоей пижаме или рубашке, либо в вечернем платье. Все это допустимо, и в этом есть даже изве-

стное очарование, но в нормальной обстановке, отвечающей эстетическим требованиям середины двадцатого века; расхаживать же нагишом, полуодетой, в мужском белье или в вечернем платье по комнате провинциальной маникюрши девятнадцатого века — сплошная порнография, рассчитанная на старых, толстых и лысых чиновников. Я преисполнилась бы отвращения к себе, к тебе. И мне казалось бы, что я тебе противна. Теперь ты понимаешь, почему внешнее и внутреннее так тесно между собой связано? Поэтому я сбегала домой, переделалась в нормальное платье, которое не вызывало бы никаких ассоциаций со столь ужасным интерьером, и вернулась, прежде чем ты проснулся. Да, по дороге я купила яйца, масло, кофе, хлеб и ветчину, немного жирноватую, но другой не было. Я убедилась, что у тебя нет никаких запасов. Как можно приглашать девушку первый раз на завтрак, зная, что у тебя в доме хоть шаром покати! Нет, не воображай пожалуйста, что тебе удастся вернуть мне деньги. Да, еще я купила банку апельсинового джема. Оставь, пожалуйста! Я буду испытывать удовлетворение до самой смерти, до завтра или до тех пор, пока мы не расстанемся с тобой, оттого, что смогу попрекать тебя этим первым завтраком, который мне пришлось самой оплатить. Немедленно изруби в щепки и вышвырни этот ужасный сервант, на котором красуются твои отвратительные призы. Почему спортсменам в качестве наград всегда вручают такие бездарные, безвкусные безделушки? Прошу тебя, выкинь эти призы. В крайнем случае, оставь себе на память серебряную медаль чемпиона Европы. Но всем этим кубкам, хрустальным бокалам и статуэткам здесь не место. Разумеется, если ты хочешь, чтобы я к тебе приходила. Если ты действительно этого хочешь, то встань, изруби на куски сервант и вышвырни его за окно.

Как я уже успел убедиться, Агнешка была человеком дела, слов на ветер не бросала. Так оно и оказалось. Воскликнув: «Ну!» — она попыталась спихнуть меня с постели. Однако на этот раз я оказал легкое сопротивление.

— В этом серванте стоял когда-то севрский сервиз, правда, не настоящий, и однажды...

— Меня это не интересует. Или он, или я. Если ты его не изрубишь в куски и не вышвырнешь в окошко, я немедленно от тебя уйду.

— Да у меня даже топора нет, дорогая, — сказал я. Нежных чувств к серванту я не испытывал, так как он был из того дома, с которым меня ничего не связывало, но я не собирался соскакивать с постели, хвататься за топор, выбрасывать всем на удивление за окно изрубленную мебель и тем самым впутывать в это дело милицию. Я уже уяснил, что у Агнешки практический ум.

— У меня давно нет топора, и потом, зачем уничтожать вещь, которую можно продать. Лучше я продам сервант и на вырученные деньги куплю что-нибудь попримечательнее.

— Пожалуй, ты прав. Тогда вышвырни призы.

— В окно?

— А что?

— Дорогая, я не могу это сделать. Знаю, они ужасны, но это как-никак итог моей работы и моих усилий. Хорошо, я засуну их в ящик или еще куда-нибудь, но, пожалуйста, не заставляй меня их выбрасывать.

Агнешка расхохоталась.

— Какой ты смешной! Ты всерьез мог бы изрубить этот шкаф? И вышвырнуть в окно? Признайся, сделал бы это, если бы я настояла?

— Конечно!

Она засмеялась от удовольствия. А я был зол на себя за то, что назвал idiotские призы итогом моей работы и усилий. И как только это пришло мне в голову? Я чувствовал себя с Агнешкой то торжествующим и неотразимым, то круглым дураком. И, чтобы отвлечь ее внимание от этого, я ни с того ни с сего спросил:

— Ты хоть раз в жизни сделала подлость?

— Что значит, подлость?

— Ну, что-нибудь, что мучает тебя. О чем ты иногда думаешь и что омрачает твою жизнь.

— Омрачает жизнь?

— Я не хотел выражаться так выпендренно. Ну, что-то, о чем люди обычно сожалеют и что предпочли бы забыть.

— Увы, как-то на танцах я познакомилась с одним парнем. И в тот же вечер, даже не узнав его толком, легла с ним в постель. Ужасно, правда?

— Агнешка, я ведь серьезно говорю.

— Я тоже серьезно. Не думай, пожалуйста. Я вовсе не тебя имею в виду. Это случилось давно. И было это в первый раз. Мне хотелось умереть самой, хотелось, чтобы он умер. Хотелось, чтобы природа уничтожила то, что совершила. Потом мне стало жалко его. Мне показалось, что он любит меня. Но это было не так. Он из вежливости делал вид, будто любит. Он был очень предупредителен и все время боялся меня обидеть. Его деликатность только усложняла положение. Напрасно я рассказываю тебе об этом. Все равно ты ничего не поймешь, потому что ты не был девушкой и тебя не лишали невинности.

Мне стало не по себе, я вдруг почувствовал себя ответственным за всех парней, которые лишают девушек невинности. Я представил себе паренька, который, тоскуя по девушке, прикидывается пламенным, нежным возлюбленным, а потом, в лучшем случае, бывает предупредителен и вежлив. Представил себе я и девушку, с ее мечтами и надеждами, которых хватило бы на всю жизнь и даже больше, и как они в несколько секунд развеиваются в прах. И подумал, что на вечере я начал флиртовать с Агнешкой от скуки, просто так, может, отчасти из-за Йовиты, потом влюбился в нее, а теперь сам не знаю, люблю я ее или нет, и вообще все, что происходит, это выдумка или реальность. Но нежность, которая на меня внезапно нахлынула, была не выдуманная. Агнешка лежала какая-то присмирившая, беззащитная. Она отвернулась, а мне казалось, что у нее на глазах слезы. Я нежно погладил ее по волосам, и вдруг она дернулась и укусила меня за руку. Так не кусает любовника женщина в постели, так кусается озлобленный человек или собака. «Ай!» — крикнул я, словно мне прищемили палец дверью. Должно быть, это выглядело смешно, потому что Агнешка засмеялась.

— Прости, — сказала она и поцеловала меня в укушенное место. — Зачем ты меня дразнишь?

— Я? Дразню тебя?

— А кто же? Задаешь мне глупые вопросы, кото-

рые заставляют меня говорить о том, о чем я не люблю говорить. Очень больно?

— Конечно, больно. Смотри, даже следы зубов остались.

— Бедненький, покажи.

Я показал руку, и она опять укусила меня так же сильно, как в первый раз, и я снова крикнул: «Ай!»

— А это знаешь за что? — спросила она.

— Нет. Откуда же мне знать?

Она держала меня за руку и нежно водила губами по укушенным местам.

— За то, что укусила тебя в первый раз, за то, что я валяю дурака, что говорю вещи, которых не хочу говорить, что я веду себя так, как никогда не вела и как не хочу себя вести. Понимаешь?

— Ничего не понимаю, но это неважно.

— Ты знаешь, когда чаще всего женщины плачут?

— Разумеется. Когда они умиляются над собой.

— Вот и нет! Когда они делают то, чего решили не делать.

— Ты только что плакала?

— Кто тебе сказал, что я только что плакала? Хочешь, чтоб я еще раз тебя укусила?

— Если тебе все равно, то я предпочел бы, чтобы на этот раз ты меня ущипнула. Мне нравятся перемены.

Она ущипнула меня. Не очень больно, но чувствительно.

— Все-таки почему ты спросил меня, сделала ли я в жизни подлость? В чем дело?

— Дело в том, что я совершил нечто такое, и это не дает мне покоя.

— Поглядите на него! Ты кого-нибудь убил? Или обокрал? Совратил несовершеннолетнюю?

— Что-то в этом роде. Я оказался неблагодарным. В известном смысле, я предал кого-то, кто сделал для меня многое.

— Хо-хо! Это звучит интригующе. Уж не следует ли это понимать так, что ты именно в эту минуту платишь кому-то черной неблагодарностью?

— Ничего подобного! Речь идет о другом. Я предал моего учителя. Впрочем, это было давно, лет

десять назад. Меня воспитывали, собственно, не родители, с которыми меня и сейчас ничего не связывает, а тренер нашего спортклуба, когда я занимался боксом. Делал он это бескорыстно, и единственное, к чему он стремился, — это сделать из меня боксера высокого класса. Он считал, что я подаю большие надежды и он сможет гордиться мной. Он сделал на меня главную ставку. У него имелись для этого основания. В конечном счете, из пятидесяти встреч я проиграл только...

— Ты что, даешь интервью в газету или решаешь психологические проблемы? Скажи, наконец!

— Очень жаль, что тебя не интересуют мои успехи.

— Страшно интересуют, но всему свое время. Ты очень беспорядочен. Такой же, как твоя комната.

— А ты нудная, педантичная формалистка. И, кроме того, бездушная. То, что я одерживаю успехи, крайне важно. Но раз тебе скучно, я могу не рассказывать.

— Хватит обижаться по пустякам! Никогда еще я не встречала такого обидчивого человека. Рассказывай дальше.

Я еще помолчал, будто раздумывал, простить ее или нет, хотя знал, что продолжу рассказ, потому что все это я говорю не для нее, а для себя.

— Я не обижаюсь и вообще я не обидчивый (Агнешка буркнула: «Ага»), но это невыносимо, когда тебя то и дело перебивают. Будь я слабаком, и проблемы бы не было. Я говорю о своих успехах не из желания похвастаться, а потому, что это очень существенно.

— Возможно, но ты пользуешься случаем, чтобы похвастаться. И смешно это отрицать. Это совершенно естественно, и я не вижу тут ничего плохого.

— Агнешка, скажи на милость, ты будешь слушать или ссориться?

— Я — ссориться? Ты спятил! Рассказывай дальше и перестань дуться, это в самом деле скучно.

Я молчал, и она закричала:

— Говори же, черт побери, или я укушу тебя. Меня это действительно интересует. Больше, чем ты думаешь.

— Я не помню, на чем я остановился.

— До того, как ты начал со мной ссориться, ты говорил, что на тебя возлагали в боксе большие надежды.

— Да! Хотя сам я чувствовал: бокс — не моя стихия и решил распрощаться с ним. Но, вместо того чтобы прямо сказать об этом Шиманяку, я придумывал разные отговорки.

— И в этом твое ужасное преступление? Ты страшно добродетельный.

— Нет. Я не добродетельный. Это ты добродетельна и наивна, хотя воображаешь о себе невесть что. Ты, как я подозреваю, выросла в относительно нормальных условиях, то есть в культурной семье. У твоих родителей были сложившиеся взгляды на жизнь, они любили тебя, старались дать тебе хорошее воспитание и привить свои взгляды. Но ты оказалась неблагодарной. Правда, все, что давало тебе моральные и материальные преимущества, ты взяла, а против норм, которые их породили, восстала. Это чертовски наивно и в каком-то смысле добродетельно.

Агнешка приподнялась на локте. Она хотела что-то сказать, но раздумала и опять откинулась на подушку.

— Для боксера ты слишком интеллигентен, — сказала она через минуту.

— Если это так, то не вопреки боксу, а благодаря ему. Я продирался сквозь жизнь в буквальном смысле с помощью собственных кулаков. Только та интеллигентность чего-то стоит, которую обретаешь, познавая жизнь и борясь за жизнь. Интеллигентность писательских жен, разглагольствующих в кафе, вызывает у меня сомнение.

— Дорогой мой, нельзя ли говорить о чем-нибудь попроще. Это для меня слишком абстрактная материя, особенно, учитывая положение, в каком мы находимся...

— Ты относишься ко мне несерьезно...

— Наоборот, очень серьезно. Настолько серьезно, что не желаю слушать прописные истины.

— Ах, так. Значит, я примитив, с которым можно говорить о спорте или сплетничать.

— Ну вот опять обиделся!

— И не думал, — сказал я и повернулся к Агнешке спиной.

Она попробовала насильно повернуть меня на другой бок, но я сопротивлялся. Я понимал, что веду себя как мальчишка, но я знал: это Агнешке нравится, и продолжал сопротивляться.

— Дорогой, — шепнула мне на ухо Агнешка, — не будь таким глупым. Ну, повернись ко мне. Сейчас ведь не время решать отвлеченные проблемы бытия. Мне хорошо с тобой и хочется забыть обо всем, что не имеет к нам с тобой прямого отношения. Послушай, ты начинаешь меня злить, вот увидишь...

Она обнаружила мое слабое место: стала меня щекотать. А я ужасно боюсь щекотки и, когда меня щекочут, совершенно теряю над собой власть. Корчась, смеясь и вскрикивая, я не в состоянии был сохранить серьезность и достоинство. Агнешка, обрадованная своим открытием, торжествовала. Наконец мне удалось схватить ее за руки, и она из победительницы превратилась в побежденную. Поглядывая на меня исподлобья, испуганно и вместе с тем надменно, она лихорадочно и скрытно обдумывала, как вырваться из западни. При этом она напоминала мальчишку, которого застали за кражей яблок. Я посматривал на нее свысока, с оттенком презрения и превосходства, ее глаза на мое презрение отвечали ненавистью, и непонятно было, всерьез это или в шутку, пока Агнешка не улыбнулась, тогда я тоже улыбнулся. Мы улыбались оба. И хотя я все еще держал ее за руки, но уже иначе, и нет на свете ничего лучше, чем улыбка примиренных возлюбленных, а ссорились они по-настоящему или шутки ради — не так уж существенно.

Позавтракали мы в сумерки, часов около пяти, разумеется, тщательно одевшись к завтраку. Вокно виден был курган Костюшки. На багряном после солнечного морозного дня небе он казался вырезанным из черной бумаги. Мы молча постояли у окна, потом Агнешка сказала, что ей пора, а я не спрашивал, куда и почему она уходит, и не удерживал ее, и даже не предложил проводить: чувствовал, что ей этого не хочется. Мы поцеловались в дверях быстро и мимолетно, как люди, которые не хотят затягивать прощания.

После ухода Агнешки я долго стоял посреди комнаты, не зная, что делать. Комната все еще была полна ею, хотя ее уже здесь не было. Я подумал, что напоминаю сейчас мальчика, который во время веселого праздника потерял в толпе мать, но это сравнение показалось мне глупым. Мне хотелось, чтобы Агнешка немедленно вернулась сюда, чтобы комната больше не казалась мне пустой. Но я сообразил, что не знаю, где она живет и фамилии ее тоже не знаю. Можно, конечно, позвонить доктору Плюцинскому, но я побаивался его глупых шуток и намеков, и вообще это было неудобно. Наконец, если бы я даже знал адрес Агнешки, я все равно не пошел бы к ней. Я чувствовал — так и должно быть, она ушла, а я остался один и тоскую по ней, и любая попытка что-нибудь изменить может все между нами разрушить. А я тогда очень боялся что-нибудь испортить, потому что все складывалось так, как нужно.

Итак, я вышел пройтись без всякой определенной цели и на улице увидел Артура, но прошел мимо него, словно не заметил. Я боялся, что он спросит, ищу ли я по-прежнему принцессу из «Тысячи и одной ночи» или уже нашел, а я не знал, что ему ответить. Я хотел побыть один, потому что разговаривал с Агнешкой. Как это началось, я не знаю. В какой-то момент я поймал себя на том, что разговариваю с ней и мне очень не хотелось, чтобы нам помешали. Здесь не было ничего мистического и сентиментального. Ничего такого не было. Совсем наоборот. Беседа была односторонней, говорил только я, а Агнешка, понятно, не отвечала. Иногда я придумывал за нее ответы, но, по правде говоря, я не слушал их и не придавал им значения. Нет. Наша беседа не была сентиментальной. Нисколько! Я говорил только о себе и был даже чуточку невежлив. «Агнешка, почему ты не позволила мне говорить там, у меня? Почему не пожелала меня выслушать? Ты вела себя странно и непонятно. Это еще можно понять. Я не так примитивен, как тебе кажется. Конечно, тебе так кажется. Пожалуйста, не возражай! Ты права, моя квартира ужасна и ее следует обставить заново. И я это сделаю. Уберу призы и все, что тебя раздражает.

Но скажи, почему тебя так волнует обстановка моей квартиры и почему ты придаешь этому такое значение, а к фактам моей жизни относишься иронически и легкомысленно, не соглашаешься с тем, что только я один могу правильно оценить их, почему, Агнешка?

Почему ты вела себя так странно и необъяснимо, можно понять. Я понимаю это и не думаю, что ты хотела меня обидеть или обмануть. Но почему тебя так интересует моя квартира и совсем не интересует моя жизнь?

Ты не хотела меня выслушать. Может, ты боялась, что мой духовный мир окажется таким же старомодным, как обстановка моей квартиры? Ты предпочла обманываться. Парень, с которым ты провела ночь, мог быть примитивным спортсменом. Для современной художницы это вполне в духе времени. Но допустить, что духовные интересы этого спортсмена соответствуют обстановке его квартиры, ты не могла. Ты не простила бы себе, что позволила такому типу касаться своего тела. Ты страшно глупая, Агнешка. Ты не хотела меня слушать из боязни, что беседа наша будет носить недостаточно интеллигентный характер. А неинтеллигентно как раз все то, что когда-то считалось интеллигентным и скомпрометировано твоими родителями. Я не знаю их и не знаю тебя. Но я знаю вас всех. В прессе время от времени пишут о проблеме отцов и детей. Я не слишком в этом разбираюсь, да и зачем мне в этом разбираться? Мне и так ясна суть дела. Ваши родители оказались несостоятельными перед лицом определенных ценностей. Но и сами эти идеалы тоже не выдержали проверки. Однако поколение отцов не хочет признать себя виновным и предпочитает считать, что виноваты вы. А все вместе вы напоминаете подгулявшую компанию, которая, учинив дебош в ресторане, перепугалась: кому возмещать убытки. Я в этом не участвую, потому что с вами не пьянствовал. Я не хваюсь, но так получилось. Мои родители не взяли меня на гулянку. Но делать вывод: раз они опозорились, значит, сама жизнь — позорная штука, я не собираюсь. И потому я не принадлежу к числу разгневанных, бунтующих или как там их еще называют. Действительно ценное не кажется мне сомнительным, сомнителен я

сам, и я это должен объяснить. Ты слышала о князе Нехлюдове? Тебе, вероятно, кажется его поступок смешным, экзальтированным, а это теперь не в моде. Но знаешь, что сказал Шиманяк, когда я дал ему почитать эту книгу? «Поразительный малый,—сказал он.— При его честолюбии и упорстве, учитывая ту дистанцию, которую он сам для себя установил, из него вышел бы великолепный марафонец. Жаль, что его нет в живых. В ту эпоху он был обречен на гибель. А теперь на Олимпийских играх он наверняка вошел бы в состав сборной Советского Союза». Конечно, тебе это кажется абсолютным идиотизмом. Но, уверяю тебя, Шиманяк глубже понял Толстого, чем все твои друзья-филологи и завсегдатаи артистических кафе. И как бы наивно ни звучали его слова, клянусь: современен он, а не ты. И все вы вместе — разгневанные бунтари из разных клубов, винных погребков и обществ, монополизировавшие право на бунт, хотя вам неизвестно слово «борьба». Он — настоящий мужчина, хотя ваши красотки, возможно, и не взглянули бы на него. Они не очень-то понимают, что такое настоящий мужчина, так как все труднее различить какого вы пола.

Ты не хотела меня выслушать, Агнешка. Ну, что ж, дело твоё! Пожалуй, я не вправе обижаться на тебя. Ты небось рисуешь лица без носов и торсы с глазами, где тебе понять меня. Подвести близкого человека, обмануть его — это для тебя не имеющий значения пустяк. А если ты разочаруешься во мне и я тебя обману, это тоже пустяк? Вот видишь! Ты, конечно, скажешь, что это другое дело. Для тебя, но не для меня. В тот момент, когда я понял, что я скотина, я сделался как бы другим человеком, дорогая. Больше того. У меня появилась цель: никогда больше не быть скотиной. Как раз после того, как стряслась беда с Шиманяком. Значит, это не пустяк, если он может так воздействовать на всю человеческую жизнь. Я иногда спрашиваю себя: почему, собственно, мне так чертовски хочется быть порядочным человеком? И не могу ответить. Так же, как не знаю, почему на ринге я продолжал борьбу даже после нокаутов, когда никаких шансов на победу не было, как не понимаю, почему, соревнуясь в беге с более сильными противниками, я, смер-

тельно вымотанный, у самого финиша предпринимал еще одну, последнюю и тщетную попытку? Это, разумеется, в прошлом. Теперь у меня нет достойных соперников. Но, чтобы победить, мне и теперь придется затрачивать не меньше усилий, чем прежде. И часто я спрашиваю себя: зачем мне все это? Эти усилия и победы? Ведь мне, если я не хочу быть скотиной по отношению к другим, не нужны успехи и слава. Я сыт всем этим по горло. Но когда завязывается борьба, в действие вступают иные законы. И что бы человек ни думал в обычное время, он повинуется этим законам. Как-то я встретил у Артура Вдовинского одного типа с бородой. Кажется, это был филолог или кто-то в этом роде. Он разглагольствовал о том, что человечество гибнет. Не физически. Гибнет человечество, существовавшее до сих пор, а на смену ему грядет другое, новое. Мы, независимо от того, молодые мы или старые, принадлежим к этой гибнущей формации, и тут ничего не поделаешь. Конечно, он развивал свою мысль более научно, но смысл был такой. Этим он объяснял и психологическое состояние молодежи, и ее отношение к жизни. Тогда я сказал, если мы, как формация, обречены на гибель, то лучше погибнуть с честью, чем с бородой. Он спросил, что я имею в виду? Я ответил: все прекрасное и возвышенное, чем на протяжении своей истории гордилось гибнущее человечество. Те идеи, которые сейчас обесценены и осмеяны в анекдотах о Завише Чарном¹ и Самосьерре², а также искажены различными ханжескими и лицемерными обществами и клубами. Вместо того чтобы отпускать бороду и рассуждать о прекрасном и возвышенном, лучше вернуть им подлинную ценность и погибнуть с честью, если гибель действительно неизбежна. Если же мы не погибнем, я, как представитель рода человеческого, не буду чувствовать себя обманутым оттого, что сохранил благородство. Он сказал, что это глупо и что

¹ Завиша Чарный — легендарный польский рыцарь, участник многих турниров и сражений, в том числе битвы под Грюнвальдом (1410).

² Самосьерра — горный перевал в Испании, где в 1808 году отряд польской кавалерии, сражавшийся на стороне французов, прорвал линию обороны испанцев, боровшихся против Наполеона.

болтовня о благородстве в наше время не выдерживает никакой критики. Но, подумав немного, он прибавил: «Впрочем, может, это не так уж глупо». Через несколько дней я встретил его на улице без бороды, совершенно пьяного. Он бросился мне на шею и сказал, что жаждет умереть за отчизну или погибнуть, спасая утопающих детей, что ему всегда не хватало чего-то такого. Но он стыдился в этом признаться. Еще через неделю я снова встретил его. Он был абсолютно трезв, опять отращивал бороду и сделал вид, будто не узнал меня. И зачем я все это тебе рассказываю? Вместо того чтобы рассуждать о том, чего ты все равно не поймешь, лучше договориться без лишних слов: быстро и по-деловому. Я говорю тебе прямо, Агнешка, мне надоели эти бесконечные новые девушки, которые сначала значат для меня все, а потом ничего, вначале я говорю им самые сокровенные, а потом самые неопределенные слова. Я не могу больше выносить этого непостоянства во всем и в первую очередь измены — самому себе. Стоит тебе захотеть, и ты станешь моей последней девушкой, и тебе я скажу самые заветные слова, а тех, уклончивых, неопределенных слов не будет, что бы ни произошло.

После бессонной ночи, полной совсем особенных впечатлений, я порядком одурел. Все, что я говорил, обращаясь к Агнешке, рисовалось мне на фоне заснеженных улиц Кракова, и порой казалось, что Агнешка в самом деле идет рядом, бежит маленькими шажками, как вчера на Блонях, в черной коротенькой шубке и черной меховой шапочке, с разрумянившимися от мороза щеками. И тогда я подумал: «С какой стати, болван, ты все это ей выкладываешь? Тебе посчастливилось встретить чудесную девушку, и, вместо того чтобы наслаждаться жизнью, ты рассказываешь ей глупые побасенки о себе и своей неудавшейся жизни. Она права, что не желает тебя слушать. И пусть не слушает. Тебе же лучше. Заткнись-ка и отправляйся спать!»

Я поплелся домой. По дороге я уже не разговаривал с Агнешкой, а только продолжал думать о ней. И мои мысли не имели ничего общего с тем, что я говорил ей.

Я порядком взмок. Мигдальский, кончив тренировку, давно ушел с беговой дорожки. На противоположной стороне Ксенжак, приставив ладонь к глазам, поглядывал на меня. Я думал, что будет, когда я поравняюсь с ним: окликнет он меня или нет? Я-то наверняка нет. Впрочем, мне не хотелось, чтобы он начинал разговор. Время приближалось к пяти. Сейчас я был не способен ни ссориться с ним, ни мириться. Я сбавил темп. Мне не хотелось смотреть ему в глаза. Ощущение собственной низости разрослось во мне до таких размеров, что это приносило мне удовлетворение. Ксенжак по натуре был человеком спокойным, уравновешенным, снисходительным. Наверно, он больше не злится на меня и хочет поговорить спокойно и обстоятельно. Он обнимет меня и скажет: «Брось, Марек, эти глупости, поговорим, как взрослые люди. Ты ведь знаешь, что я твой лучший друг». И тогда я не выдержу. Или с плачем брошусь к нему в объятия и признаюсь во всем, или подерусь с ним. То и другое одинаково мерзко. Тут из раздевалки появился Цыпрысяк, поманил меня кивком головы и крикнул:

— Пан Марек, к телефону!

Кстати. Я наискось пересек стадион. Кажется, Ксенжак что-то крикнул мне, но я не уверен в этом. Я нырнул в открытую дверь мимо Цыпрысяка. Он был разочарован. Обычно я спрашивал, кто звонит. И он, качая головой и вздыхая, отвечал:

— Представительница американского Олимпийского комитета, но теперь она шпарит по-польски.

Я нарушил правила игры, и Цыпрысяк несколько дней будет на меня дуться. Но что поделаешь! У меня не было времени на всякую чепуху. Как можно быстрее одеться и уйти, чтобы не столкнуться с Ксенжаком.

— Да. Слушаю.

— Это я. Ты пойдешь на концерт или нет?

— Ведь мы уже договорились, что пойдем. Почему же ты спрашиваешь?

— А почему ты грубишь? А спрашиваю я, потому что один раз ты уже отколол такой номер и не явился. А я не хочу, чтобы снова пропали билеты.

— Никаких номеров я не откалывал, просто произошло недоразумение. Ты сама это прекрасно знаешь.

— Вот мне и не хочется, чтобы опять произошло недоразумение.

Под окнами канцелярии прошел Ксенжак. Интересно, заглянет он сюда или пойдет прямо в гимнастический зал? Там у них в пять какое-то совещание.

— Алло?

— Да! Я слушаю.

— Я думала, нас прервали. Значит, идешь. Да?

— Разумеется, иду, Агнешка. Когда мне за тобой зайти?

— Не надо за мной заходить. Я буду занята. Встретимся около филармонии в четверть восьмого. Не опаздывай!

— Я никогда не опаздываю, — сказал я, но Агнешка уже положила трубку.

Я помчался в гардероб. Ксенжак мне не встретился. Вдруг он поджидает меня в раздевалке? К счастью, и там его не оказалось. Наверно, совещание уже началось. Слава богу! Но, чтобы успеть к половине шестого в Краковский парк, надо поторапливаться. Я принял душ. Даже не мылся, а просто окатился водой. Агнешке приспичило, чтобы я пошел с ней на концерт. Надеется, что научит меня любить музыку? Или что музыка перевоспитает меня, облагородит? А может, просто не хочет появляться без меня, чтобы не вызвать сплетни. Господи, до чего все это глупо! А глупее всех — я сам! С какой стати позволять обрекать себя на три часа смертельной скуки? Серьезная музыка меня абсолютно не интересовала. Даже если играла знаменитость, вроде того пианиста польского происхождения, фамилии которого я никак не мог запомнить. Интересно, кто установил и доказал, что он самый выдающийся в мире пианист? В Кракове был ажиотаж, все твердили его имя, а я не мог его запомнить. Потому что меня это нисколько не волновало. Но на концерт я все-таки пойду. Пойду и буду слушать, хотя я с большим удовольствием посмотрел бы какой-нибудь вестерн. А пойду я совсем не потому, что сноб или что-то из себя изображаю. Просто я должен пойти. Таковы мои жизненные принципы. Ужасно, что жизненные

принципы слагаются из понятий, не представляющих интереса и ни к чему не пригодных. Я не вытерся как следует и с трудом натягивал носки. И злился на себя, что напрасно теряю время: вытер бы ноги, и дело пошло бы быстрее. Тем не менее я продолжал возиться с носками. Наконец оделся кое-как и выскочил на улицу. Я бежал так быстро на случай встречи с Ксенжаком. Тогда я имел бы все основания бросить ему: «Я тороплюсь, поговорим потом!» Жалкое, трусливое бегство. Как это мерзко!

За углом я налетел на Дороту, выходявшую из дамской раздевалки. Книга, которую она держала в руках, плюхнулась на землю.

— Сумасшедший! — бросила Дорота.

Я нагнулся и поднял книжку. Взглянул на заглавие: «Приключения Питера Пэна». Мы направились к воротам. Дорота была в плаще болотного цвета. Сияло солнце, на небе ни облачка, ничто не предвещало дождя.

— И чего ты напялила плащ в такую погоду?

— А мне так нравится.

Видно, только что купила, и ей хотелось немного пофорсить. Было четверть шестого. Особенно спешить некуда. За пятнадцать минут я шутя поспею в Краковский парк. Но мне хотелось побыстрее оказаться за пределами спортклуба.

— Куда ты так несешься? — проговорила Дорота. — Отдай книгу.

Когда мы вышли из ворот, я убавил шаг. Вернул ей книгу.

— Тоже пробавляешься глупым чтивом. И не стыдно тебе увлекаться детскими сказками?

— Много ты понимаешь! Это очень мудрая книга. Знаешь, я прыгнула сегодня на дистанцию шесть и три десятых.

— Э, не верю!

— Не веришь? Тогда вернемся, и спроси мэтра. Он сам замерял.

Она поволокла меня обратно.

— Ну, ладно, ладно. Верю. Только отпусти меня. Дорота отпустила меня и задумалась.

— Скажи, пожалуйста, почему мэтр ко мне придирается?

— Придирается к тебе? Понятия не имею. Он никогда ни к кому не придирается.

— А ко мне придирается. Ты сам был свидетелем. На что он намекал, когда сказал, что не подозревал у меня чего-то?

— Слушай, Дорота. Почему ты так чудовищно глупа?

— Почему я знаю?

— Небось просто прикидываешься. Признайся, нарочно притворяешься, что глупа, как пробка.

— Честное слово, не прикидываюсь. Значит, ты не знаешь или не хочешь сказать, почему мэтр придирается ко мне?

Я не отвечал. Дорота тоже молчала.

— А я знаю, — сказала она немного погодя. Сказала так, как говорят себе.

— Тебе в какую сторону? — спросил я на углу улицы Мицкевича. Я боялся, что она не торопится и захочет меня проводить.

— Мама ждет меня обедать. Но она может и подождать. Я ужасно не люблю спешить.

— Нехорошо заставлять ждать старенькую мать.

— Старенькую? Ты что, спятил? Моя мама еще хоро! Ей только сорок, меня она родила в двадцать лет. Как раз в моем возрасте. Разве это не смешно?

Я ничего не ответил, лихорадочно соображая, как бы от нее отделаться.

— Что? Разве не смешно?

— Ужасно смешно. Ну, мне налево. До свидания.

— Постой! Я могу тебя проводить. Я не тороплюсь.

— А я тороплюсь. Пойду быстро, а ты спешить не любишь. Тебе за мной не угнаться.

— Ты что, рехнулся?

— Сколько раз я просил тебя, не выражаться так грубо.

— А что в этом грубого?

Я не нашелся, что на это ответить.

— Ну, скажи, почему это грубо?

— Не знаю. Грубо, и все. Причем тут: рехнулся?

— А зачем ты говоришь, что мне не угнаться за тобой? В стометровке ты не смог бы меня обойти.

— Я? Ха-ха!

— Конечно, нет. Мой результат — двенадцать и шесть.

— Во-первых, такого времени у тебя не бывает, а, во-вторых, я прохожу стометровку за одиннадцать секунд.

— Ха! Когда никто не видит.

— Спроси у мэтра.

— Много он знает!

— Я вот передам ему, что ты о нем говоришь.

— Пожалуйста, передавай. Плевала я на него.

— Послушай, Дорота, ты иногда...

— Ну? Ты несешься как угорелый, а я шутя поспеваю за тобой. Ну, что скажешь? А если захочу, могу идти быстрее тебя. Убедился?

— Дорота, мама заждалась тебя!

— Знаешь, она спуталась с одним актером.

— Это еще не повод, чтобы опаздывать к обеду.

— Разве не смешно, что она путается с актером? Последний раз, когда я была в театре, он играл епископа. Я думала, что сдохну, когда представила себе, как...

— Дорота, бойся бога...

— Мама у меня красивая и выглядит лет на тридцать, не больше. Она бесится — я для нее помеха: выдаю ее возраст. Но вообще-то она хорошо ко мне относится, очень хорошо. Знаешь, у нее громадные голубые глаза и великолепные волосы, густые и светлые...

— Дорота, бойся бога! Я ведь прекрасно знаю твою мать, я с ней на «ты», на прошлой неделе она вырвала мне зуб, а позавчера я у вас ужинал. Ну!

— И сразу умотал. Испугался своей Агнешки. Пришлось бы давать объяснения, почему ты задержался у зубного врача. А ты, наверное, не сказал ей, что у нас ужинал. Твоя Агнешка страшно меня не любит. Почему она меня терпеть не может?

— Тебе это приснилось.

— Мне никогда не снится такая ерунда. Раз ты знаешь мою маму, почему же ты говоришь про нее «старенькая»? Видно, ты ее все-таки не знаешь.

— Ох, Дорота. Я просто пошутил.

— По твоему тону трудно было понять, что ты шутишь. И за что она меня не любит, эта Агнешка? А ты, оказывается, у нее под башмаком.

— Дорота, иди-ка ты домой. Может, твоей маме нужно куда-нибудь пойти.

— Ох, боже мой, я совсем забыла, что она собирается на концерт.

— Ну вот! Тебе следует поторопиться.

— А кто там играет и на чем?

— Кажется, пианист с мировым именем.

— А плевала я на него...

— Дорота, до свидания!

— Постой, я сейчас уйду. Только провожу тебя до угла Крупничей. Не знаю, почему мне сегодня так страшно хочется поболтать. А больше всего я люблю болтать с тобой.

— Ты не идешь с мамой на концерт?

— Ты что? Чтоб я пошла на концерт в филармонию? Меня это абсолютно не волнует. Такая скучища, хуже не придумаешь! Ты, конечно, потащишься со своей Агнешкой.

— Конечно, пойду. А то как же? Ведь это — мировая знаменитость.

— А мне какое дело, что он — мировая знаменитость, если он нагоняет на меня скуку? Да будь он хоть в пять раз знаменитей, я бы все равно не пошла. И не стала слушать пианистов, исполняющих в филармонии всякую чушь. Пожалуй, я пошла бы на Падеревского. Да, на Падеревского пошла бы.

— Падеревский умер.

— Ну, если он был бы жив.

— Почему именно на Падеревского?

— Не знаю. Но Падеревского я хотела бы послушать. А на этого не пойду. Мучайтесь одни. А я пойду в кино. У меня есть контрамарки.

— Киношник в очках дал, который тебя обхаживал?

— Ну и что? Да, он.

Мы дошли до Крупничей.

— До свидания, — сказала Дорота. — Я собиралась проводить тебя только досюда и дальше не пойду, даже если бы ты умолял меня.

— Я постараюсь мужественно перенести этот удар. До свидания, Дорота!

— Bye, bye, darling¹.

Она удалилась. Довольная собой, лишенная всяких комплексов, настолько естественно излучая жизненную энергию, словно для нее это было таким же обычным делом, как носить шляпку. Едва я остался один, меня снова охватило беспокойство. Болтовня Дороты заглушала его. Теперь оно решило отыграться — и немилосердно. Я ускорил шаги. Может, она не придет? Не придет, а дома я найду записку: «Я больше не приду, и, прошу тебя, не будем снова улавливаться. Ты понимаешь, что это бессмысленно». Мне стало стыдно. Даже в мыслях я был трусом. И вдобавок идиотом. По крайней мере, мысленно я мог решиться на мужественную и эффектную развязку. Ну, например, я говорю: это была шутка. Просто забава. Я мол, не думал, что ты примешь это всерьез. Когда я говорю это, мое сердце разрывается от боли. Она смотрит на меня удивленно и не верит. Однако ей придется поверить. Мало-помалу она начинает отдавать себе отчет в том, что произошло. Циничная ухмылка и скучающее выражение лица достаточно красноречивы. Она не догадывается, что я играю роль. Она поворачивается и молча уходит. Тогда на моем лице появляется выражение боли и отчаяния. С виду лицо спокойно. Но губы как-то странно сжаты. Кто умеет читать по глазам, тот увидит в них тоску и отчаяние. Минутное колебание. Бежать за ней следом, пасть на колени? Воскликнуть: «Как ты могла этому поверить?» Нет! Она должна уйти. Пусть уходит в стчаянии. Отчаяние исцелит ее, оно перерастет в неприязнь и презрение ко мне. Своего рода мужской вариант «Дамы с камелиями».

Боже! Какой я ужасный осел! Иногда мне казалось, что просто невозможно быть таким болваном. Тут тоже сказало влияние кино. С тех пор как изобрели кино и оно обрело популярность, люди потеряли остатки непосредственности и свободы. Каждый кого-то играет, каждый подгоняет свою жизнь под ту кинодраму, которая ему особенно понравилась. Думаю, в той или иной мере этим занимаются все: министры, генералы, президенты, выдающиеся писатели, профессора и ученые. Может, и сам папа римский! Я дошел до Краков-

¹ Пока, дорогой (англ.).

ского парка. Было чуть больше половины шестого. Я свернул в аллею, ведущую к Черновойской. И еще издали увидел нашу скамейку. Она была пуста. Меня сразу охватил панический страх, что, если она не придет? Минуту назад я мечтал об этом. Но пустая скамья всколыхнула во мне чувства, о которых я забыл, уверенный в скорой встрече. А сейчас мне ничего на свете не нужно было, только бы увидеть ее. Я сел на скамью. Сидел и думал о своем одиночестве. Скрипнул гравий. Я в ожидании поднял глаза. Из боковой аллейки появился пожилой мужчина с красивой молодой девушкой. Девушка ужасно жеманничала. Кто это: отец или любитель клубнички? Они медленно прошли мимо, прогуливаясь. Я возненавидел их. За то, что они так жестоко разочаровали меня. Снова скрипнул гравий. И я вздохнул с облегчением. Это она с белым цветком шла и улыбалась мне. Я не поднялся со скамьи. Какое испытываешь облегчение, когда видишь наконец ту, которую ждал с таким нетерпением! Я не встал со скамейки. Не хотел галантным жестом обесценивать свою радость. Она даже не поздоровалась со мной. Просто села на скамью на некотором расстоянии от меня и гладила лепестки цветка, который держала в левой руке. Какое счастье, эта скамья уже не пустая.

— Здравствуй, — минуту спустя сказал я.

— Здравствуй, — отозвалась она, по-прежнему не глядя на меня. — Ты опоздал на целых пять минут.

— Прости... Постой, постой! Ведь это ты опоздала.

— Вот тебе наглядное доказательство, как часто наши представления ошибочны. Не доверяй внешним приметам. Очень тебе советую! На, держи! — И она протянула мне белый цветок.

— Это мне? — Я не знал, что с ним делать.

— Специально для тебя. Я была здесь до твоего прихода. Но ты опаздывал, и я решила пройтись, а по пути сорвала для тебя цветок. Красивый?

— Красивый, я никогда такого не видел.

Я воткнул его в петлицу.

— Тебе часто дарят цветы?

— По случаю состязаний и прочей чепухи.

— Агнешка никогда не дарит тебе цветы?

— Агнешка? Скажешь тоже! Я сегодня поссорился с Эдвардом.

— Из-за чего?

— Я не хочу участвовать в мемориале.

— Почему?

— Не хочу. Не хочу, и все.

Мне очень хотелось участвовать в мемориале. Я мечтал об этом, и на то были разные причины. Но о чем бы ни заговаривал в этот день Ксенжак, я ему перечил.

— Эдвард придает этому большое значение. Он говорил мне, что перевел тебя на более длинные дистанции, и у тебя есть шансы победить.

— У вас что, нет более интересных тем для разговоров?

— Мы любим говорить о тебе. Что в этом плохого?

Мне показалось, что я ее обидел. Я придвинулся и положил руку на ее руки. Ее рука оставалась неподвижной, словно задумчивой. Но вот пальцы дрогнули и слегка сжали мои. Потом она отняла руки, чтобы поправить волосы.

Пожилой мужчина с жеманной девицей возвращались. Они остановились неподалеку от нас и сели на скамью напротив. Нет, это не отец с дочерью. Хелена взглянула на часы.

— О боже, как поздно! — воскликнула она. — Мне давно пора домой. Когда мы вчера договаривались, я совершенно забыла, что мы идем сегодня на концерт. Я оставила Эдварду обед и написала записку, что ухожу к портнихе. Мне надо переодеться, причесаться, прибраться в доме. Что за жизнь!

— А зачем ты наврала, что идешь к портнихе?

— В следующий раз я скажу, что иду на свидание с тобой.

Я свалил дурака: нечего задавать глупые вопросы.

— Ты сегодня какая-то странная.

— Тебе кажется. Мне действительно пора. Ты идешь на концерт?

— Иду.

— Ты рад этому?

— Нет.

— Я тоже. Когда исполняют Шопена, еще куда ни шло. Но все остальное, боже избавь!

— Зачем же ты идешь?

— А ты?

— По тем же самым причинам.

Хелена встала. Какая она стройная и красивая! Она смотрела на меня своими голубыми глазами, и я не понимал, смотрит она с неприязнью, нежностью или грустью. Женский взгляд редко бывает однозначным.

— До свидания, милый, — сказала Хелена.

Я ждал. Скажет ли она «Позвоню завтра», «Когда мы увидимся?» или что-нибудь в этом роде. Но она ничего такого не сказала. Я тоже решил ничего такого не говорить.

— До свидания, — сказал я.

Хелена улыбнулась. И опять я не знал, что выражает ее улыбка: печаль или пренебрежение? Она ушла. Я остался один. Подумать только, минуту назад я рисовал себе различные варианты драматического расставания. Вот дурак. Иногда разыгрывать дурака наедине с собой еще хуже, чем выставить себя на всеобщее посмеище. Кажется, я вообразил себе то, чего не существует. И это принесло мне облегчение. Странное облегчение, которое я предпочел бы не испытывать. Как это я позволил так себя провести!

Старый сатир напротив на скамейке придвинулся к своей красотке и что-то ей нашептывал. Та с интересом поглядела в мою сторону. Я вечно забывал, что меня в Кракове многие знали в лицо. Не стоит сидеть с таким идиотским видом в публичном месте. Я поднялся и ушел.

Чего же от меня хочет, а может, хотела Хелена? И почему я попал впросак? Неужели попал впросак? Собственно, еще ничего не произошло. Пока ничего не произошло. Мне тоже надо успеть домой переодеться. А делать это страшно не хотелось. Но представляю, как бы встретила меня Агнешка, явись я в филармонию в свитере, без пиджака, да еще без галстука. Ну и пусть встречает как хочет. Мне все это порядком осточертело. Но все-таки я поплелся домой. Не из-за Агнешки. Просто мне хотелось принять теплую ванну.

Приятно лежать в теплой расслабляющей воде. Когда лежишь в теплой воде, то кажется, с тобой ничего плохого не случится. Что ты независим и способен принимать мудрые решения. Не раз, лежа в ванне, я принимал решения, которые потом оказывались совершенно

неосуществимыми. Если бы Хелена мне еще раз позвонила, я был готов ответить ей: «Мне очень неприятно, но в ближайшие дни я очень занят». На этот раз даже ванна меня подвела. Я понял, что на самом деле все получилось бы наоборот. Стоит ей позвонить, и я сломя голову полечу на свидание. Где и когда она захочет. Я так давно был знаком с Хеленой и никогда не обращал на нее внимания.

ГЛАВА VIII

Две недели назад Ксенжак дал мне книгу по легкой атлетике на английском языке. Он попросил меня просмотреть ее и пересказать ему содержание. Я пришел к нему на другой день, как мы условились. Дверь открыла Хелена. Она была в халате. В ужасном китайском халате. Без косметики и немного растрепанная, она показалась мне интересней, чем обычно. Я бездумно повторял за другими, что Хелена Ксенжак очень красива. По правде говоря, она мне не нравилась. Но разве можно с уверенностью сказать, кто тебе нравится, а кто нет?

При виде меня Хелена схватилась за голову.

— Марек! Не сердись. Я совершенно забыла. Зайди! Умоляю тебя, не говори ничего Эдварду.

— С удовольствием исполню твою просьбу, если ты объяснишь, о чем не следует ему говорить.

— Садись, пожалуйста!

Вообще-то она всегда бывала надменной и надутой. А сейчас она показалась мне очень милой. Даже ее ужасный китайский халат понравился мне. Ощущение было такое, будто я вижу эту женщину впервые. Она вызывала у меня чувство симпатии. Чувство новое, свежее, незнакомое.

— Марек, я во всем виновата. Эдварда неожиданно вызвали в Варшаву. Он так торопился, что не успел позвонить тебе. И просил тебя предупредить. А я, хоть убей, начисто забыла об этом.

— Зачем из мухи делать слона? Я очень рад, что так получилось.

Хелена посмотрела на меня.

— Как именно?

— Немного странно. Благодаря твоей забывчивости я имею удовольствие тебя видеть.

Хелена все еще смотрела на меня, наморщив брови. Она была удивлена. Никогда прежде я так с ней не разговаривал. Я и сам удивился. Наконец Хелена улыбнулась.

— Это очень мило с твоей стороны, — сказала она сдержанно, как говорят в тех случаях, когда не слишком верят в искренность комплимента.

Она поправила волосы, посмотрелась в зеркало. Зеркало было ужасное, оправленное в золотую раму и висело над не менее кошмарным комодом из карельской березы. Все женщины без исключения одинаково реагируют на комплименты. Хелена глянула на свой халат и вдруг закрылась руками, точно была голая.

— Извини, что принимаю тебя в таком виде, — сказала она. — Я думала, ты придешь позже.

Только что она клялась, будто начисто забыла предупредить меня о неожиданном отъезде Ксенжака. Это показалось мне странным, но я уже давно усвоил: в разговорах с женщинами делать логические выводы — напрасный труд.

— Я уйду. Прости, пожалуйста, за столь неожиданное вторжение.

— Ты чересчур вежлив. Этот халат просто ужасен. Я надеваю его, когда убираюсь, готовлю, занимаюсь домашним хозяйством и уверена, что меня никто не видит. Халат мне подарила свекровь. Она меня терпеть не может. Старая краковская кумушка. Не уходи. Я знаю, в этом халате я выгляжу ужасно. Но я сейчас переоденусь. Постой. Выпьем чаю. Мне сегодня как-то не по себе. Я рада, что можно отвести душу.

Не дожидаясь ответа, она ушла в другую комнату. Мне всегда казалось, что Хелена меня недолюбливает. Я тоже не слишком ее жаловал. Не то что не любил, просто она была мне безразлична.

Случается, на письменном столе или в одном из его ящичков лежит какая-нибудь совершенно бесполезная вещица. В один прекрасный день неожиданно выясняется, что она пригодилась. При этом мы испытываем такое чувство, словно получили неожиданный подарок или выиграли в карты крупный куш. Нечто подобное я испытал тогда к Хелене. Она вернулась куда быстрее,

чем можно было ожидать от женщины, которая ушла переодеться. Она была в обтягивающих красных брюках и черном свитере. Волосы повязала голубой ленточкой. Лучи заходящего солнца освещали стену. Они были ни пурпурные, ни розовые, ни оранжевые. Лучи заходящего солнца бывают какого-то совершенно особого цвета. За стеной кто-то играл на рояле «Осеннюю песню» Чайковского. Мелодия отвечала настроению этого полудня. Хотя была весна.

Хелена поставила передо мной стакан чаю, который мне не хотелось пить. Она улыбнулась. Губы у нее были слегка подкрашены. Чуть-чуть тронуты помадой.

— Почему тебе сегодня не по себе? — спросил я.

Она села напротив меня.

— Так, вообще. А может, выпьешь вина?

— Нет, спасибо. Почему все-таки не по себе?

— Откуда я знаю? Жизнь проходит, и что? Не очень много радости я вижу.

— Что ты говоришь? Ты красивая, молодая...

— Баю-баюшки-баю, будешь, деточка, в раю... Не такая уж я молодая и не такая красивая. Если ты в утешение мне собираешься говорить плоские комплименты, то лучше помолчи. Что ты думаешь? Мне уже тридцать два года. Тридцать два года прожито. В октябре исполнится тридцать три. Я не делаю из этого тайну. Это не в моем характере. Все равно ничего не выгадаешь.

— Ты считаешь, это много?

— Все относительно. По сравнению с моей бабушкой — немного. А по сравнению со всеми вами?

— Тебе, Хелена, еще рано иметь подобные комплексы.

— Рано? А по-моему, в самый раз. Впрочем, у меня есть и другие комплексы. Могу продемонстрировать, если хочешь!

— Ну?

— Например, каждый из вас что-то значит, а я — никто.

— Ты слишком болезненно к этому относишься. У тебя нет оснований так думать.

— Нет оснований? Лучше молчи, если тебе нечего сказать! Все вы прыгаете, бегаєте, увлекаетесь живописью. А я? Я ничто и так ничем и останусь. Жена

Ксенжака. Вот единственный смысл моего существования. И все вы так именно на меня и смотрите.

— Не болтай глупостей!

— Сам не болтай!

— Тобой все восхищаются. Не потому, что ты красивая. А потому, что ты незаурядная личность. Если бы ты не была женой Эдварда, ничего бы не изменилось в отношении окружающих к тебе.

— Не втирай мне очки. Какая еще там личность? Мне все осточертело. И больше всего собственная личность. Ты не представляешь себе, до чего однообразна моя жизнь. Твоя жизнь — другое дело. Полная противоположность моей. Прежде всего тебе неведомы всякие страхи, которые одолевают человека. Самый неприятный из них — это страх, что жизнь прожита напрасно. Что ничему не суждено случиться. Порой нападает отчаяние. Любой ценой хвататься за жизнь. Недаром говорят: судорожно цепляться за жизнь. Знаешь, ведь я хотела стать ботаником.

— А почему не стала?

— Из-за Эдварда. Он не позволил мне учиться. У него отсталые мещанские взгляды на жизнь. Наверно, унаследовал их от матери. И я влипла! Перед свадьбой он мне заявил: «Если тебя интересует ботаника, ты сможешь удовлетворить свою страсть, готовя салат к обеду». Не очень остроумно, правда?

— Почему же ты вышла за него замуж?

— Была молодая и глупая. Любила его. И сейчас люблю. Хотя у него есть недостатки, он, по-существу, хорошо ко мне относится. Но теперь я не была бы такой душой. Ради любви нельзя всем жертвовать. Вот ты пожертвовал бы чем-нибудь ради любви?

— Ради любви, пожалуй, нет. Но ради чего-нибудь другого — возможно. Например, целеустремленного действия, благородного поступка.

— Не понимаю.

— А тебе понятно, зачем человек бежит вокруг дурацкого газона и любой ценой мечтает бегать еще быстрее, чтобы первым прийти к финишу?

— Это мне понятно. Хотя сама я не хотела бы так бегать. Но какая тут связь с нашим разговором?

— Какая связь? Жизнь — это дьявольская олимпиада. В ней происходит борьба в разных видах спорта

и каждый должен придерживаться определенных правил. Идти вопреки всему, а подчас даже вопреки здравому смыслу на такое адское напряжение сил. Ради того, чтобы одержать победу. Не раз человек задумывается, зачем ему эта победа? Почему он должен из-за нее во всем себе отказывать? Но даже поняв, что это себя не окупает и не имеет смысла, он все равно, когда ему представится возможность, снова вступит в борьбу. И, не взирая ни на что, будет стремиться к победе. Конечно, если он не последний лопух.

Но Хелена, как всякая женщина, задавая вопросы, не интересовалась ответом.

— Я всегда любила мотыльков, жучков, пчел, — сказала она. — У меня было много гербариев, и я до сих пор разбираюсь в этом. Но раз ты заговорил об олимпиаде, то знай, Эдвард твердит, что в лепешку разобьется, а ты медаль получишь. Ты даже не представляешь, как он к тебе относится. Он возлагает на тебя все свои надежды. Он говорит, что ты бегун высокого класса, только капризен, как прима-балерина.

Вдруг я вспомнил то, о чем совсем забыл. Как на вечере в клубе Хелена дернула меня за волосы.

— А мне плевать на соревнования, — сказал я, — и на медали.

— Только что ты говорил, что надо бороться и всеми силами добиваться победы.

— Одно дело — борьба и победа для самого себя, а другое — вся эта петрушка с судьями, спортивными деятелями, фоторепортерами и публикой, жаждущей за свои деньги зрелищ.

— А я тебе не верю. Вероятно, для тебя и это важно.

— В каком-то смысле, да. Тут сказывается привычка, зависимость от существующих правил. Но, по существу, мне в самом деле плевать на все это.

— Ах, как бы мне хотелось получить золотую медаль или какую-нибудь награду. А ты притворяешься, паясничаешь, и больше ничего.

— Честное слово, не паясничаю. Думаешь, мне самому никогда не приходит в голову, что жизнь проходит? И разве тут помогут успехи в беге, медали и звание чемпиона? Промчавшуюся жизнь не догнать. Признаюсь тебе: я мечтал, что моя жизнь сложится

совсем иначе. Хотя у нас с тобой жизненная ситуация разная, я испытываю сходные чувства.

— Знаешь, Марек, это невероятно. Оказывается, ты можешь понять женщину. А я и не подозревала этого. О чем же ты мечтал?

— Ну, так определенно я это не могу сказать. Во всяком случае, о чем-то совсем другом. Можно получать олимпийские медали, почетные звания и еще не знаю что, вызывать восторг толпы, но собственная жизнь от этого не будет менее будничной... Поверь мне.

Хелена, подперев голову рукой, смотрела в окно, за которым виделась обшарпанная стена противоположного дома. Мы пили чай. То есть, я делал вид, что пью, а Хелена к нему не притронулась.

Квартира Ксенжаков была обставлена куда более по-мещански, чем моя до того, как ее модернизировала Агнешка. В моей царил кавардак, который свидетельствовал о непостоянстве. У них же эта чудовищная стандартная мебель из магазина, ковры, скатерти, салфетки, картины на стенах, фарфор — все было тщательно расставлено, и в доме царил порядок. Наверно, это было делом рук Хелены, которая старалась быть образцовой женой. Странно, почему эта обстановка не резала глаз Ксенжаку. Хотя, по утверждению Хелены, он унаследовал от матери мещанские взгляды, и время от времени они прорывались наружу, Ксенжак был культурным, образованным человеком. Он увлекался литературой и музыкой, чего я, например, о себе сказать не мог. Он разбирался в политике, интересовался наукой. Ксенжак хотел стать пианистом и даже занимался в музыкальной школе. Но у него что-то там не ладилось, и он пошел в Институт физкультуры. Он был лет на десять старше меня, но относился ко мне, как к сверстнику. Находил во мне что-то такое, чего не было у других легкоатлетов. Не знаю почему, но мне это казалось смешным. Тщедушные интеллектуалы поносят спорт и очень нервно реагируют на то, что народ больше волнует несколько лишних метров в метании диска, чем рассуждения о душе. Они считают спортсменов пещерными людьми, а спорт в их глазах — свидетельство деградации и вырождения человечества. Если бы кто-нибудь из них поговорил с Ксенжаком, то очень удивился бы. Конечно, среди спортсменов есть немало

кретинов. Но разве их мало среди художников, актеров и даже писателей? Благодаря Агнешке я познакомился не с одним из них. Одни рисуют картины, которые никто не смотрит, другие играют в спектаклях, на которые никто не ходит, третьи пишут книги, которых никто не читает. Иногда они даже получают за это премии и награды. У нас такие отсеиваются на отборочных соревнованиях. И тут уж им ничего не поможет. Когда я говорю жалкий, слабосильный интеллигент, я не хочу их обижать. Но в большинстве своем они в самом деле слабаки. И поэтому я сомневаюсь в их способности правильно оценивать события и людей. Они еще могут проанализировать, что такое слабость, но не очень разбираются в силе, которую считают оружием мерзавцев и хамов. Люди часто с презрением относятся к тем положительным качествам, которых им самим недостает. Я считаю, что все эти интеллектуалы, миссионеры и возвышенные идеалисты, поборники добра и красоты, вальковером¹ отдали силу на откуп мерзавцам и хамам. И совершенно напрасно! Вместо того чтобы бороться со злом с помощью силы, они прибегают к слабости. И объявили эту слабость благородной, возвышенной, притягательной. Если бы такой интеллигент избил хулигана, который на него напал, а потом написал статью на тему о том, что следует быть добрым, благородным и порядочным, я думаю, что избитый им хулиган, читая в больнице эту статью, призадумался бы над своей жизнью. Но если он избьет интеллигента, а потом прочтет его плаксивые рассуждения о хулиганстве, то лишь пожалеет, что напоследок не дал ему хорошего пинка. Не знаю, правду ли говорит Артур Вдовинский, будто греческие трагики — Софокл и другие, были замечательными легкоатлетами, отлично развитыми физически. Думаю, поэтому их произведения пережили века и по сей день не утратили значения. Им незачем было умиляться своими слабостями, пытаться оправдать их, что, в конечном счете, скучно и однообразно. Лишенные комплексов, они верно подмечали самое существенное в человеческой судьбе. Неплохо, если бы в своем физическом

¹ Спортивный термин, означающий победу боксера из-за неадекватности противника на ринге.

развитии благородные мыслители превосходили мерзавцев. Но боюсь, что на самом деле все обстоит как раз наоборот.

— Что бы ты ни говорил, а олимпийскую медаль мне бы хотелось иметь. Хотелось бы, и все, — сказала Хелена. — Олимпийскую или какую-нибудь другую. Что-то в этом роде. Можешь говорить, что угодно, но я тебе не верю. Когда у человека есть медали, ему легко рассуждать, что их не обязательно иметь.

— Ну, объясни, зачем тебе эти медали?

— Значит, ты ничего не понимаешь. Я хотела бы стать совсем другой, не такой, как на самом деле. Разве ты этого не понимаешь?

— Это я-то не понимаю? Как мало ты меня знаешь, Хелена! Если уж я не способен этого понять, то никто другой не поймет.

— Тебе тоже хотелось быть другим? Да?

— Другим или кем-то другим. Во всяком случае, что-то вроде этого меня мучает. Не воображай, что это твоя привилегия.

— Ну, кем, например, ты хотел бы быть?

— Мне трудно сказать тебе что-то определенное. Может, ученым, совершающим открытия, государственным деятелем, перекраивающим карту мира и существующие в нем порядки, конструктором межпланетных кораблей. По сути, это не так важно. Тут дело не в профессии, а скорей в индивидуальности. Конечно, одно с другим связано. Но все-таки, важнее индивидуальность. Забавная штука. Человек невероятно обожает себя, но постоянно думает о том, как бы стать другим. Разве это не забавно, скажи?

— Я себя не люблю. Я ненавижу себя.

— Тебе только так кажется. Ненависть — побочный продукт горячей любви.

— Знаешь, ты очень умный. Правда. Я этого даже не подозревала. Когда ты говоришь, я не думаю о том, прав ли ты, а только слушаю тебя.

— Не преувеличивай.

— Мне хотелось бы быть интеллигентной. Если уж так сложилась моя судьба и мне не суждено быть никем иным, то, по крайней мере, хочется быть хоть образованной.

— Ты достаточно интеллигентна.

— Ты говоришь это просто так.

— Уже сам факт, что ты задумываешься над этим, говорит о твоём уме.

— Э, какое там! Да и что из этого, если я не умею выражать свои мысли так умно и эффектно, как ты.

— Мужчины выражаются более точным языком, чем женщины.

— Я обожаю мужчин. Мужчины импонируют мне именно умом. Красота для меня ничего не значит. А красавчики вообще для меня не существуют.

Она пристально посмотрела на меня. Разглядывала меня долго и как-то так, что мне стало немного не по себе. Я не знал, куда деваться от её взгляда, и, возможно, немного покраснел. Я подумал, что пора уходить.

— Скажи, Марек, — заговорила Хелена, не спуская с меня глаз, — почему в жизни все так получается?

Я не очень понимал, что она хочет этим сказать, но ответил, словно бы понимал:

— Так уж получается, и с этим ничего не поделаешь.

— Знаешь, что мне бы хотелось? Мне бы хотелось не быть женою Ксенжака. Да нет! Не смотри так. Я не собираюсь разводиться с Эдвардом. Я его люблю, и мне с ним, по сути дела, хорошо. Даже, несмотря на все его недостатки, о которых ты понятия не имеешь, и на его чертову мамашу, которая всюду суёт свой нос. Ты не представляешь, до чего она отравляет мне жизнь! И если я сказала, что хотела бы не быть женой Ксенжака, то это направлено не против Эдварда. А скорее против меня. Понимаешь? Я хотела бы расстаться с собой. С той, какой я сделалась, во что превратилась. Понимаешь? Чтобы стать другой. Хотя бы на минуту. Хотя бы время от времени.

Я кивал, слушая с пятого на десятое. Я хотел уйти. Только не знал, как сказать об этом. Неожиданная близость с Хеленой смущала меня. Не то, чтобы это было мне неприятно. Но я боялся, что если сейчас не уйду, то, что между нами установилось, спутается, порвется. Чтобы не смотреть на Хелену, я стал оглядывать стены и задержал взгляд на репродукции, изображающей Леду с лебедем. По-моему, это пошлейшая халтура. Меня несколько не волнует, что это известная,

признанная вещь. Я не помню, кто ее написал. Рембрандт, Рубенс? Может, Тинторетто? Черт его знает. Хотел спросить у Хелены, но после того как она сказала, что я очень интеллигентный, спрашивать было неудобно. Дело тут не в самолюбии. Просто мне не хотелось разочаровывать ее. Есть «Леда с лебедем» Леонардо да Винчи. Но это не она. «Леда» Леонардо да Винчи — изумительная картина. Она висела у меня в комнате, но Агнешка даже не посягнула на нее, хотя присматривалась к ней с некоторым сомнением. Видно, размышляла, достаточно ли современен Леонардо да Винчи. И все-таки его авторитет одержал верх. Современность — ее мания. «Леда» Леонардо ассоциировалась у меня с монументальным архитектурным сооружением на открытом пространстве, а «Леда», репродукция которой висела в комнате Ксенжаков, заставляла думать о душном и вульгарном будуаре. По-моему, любовь тоже иногда имеет сходство с монументальным архитектурным сооружением, если это так, то ничто не может казаться ни двусмысленным, ни мерзким, ни пошлым. Тогда все приобретает черты монументальности. Просто и естественно, как сама природа. Но такая любовь случается редко. Люди, жаждущие чистой и возвышенной любви, ищут ее не там, где надо, их привлекает душный, банальный будуар. И кончается это тем, что все, казавшееся им чистым и возвышенным, вызывает у них отвращение. Потом со злости они начинают делать мерзости.

Хелена говорила, а я представлял ее в виде Леды. Она играла с лебедем не нагишом, а в плотно облегающих красных брюках и черном свитере. Я наблюдал, как она рассуждает с серьезной миной о важных проблемах и старается держаться с особым достоинством. Смотреть на нее было смешно, потому что она не представляла себе, что происходит за ее спиной. То есть в моем воображении. Но эта комичность почему-то начинала меня беспокоить. Я сознавал, что это не похоже на невинную школьную шалость, когда кому-то цепляют на спину вырезанного из бумаги чертика. Тут было что-то лукавое и плутовское, напоминавшее школьницу, которая впервые пошла в кино на картину для взрослых. Я чувствовал себя довольно нелепо. Меня разбирало желание спихнуть ее со стула и

поглядеть, как она упадет и будет барахтаться на полу. А потом кинуться к ней с лицемерными извинениями.

— В самом деле это удивительно, — продолжала Хелена, — что мы так хорошо понимаем друг друга. Когда я говорю об этом с Эдвардом, то он мне заявляет: «Все от безделья. Если бы ты работала, у тебя не было бы времени думать о таких пустяках». Ну, разве это не хамство с его стороны, скажи, пожалуйста? Во-первых, я не работаю по его вине. Во-вторых, я с утра до вечера кручусь по дому. И все ради него. С его стороны это подлость — так говорить. Ох, если бы ты знал, как мне все это надоело. И почему человек не может стать другим? Ну скажи, почему?

— Может, — сказал я решительно.

— Может? — удивилась Хелена.

— Конечно, может.

— Тогда скажи, как?

Я ответил не сразу, потому что не знал, что сказать.

— Для этого нужно немного смелости и решительности, — сказал я наобум.

— Как это понимать?

Она вглядывалась в меня пытливо и с беспокойством.

Я отвел глаза.

— Возможно, я несколько неудачно выразился. Нужно обладать известным воображением.

— Воображение у меня есть, а толк-то какой? Мое воображение заперто в этой квартире.

— Тебе не хватает смелости и решительности.

— Это все слова!

— А ты думаешь, они у тебя есть?

— Нет, конечно, нет.

— И еще, надо уметь подчиняться настроению. В этом заключается магическая сила кино. В кино-театре каждый воображает себя героем картины. Конечно, если герой ему нравится. Если обстоятельства благоприятствуют, иллюзия продолжается в жизни. Мы видим на улице детей, которые играют в крестоносцев, ковбоев и мушкетеров, падают с крыши и ломают ноги, как Зорро. Труднее, конечно, заметить невооруженным глазом ту утонченную игру, которую ведут между собой все эти Грегори Пеки, Глены Форды, Мэрилин

Монро и Брижитт Бардо. Киноэкран — волшебное окно, за которым мы видим совершенно особый мир. Внешне он похож на наш, но как бы искаженный и противоположный нашему. Необходима решимость, чтобы переступить эту границу. Как это сделала Алиса, войдя в зеркало, висевшее в ее комнате. Потом можно свободно разгуливать по стране чудес. Кто не способен переступить эту границу, тот не кинозритель, а просто лопух. Только зря деньги тратит. Артур Вдовинский утверждает, что главная и, возможно, единственная задача кино — создавать у людей иллюзию, что они это не они. Все остальное — мура. Попытки создать изошренные картины для интеллектуалов-снобов кончатся печально. Мне кажется, уже мы являемся свидетелями этого банкротства.

Я говорил без убеждения, пытаюсь этой болтовней отогнать призрак Леды в узких брюках и черном свитере. Хелена оперлась щекой на руку и глядела на меня, не двигаясь. В ее взгляде я уловил нечто такое, что не просто обеспокоило меня, но повергло в панику. Я неожиданно встал. Она тоже встала, не спуская с меня глаз.

— Ну, Хелена, — сказал я, пытаюсь сохранить спокойствие, — прости, что я так засиделся и утомил тебя своей болтовней. Мне пора.

— Ты очень здорово говоришь, — сказала Хелена. — Кажется, я напрасно потеряла в жизни время, занимаясь всякой ерундой, вместо того чтобы слушать тебя. Но не думай, что это открытие я сделала только сейчас. — Она обогнула стол и остановилась передо мной.

— Помнишь, как в клубе я потрепала тебя за волосы?

Она потянула меня за волосы и улыбнулась. Так же, как тогда на вечере.

— Вот так, — сказала она. — Знаешь, почему я это сделала?

Теперь я знал. Но ничего не ответил. Мы смотрели друг на друга. Я слышал ее дыхание и свое собственное. В комнате сделалось необычайно тихо. До сих пор я не очень верил в разговоры о том, что человек перед смертью видит всю свою жизнь. Как на киноленте. Но сейчас я увидел нечто подобное с той только разницей, что это были картины не прошлого, а будущего. Как

в кино, я совершенно отчетливо и с подробностями увидел то, что произойдет через минуту. Вплоть до того момента, когда я буду сожалеть о случившемся и еще раз проклинать себя, готовый плюнуть самому себе в физиономию. Но фильм так раскрутился, что, зная его злополучный конец, я все-таки не мог прервать неотвратимое мелькание кадров. Как пловцы на стартовой тумбе, мы дрогнули и качнулись друг к другу. И тут зазвонил телефон. Мгновение мы еще стояли неподвижно. Потом я молча указал ей на этот звонящий предмет. Хелена опустила голову и тыльной стороной ладони провела по лбу. Телефон прозвонил трижды, раз за разом. Звенел он сварливо и настырно. Я отвернулся и подошел к окну. За окном ничего достойного внимания не происходило. Обшарпанная стена противоположного дома, закрытый табачный киоск и какой-то тип в соломенной шляпе, читающий посреди тротуара спортивную газету. В последнем номере был напечатан фельетон, озаглавленный: «Сумеет ли хамелеон беговой дорожки Марек Аренс победить в беге на длинные дистанции?» Хелена повторяла раздраженным голосом: «Алло, алло». И даже тихо выругалась, произнеся такое слово, какого я от нее не ожидал. Почему «хамелеон беговой дорожки»? Чего эти журналисты только не выдумывают для эффекта!

— Что такое, черт побери?.. — кричала Хелена в трубку. — Вы соединяете или нет? С ума можно сойти с этой междугородной... Ну наконец-то! Это ты? Я... говорю тебе, это я. Я у телефона! Перестань без конца повторять свое «алло». Да, конечно. Завтра утром? Хорошо... хорошо... Заплатила... да... Сделала все, как ты велел. Не беспокойся, все в порядке... Ох, и стоит ли из-за такой ерунды звонить из Варшавы? За счет Союза легкоатлетов? Ага... Мареку?.. Нет, потому что... Он здесь... Да... Он пришел как раз, когда ты позвонил... Да, звонила, но его целый день не было дома... Не кричи на меня, пожалуйста. А что же это, если не крик?

Самым беззастенчивым образом без моего согласия она втянула меня в эту ложь, словно считая, что мы — сообщники и должны вместе защищаться и атаковать.

— Ах, оставь меня в покое! Очень прошу тебя на будущее, не забивай мне голову подобными вещами...

Может, и пустяки, но я предпочитаю, чтобы ты не увлекал меня в свои спортивные глупости. Скоро ты будешь сидеть дома и читать газету, а мне прикажешь тренировать Марека. Почему ты все сваливаешь на меня? Да, слушает. Нет, нет! Успокойся! Он не обиделся. Во всяком случае, не на меня... На тебя? Этого я не знаю... Скажи, какой смысл звонить из Варшавы, чтобы устраивать дурацкий скандал?.. Прочисти мозги как следует... Я не нервничаю, я просто терпеть не могу, когда ты придираешься ко мне без всякого повода. Точь-в-точь как твоя мать... Ну хорошо, хорошо, дорогой, я не сержусь... Конечно, я приготовлю завтрак моему песику... И в мисочку положу. Песики ведь едят из мисочки. Пока, целую тебя... Хорошо, сейчас позову...

Тип, который читал спортивную газету, медленно сдвинулся с места и налетел на спешащую девушку. Он сложил газету, повернулся и поглядел ей вслед.

— Марек, подойди к телефону. Эдвард звонит из Варшавы.

Она положила трубку и вышла из комнаты.

— Алло! — сказал я и повторил. — Алло! — потому что в первый раз у меня был какой-то хриплый, не свой голос.

— Привет, Марек! Извини меня. У Хелены столько дел...

— Она здесь ни при чем. Меня с утра дома не было.

— Правда?

— Ну говорю тебе!

— Во всяком случае, я напрасно побеспокоил тебя.

— Что за церемонии? Ведь ничего не случилось.

— Не в этом дело. Я люблю, чтобы все было точно, как часы. Но если ты не сердишься, тогда прекрасно. Нашел в этой книге что-нибудь интересное?

— Как тебе сказать. О беге, пожалуй, ничего нового. Может, по части прыжков. Но я не очень-то в этом разбираюсь.

— Почему у тебя такой странный голос?

— У меня? Тебе кажется.

— Ты не простудился? Смотри не расхворайся! У меня для тебя прекрасная новость. Получено согласие, чтобы ты участвовал в мемориале на дистанции три тысячи метров.

— Да?

— Ты не рад?

— Очень рад...

Меня это нисколько не волновало.

— Ты говоришь об этом безразличным тоном.

— Нет-нет, тебе это кажется. Только знаешь... Я немного побаиваюсь. Не хотелось бы оскандалиться.

— Если ты будешь к этому так относиться, ручаюсь тебе, можешь оскандалиться. Послушай, в чем дело? Судя по времени, какое ты показываешь на тренировках, у тебя есть шансы не только на хорошие результаты, но и на победу.

— Так уж сразу и на победу! Дай бог дотянуть до финиша.

— Что с тобой?

— Ничего. Я шучу. Разумеется, я выиграю. Я устрою себе небольшой зачет по первоклассной европейской норме.

— Когда ты так говоришь, значит, все в порядке... Теперь я могу спать спокойно. Ну, привет, Марек! Не вешай нос!

— Привет, старик! А если тебе что-нибудь понадобится, помни...

Я положил трубку и подумал, что же будет, когда в комнату вернется Хелена. Она вошла несколько иначе причесанная, без голубой ленточки и сильнее накрашенная. Что бы это значило? В руках она держала тряпку, насвистывала и была исполнена деловой энергии. Она убрала со стола стаканы, стерла пыль с комода, переставила стулья и задумалась над пятном на скатерти.

— Ну, я пошел, — сказал я.

— Куда ты так торопишься? — спросила она и снова начала насвистывать.

— Я действительно немного тороплюсь. Наше проектное бюро получило заказ на ансамбль торговых киосков для Новой Гуты. И все это взвалили на меня. Поэтому у меня сейчас уйма работы.

На самом деле никакого заказа не было и не могло быть. Никому ничего подобное и не снилось. В бюро, где я работал, был полный застой.

— Тем более прости, что побеспокоила тебя, раз ты так занят.

— Ерунда! Не стоит говорить об этом. Я все равно собирался прогуляться.

У меня чуть было не сорвался с языка плоский комплимент вроде того, что: «Если я тебя повидал, значит, время не потеряно даром», но вовремя спохватился, что в этой ситуации это было бы бестактно, и ничего не сказал.

Я ушел, и она меня не удерживала. Простилась со мной вежливо, но сдержанно. Так, как обычно, когда встречала или провожала меня. Можно было подумать, будто я только что вошел в квартиру Ксенжака и, узнав, что тот уехал, сразу же удалился и ничего не случилось.

Я вернулся домой и не знал, чем мне заняться. Сел за чертежную доску и стал чертить. Но работа показалась мне адски скучной. К счастью, сломался карандаш, и я решил, что у меня есть повод прекратить это бессмысленное занятие.

Я лег на тахту и устался в потолок. Это со мной редко случалось. По натуре я человек живой, деятельный и терпеть не могу безделья. Но на этот раз беспокойство мешало мне чем-нибудь заняться. Я думал, поваляюсь на тахте и успокоюсь. Но успокоение не наступало. Со мной что-то происходило. Обычное прощание с Хеленой не имело значения. Прокручивание фильма несостоявшихся событий продолжалось. Удар гонга спас меня от нокаута, но бой не закончился. Судьба предоставила мне великолепную возможность еще раз напасть. За прошлое и будущее. Что было бы, если бы не зазвонил телефон? Нельзя с уверенностью сказать, что я не опомнился бы. Человек, уцелевший в авиационной катастрофе, живет. И в расчет принимается это, а не то, что при менее удачном стечении обстоятельств он мог бы погибнуть. Судьба предоставила мне возможность совершить подлость. Но это могло быть и поводом преодолеть в себе подлость. Начиналась борьба. Да, предстояла борьба. И, как обычно перед началом борьбы, я испытывал возбуждение. Где-то в области желудка появляется жар и постепенно разливается по всему телу. Особенно сильным было это ощущение перед стартом в финале Олимпийских игр, когда сразу же за стартовой чертой я вывихнул ногу. А потом долго плакал в

раздевалке в полном одиночестве, о чем никто не знал и никогда не узнает. Сам не понимаю, почему я тогда плакал? Для меня это не имело уж такого большого значения. Имело или не имело, но борьба есть борьба, и адское возбуждение перед стартом — хорошее чувство. И никогда не забуду, как ко мне примчалась Дорота, она была сама на себя не похожа. Она обхватила руками мою голову и прижала к груди. Это она-то, которая не умеет выражать свои чувства и не знает, что такое нежность. Но ее порыв не имел ничего общего ни с сентиментальностью, ни с нежностью. Просто Дорота знает и понимает, что такое борьба. Это был жест спортсмена. Точно так же однажды прижал к груди мою голову советский бегун Крепяткин, после соревнований по бегу, где мы вели смертельную борьбу и он опередил меня у самого финиша на несколько сантиметров. Тогда, на Олимпийских играх, у меня были шансы одержать победу, и об этом все знали, и, возможно, такой случай мне больше никогда не представится. Мне страшно захотелось вернуться к Хелене. Увидеть ее хоть на минутку или позвонить и услышать ее голос. Я затрудняюсь определить, что же все-таки между нами произошло. Потому что, по существу, ничего не произошло. Если подходить к этому формально. И если, конечно, не принимать в расчет, что при одной мысли о Хелене меня бросало то в жар, то в холод. Откуда это на меня накатило? Почему вдруг Хелена? Женщина, которая меня никогда не интересовала и которую я недолюбливал. И какие только козни ни подстраивает природа. Начиналась борьба. Отчаянная борьба, от которой не отделаешься вывихнутой ногой. Желание вернуться к Хелене и увидеть ее хоть на минуту росло. И я сознавал, что оно будет расти тем сильнее, чем настойчивей я буду стараться его побороть, не допустить, чтобы у нас с Хеленой что-то произошло. Разве это не абсурд? Зачем я возвожу здание, в котором никто не спасется? Ведь так уж повелось, что некоторые дела люди обделывают втихомолку, тайком, и покуда все делается тайком и втихомолку, считается, что никто от этого не страдает. Итак, вернуться к Хелене, слиться с ней в объятиях, как этого хочет судьба, которая по сигналу природы заняла боевую позицию. Я знал, что это быстро кон-

чится, случайно заблудшая Леда в красных брюках и черном свитере растворится в пространстве. Останется только чувство омерзения от собственной подлости, но и оно долго не продлится. Человечество давно изобрело великолепные средства быстро и безболезненно избавляться от подобных чувств. Если я этого не сделаю, если буду сопротивляться, то жалкая комедия превратится в эпическую драму, а Леда в красных брюках и черном свитере, которая всего лишь беззаботная наядка, — в возвышенную и неподражаемую богиню любви. Спокойно, спокойно! Самые мудрые и логические аргументы тут не помогут. Я не поддамся! Буду бороться, чтобы не стать подлецом. Буду бороться, чтобы не предать товарища и сохранить верность девушке, которой я это обещал. Зачем? Не знаю. Так же, как не знаю, зачем отчаянно борюсь на беговой дорожке. Даже тогда, когда победа для меня не важна. Я сказал Агнешке, что она моя последняя девушка в жизни. Я обещал, что буду ей верен, что бы ни случилось. Сказал не только потому, что любил ее тогда, но и потому, что был подавлен всеобщей неверностью, своей и чужой. Я был подавлен вероломством и властью иллюзий, которые заставляют нас коленопреклоненно боготворить то, что потом становится источником разочарований, а порой неприязни и ненависти.

ГЛАВА IX

После бала в клубе прошло два дня, а Агнешка все не давала о себе знать. Я не мог этого понять. Ведь она просто обязана была проявить ко мне интерес. Девушки считают, что мужчины связаны обещанием, если прошлись с ними по Плантам. А сами они никогда не чувствуют связанными себя обещаниями. Впрочем, я рассматривал эту проблему с точки зрения житейских нравов только для того, чтобы растравить обиду и сгладить тоску по Агнешке. Я снова верил, что это именно та любовь, о которой мечтает каждый, верил, что Агнешка ниспослана мне судьбой и богом, если судьба и бог существуют, в чем лично я сильно сомневаюсь. Я бродил по Кракову печальный,

задумчивый, выбитый из колеи. Погода стояла ужасная. Пасмурно, грязный липкий снег лежал на мостовых и тротуарах. Дня словно вообще не существовало. Длилась нескончаемая ночь, ненадолго прерываемая серыми сумерками. Я мог разыскать Агнешку через доктора Плюцинского, разузнать о ней в Академии художеств или спросить у Президента. Но я не собирался этого делать. Если она не хочет меня видеть, с какой стати я буду ее разыскивать? Я никогда не умел завоевывать женщин. Мне всегда это казалось глупым и унижительным. Большинство женщин любит, чтобы их завоевывали, и в связи с этим откалывают разные номера, которые часто вызывают у мужчин раздражение или разочарование. Такое может нравиться только прожженным донжуанам и шулерам от любви, для них довести незадачливую кокетку от показного равнодушия до тайной страсти — дело чести. У нормальных мужчин нет ни времени, ни желания забивать себе голову подобными вещами. Что касается меня, я шел навстречу женщине, если она готова была сама проделать первую половину пути. Тратить время на разные глупости я не собирался. И еще я заметил, что всех этих профессиональных обольстителей, специалистов по овладению якобы неприступными крепостями, рано или поздно ждет печальный конец. Они сами оказываются в положении угнетаемых страдальцев. Все это не имело и не могло иметь никакого отношения к Агнешке. Но именно поэтому я решил не быть навязчивым и не разыскивать ее, раз она сама не хочет меня видеть. Наверное, она пришла ко мне под влиянием минутного порыва и выпитого вина. А когда осознала, что произошло, ее охватили стыд и отвращение. И теперь единственное ее желание — это не видеть меня вообще. Как же иначе объяснить ее поведение? А раз так, я не мог разыскивать ее или искать случайной встречи с ней. Я страдал, потому что все обстояло не так-то просто. Если бы дело было только в Агнешке! Ну, что ж, я встретил девушку, на которую сначала не обратил внимания, потом она показалась мне милой, наконец до того милой, что мне захотелось остаться с ней на более продолжительное время, если не навсегда. Но эта девушка меня не жаждет. Ничего не поделаешь!

Я попереживал бы какое-то время, как все обманутые влюбленные. Потом и это прошло бы. Но тут была замешана Йовита. Я ни на минуту не переставал о ней думать с того момента, когда повстречал ее. Как я ни старался обмануть себя, Йовита, настолько не-реальная, что не мешала мне любить других женщин, в то же время была настолько осязаема в воспомина-ниях, что я мог представлять ее как живой, суще-ствующий в действительности идеал. Чем бы я ни занимался, я не переставал думать о ней. Как благо-честивый монах, который размышляет о божестве и веч-ной жизни во время повседневных забот и редких тайных утех. Я думал о Йовите, когда любил Аг-нешку и Хелену, думал о ней, принимая перед кон-цертом ванну и боясь опоздать — было чертовски поздно, и, хотя назревал ужасный скандал, мне не хотелось вылезать из воды.

Я страшно мучался. На следующую ночь после прихода Агнешки, я не спал или почти не спал. Раз-думывая над случившимся, я пришел к единствен-ному и неопровержимому выводу: Агнешка — это Йовита. Я думал об Агнешке, когда вернулся с прогулки, во время которой вел с ней одностороннюю беседу. Я лег, и мне стали мерещиться разные вещи, которые приходят в голову, когда засыпаешь. Приви-делась мне и Йовита. Вот она подошла к моей по-стели, нагнулась и отдернула с лица покрывало. И я увидел Агнешку. Но не только это убедило меня, что Агнешка — это Йовита. Я понимал: некоторые мои поступки могут внушать серьезные опасения от-носительно моего рассудка. Но я еще не настолько поглупел, чтобы делать выводы, основываясь на сон-ных видениях. Видение лишь навело меня на мысль о том, кто Агнешка и кто Йовита? Сколько я об этом ни думал, сколько ни сравнивал и ни сопоставлял факты, у меня, как в самом точном, многократно сверяемом счете, выходило, что Агнешка — это Йовита. Все подтверждало это. Все, кроме не совсем ясной истории с Микой, которая должна выясниться. Если, конечно, дело дойдет до выяснений. Ведь Агнешка исчезла. Исчезла, как Йовита после маскарада. Для Агнешки — Йовиты это была проделка, зашедшая слишком далеко, которую она сочла за лучшее

прекратить. Словом, я страдал, и это было не обычное, заурядное страдание, ведь я страдал не из-за одной, а из-за двух девушек. И хотя я был убежден, что Агнешка и Йовита — это одно лицо, мысленно я все-таки разделял их. Объяснить это толком очень трудно. Я и сам запутался, хотя как будто все было ясно. Пожалуй, это можно сравнить с тайной Святой Троицы.

Прошло два дня с того дурацкого вечера в нашем клубе и восхитительной ночи с Агнешкой. Утром третьего дня я решил избавиться от этого наваждения. Человеку свойственно подчас принимать волевые решения. Он ощущает прилив энергии, злость ко всему, что мешает ему жить и жажду устранить все препятствия на своем пути. Как правило, состояние внутреннего напряжения длится недолго. И похоже оно на то, что испытывает человек под действием алкоголя. Вдруг он решает стать скаутом или шахтером, поселиться в лесу и вести жизнь первобытного человека или же принести себя в жертву на алтарь семьи. Ему это кажется вполне естественным. Он убежден, что осуществит свое желание, а когда алкоголь перестает действовать и начинается головная боль, он уже ни о чем другом не думает, кроме того, как бы опохмелиться. Что касается меня, то я никогда не принимал решений под действием винных паров. Но если уж я на что-то решался в трезвом состоянии, ничто не могло заставить меня отступить. Я обладал волей и упорством, и это не раз приводило к крайностям. Например, начну от скуки отгадывать кроссворд. Потом мне это уже надоест, но я не брошу до тех пор, пока не отгадаю, хотя злюсь на себя, что трачу попусту время. Итак, я совершенно твердо решил выкинуть из головы Агнешку и все связанные с ней проблемы. Не для того чтобы задобрить судьбу, как это часто делают даже солидные люди. Утром я отправился в проектное бюро. Там я развернул такую бешеную деятельность, что привел всех в полное замешательство. Все новое и неожиданное, даже если оно явно полезно, как правило, оказывает отрицательное воздействие. Люди привыкают к тому, что есть, и перемены к лучшему приводят их в такую же растерянность, как и перемены к худшему. Я стараюсь избе-

гать обобщений. Поэтому не берусь утверждать, что так бывает всегда и повсюду. Но, вероятно, так случается часто. А в нашей проектной мастерской было именно так. Впрочем, возможно, это свидетельствует лишь о том, что моя творческая изобретательность не пользуется там особым признанием. Во всяком случае, на протяжении десяти дней с момента встречи с Йовитой на балу в Академии художеств я ничего не делал. Теперь с невероятной энергией я стремился наверстать упущенное. Я раскритиковал все, что было сделано за время моего отсутствия. И выдвинул новые, собственные концепции. Потом подверг полному разному организацию труда в нашем учреждении. Товарищи смотрели на меня молча. Первым отозвался Михал Подгурский.

— Вот что, Марек, — сказал он. — Если ты уже высказался, то бери карандаш, садись за кульман и принимайся за работу, которую мы с нетерпением и жадой ждем уже несколько дней.

Мне стало стыдно.

— Как хотите, — сказал я, чтобы что-то сказать. — Когда-нибудь вы сами убедитесь, что я прав, но будет уже поздно. Только, пожалуйста, не рассказывайте и не говорите потом, что я был прав.

— Клянемся! — воскликнул Михал. — Клянемся, и можешь быть уверен, что сдержим свое слово.

Все рассмеялись, и я тоже. Что мне оставалось делать? Я принялся за работу. Разумеется, я свалил дурака. В мастерской я выполнял техническую работу. И справлялся с этим неплохо. Но в вопросах принципиальных моего мнения не спрашивали. Да я и не стремился к этому. Для этого существовал Михал Подгурский. Он делал карьеру. Его имя все чаще повторялось в Польше. Он был талантлив и получал премии на многих конкурсах. И каждый раз, готовясь к очередному конкурсу, он привлекал меня для совместной работы. Я умел быть благодарным. Михал был типичным слюнтяем. Мы подружились еще в годы студенчества. Я часто помогал ему. Надо сказать, что слюнтяем он был именно тогда, теперь, пожалуй, уже нет. И перестал им быть благодаря мне. Даже не потому, что я уговорил его заниматься спортом. Он недурно метал копье. Гораздо важнее то, что

я научил его смотреть на мир глазами мужчины и вести себя, как подобает мужчине. Пожалуй, без меня он бы пропал. У него была нелегкая жизнь. Отец до войны был кадровым офицером и — что еще хуже — выкидывал в эмиграции разные фортели. А это было время, когда дети отвечали за грехи отцов. У Михала постоянно возникали недоразумения с ЗМП¹, хотя с отцом его ничего не связывало. Разве только то, что он презирал его. И у него были для этого все основания. Его отец, убежав за границу, перестал интересоваться им и его матерью. Словом, из-за отца, который вел себя по отношению к нему, как самая последняя свинья, Михала хотели исключить из института. Я выступил на собрании в его защиту. Я, который с белым орлом на груди представлял мою страну и представлял неплохо. Мне пришлось это сказать, хотя это звучало глупо, и мне было стыдно. Но это возымело действие. Как раз за несколько дней до собрания состоялся матч с венграми, на котором я эффектно их срезал. Итак, Михала оставили в покое. Мне понравилось, что после собрания он ничего мне не сказал. Просто подошел ко мне и протянул руку, как партнеру после борьбы. Он не хныкал и не лез с благодарностью. Я немного помог ему и материально. Как раз в это время мы состязались с отцом, кто продаст больше фамильных драгоценностей и реликвий. Он добывал деньги на водку, я — на учение. Кроме того, я получал стипендию Союза польских легкоатлетов. Михал аккуратно записывал все, что брал у меня в долг, а когда начал зарабатывать, вернул до последнего гроша. Он был моим настоящим другом. А друзей у меня было немного. Ксенжак, Шиманяк, когда был жив, Дорота, ну и, пожалуй, Артур Вдовинский. Этого я назвал бы скорее другом, а не другом. Но настоящим другом был, конечно, один Михал. Хотя вне мастерской мы виделись редко. Он был постоянно занят, и у него не было времени на всякую ерунду. А у меня, надо признаться, было. Михал мне нравился. Он обладал теми качествами, которых не доставало мне. Он был интелли-

¹ ЗМП (Звѣзек молодежи польской) — Союз польской молодежи.

гентен и очень начитан. Я же, в лучшем случае, мог сойти за интеллигентного наивного резонера. И я понимал это. Иногда я говорил вполне разумные вещи. Даже сам удивлялся, откуда что берется. А иногда молол чепуху. Как тогда в проектно бюро. Михал знал толк в искусстве. Разбирался в разных тонкостях жизни, о которых я и не подозревал. Это был человек крупного масштаба. В принципе, такие действовали мне на нервы и нравились Агнешке. Но он не раздражал меня. Я восхищался им. Во многих вопросах он был для меня непререкаемым авторитетом. Михала, единственного из моих друзей, признавала Агнешка. Он тоже относился к ней с особым вниманием. Когда они были вдвоем, то, откровенно говоря, начинали действовать мне на нервы. Их разговоры звучали неестественно. Мне казалось, что Михал просто из вежливости поддерживает беседу на том высоком уровне, который задала Агнешка. Я думал, как это могло получиться, что тогда на вечере, и у меня дома, и потом еще некоторое время она была такой милой и славной девушкой. И вдруг превратилась в претенциозного знатока литературной прессы, завзятую спорщицу, рассуждающую о надуманных и никому не нужных проблемах.

В тот день я выполнил двухдневную норму. Михал был мной доволен. «Без тебя я бы не управился», — сказал он. Я сделал вид, что воспринимаю это как нечто совершенно естественное. Когда я по-настоящему брался за дело, со мной мало кто мог тягаться. А с Михалом мы в самом деле сработались. Ему без меня пришлось бы туго. После полудня я отправился на тренировку, в клубе я тоже не был несколько дней. Тренировался я так усердно, как работал в первой половине дня. И думал при этом, что самое лучшее — это как следует потрудиться, а потом основательно позаниматься спортом. И ничем другим не стоит забивать себе голову. Возвращаясь с тренировки, я встретил Агнешку.

Клянусь, я отскочил бы в сторону, если бы успел. Я не хотел случайной встречи. Я хотел, чтобы она пришла ко мне или хотя бы позвонила. Признаться, я ничего не жаждал так, как этого. Я заглушал это желание работой и тренировкой, но совсем избавиться

от него не мог. Во всяком случае, за один день. Мне хотелось ее увидеть. Очень хотелось. Но не по воле случая. Поэтому клянусь, что я спрятался бы, ретировался, если бы это было возможно. Но мы столкнулись, что называется, нос к носу, когда я сворачивал с улицы Июльского Манифеста на улицу Страшевского.

— Здравствуй! — сказала Агнешка.

Она не была ни удивлена, ни взволнована, ни даже смущена этой встречей. Она сказала «здравствуй» так, как говорят случайно встреченному знакомому, с которым не связывают никакие отношения. Я же чуть не упал в обморок. Ведь чем упорней я старался в тот день забыть об Агнешке, тем большим потрясением явилась для меня эта встреча. К счастью, мне пригодился опыт боксера. Мне не раз приходилось получать удары такой силы, после которых я судорожно думал: только бы не выдать себя. Поэтому я не лишился чувств при виде Агнешки. Я овладел собой и произнес таким же безразличным тоном, как она:

— Здравствуй.

В руках она держала рулон бумаги и принялась крутить его.

— Я очень рада, что встретила тебя, — сказала она. — Тебе в какую сторону? Может, проводишь меня немного?

— С удозольствием проводил бы, но я спешу.

— Жаль. Я тоже спешу. А то бы я тебя проводила.

На ней была все та же коротенькая шубка, а на голсе — берет, темно-синий баскский берет. «Вот было бы здорово, ни с того, ни с сего сорвать с нее берет!» — подумал я. Она бы удивилась, а может, даже испугалась и бросилась с плачем бежать, как Алинка. Во всяком случае, я вынудил бы ее хоть как-то проявить ко мне свое отношение. Она же держалась с удивительным безразличием. Я бы сказал, с изысканным безразличием. Это вызывало у меня бессильную злобу. Со многими девушками имел я дело, но ни одна не относилась ко мне подобным образом. Уж не сдернуть ли с нее в самом деле берет? Но тут я вспомнил, что Агнешка — племянница доктора

Плюцинского, председателя нашего клуба. Это меня отрезвило. Уже потом я сообразил, что это нелепое свидетельство моей спортивной зависимости. Мы, спортсмены, недолюбливаем свое спортивное начальство и прочих спортивных деятелей. В нас живет такое неясное ощущение, что мы на них работаем. И вместе с тем мы всецело у них в руках. От них зависит наша судьба. Они всегда найдут предлог не включить спортсмена в число участников решающего матча, дисквалифицировать его, не послать за границу, словом, доставить массу всяких неприятностей. Среди спортсменов считается, что главное — не болтать лишнего и не лезть на рожон. По словам Артура, то же самое происходит в театре. Находились смельчаки, которые чувствовали себя неуязвимыми, и это для них плохо кончилось. Дисквалификация на год или хотя бы на полгода за неспортивное поведение и нарушение дисциплины. Кто докажет потом, что дисквалификация была несправедливой и незаслуженной? Я-то чихать хотел на спортивных деятелей, да и что мне спорт? И так я с ним скоро покончу. Но подсознательно я ощущал свою зависимость от клуба и давление сверху. Как-то на соревнованиях в Штутгарте я видел фильм «Спартак», о гладиаторах. И тогда я подумал, что они, как и мы, позволяли, чтобы ими управляла жалкая горстка слюнтяев. А когда они попытались взбунтоваться, это кончилось для них плачевно. Впрочем, к доктору Плюцинскому я отношусь неплохо. Это не худший вариант спортивного деятеля. Но если бы я сорвал берет с его племянницы, это квалифицировали бы как нарушение спортивной дисциплины. Заявили бы, что это фол¹, хулиганская выходка на ринге. Вопрос рассматривал бы соответствующий отдел нашего клуба, а может, и Союз легкоатлетов. Расскажи я кому-нибудь об этом, меня сочли бы ненормальным. Но надо принять во внимание, что, во-первых, я несколько преувеличиваю, во-вторых, эти мысли промелькнули у меня в голове мгновенно, когда я был в состоянии крайнего нервного возбуждения, которое к тому же старался

¹ Ф о л (спортивный термин) — грубый, недозволенный прием, например, в боксе, с целью вывести противника из игры.

тщательно скрыть. Кроме того, в изложении некоторые вещи выглядят иначе, чем когда их переживаешь. Людям вообще чертовски нравится фантазировать. Это совсем не значит, что они любят врать. Просто они сами не знают, что было на самом деле, а что они сочинили потом, когда раздумывали над случившимся, сопоставляя действительный ход событий с тем, что, по их мнению, могло бы быть. Вполне возможно, что про берет и спортивную дисциплину я придумал уже позже. Но какое это в конце концов имеет значение? Важно, что безразличие Агнешки привело меня в отчаяние и преисполнило решимости. Я испытывал потребность в физическом действии, которое заставило бы ее как-то отозваться на него. Но при этом я старался держаться так, чтобы она ни о чем не догадалась. Поэтому я прикинулся таким соблазнителем, для которого встреча с назойливыми девчонками, если можно так выразиться, — хлеб насущный.

— Ну, тогда до свидания, — сказал я. — Очень рад, что встретил тебя.

Агнешка с минуту стояла молча. Глядя на носки своих туфель, она вертела в руках рулон, который чуть было не упал. Мне очень хотелось, чтобы он упал в грязь и испачкался. Наверно, какая-то работа, которую пришлось бы переделывать заново. Но в последний момент она ловко подхватила его, посмотрела мне в глаза и сказала:

— До свидания.

Мне показалось, она хочет что-то добавить. У нее были полуоткрыты губы и слегка прищурены глаза. Но она ничего не сказала. Повернулась и ушла. Я был в отчаянии. Я никогда не предполагал, что можно так отчаиваться. Это была не Агнешка. Взгляд прищуренных глаз был взглядом Йовиты. Последние сомнения, что Агнешка — это Йовита, окончательно развеялись. Короткий миг я видел только глаза. Те же глаза, которые глядели на меня тогда на рассвете в Академии. Когда она сказала: «Получишь все, что захочешь. Ну, я бегу переодеваться. Жди меня у подъезда».

И побежала по коридору.

Почему эта девушка откалывала со мной такие странные номера, словно дьявол в сказке с обреченной

на муки душой? Так ли это? На самом деле, пожалуй, все обстояло проще, чем я думал. Судьба свела меня с Агнешкой случайно. Под влиянием настроения и алкоголя, она пришла ко мне в ту ночь. А теперь не может себе этого простить. Не желает меня видеть. Вот и все.

Я постоял еще немного на этом проклятом углу. Словно ждал, что Агнешка, которая свернула на улицу Июльского Манифеста, возвратится и скажет, что я ошибаюсь, что она меня любит и хочет быть со мной. Но я не стал ждать. Я знал, она идет в темноте с рулоном в руках. Идет торопливым шагом. Может, спешит на свидание и будет просить у него прощение за то, что у нее было со мной. Она наверняка не вернется. Не пойдет мне навстречу. Она хочет быть не поближе, а подальше от меня.

Стремление человека вечно истолковывать все происходящее в свою пользу можно, пожалуй, объяснить инстинктом самосохранения. Это, вероятно, очень стойкий инстинкт, вроде инстинкта материнства. Что бы ни говорили факты и ни диктовал разум, человек на какое-то время всегда подпадает под коварную власть этого инстинкта. Поэтому мы часто совершаем безрассудные поступки, и очень редко оказывается, что инстинкт нас не подвел и что ему стоило подчиниться.

Проснувшись на следующее утро, я стал думать об Агнешке. Первая моя мысль по утрам всегда была о ней. И мне стало ясно, что я вел себя, как выжившая из ума истеричка. Взвесив все трезво, холодно и беспристрастно, я пришел к бесспорным выводам. Мне казалось, что Агнешка меня избегает, не хочет продолжать отношений со мной. Но какие у меня основания считать, что она не думала точно того же обо мне? Недоразумения распространенные, можно сказать, классические между влюбленными. Подобное часто видишь в кино или в театре. У Мольера почти каждая любовная коллизия построена на этом. Впрочем, должен признаться, это всегда казалось мне чертовски глупым и наивным. И Мольер не смешил меня и не развлекал. Мне было его жаль в чисто личном плане. Кажется, он всю жизнь страшно мучился с женой, порядочной вертихвосткой и потаскухой. Но чего ради он так отчаянно цеплялся за нее?

Тоже инстинкт. Проклятый инстинкт, заставляющий толковать все происходящее в свою пользу. Я готов биться об заклад, что это именно так. Чем войти в историю с клеймом жалкого рогоносца, лучше остаться неизвестным.

Разве у Агнешки не было оснований считать, что я отнесся к ней не серьезно? Что я пресытился ею после одной ночи? Что хотел от нее избавиться? И разве она не вправе была ожидать, что я ее провожу? Спрошу, когда мы увидимся? Запишу номер ее телефона? Мне казалось, надо проститься без слов, без лишних вопросов. Я думал, это соответствует настроению и желанию Агнешки. Но неизвестно, воспринял ли я это так, как следовало. Ну, а если даже так? Все равно я должен был разыскать ее, а не пассивно ждать, пока она разыщет меня сама. Совершенно ясно и очевидно, я вел себя как последний кретин. Пожалуй, никто никогда так не радовался, как я, убедившись, что вел себя по-кретински. Агнешка, вероятно, страдала. Страдала из-за меня, как я из-за нее. И зачем все это? Зачем продолжать глупую мольеровскую сцену любовных ошибок? Я решил разыскать Агнешку.

Я отправился в клуб в надежде встретить там доктора Плюцинского. Разумеется, он был там. Играл в бридж. Подойти к нему и просто так, ни с того ни с сего, спросить в присутствии посторонних об Агнешке, было затруднительно. Вечно эти деятели играют в бридж. Неизвестно, когда они занимаются вопросами спорта, не говоря уже о служебных делах. Если бы я заболел, то ни за что не стал бы лечиться у доктора Плюцинского. Неожиданно мне повезло, он раздал карты и отошел от столика.

— Как я рад, что встретил вас, — сказал я, — у меня к вам, доктор, небольшая просьба.

Насчет этой просьбы получилось не очень удачно. Но мне было все равно. Я и так уже приготовился к его глупым шуткам.

— Слушаю тебя, Марек, — сказал он, — для тебя я готов сделать все. Тебе нужны деньги? Могу одолжить немного.

— Да нет... Не могли бы вы дать телефон Агнешки? Я обещал найти ей книгу... об этом... о Лео-

пардо да Винчи. И вот как раз сейчас нашел, но потерял ее телефон. Не могли бы вы...

— Разумеется, — сказал доктор Плюцинский, достал записную книжку и начал листать ее, отыскивая номер телефона. Он не обнаруживал никакого желания отпустить глупую шуточку, хотя всем своим видом я так и напрашивался на это.

— Пять семьдесят семь тринадцать. Но Агнешки нет в Кракове.

— Как это?

— Очень просто. Она уехала. Пять семьдесят семь тринадцать. Да. Не знаю. Мне она не докладывает. Уехала в Варшаву, в связи с поездкой в Соединенные Штаты. Вернется, вероятно, завтра — послезавтра. Марек, ты серьезно думаешь бежать на длинные дистанции?

— Я ничего не думаю. За меня Ксенжак думает.

— По-твоему, этого достаточно?

— Вполне. Я могу пробежать сто и двести метров, могу восемьсот, тысячу пятьсот, пять тысяч, и десять тысяч, могу прыгать или метать диск, а если угодно, участвовать в барьерном беге для женщин на восемьдесят метров.

— Марек, зачем ты паясничаешь?

— Я не паясничаю.

— Мы хотим, чтобы ты бежал три тысячи метров на предстоящем мемориале. Что ты об этом думаешь?

— Я готов. Почему бы и нет?

— Но что ты об этом думаешь?

— Ничего не думаю. Побегу, и все.

— Ох, Марек, Марек! Ты что-то сегодня не в себе. Хорошо, что я тебя знаю. А этот номер — пять семьдесят семь тринадцать.

— Пять семьдесят семь тринадцать. Спасибо, доктор.

— Запиши, а то забудешь.

— Не забуду.

— Ну, будь здоров.

— До свидания, доктор.

Я вернулся домой. По пути я повторял: пять семьдесят семь тринадцать. Дома снял трубку и набрал номер. Я знал, что Агнешки нет, но мне хотелось услышать длинный гудок, который в ее пустой

квартире отзовется телефонным звонком. Может, это глупо и сентиментально, но я уже дошел. Едва я набрал номер, как кто-то снял трубку. Я не ожидал этого. И до того испугался, что чуть не положил трубку.

— Алло? — раздался женский голос.

— Простите, — сказал я, — я не туда попал.

— Откуда вы знаете, что попали не туда?

— Знаю, и все.

— А с кем вы хотели говорить?

— Не все ли равно, если я не туда попал?

— Вы, наверно, человек самонадеянный, категоричный, уверенный в себе. Кроме того, в семейной жизни вы тиран. Не хотела бы я быть вашей женой.

— Кажется, вам такая опасность не угрожает.

— Спасибо, вы меня очень утешили.

— Очень рад. До свидания и простите меня.

— Не за что. Но с кем вы все-таки хотели говорить?

— Почему вас это так интересует?

— Знаете, вы — странный человек. Звоните мне, а потом удивляетесь, когда вас спрашивают, с кем вы хотели говорить.

— Я звонил вовсе не вам.

— А выходит, мне.

— Почему вы так уверены в этом?

— Факты налицо.

— Лишнее доказательство, что факты могут быть обманчивы. Это ошибка.

— Какой же вы упрямый!

— Не настолько, чтобы отнимать у вас напрасно время. Спасибо за милую беседу, прощайте.

— Откуда у тебя мой телефон, дурачок?

— Что?

— Я спрашиваю: откуда у тебя мой телефон? У дяди узнал?

— Ох, Агнешка!

— Я ведь говорила, что ты звонишь именно мне. Ты всегда такой упрямый?

— Как же я не узнал твой голос?

— Меня это тоже удивляет.

— Я не ожидал застать тебя дома. Наверно, поэтому.

— Ну, конечно. Это может служить тебе оправданием. Еще бы! Звонить кому-то и быть абсолютно уверенным, что не застанешь его дома.

— Ты ведь должна была ехать в Варшаву.

— Должна и еду. Если, конечно, не опоздаю на поезд из-за глупых телефонных разговоров. Ты можешь объяснить, зачем звонишь, если уверен, что я в Варшаве?

— Нет, не могу.

— Да, иногда мы совершаем поступки, которые потом не можем объяснить даже себе. Верно? Ну, отвечай! Почему ты молчишь?

— Ты сердисься, что я позвонил?

— Нет. Я очень рада.

— Правда?

— Правда. Мне было обидно, что ты не звонишь.

— Но ведь ты могла сама позвонить.

— Могла.

— И не позвонила.

— Нет... Марек, я опоздаю.

— Когда отходит поезд?

— Через полчаса.

— Можно тебя проводить?

— Если хочешь.

— Да, хочу.

— Скорый до Варшавы, шестая платформа, вагон первого класса, для курящих. Я должна перед тобой извиниться.

— За что?

— Я нарочно изменила голос, когда слышала, что это ты. Не сердисься?

— Нет. А зачем ты это сделала?

— Не знаю. Просто так.

— Иногда мы совершаем поступки, которые потом не можем объяснить даже самим себе. Верно?

— Нет, я сделала это просто шутки ради. Я обрадовалась твоему звонку. Боже мой! Я опаздываю, Марек. До свидания. Спасибо, что позвонил.

Она повесила трубку.

Я проводил Агнешку, и все было великолепно. Все, кроме погоды. На улице тьма, беспросветная краковская тьма, грязная и липкая, которую хотелось смыть с тротуаров, с мостовых и со стен домов мылом и

жесткой щеткой. Но все было прекрасно, потому что мы прогуливались по перрону под руку и Агнешка была чудесной, такой, как Кэтрин в «Прощай, оружие!» Хемингуэя. Агнешка заставила меня прочесть эту книгу, и надо признаться, это одна из немногих рекомендованных ею книг, которую я дочитал до конца. И не просто дочитал, а получил при этом колоссальное удовольствие. Только из упрямства я сказал Агнешке, что книга скучновата. На что она только пожала плечами. Хемингуэй пришелся мне по душе, и я прочел все, что он написал. Но я подозреваю, что он замаскировавшийся слюнтяй. Слишком он увлекается описанием битв, боксом и боем быков. Хотя описывает он их великолепно, но я почему-то представляю его мальчишкой, который забавляется оловянными солдатиками. Но это не так важно. Он знает толк в чисто мужских делах.

Мы прохаживались с Агнешкой по перрону, я купил ей в дорогу газеты и апельсины, которые совершенно случайно обнаружил в вокзальном киоске. У нас и разговора не было о каких-либо недоразумениях. Мы держались так, словно между нами ничего не произошло. Агнешка, казалось, была довольна тем, что я ее провожаю, и, подобно мне, не замечала слякоти и темноты.

— Уйди до того, как тронется поезд, — сказала она. — Мне грустно, когда поезд отходит, а на платформе кто-то стоит и машет рукой.

— Кто?

— Ты.

— До свидания, Агнешка.

Она приподнялась на цыпочки и поцеловала меня. Мне хотелось, чтобы она еще что-нибудь сказала. Я страшно этого хотел. И она сказала:

— Будь умницей, не флиртуй с девицами и терпеливо жди моего возвращения.

— Когда ты вернешься?

— Послезавтра. И сразу же тебе позвоню. До свидания.

— До свидания...

Я хотел сказать: «До свидания, дорогая!» — но у меня это как-то не получилось. Поэтому, не сказав больше ни слова, я ушел. Быстро, не оглядываясь, на-

правился к выходу. Мне представляется, что именно так покинул Миланский вокзал герой романа «Прощай, оружие!», имя и фамилия которого у меня в тот момент вылетели из головы. Именно так покидал он Миланский вокзал, когда провожал Кэтрин. Боже, какой же я олух! Ведь это не он, а она его провожала!

Как хороши эти минуты безмятежности, разрядки, когда после размолвки с любимой наступает примирение. Но, увы, в жизни разрядка сменяется напряженностью. Одно неизбежно следует за другим. Абсолютная безмятежность невозможна. А вот сплошные неприятности возможны, и жизнь неудачников подтверждает это. Может, они сами в этом виноваты. Неудачники, как правило, всегда страшные эгоцентрики. Я ни разу в жизни не встречал неудачника-альтруиста. Оттого, что они всегда заняты собой, своей судьбой и с такой подозрительностью относятся ко всему, что судьба им преподносит, они вечно пребывают в состоянии напряжения. Думаю, что я не принадлежу к их числу. В моей жизни напряженность сменялась разрядкой, причем разрядка преобладала. Покидая вокзал, я думал, что вот поезд уже отошел от платформы. Он удаляется вместе с Агнешкой, сидящей в вагоне первого класса для курящих, возле нее кипа газет, апельсины. С каждой минутой расстояние между нами увеличивается. Вдруг я почувствовал, что меня охватывает сомнение, и пленительное успокоение, которое я испытывал на перроне, постепенно тает. Поведение Агнешки, несмотря на нежность, показалось мне подозрительным. Чего-то не хватало в ее отношении ко мне. Нежность я ощущал, словно через плотную, мягкую завесу. Если уж сравнивать Агнешку с Кэтрин из «Прощай, оружие!», то надо сказать, что она не столько напоминает ее, сколько с успехом подражает ей. Но не это меня беспокоило. В конце концов подобные сомнения всегда возникают, когда с девушкой начинается роман, и вот тут-то и проявляется взаимосвязь напряжения и разрядки. Когда я шел по Плантам в сторону Шпитальной, я целиком находился во власти сомнений, но уже на Рыночной площади неожиданно для себя я выдвинул убедительные контраргументы, благодаря которым готов был снова прийти в состояние радостного возбуждения. Но меня беспокоили

сейчас более серьезные вещи, связанные непосредственно со мной, а с Агнешкой — лишь косвенно. Впрочем, косвенно ли? И можно ли вообще это так назвать? Ведь все, что происходило сейчас в моей жизни, вращалось вокруг Агнешки и касалось прежде всего ее. Работало за или против нее. И, пожалуй, именно она стала причиной первого в моей жизни отказа от борьбы. Я всегда боролся до конца, что бы ни случилось. Не раз на ринге у меня бывали острые моменты, не раз беговая дорожка горела у меня под ногами. Даже тогда, на Олимпийских играх, я бежал с вывихнутой ногой, пока не потерял сознание и не упал. Врачи вообще не могли понять, как это я после вывиха пробежал триста метров, а наш массажист Метек Фейгенблятт сказал: «Такое чудо могло произойти только в Риме». И вот я капитулировал. Капитулировал первый раз в жизни. Ведь я решил покончить с Агнешкой, забыть о ней, вернуться к нормальной жизни. И я еще похвалялся перед самим собой своей непреклонностью и силой воли. Своей уверенностью в том, что никакая сила не заставит меня пойти на попятный, если я принял решение, а потом, не сознавая, как и когда это произошло, невзирая на новое поражение на углу улиц Страшевского и Июльского Манифеста, я кинулся разыскивать Агнешку. И разыскал ее. На первый взгляд я поступил благоразумно, преодолев собственное упрямство. Однако этот поступок не казался мне абсолютно правильным. Меня не покидало ощущение, что я уступил, капитулировал, проиграл. А когда человек идет на уступки, ничего хорошего не жди. Надо быть последовательным. Даже когда тебе кажется, что это лишь глупое упрямство. Сила последовательности велика, и ее не сразу почувствуешь. Обо всем этом я размышлял после отъезда Агнешки. Но чего стоили мои размышления, если я опять начал думать о том, что послезавтра, в среду, Агнешка вернется и я увижу ее. Эта мысль сначала приглушила, а потом и вытеснила из моего сознания все остальное.

В среду я напрасно ждал телефонного звонка. В четверг тоже. Я думал, может, дела задержали ее в Варшаве. Увы! Доктор Плюцинский, которого я встретил в клубе, мимоходом сказал, что накануне ви-

дел Агнешку. Гораздо быстрее, чем можно было предполагать, подтвердилось: кто капитулирует, того ждут лишь горечь и унижение. А вот последовательность в поступках — всегда гарантирует успех. Несмотря на это, я не потерял надежды и продолжал ждать звонка. Телефон зазвонил в пятницу рано утром. Но звонил слюнтяй — маменькин доктор, он сообщил, что этой ночью моя мать скоропостижно скончалась от сердечного приступа.

Это известие произвело на меня странное впечатление. Если говорить о чувствах, то я не принял его близко к сердцу. Сильнее всего было разочарование, что звонит маменькин доктор, а не Агнешка. Я, конечно, должен был изображать человека потрясенного, пришедшего в отчаяние и даже сломленного. Меня это раздражало и мучило, но я ничего не мог поделать. Я не терплю лицемерия и считаю, что его не оправдывают никакие обстоятельства. Исключая разве что такие, когда прямота равносильна хамству. Впрочем, я заметил, что борцы с лицемерием, которые во имя правды и прямоты не чураются хамства, рано или поздно оказываются страшно падкими на деньги и ради сомнительной выгоды предадут родного брата. Не мог же я сказать маменькиному доктору: «Оставьте меня в покое, меня это нисколько не волнует! Я жду звонка от Агнешки, а на все остальное мне наплевать». Это была бы сущая правда, но сказать такое я был не в силах. Не только потому, что мне не хотелось хамить доктору. Во всем этом было нечто более существенное. То есть вначале я просто не хотел быть хамом. Но постепенно я понял, что тут дело в ином, более важном, хотя и не совсем ясном.

Если бы я рассказал, как на меня подействовало известие о смерти матери, подавляющее большинство людей возмутилось бы и вознегодовало. Вряд ли мне послужило бы оправданием, что моя мать ни разу в жизни не поцеловала меня, не улыбнулась мне и ни разу не поговорила со мной ну хотя бы приветливым тоном. Что она причина моих роковых комплексов, от которых я избавился только благодаря спорту, что, даже бросив меня на произвол судьбы, она, как могла, отравляла мне жизнь. И все из-за злобной и непонятной нелюбви ко мне. Но ни это, ни многое другое, го-

раздо худшее, о чем мне не хочется вспоминать, в глазах большинства людей не оправдывало того, что известие о смерти матери я воспринял не только равнодушно, но даже с некоторым раздражением, потому что это известие еще больше усложняло единственно важные и существенные для меня в этот момент проблемы. Мать родила меня. Произвела на свет. Только это должно приниматься в расчет в момент ее смерти. Этот патетический и всеобъемлющий факт, факт биологический, единственный, примиряющий религию и прогрессивные социально-философские учения. Я мог бы, конечно, возразить, что она произвела меня на свет не для того, чтобы доставить мне радость, а по иным причинам, очень сложным и имеющим ко мне отдаленное и случайное отношение. Но меня сочли бы чудовищем, свиньей, а незыблемый биологический миф оставался бы не только непоколебленным, но еще более возвышенным и почитаемым. Впрочем, я не собирался покушаться на эту олимпийскую святыню. Наоборот, я чувствовал, как невольно покоряюсь чисто внешним правилам. Внутренне я был равнодушен, но внешне уже становился в позу осиротевшего сына. Я даже удивился, когда, взглянув в зеркало во время утреннего туалета, увидел свое лицо. Оно выражало скорбь, грусть, страдание и множество других чувств, которых я вовсе не испытывал.

Похороны состоялись через два дня. Мне на них, разумеется, отводилась главная роль. Если в ванной комнате я еще мог призвать себя к порядку и вернуть своей физиономии обычный вид, то на кладбище сделать это было невозможно. Мне пришлось держаться так, как и должен держаться сын на похоронах матери. К этому меня обязывало отношение присутствующих на церемонии. Нелепо было бы ни с того ни с сего объяснять, что умершая была для меня посторонним человеком и что даже святой Станислав Костка не прослезился бы на могиле такой матери. Я стоял с опущенной головой и скорбным выражением лица, неподалеку — отец и доктор. Впервые после моих боксерских выступлений они стояли рядом. С такими же минами, как во время состязаний по боксу «Динамо» — «Берлин», когда я опрокинулся навзничь. Впрочем, я

свалился не от удара, а просто поскользнулся. Случилось это в тот момент, когда немец нанес мне удар в челюсть, который я принял на свою перчатку. Однако могло показаться, что я его все же получил. Судья-немец прекрасно все видел, но воспользовался этим и начал отсчитывать время. Я выиграл потому, что противник в третьем раунде капитулировал. Дорота стояла, нахмутив лоб и выпятив губы. Время от времени она бросала на меня не то сердитые, не то ободряющие взгляды. Однажды она уже так смотрела на меня на собрании в клубе, когда мне угрожала дисквалификация на год за якобы деструктивную критику руководства. Тогда она первой выступила в мою защиту. Ребята возложили венок с лентами от нашего клуба, а у Леона Козака на глазах были слезы. У него очень добрая мать, которую он очень любит. Мне казалось, что я и сам расплачусь. Разумеется, из-за Леона и его матери. Михал Подгурский, в перчатках, точь-в-точь как на фотографиях похорон крупных английских политиков, выглядел чрезвычайно элегантно. Михал чуточку сноб, но в конце концов у каждого есть свои слабости. Я, например, не отрицаю, что мне импонирует общество кинозвезд, хотя, по существу, я их презираю. Нет, не презираю. Я никого не презираю и презрение считаю одним из самых отвратительных чувств. Я заметил и, пожалуй, не ошибаюсь, что презрение свойственно слабым и низким натурам, которые пытаются отвлечь внимание от тех мелких гадостей, какими они не брезгают в устройстве своих житейских дел. Доктор Плюцинский был страшно официален, представителен и деятелен. Глядя на него, можно было подумать, что он в превосходном расположении духа и очень любит похороны. Никуда не денешься, но центром всеобщего внимания, соболезнований и симпатий был я, мечтавший только о том, чтобы эта церемония как можно скорее кончилась, так как меня все больше тяготила роль, навязанная мне обстоятельствами и приличиями. Когда гроб уже присыпали землей, окружающие стали подходить ко мне, выражая соболезнования. У меня затеплилась надежда: может, люди поймут, что маленький доктор гораздо больше меня нуждается в этом, да где там! Впрочем, он первый подошел ко

мне. Не с целью снять с себя ответственность, а по врожденной скромности и присущему ему чувству такта. Отец же вел себя настолько шутовским образом, что мне потом стыдно было об этом вспоминать. От него разило водкой, и он так меня раздражал, что хотелось его ударить. Конечно, теоретически. Недоставало только того, чтобы на похоронах нелюбимой матери, с которой меня ничего не связывало, я вдобавок избил бы своего отца. Меня объявили бы деградирующим представителем своего поколения, в литературных еженедельниках разгорелась бы дискуссия, и в ней самое активное участие приняли бы те, кому нечего сказать общественности, и они ждут такого особого случая, а противники спорта, все эти запрограммированные, идейные слюнтяи, ничтожные и жалкие людишки, которых, в сущности, мне даже жаль, просто обезумели бы от счастья.

Все уже начали расходиться, и я остался в одиночестве, мне хотелось побыть одному. Окружающие, с присущим им чувством такта, почувствовали это и ускорили шаги. Конечно, они почувствовали совсем не то, что было на самом деле. Я хотел остаться один, чтобы вздохнуть с облегчением, сбросить маску и сделаться самим собой, а не для того вовсе, как им казалось, чтобы постоять в задумчивости над материнской могилой. Впрочем, разыгрывалась коллективная комедия; действовал массовый гипноз, порожденный гнетом традиций, так как большинство присутствовавших на похоронах прекрасно знали, что моя мать была плохой матерью и меня с ней ничто не связывало, и никто не вправе был осуждать меня, что я не питал к ней никаких чувств.

Не знала об этом только Агнешка. Я не предполагал, что она может прийти на похороны. настолько был в этом убежден, что даже не дал себе труда посмотреть исподлобья по сторонам, нет ли ее среди присутствующих. Кроме того, моя формальная вовлеченность в совершавшийся обряд привела к тому, что хотя я и не перестал совсем о ней думать, эти думы отошли куда-то на задний план. Она появилась внезапно, когда последние участники траурной церемонии скрылись за поворотом аллеи Раковицкого кладбища и мне казалось, что наконец-то я остался один. Она

молча взяла меня под руку. Это произошло как раз, когда я намеревался расслабиться и в полном смысле слова облегченно вздохнуть. И я снова должен был принять скорбный, осиротелый вид и сделал это так поспешно, как человек, который спрятался от грозы в убежище, а потом, обманутый тишиной, вышел наружу, и тут как раз неподалеку ударила молния. Я страшно обрадовался Агнешке. Она пришла, узнав о постигшем меня несчастье. Это говорило о многом и рассеивало все сомнения. Она не знала, как обстояло дело в действительности, но в тяжелую минуту, несмотря на наши сложные отношения, прибежала ко мне. Стоит ли сейчас говорить ей правду? Или лучше использовать искусственно создавшуюся ситуацию в свою пользу, попытаться приумножить ее нежность и заботу обо мне, которых я в моем положении не заслуживал? Мне трудно сейчас ответить, что я признал более приличествующим моменту. Могу только сказать: это событие явилось лишним подтверждением того, что непоследовательность поведения и неискренность приносят лишь кратковременный успех. Во всяком случае, когда на кладбище Агнешка держала меня за руку, я почувствовал себя осиротевшим, несчастным, я почувствовал это ради нее. Ведь она мобилизовала для этого все свои чувства, и я не посмел обмануть ее. Я сказал тихо, решительно, не глядя на нее, а только чуть сильнее сжав ее руку:

— Агнешка, вот здесь я клянусь тебе, что никогда тебя не покину и ты будешь последней женщиной в моей жизни.

Я даже не заметил, что даю клятву на могиле матери. Мне в голову не пришло бы ничего подобного, потому что казалось смешным, как старомодные открытки с надписью «Поздравляем именинника!», которые с увлечением коллекционирует Артур Вдовинский. Это выглядело бы комично и несовременно, даже если бы я любил и боготворил свою мать. Я поклялся Агнешке, помня об истории с Шиманяком и обо всех последующих событиях, а также из желания очиститься и преодолеть все, что казалось мне предосудительным и нехорошим. Это могло произойти где угодно: в трамвае, в кафе. Но произошло на кладбище.

И удивительное дело. Я вдруг осознал, что с формальной точки зрения, хочу я этого или нет, кажется мне это смешным или не кажется, но клятва на могиле матери накладывает на меня дополнительные обязательства. Клятва на могиле матери — для меня это было нечто вроде плохо поставленной пьесы драматурга-ремесленника прошлого столетия. И вдобавок, речь шла о моей матери, которая терпеть меня не могла, в сущности, не зная меня, как не знал ее и я, и потому само понятие «мать» не означало для меня того же, что для других. И, наконец, к таким понятиям, как клятва, в наше время невозможно относиться всерьез, поскольку в прошлом ею пользовались для прикрытия лживых и лицемерных дел, а потом она была канонизирована, как множество подобных понятий. Что касается меня, то я упразднил бы Олимпийскую присягу, и на последних Олимпийских играх у меня даже были неприятности, потому что во время присяги я стал смеяться. Просто не мог сдержаться. Ведь сама присяга наводит на мысль о возможности предательства. И лучше бы деликатно промолчать и не напоминать об этом. Но тогда, на кладбище, формальная сторона клятвы, случайно произнесенной «на могиле матери», обладала могущественной силой тысячелетиями освещенного ритуала, и я не устоял перед этой силой, подчинился тому, во что не только не верил, но считал смешным и нелепым.

Агнешка ничего не сказала. Она продолжала молчать, когда мы, держась за руки, направились к воротам кладбища. Только на улице она наконец спросила:

— Что ты сегодня делаешь?

Это великолепно, что она молчала и первые ее слова были о вещах повседневных, практических. Это было великолепно, особенно если принять во внимание, что я страдал и со мной следовало обходиться крайне предупредительно, чутко и заботливо. Но я в самом деле запутался и не знал, где истина. Впрочем, честно говоря, знал. Истиной было то, что считала ею в этот момент Агнешка. Значит, я действительно страдал, так как был сыном, у которого умерла мать. Таким именно я казался Агнешке.

Когда она спросила, что я собираюсь делать, я почувствовал в ее вопросе заботу и готовность идти на жертвы. Она деликатно давала мне понять, что я могу рассчитывать на нее. В душе у меня царило сплошное, ничем не омраченное ликование, а в голове промелькнула мысль, что это удивительное стечение обстоятельств... Нет, нет! Есть вещи, даже самая мимолетная мысль о которых, уже подлость. Покойная все-таки была моей матерью, и я не мог додумать до конца эту мысль. Как хорошо, что я тотчас забыл об этом и у меня сохранилось лишь смутное воспоминание о том, что это было нечто очень низменное.

— Ты же знаешь, Агнешка, что для меня ничего не может быть лучше, как остаться с тобой.

— Это зависит только от тебя, — ответила она..

Она прижалась ко мне и некоторое время шла, прислонив голову к моему плечу. Меня раздражало, что я не могу держаться естественно и открыто выражать свою радость и счастье. Легкая грусть — вот самое большее, что я мог себе позволить.

Агнешка сказала, что придет ко мне вечером и приготовит ужин. Она принесла бутылку виски, которую ей прислал дядюшка. Тот, который из Нью-Йорка. Ужин получился на славу, и Агнешка изо всех сил старалась привести меня в равновесие и отвлечь от печальных дум. Я видел, как она счастлива от сознания, что ей это удалось и я наконец начал искренне и непринужденно смеяться.

Несколько дней Агнешка прожила у меня, и нам было очень хорошо вдвоем. Именно тогда моя квартира до неузнаваемости преобразилась. У меня появились деньги. Маменькин доктор позвонил мне и сказал, что хочет со мною увидеться. Я отправился к нему, и он сообщил мне нечто невероятное. По его словам, мать меня очень любила и вообще была привязана к дому, который покинула, потому что больше всего на свете любила моего отца. Оказывается, мой отец изменял ей, и она не в силах была этого вынести. С ним, то есть с доктором, она познакомилась давно, и вначале их связывали чисто платонические узы. Мать поверяла ему свои горести, а он утешал ее. Потом это перешло в нечто более глубокое. Прежде всего с его стороны. Он был для нее опорой в жизни (так

он выразился), но она тоже была к нему привязана, а возможно даже, это оказалось глубже простой привязанности. Однако по-настоящему она любила моего отца. А больше всего на свете (это тоже его слова) меня и прежний свой дом.

Я выслушал рассказ доктора молча, со скептической гримасой. Непонятно, чего ради он унижается, рассказывая мне это.

— Я вижу, ты не очень веришь моим словам, — сказал он.

— Сказать, чтобы очень, нет.

Маменькин доктор опустил голову и потер рукой лоб, словно собирался принять важное решение, или пытался что-то припомнить, готовился к чему-то такому, что требует особенной отваги и превосходит его силы. При этом на лице его изобразилось нечто среднее между смирением и отчаянием. Наверно, независимо от мыслей обо мне, он думал, что он одинок и жизнь потеряла смысл и вообще не удалась. Должно быть, он очень любил мою мать, и мне стало его жаль. Мне захотелось погладить его по голове и сказать, что он может рассчитывать на меня, что отныне я буду его опорой в жизни или что-то вроде этого, что принято говорить в таких случаях и потом не выполнять. Конечно, я ничего такого не сказал, потому что есть вещи, которые мне мучительно трудно произнести. Агнешка утверждает, что я недобрый человек. И даже говорит об этом посторонним людям. Скорей всего она не права и, наверное, сама так не думает. Словом, когда маменькин доктор потирал лоб, что-то сдавило мне горло, и я ощутил особенную солидарность с ним. Не как с маменькиным доктором, а просто как с человеком. Я и сам точно не могу объяснить, как далеко простиралось это.

Маменькин доктор неожиданно поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза.

— Я понимаю, — решительно и твердо сказал он, — у тебя есть некоторые основания быть в обиде на мать.

— Я на нее не в обиде, — ответил я.

Это была сушая правда. Я не питал к ней никаких чувств. Даже обиды и неприязни.

Я сказал это так убежденно, что доктор был сбит с толку. Он посмотрел на меня так, словно я его разочаровал, и он был на меня в претензии за то, что я не испытываю к матери ни обиды, ни неприязни. Он снова потер лоб рукой.

— Понятно, — произнес он после долгого раздумья, — ты не хочешь огорчать меня, потому что знаешь, как я любил твою мать. И считаешь, что теперь, когда она умерла, лучше забыть обо всем плохом. Вернее, о том, что могло казаться тебе плохим. Это делает тебе честь и для меня не является неожиданностью. Ты знаешь, я всегда был о тебе хорошего мнения, и, конечно, помнишь, как много лет назад...

Он, видимо, почувствовал, что разговор уводит его в сторону от намеченной цели, и вдруг замолчал.

Потом он снова поднял голову и поглядел на меня смело, я бы сказал, с торжеством.

— Да что тут рассуждать, — почти выкрикнул он, — у меня есть неопровержимое доказательство, что мать тебя любила и помнила о тебе.

Он встал, решительно подошел к картине Выспянского, на которой был изображен зимний краковский пейзаж, и отодвинул ее. За картиной помещался сейф. До тех пор подобные вещи я видел только в кино и думал, что такое бывает лишь за границей или же это вообще выдумка. А может, и у нас дома был за картиной сейф и отец боялся обнаружить его местонахождение.

Короче говоря, этот сейф за картиной Выспянского меня порядком-таки насмешил. Особенно забавным показался мне диск на дверце сейфа, не знаю, как он точно называется, на котором набирается или определенное слово, или цифры. Когда я рассказал об этом Дороте, она тоже смеялась и даже не поверила. Так вот, когда доктор крутил колесико, я смеялся про себя, но вдруг мне стало так смешно, что я не выдержал и расхохотался. Чтобы скрыть это, я кашлянул, со стороны могло показаться, что я просто едва сдерживаю волнение. Маменькин доктор, видимо, так и подумал, а может, даже решил, что я стараюсь заглушить рыдания, ибо перестал крутить колесико и замер, прислушиваясь. Не понимаю, почему меня так насмешил этот сейф. Но ведь Дорота тоже смеялась,

а спроси я ее, почему, она бы тоже не сумела объяснить. По-моему, объяснять тут нечего, сейф у нормальных людей должен вызывать смех, как многие другие смешные вещи, и нечего над этим ломать голову.

Доктор наконец справился с дьявольским механизмом, дверца открылась, и он поспешно принялся что-то извлекать из сейфа. Минутами он словно бы задушивался, словно что-то второпях сортировал. В конце концов он повернулся ко мне лицом, подошел к столу и положил на него разные удивительные вещи. Впрочем, ничего удивительного в них не было: несколько толстых пачек купюр по пятьсот злотых, немного долларов и кое-какие драгоценности.

Это меня рассмешило еще больше, а возможно, меня рассмешило все, вместе взятое, ну, прямо детективный фильм. Но теперь надо было сдерживаться. Тогда доктор стоял ко мне спиной, а сейчас — рядом и смотрел мне в глаза. Во взгляде его я уловил оттенок торжества. Он открывал рот, собираясь что-то сказать, и снова закрывал его. Это случается с людьми не потому, что они не знают, что сказать, а наоборот, потому что до тонкостей все продумали и находятся во власти таких возвышенных чувств, что им просто жалко, чтобы это было позади.

— Вот, — произнес наконец маменькин доктор, — вот неоспоримые доказательства привязанности блаженной памяти твоей матери к тебе. Вот доказательства заботы, которая не оставляла ее до последнего вздоха. То, что ты здесь видишь, — это наследство, которое она тебе оставила. Я выполняю сейчас ее последнюю волю, и это...

Он окончательно выдохся и потерял нить рассуждений. Тяжело опустившись в кресло, он отер тыльной стороной ладони пот со лба, отвернулся и закрыл лицо рукой.

Мне было страшно неловко, и я просто не знал, куда деваться. Как выпутаться из создавшегося положения. Маменькин доктор буквально окаменел. Мне лезли в голову самые нелепые мысли вроде того, чтобы подойти и погладить его по голове или сказать: «Смелее, доктор!» Так обычно подбадривают себя герои американских фильмов.

В самом деле, происходящее больше смахивало на кино, чем на подлинную жизнь, но, исходя из собственных наблюдений, я должен признаться, что в последнее время отношения между людьми больше напоминают кино, чем настоящую жизнь. И вовсе не потому, что это так уж интересно. Просто это так же надуманно, хорошо отрежиссированно и неестественно — откуда мне знать почему? Возможно, я не прав. Ведь кино изобрели лет сто назад, а люди разыгрывают друг перед другом комедии несколько тысячелетий. Но театр-то существовал всегда, правда, только для избранных, для высших слоев. Поэтому раньше паясничала только знать, а теперь благодаря кино шутовство стало явлением повсеместным.

Я не хочу этим сказать, что маменькин доктор разыгрывал комедию. Во всяком случае, не в плоском киношном смысле. Но я разгадал его игру. Впрочем, это было не так уж трудно. Про наследство он, конечно, сочинил. Ему хотелось оправдать мать. Он прекрасно знал, что она обошлась со мной нехорошо. Но мне на это было наплевать. А ему — нет! Он еще при жизни матери придавал этому значение, а после ее смерти, когда уже ничего нельзя было исправить, тем более. Но как ни крути, все равно ничего не исправишь в отношениях двух людей, которых ничего не связывает друг с другом. Думая обо всем этом, я мыслил его категориями, жил его иллюзиями или как их там еще? Этот благородный человек, этот слюнтяй из слюнтяев по-настоящему любил мою мать. Тут я хочу оговориться, что слюнтяй не всегда означает для меня ругательство. Иногда как раз наоборот. Я не раз с уважением думал о слюнтях, завидовал им, во мне жила тоска по слюнтяйству. Как знать, не принадлежал ли я и сам духовно к разряду слюнтяев, не был ли я потенциально феноменальным воплощением слюнтяйства, чем-то вроде Тарзана среди обезьян.

Маменькин доктор по-настоящему любил мою мать. И ему было важно, чтобы она покинула этот мир достойно и благородно. Я явился для этого помехой. Другой на его месте постарался бы устранить препятствие простейшим образом. То есть выставить меня в глазах окружающих негодяем, шалопаем. А этот слюнтяй из слюнтяев придумал другое. Он решил облагородить

нас обоих. Ее, которую это уже не касалось, потому что она была мертва, и меня, которого это не касалось, потому что я был жив. Делал он это ради самого себя, доказывая попутно, что поступки, совершаемые в собственных интересах, могут быть возвышенными, благородными и красивыми. Что касается меня, то я вел себя как последний идиот. Наверно, держаться иначе в моем положении было трудно. Во всяком случае, мне это не удалось.

Доктор, сгорбившись, сидел в кресле. Внезапно он отнял от лица руку и сказал очень усталым, просящим голосом:

— Бери наследство и уходи!

Тогда я сгреб все в карман и удалился. Конечно, меня можно обвинить в алчности и цинизме. Ведь я прекрасно понимал, что доктор все это сочинил и деньги принадлежали ему, даже драгоценности вызывали у меня серьезные сомнения. Ни одной из этих побрякушек я никогда не видел на матери. Небось отдал мне свои фамильные драгоценности, а те, что принадлежали матери, оставил себе на память. Память, которая была для него священной. Но забрал я все это не из жадности. Жадным я вообще никогда не был, а к деньгам и так называемым материальным благам был равнодушен. А уж тогда и подавно. Лежавшие передо мной деньги, драгоценности несколько меня не интересовали. Просто я не имел права испортить доктору грандиозное, великолепное и даже величественное представление. Не мог же я выступить с протестом и тем самым претендовать на главную роль в драме, которую он сочинил для себя. Мне действительно ничего не оставалось, как только смахнуть все это в карман и удалиться.

Что я и сделал.

Дома я завернул все это в газету и сунул в печь. Сейфа-то у меня нет. В моей комнате есть печь, несмотря на центральное отопление. Вернее, есть центральное отопление, несмотря на печь. Открывая печную дверцу, я для потехи соорудил серьезную мину, будто я и впрямь лезу в сейф, но забавляло меня это недолго. Я не расположен был веселиться. Случившееся выбило меня из колеи, и я начал злиться на маменькиного доктора. Я чувствовал себя так, словно

совершил преступление или неблагоприятный поступок. Только сейчас я понял, что был для доктора козлом отпущения. Он воспользовался мной для чисто личных, правда, священных (но не для меня) целей, а теперь, вероятно, доволен собой и спокоен. Зато заботы и сомнения предоставил мне.

Но вскоре пришла Агнешка, и я забыл об этом.

Через несколько дней я позвонил маменькиному доктору и попытался его тактично убедить, чтобы он взял «наследство» матери обратно, что оно мне не принадлежит, даже если мать действительно завещала все это мне. Он возмутился и долго говорил о последней воле умершей и тому подобных вещах. Он был тверд, и я убедился, что он сделал этот жест не под воздействием минуты, а хорошо все обдумал. Ничего не поделаешь.

«Наследство» лежало в печи, и я не собирался к нему прикасаться. Иногда я думал, что хорошо бы кто-нибудь, ничего не подозревая, затопил печь. Однажды я даже как бы между прочим сказал Агнешке, что в квартире холодно, вероятно, батареи плохо греют. Хотя она еще не жила со мной постоянно, у нее были ключи, и время от времени она устраивала мне разные приятные неожиданности.

Но Агнешка ответила, что мне это приснилось, батареи дьявольски горячие и она даже немного их прикрутила.

Потом пришли как-то требовать плату за электричество, а у меня не было ни гроша, и пришлось достать из печи пятисотенную бумажку. Так и началось, а потом пошло. Драгоценности я хотел подарить Агнешке, но она отказалась. Взяла только одну брошку и носила ее. Сережки с изумрудами я преподнес Дороте. Они ей были очень к лицу. Агнешка увидела на ней эти сережки и с тех пор невзлюбила Дороту.

Я узнал, что маменькин доктор женился на своей ассистентке из клиники. Говорят, он жил с ней уже лет пять, не меньше.

Но на могилу матери он ходил каждое воскресенье. Это факт.

В один прекрасный день я вдруг осознал, что история с Агнешкой тоже ошибка. Я не уверен, что нашел для этого самое подходящее слово. Ведь

историю с Агнешкой я не мог отнести к разряду любовных неудач, разочарований или чего-то вроде этого. С Агнешкой я был связан. Связан крепкими узами. И не только клятвой на могиле матери, которую я обязан был сдержать. Помимо этого меня связывало с ней очень многое. Что именно, я затрудняюсь сказать. Речь шла о моей чести, о жизненной ставке, которую ни в коем случае нельзя было проиграть. В том, что нас связывало, было нечто возвышенное и в известной мере необычное.

Кроме этого, нас связывали каждодневные отношения, без которых возвышенное и необычное потеряло бы всякую ценность. И кто знает, не являются ли они более сильными, чем самые безумные любовные экстазы. Любовные безумства похожи тем, что ни с того ни с сего бесследно исчезают. А каждодневные отношения — это нечто устойчивое, прочное и соблазнительное. С Агнешкой все было иначе, чем с другими девушками. Может быть, потому что у нее было передо мной преимущество чисто житейского порядка и она давала мне это почувствовать. Я просто побаивался ее. Не знаю почему, но это факт. Я признавал ее авторитет. Конечно, чисто формально. Возможно, из страха или просто спокойствия ради. В конечном счете, это одно и то же. Нет. Это не совсем так. Ее авторитет я признавал формально, пренебрегая ее суждениями и мнениями, и делал это, чтобы как-то вознаградить ее, утаить не только от нее и окружающих, но и от самого себя факт, что я не люблю ее. Хотя я бесил ее и она презирала меня за то, что я спортсмен, Агнешка меня все-таки любила. Это было самое ужасное. Из подобной ситуации не так-то просто выпутаться. Если бы не это, я был бы свободен и от клятвы, и от всех других обязательств по отношению к ней. Тогда я мог бы поискать другой объект для честного состязания с жизнью, как-то расквитаться за содеянное мной свинство. Мог ли я позволить себе такое? Я просто обязан был это сделать. А теперь что же получалось? Агнешка меня любила. Из-за меня она была втянута в то, чему явно сопротивлялась, что было ей противопоказано, но перед чем она не сумела устоять. Она не могла себе простить, что полюбила атлета, который гораздо ниже ее в ин-

теллектуальном отношении. За это она отыгрывалась на мне и унижала меня на каждом шагу, но не в состоянии была преодолеть любовь. Такое роковое стечение обстоятельств одинаково пагубно для нас обоих.

В этом была немалая доля ее вины. Она обманывала меня. Тогда, в самом начале, она не была самой собой. Она старалась мне понравиться и с какой-то поистине дьявольской интуицией, которая нередко бывает свойственна женщинам, исполняла не свою роль. Она исполняла роль девушки из романа Хемингуэя, которую я себе придумал, по которой тосковал, но так ни разу и не встретил. Она подражала Йовите. Потому что Агнешка не была Йовитой. К счастью, не была. Я еще долго воображал, что она меня разыгрывает. Пока не убедился, что Йовита — другая девушка и она существует. А я уже думал, что никогда ее не встречу. Это было бы ужасно. То есть ужасно сознавать, что она выдумка и мистификация Агнешки. Ведь я любил в Агнешке Йовиту. Переставая ее любить, я, понятное дело, переставал любить и Йовиту. Она бледнела, расплывалась в моем воображении, на душе у меня становилось пусто, и я был близок к отчаянию. Зато мысль, что она существует, наполняла меня надеждой. Йовита была превыше всего. Она была идеалом женщины и женственности. Идеалом, недостижимым для меня, но существующим. И то, что я был влюблен в Хелену, не имело к этому никакого отношения. Хелена — это Хелена, а Йовита — это Йовита. Объяснить это более связно я не могу.

Да, Агнешка не была Йовитой. Не только в буквальном смысле, но и в переносном. Решив, что начальный период закончен, она показала свое подлинное лицо. Говоря «свое подлинное лицо», я не имею в виду ничего плохого. Так выражаются в политических статьях, когда хотят подчеркнуть, что давние враги оказались еще вдобавок и коварными негодяями. У Агнешки был такой, а не иной характер, который сам по себе, может, был достоин уважения, но совершенно не соответствовал моим склонностям. Она была страшно деловита и педантична. Сразу видно, что из Познани! Она оказалась честолюбивой — и в отвлеченном смысле и в узком, житейском. И неустанно

стремилась удовлетворить это свое честолюбие, ни на что другое у нее просто не оставалось времени. Такая натура могла бы прийти по душе Михалу Подгурскому. Впрочем, она ему нравилась, хотя как женщина Агнешка, кажется, его не интересовала. Михалу Подгурскому нравилась, а мне нет. Хуже всего, что Агнешка считала, раз уж она показала свое подлинное лицо, то я тоже должен это сделать, причем мое истинное лицо должно соответствовать ее. Но она не учла, что я с самого начала был самим собой и никакого другого лица в запасе у меня не имелось. Поэтому она испытывала разочарование и считала себя обманутой. Она как бы стучалась ко мне, в мое оконце, в надежде, что я его открою и она увидит ожидаемое ею обличье. На этой почве между нами возникали постоянные конфликты и недоразумения.

Она пыталась направить меня на истинный путь, перековать меня, перевоспитать и никак не могла смириться с тем, что я спортсмен, а не интеллектual и что в литературных еженедельниках, если я в них вообще заглядываю, я отдаю предпочтение забавным фельетонам, а не проблемным статьям.

После похорон моей матери Агнешка обосновалась у меня, и казалось, она останется здесь навсегда.

Это были чудесные дни. Пожалуй, самые чудесные в моей в общем-то малоинтересной жизни. О дальнейшем мне трудно судить. Как-то за ужином я с ужасом почувствовал, что мне скучно. Мне захотелось куда-нибудь пойти, встретиться с Артуром Вдовинским или сходить в кино с Доротой. Агнешка жаловалась на головную боль и молчала. Но я испытывал скуку не поэтому. Это исходило от меня, а не от нее. На другой день она рано утром ушла в Академию, а вечером позвонила, что у нее срочная работа и ей придется просидеть над ней всю ночь с подругой. Я сделал вид, будто огорчен, а на самом деле испытывал облегчение. Это поразило меня еще больше, чем ощущение скуки накануне вечером. Тогда я попробовал разобраться в наших отношениях.

Агнешка ко мне больше не вернулась. То есть не вернулась насовсем. До этого все шло к тому, что она перевезет свои вещи и мы заживем вместе. Но у Агнешки было поразительно тонкое чутье. Хотя в дру-

гих случаях я удивлялся, какая она толстокожая! Она почувствовала, что еще не время оставаться со мной навсегда, и ловко ретировалась. Собственно, это ничего не изменило. У нее были ключи, она приходила ко мне и непринужденно исполняла роль хозяйки дома. Но тот факт, что мы жили врозь, нуждался в объяснении, в официальной версии. И Агнешка сделала это очень ловко.

— Слушай, — сказала она. — Ты должен меня понять. Соблюдать приличия, конечно, смешно. Но речь идет о моих родителях. А они твердокаменные познанские мещане. Ты знаешь, что такое твердокаменные познанские мещане? Вот видишь! Не знаешь. Тогда я тебе объясню. Для них было бы страшным ударом, если бы мы жили вместе, не поженившись. И я должна с ними считаться. Просто я не в силах их огорчать и разочаровывать.

Я стал уговаривать Агнешку скорее пожениться. И тут она проявила удивительную непоследовательность. Высмеяла меня, назвала обывателем, который готов подчиниться террору условностей.

— Если тебе стыдно жить со мной на птичьих правах, — сказала она, — мы можем расстаться. Я не обижусь, если ты не будешь раскланиваться со мной при встречах, я понимаю, это может тебя скомпрометировать. Иногда ты выглядишь удивительно отсталым. Смешно сказать, чтобы во второй половине двадцатого века подобные вещи могли для кого-то быть проблемой!

Такая Агнешка продолжала мне нравиться. Мне нравилась ее женственность. Высказать за несколько секунд прямо противоположные мнения — что может быть женственнее?

Но свои женские качества Агнешка проявляла все реже и реже. Рассудительная, благоразумная, поглощенная профессиональным совершенствованием, она при этом была удивительно неестественная. Неестественная в смысле запроектированной интеллектуальной позиции. К сожалению, этот проект распространялся и на меня. То, что она со вкусом обставила мою квартиру, несомненно, было явлением положительным. Гораздо хуже, что она на каждом шагу стремилась духовно развить меня. Поднять до своего уровня,

Боюсь, что она не столько руководствовалась заботой о моем развитии, сколько стремлением показать мне и окружающим, что я ниже ее по своему развитию. Видимо, это был один из способов привязать меня и подчинить себе. Способ, несомненно, надежный и действенный. Я ощущал свою зависимость от Агнешки и привязывался к ней все больше. Но коварство природы, которой подвластны отношения между мужчиной и женщиной, заключается в том, что такая привязанность порождает с обратно пропорциональной силой мечту о других женщинах. Я чувствовал к Агнешке все большую привязанность. Но чем сильнее я к ней привязывался и чем сильнее она меня любила, тем большее отчаяние охватывало меня при мысли, что многие радости жизни для меня раз и навсегда потеряны. И все из-за моей глупой клятвы.

Хотя мы с Агнешкой и не жили вместе, мы были типичной супружеской парой. По отношению ко мне она вела себя, как властная и привередливая законная половина, а я подчинялся ей с покорностью многолетнего супруга. Я познакомился с родителями Агнешки. Они оказались жизнерадостными людьми, лишенными всяческих предрассудков. Отец Агнешки работал до войны инженером на заводе Цегельского, а после войны открыл в Познани авторемонтную мастерскую. Мать была из помещичьей семьи. И брак ее в свое время считался мезальянсом. Но Плюцинские не цеплялись за свое дворянство, а дядя Плюцинский состоял даже в рядах польской социалистической партии. Другой дядюшка, американский, еще мальчишкой бежал из дому, зайцем доплыл на пароходе до Соединенных Штатов и нажил там немалое состояние. Во всяком случае, родители Агнешки не могли быть шокированы нашей связью. Все это Агнешка придумала. Мы решили пожениться, когда она вернется из Америки. У нее на руках уже были паспорт, виза и все прочее. Она могла выехать в любую минуту, но все откладывала отъезд. Я знал, чем это вызвано, но сказать ей не мог. Агнешка боялась, как бы чего-нибудь не произошло в ее отсутствие. Она боялась расстаться со мной. Знала, насколько это опасно. И была права. То есть была бы права, если бы не эта клятва. А теперь я был связан с Агнешкой

до конца жизни. Она могла спокойно ехать куда угодно, на какое угодно время. Между нами ничего не могло измениться.

В самом начале моей спортивной карьеры я участвовал в беге по пересеченной местности на кубок страны. Я стартовал впервые в качестве бегуна. Сначала я вырвался вперед и скоро оставил позади своих соперников. Но я перепутал беговые дорожки и сбился с маршрута. Заметив ошибку, я возвратился на основную трассу в том месте, где свернул с нее. На этом я потерял, по крайней мере, километра два. И все-таки мне удалось догнать соперников и даже одержать победу над ними. Правда, победителем я не стал, потому что меня дисквалифицировали. Этот случай я потом часто вспоминал. Вспоминал его в связи с Агнешкой. Почему, не знаю. Возможно, я понял бы, в чем тут дело, если бы задумался над этим серьезно, но мне не хотелось. Достаточно и того, что я ощущал связь между тем, что со мной происходило в жизни и на беговой дорожке. Это меня утешало. Почему? Сам не знаю. Да и вообще, такое ли уж это достоинство — много знать? Агнешке обязательно нужно было все знать, и в своих поступках она хотела руководствоваться только разумом. Ну и что бы она выиграла, если бы узнала, как все обстоит на самом деле? Что бы она выиграла, узнав про Хелену?

А что, собственно, было на самом деле?

С формальной стороны ничего плохого не произошло. Формально! Ха! Сколько же пакостей совершается под прикрытием этого. Если с формальной точки зрения все обстояло благополучно, почему я не мог смотреть в глаза Ксенжаку? Почему избегал его и с утонченной подлостью выискивал повод для столкновения с ним? Формальный повод, не связанный с существом дела. И почему точно так же я поступал с Агнешкой? Впрочем, найти повод для размолвки с ней было гораздо легче. В этом смысле на нее нельзя было пожаловаться. С Ксенжаком — дело другое. Но почему он такой осел? Почему не замечал того, что происходило вокруг? Ведь он уже тогда, когда звонил из Варшавы, мог о чем-то догадаться, что-то почувствовать. С таким покладистым, благородным характером он бы в два счета деликатно и

незаметно разрешил проблему. Вот я и продемонстрировал всю меру подлости! Иметь претензии к человеку, которого в любой момент я готов предать и обмануть! Которого, собственно говоря, уже предал. Если не подходить к этому формально. И на него же быть в претензии за то, что он мне не мешал.

Он действительно не мешал и даже, наоборот, немало этому способствовал. Но он не виноват. А разве я виноват? Как долго можно терпеть муки самопожертвования, принимая во внимание, что против одинокого человека ополчается природа, оснащенная самым мощным в мире термоядерным оружием.

Муки, которые я испытывал, вернувшись от Хелены, невозможно описать. Я бросился на тахту и пытался разобраться в том, что же произошло. Это были настоящие физические муки, так сильно я жаждал Хелену. Ничего в жизни я не хотел так, как ее. Но это еще пустяки по сравнению с тем, что произошло потом.

К счастью, Агнешки не было. Она поехала в Варшаву улаживать какие-то дополнительные формальности в связи с поездкой в Америку. Впрочем, я думаю, никаких дел там у нее не было. Просто это предлог оттянуть отъезд. Она уже защитила диплом, и никаких причин откладывать поездку не было. Я делал вид, будто верю ей. Мне очень хотелось, чтобы она хоть на несколько дней уехала в Варшаву. Я должен был немного отдохнуть от нее. А поскольку в Варшаву как раз ехал на машине Михал Подгурский, я попросил его захватить Агнешку с собой. И так ловко все подстроил, что ее и подмывало отговориться, а сделать уже ничего нельзя было. А ей очень не хотелось уезжать. Она словно предчувствовала, что в ее отсутствие что-нибудь произойдет. Агнешка злилась и дулась на меня. Когда она садилась в машину, то бросала на меня злые взгляды и была даже невежлива с Михалом, а он ничего не понимал. Это, конечно, невероятное стечение обстоятельств, что одновременно уехали и Агнешка и Ксеижак. Но в конце концов все происходит в результате более или менее явного стечения обстоятельств. А вот писатели страшно боятся подобных совпадений,

им кажется, что это снижает достоинства литературного произведения. О чем-то таком писал Ремарк в «Триумфальной арке». Я повторяю его слова. Я очень любил этого писателя, о котором Агнешка отзывалась с пренебрежением.

Итак, лежа на тахте, я испытывал невероятные муки. Если бы я мог думать о чем-нибудь, кроме Хелены, я, вероятно, подумал бы, что страдать на той же самой тахте, на которой я еще совсем недавно точно так же страдал из-за Агнешки, просто невероятно.

Кажется, так же, но характер тогдашних своих мук я уже не очень хорошо помню. Но об этом я подумал позже, а тогда, если я и думал об Агнешке, то единственно для того, чтобы с облегчением вздохнуть по случаю ее отъезда в Варшаву.

Да, я испытывал физические муки. Меня жгли раскаленным железом, вырывали щипцами ногти, выкалывали глаза. Но все это были пустяки по сравнению с тем, что произошло потом.

И все-таки я взял себя в руки — не позвонил Хелене и не пошел к ней. Это был, пожалуй, настоящий подвиг. Измученный переживаниями, я, не раздеваясь, крепко заснул. Я слышал, будто люди, истерзанные муками, страдают бессонницей. Не знаю почему, но со мной получалось как раз наоборот. Когда я чем-нибудь озабочен или встревожен, я засыпаю особенно крепко.

На другой день, проснувшись утром одетый, я представил себе, что бы сказала Агнешка, если бы увидела это. С сокрушением, плохо скрывающим торжество, она сказала бы: «Мне очень жаль, но я сама во всем виновата. Я забыла напомнить тебе, что с развитием цивилизации появились пижамы, а время, когда человек, укрывшись шкурой, спал на подстилке из листьев, давно миновало. Мне кажется, дорогой, тахта для тебя вообще вещь обременительная и, пожалуй, тебе лучше спать на половике».

Она так обрадовалась бы возможности продемонстрировать, насколько я некультурен и как велика между нами разница, что ей даже в голову не пришло

бы подумать, почему я спал одетым и что все это значит.

Я быстро разделся, влез в ванну, все время думая о своем язвительном ответе Агнешке. Потом я вспомнил Хелену и то, что вчера пережил. Мне было и смешно и стыдно. Такой стыд я испытывал бы, если бы произошло то, что на самом деле не произошло.

«Это чудовищно, — подумал я, — человек поддается минутным иллюзиям, которые, несмотря на свою мимолетность, обладают такой разрушительной силой, что способны изменить его судьбу. Иллюзии рассеиваются, но остается изменившаяся человеческая судьба. Впрочем, черт с этим! Какое счастье, что я вчера совладал с собою».

Хелена не вызывала у меня никаких эмоций. Ничего, кроме какого-то смутного ощущения гадливости и стыда. Такие противоречивые чувства таят в себе некоторую опасность, но я делал вид, будто ничего не замечаю.

Я отправился на работу. Там мне сообщили, что звонил из Варшавы Михал Подгурский. Он придет только завтра и просил меня проследить за тем, чтобы наше проектное бюро выполнило заказ Горной академии, с которым мы запаздывали на целый месяц. Я огорчился, подумав, что, значит, Агнешка сегодня не вернется. Ей будет удобнее возвращаться на машине вместе с Михалом. А мне страшно хотелось, чтобы она была со мной. Я почувствовал к ней нежность, как бы там ни было, но она самый близкий мне человек на свете. Я пришел к выводу, что вообще плохо к ней отношусь и должен измениться.

Возвращаясь домой, я еще на лестнице услышал телефонный звонок. Я быстро взбежал по ступенькам, чтобы успеть снять трубку.

Я так стремительно распахнул дверь, что со стены упала картина — репродукция «Олимпии» Мане. Я давно заметил, что она висит слишком близко от входа и рано или поздно сорвется от удара захлопнувшейся двери. Но мне как-то не хотелось ее перевешивать, и я все время откладывал. Агнешка на эту тему не высказывалась. Просто не определила своего отношения к импрессионистам. Для нее они были недостаточно современны, но в классиков еще не превра-

тились. И она делала вид, будто вообще не замечает «Олимпии». Это было очень характерно для Агнешки.

Вбегая в комнату, я поскользнулся и толкнул столик, на котором стояла ваза для цветов. Я едва успел подхватить ее на лету и, подбежав к телефону, держал ее, словно эстафету. Я никогда не передавал эстафету, а мне бы это очень хотелось. Увы, на моих дистанциях обходятся без эстафеты.

Я поднял трубку и с минуту ничего не говорил. Я запыхался, а говорить «алло» прерывающимся голосом было неловко. Мне хотелось придать своему голосу оттенок непринужденности и даже нагловатости. Я ждал, пока у меня выправится дыхание. Иногда пробежишь пять тысяч метров, а дыхание такое ровное, словно только что проснулся. А тут пробежал всего несколько метров до телефона и запыхался.

— Что случилось? — услышал я в трубке раздраженный голос. Это был Ксенжак. — Кто у телефона?

— Я, — отозвался я.

— Какого же черта ты не отвечаешь? В прятки играешь, что ли?

— Я отвечал, но с моим аппаратом что-то случилось. Видно, шнур поврежден.

Зачем я его обманывал? Зачем понадобилось мне скрывать перед ним, что я запыхался?

— Слушай... Теперь ты меня слышишь? Отвечай!

— Слышу, слышу. Не кричи так, это все равно не поможет.

Я уже на него злился, и, что было отвратительнее всего, поводом для моей злости служила ложь насчет поврежденного телефона.

— Почему ты такой злой? — спросил Ксенжак с грустью человека, который спешит сообщить интересные новости и наталкивается на холодность и безразличие. — Почему ты злишься? Может, я помещал тебе?

Мне сделалось не по себе.

— Да нет, Эдвард. Прости меня, тебе показалось, я на тебя не злюсь. Меня бесит этот телефон.

Ложь с телефоном стала приобретать универсальный характер. Она служила не только для нападения, но и для защиты.

— Итак, слушай. Я должен сообщить себе массу интересных новостей. Я немного поскандалил в Варшаве. Знаешь, кажется, удастся осуществить кое-что, о чем мы говорили. Я написал докладную записку, и теперь самое главное — направить ее по инстанциям до того, как состоится общее собрание.

Я поигрывал вазой для цветов. Подбрасывал ее высоко вверх и подхватывал у самого пола. Меня абсолютно не интересовало ни общее собрание, ни докладная записка Ксенжака, ни его скандалы. Все это мне было хорошо известно.

Чего ради я так торопился к телефону? Чего ради запыхался? Чуть было не устроил погром в квартире. Обнаженная «Олимпия» лежала на полу в коридоре. Обнаженная среди осколков стекла. Неприятная ассоциация. И за это я был в претензии на Ксенжака. Ведь звонил-то он, когда я как сумасшедший летел к телефону. Он продолжал рассказывать о том, что он выкинул в Варшаве. Но я не слушал. Я думал, что сейчас делает Хелена. Дома ли она?

У меня был длинный телефонный шнур, и, разговаривая, я мог рассказывать по квартире. Я поставил вазу, взял в руки аппарат, вышел в коридор и поднял с полу «Олимпию». Начал разглядывать ее. Мне сделалось легче, когда я очистил ее от осколков стекла. Дома сейчас Хелена или нет? А если нет, то где она? Внезапно кровь ударила мне в голову. Нагота Олимпии вызвала ассоциацию с Хеленой. Странное чувство. Я не был эротоманом, и порнография меня никогда не привлекала. Но если обнаженная Олимпия вызвала ассоциацию с Хеленой и если в этом было что-то порнографическое, то это, если можно так выразиться, была порнография, отвлеченная, высшего класса. Не физическая нагота ассоциировалась у меня с наготой Хелены, а понятие наготы с Хеленой вообще, безотносительно к тому, одета она или нет. Нагота как форма высвобождения и радости. Конечно, легко все это анализировать и объяснять потом. Тогда решающим было то, что нагота Олимпии ассоциировалась у меня с Хеленой, и в результате кровь ударила мне в голову. Я был далек от определения генезиса и существа этого явления. Меня больше интересовало, дома ли

Хелена, а если да, то знает ли она, что Ксенжак говорит со мной и что она по этому поводу думает? Его болтовню я не слушал и не испытывал смущения оттого, что думаю о Хелене и думаю именно так, да еще тогда, когда он, ничего не подозревая, по-приятельски изливается передо мной. Признаться, я никогда не относился всерьез к болтовне Ксенжака. Удивительное дело. Он был превосходным тренером, и я ему многим обязан. Чуть ли не всем. На стадионе это был энергичный, подтянутый, деловой человек. А за пределами стадиона — реформатор-утопист, который носился с какими-то неосуществимыми организационными планами. К этой его слабости все относились снисходительно. Она заключалась в том, что самый простой, пустяковый вопрос он умел поднимать на принципиальную высоту, раздувать до невероятных размеров. Все равно, как если бы с помощью электронного мозга открывать пачку сигарет. Так бывало не всегда, но время от времени на него находило. Тогда он писал докладные записки, которых никто не читал, созывал собрания, на которые почти никто не являлся, отводил каждого в сторону и убеждал заняться делами, которые никому не были нужны и никого не интересовали. Когда очередная затея лопалась, как мыльный пузырь, Ксенжак, словно не замечая этого, с энтузиазмом и пылом вынашивал новую. Эти причуды были следствием жизненных неудач, попыткой компенсировать их. Ксенжак был творческой натурой и мечтал стать пианистом, но у него не хватило таланта. Он решил восполнить это спортом. Но в беге на короткие дистанции он в свое время достиг только средних результатов. И здесь у него не хватило таланта, чтобы выбиться вперед. Потом он оказался великолепным тренером, и наш спорт был многим ему обязан и мог гордиться им. Но в нем жила неудовлетворенная спортивно-эстрадная мечта о том, чтобы как-то проявить свои индивидуальные способности, отсюда эти наводящие скуку длинные, невразумительные речи на собраниях и пристрастие к пространным, малопонятным докладным запискам. Но при этом, когда речь шла о конкретных спортивных проблемах, никто не умел решить их так четко, верно и со знанием дела,

как он. Самое ужасное, что он избрал именно меня своим доверенным лицом. Правда, он делился со мной не только маниакальными идеями, но и вводил в курс важных конкретных проблем, однако меня это не устраивало. Мне вообще не нравилось, что Ксенжак выделял меня из среды спортсменов. Только я один называл его по имени и был с ним на равной ноге, словно я был лучше остальных. Не берусь утверждать, но мне кажется, это произошло потому, что я был из так называемой «хорошей семьи». Большинство парней нашего клуба, исключая Комаровского, который толкал ядро, не могли похвастаться происхождением. Зато Комаровский годы войны провел в Советском Союзе. Со стороны Ксенжака было глупо выделять меня из-за этого. Если бы он знал, до чего меня эта семья довела. Если бы он только знал, как я мечтал о худшей родословной! Как бы там ни было, Ксенжак выделял меня, а мне это не нравилось. Мне хотелось ничем не выделяться из общей массы. Возможно, я обрел бы тогда какое-то равновесие. А расположение Ксенжака отгораживало меня от остальных наших ребят, которых я любил и которым завидовал, потому что они были именно такими, и к которым, откровенно говоря, я в глубине души относился несколько свысока.

— Ты меня слышишь?

— Конечно, слышу. Почему ты сомневаешься в этом?

— Я думал, опять этот шнур.

— Нет, шнур в полном порядке.

— Значит, ты уделишь мне немного времени?

— Разумеется. Ты знаешь, что всегда можешь рассчитывать мной.

— Я знаю, что всегда могу на тебя рассчитывать. Так я пришло к тебе Хелену.

— Что?

— Ты слышишь меня? Исправь наконец, черт побери, свой телефон. С тобой невозможно нормально разговаривать.

— Что?

— Ты меня слышишь?

— Не очень.

— Алло?

— Да, да. Ну, говори.

— Значит, я пришло к тебе Хелену с докладной запиской. Слышишь?

— Да, слышу. Не спрашивай, ради бога, слышу я или нет, а говори.

— Очень тебя прошу, просмотри докладную записку, сделай свои замечания и верни мне. Хелена принесет ее, а потом зайдет за ней. Я хотел бы завтра утром отослать ее в Варшаву. Надо, чтобы ее успели прочесть до общего собрания. Понимаешь?

— Да, да.

— Что да?

— Ну, чтобы успели до общего собрания.

— Ты один понимаешь, насколько это важно!

Если перед этим кровь ударила мне в голову, то сейчас я почувствовал, как по всему телу прокатилась могучая горячая волна. Я продолжал держать в руке «Олимпию». Я поглядел на нее и швырнул в глубь комнаты.

— Ну, Марек, договорились?

— Слушай, Эдвард... Я хотел тебе сказать, что...

— Что? Говори громче. Теперь я ничего не слышу.

— Слушай, Эдвард. Я с удовольствием. Но зачем гонять Хелену ко мне? Я все равно собирался по делам в вашу сторону. Лучше я сам заскочу...

— Поздно, Хелена уже ушла. Она охотно взялась это сделать. Сама предложила, поэтому пусть тебя это не смущает. Она сказала, что хочет загладить свою вину за вчерашнее. Она сейчас будет у тебя. Не то вы можете разминуться.

Итак, я теперь знал, где Хелена и что она делала.

— Знаешь, Эдвард... Может...

— Марек, прости меня, кто-то звонит в дверь. Итак, до свидания. Заранее благодарю тебя.

Он положил трубку. А я прижимал свою к уху. Я стоял в коридоре на битом стекле с аппаратом в руках. Потом не спеша вернулся в комнату. Поставил телефон на столик возле тахты и, ощутив вдруг страшную усталость, уставился в окно. Горячие волны, которые на мгновение как бы утихли, всколыхнулись с новой силой. Сейчас Хелена будет здесь. Моя

квартира неожиданно представилась мне обнаженной, как Олимпия. Как Леда, которая мне вдруг вспомнилась. С минуты на минуту сюда придет Хелена и в действие вступят сверхъестественные мифологические и олимпийские силы. Я почувствовал, как защемило под ложечкой. И это наполнило меня дикой радостью. Нечто такое, вероятно, испытывал Пан, преследуя дриад, если уж обращаться к мифологии. Я знал, когда Хелена переступит порог моей квартиры, ничто уже не поможет.

Она шла ко мне. Шла сознательно. Я представлял ее себе в красных, плотно обтягивающих брюках и черном свитере на фоне моей мебели и других предметов домашнего обихода, и все стало ужасающе голо, и больше всего сама Хелена в этих чертовых брюках и в чертовом, по правде говоря, чересчур обтягивающем свитере. Я помчался в кухню, схватил щетку и совок для мусора. Увидев, что у меня дрожат руки, я испугался. Но это длилось короткий миг, все чувства, кроме не поддающегося описанию влечения к Хелене, отступили на второй план. Совок для мусора и щетка были очень красивы. Нейлоновые, болотного цвета. Однажды Агнешка принесла их из комиссионного магазина, демонстративно вышвырнув на помойку мою старую щетку и совок, порядочно-таки замызганные. При этом она, конечно, не упустила случая обозвать меня неряхой и грязнулей. Она старалась, когда только могла, дать мне почувствовать свое превосходство, а я не очень хорошо понимал, зачем это ей, собственно, надо. Боюсь, она очень гордилась тем, что ее мать происходила из дворянской семьи, хотя ни за что не призналась бы в этом. Во всяком случае, готов поклясться, она была убеждена, что благородное происхождение дает ей превосходство надо мной, краковским мещанином. Вообще-то даже смешно рассуждать на эту тему. Но, если уж на то пошло, то очевидным фактом является не только шляпный магазин моих родителей на Славковской, но и то, что Аренсы происходят из шведского дворянского рода. И что с того, если после завоеваний Густава Адольфа они навсегда осели в Польше и здорово слиняли? Ничего не скажешь, глупо вспоминать подобные вещи. Но Агнешка все время делала из меня идиота. Во всяком случае, когда у меня так дрожали

руки, когда снова и снова на меня накатывали горячие волны и щемило под ложечкой, я ни разу не вспомнил, что щетку и совок мне купила Агнешка, что в этой квартире мы провели столько прекрасных и радостных минут и, что бы ни случилось, я обязан ее оберегать. Куда там! Об этом я подумал позднее, и лишь тогда мне сделалось стыдно. Сейчас квартира была ничья. Уж скорей Леды и Олимпии. Я быстро убрал осколки стекла в коридоре, и эта физическая работа немного меня отрезвила. Я подумал: ведь отсюда можно улизнуть. Я могу выйти из дому и встретить Хелену на улице. Но когда я об этом подумал, раздался звонок.

Я замер, склонившись к полу. В руках у меня была болотного цвета щетка и такого же цвета совок. Потом пополз на коленях на кухню. Дело было не только в том, чтобы избавиться от щетки и совка. Разумеется, я не мог открывать дверь, держа в руках эти предметы, это не соответствовало бы моменту, как бы ни развивались события. Но дело не только в этом. Мне необходимо было найти какую-то позу, какое-то выражение лица. Какое, я еще не знал. Но, во всяком случае, не то, с каким человек минуту назад сметал в совок для мусора осколки стекла. Вдруг я понял, как это все фальшиво. Ведь я просто хотел произвести на Хелену впечатление. Вот я открываю дверь. Сдержанный, владеющий собой, мужественный. Она будет стоять передо мной в плотно обтягивающих красных брюках и черном свитере, и невольно станет жертвой моего мужского обаяния. Я мобилизовал все силы и средства, чтобы произвести подобный эффект, хотя одновременно был полон решимости встретить Хелену холодно, сдержанно и, не приглашая ее в квартиру, взять докладную записку Ксенжака прямо в дверях. Но фальшь была даже в этом. В тот момент мы находились друг от друга на расстоянии метра, от силы полутора. Я едва ли не слышал ее дыхание. Мы стояли почти рядом, и только дверь, разделявшая нас, не позволяла нам видеть друг друга. Между тем я, который хотел предстать перед ней таким необыкновенно мужественным, притягательно-отталкивающим, полз на коленях со щеткой и совком в руках, жалкий, смешной и достойный сострадания. Возможно, и она,

готовая через минуту предстать предо мной как самая очаровательная женщина на свете, строила глупые подготовительные мины, которые не принято показывать публично, потому что они интимнее самых интимных физиологических функций.

Впрочем, тогда это не пришло мне в голову. Лишь позднее ползание в кухню на коленях получило соответствующую оценку. Тогда я был настолько поглощен тем, чтобы иметь мужественную и неординарную позу, что приписывал ее себе даже в минуту жалкого и карикатурного передвижения на коленях.

Наконец я добрался до кухни, встал с колен, высыпал в ведро осколки стекла и водрузил на место щетку и совок. С минуту я раздумывал. Над чем, сам черт не разберет. Но о чем-то я думал, если вдруг ощутил прилив энергии и непреклонную решимость одолеть самые опасные чары, которые напустит на меня особа в обтягивающих красных брюках.

Уверенным шагом, не сомневаясь в успехе, я подошел к двери и открыл ее.

Не знаю, почему я с таким исключительным упорством воображал, что Хелена придет в красных, плотно обтягивающих брюках и черном свитере. Это лишнее доказательство того, что я потерял рассудок и не владел собой. Так она одевалась только дома, и трудно было предположить, чтобы она решилась пройтись в таком наряде по Кракову. Но в эту минуту я не в состоянии был представить ее иначе и настроился именно на это. Возможно, явись она в таком наряде у моих дверей, я сделал бы все, как задумал.

А намеревался я сказать вежливо, но холодно: «Благодарю тебя за то, что ты взялась это принести, и прости, что не приглашаю тебя зайти, но у меня страшный кавардак. Я сам отошлю записку Эдварду. До свидания».

И взял бы у нее эту проклятую, идиотскую докладную записку и быстро захлопнул бы дверь. Потом я, может, был бы от отчаяния или потерял бы даже сознание. Но поступил бы именно так, а не иначе. Наверняка!

Но, открыв дверь, я увидел то, чего не только не ожидал, но чего не в состоянии был даже себе представить. Передо мной стояла Хелена, собственно, не Хе-

лена, а нечто среднее между статуэткой из севрского фарфора и Брижитт Бардо. Я имею в виду одежду, потому что вообще Хелена не была похожа ни на Брижитт Бардо, ни на кого-нибудь в этом роде. В облике Хелены, в отличие от Дороты и даже в известной мере от Агнешки, не было ничего девичьего. Хелена была женщиной. Обворожительной, зрелой женщиной. Перед мной стояла женщина во цвете лет, одетая, как юная девушка, которая хочет казаться взрослой. На ней была широкая голубая юбка, наверно, на подкладке (я ведь не очень-то разбираюсь в дамских туалетах), большое декольте, обшитое, должно быть, кружевами. На голове — широкополая соломенная шляпка с голубой лентой. В руке она держала зонтик, тоже ажурный, напоминавший нижнюю юбку. Весьма игривого вида. И вся она была какая-то ажурная и улыбалась, точно ребенок.

— Хелена, — тихо сказал я, а может, мне это только показалось. Во всяком случае, я не сказал того, что собирался. Я даже забыл, что собирался что-то сказать.

Она стояла и улыбалась, а я чувствовал, что силы оставляют меня, и тут я вспомнил, как когда-то я потешался над выражением: «любовь до потери сознания» и утверждал, что в жизни так не бывает. Мне казалось, вот сейчас я брошусь, обниму Хелену и даже не смогу довести ее до комнаты, и мы, обнявшись, так и застынем на лестнице.

И тогда она сказала спокойно и деловито:

— Что же ты, даже не приглашаешь меня войти?

Иногда на ринге получаешь сильный удар, от которого теряешь сознание, а потом получаешь второй, и он приводит тебя в чувство.

Восклицание Хелены оказалось именно таким ударом, после того первого, который я получил, отворив дверь.

— Да, да. Конечно. Входи, пожалуйста.

— Я принесла тебе писанину Эдварда, — сказала Хелена. — Как по-твоему, в этом есть какой-то смысл?

— Нет, никакого. Абсолютно никакого.

— Тогда объясни, зачем он валяет дурака? Ведь он интеллигентный человек, а не понимает, что из-за этих докладных записок над ним все потешаются.

Я ничего не ответил. Я поверил, что вопрос этот живо ее интересует. И мне стало не по себе. Я почувствовал в душе смертельный холод. Хелена была спокойна и деловита. Может, она действительно пришла только потому, что ее попросил Ксенжак, и за этим ничего не крылось. Может, вчера ничего не случилось и мне это только почудилось?

Она швырнула на стол папку, сделала движение, словно собиралась сесть в кресло, но заколебалась и взглянула на меня.

— Я хотела бы присесть, — сказала она, — но мне кажется, ты не в восторге от моего визита и у тебя нет желания меня задерживать. Может, я тебе помешала? — И, не дожидаясь ответа, прибавила: — Ну, я пошла.

Я стоял посреди комнаты и ничего не говорил. Хелена помолчала, а потом рассмеялась. Рассмеялась как-то очень странно, бросила зонтик на стол рядом с папкой и опустилась в кресло.

Теперь я понял, вчера мне ничего не привиделось, то, что произошло, произошло на самом деле. Холод исчез, и меня бросило в жар. Хелена у меня в комнате. Она пришла ко мне. Она здесь, и я могу сделать с ней, что захочу. Я даже обязан сделать с ней то, что захочу. От этого меня ничто не спасет, как ничто не спасет от подлости. Я испытывал страстное, священное, как выразился бы маменькин доктор, желание избежать этого, не оскверниться, сохранить верность клятвам и обязательствам. Но что поделаешь, если противоположное желание было не менее сильным и, в известном смысле, не менее священным.

— Ты меня чуть ли не гонишь, — сказала Хелена, — а я вот сижу. Видишь, каковы женщины?

— Хелена, — тихо и медленно произнес я, — ты меня не поняла. В писаниях Эдварда есть смысл. В самом деле есть. И никто над этим не смеется.

Хелена махнула рукой, давая понять, чтобы я не морочил ей голову.

— Ты вообще знаешь женщин? — спросила она и, не дожидаясь ответа, продолжала: — Мне почему-то кажется, что нет. Несмотря на всю свою образованность, женщин ты не знаешь. И это для тебя плохо кончится. У тебя в жизни будет масса огорчений из-за жен-

щин. Потому что ты их не знаешь. Уверяю тебя. Я могла бы тебе помочь. Если бы ты доверился мне, я бы тебе помогла. Но ты мне не доверяешь. Жаль.

Она замолчала. Я видел, внезапно ее покинула уверенность, развязность, которую она на себя напустила.

— Ну, мне пора, — сказала она усталым голосом и встала.

— Нет-нет, не уходи! — воскликнул я.

Я не собирался этого говорить. Сам не знаю, как это получилось. Она поглядела на меня с улыбкой, от которой у меня закружилась голова. Взяла со стола зонтик. Казалось, что опять она обретает уверенность в себе.

— Не думай обо мне плохо, — сказала она, — ты не должен обо мне плохо думать. Постарайся меня понять. Меня никто не понимает. И мне хотелось бы, чтобы ты меня понял. Ты мне очень нравишься, Марек, хотя ты всегда сторонился меня и плохо обо мне думал.

— Я никогда не думал о тебе плохо! — сказал я без убеждения, понимая, что все, сказанное сейчас Хеленой, не имеет никакого значения. Она говорит, чтобы говорить, как и я отвечаю, чтобы отвечать, так как мы оба боимся молчания, что может вдруг наступить.

— Ты всегда думал обо мне плохо, — повторила Хелена, — и напрасно ты это отрицаешь.

Она нагнулась и подняла «Олимпию», которую я швырнул на пол. Она рассматривала ее внимательно и улыбалась своим мыслям.

— Брось! — крикнул я.

Она с удивлением поглядела на меня.

— Пожалуйста, оставь это, — повторил я спокойней, почти с мольбой в голосе.

Хелена пожала плечами и бросила «Олимпию» на пол.

— Ты меня не любишь, — сказала она, — и плохо обо мне думаешь. А я хочу, чтобы ты меня любил.

Она приближалась ко мне, глядя на меня серьезно, хотя в глазах ее блуждала улыбка, с которой она разглядывала «Олимпию». Она подошла совсем близко, коснулась меня. Подняла голову, и в ее глазах уже не было улыбки. В них не было даже взгляда. Сказать, что в них было, вообще невозможно. И тогда мое

желание выросло до такого невероятного предела, что я обрел в нем силы противостоять ему. Впрочем, не знаю, в нем ли почерпнул я силу, что может показаться парадоксальным. Важно, что я обрел силу, хотя не ожидал этого от себя.

Я схватил Хелену за плечи и стал трясти. Не то чтобы грубо или сильно. Я делал это, как врач, который хочет вывести больного из шокового состояния. Я не люблю таких решительных мужчин, которые с помощью резких слов и жестов убеждают женщин в своем мужском превосходстве. По большей части они жалкие лицемеры и эгоцентрики, склонные любоваться собой.

Я глядел не на Хелену, а куда-то поверх ее головы.

— Хелена, — говорил я, — опомнись! Сейчас же уходи и запомни, мы не можем больше видеться. Между нами что-то произошло, но мы не имеем права этому поддаваться. Я хочу тебе только сказать... Я должен сказать... Нет-нет, я ничего не скажу. Зачем? Ты и так все знаешь, но теперь лучше уходи. Уходи поскорей.

Я слегка оттолкнул ее. Она опустила голову и откинула волосы со лба.

— Глупый, — сказала она. — Глупый, но это ничего.

Она повернулась, схватила зонтик и так стремительно выбежала, что я не успел опомниться.

Тогда я бросился на тахту и зарылся головой в подушку.

Я думал: «Какого черта я это сделал? Во имя чего отказываюсь я от тех радостей, к которым все люди стремятся, а большинство видит в них истинный смысл жизни?»

Я делаю это, потому что должен, потому что однажды избрал этот путь.

ГЛАВА X

Было уже десять минут восьмого. А я все еще бездумно лежал в ванне. Впрочем, может, не так уж бездумно. Так или иначе, но я мог опоздать. Ко всем недостаткам Агнешки прибавлялась еще дьявольская

пунктуальность. Вообще-то я не считаю пунктуальность недостатком. Я сам очень пунктуален и терпеть не мог необязательных людей. Но у Агнешки все получалось как-то чудно, у нее даже достоинства оборачивались недостатками. Наверно, потому, что она их афишировала, навязывала, использовала как средство мучить людей. Мои часы, кажется, немного спешили. На несколько минут. Часы были водонепроницаемые. Я получил их в подарок от клуба, когда «приложил» англичан. Собственно, мы выиграли тогда только благодаря мне. По-моему, этот факт недооценивают. Но меня это не слишком волнует.

Конечно, купаться с часами глупо, даже если они водонепроницаемые. Но меня забавляло, что в них не проникает вода. Действительно не проникает. И потом, лежа в ванне, я знал, который час. На этот раз я взглянул на часы для того, чтобы убедиться, что опаздывал. Надо было, по возможности, ограничить масштабы этой катастрофы. Я выскочил из ванны, вода эффектно взметнулась и выплеснулась на каменный пол. Я начал быстро вытираться. Три секунды на то, чтобы причесаться, двадцать семь — на то, чтобы одеться и натянуть ботинки. Я засек время, часы были не только водонепроницаемые, антимагнитные и противоударные, но еще и с секундомером. Клуб тогда порядком поиздержался. Вообще-то щедрыми и великодушными их не назовешь. Я подозревал, что англичане были лишь предлогом. Приближались выборы, и прежнее правление было заинтересовано в том, чтобы голосовали за них. И я действительно проголосовал за старое правление и склонял к этому других, хотя вначале не собирался этого делать. Я был убежден в правильности своего поступка, а подозрение, что это имеет связь с часами, пришло мне в голову значительно позже.

Когда я выбежал из дому, в моем распоряжении оставалось четыре минуты и шесть секунд. Принимая во внимание, что мои часы были на несколько минут вперед, я не должен был опоздать. Если бы я побежал, то не только успел бы, а еще наверстал несколько минут. Но бежать по Кракову в вечернем костюме было неловко. К счастью, у самого дома я поймал такси и с чувством торжества, словно я вышел победителем в беге на Олимпийских играх, подкатил к зданию

Краковской филармонии за минуту и три секунды до назначенного времени.

Агнешки еще не было. Около филармонии царило оживление, шум, атмосфера возбуждения и особого беспокойства. Мне нравилась эта атмосфера. Так бывает перед началом соревнований по боксу. Ставка была очень высокой. Самый известный пианист в мире, о-го-го! Интересно, как этот тип выглядит? О чем думает, когда играет? Подкатывали машины, выплескивая людей, и быстро отъезжали. Над домами в глубине Звежинецкой розовело небо. Мне нравился этот розовеющий горизонт, этот свет над домами в час заката и рассвета. На рассвете он еще прекраснее. Он наполняет бодростью и манит пойти за те дома, что видны на горизонте. Казалось, там что-то очень радостное, то, что ищешь всю жизнь, не очень хорошо зная, что это такое. Не надо большого ума, чтобы сообразить, что за этими домами будут другие дома на фоне бледно-зеленого или розового неба и они тоже будут сулить нечто неведомое, чего ищешь всю жизнь. Не обязательно дома, это могут быть поля и леса. Но это не меняет существа дела.

Со мной то и дело раскланивались люди, которых я хорошо знал и которых видел впервые в жизни. Двадцать пять минут восьмого, а Агнешки все нет. Странно. Точно жрец, вступающий в храм искусства, прошептал толстый лысый тип, который на маскараде в Академии художеств плакал, исполняя цыганские романсы, и пытался декламировать «Оду к молодости» на балу в нашем клубе. Он с достоинством поклонился мне. Я с ним не был знаком, но он знал меня, и для него этого было достаточно. Пожалуй, в каком-то смысле этот человек достиг полноты жизни. Появился Артур Вдовинский с Президентом. Они шли и ссорились. Верней, не ссорились, а Артур в чем-то оправдывался. Она шла с каменным лицом, не обращая на него внимания. Так всегда выглядели их ссоры. Самое смешное, что Артур действительно женился на Президенте, чего никто не ожидал. Она держала его в узде, но он не роптал. Мне нравилось, что она не говорила ничего лишнего.

— Эй, гордость польских стадионов! — воскликнул Артур. — Как дела?

Он знал, что я не люблю, когда он меня так называет, и делал это нарочно. Ему, как детям или девчонке, нравилось дразнить людей. Как человек, причастный к театру, он обладал чисто девичьим вероломством.

— Здравствуй, — сказала Президент.

— Здравствуй, Эля! — сказал я. — И как ты только терпишь этого канатного плясуна?

Президент пожала плечами, а Артур потянул ее за руку.

— Пошли, — сказал он, — а то опоздаем. Заглянете к нам после концерта?

Обычно после интересных концертов целой компанией отправлялись к Артуру, у которого всегда имела выпивка. Делали вид, будто хотят обменяться мнениями о концерте, а на самом деле, чтобы выпить, и уж, во всяком случае, концерт обсуждали не столько с музыкальной, сколько с чисто светской точки зрения. Агнешки все не было. Я озирался по сторонам и не заметил, как откуда-то появились Ксенжаки. Я бы постарался не попадаться им на глаза, если бы увидел их раньше.

— Привет! — как ни в чем не бывало сказал Ксенжак. — Ну что, идешь?

— Иду, да вот Агнешка запаздывает.

Хелена молчала с загадочной улыбкой. Когда мы оказывались втроем, она всегда как-то глупо улыбалась. Это меня до такой степени раздражало, что она не только переставала мне нравиться, а я просто начинал ее ненавидеть. Хотя я понимал, что она это делает от смущения. Но она была так хороша, что, несмотря ни на что, продолжала мне нравиться. Если тогда, когда Хелена пришла ко мне с этой проклятой докладной запиской Ксенжака, она напоминала не то статуэтку из севрского фарфора, не то Брижитт Бардо, то сегодня я сравнил бы ее с Мэрилин Монро в роли уличной девки или с принцессой Кентской во время коронации ее сестры. Забыв на минуту о присутствии Ксенжака, я поглядел Хелене в глаза. Она ответила мне взглядом, в котором я прочел готовность в любую минуту стать моей рабыней и подчиниться любому моему желанию.

— Где же ты пропадаешь? — услышал я позади себя раздраженный голос Агнешки. — Я уже минут пятнадцать тебя разыскиваю.

Она слегка запыхалась. На миг я задумался, что ей ответить, но потом решил вообще не отвечать. Было очень поздно. Кроме того, я был благодарен Агнешке за то, что она явилась вовремя.

— Пошли! — сказал я.

В зале музыканты настраивали инструменты, что мне всегда очень нравилось. По крайней мере, это носило деловой и конкретный характер. Понятно было, для чего это делается. Публика была возбуждена, но стремилась в этой торжественной обстановке сохранить светскую непринужденность. У многих были такие мины, словно им предстояло сегодня выступить или, по крайней мере, это являлось их заслугой. Ксенжаки сидели через два ряда от нас. Он делал мне какие-то знаки, которых я не понимал, она всем своим видом показывала, что не замечает меня. Сидя в профиль и делая вид, будто читает программу, она время от времени поглядывала в нашу сторону. Потом в зал влетел Михал Подгурский. Он всюду появлялся в последнюю минуту. И не потому, что был не пунктуален, а просто был вечно занят. Он огляделся. Наверно, искал нас, но в этот момент погас свет, раздались аплодисменты и на сцену вышел дирижер. Это был лысеющий блондин в очках, лет около сорока. Его лицо показалось мне знакомым.

— Я откуда-то знаю этого типа, — сказал я Агнешке.

— Замолчи! — прошипела она. — Не срамись, по крайней мере.

— Почему «по крайней мере»? Что ты хочешь этим сказать?

Агнешка кинула на меня ненавидящий взгляд. Я видел, она не владеет собой. Казалось, она вот-вот ударит меня по ноге, но нет, одумалась. Я заметил, что на ней новые туфли. Красивые, с очень острыми носами.

— Ты что, купила сегодня новые туфли? — шепотом спросил я.

Она безнадежно вздохнула и отодвинулась от меня подальше.

— Если ты произнесешь еще хоть слово, я пересяду, — заявила она.

— Все места заняты. Тебе придется сесть кому-нибудь на колени.

Агнешка отвернулась. Кажется, она заплакала. Мне сделалось неприятно. Как это ужасно: любить человека, который тебя так раздражает. Надо быть с ней поласковой. В конце концов она злилась, так как чувствовала, что между нами не все в порядке. Теперь я вспомнил, откуда я знаю этого типа. Я играл с ним в покер на дне рождения Артура. Играл он слабовато и проиграл порядочную сумму. Посмотрим, что у него здесь получится. Он поднял руки вверх и сделал такое движение, словно сердился на музыкантов. Они замерли, наверно, это глупо, но мне это напомнило старт в стометровке.

Исполнявшаяся вещь была грустной и скучноватой. И, пожалуй, не слишком современной. Современную музыку я все-таки люблю. Хотя абсолютно не понимаю, и она тоже нагоняет на меня тоску, но одновременно очаровывает. Я хотел взять у Агнешки программу и, сам того не желая, положил руку на ее руку. Отдергивать ее или делать вид, что ничего не произошло, было поздно. Поэтому я, как бы утверждая свой жест, слегка сжал ее пальцы. Она задержала мою руку в своей, повернулась ко мне и улыбнулась. Я обрадовался, что так случайно между нами воцарилась гармония. Хотя, с другой стороны, это было невыносимо. Разве не правильной куда-нибудь поехать с Агнешкой? Может, перебраться на постоянное жительство в Варшаву? Подождав немного, я взял у Агнешки программу. Музыка была скучной, но движения дирижера мне очень нравились. Это, несомненно, было эстетическое зрелище. Я взглянул в программу. Произведение называлось «Случай на маскараде». Теперь я начал слушать по-другому. И ощутил настроение и драматизм музыки, которых вначале не уловил, или, верней, не расслышал. Карлович¹ ведь был альпинистом, он то ли свалился в пропасть, то ли его засыпало лавиной.

¹ Карлович Мечислав (1876—1909) — известный польский композитор неоромантического направления, автор целого ряда симфонических произведений.

Во всяком случае, это тоже надо принимать во внимание. «Случай на маскараде». Иногда мне казалось, что я совсем забыл Йовиту. Но так только казалось. На самом деле этого быть не могло. Если в моей жизни и существовало что-то действительно ценное, то это была Йовита.

Долгое время мы с Агнешкой не заводи́ли разговора о Йовите. Мне казалось это излишним, так как я считал, что она и есть Йовита. Но в один прекрасный день Агнешка спросила:

— Йовита больше совсем тебя не интересует?

Собственно, это было не днем, а ночью. Она разбудила меня, чтобы спросить об этом. А мне страшно хотелось спать.

— Нет, дорогая, — ответил я. — По-прежнему интересует. Хочешь убедиться в этом?

Я попытался ее обнять, но она со злостью оттолкнула меня.

— Во-первых, ты тривиален, а во-вторых, упрям, как осел. В итоге — ты тривиальный, упрямый осел, а мне это не нравится. Я вовсе не Йовита, которая действительно существует.

Агнешка говорила с такой убежденностью, словно хотела, чтобы я поверил ее словам. Удивленный этим, я окончательно проснулся.

— Прекрасно, — сказал я, — пусть будет так. Но мне непонятно, почему ты постоянно возвращаешься к истории, которую я давно забыл. В чем дело?

— В том, что ты ее забыл, а она тебя помнит.

— Кто — история?

— Йовита.

— Послушай, дорогая, если Йовита действительно существует, то ты делаешь все возможное, чтобы бросить меня в ее объятия. Поверь мне, есть, по крайней мере, полтораста более простых способов избавиться от мужчины, которого не любишь. И самый простой из них — сказать ему об этом прямо, после чего удалиться и при встречах с ним на улице переходить на другую сторону.

Агнешка ничего не ответила. Она долго молчала, и я уже забеспокоился, не вняла ли она моему совету

и не собирается ли поставить меня об этом в известность.

— Это правда не я, — сказала она, заложив руки за голову и глядя в потолок. — Ты всегда ведешь себя двусмысленно, когда речь заходит о Йовите. Как вот сейчас. Я спросила, правда ли Йовита больше не интересуется тобой, потому что несколько дней назад получила от нее письмо, в котором она спрашивает дословно следующее: «Помнит ли меня еще тот парень с ма-скарада?»

— И ты будишь меня среди ночи, чтобы сообщить об этом?

— Ах, прости! Я ужасно виновата, что потревожила твой мещанский покой. Обещаю, это больше никогда не повторится!

Она вскочила с тахты. Наверно, хотела одеться и уйти. Я успел схватить ее за ногу и втащил обратно в постель. Агнешка имела надо мной моральный перевес. Но когда я выходил из себя, она становилась кроткой, как овечка. Вообще я никогда не злоупотреблял своим физическим превосходством, считал это в принципе недопустимым в отношениях с женщинами. И потом я был убежден, что этим ничего не добьешься. Возможно, я ошибался. Потому что когда меня охватывал гнев, Агнешка становилась шелковой, и мне даже казалось, что ей это нравится. Итак, я схватил ее за ногу и втащил обратно в постель. Потом так сжал ей руку, что она запищала от боли.

— А теперь без всяких сцен и истерик, — сказал я, наклонившись над ней. — Выкладывай все от начала до конца, что знаешь о Йовите. А не скажешь, я тебя так отхлестаю, что ты несколько дней не сможешь сидеть, и тебе придется рисовать стоя.

— Рисуют чаще всего именно стоя, — ответила Агнешка тихим, вкрадчивым голосом, — так что с этой точки зрения твоя угроза меня не пугает.

Я подумал, мне следует чаще быть решительным. А возможно, всегда. Как знать, не сложились бы тогда наши отношения с Агнешкой совсем иначе? Но если человек вбил себе в голову, как он должен себя вести, тут уж ничего не сделаешь. Даже жизненный опыт не поможет. Неизвестно, то ли вмешиваются высшие силы, то ли черт знает что, но факт остается

фактом — люди поступают совсем не так, как намеревались. А в некоторых случаях даже не так, как им кажется, что они поступают.

Во всяком случае, Агнешки нельзя было узнать. Она нежно и томно улыбнулась, потерлась головой о мою щеку и начала рассказывать о Йовите. Я отпустил ее, положил голову ей на плечо и слушал.

Родители Йовиты эмигрировали в Австралию еще до войны, и там она появилась на свет. У них в доме хранились польские традиции, она ходила в польскую школу, считала себя полькой, а к Польше была привязана больше, чем к стране, где родилась и воспитывалась. Агнешка не знала, откуда у нее это странное имя — Йовита. Йовита, правда, рассказывала ей об этом, но Агнешка забыла. Во всяком случае, это славянское имя. Кажется, так звали ее прабабку, участницу восстания 1863 года, такую Эмилию Плятер¹ в меньшем масштабе. Но Агнешка не может утверждать этого с уверенностью: возможно, она спутала историю прабабушки с историей происхождения имени. Когда они встречались, им нужно было столько сказать друг другу, что часто они говорили одновременно, и потом одна забывала то, что говорила другая. Впрочем, какое это имеет значение? Ее звали Йовита, вот и все. Кончив среднюю школу, она решила высшее образование получить в Польше. С аттестатом зрелости Йовита приехала сюда и поступила на факультет журналистики, но ее хобби была фотография. Она стажировалась в Варшаве у лучших фотографов, у нее как будто был настоящий талант в этой области. Агнешка познакомилась с ней в прошлом году на Калятувах, во время jamboree², и они сразу подружились. Йовита исключительная девушка. Живая, умная, с чувством юмора и массой других достоинств. Агнешка никак не может примириться с мыслью, что Йовита уехала, и они, быть может, никогда больше не увидятся. Но сейчас речь не об этом, а об удивительной встрече на маскараде. Йовита приехала тогда в Краков к Агнешке. Они условились пойти вместе на маскарад.

¹ Эмилия Плятер (1806—1831) — участница польского национально-освободительного восстания 1830—1831 годов.

² Слет скаутов (англ.).

Это был прощальный вечер перед отъездом Йовиты из Польши, так как она навсегда возвращалась в Австралию. Но увы, им не удалось повеселиться вместе. Накануне Агнешка заболела гриппом. Идти без нее Йовита не хотела. Но пришли знакомые ребята и уговорили ее. Маскарадного костюма у Йовиты не было — это не в ее стиле. Она хорошо повеселилась. С таким характером ей всюду хорошо и весело, и всем, кто с ней, тоже весело. На рассвете она встретила в гардеробной Мику, которая, собираясь домой, как раз сняла свой восточный костюм, чтобы переодеться. Йовита попросила его примерить. Ей захотелось узнать, как она будет выглядеть и чувствовать себя в этом наряде. Ну, и потом она встретила меня. По словам Агнешки, я сразу понравился Йовите. Она в самом деле собиралась выйти вместе со мной. А когда, переодевшись, выскочила из подъезда, где мы условились встретиться, ее постигло страшное разочарование.

— Она подошла к тебе, — говорила Агнешка, — а ты ее не узнал. Она улыбнулась и сказала: «Ну, что?» — а ты поглядел на нее зло и отрезал: «Отстаньте от меня! Поищите себе другой объект». Тогда она ушла, вернулась ко мне и рассказала все подробно. Да, грустная история.

Я лежал рядом с Агнешкой и молчал.

— Этого не может быть, — сказал я.

— Чего не может быть? Почему? Разве факты не сходятся?

— Сходятся. Но не может быть, чтобы я так грубо ответил женщине.

— Не может быть в твоём воображении. А на самом деле ты иногда бываешь страшно груб!

— Я груб?

— Ты этого не замечаешь, а люди замечают.

Ссылка на мнение каких-то людей — самый вероломный аргумент, к которому любят прибегать женщины в спорах с нами. Доказать, что это не так, невозможно. Человека принуждают к отступлению, и постепенно он сам начинает чувствовать себя виноватым. Перепалка относительно моего грубого поведения продолжалась довольно долго, хотя на этот раз она не носила ожесточенного характера. Я был этим доволен. Мне удалось скрыть, какое впечатление

произвел на меня рассказ Агнешки. Все это смахивало на правду. Но как я мог не узнать Йовиту? Мою Йовиту? Правда, лица ее я не знал. Но глаза? И весь облик? Вся она, которая за какие-нибудь двадцать минут стала для меня самым близким существом на свете?

— Брось все это, Агнешка, — сказал я, — если панна Йовита чувствует себя оскорбленной, я готов в любую минуту просить у нее прощения.

— И ты еще пытаешься доказать мне, что ты не хам? Нет, ты страшный хам. Подумать только, бедная Йовита уехала, уверенная в том, что повстречала самого вежливого, тонкого и необыкновенного парня на свете.

— Даже несмотря на то, что я разговаривал с ней так грубо?

— Даже несмотря на это. Она подумала, что ты ждал ее и все женщины, кроме нее, вызывали у тебя раздражение. Этим и объяснялась твоя грубость.

— Она рассудила правильно, — торжествуя, воскликнул я, — но почему же она не сказала, что это она?

— Еще чего захотел: недоставало только, чтобы девушка, которой ты вскружил голову, предложив какой-то сомнительный завтрак вдвоем, и чуть ли не обещал на ней жениться, чтобы эта девушка еще представилась тебе.

— Ну, ведь это было глубокой ночью, верней на рассвете, и я уже порядком захмелел. У меня в голове могло что-нибудь перепутаться.

— Ох, могло, еще как могло, — буркнула Агнешка, — но совсем не обязательно так горячо оправдываться передо мной в том, почему ты не завлек другую девушку.

— Ты, мартышка, — ответил я спокойно, хотя был зол на нее. — Я как раз думаю о том, что мне с тобой делать, но ничего не могу придумать.

Агнешка промолчала. Я тоже не сказал больше ни слова. Мы уснули, слегка рассерженные, но к утру помирились, и от ночного разговора у меня осталось смутное воспоминание. Но я, вопреки всему, про-

должал верить, что Йовита — это Агнешка, хотя, по правде говоря, уверенность моя была несколько поколеблена.

Агнешка снимала комнату на Висляной у своих дальних родственников. Комната была просторной, а родственники, супружеская пара средних лет, редко оказывались дома. Несмотря на это, я не очень любил бывать у Агнешки. Но вскоре после нашего разговора Агнешка простудилась, и мне пришлось навещать ее. Она вообще часто простужалась, и это меня злило. Но я был к ней очень внимателен, впрочем, это больше умиляло меня, чем ее. Я приходил к ней каждое утро, приносил цветы и прочие мелочи, убирал комнату, готовил еду. Доставал ей письма из почтового ящика внизу. Однажды утром я вынул оттуда продолговатый голубой конверт с маркой, на которой была изображена кенгуру. Письмо оказалось из Австралии. Я взглянул на адрес отправителя: Йовита Гаврилюк. Сидней, 758, Мехэгэни-стрит. Я долго держал письмо в руке, охваченный необъяснимым волнением. Меня так и подмывало спрятать его в карман и не отдавать Агнешке, но, ясное дело, я отогнал эту мысль. Когда я протянул письмо Агнешке, она воскликнула:

— От Йовиты! Как я рада! Она так давно не писала.

Агнешка разорвала конверт, извлекла письмо и стала читать. При этом она улыбалась, хмыкала, вскрикивала, словом, издавала звуки, которые способны довести до белого каления любого, кого интересует содержание письма, адресованного не ему, особенно если он не хочет обнаружить свою заинтересованность.

— Милая, дорогая Йовита, — сказала Агнешка, кончив читать, и поцеловала письмо. — Она страшно по нас тоскует. Очень сожалею, но на этот раз ни словом не вспоминает о тебе.

Я думал, она даст мне прочесть письмо, но она сунула его обратно в конверт и спрятала под подушку, словно боялась, что я захочу его похитить.

— Ее работы имели колоссальный успех на фотовыставке в Мельбурне, — сообщила наконец Агнешка, — она получила денежную премию, и жизнь ее

складывается очень удачно. Несмотря на это, она все время мечтает вернуться к нам.

Я держал себя в руках и думаю, Агнешка не заметила моего волнения. Вскоре я ушел.

Оркестр перестал играть. Совершенно внезапно. Во всяком случае, так мне показалось. Тишина вернула меня к действительности, а раздавшиеся аплодисменты прочно меня в ней утвердили.

— Ты что, спал? — спросила Агнешка. — У тебя такая физиономия! Тебе в самом деле не следует ходить на концерты, если ты скучаешь.

— Ничего подобного, — отозвался я. — Я заслушался. Дирижер великолепный.

— Он слишком медленно ведет оркестр, — небрежно бросила Агнешка.

Я терпеть не мог, когда она умничала и с видом знатока высказывала суждения о вещах, в которых не смыслила.

На сцене началось движение, которое мне нравилось. Раздвинули стулья, вперед выкатили рояль. Подобные приготовления я любил больше всего. Хелена повернулась и смотрела на меня. Я не глядел в ту сторону, но чувствовал на себе ее упорный взгляд. Меня это и раздражало и трогало. В зале царила атмосфера праздничного возбуждения. Она была вызвана предстоящим выходом на эстраду самого выдающегося на свете пианиста. Кто, спрашиваю, возвел его в эту категорию? При каких обстоятельствах он доказал свое превосходство над другими знаменитостями? Агнешка беспокойно вертелась на стуле, на щеках у нее от возбуждения выступил румянец.

— Идет! — вырвалось у нее.

Началось всеобщее движение, словно на перроне, когда подходит международный экспресс. Я все еще чувствовал на себе бросаемые украдкой взгляды Хелены. Грянули громкие аплодисменты, и даже слышались восторженные возгласы. Все встали. На сцене появился он. За ним следовал знакомый мне по игре в покер дирижер, который всем своим видом показывал, что он здесь ни при чем, но тем самым отчаянно пытался привлечь внимание на себя. Маэстро остано-

вился на середине эстрады и начал раскланиваться. Это был интересный, седоватый господин лет пятидесяти. Среднего роста и, разумеется, слюнтяй. Кланялся он мастерски и при этом поднимал руки, приветствуя публику. Овация продолжалась, и наконец наступил такой момент, когда и приветствуемый и приветствующие хотели, чтобы это поскорее кончилось, но не могли остановиться, как стремительно мчащийся автомобиль, у которого отказали тормоза. И тут удивительное искусство и присутствие духа продемонстрировал дирижер. Перестав аплодировать, он твердо и решительно повернулся к оркестру и легко взмахнул палочкой. Музыканты заняли свои места, тогда уселась и публика, и пианисту тоже ничего не оставалось, как сесть за рояль. Воцарилась тишина. Он ударил по клавишам и обменялся с дирижером взглядами. Хелена не смотрела на меня, зато я не сводил с нее глаз и даже по ее спине чувствовал, что она думает обо мне. Спина, по-моему, часто бывает выразительней лица.

Пианист поудобнее уселся на стуле. Все, что происходит на концертах, прежде чем начнут играть, мне страшно нравится. И вдруг — трах! Это оркестр заиграл с ужасающим грохотом.

Даже он вздрогнул, будто испугался. Но, наверно, он поступил так нарочно, чтобы показать, какое громадное впечатление производит на него музыка. Недурной трюк! Даже меня проняло. Я взял у Агнешки программу, а она этого не заметила. Лицо ее пылало. Она была в полубомбочном состоянии. Если бы для меня это еще имело значение, я, пожалуй, приревновал бы ее к этому фавориту. Вещь, которую он исполнял, вернее, готовился исполнить, потому что пока играл лишь оркестр, называлась «Концерт ре минор для фортепьяно» Иоганна Брамса. Фамилия мне нравилась. Я не прочь бы носить фамилию Брамс. Хотя имя предпочел бы другое. Например, Говард или Аллен. Нет. Пожалуй, не Аллен. Да и Говард мне тоже не очень подходит. Между тем маэстро скромно сидел на своем стуле. Он казался грустным и озабоченным. Время от времени он едва заметно поднимал голову и чутко прислушивался к оркестру. Словно обдумывал, как играть, когда наступит его черед. Зачем эта комедия, будто все зависит от его решения и воли? На самом деле все бу-

дет так, как давно предрешил господин Аллен Говард Брамс. Это ведь не то, что бег на полторы тысячи или пять тысяч метров, когда нет никакой партитуры и нечеловеческими усилиями приходится творить драму прямо на глазах зрителей, не зная, вплоть до финиша, каков будет исход. Я бы очень хотел бежать на дальние дистанции и с удовольствием принял бы участие в мемориале. Но если бы я стартовал в нем и добился бы успеха, то был бы этим обязан Ксенжаку. А я не мог и не хотел быть ничем ему обязанным. Этот осел не понимал, почему я его сторонюсь, и считал меня капризной примадонной. Конечно, не понимал. Да и откуда ему было понять?

Там, на сцене, что-то происходило. Оркестр сбавил темп, затих. Дирижер делал такие движения, словно у него иссякли силы. Он беспомощно оглядывался. Маэстро внезапно выпрямился. Что? Вы уже обессилели? Замирает и умолкает музыка, которую вы так темпераментно вели? Я слушал, как вы играете, и не собирался вмешиваться. Но вижу, вы без меня пропадете. Так и быть, выручу вас.

Легко, словно кавалер, обмахивающий цветком упавшую в обморок даму, он коснулся клавишей, и оркестр отозвался тихим стоном. Маэстро играл все громче и решительней. Пребывавший в обмороке оркестр постепенно приходил в себя. А когда рояль напомнил ему торжественное вступление, сознание окончательно вернулось к нему, и он снова обрел силу, отвагу и мужество. Решительно и твердо оркестр шел за тем, кто воскресил его.

Любопытнейшая все-таки штука. Хотя я ни черта не смыслю в музыке, на этот раз мне не было скучно, и то, что происходило на сцене, захватывало и меня. Будоражило воображение. Маэстро, как видно, знал свое дело. Он сумел меня пленить даже чисто внешней стороной своего искусства, хотя на такие штучки меня нелегко купить. Напряжение в зале нарастало. То, что вытворял этот Чапаев фортепьянной игры, было действительно невероятно и волнующе. Что уж говорить о тех, которые понимали толк в музыке. И сейчас он не был слюнтяем. О, нет! В зале находилось несколько сотен музыкальных слюнтяев и еще один немusикальный слюнтяй — это я. Но он уже не был

слонтяем. Хелена обернулась, искала меня глазами и улыбнулась. Ее улыбка и взгляд как бы давали мне понять, что, разделяя общий восторг и воодушевление, она не перестает думать обо мне. К чему все это, Хелена, а, Хелена? Это не нужно ни мне, ни тебе. Разве не лучше было бы, если бы мы тогда у тебя совершили преступление, на которое толкала нас сама природа? Или же в тот раз, у меня? Все было бы уже позади, и, возможно, нам удалось бы замести следы преступления, ибо преступления такого рода легко сходят людям с рук. Зачем я упрямлюсь, зачем бросаю вызов природе, которая насмеяется над условностями, придуманными людьми, когда те противятся ее велениям?

Хелена позвонила мне вечером в тот же день, когда приносила докладную Ксенжака и когда я заставил ее уйти.

— Марек, — сказала она, — ты понимаешь, что выставил меня из своего дома?

— Понимаю.

— Пожалуй, ты поступил правильно.

— Я рад, что ты так думаешь. Нет. Совсем не рад.

— Я тоже не рада, но тем не менее ты хорошо сделал. Ты знаешь, зачем я звоню?

— Нет, не знаю.

— Я тоже не знаю. И все-таки звоню. Мы что, больше не будем видеться?

— Не должны.

— Скажи, почему все получилось именно так?

— Как?

— Мы встречались несколько лет и не обращали друг на друга внимания, а теперь...

— Нам лучше кончить этот разговор.

— Ты прав. Ну, будь здоров.

Она положила трубку.

Не знаю, как это вышло, но мы встретились с ней дня через два. Мы говорили друг другу, что нам не следует встречаться. А потом встречались постоянно, чтобы говорить об этом. Между нами так ничего и не было. Мы даже ни разу не поцеловались. А между тем я испытывал большие угрызения совести, чем если бы мы совершили то, что принято называть пре-

любодеянием. Атмосфера все больше сгущалась и накалялась. Казалось немыслимым, чтобы вулкан в конце концов не заговорил. Но если это случится, значит, я тряпка. А я не хотел быть тряпкой. Я знал, что я нуль. Моя личность не представляла никакой ценности для природы и общества. Им и себе самому я мог только пообещать, что не превращусь в тряпку. Правда, человечество и не узнает никогда о моем щедром даре, ну и что из этого?

Он несся вперед, видимо, приближаясь к финалу. Он был поистине великолепен. Я боялся, как бы Агнешка не упала в обморок. Вот позор! Казалось, не только слушатели, но оркестр впал в состояние необычайного торжественного подъема. О дирижере все забыли. Но вот он выкинул невероятный трюк. Положил дирижерскую палочку и сошел с возвышения. Словно говоря: «Я, мол, здесь не нужен». Пианист своей гениальной игрой сам ведет оркестр. О, маэстро над маэстрами! Это я о дирижере. И он добился, чего хотел: отличился и привлек к себе внимание. Раздаются последние аккорды. Он продолжает сидеть за роялем с поникшей головой и опущенными руками, в зале царит мертвая тишина. Первым нарушил ее дирижер. Он воздел руки кверху, вскрикнул от восхищения и подошел к роялю. Давая этим понять, что он не дирижер, а слушатель, который не в состоянии скрыть свой восторг и должен продемонстрировать свое преклонение перед маэстро. Я готов был биться об заклад, что он выбивает для себя поездку с концертами по Америке. Но восторг зала показался мне искренним и правдивым. Я был сам захвачен общим энтузиазмом, хотя и не в такой степени, как остальные. По знаку дирижера маэстро встал и раскланялся, а минуту спустя пожимал руку подошедшему дирижеру. Дирижер попытался вырвать руку, но маэстро не выпускал ее, вынуждая дирижера кланяться вместе с ним. Наконец тот подчинился с адресованной публике понимающей улыбкой: приходится, мол, уступать капризам маэстро, но не следует принимать эти поклоны всерьез. Однако дирижер выламывался напрасно. Кроме меня, на него никто не обра-

пал внимания. Что творилось в зрительном зале, невозможно описать. Люди срывались с мест, охваченные массовым психозом. Кто-то неподалеку от меня громко рыдал, воздух сотрясаясь от оваций и криков, вдруг рядом раздался грохот. Я боялся взглянуть. Не Агнешка ли? Нет. Упала всего-навсего ее сумочка. А она даже не заметила этого. Лицо у нее пылало, ее била дрожь, как и большинство собравшихся здесь. Подобное массовое возбуждение в других обстоятельствах может привести к стихийным эксцессам. А пианист все кланялся и кланялся. Теперь он снова стал сюлентем и больше мне не нравился. Надо признаться, такого безумства и такой бурной овации мне не приходилось наблюдать ни на одном стадионе. Не раз по моему адресу раздавались восторженные аплодисменты, а однажды толпа даже вынесла меня со стадиона на руках. Но ничего подобного я не мог себе и представить. Дирижер приуныл и утратил инициативу. Он стоял сбоку между скрипачами, и у него было печальное лицо. Словно он устал и ему все это надоело. Может, у него были неприятности дома и, когда напряжение спало, он вспомнил о них? Мне стало его жалко.

Маэстро много раз уходил со сцены и возвращался, вызываемый аплодисментами. Мне хотелось, чтобы это поскорей кончилось. Хотелось, чтобы этот концерт уже закончился и можно было пойти к Артуру. Хотя, по правде говоря, я не знал, нужно ли мне это. Скорей всего там будут Ксенжаки. Ксенжак, Агнешка, Хелена и я — не многовато ли на сравнительно небольшом пространстве? «Лучше лечь спать, — подумал я. — Завалюсь спать — и дело с концом». Овации наконец стихли. Люди выглядели усталыми, как до этого дирижер. Они чувствовали себя как бы с похмелья, какое наступает обычно после эмоционального возбуждения, Агнешка терла ладонью лоб.

— Пойдем к Артуру? — спросил я.

Она не ответила. Наверно, от переполнивших ее чувств — настоящих или выдуманных. Кроме того, я видел, ее сегодня что-то беспокоит и она старается скрыть это от меня. Несомненно, ее что-то гнетет, может, она хотела со мной поговорить и не решалась?

А вдруг она знает про Хелену? Но каким образом? Впрочем, женщинам для этого не много нужно. Кроме того, разве в Кракове мало доброжелателей, которые могли нас видеть с Хеленой и сообщить об этом Агнешке. Я почувствовал себя примерно так, как однажды перед воскресным матчем, когда старался скрыть от Шиманяка, что схватил кол за сочинение по литературе.

Мы покинули свои места и молча направились к выходу из зала. Я чувствовал: что-то происходит. Что-то назревало, и должен последовать взрыв. В вестибюле я имел несчастье налететь на Ксенжаков. Эдварда переполняла идиотская восторженность, и он начал обмениваться с Агнешкой впечатлениями. Мне показалось, что Агнешка краем глаза наблюдает за мной и Хеленой. Но делала она это так незаметно, что я не мог этого утверждать. Однако я чувствовал, что не ошибаюсь.

— Вы идете к Артуру? — спросил я, чтобы что-то сказать.

Наше с Хеленой упорное молчание, казалось мне, смахивало на признание вины.

— Что ты! — сказал Ксенжак. — Я сразу после концерта уезжаю в Варшаву.

Я забыл, что Ксенжак опять написал докладную записку. В толпе промелькнул Михал Подгурский, поклонился нам, но не подошел.

Непонятно почему. Кажется, он не любил Ксенжаков.

— Но я буду вам признателен, — сказал Ксенжак, — если вы захватите с собой Хелену.

— Я без тебя не пойду, — заявила Хелена.

— По-моему, ты перебарщиваешь, нельзя же постоянно цепляться за меня, как за мамкину юбку, — сказал Ксенжак. — Шагу не может ступить без меня.

— Ну ладно, только на полчаса, — сказала Хелена.

— Вы ее потом проводите? — спросил Ксенжак.

— Я тоже не смогу пойти, — сказала Агнешка. — Приехала моя тетка из Познани. Мне с трудом удалось вырваться на концерт.

Я впервые слышал про тетку из Познани. Я взглянул на Агнешку. Она отвернулась. И этот разговор, и все остальное было просто невыносимо.

— Послушай, — вдруг обратилась она ко мне, — пойди за кулисы и раздобудь автограф. Я хочу иметь его автограф. Вот на этой программе.

Она протянула мне программу.

— А почему бы тебе самой не пойти?

— Разумеется, я могу пойти сама, — произнесла Агнешка тоном, в котором чувствовалась истерика.

Я понял, что должен идти. Более того! Я понял, что не имею права возвращаться без автографа. Просить автограф у этого типа было для меня просто невыносимо. Но, пожалуй, это все-таки лучше, чем стоять тут и обмениваться фразами, в которых таилась сила атомного взрыва. И я удалился, в сущности, даже с облегчением.

Вход за кулисы осаждала толпа. Охранял его швейцар, на лице у него было написано, что ни на какие копромиссы он не пойдет. Это был отец Петра Маржевки, прыгуна с шестом из нашего клуба. Он узнал меня и тотчас пропустил. За кулисами оказалась не меньшая толчея, чем перед входом. Счастливы, которым удалось прорваться, осаждали маэстро, протягивая ему свои программы. Я не видел никакой возможности к нему протиснуться, но решил не капитулировать. Не только из боязни перед Агнешкой, но из-за самого себя. Раз я задался целью добиться своего, надо довести дело до конца. Тем более если мне этого не хочется. Я примкнул к толпе, тесно обступившей маэстро, но шансы пробиться к нему по-прежнему казались мне ничтожными. В какой-то момент маэстро поднял глаза, и наши взгляды встретились. Он наморщил лоб, рассматривая меня, потом улыбнулся, раздвинул окружавших его людей и шагнул ко мне. Все глядели на меня, а у меня, вероятно, была такая мина, как однажды в школе, когда обнаружилось, что это я вымазал классную доску чернилами, и учитель подходил ко мне, поигрывая указкой. Разумеется, он не посмел меня ударить, да я и не боялся этого. Но его взгляд, внезапная тишина и взгляды товарищей вызвали на моем лице глуповатую улыбку. Предполагаю, что совершенно такую же, с какой я взирал сейчас на приближавшегося ко мне чемпиона из Лос-Анджелеса. Чего он хочет?

— Если не ошибаюсь, мистер Марек Аренс? — произнес он, протягивая мне руку.

Я несколько неуклюже пожал ее.

— Да, — ответил я тихо.

— Вы не представляете, как мне приятно вас видеть. Несколько недель назад я восторгался вами на стадионе в Риме. Спорт — мое хобби, а польским спортом я особенно интересуюсь. Я даже выписываю «Спортивное обозрение» и знаю наизусть результаты всех состязаний.

Нет, вы только посмотрите! Я предполагал, что он слякнет, но до какой степени, не думал. Он вызывал у меня смешанное чувство симпатии и неприязни. Взяв программу и ни о чем не спрашивая, он начертил автограф. Порядком хлебнул я стыда, но, по крайней мере, хорошо, что не придется возвращаться к Агнешке с пустыми руками. Это обошлось бы мне еще дороже.

— Благодарю вас, — сказал я, повернулся и тотчас ушел.

Должно быть, следовало прибавить еще что-то, постоять немного и поговорить с ним. Но я не мог. Я жаждал только одного — как можно скорее исчезнуть.

В опустевшем после звонка коридоре я вздохнул с облегчением. Вглянул на программу. Да, неплохо удружил мне этот фигляр.

На программе было написано: «Мареку Аренсу, с восхищением и симпатией».

Я предпочел даже не задумываться над тем, как реагировала бы Агнешка, получив программу с таким автографом. Осмотревшись украдкой по сторонам, я разорвал программу и бросил в урну.

Не понимаю, как это случилось! И не могу даже припомнить, когда.

Свет резал мне глаза, и болела голова. Я думал о том, что произошло, и ничего не мог уразуметь.

Свет лампы нестерпимо резал глаза. Хотелось спать.

— Погаси ради бога лампу, — сказал я.

— Не употребляй всеу имени господа твоего! А если тебе мешает свет, повернись спиной.

— Неужели сейчас подходящий момент для чтения?

— Гражданин Народной Польши каждую свободную минуту обязан использовать для самообразования. Ты тоже можешь почитать, если у тебя есть желание. Или давай я почитаю тебе вслух. Хочешь?

— Нет, нет! Очень тебя прошу, не надо.

— Нет так нет. Можешь спокойно спать. Положи голову на мое бедро. Вот сюда. Или вот сюда. Ну, не бойся. И чего это ты такой стеснительный? Я и не думала, что ты такой. Ты представлялся мне совсем другим. А что ты обо мне думал?

— Ничего не думал. Я хочу спать, и у меня болит голова.

— Ты еще молод, чтобы устраивать такие сцены. Спи! Положи голову сюда. Вот сюда. Теперь тебе будет хорошо. Я буду гладить тебя по голове, и ты сразу уснешь.

— Не надо гладить меня по голове.

— А мне хочется. Это доставляет мне удовольствие. В детстве у меня была большая кукла с чудесными волосами. Вечером я укладывала ее в постель рядом с собой и засыпала, глядя ее волосы. Ты немного похож на эту куклу. Иначе я никогда не позволила бы тебе лечь со мной в постель.

— Не позволила бы?

— Конечно, нет! А впрочем, не знаю. Ну, спи.

Я прижал голову к ее теплomu крепкому телу и почувствовал себя превосходно. Мне показалось, что я та самая кукла с чудесными волосами. Неплохо бы превратиться в куклу, у которой внутри ничего нет или одни опилки, чтобы лежать вот так, не двигаясь, ничего не ощущая. Можно сказать себе в утешение, что это единственная мечта, которая рано или поздно сбудется. Мысль о кукле подействовала на меня успокаивающе. Весь мир с его проблемами свелся к ни к чему не обязывающим масштабам детства. Я уже засыпал, когда вдруг сознание того, что случилось, пронзило мое сердце острой болью.

Где теперь Агнешка? Что она делает? Что думает?

Перед судьбой я отчитаюсь в своих поступках. И, если нет трибунала, который вынес бы мне приговор и определил меру наказания за нарушение чести и верности и за то, что я нарушил клятву на могиле матери, я создам этот трибунал сам.

ГЛАВА XI

После концерта Артур потащил всех к себе. Я старался улизнуть, но мне это не удалось. Вдобавок ко всему мы снова налетели на Ксенжаков. Была ли это только простая случайность?

— Пожалуйста, возьмите с собой Хелену, — сказал Ксенжак. — Я должен мчаться на вокзал, а она всегда нервничает, когда я уезжаю, оставляя ее одну.

— Я совсем не нервничаю. С чего ты это взял! — сказала Хелена со злостью, настолько непропорциональной предмету разговора, что всех это должно было удивить. Всех, но не Ксенжака.

— Видите, — сказал он, — она уже нервничает. Она не может оставаться одна, потому что ей не с кем говорить. Больше всего на свете она любит говорить. Если рядом нет человека, с которым она может разговаривать, то... то...

Он не знал, что сказать.

— То она молчит, — закончила Агнешка, усмехнувшись.

Мне не понравилась эта усмешка. Хелена пожала плечами, словно решила, что продолжать этот диалог бесполезно. Ксенжак глупо улыбнулся. Он чувствовал: здесь что-то не так, но что именно, не знал.

— То она молчит, — повторил он. — Да, да, молчит.

— Пусть Марек и Хелена идут к Артуру вдвоем, — сказала Агнешка, — я должна возиться с несчастной теткой.

— Я и не знал, что ты разводишь такие церемонии с родственниками. Или ты надеешься получить наследство?

Я сказал это вызывающе, неизвестно зачем и тотчас пожалел об этом. Но Агнешка спокойно приняла мой вызов,

— Ты просто глуп, — сказала она, — если не смог сделать такой пустяк, как получить автограф, лучше не пытайся острить. Я постараюсь побыстрее сплавить тетку и приду к Артуру. Думаю, вы как-нибудь обойдетесь без меня.

Последней фразой она дала понять, что ей все известно.

— Дорогие мои, — сказал Ксенжак, — я опаздываю. Давайте, по крайней мере, сдвинемся с места!

Он остановил такси.

— Поезжайте, — сказала Агнешка, — мне в другую сторону.

Прежде чем я успел ей что-нибудь сказать, она повернулась и пошла. Я крикнул ей вслед:

— Агнешка!

Но она не услышала или сделала вид, что не слышит.

— Марек, — сказал Ксенжак в такси, — мы наговорили друг другу массу глупостей сегодня и вообще за последние дни. А теперь давай поговорим без истерики, как мужчина с женщиной.

— Чего ты от него хочешь? — воскликнула Хелена, которая сидела рядом с шофером. — Что ты к нему привязался? Ему не о чем с тобой разговаривать.

— Хелена, — сказал Ксенжак, — ты в самом деле ведешь себя сегодня глупо. Ты, наверно, больна. В чем, собственно, дело? Впрочем, не важно. Марека это не интересует. Будь добра, не мешай нам, пожалуйста. Послушай, Марек, ты прекрасно знаешь, что я еду в Варшаву и по твоему делу. И тебе известно, что необходимо наконец...

— Эдвард, я вел и продолжаю себя вести глупо по отношению к тебе, — сказал я, — прошу, не сердись на меня. Но давай не будем больше говорить об этом. Я не буду участвовать в мемориале.

— Марек, одно слово...

— В мемориале я участвовать не буду и, как только развяжусь со своими клубными обязательствами, вообще оставлю спорт.

— Бросить спорт?! Да ты что! Ведь это — основа твоей жизни.

— Именно поэтому. И еще потому, что я никому не хочу быть обязанным.

— А перед кем ты чувствуешь себя обязанным?

— Не будем говорить об этом.

Ксенжак, подавленный, замолчал. У меня было скверно на душе, но я ничего не мог поделать с собой. Хелена что-то недовольно бубнила себе под нос.

Такси свернуло на улицу Святого Яна и подъехало к дому Артура. Мы с Хеленой вышли, а Ксенжак, который ехал на вокзал, неожиданно повеселел, подавшись порыву здорового оптимизма.

— А я уверен, — сказал он, садясь рядом с шофером, — что ты будешь стартовать в мемориале. Мне известно, какое у тебя переменчивое настроение. Любая мелочь повергает тебя в уныние и расколаживает. Ты — мимоза. Нежнейшая мимоза на свете. Ис спорт ты не бросишь и будешь стартовать в мемориале. Хелена! Ну, Хелена, хочешь, поспорим, что Марек будет стартовать в мемориале?

— Да оставь ты меня в покое! — воскликнула Хелена и, схватившись обеими руками за голову, вбежала в подъезд.

Такси с повеселевшим Ксенжаком укатило. Я поплелся к дому, приготовившись к новой тягостной сцене. На этот раз с Хеленой, которая явно вышла из себя. Однако с женщинами никогда не знаешь ничего заранее. Когда я входил в подъезд, Хелена с озорным криком выскочила из-за двери, словно желая меня напугать. Она прыгнула мне навстречу и прижалась к моей груди, держась за лацканы. В темноте поблескивали ее веселые глаза.

— Наконец-то мы одни, — сказала она и рассмеялась. — Мужья ужасные зануды!

— Хелена, ты заметила, что Агнешка обо всем догадывается? Я уверен, она что-то замышляет.

— Тебе кажется, дорогой. А потом, что она может замышлять? Мне не хочется сегодня ни думать об этом, ни говорить. Хорошо, что мы вместе, мне хочется повеселиться, выпить и потанцевать. С тобой. Мне страшно хочется танцевать с тобой.

— А я тебе говорю, Агнешка что-то замышляет. Я ее знаю.

— Ну, пусть себе замышляет, а мы будем веселиться.

Она взяла меня под руку, и по длинному, темному переходу мы направились к деревянной лестнице. Возле лестницы Хелена остановилась. И снова самую малость прижалась ко мне. Мы еще никогда не стояли так близко друг к другу. Меня начала бить дрожь, но я еще пытался овладеть собой. Никого и ничего в жизни я не жаждал так, как Хелены.

— В чем, собственно, дело? — вызывающе спросила Хелена. — Ну, в чем? Какое Агнешка имеет право что-то замышлять против нас или подозревать нас? И вообще, кто может нас в чем-нибудь упрекнуть? Разве двум людям — мужчине и женщине — нельзя встречаться друг с другом в этом проклятом Кракове, если они чувствуют взаимную симпатию? Мы не сделали ничего дурного, а в твоём отношении ко мне и вовсе нет ничего предосудительного. За исключением того, что ты схватил меня за шиворот и вышвырнул из своего дома.

— Я не хватал тебя за шиворот. Что ты болтаешь? И не выталкивал из дому. Ты прекрасно знаешь, это неправда. Как и все остальное, о чем ты говорила минуту назад. И правда и неправда...

Я стоял, прислонившись к стене, вернее, к выступу стены или колонне. И вдруг почувствовал, что говорю ерунду, не имеющую никакого значения, так как сейчас значение имела только близость Хелены. Я сделал неопределенный жест, однако со стороны он должен был выглядеть вполне определенно, потому что Хелена отпрянула и скрылась за выступом стены. Через минуту она высунула голову и посмотрела на меня из темноты.

— Нет, нет! — быстро заговорила она, словно боясь чего-то. — Нет, нет! Прошу тебя. Я не хочу. Умоляю тебя. Я не хочу изменять Эдварду. Я ему ни разу не изменила и не хочу изменять. Умоляю тебя, уходи. Оставь меня здесь и уходи поскорей, ведь ты знаешь, как и я, что... Ну, скорей, скорей!..

Она замолчала, но в следующее мгновение — это произошло само собой и в этом не было ни ее вины, ни моей, — в следующее мгновение наши уста слились с силой и стремительностью расщепленного атома, ко-

торый, словно заключенный в бутылку джинн, ждал этого несколько десятков или сотен, а, возможно, миллионов или даже миллиардов лет. Сколько — не знаю и не верю тем, которые утверждают, будто им это известно.

И тут за спиной послышался шорох. Кто-то вошел в подъезд и остановился на пороге. Я съежился и хотел укрыться за выступом стены, но, прежде чем успел это сделать, на меня упал луч карманного фонаря. Он вспыхнул и тотчас погас. Хелена еще не пришла в себя, она млела на моем плече — голова откинута, рот полуоткрыт, глаза сомкнуты — и не знала, что происходит вокруг. Я посмотрел на входную дверь. Там стояла Агнешка. Стояла, слегка расставив ноги, держа в руке потухший карманный фонарик. Этот фонарик я подарил ей на день рождения. Отличный аккумуляторный фонарик фирмы «Симменс», крохотный и плоский, он стоил в комиссионке четыреста пятьдесят злотых.

Агнешка сказала: «Марек». Сказала так тихо, что я подумал, может, мне показалось, и выбежала на улицу.

Хелена пришла в себя и выпрямилась

— Что случилось? — спросила она, потирая рукой лоб, как человек, пробудившийся после глубокого сна. — Кто светил фонариком?

— Ничего не случилось. Просто в подъезд вошла Агнешка и осветила нас...

— Не может быть!

— Почему же. Это вполне возможно. Именно так оно и было.

Хелена ничего не сказала. Наклонив голову, она гладила себя по волосам с безразличием мартышки, забавляющейся зеркальцем. Она слегка покачивалась. Наконец Хелена повернулась и стала подниматься по лестнице.

Я плелся за нею на некотором расстоянии и ни о чем не думал. Хелена подошла к дверям Артура, позвонила, а потом, обернувшись, сказала:

— Ты круглый идиот. Абсолютный идиот.

Двери распахнулись, прежде чем я поднялся на лестничную площадку. Хелена вошла в квартиру. А я повернулся и сбежал вниз.

Собственно говоря, мне было хорошо. Положив голову на бедро или точнее, куда-то возле бедра, полусонный, освещаемый желтым светом лампы, я чувствовал себя словно в безопасном убежище.

— Спишь?

— Нет. Не нервничай. Я сейчас погашу лампу.

— Можешь не гасить.

— С чего это ты вдруг стал таким вежливым. Только что скандалил из-за света и вдруг полюбил.

— Знаешь, мне с тобой очень хорошо. Я должен засвидетельствовать в третьем часу утра, что мне с тобой хорошо.

— Подумаешь! Мне с тобой всегда хорошо.

— Может, нам пожениться?

— Ты что, в ненастный день в Висле у Вавеля искупался?

— Откуда ты выкапываешь такие выражения?

— Откуда? Сама выдумываю. А что? Думаешь, я идиотка и неспособна ничего такого придумать? Ты ведь считаешь меня законченной идиоткой, ну, признайся?

— Конечно, дорогая. Но тем не менее я хочу на тебе жениться. Я сейчас позвоню твоей маме и попрошу твоей руки.

Я схватил телефон и сделал вид, будто собираюсь набрать номер.

— Ты спятил? В такое время звонить маме? Завтра позвонишь. Ну, перестань! Перестань, слышишь! Прошу тебя. Завтра позвонишь и попросишь моей руки. Впрочем, мама все равно не согласится. Мама сказала, что только через ее труп я выйду замуж за спортсмена. Прошу тебя, прекрати!

Мы начали возиться. Дорота хихикала, я тоже смеялся.

Телефон упал на пол, и Дорота сказала:

— Перестань. Хватит. Чего тебя вдруг так разобрало? Было — кончилось. Ну, правда, перестань. Мне надоело.

Я поднял с пола телефон, лег спокойно и подложил руки под голову.

— Значит, ты говоришь, мама не позволит тебе выйти за меня замуж?

— Конечно, нет.
— А ты так уж во всем слушаешься маму?
— Ты что, в пустыне Сахаре голову в костер су-
нул? Совсем не слушаюсь.

— Ну так в чем же дело?

— Ни в чем.

— Дорота, скажи, ты меня любишь?

Дорота наморщила лоб.

— Конечно, не люблю. То есть не люблю в том смысле, в каком ты сейчас спрашиваешь. Тебя интересуется, люблю ли я тебя, как любят в кино. Что? Ну, так я тебя, пожалуй, не люблю. Но если бы ты умер, я дня три ничего бы не ела. Ну, что?

— Ничего.

— Тогда молчи в тряпочку. А мне дай спокойно читать. Вот добыю книгу, и порядок! Дай мне яблоко. Хотя нет. Я сама возьму. Жалко заставлять тебя вставать.

— Почему?

— Не знаю. Просто почему-то невольно хочется тебя пожалеть. Ну, как это говорится? Я забыла. Ребята в клубе друг к другу так обращаются. Брат или что-то вроде этого. Ну, напомни мне. Я тебе тоже принесу яблоко. Хочешь? Но сначала напомни, как это говорится.

— Никто так не говорит. Во всяком случае, девушки так не говорят. А яблока я не хочу.

Дорота встала с постели и подошла к столу. Она была совершенно голая, но нисколько этим не смущалась. Она держалась грациозно и непринужденно, как девочка, которая в новеньком платье отправилась в воскресное утро погулять с бабушкой. Ее нагота была естественна, как у первобытного человека, который еще не испытывал потребности укрывать тело от злобных капризов природы. Она вернулась в постель, грызя большое румяное яблоко. Можно было бы ее сравнить с Евой, но она была на нее не похожа. В ее облике не было ничего греховного. Разумеется, с точки зрения катехизиса. Она легла и взяла в руки книгу. Своего «Питера Пэна».

— Вот дочитаю и расскажу тебе, — пообещала она, — а ты тем временем вздремни. Вообще-то мне уже пора домой. О боже, что подумает мама? Ну и

пусть думает, что хочет. А что я должна думать, когда она возвращается от своего актера? Нет? Ну как, по-твоему? Нет? Почему ты молчишь?

— Ты собиралась читать, а я собирался поспать.

— Ага. Ну, тогда молчи...

Как это случилось? Как это могло случиться?

Я сбежал вниз по лестнице и выскочил на улицу. Улица Святого Яна, как обычно в это время, была пустынна, только где-то возле гостиницы «Французская» громко разглагольствовали пьяные. Я не знал, куда пошла Агнешка, в эту сторону или к Рыночной площади. Впрочем, какое мне до этого дело? Я не собирался ее догонять. Что я мог ей сказать? Нет, я выбежал не для этого. Я не думал гнаться за Агнешкой. Я удрал от Хелены.

Внезапно я ощутил страшную усталость. Такую усталость, когда человеку все становится безразлично и единственной возможной формой существования кажется отдых в постели с иллюстрированным журналом в руках. Я знал, это состояние скоро кончится и начнутся кошмары. Я пошел в сторону Рыночной площади.

Мне представилась собственная загубленная жизнь. Может, по моей вине. Может, я установил для себя слишком высокие нормы. Все равно, я должен подвести итог. Хорошо, что дома осталось полбутылки коньяку, настоящего мартеля. Подвести итог? Но как? Сначала выпьем коньяку, а там видно будет.

Я вышел на Рыночную площадь, пересек ее, потом пошел по Щепанской в сторону Плантов. На площади Щепанского мне показалось, будто кто-то крадется за мной. Неожиданно я услышал крик:

— Руки вверх!

Обернувшись, я увидел Дороту, которая выставила указательный палец, словно пистолетное дуло.

— Пах-пах-пах, пах-пах-пах! Ну, братец, скажу я тебе, вот это картина! Бах, бах! Враги бездыханными валяются на дороге. «Вера-Крус»!¹ Ты ничего

¹ Известный американский вестерн.

подобного не видел. Бах! Бах-бах-бах! Хочешь, я схожу с тобой еще раз? Бах-бах-бах! Бах!

— Хорошо, пойдем, но убери свой кольт, потому что собирается толпа.

Прохожие оглядывались на нас, а какие-то два парня даже остановились.

— Ты не мог бы стать ковбоем. Тебя пугают какие-то несчастные прохожие. Хочешь, я мигом наведу порядок и разоружу их?

— На этот раз прости их!

— Ну, ладно, раз уж ты просишь об этом. Ты домой? Я могу тебя проводить.

На этот раз ее предложение меня обрадовало. Я боялся одиночества.

— Знаешь что, — сказал я, — зайдем ко мне. У меня есть немного коньяку, сообразим что-нибудь перекусить.

— Не знаю. Проводить — пожалуйста. Но заходить домой... Я собиралась сегодня добить эту книжку.

— «Питера Пэна»?

— Да! Чего ты смеешься, дурак? Это очень мудрая книжка.

— Я не смеюсь, а просто улыбаюсь. Почитаешь у меня. Мне сегодня не хочется быть одному.

— Если так, хорошо. Что-то этот концерт не очень тебя развлек. Надо было послушаться меня и пойти на «Вера-Крус».

Она пришла ко мне. Я, правда, не знаю, как это произошло. Мы поужинали, выпили по три рюмки коньяку, после ужина Дорота уселась на тахте и принялась читать. Я лег и положил голову ей на колени. У меня даже в мыслях не было, что может что-то произойти. Зачитавшись, она непроизвольно поглаживала меня по голове. И как потом это случилось, я в самом деле не знаю.

Дорота с шумом захлопнула книжку. Я как раз начал засыпать, в голове у меня теснились какие-то странные цветные видения. Я подскочил.

— Что случилось?

— На газоне в шляпе танцевал теленок. Я кончила книжку. Теперь мне действительно пора уходить. Скоро совсем рассветет.

— Не уходи, ты ведь хотела рассказать мне содержание книги.

— Ну хорошо. Расскажу, а потом пойду. Ну, слушай.

Давным-давно дети были птицами и жили в огромном парке на Птичьем Острове. Люди, которые хотели иметь ребенка, писали письмо ворону Соломону, и ворон Соломон посылал к ним птичку, а птичка по пути превращалась в мальчика или девочку. Так было и с Питером Пэном. Он лежал в колыбели в пуховом конверте, родители и родственники вертелись, ласкали его и развлекали. Ему было хорошо, тепло и уютно. Но когда наступал вечер и Питер видел за окном темные силуэты высоких деревьев, которые росли на Птичьем Острове, его охватывали беспокойство и тоска. И вот однажды он услышал, как родители разговаривали о том, кем он будет, когда вырастет. Представив себе, что когда-нибудь он будет взрослым и ему придется, как отцу, носить пенсне, тесный неудобный костюм, ходить с тросточкой и портфелем и, как отцу, выполнять множество нелепых, никому не нужных обязанностей, произносить тысячи бессмысленных фраз, — представив себе все это, он так испугался, что решил бежать обратно на Птичий Остров, чтобы никогда не быть взрослым. Как-то летним вечером, когда родители вышли из комнаты и оставили открытое окно, Питер Пэн полетел на свою птичью родину. Он не осознавал, что он уже не птица и у него нет ни перьев, ни крыльев, но именно поэтому он и мог лететь. Когда он появился на Острове, птицы отшатнулись от него. Не понимая, в чем дело, он вел себя, как птица, и только потом, после всяких испытаний, уразумел, что он не птица и ничего общего с ними у него нет. Расстроенный, он отправился за советом к ворону Соломону, но тот беспомощно развел крыльями. Ни он, ни кто-либо другой не может изменить того, что Питер перестал быть птицей. Но самое ужасное, что, покинув людей, он перестал быть и человеком. Потеряв веру в то, что он птица, Питер разучился летать и не мог возвратиться к людям. Впрочем, его все равно не приняли бы обратно. Когда он исчез, родители прислали запрос на нового ребенка, и тот занял теперь место

Питера. Значит, у него нет другого выхода, как оставаться здесь и быть тем, кем он стал. Но кем же он стал? Птицей? Нет. Человеком? Тоже нет. Ворон Соломон подумал-подумал и сказал: «Ты — Ни то ни се».

И вот, Питер «Ни то ни се» зажил на Птичьем Острове. Он помогал птицам лепить гнезда, ворону Соломону — сортировать заявки на детей, наигрывал танцующим эльфам на свирели, которую сделал из ивы.

Он не был ни счастлив, ни несчастлив. И лишь изредка летним вечером, когда издали, со стороны далеких ворот парка, доносился городской гул, шум машин да перезвон трамваев, а сквозь деревья виднелись темные очертания домов и мерцали уличные фонари, непонятная тоска сжимала ему сердце.

Дорота выпалила это одним духом, словно выучила наизусть, и у нее получилось это так хорошо, что ее рассказ меня поразил.

— Ты очень здорово рассказала.

— А почему бы и нет? Ты считаешь меня идиоткой, а у меня есть литературные способности. По-твоему, эта книга глупая, но глуп ты сам, а книга умная, гораздо умнее разных статей в журналах, которые читает твоя Агнешка.

— Правда?

— Правда. Вот ты и есть «Ни то ни се».

— Я?

— Ты. И я тоже. Вообще мы все. Я сказала это даже мэтру. Пусть знает! Я так и сказала: «Мэтр, вы — «Ни то ни се». А он в ответ на это: «Дорота, ты что, спятила?» А я: «Нет, не спятила. Вы — «Ни то ни се», и все мы — «Ни то ни се».

— Врешь!

— Не вру.

— Как ты могла ему это сказать, если ты только что дочитала книгу?

— Милый мой, я читаю ее уже бог знает в который раз!

— Зачем же тебе было дочитывать ее до конца, чтобы рассказать мне содержание?

— Потому что во всем должен быть порядок.

— Ты или гений или совершенная идиотка.

— Вот именно. Мэтр однажды сказал мне то же самое.

— Заладила: мэтр и мэтр! Перестань без конца повторять: мэтр. Как будто нельзя сказать просто: Ксенжак. Ты что, и в постели говорила бы ему мэтр?

— Говорила.

— Что?

— То, что слышишь.

— Дорота, я, кажется, тебя не понял.

— Нет, понял. Я и в постели называла его: мэтр. Я так привыкла, что не могу называть его иначе. Его это тоже злило. «Зови меня Эдвард, — просил он. — На спортплощадке — другое дело, а тут зови Эдвард». Но я не могла. Привыкла и не могу иначе.

— Когда это было?

— В Будапеште. Когда я вывихнула ногу, и все думали, что это перелом. Мэтр остался со мной, и мы вернулись на день позже. Он был ко мне очень внимателен. Да, очень внимателен.

— Не сомневаюсь.

— И знаешь, что он сказал? Он сказал, что...

— Подожди минуту. Дай собраться с мыслями.

Я хотел собраться с мыслями, но мне это никак не удавалось. Дорота потушила лампу. Сквозь занавески пробивался свет.

— Ну, я пошла, — сказала она и принялась одеваться. — Спасибо за ужин.

Мне показалось, что все это мне только снится. Как в тумане, видел я одевающуюся Дороту, вокруг нее плясали, играя на свирели, Питер Пэн и разноцветные эльфы. Разве это не могло быть на самом деле? После того, что случилось, это могло показаться правдоподобным.

Я почувствовал, как Дорота заботливо укрывает меня одеялом, и услышал, как она на цыпочках вышла из комнаты.

ЭПИЛОГ

— Я знала, что ты способен на сумасбродство, и всегда этого боялась, — сказала Агнешка.

Через зарешеченное окно виден был курган Костюшки на фоне голубого неба, которое в этот солнечный

осенний день было удивительно яркого оттенка. День клонился к вечеру, и небо быстро темнело.

Не глядя друг на друга, мы смотрели в окно.

— Ты ужасно неуравновешенный человек, — прибавила Агнешка.

Я хотел ей возразить, но она опередила меня:

— Прости, я говорю глупости. Не сердись. Я просто выбита всем этим из колеи. Надеюсь, ты понимаешь: и местом и обстоятельствами. Мне хотелось повидаться с тобой. И вот я пришла. Мне необходимо было увидеться с тобой, а теперь я не знаю, с чего начать, и несу всякую чепуху.

— Если то, что я натворил, сумасбродство, то я сделал это ради тебя... вернее, из-за тебя...

— Знаю, знаю, и поэтому меня мучит совесть. Но ты видишь, я пришла. Я должна была прийти и повидаться с тобой. Меня мучит совесть, но сказать, что я чувствую себя виноватой, я не могу. Муки совести и чувство вины — это разные вещи. Конечно, надо было раньше тебе во всем признаться! Но я думала, может, все как-то само утрясется. Я так много в тебя вложила!

— В чем ты должна была мне признаться?

Она отвернулась от окна и поглядела на меня. А я по-прежнему смотрел в окно на небо, которое быстро темнело.

— Нужно ли называть вещи своими именами?

— Как хочешь...

— Я считаю, что нужно. Да. Необходимо поставить все точки над *i*. Но это так трудно и тяжело.

Она продолжала смотреть на меня. Я провел рукой по лбу, носу, глазам, мне хотелось стереть с лица ее взгляд. Наконец она опустила голову, открыла сумочку и достала носовой платок. Я думал, она плачет или вот-вот начнет плакать, но я ошибся. Она вытерла нос. И сделала это, как интеллигентная, благовоспитанная женщина: деликатно, почти беззвучно. Мне такой способ вытирания носа кажется омерзительным. Потом она спрятала платочек в сумочку и защелкнула ее так громко, что я вздрогнул. Держась за замок сумочки и приоткрыв губы, она стала опять смотреть в окно. Говоря объективно, она была красивой и элегантной, но мне она понравиться не могла. Я злился на нее за то,

что она пришла. Меня подмывало вышвырнуть ее за окно, и в голову пришла нелепая мысль, что я не смогу этого сделать из-за решетки. С какой стати мне лезли в голову такие дурацкие мысли? Все равно я не вышвырнул бы ее в окно.

Молчание длилось бесконечно, а мне не хотелось вызывать ее на разговор.

В вестибюле ресторана «Феникс», возле гардероба, трое мужчин крепко держали меня, хотя я даже не пытался вырваться. У меня была рассечена губа, лицо вспухло. Болела нога, куда меня лягнул самый низкорослый из этой троицы, с розовой круглой физиономией. Я подумал, так, наверно, выглядел святой Станислав Костка, которого я недолюбливал, считая лицемером. Те двое выкручивали мне руки, а святой Станислав Костка держал меня за лацканы и, вплотную придвинув ко мне физиономию, тихо, самозабвенно и виртуозно ругался. Некоторое время я терпел, а потом слегка наклонил голову и наподдал ему как следует. Я сделал это не от злости — никакой злости я не чувствовал, а просто от скуки. Слишком медленно тянулось время до прибытия милиции. Святой Станислав Костка взвыл, схватился за нос, и все трое снова набросились на меня. Но это продолжалось недолго, потому что послышался пронзительный вой сирены, и в вестибюль вошли два милиционера в фуражках с ремешками под подбородком. Они шли медленно, и когда те их увидели, то перестали меня избивать и отпустили. Я достал носовой платок и вытер нос. Зеваки, глазевшие на все происходящее с живым интересом и даже возбуждением, казались усталыми, были полны отвращения. Они начали молча пятиться, а гардеробщик глупо захохотал, но внезапно умолк и, открыв рот, глядел на приближавшихся милиционеров.

— Добрый вечер! — сказал сержант. — Приятно видеть, как вы тут развлекаетесь.

Второй милиционер, без знаков различия, ковырял зубочисткой в зубах, устремив отсутствующий взгляд куда-то в сторону, и казалось, происходящее его насколько не занимало.

— Сержант, — сказал тот, который выкручивал мне левую руку и которого я двинул по скуле. — Он хотел убить женщину, а когда мы бросились ее защищать, он накинудся на нас...

— Однако я видел, что били его вы.

— Но, сержант... — воскликнул тот, что вывертывал мне правую руку и получил удар в живот, от которого скорчился и отлетел к столу, за столом сидел толстый, прилизанный блондин в компании четырех женщин разных возрастов. Стол опрокинулся, толстяк барахтался на полу, а женщины подняли визг.

— Они говорят правду, я действительно хотел убить женщину, — сказал я.

Сержант холодно взглянул на меня.

— Вас никто не спрашивает, — громко, не без раздражения, отчеканил он.

Я пожал плечами, а святой Станислав Костка воскликнул:

— Да, хотел убить. Она спокойно стояла около бара и пила апельсиновый сок, а он ни с того ни с сего бросился на нее с криком, что убьет, обзывал ее последними словами и, схватив за горло, начал колотить головой о край стойки, а когда мы поспешили на помощь, он избил и нас, прежде чем нам удалось его скрутить. Он утверждает, что он Аренс, но разве Аренс может себя так вести? Мы обшарили его карманы, но не нашли никаких документов. Разве он может быть Аренсом? Он двинул меня изо всей силы головой в нос. Нос, наверно, сломан.

Сержант стрельнул в меня взглядом и сказал:

— Нет, это не Аренс. Кто он, мы выясним, будьте спокойны.

— Я так и сказал, — заявил тот, который получил от меня в живот. — Аренс должен возбудить против него дело. Мы будем свидетелями.

— Увы, — отозвался сержант. — Вы будете не только свидетелями, но вам еще придется дать объяснения, кто вам позволил брать на себя обязанности милиции и обыскивать этого человека.

Все трое растерянно переглянулись, а святой Станислав Костка произнес:

— Он хотел убить женщину, а меня ударил по носу.

— Мы выясним обстоятельства дела. А пока прошу предъявить документы. Где якобы пострадавшая?

— Вовсе не якобы. У женщины разбита голова, и она доставлена в медпункт, — сказал тот, который заработал по скуле.

Он произнес это с заискивающей, неуместной улыбкой.

Милиционер с зубочисткой взял у них документы и начал списывать данные.

Мне сделалось немного жаль эту троицу. Возможно, это были солидные и порядочные граждане, которые пришли повеселиться и поступали в соответствии со своими убеждениями, а я втянул их в глупую историю.

— Мы действовали в целях собственной обороны, — воскликнул в отчаянии Станислав Костка.

— Прежде всего мы защищали избиваемую женщину, — с достоинством сказал тот, который заработал по скуле. — Ее доставили в медпункт.

— Я это уже слышал, — сухо заметил сержант. — Мы выясним все обстоятельства дела, и могу вас заверить, ошибки не допустим. Однако на будущее советую вам не вмешиваться в компетенцию милиции. Вы свободны. Когда понадобится, вас вызовут. Прошу всех разойтись! — крикнул он и хмуро глянул по сторонам.

Желающие поглазеть на происшествие дрогнули и, пятясь, начали спускаться по лестнице.

— Пошли, — обратился ко мне сержант, — будете вести себя спокойно или надеть на вас наручники?

— Я буду буйствовать и кусаться, — сказал я, а он пожал плечами и легко подтолкнул меня.

Мы сошли вниз. В машине некоторое время царило молчание. Сержант сидел рядом со мной на заднем сиденье, а милиционер с зубочисткой — за рулем. Сержант посвистывал сквозь зубы и неожиданно сказал:

— Что ты вытворяешь?

— Ничего. Я хотел убить женщину.

— Перестань валять дурака. Что на самом деле произошло в «Фениксе»?

— Я должен рассказывать?

— Как хочешь. Так или иначе, из этой истории я тебя вытяну.

— Я не прошу тебя об этом.

— Я тоже тебя не просил, тогда на ринге, когда ты мог меня нокаутировать, но не сделал этого. Скажи, что с тобой? Ведь ясно, это случилось не по твоей вине.

— Почему ты так уверен?

— Просто я знаю тебя. Это не в твоём стиле.

— Каждый рано или поздно совершает поступки не в своём стиле, и окружающих это удивляет. А все оттого, что ни у кого нет стиля, все только прикидываются.

— Ты держал меня в вилке. И мог нокаутировать, но позволил дотянуть до конца. Тогда ты тоже прикидывался?

— Не помню. Возможно. Нам тогда было по семнадцать лет.

— Зато я помню. В зрительном зале сидела девушка, за которой я ухаживал, и ты это знал.

— Ты скучен и сентиментален.

— Это было в твоём стиле. Но я и так тебя знаю. Я вытяну тебя из этой истории, даже если ты виноват. Я знаю тебя, и все тебя знают.

— Никто меня не знает. Глупости. Куда мы едем?

— Как куда? Домой. Сковронский, сверни на аллею Словацкого. Ты все ещё там живёшь?

— Вези меня в отделение, Космая.

— Не глупи. И не волнуйся. Кто эта женщина?

— Леля «Фиат — тысяча сто».

Сержант Космая присвистнул.

— Из-за которой Шиманяк покончил с собой?

— Та самая.

— Ты в самом деле хотел её убить?

— Да.

— Почему?

— Думал, тогда все образуется.

— Что все? Месть за Шиманяка? С таким опозданием?

— И это. Но не только. Вообще все,

— Не понимаю.

— Тебе незачем понимать.

— А если бы эти трое не вмешались, ты убил бы ее?

— Дело не в них. Я просто не в состоянии был ее убить. Не знаю, как это делается. Еще один раз сваллял дурака. Я — «Ни то ни се». И ты — «Ни то ни се». Все мы — «Ни то ни се».

— Ну ладно, ладно. Мы — «Ни то ни се». Это может с каждым случиться, и каждый может спьяна накуролесить. Проспишься и обо всем забудешь. И мы забудем, верно, Сковронский?

— Ясно, — отозвался Сковронский и чертыхнулся, так как изо рта у него выпала зубочистка.

— Этих паршивых свидетелей нечего бояться. Я нарочно припугнул их. Они будут счастливы, что ими больше никто не интересуется. Что же касается Лели «Фиат — тысяча сто», то я беру ее на себя. Даже если она узнала тебя, у меня найдутся аргументы, которые заставят ее успокоиться.

— Не мучай меня, Космаля, и не болтай, поехали в отделение.

— Выспишься, и все будет в порядке. Не бойся, у меня не будет из-за тебя неприятностей. И никто тебя не осудит из-за глупой драки по пьянке. Особенно сейчас, накануне мемориала. Это правда, что ты бежишь на пять тысяч?

— Космаля, пойми меня, я не пьян, и делай то, что я тебя прошу. Ведь мы с тобой взрослые мужчины! На ринге, когда нам было по семнадцать лет, мы умели уважать друг друга и уже тогда были мужчинами. Уже тогда! А теперь? Теперь меня в основном окружают жалкие посредственности, им может перевалить за тридцать, но они все равно не мужчины и никогда ими не будут. Я боюсь сам превратиться в такого вот серого слизняка, но я не хочу этого и изо всех сил сопротивляюсь. Послушай, что я тебе скажу: ты думаешь, я не нокаутировал тебя из-за девушки, в которую ты был влюблен. На самом деле это было не так. Ты избежал нокаута, потому что я хотел ей понравиться, показать, какой я великодушный. А потом я переспал с ней. Вот видишь? Послушай, мне хотелось быть в жизни благородным и справедливым, всегда

быть хозяином своего слова, никому не изменять, никого не обманывать, но у меня из этого почему-то ничего не получалось. Нет такого закона, который карал бы за то, что кто-то хотел поступать в жизни хорошо, а на деле выходило у него наоборот, и нет закона, по которому меня могли бы привлечь к ответственности за ужасное оскорбление, нанесенное мной одному человеку. Я хочу начать жизнь сначала, хочу жить абсолютно честно. Но сначала нужно перечеркнуть все, что было до этого. Если ни один суд не может определить мне меру наказания за обман и измену девушке, которой я дал клятву, да еще какую, пусть суд покарает меня за что-то другое. Какая разница? Я вижу, ты меня не понимаешь, а более доходчиво объяснить я не в состоянии! Мне трудно растолковать тебе, почему я поступаю именно так. Может, потому, что я прочитал роман «Воскресение» и Нехлюдов пришелся мне по душе, как никто другой. Может, из гордости и высокомерия я не желал приравниваться к жизненным нормам, установленным людьми, живущими рядом, потому что эти нормы кажутся мне лицемерными и фальшивыми. А может, просто я стукнулся головой, когда в детстве делал сальто. Слушай, Космая, едем в отделение, хватит валять дурака!

Сержант Космая, наморщив лоб и втянув голову в плечи, внимательно слушал меня. Когда я кончил, он с минуту как бы боролся с самим собой, и на лице его видны были следы большого беспокойства и напряжения. Наконец он выпрямился и бросил водителю:

— Поворачивай, Сковронский. Едем в милицию. — А потом обратился ко мне: — Не будь свиньей и не думай, будто это из-за той девушки. Впрочем, я не верю твоим рассказам. Ты все выдумал. Ты лучше, умней и образованней меня, поэтому я должен уважить твою просьбу, хотя, по-моему, это страшно глупо.

Агнешка снова раскрыла сумочку, снова достала носовой платок и снова тем же манером вытерла нос.

— У тебя насморк, — сказал я.

Она вздохнула:

— Значит, необходимо рассказать обо всем?

— Если ты считаешь нужным, рассказывай.

Я чувствовал себя усталым и мечтал только о том, чтобы она поскорее ушла.

— Да. Я так считаю. Я долго оттягивала разговор начистоту. В оправдание себе я могу сказать, что оттягивала его, чтобы сказать правду самой себе. Я не люблю тебя, Марек, и никогда не любила. Верно ли я поступаю, говоря тебе об этом именно теперь? Да, я уверена, что верно. За этот год ты сможешь все обдумать и понять. Разве не хуже было бы, если бы ты вернулся из тюрьмы с надеждой, что я тебя жду и наши отношения могут наладиться? Не правда ли, это было бы еще хуже?

Я поддакивал ей, опустив голову. Мне не хотелось, чтобы она видела, как меня душит смех. Искренний, чистосердечный смех.

— Хорошо, что ты с этим согласен. Мы знали, так будет лучше. Мы так решили. Я и Михал... Знаешь, мы хотим пожениться... Это тянется между нами уже давно. Не думай, для меня это было не легко и не просто. Ты много для меня значил и продолжаешь в некотором смысле значить. Мы с тобой встретились в трудное для меня время. У меня были неудачи, я во многом разочаровалась и вообразила, что достаточно посвятить свою жизнь человеку, который в тебе нуждается, и утраченное спокойствие и гордость вернутся. Сначала так оно и было. Хотя мне мучительно трудно было изображать из себя женщину, которая бы тебя устраивала и нравилась бы тебе. По существу, я совсем другая и ты, собственно, меня не знаешь. Я хотела сделать из тебя человека и была счастлива, что оказываю на тебя влияние и ты меняешься к лучшему, но потом наступил роковой момент, и мне стало ясно, что это ошибка и в жизни ничего нельзя сделать с помощью силы. А потом я познакомилась с Михалом, верней, ты меня с ним познакомил, и все перепуталось. Я чувствовала: надо как можно быстрее тебе все рассказать, но у меня не хватило смелости, ведь я, к своему ужасу, видела, как я тебе необходима, что ты не в состоянии без меня жить и разлюбить меня тебе будет нелегко. Я видела также: ты понимаешь, что у нас что-то неладно, и ужасно страдаешь, боясь меня потерять. Я не раз при-

нимала решение объясниться с тобой и во всем признаться. Но каждый раз откладывала, боясь причинить тебе страдание. Весь день накануне концерта я провела с Михалом. Мы переговаривали обо всем и решили, что необходимо выяснить отношения. Ты не представляешь, как Михал к тебе привязан. Для него это тоже мучительно. Он очень переживает. После концерта мы с ним встретились и поняли, что оттягивать больше нельзя, что мне сейчас же, немедленно надо встретиться с тобой и рассказать обо всем. Я хотела пойти к Артуру, вытащить тебя оттуда и выложить все без утайки. В подъезде я зажгла фонарик и увидела, как ты стоишь, прислонившись к стене. Ты стоял неподвижно, погруженный в раздумья. Мне не трудно было догадаться, о чем ты думаешь. Я тихо позвала тебя, но ты даже не шелокнулся. И тогда мне снова сделалось страшно, и я отступила. Меня охватил панический страх перед силой твоего чувства и перед тем, что я не могу отвечать тебе взаимностью. Я погасила фонарик и удрала. Зачем, зачем я это сделала? Может, мне удалось бы в чем-то убедить тебя, что-то объяснить, и ты не натворил бы в отчаянии всех этих безумств, которые привели тебя сюда... Ну, мне пора. Будет лучше, если я уйду сейчас. Скажи...

— Уходи, Агнешка!

Впереди у меня был год тюремного заключения, а потом адский труд заново начинаемой жизни, жизни абсолютно честного человека. Но я уже знал, что из этого ничего не выйдет. Честность возможна только тогда, когда она — достояние всех людей. Когда кто-то пытается присвоить ее в одиночку, он невольно становится жертвой. Жертвой, не только достойной сожаления, но еще и смешной.

Значит, я проиграл? Нет! У меня оставалась Йовита. Я никогда не переставал о ней думать. Встреча с ней была единственным ясным и светлым событием в моей жизни. Благодаря ей мне легче было выносить тяготы заключения. Не раз, стоя у решетки и глядя на курган Костюшки, я думал о ней и вел с ней долгие разговоры о том, что произошло и что могло бы произойти. Теперь я знал, что скрывается за курганом. За курганом — антиподы, там живет Йовита. Антиподы

далеко, очень далеко. Но разве это так уж важно? Йовита существовала, жила на свете.

Тюремщик открыл Агнешке дверь. Она замешкалась, обернулась ко мне и сказала:

— Конечно, сейчас это кажется чепухой, не имеющей значения, но ведь с этого все началось, и поэтому я должна тебе сказать: Йовитой была я.

Осенний день быстро клонился к вечеру, за решеткой небо окрасилось цветами заката. Потемнели очертания кургана Костюшки, заскрежетал ключ в двери, за которой исчезла Агнешка.

О, я несчастный! О, мои проклятые ослиные уши!

НАПРАВЛЕНИЕ — БЕРЛИН

Солдатам не хотелось удаляться от дороги. Утомленные долгим маршем, они валились в мягкую весеннюю траву, сбрасывали с плеч трофейные ранцы, на которые охотно обменивали свои вещмешки, и, отпустив ремни, расстегнув воротники, тяжело дышали. Рука, привыкшая к оружию, безотчетно гладила зеленый покров фруктового сада; яблони уже отцвели, и увядшие лепестки белели в траве, мешаясь с перьями из вспоротых перин немецких бауэров.

Когда со стороны леса налетал ветер, пахло так, будто мир уже наступил. Капрал Войцех Наруг снял конфедератку, которая изнутри засалилась и блестела, подложил руки под голову и прикрыл глаза, как кот, греющийся на солнце. Его небритые щеки отливали чернотой. Лицо задубело от мартовских ветров и переменчивой погоды. С закрытыми глазами, нахмурившись, он подавлял в себе бессильную злобу: так и не удалось вовремя подоспеть деревне на помощь. Но их партизанский отряд был окружен, и сил на то, чтобы вырваться, у них не хватало. Это все равно, что пытаться пробить головой стену. Надо было отходить, нащупывать бреши в кольце окружения. Немцы, как бы предчувствуя наступление, с первым же снегом, который выдавал следы перемещения отрядов, решили очистить свои тылы. А фронт проходил уже у самой Вислы, по вечерам слышались отзвуки артиллерийской канонады, казалось, будто дровосек наотмашь бил обухом по клину, чтобы расколоть твердый комель выкорчеванного из земли корня.

Капрал пожевал длинную травинку, наслаждаясь едва заметным ароматом, в котором чувствовалось и пробуждение жизни, и свежесть впитанного дождя, что рано утром обмыл небо. А солнце мягко, словно рука матери, касалось его лица, и от острой грусти у капрала даже повлажнели глаза.

Они петляли, ускользая от немцев. Это не были пузатые полицейские или толпа согнанных партейгеноссен, с повязками на коричневых рубашках, которые сначала вслепую стреляли по лесу, а потом отправлялись охотиться на кур и свиней в деревню — как обычно, на легальный грабеж, именуемый контрибуцией. И хорошо еще, если дело ограничивалось побоями. Часто разъяренные каратели прикладами сгоняли всех, кто подвернется под руку, в овин, заставляя обреченных самих копать себе яму. И мужики, сбросив рубахи, поплевывали на ладони и брались за лопаты. Возможно, они находили утешение в том, что готовили себе вечное успокоение в родной земле, которая их вскормила.

Обложив партизанский отряд, преграждая партизанам доступ к продовольствию и теплым печкам, возле которых можно было согреть мокрые спины, в деревнях засели регулярные немецкие части, обстрелянные солдаты-фронтовики. С трудом удавалось выкуривать их из замаскированных дзотов. В белых масках гитлеровцы на лыжах патрулировали вдоль лесных опушек, а подчас, незаметные для глаз, подобно браконьерам, устраивали засады. Едва партизанские взводы сталкивались с ними, как они вызывали танки, парами налетали «мессеры» и басом присоединялась артиллерия. Приходилось отступать. Слышалось тяжелое дыхание, топот бегущих. И долго еще партизаны слышали, как позади снаряды кромсали кроны сосен, а громовые раскаты разносились по лесу.

Когда, описав круг после недели петляния, засад, задерживающих преследование, внезапных налетов на шоссе, чтобы сбить с толку немцев, отряд Крука снова оказался возле Нецеменьжи, родной деревушки Наруга, он, несмотря на усталость, отлучился, чтобы узнать, как семья перенесла облаву. Но деревни не существовало. В садах — тронутые огнем деревья уцелели — торчали, подобно воздетым кверху кулакам,

печные трубы, увенчанные белыми шапками снега. Холодный саван накрыл гигантскую братскую могилу. Сдерживая рыдания, Наруг прислонился к яблоне, поднял лицо к небу. Неслышно падали крупные снежные хлопья, оседали на щеках и, тая, мешались с его немужскими слезами. И вдруг он почуял, что из-под снега тянет гарью, смрадом обуглившегося тряпья, человеческих тел, птичьего пера — знакомым запахом войны.

Сгорбившись, Наруг побрел в отряд. Там его уже ждали, боялись измены, слишком большие потери понесли от неожиданных встреч с врагом. Тупо понурившись, слушал он, как поручик распекает его... Тогда Наруга впервые разжаловали за самовольную отлучку из расположения отряда. Это было ему безразлично. Вскоре у мальчишки из соседней деревни он узнал, что немцы уничтожили всю его семью, «всю целиком», — это никак не уместилось у него в голове. И сестру Ганку, и двенадцатилетнего брата Сташека... Что-то в нем сжалось, застыло, как лава. Он жаждал одного — взять немцев за горло, расквитаться за все. Он не лез на рожон. Был осторожен, и ему везло. Почти с облегчением поручик представил его к очередному званию. После январского наступления, когда войска маршала Конева с ходу заняли Ченстохову, а потом кружным маневром стали отрезать Силезию, ему представился выбор: пойти в милицию или в армию и на фронт. Не хотелось оставаться в родных краях, выслушивать все новые подробности от «очевидцев», как Нецеменьж умирляли эсэсовцы, или стрелять в своих (таких же, как и он, ребят), которые не разбирались в политике, а пошли туда, где им совали оружие. Чем они виноваты, что выбрали неудачно... Он двинулся с пополнением на Злотув, а потом осаждал Колобжег. Впервые в жизни увидел море. С недоверием омыл закопченное лицо, зачерпнул ладонью воды и отхлебнул, с облегчением отметив, что она соленая, значит, ему не соврали. У нее был вкус слизанной языком слезы. Когда же знамя, напоенное водами Балтики, отяжелело, а над берегом зазвучала вырвавшаяся из тысячи охрипших глоток песня, он с глубоким волнением осознал, что Польша и впрямь «не сгинела». И он один из тех, кто возвращает ее к жизни.

Хотя их порядком потрепали, командование не давало им передышки. Последовал неожиданный приказ, что их полк перебрасывается на Одру, так как русские понесли большие потери. Правда, танков у них достаточно, а пехоты маловато. Наши должны поддержать, чтобы не прервалось наступление, бить швабов по башке, не давая им ни единого дня на то, чтобы опомниться, добить зверя в его логове.

И вот уже третий день они на марше, соблюдая величайшую осторожность и строжайшую тайну. Идут главным образом ночью, чтобы авиация их не выследила. Но самолеты с черным крестом появлялись все реже. Видимо, они патрулировали над Одрой, через которую, захватив плацдарм, прорвались уже советские полки. Долго продержаться они не могли, теснимые офицерскими частями, атакуемые добровольческими отрядами, фанатичной молодежью, слепо преданной фюреру. Следовало во что бы то ни стало облегчить положение плацдарма за Одрой. Проще всего было нанести удар еще в двух местах, отвлечь внимание врага, создавая для него новую угрозу. Чтобы повести наступление на Берлин, русским требовалось взломать немецкую оборону на широком фронте. Не случайно Гитлер называл в листовках разлившуюся после весеннего паводка Одру «рекой жизни», он верил, что, если на ее берегу остановит русские и польские части, возможно, еще не все будет потеряно; если же придется капитулировать, то лучше сдаваться американцам, англичанам и французам — только не большевикам. Если он не верил в Wunderwaffe¹, то надеялся на чудо. Что-то должно измениться. Он верил в свою звезду. Кто-то из его противников должен умереть, возникнут какие-то возможности для переговоров... Запад не может допустить, чтобы русские дошли до самого сердца Германии, предрешив исход победы.

И война продолжалась с яростным упорством.

Капрал Войцех Наруг лежал в саду, чувствуя, как сухо потрескивает огонь в догорающем доме. Видно, ветер заново раздул пламя. Благодатный запах пробудившейся земли и близкого леса перебивал проклятый запах гари. Когда он щурил глаза на солнцепоке, ему

¹ Чудесное оружие (нем.).

вспоминалась родная деревня, в которой даже заборы сгорели, остались одни печи, занесенные снегом, да трубы, словно несуразные памятники по убитым. Он стиснул зубы. Надо гнать, преследовать немцев. Они распространили войну по всему миру, сеяли ветер, пусть теперь пожинают грозовую жатву той бури, которую сами вызвали на свой кров. Теперь война ведется уже на их территории, и они на своей шкуре испытали то, что готовили другим.

Он прислушивался к посвисту скворцов и далекому, очень далекому орудийному гулу. «Наши стреляют, — подумал он, — стволы повернуты на запад, потому эхо слабое. Как хорошо, что скворец, несмотря на войну, продолжает петь и строить гнездо».

Ему сделалось грустно от птичьего свиста. Прикрыв глаза, он видел на фоне озаренного солнцем неба искромсанные взрывом стропила и зияющие дыры на месте сорванной черепицы. Он слышал голоса лениво переговаривавшихся солдат, пиликанье губной гармошки и грустную мелодию песни, слова которой пытались убедить, будто «военная служба — это прелестная пани... Хотя она солдата не приголубит, зато в сердце ранит и навек погубит...». Пожевывая травку, он бормотал ругательства, не желая гибнуть, как и любой из этих вооруженных крестьян и рабочих в солдатских мундирах. Война для них была тяжелой работой, войну им навязали, приходилось выполнять этот труд добросовестно. Но о смерти никто из них не думал. Особенно теперь, когда уже было ясно, что конец близок, что враг будет добит в течение нескольких недель, если не суток... В этот солнечный день чертовски хотелось жить.

Хорошо полеживать, прислушиваясь к ворчанию повара, который поторапливает солдата, чтобы тот наколот дровишек. Картошка засыпана в котел, пахнет подрумяненными шкварками. Скоро начнут раздавать обед.

На лицо Наруга упала тень. Он нехотя приоткрыл один глаз. Над ним склонился Михал Бачох, молодой солдат, для которого капрал являлся воплощением всех воинских премудростей, и поэтому он неотступно следовал за ним, добиваясь дружбы. Это юношеское обожание льстило Войтеку. Но, принимая его услуги,

Наруг не допускал панибратства. Капрал — начальство, его надо уважать.

— Ну чего? Отвяжись! — поморщился он и, подняв руку, сделал солдату знак, чтобы тот не заслонял солнце. — Пользуйся свободной минутой, лежи и грей кости.

— От сырости в поясницу вступит.

Бачох разостлал обгоревшее одеяло, которое нашел в развалинах дома. Капрал соизволил перевалиться на него и устроился еще удобнее.

— Отец меня учил: «Не лежи, сынок, на земле, пока по ней гром не прокатился, в ней сидит еще зимний холод!» До первой майской грозы надо что-нибудь подстилать...

Капрал с сожалением посмотрел на него.

— Постучи пальцем по лбу! Гром по земле не прокатился... Тебе еще этого мало. Погляди вокруг.

Он указал рукой на руины домов, на смрадный дым от горящей смолы, который через выбитые рамы, криво свисавшие вниз с осколками стекол, черными клубами вздымался к небесам.

— Это люди сделали. А речь идет о громе небесном. Когда я был вот такой, — уязвленный Бачох едва поднял руку над землей, — я боялся грозы. Прятал голову под перину. Мама говорила мне, будто это ангелы играют в кегли. Знаешь, когда у нас в деревне бывал престольный праздник, привозили деревянный желоб и огромные кегли, требовалась сила, чтобы сшибить их, но шар так и грохотал... Отец, бывало, выпьет водки да пива добавит...

Вдруг он заметил, что капрал погрузтел. Закрыв глаза, и на его лицо, несмотря на солнце, набежала тень, словно у него что-то болело и он вслушивается в эту боль, силясь установить ее источник.

— Мне кажется, на небесах думают, что на земле в кегли играют, иначе давно бы этого Гитлера громом поразило.

Оба замолчали. Над ними проплывали быстрокрылые облака, а когда ветер отгонял дым, пахли медом первые осоты и засохшие лепестки, облетевшие с яблонь. А может, это от земли тянуло теплым дыханием трав.

Веснушчатый Бачох долго раздумывал, прежде чем тронул друга за руку.

— Ну, чего ты терзаешься... Раз уж это случилось, ничего не поделаешь. Судьбу не изменишь.

— Отстань ты, — резко одернул его капрал, которого злила, даже оскорбляла нотка сострадания в словах приятеля.

— Я харчей принес, — попытался задобрить его Михал. — Он достал из вещмешка буханку черного хлеба, банку со смальцем, две луковицы и тяжелую флягу, завернутую в запасные портянки.

— Пропустим по одной до обеда... Только на кухню слетаю за селедкой. Я «организовал» целую бочку, когда мы взяли Колобжег. Повар поторапливает, чтобы мы ее прикончили, она протекает и вонять начала, зараза. А селедки, шельмы, жирненькие, пальчики оближешь. — Он говорил торопливо, словно хотел умолчать о чем-то еще.

Войтек, угадав за этим какой-то скрытый смысл, приподнялся на локте.

— В чем дело? Выкладывай, старина...

— Я получил письмо от матери.

Капрал взял флягу, с удовлетворением взвесил ее на руке и, отвернув пробку, хлебнул глоток.

— И что же она пишет?

Бачох только и ждал этого вопроса и достал из нагрудного кармана аккуратно сложенный конверт. Он не читал, а говорил на память, успев выучить письмо наизусть.

— Она передает тебе привет, а кроме того, наказывает слушаться тебя во всем. А еще просит меня быть осторожнее: ночи сейчас ненадежные — можно заболеть, если рано снимешь теплые подштанники...

Войтек пригладил пальцами непокорную прядь на лбу и расхохотался.

— Ты не удивляйся, они ведь не знают, что мы испытали. Кто им об этом напишет? Зачем их пугать понапрасну, у матери и так сердце слабое...

Михал поглядывал на своего кумира, надеясь уловить молчаливое одобрение в его глазах за то, что в своих письмах к родным он не хвастался, не изображал себя героем.

— Нам, пожалуй, дадут малость отдышаться. Подошлют пополнение, ведь курносая здорово повыко-

сила нашу роту. А прежде чем полк переформируют, глядишь, и война кончится, верно?

— Ступай-ка за жратвой, коли глуп.

— Смотри, без меня много не пей!

— Не бойся. Оставлю, сколько положено.

Бачох не спеша направился к походной кухне, укрытой в кустах сирени. Он еще раз обернулся проверить, держит ли капрал слово, но тот чистил луковицу, как бы чувствуя, что за ним наблюдают. За флягой он потянулся только, когда убедился, что приятель его не видит. Он пил большими глотками, хотел забыться.

Потом капрал поудобнее устроился и перочинным ножом стал нарезать луковицу кружками.

Тепло разморило его. До него доносились знакомые голоса пререкавшихся друг с другом солдат. Одни советовали старому Голембе, чтобы он вскрыл бритвой волдырь на стертой ноге, другие хвалили примочку.

— Лучше всего козий жир! — слышался певучий голос вильнянина Острейко. — Он и заживляет и смягчает...

— Ну и что из этого, коли его нет.

Плыли облака, их тени скользили по фруктовому саду. Деревья тревожно шелестели, а обладатель губной гармошки по-прежнему выводил все ту же печальную мелодию, словно только ее одну и знал.

«Взвод — мой дом, а ребята — моя семья, — мысленно одернул себя Наруг, — поэтому держись, к счастью, у тебя есть то, ради чего надо бороться и жить».

В глубине двора рослый поручик Качмарек, прозванный солдатами «Познанцем», потому что ведро он называл по-тамошнему «бадьей», а про картошку говорил: «клубни», в нательной рубаше, закатав рукава, брился у колодца. Зеркальце, которое он прислонил к обломку кирпича, отливало серебром, словно в нем сосредоточился весь солнечный свет.

Солдат-радист в разрушенном доме настраивал на прием, так как попискивание морзянки то усиливалось, то совсем пропадало. Неожиданно он бросил наушники на стол и высунулся из окна.

— Гражданин поручик! Эти гады — где-то рядом. Их слышно так, будто они болтают прямо за стенкой.

Качмарек медленно выпрямился, смахнул мыльную пену с бритвы.

— Кто?

— Ну, швабы! Мешают принимать: ничего невозможно понять.

— Может, это русские? Ведь вся территория прочесана вдоль и поперек.

Радист склонился к наушникам, словно не доверял своему слуху. Нет, это были немцы. Они вели передачу с вызывающей наглостью, открытым текстом.

— Нет. Может, выслушаете: я не понимаю, о чем они лопочут.

— Сейчас приду. — Поручик добрил кадык, плеснув водой, смыл остатки пены и, вытираясь полотенцем, вошел в разбитый дом.

Да, передачу вели немцы. Вызывали какого-то «Фауста», далее следовали целые колонки цифр. Их коротковолновый передатчик находился где-то поблизости, возможно, в том самом лесу, что темнел за лугами.

Один за другим прошли по дороге четыре грузовика, марки ГАЗ, в кузове каждого из них сидели запыленные солдаты. Они оборвали пение, когда машины въехали во двор. Вновь прибывшие стали соскакивать прямо в кусты. Страхивая с себя пыль, они засыпали вопросами расположившихся на привале воинов.

Новое пополнение представляло собой некое веселое братство. Приезжие пытались завоевать всеобщее расположение и угощали всех направо и налево сигаретами.

— Пополнение прибыло.

— Что-то командование торопится, — покачал головой Острейко. — Будет дело.

— Привет, старички! — крикнул стройный парень в высоких сапогах. — Ну, мы, кажется, вовремя успели!

— Да, нюх у вас, что надо. Прибыли прямо к обеду.

— Надо бы на недельку раньше! Пригодились бы в Колобжеге. Тогда вы не спешили!

— Да оставь ты их, — махнул рукой Острейко. — Ведь это же сплошной молодняк! Наконец они получили то, о чем мечтали.

Однако те уже тесно обступили походную кухню, протягивая повару свои котелки.

— Чего вы толкаетесь, — отпихнул их Бачох, задетый тем, что ему не оказывают почтения, не уступают дорогу старому солдату. — Вас целую неделю голодом морили, что ли?

— Очень уж вкусно пахнет. — Збышек Залевский залихватски сдвинул козырек конфедератки. — Я вижу, вы себя балуете...

— Да, к гуляшу мы привыкли, — подтвердил Бачох, — на прошлой неделе тоже был гуляш...

— Был, да только из немцев, — вставил повар. — Ну, не толкаться, а то огрею черпаком.

— Пропустите, я для пана капрала. — Бачох работал локтями.

— О, пан капрал завел себе холуя, — слышался чей-то насмешливый голос.

— Не умничай, — одернул его повар. — Кто не почитает капрала, пусть поцелует его, знаешь куда?! А лакированные сапожки ты прихватил на случай парада, а?

— Конечно. Я надеюсь побывать в Берлине, — заносчиво огрызнулся Залевский. — Раз уж мы пришли, то будет парад в Берлине. Ну, наливай, чего ждешь? — поторапливал он повара.

Но тот, опершись черпаком о крышку котла, спросил:

— А ты сам-то кто? Откуда будешь?

— Из Влох, — с гордостью отозвался тот. — Ну, тех, что под Варшавой!¹

Повар плеснул черпаком ему в котелок подливки с кусками гуляша. Новобранцы разбрелись в разные стороны, пробуя жаркое и облизываясь. Война все еще рисовалась им веселой прогулкой бойскаутов, и только оружие, полученное ими, было настоящим. И настоящий был противник.

— Забирай свою селедку! Видишь, что за нена сытная орава появилась, — поторапливал Бачоха повар. — Забирай, чего жмешься! Мне после этого Ко-

¹ Влохи (польск.) — Италия и одновременно название местности под Варшавой, где некогда селились итальянские эмигранты.

лобжега кажется, будто все трупным запахом отдает. Хорошо бы прополоскать. — Он притронулся к выступающему кадыку. — Но раз уж вастянет на закуску...

— Организуем, я не забуду, — широко улыбнулся Бачох и долго перебирал в бочке, отыскивая селедку пожирнее.

Бывалые солдаты медленно поднимались с земли, неторопливо подходили к полевой кухне, зная, что обед не уйдет от них. Они жадно втягивали запах и одобрительно говорили:

— Ух, хорошо пахнет!

— Наш повар молодчина, такие боеприпасы для наших желудков в самый раз!

По крестьянской привычке, они присаживались на скамье у самого дома, работая ложками, и усталость после долгого марша постепенно проходила. А мир, из которого они изгоняли призрак войны, открывался им как бы видоизмененный; казалось, угроза миновала и возрождалась надежда на мирные будни, с их повседневными заботами — пахотой, севом и сенокосом.

Они видели поручика. Сосредоточенный, прикрыв глаза, он пытался понять посылаемые в эфир сигналы. Наконец нетерпеливым движением он сорвал наушники, потер затекшее ухо и сказал:

— Странная история... Впрочем, к вечеру мы двинемся дальше. Пусть это волнует других... Ты будь начеку, хотя и предупреждали, что сегодня ничего не станут передавать. Все приказы — через связных, а в эфире должна царить тишина.

Старшина роты Валясек появился с довольной улыбкой на лице: радовался, что прибыли боеприпасы и пополнение, молодые, необстрелянные, зато добровольцы, храбрые ребята.

— Сколько их?

— Двадцать пять, ребята как на подбор.

— Давай их сюда, я люблю сам проверить.

— Они по кустам расползлись: обед рубают, за ушами трещит.

— Сперва на кухне представились? Произвести построение.

— Слушаюсь! — вытянулся старшина. — Сейчас я их соберу.

Поручик Качмарек застегнул крючки воротника, одернул мундир. Ремни плотно облегали его рослую фигуру. Он хотел, чтобы молодые солдаты сразу почувствовали в нем командира. Парни отвыкли от дисциплины, пока скитались, как цыгане, догоняя часть, и надо было с ходу взять их в оборот. На фронте — не до шуток, чуть зазевался, полодырничал — и заработаешь пулю. Дать себя ухлопать, прежде чем понюхаешь пороху, совсем нетрудно.

Поймав настороженный взгляд поручика, Бачох, с тарелкой, полной селедок, и котелком гуляша, предпочел не мозолить ему глаза и тихо проскользнул мимо хлевов, готовый скрыться в густом дыму, поднимавшемся над развалинами.

Издали слышался шум мотора. Короткими очередями отозвались пулеметы. И тотчас земля тяжело ухнула от разрыва бомб.

— Воздух! В укрытие! — крикнул поручик и прижался к стене дома в тени.

Солдаты рассыпались по кустам, укрылись среди развалин. Только Бачох, пригнувшись, застыл на месте, боясь, как бы селедки не соскользнули на землю.

Молодого Залевского, который хорохорился и подносил к глазам бинокль, чтобы лучше разглядеть самолет, сбил с ног и затолкал под танк, что стоял возле яблонь, Острейко.

— Ты чего! Самолета боишься? — вырывался Залевский.

— Лежи! — поплотнее прижал его Острейко. — Жалко твоих офицерских сапог... Лучше, пока жив, подари их кому-нибудь, чтобы не пришлось потом с мертвого стягивать.

Рев низко идущего самолета вминал, придавливал к земле. Оба замерли. Бомбы они не заметили, а увидели только, как верхушка дома рассыпалась красным фонтаном кирпичного крошева. Забарабанила длинная очередь, полоснув по кустам. И опять от взрыва со свистом взметнулись пирамидальным тополем осколки и комья плодородной земли. Самолет прошел над их головами, и вслед за ним повернулись стволы зенитной установки, которая прикрывала их расположение. Как поздно проснувшиеся собачонки, забрежали оба ствола.

— Получили! Ну и дымит...

Выбежали солдаты и, защищая глаза от солнца, всматривались в небо над деревьями.

— Наверняка свалился!

— Ни черта ему не сделали! Скрылся за облаками.

— Нет. Я слышал, как он грохнулся. Вон там дым столбом поднимается! — настаивал Залевский.

Тут послышались отчаянные крики раненых, стоны, и только теперь их охватил страх и холодный озноб.

— Санитар! Помогите...

— О боже! — Один молодой солдат из пополнения держался за бедро, а между пальцев у него текла кровь, в лучах солнца особенно алая.

— Ну, этот отвоевался, — присел возле него на корточки Острейко. — Даже жаль портить такое отличное сукно (он разрезал раненому штанину и начал бинтовать ногу). Кровь проступила густым пятном. Солдата трясло.

Мимо санитары пронесли кого-то, накрытого шинелью, и опустили свою ношу у стены.

Внезапно наступила тишина.

В этот момент во двор на низкорослой пегой лошади въехал капитан, командир батальона. Его широкое добродушное лицо лоснилось от пота.

— Взяли врасплох, сволочи!

— Один убитый, четверо раненых, гражданин капитан. Но самолет сбит, — пытался утешить его Качмарек.

— Бачох! Что с тобой... — вскинулся Наруг, он фыркнул, отирая с лица пыль, и подбежал к лежащему.

Бачох только смущенно развел руками и показал на тарелку, с которой воздушной волной смахнуло селетки, остатки их виднелись тут и там на перепавшей взрывом земле.

— Сукины сыны! — Наруг погрозил небесам кулаком, поднятым над головой. — Такую закуску испоганили!

Капитан тем временем приказал сержанту Валясеку осмотреть сбитый самолет: возможно, пилот успел выброситься с парашютом, возможно, обнаружатся какие-нибудь документы.

— Раненых на грузовик и в санбат! А ты, Манюш, — капитан положил тяжелую руку на плечо сержанту, — возьми несколько солдат и прочеши лес.

— Слушаюсь! — Валясек потянулся за автоматом.

— И прихвати Войтека, ведь он партизан.

— Слушаюсь.

И по его кивку поднимались бывалые солдаты и потянулись друг за другом в лес. К Войтеку присоединился и Залевский, которого разбирало желание принять участие в поиске. Его злил только что пережитый страх.

Разведчики шли быстро, их длинные тени падали на траву.

Войдя в лес, они рассредоточились широкой цепью и теперь объяснялись только жестами. Они перебегали от ствола к стволу, бдительно осматривая заросли. Где-то отозвалась кукушка. Замерев на месте, они долго прислушивались: не условный ли это сигнал? На их испытующие взгляды капрал покачал головой и помахал руками, изображая полет птицы. Значит, кукушка.

Они обходили кроны, срезанные огнем недавнего наступления, обходили поваленные деревья. Вдруг Войтек, скользивший с волчьим проворством, предостерегающе поднял руку. А потом показал на ниточку оранжевого провода. Наши такими не пользовались, следовательно, это немецкий.

Посоветовавшись, решили разделиться. Сержант Валясек взял с собой шесть человек, капрал же позвал к себе Залевского, и обе группы разошлись в разные стороны. Провод служил им ориентиром.

Залевского немного забавляло это затянувшееся выслеживание, предосторожность казалась чрезмерной. Он уверенно шагал за Войтеком, под ногами хлюпала болотная вода.

— Долго мы будем играть в глухонемых? — спросил он вполголоса.

— Ты в разведке, учись, — прошептал в ответ капрал, — да поглядывай под ноги, а то запачкаешь лакированные сапожки.

— Запачкаю, сам и почищу. Портянки тоже иногда стирать приходится, — попытался пошутить он.

— Откуда ты?

— Из Варшавы, я повстанец, — с вызовом выпрямился Залевский.

— Из АК¹, значит?

— А это что, плохо?

Тот ничего не ответил, только, присев на корточки, стал глядеть вперед, сквозь ветви. Перед ними была просека, а провод уходил на другую ее сторону, в глубь сумрачного подлеска.

Они прислушались. Где-то очень далеко, на западе, гудела артиллерия. Вокруг же лишь посвистывали промышлявшие в поисках корма птицы. И эта тишина успокаивала.

— Я предпочитаю город. Тут подворотня, там подвал. Выскочишь на лестничную площадку, кинешь гранату, а сам — к стене... А тут? Только кажется, что ты надежно замаскировался, — показал он на кусты орешника. — И оглянуться не успеешь, пулю влепят. Ты давно в армии?

— Достаточно, — буркнул капрал.

— Когда мы пытались пробиться со Старувки² в Саксонский сад...

— Заткнись!..

Войтек одним прыжком преодолел просеку и углубился в узкий проход между кустами. Под ногами у него ни одна веточка не хрустнула. Он уже заранее облюбовал для себя это место. Потом кивком поздравил Залевского.

Тот двинулся не спеша, обиженный, всем своим видом давая понять, что ничего не боится. Провод уходил дальше, в самую гущу леса, теряясь где-то в зарослях папоротника.

Неожиданно лес поредел. В глаза им ударило слепящим блеском низкое солнце.

— Смотри! — показал капрал.

На поросшем травой холме возвышалась триангуляционная вышка, легкая конструкция, сколоченная из бревен, потемневших от дождей. Провод уходил туда. Они видели, как он красной нитью взбегал к площадке на самом верху. Никакого движения на пло-

¹ Армия Крайова — подпольная вооруженная организация в оккупированной гитлеровцами Польше, подчинявшаяся польскому эмигрантскому правительству в Лондоне.

² Старый город в Варшаве.

щадке не было, но, если наблюдатель лежал, он мог над вершинами деревьев обозревать деревушку, откуда они пришли, и плавный поворот шоссе.

— Что будем делать? — шепотом спросил Залевский. — Нас перестреляют, прежде чем мы до них доберемся.

— А мы попросим их спуститься, — пробурчал Войтек. — Прикрывай! Помни: за твоей спиной тоже лес.

Залевский припал к стволу раскидистой сосны, оперев автомат о толстую ветвь. Казалось, лес вокруг дышит, слышно было, как шуршит хвоя, словно задевая о стеклянный купол.

Капрал присел на корточки, достал из кармана перочинный нож и начал перерезать провод; работа подвигалась медленно. «Он прервет им связь, и тогда выяснится: есть ли кто-нибудь наверху — кому-то придется спуститься и проверить, где обрыв. Подойдет сюда, а мы его — по башке, — смекнул Залевский, но его уже злила самоуверенность капрала: посоветоваться не мешает, какую он готовил ловушку. — Ну погоди же, я докажу, кто из нас проворнее».

На вышке кто-то зашевелился. Да, это немец в маскхалате. Отчетливо обозначилась его горшкообразная каска. Вот он спускается по лестнице.

Капрал весь подобрался, как лесной кот для прыжка.

Грохот близкого выстрела оглушил его. Это поторопился Залевский.

Немец откинулся назад, распростер руки и рухнул вниз. Оброненный им автомат застучал по ступенькам.

— Что, наметанный глаз! — Залевский опустил оружие. — Даже пикнуть не успел...

— Кто тебе велел? Идиот! Нам живой требовался, трупов вокруг достаточно.

— Что вы набрасываетесь, — пробовал защищаться Залевский, но тот подскочил к нему, крепко схватил за грудки, яростно процедил:

— Не люблю, когда мне путают карты. Не знал? Тогда стой и смотри, а потом благодари за науку... А теперь убирайся. Чтобы я больше тебя здесь не видел!

Залевский, склонив голову, неприязненно взглянул на капрала. Забросил ремень автомата на плечо. Вдруг он заметил, что на вышке вторично приподнимается какая-то фигура.

— Вон тебе второй, можешь пальнуть!

Войтек стремительно повернулся. На верхней платформе он увидел немца, который поднял голову, а потом просунул между досок палку с привязанным на конце носовым платком. Он размахивал ею, давая понять, что сдается.

— Ну, слазы! — рявкнул Наруг так, что эхо отозвалось в лесу. — Komm! Komm! ¹

Немец, расхрабрившись, встал, подняв обе руки. Он размахивал палкой с белым платком.

И тут грянул выстрел. Немец, переломившись пополам, перегнулся через перила. Палка с носовым платком, кружась, упала в траву.

— Я тебя проучу, щенок! — рявкнул Наруг и бросился туда, откуда, как казалось ему, только что стрелял притаившийся Залевский. Но он ошибся: короткая очередь, посланная из чащи, полоснула над самой его головой. Он нырнул в высокий папоротник. И, как ящерица, пополз к кряжистой сосне. Теперь он осторожно осмотрелся вокруг. Тишина звенела в ушах.

И вдруг среди деревьев капрал увидел его: ствол в одном месте как бы утолщался, это, подобно трутовику, выступала немецкая каска, пестрый маскхалат сливался с тенью листьев и пятнами света.

Войтек медленно поднял ствол автомата. Но тот был бдительнее, выстрелил первым. Пули плотно увязли в стволе дерева, напоенного соками, срезав толстый пласт коры.

Капрал пустил очередь наугад. Он услышал, как враг убегает, услышал приглушенный топот ног по пружинящей дернистой почве и треск раздвигаемых сухих веток.

Наруг бросился вдогонку. Он бежал не следом, а пытался обогнать врага, отрезать ему путь. Он прислушивался к отзвукам. Немец торопливо продирался вперед. Он еще дважды выстрелил для острастки.

¹ Иди! Иди! (нем.)

Оба все больше отдалялись и исчезли в зарослях среди старых сосен.

— Я тебя не выпущу, — кусал губы Наруг, лавируя среди молодых колышащихся осинок. Листья вокруг него трепетали будто в тревоге. По ним скользили солнечные блики.

Залевский слышал стрельбу в глубине леса. Он кинулся туда. Но все опять затихло, и он сбавил шаг, выбирая более удобный путь. Тыльной стороной ладони он смахивал паутину, которая облипiała лицо.

— Hände hoch! ¹ — обрушилось, как удар прикладом.

Он замер, медленно поднял руки. Автомат болтался на плече — прежде чем он сорвет его, немец изрешетит ему спину.

Из кустов вылез старый солдат с насмешливой миной. Остановился, почти упираясь в Залевского автоматом, и тогда тот, зажав самый конец ствола под мышкой, вырвал оружие из его рук и отскочил в сторону.

— Ну, твое счастье, что я не ранил тебя в живот, — облегченно вздохнул Залевский, разглядев знакомое лицо. — Хороши шуточки!

— Да ведь ты шел как на прогулку, за полкилометра тебя слышно. Чуть мне руку не сломал, — он потер намятую мышцу.

— Я спешил вам на помощь. Что произошло? — Залевский повел дулом в глубину леса.

— По проводу мы добрались до бункера. Там была рация. Часового пришлось прикончить, остальных выгребли, как раков из норы. Наши еще возятся там — взваливают все хозяйство на пленных... А где Войтек?

— А черт его знает. Он меня прогнал, и я ушел.

— Ты наступил ему на мозоль?

— Я шлепнул немца. А Войтек хотел взять его в плен. Но тотчас появился второй и сразу сдаваться.

— Почему же ты ушел? Войтека оставлять одного нельзя было. Откуда ты знаешь, что таится за тем кустом?

Залевский невольно поднял автомат. Лес молчал. Но им показалось, что издали доносятся голоса,

¹ Руки вверх! (нем.)

звуки шагов. Да, это сержант Валясек конвоировал пленных.

— Слушай, а что за парень этот капрал? Чего он так задается?

— Наруг?

— Ну, да.

— Его все у нас любят. В лесу прошмыгнет, как лис, и мигом, как курицу, придушит немца, так что тот и охнуть не успеет. А какой разведчик! Партизан, — добавил старый солдат, словно этим все было сказано. — Два года в Армии Людовой¹ орудовали под Скаржиском.

— Поэтому сразу и невзлюбил меня. Не нравятся ему аковцы. Он поверил, будто мы сидели на корточках, точно зайцы, «взяв оружие к ноге», — горько пошутил Залевский.

— Почему на корточках?

— Потому что у нас были в основном пистолеты, и, чтобы взять их к ноге, нам приходилось сидеть на корточках.

Поджав губы, он посмотрел в глаза собеседнику, как бы ища вызова, но тот только пожал плечами.

— Было и прошло. Чего ради искать врагов, если у нас есть один — самый заклятый враг. Слышишь, как его молотят русские? Он уперся на Одре и не думает отступать.

До них доносились как бы отголоски грозы, разразившейся где-то у горизонта. Это уже говорил фронт.

— А ты пойми Войтека: всю его родню немцы уничтожили, а деревню сожгли за то, что крестьяне помогали партизанам.

Из лесу показались солдаты, конвоировавшие пленных, которые тащили на себе рацию. Солдаты оживленно переговаривались, будто возвращались с удачной охоты. Они курили трофейные сигары.

— А где капрал? — забеспокоился Валясек.

— Он остался возле вышки, немца поджидает, — ответил Залевский.

¹ Армия Людова (АЛ) — конспиративная вооруженная организация. Главным ядром АЛ явилась Гвардия Людова (ГЛ), возникавшая по инициативе Польской Рабочей партии и проводившая активные боевые действия против гитлеровцев с начала 1942 года.

— Тогда отправляйся туда, передай ему, чтобы возвращался прямо в деревню.

— Но ведь он хотел остаться один... Приказал мне...

— Теперь я даю тебе новый приказ. Отправляйся за капралом!

— Слушаюсь! — Залевский небрежно отдал честь и, пригнувшись, скрылся за ветвями молодого сосняка. Но, наученный недавним происшествием, он снял с плеча автомат, поставив его на боевой взвод.

Он подражал Наругу и шел вперед все увереннее. Его злило, если он случайно задевал плечом ветку. Посвистывали птицы. Было спокойно.

Возле триангуляционной вышки лежал ничком мертвый немец, а чуть дальше — палка с привязанным к ней платком... Залевский поднял голову. В вышине, на фоне медленно проплывавшего облака, он увидел свесившиеся руки второго немца.

Он взобрался по лестнице, немного побаиваясь, как бы его не подстрелили, когда он повернется спиной к лесу. У немца, которого он обратил к солнцу лицом, молодого и веснушчатого, были ощерены зубы, будто он улыбался. Залевский извлек у него из кармана документы и фотографию худенькой девушки-блондинки, с надписью: «Гансу». Залевский накинул на плечо ремень телефонного аппарата. Оборванный шнур заскользил с глухим стуком вниз по бревнам.

— А ведь грозился взять пленного. — Залевский постоял над телом убитого. Ему даже немного сделалось жаль немца: такой молодой и будет гнить в земле.

Тяжелая телефонная коробка соскальзывала с плеча, била по боку.

Он перешагнул через раскинутые ноги убитого, который судорожно вцепился пальцами в траву. Муравьи сновали по его побелевшему уху и складкам на затылке. «Неплохие у него сапоги», — подумал он, с чувством облегчения углубляясь в чащу.

Солнце уже скрылось за лесом, но было еще светло. По дороге двигались грузовые машины. Они шли с большими интервалами, чтобы пыль не летела на сидящих в кузове солдат. На восток тянулась колонна раненых. Залевский ощутил запах дезинфекции и гноящихся ран...

Капитан Поляк сидел за столом, вынесенным во двор из разбитого дома, заканчивая вместе с поручиком Качмарексом допрос пленных. Исподлобья поглядывая на них, он долго слюнявил конверт, в который сунул их документы. Пленных направляли в штаб полка. Сержант Валясек с облегчением подвел Залевского.

— Только что прибыл...

— А где Войтек? — беспокоился капитан. — Его, случайно, не ухлопали?

— Нет. Я обошел вышку вокруг. Ни слуху ни духу... Наверняка орудует по-своему.

— Человек не иголка, найдется, — неуверенно поддержал его старшина роты.

— А если его пристукнули и закопали? Откуда ты знаешь, сколько их там еще скрывается: если бы ты хорошенько прочесал, возможно, не одного бы вспугнул, — поднял руку Качмарекс. — С наступлением темноты мы выступаем. Поэтому медлить нельзя. Бери людей и без капрала не возвращайся!

— Веди! — Валясек подтолкнул вперед Залевского. — Неужели человек не имеет права минутку посидеть спокойно?..

Збышек успел услышать еще, как капитан отчитывал Качмарека:

— Как ты мог отпустить Наруга? Ведь он — лучший наш разведчик, у него настоящий нюх... Он всегда готов идти на риск...

— Он сам полез, ему никто не приказывал. Откуда я мог знать, что его черт дернет преследовать врага в одиночку, свои счета сводит с Гитлером. Уж я ему натру уши, когда вернется...

— Дай бог, чтобы живым вернулся, — развел руками капитан, потягиваясь и зевая, как наработавшийся косарь.

Повар принес два котелка с гуляшом, потом сунул руку в карман и извлек две рюмки толстого стекла, вопросительно поглядывая на офицеров.

— Давай, дорогой, — пальцем показал капитан. — Чуть-чуть!

Из другого брючного кармана повар вытянул бутылку, обернутую в газету, и наполнил обе рюмки.

Офицеры поспешно выпили и принялись за еду.

Капитан оторвал корочку от пайки и, обмакнув в соль, насыпанную в крышку от котелка, с удовольствием принялся жевать.

На дороге — рокот моторов: движутся советские танки. Солдаты завернулись от пыли в плащ-палатки.

Поляки, собравшись у обочины, с удовлетворением взирали на стальную реку, что текла им на подмогу к Одре.

— Привет, союзники!

— Здравствуйте, молодцы!

— Сколько до Берлина?

— На полном ходу — часа три.

— Подождите нас!

— Мы тоже собираемся туда с визитом!

— Мы им припомним Варшаву! — добавил Залевский.

Они сбились толпой, потому что веселая девушка с двумя косичками, желтым флажком преградила им путь.

— Пропусти, Маруся, — наседал Валясек.

— Я не Маруся, я Тамара, — быстро повернулась она к нему. — Подождите минуточку...

— Таня, будь любезна, — попросил он.

— Нельзя. Чего смотрите, бабы не видели?..

Они прошли совсем близко от нее, стараясь, словно невзначай, слегка коснуться ее. Им всем нравилась эта темноволосая девушка с чуть раскосыми, живыми глазами.

— К регулировщицам лучше не лезь, — поучал Залевского старый служака, — бесполезно. А уж если отбреет, солдат заткнется, во какой язычок!

— А эта симпатичная, мне бы только время, я бы ее приручил, стала бы как шелковая.

На дороге — пыль столбом и голубоватый дым выхлопов. Когда солдаты перебежали на другую сторону шоссе, по нему снова потянулись армейские обозы. Теперь они шагали повеселевшие. Вдруг из лесу им навстречу вышел Наруг, конвоируя немца, с ног до головы заляпанного грязью.

— Войтек!

— Слава богу, ты жив, а мы уже беспокоились...

— Капитан о тебе спрашивал, — сказал Валясек и похлопал его по плечу, словно проверяя, не приви-

дение ли перед ним, но тотчас с отвращением стал вытирать измазанную грязью руку о траву. — Чем ты занимался? Вымазался, как свинья!

— Пришлось вытягивать его из болота. В камыши нырнул. Утку из себя изображал, скотина. Держи руки на затылке! — рывкнул он на немца, который отирал измазанную физиономию тыльной стороной ладони. — Проклятый гитлеровец, своего же ухлопал за то, что тот хотел сдаться! А потом дал деру в болото, думал, я его не выловлю.

Залевскому стало не по себе: он понял, что несправедливо обвинял приятеля. Но ему стыдно было признать свою неправоту и протянуть Войтеку руку в знак примирения. И он решил при первом удобном случае как-нибудь загладить размолвку, пора положить конец взаимной неприязни.

Наруга торжественно повели к походной кухне.

— Ну ты и преобразился, — подтрунивал над ним повар. — Будто дня три в гробу пролежал.

— Тьфу! Сплюнь три раза! — воскликнул Бачох. — Не то беду накличешь!

— Надо бы искупать немца! — подал кто-то мысль. — На веревку его — и в колодец!

— А веревку — на шею! — добавил другой.

Немец, видя, что его тесно обступила толпа людей, чьи лица не выражали доброжелательности, принялся торопливо шарить по карманам. Он достал какой-то документ и, оттопыривая толстые губы, показывал фотографию.

— Ich habe Frau und zwei Kinder... so klein¹, — говорил он, опустив руку.

— Чего он хочет? — скривился Острейко.

— Говорит, что у него жена и двое маленьких детей.

— А у того, которого он прикончил, остались старики — отец и мать, — выкрикнул Войтек. — Переведите ему, пусть знает.

Войтек схватил немца за ворот, но пальцы скользнули по забрызганному грязью маскировочному халату, и он с отвращением оттолкнул от себя пленного.

— Уберите мерзавца, а то я его пришибу!

¹ У меня жена и двое детей... вот таких маленьких (нем.).

Он отвернулся и опять подошел к полевой кухне. Залевский поплелся за ним, как зачарованный. Ведь капрал не обязан был конвоировать немца до самой деревни. У него было достаточно поводов, чтобы прикончить врага там, в камышах, либо по дороге, в лесу, и никто не упрекнул бы его. Попросту этого требовала справедливость. Однако капрал доставил пленного сюда, к поручику Качмареку, чтобы тот допросил его.

Этот партизан строг не только к другим, но и к самому себе.

— Воды у тебя не найдется? — заглянул Войтек в котел, словно его одолевала жажда.

— Есть чай, да слабый.

— Давай ведро.

Повар налил ведро, он питал слабость к Войтеку.

А тот, отхлебнув несколько глотков, извлек из кармана документы, завернул их в платок вместе с Крестом за отвагу, который снял с груди. Потом, иронически улыбнувшись, взглянул на Залевского.

— Держи! А теперь бери ведро! Ну, чего уставился... Лей на шею. Да в меру, чтобы я мог как следует сполоснуться... Ну, лей все!

Залевский выплеснул ему воду на шею. Войтек, пофыркивая, мылся прямо в мундире.

Повар, увидев эту процедуру, крикнул в сердцах:

— Последний раз ты меня надул! Приди еще раз с просьбой, так черпаком и врежу!

— И чего эти черти наемничают в чай, если он пахнет то ли липой, то ли ромашкой, — проворчал, продолжая плескаться, капрал. — Ну, плесни-ка еще разок!

Сумерки все больше сгущались, и летучие мыши слышно кружили у самых автомобильных фар, где было прямо черно от них. На западе небо время от времени озарялось вспышками, но это были не молнии, а артиллерийские залпы.

Машины поочередно выруливали на шоссе и колонной потянулись на запад.

Залевский почувствовал вдруг, что он никому не нужен, усталость, гул чужих голосов начали раздражать его. Он ощущал себя здесь еще чужим, к нему не обращались по имени, никакого прозвища не дали. Для капрала Наруга он был «аковцем», для остальных «этим в

офицерских сапогах» или же просто «новичком». Так называл его вильнянин Острейко, но таких «новичков» было десятка два. Он сидел на табурете, принесенном из разрушенного дома, и, чувствуя мурашки в ногах, думал, что должен как-то проявить себя, завоевать доверие и дружбу остальных, войти в общую семью. И он обещал себе в первом же бою совершить подвиг, вызвать у них восхищение, чтобы, несмотря на молодость, к нему стали относиться с уважением. А пока к нему относились со снисходительной доброжелательностью, словно два месяца в аду догоравшей Варшавы вообще ничего не значили. Его считали юнцом, и капрал даже готов был утереть ему нос. «Надо держать фасон. — Он сжал кулаки. — Я им еще покажу. Слоняются и высматривают, где бы пристроиться подремать, или хлебшек уминают да ковыряются в трофейных консервных банках, которыми запаслись в Колобжеге. Крестьянское воинство под русским командованием», — презрительно фыркнул он.

— Держись, Збышек, помни, ты удостоился благодарности перед строем роты, накануне гибели поручика Рымвида, — шепнул он самому себе. — Рядовой Рысь из полка «Башта»¹, это обязывает ко многому...

Он прислонил голову к стене, которая источала солнечное тепло, а может, ему это только казалось. Автомат он зажал между ногами. Его раздражало, что в полумраке все суетились, были чем-то заняты, только он сидел без дела, как непригодный. Он засыпал и, когда кто-нибудь случайно его задевал, мгновенно просыпался, сжимая рукой дуло автомата.

Тем временем в сарае совещались при керосиновой лампе. Когда капитан Поляк развернул карту, его покрытую веснушками руку сразу предупредительно осветили несколькими электрическими фонариками.

Опершись о столб, в шинели, наброшенной на сырой мундир, за спиной капитана стоял капрал Наруг. Волосы у него были так прилизаны, что даже слегка отсвечивали, и он не старался обратить на себя внимание. Совещание касалось офицерского состава, но при-

¹ «Башта» («Башня») — название одного из повстанческих полков.

оутствие капрала свидетельствовало, что он принадлежит к числу лиц, облеченных доверием.

— Сегодня ночью мы должны пройти вот здесь, — указал на карте направление капитан Поляк. — По проселочным дорогам! — Он поднял голову, чтобы удостовериться, все ли поняли, что в ходе передислокации возможны трудности, особенно для обоза, так как лошади измотаны вконец.

— Маршрут такой: Герден, Тиргоф. За три дня вся армия должна занять исходный рубеж по реке Одре, в районе города Целлин. Нашли?

Неожиданно он обернулся, почувствовав какой-то странный запах, заметил капрала и снова потянул носом воздух.

— Ты что, в парикмахерскую ходил?

— Нет, малость ополоснулся

— Чем это так воняет?

— Трофейным немецким чаем, которым повар нас травит.

— «Wald und Wiese»¹, — буркнул поручик Качмарек, — там больше всего сена.

Капитан обратился к офицерам.

— Советская кавалерийская бригада днем сделает ложный бросок на север, чтобы немецкие летчики об этом доложили своему командованию, а мы тем временем, — добавил поручик, — скрытно выйдем к Одре.

— Никаких разговоров по радио, использовать только связных, — напомнил капитан, потирая рукой заросшую шею.

— Так точно! — отозвались голоса.

— Есть вопросы? Нет? Значит, все ясно.

Один за другим гасли карманные фонари. Зашелестела карта, засовываемая в планшет.

— Можете быть свободны.

Выждав, пока собравшиеся вышли, капитан повернулся к капралу. Рослый, крепко сбитый, Поляк молча возвышался в темноте над Войтеком, а это не предвещало ничего хорошего. Войтек не выдержал и начал первый:

— Гражданин капитан, я извиняюсь...

¹ «Лес и луг» (нем.).

— Чего извиняешься? Ну чего? Когда ты прекратишь свои партизанские фортели?

— Клянусь богом, никогда, потому что они приносят пользу.

— Если бы не фронт и не этот мундир, знаешь... Я бы тебе морду набил.

Уловив нотку благожелательности в угрозе, капрал с внезапной готовностью подступил на полшага к капитану и подставил свою физиономию.

— Бей!

— Пошел к черту, Войтек! Мне не хочется, чтобы тебя убили.

— Мне тоже, — вытянулся капрал и, видя, что капитан постелил шинель на сене, собираясь вздремнуть перед ночным маршем, вполголоса добавил: — Спокойной ночи.

— Иди к черту! И разбуди меня через часок...

Наруг постоял еще с минуту, прислушиваясь к ровному басовитому похрапыванию командира. «Хороший мужик», — подумал он и осторожно прикрыл ворота сарая, вздрагивая от каждого скрипа.

Пройдя несколько шагов, он споткнулся о вытянутые ноги Залевского, однако тот даже не проснулся, только мотнул головой и громко проглотил слюну.

«Снятся ему детские забавы, — покачал головой, стоя над ним, Войтек. — Но глаз у него наметанный...»

— Чужие сны подглядываешь, Наруг? — услышал он позади голос поручика Качмарека.

— Да я так...

— Сосунок еще, — с познанским акцентом сказал тот, — а задиристый. Только ты его не очень-то укрощай.

— У меня и в мыслях этого не было! — вострепнулся капрал. — Надо только его немного осаживать, не то прихлопнут, как воробья.

Они пошли проверить обоз, ездовые уже грузили ящики с гранатами и густо подстилали себе солому. Марш маршем, а поспать не мешает.

Еще не взнузданные лошади пощипывали сухую траву, взмахивали головами, и незакрепленная сбруя

глухо позвякивала. От навоза и конской мочи шел густой запах конюшни.

Отзвуки фронта по свежей росе разносились далеко во все стороны, а в небе время от времени вспыхивали зарницы.

Взошла луна. Во дворе посветлело. Проснувшиеся солдаты пили горький кофе, наливали его во фляги, дожидаясь построения. Унтеры, светя карманными фонариками, еще раз проверили, не затерялся ли где-нибудь ящик с боеприпасами или диск от автомата, отложенный в сторонку при чистке оружия.

Взводы выводили на дорогу. Старшина роты Валясек отдавал команды. Он покрикивал на ездовых. Это напоминало ободряющий лай овчарки, которая обходит своих овец.

Войтек, заложив руки за спину, критически оглядывал своих солдат, построенных в две шеренги. Лиц не было видно под касками, на которых лежали лунные блики, и казалось, они забрызганы известкой.

— Напоминаю. — Капрал склонил голову набок, искоса поглядывая на солдат, словно они уже провинились. — На марше не курить, не выходить из строя. Времени было достаточно, чтобы оправиться. Еще раз проверьте ноги: не сбились ли портянки. Все знают, что значит стереть на марше ноги. Еще успеете переобуться. Час марша, десять минут отдыха. Больных нет? Не вижу. Вопросы есть? Нет, — ответил он сам себе, не допуская никаких возражений.

Залевский не утерпел:

— Мы идем к Одре?

— Когда дойдешь, сам увидишь.

Внезапно его поразила игра лунного света на сапогах юного повстанца: опять не по уставу, опять этот юнец форсит.

— Залевский, ты получил ботинки с обмотками?

— Да.

— Тогда побереги эти сапожки для бала, когда будешь с девочками танцевать! Через пять минут догонишь нас в ботинках и доложишь мне о выполнении приказа. Остальные, слушай мою команду: взвод, в колонну по четыре, направо, шагом марш!

Походная колонна двинулась, позвякивая амуницией. Это не был форсированный марш: таким маршем можно идти и идти целую вечность. Противотанковые ружья, как металлическая конструкция, крепят шеренги. Подкованные каблуки гулко выбивают дробь по песку, утрамбованному ливнем. Такому движению можно довериться целиком. Солдаты чувствуют себя сплоченными в единую массу. Один за всех, все за одного. Это не пустые слова. Они прошли испытание огнем, когда не перед кем притворяться и некого обманывать.

И в семье не всегда встретишь такую сердечную готовность. Даже брат для брата не сделал бы большего. И муж для жены, хотя клянется ей перед алтарем: «И не покину тебя до самой смерти». А сам уходит из дому, как из гостиницы. А они держатся вместе до конца. Прикрывают друг друга при штурме, под зловеющий свист пуль бросаются вперед, чтобы вытащить раненого, и, смертельно усталые, хоронят павших. А ведь они всего-навсего — солдаты одной роты.

Они идут не спеша, а последний привал уже далеко. Залевский ссутулясь, догонял идущих, но те, кого он принимал за своих, оказывались солдатами чужого подразделения.

— Разведрота впереди!

— Нажимай!

И он нажимал. Брезентовый ремень автомата тер ему шею. Ранец нагревал лопатки, точно набитый горячей картошкой. Он огибал повозки. Лошади едва плелись, но ездовые, полагаясь на них, дремали, согнувшись на козлах, и покачивали головами, как евреи над талмудом. Залевский все шел и шел вперед, пока не нагнал заднюю четверку. С чувством облегчения он включился в общий ритм. Сапоги, которые он в спешке голенищами вниз сунул в свой ранец, торчали наружу. Он видел это по своей тени: горбун с крылышками. Он тяжело дышал, сердце учащенно билось. Но ноги двигались сами. Он был лишь шестеренкой в механизме.

Неожиданно рядом с ним возник капрал и молча проверил, выполнил ли он приказ, а потом окликнул старого вояку:

— Ну, как нога, Острейко?

— Да ничего...

— Держись, старина!

«Снова его понесло вперед. Вот неугомонный человек!» — с завистливым восхищением подумал Залевский.

Приходилось поглядывать под ноги, следить за идущими впереди, потому что дорога была перепахана огнем артиллерии, местами глубокие воронки от бомб вгрызались до самой середины в асфальтовую ленту шоссе. В них отсвечивала зеленую дождевая вода. Там квакали бесчисленные крохотные жабы, выводя только две унылые ноты.

Неожиданно взвод потерял спаянность, плавное движение нарушилось, путь преградила грузовая машина, которая увязла в грязи. Тщетно шофер газовал, колеса буксовали, перемешивая жижу. Не помогали и орубленные саперной лопаткой ветки.

— Ребята, помогите! — попросил, высовываясь из кабины, водитель.

— Давай подтолкнем! — Солдаты плотно облепили машину, их ноги утонули в разболтанном колесами месиве.

— Плюется, сукин кот! — выругался кто-то в сердцах и вытер рукавом забрызганное грязью лицо.

Мотор ревел, казалось, машина вот-вот вырвется из ловушки и колеса упрутся в твердую почву, но тяжелый груз снова наваливался на солдатские плечи, ноги соскальзывали в грязь, и они пятились.

— Ну, ребята, еще раз! — просил напарник водителя, вместе с солдатами вцепившийся в кузов защитного цвета.

— Ничего не поделаешь! Придется разгружаться! — Солдаты отскакивали в стороны, тяжело дыша.

Но русский рванул край брезента и приоткрыл внутренность фургона — там белели забинтованные головы и загипсованные ноги. В лицо солдатам ударил больничный смрад.

— Да вы что, спятили? Там же раненые!

Картина эта поджлестнула солдат, они рванулись к машине, десятки рук вцепились в борта, и она медленно выкатилась из ямы. «Наконец-то вытащили», — подумал Залевский, хотя он ничего не видел, кроме множества облепленных грязью ног.

— Ну, сдвинулась! — Солдаты вытирали руки о траву.

— Порядком, однако, намолотило ребят!

— Крепко еще немец держится! — вздыхали они, закуривая.

— Крепко, если наша помощь потребовалась, — певуче пошутил Острейко. — Но стоит немцам увидеть, кто явился, как они сразу же бросятся врассыпную!

— Особенно если ты пугнешь их своей отвислой губой!..

Войтек подошел к водителю, тот как раз вылез из-под машины: проверял рессоры.

— Вы откуда, товарищи?

— Мы с переправы на Одре. Там тяжелые бои... Все госпиталя переполнены. Спасибо вам!

Шофер тяжело влез в кабину и захлопнул дверцу.

Словно воз с высокой копной сена, покатиł грузовик в призрачном лунном свете. Струйки больничных запахов растворялись в холодном аромате цветущих заливных лугов.

Предупрежденные водители огибали предательскую рытвину. Они дружески приветствовали солдат, с шиком крутя одной рукой баранку, а другой небрежно помахивая проходящей мимо колонне.

— Спасибо, солдатушки!

— Спасибо, поляки!

Головы, опущенные под тяжестью касок, поднимались, усталые лица, блестевшие от пота, невольно озарялись улыбкой.

И снова они втягивались в размеренный ритм марша. Казалось, через лес ползет длинная темная гусеница. Тарахтели машины, постукивали копыта лошадей, мягко катилась на резиновых шинах любимая повозка сержанта Валясека, с медными фонарями, взятая в одной юнкерской усадьбе.

— Ты слышал? — тронул Залевский локтем грузного Фрончака, который, как усталая кляча, с трудом переставлял ноги. — Не спи! Они говорили, с Одры возвращаются. Значит, мы заполним брешь...

— Терпеть не могу воды, — прохрипел тот, сплюнув. — Я ведь не утка.

Гул артиллерийской канонады стих. Деревья тихо шелестели, будто сквозь сон. Разведрота уменьшалась, уходя вперед и растворяясь во мраке соснового леса. Доносились затихающие, ритмичные звуки шагов, отдалявшиеся и все менее различимые.

Солдаты прошли и скрылись.

Небо прояснилось, и луна, как таящая глыба льда, растворилась в светлой лазури. Взвод продвигался в голове колонны. Он выполнял задачу походного охранения, ибо поступил сигнал, что какие-то немцы — остатки разбитых частей, пробиваясь к своим в сторону фронта, стреляли из леса по проезжающим грузовикам.

Разведчики двигались теперь по обеим сторонам дороги. По знаку сержанта Валясека они рассыпались в широкую цепь, прочесывали купы деревьев, заглядывали в дома, темные, открытые настежь.

Ноги налились свинцом от усталости. Позади была ночь, ночь долгого марша.

С облегчением повалились они на травянистый пригорок возле каких-то строений. Пожалуй, это был старый кирпичный завод — труба вздымалась над ними к светлеющим облакам. Под навесами серой громадой возвышались штабеля подсыхающих необожженных кирпичей. Направо виднелась контора и склад, забитый тачками.

Солдаты лежали, даже не сбросив ранцев, с растегнутыми воротниками и тяжело дышали.

Толстый Фрась шел, волоча винтовку, почти опираясь на нее. Он остановился перед капралом и доложил:

— Ни единой хромой собаки. Хоть шаром покати!

— Ну и слава богу. Меньше хлопот. Галай и Острейко на горку, да смотрите, не спать! А мы тут немного вздремнем.

Он громко зевал, растирая концами пальцев потемневшие веки.

Залевский взял из рук Багинского обшитую сукном немецкую флягу, запрокинул голову и начал жадно пить, несколько капель скатилось у него по подбородку.

— Не пей много, сразу взмокнешь. Лучше прополощи рот и сплюнь: сразу пропадет привкус пыли...

Рядом неожиданно послышалось лошадиное ржание. Из-за кустов выехал поручик Качмарек. Судя по тому, что в стременах набилось много листьев, поручик ехал через лес напрямую. У кобылы с морды сочилась зеленая слюна, видно, она отщипнула веточку.

— Не канительтесь, ребята! — сказал он, наклоняясь с седла. — Осталось всего шесть километров. Потом будет деревня... Да подыщите капитану квартиру получше, чтобы он опять не обнаружил труп под кроватью...

— Будет сделано, пан поручик, — приподнялся Наруг.

— Сидите... Да не засиживайтесь. А деревню надо будет прочесать: береженого бог бережет...

Он пришпорил кобылу и затрусил к дороге. Солдаты провожали его взглядами, пока он не скрылся в тени деревьев.

— Послушай, — Залевский ботинком коснулся ноги Багинского, который успел уже задремать, — что это за тип, ваш капитан?

— Поляк?

— Нет, этот русский.

— А, Поляк! — расхохотался он. — Всеволод Иванович Поляк, — проскандировал он.

— Русский?

— Ну, да. Раз Поляк, значит, в польскую армию. Он из гвардейской дивизии. Мужик он неплохой.

Никто не обратил внимания, как один из солдат вошел в контору. Только широко распахнутая дверь стукнулась ручкой о стену.

— Ну, сыночки, оторвите задницы от земли. Трогаем, — приговаривал капрал Наруг. — Потопали дальше.

Грохнуло настолько неожиданно, что все распластались на земле, зарывшись лицами в траву. Взрывом выбило окно, клубы дыма и толченой штукатурки выплеснулись под навес.

От второго взрыва содрогнулась труба. Она сдвинулась со своего места, словно ее держала рука жонглера, и медленно рассыпалась в облаке красной пыли.

— Мины!

— Отойти! Янек, вернись! — рявкнул Наруг. — Багинский, пересчитай людей.

— Что случилось? — обомлел Залевский. — Ведь туда ходили те, которые были в охране и ничего не обнаружили.

— Мина с сюрпризом. Когда есть время, они ставят такие штучки!

— Не хватает Барковского, из нашего отделения, — доложил Багинский. — Может, он полез в кусты по своей надобности.

— Когда рвануло, он мигом примчался бы с портками в руках. Незачем его звать.

— Да, это он полез туда, в контору, — припомнил кто-то.

Капрал Наруг подошел к распахнутым дверям, оттуда еще валил дым, и уже сухо потрескивали языки пламени.

С минуту он прислушивался, но не уловил даже слабого стога.

Оглянувшись на солдат, которые сгрудились рядом. Образовав полукруг, они стояли, потрясенные происшедшим, но никто не изъявлял желания войти внутрь.

— Войтек, стой! — умоляюще крикнул Бачох, увидев, что капрал шагнул через порог. Толпа придвинулась еще на один шаг, когда вдруг резко звякнула жестянка. Все инстинктивно отпрянули, но это скатилось вниз по ступенькам помятое ведро.

— Войтек! Войтусь! — звал товарища Бачох. — Чего там искать?

Окутанный клубами дыма, появился капрал, который шел ссутулившись, держа за ремешок пробитую солдатскую каску, в ней — солдатская книжка. Никто ни о чем не спрашивал, каждый понял, что произошло.

— Разнесло его, — прошептал Бачох.

— Какого черта он полез туда? Чего он там не видел, бывалый солдат, — сетовал Наруг, присев на пороге.

— Он хотел письмо домой отправить и сказал мне, что, может, там найдутся конверты, — с горячностью пояснял тощий Клысь. — Он ведь не из тех, которые

любят, — говоривший сделал плавное движение рукой, — организовать трофеи...

Капрал попытался свернуть сигарку, но руки у него дрожали и табак сыпался на брюки.

Бачох, скривив рот, словно вот-вот расплачется, услужливо подsunул ему толстую самокрутку, настоящую «козью ножку» из обрывка газеты. Было что закурить!

Войтек сделал глубокую затяжку и закашлялся... Взглянул на бумагу и швырнул сигарку туда, где уже полыхал огонь. Потом вдруг прыгнул, как лесной кот, вырвал «козью ножку» изо рта Бахоча и с яростью растоптал.

— Гитлеровская газетенка! Сколько раз я тебя учил, чтобы не брал в рот всякое дерьмо! Ну, чего уставились! — прикрикнул он на солдат. — Выходи на дорогу!

Бачох шел последним, он был обижен на капрала, хотя понимал, что тот кричал не на него. Это был вопль бессильного гнева и сожаления, что он, капрал, не мог отогнать смерть, подстерегавшую их на каждом шагу.

Дорога, обсаженная деревьями, уходила вдаль, прямая, как стрела.

Шагали торопливо, словно хотели поскорее оставить позади струю черного дыма, которая, как траурная лента, вилась над холмом. Может, еще несколько дней они будут вспоминать о погибшем, будут натывать на его флягу, потрошить его вещмешок и, поразмыслив, примутся сочинять письмо его родным. В этом письме погибший станет героем, но потом его место займет кто-то другой, ряды сомкнутся, ущербинка исчезнет. Ведь невозможно прихватить убитого с собой. И точно так же, как само тело его будет предано земле, так и воспоминания о нем померкнут, исчезнут. Только что он был, но вот уже старшина роты вычеркнул его фамилию из списка живых.

— Чего спотыкаешься? — потряс за плечо Клысь задремавшего на ходу Залевского. — Хочешь, чтобы твои крылышки украли?

И помог солдату поглубже запихнуть сапоги, торчавшие из ранца.

— Ох, мать твою... до чего же больно, — прихрамывал, отстав от остальных, Фрончак, — пожалуй, придется топать босиком...

— Что случилось? — вырос рядом с ним Наруг.

— Меня как будто подковали раскаленным железом, — прикусил тот губу.

— Оставайся на месте. Садись в кювет. Поедешь с обозом. Он скоро подтянется.

Фрончак тем временем уже стянул с ноги ботинок и, развернув портянку, изучал белую вспухшую ступню, шипя от боли.

— Стер до крови, — заявил он, но капрал был уже далеко, он догонял свой взвод. Поэтому Фрончак только сорвал листок подорожника и, поплевав на него, приклеил к пятке. А затем с облегчением погрузил ногу в росистую траву.

Опершись спиной о ствол дерева, он ждал, глаза у него слипались. Он чувствовал, как мышцы наливаются усталостью. Птицы посвистывали вокруг. Занимался солнечный день.

Первый патруль уже достиг деревушки, домики стояли нетронутые, побеленные стены светлели на солнце. Оконные стекла блестели, будто их только что протерли. За ними видны были цветочные горшки с бигониями и миртами и кромки занавесок. Но тишина настораживала. Ни из одной трубы не вился дым, свидетельствующий, что кто-то готовит завтрак, ни одна собака не залаяла, и даже куры не закудахтали, хотя уже пора было выпустить их из курятников.

— Слушай, ущипни-ка меня, — сказал Острейко. — Все целехонько, все на месте, словно война здесь и не проходила... Эй, есть тут кто-нибудь? — ударил он в дверь кулаком, а потом нажал на ручку, и дверь запахнулась, как бы приглашая войти.

— Никого нет! Эсэсовцы угнали всех за Одру.

— Я выстрелю? Может, кто-нибудь появится, — поднял автомат Залевский.

— Не стреляй, а то наши подумают еще, что мы напоролись на вражескую засаду, — запретил Наруг. — Проверить дома! Если обнаружите что-то по-

дозрительное, немедленно сообщить мне! Ну, начинайте... А ты, Залевский, отправляйся на шоссе, поджидай наших. Доложишь, что здесь спокойно.

— Вы, пан капрал, только меня одного и видите? Всегда я да я. У меня ноги болят.

— Проваливай отсюда, а то ты меня и в самом деле разозлишь...

— Пан капрал всегда мною недоволен, невзлюбил, вот и гудит.

— Как муха над кучей дерьма! — закончил Наруг. — Ты еще поблагодаришь меня когда-нибудь.

Тяжело вздохнув, Залевский поплелся на шоссе, он видел, как его товарищи начинают обследовать дома. Бачох уже нес под мышкой пухлую подушку и переброшенную, как мешок, через плечо клетчатую перину.

Острейко и Багинский, сидя на скамейке возле дома, поглядывали на садик, аккуратно обнесенный зеленым штакетником.

— Только что покрасили, — со знанием дела отметил Острейко. — Хозяйственные люди здесь жили... Плохо им жилось тут, зачем до самой Москвы полезли?

— Гляди, они еще нас передразнивают, — показал Багинский на шар из желтого стекла, насаженный на палку посреди клумбы, искажавший их отражения. — Я бы разбил его вдребезги...

— Брось ты!

Передохнув, они подошли к дверям дома; из передней была видна натертая до блеска лестница.

— Смотри-ка, и мезонин у них — что надо!

— Угнали их гитлеровцы, ушли, в чем были... Ну, как, нравится тебе здесь?

— Земля скудная, много песку, — поморщился Багинский.

— Да, земля худосочная, но хозяйство неплохое. Слушай, а что, если мы сюда бы... Что, если здесь поселиться: ведь земли эти будут наши.

— Раз ты здесь, значит — наши. Мы же вернулись на отчие земли.

— Но сперва надо покончить с Гитлером.

— Покончим, до Берлина уже недалеко. Сначала побываем там, потом вернемся. Тут жить можно.

— Прежде надо покончить с одним делом, — степенно рассуждали они, словно говорили о полевых работах, о том, как унаваживать землю, о пахоте. Надо — так надо, они не станут мешкать, но настоящая жизнь у них — впереди. Они тосковали по тому дню, когда смогут наконец отправиться в луга с косой.

— Дай закурить, — попросил Багинский.

— На, тебе не жалко! — Его собеседник наскреб на дне кармана горстку бурого самосада. — Только выбери мусор, а то дым не тот... Вот, возьми еще щепотку.

Между тем со вторым взводом прибыл поручик Качмарек. Он шел впереди, а на лошади восседал, уперев босую ногу в стремя и держа в левой руке ботинок, Фрончак. Поводья только мешали ему.

— Ночлег обеспечен? — поинтересовался Качмарек, позевывая и потягиваясь. — Я бы поспал.

— Все готово, — улыбаясь, похвастался веснушчатый Бачох, как всегда приветливый, готовый услужить.

— Сено или солома?

— Нет, настоящая перина и подушка. Свежие, как в брачную ночь.

— Ну, тогда все в порядке. — Поручик сунул руку в планшет и вытащил пачку писем. — Раздай ребятам. Так где же располагаться?

— Вон в том голубеньком домике.

Бачох с беспокойством перебирал письма, чувствуя на себе угрюмый взгляд Наруга. Он внимательно читал фамилии: вдруг весточка для друга, может, кто-то из его родни.

Ведомые каким-то инстинктом, сбежались солдаты. Они теребили Бачоха за рукав, стремясь прочесть фамилии на конвертах.

— Ну ты, давай... Я сам быстрее найду! — просили они.

Бачоху пришлось взобраться на повозку, из которой выпрягли лошадей, и, словно с амвона, выкрикивать фамилии:

— Сосна Игнаций?

— Игнаций или Томаш?

— Ты что, оглох? Я же ясно говорю: Игнаций.

— Багинский!

— Я здесь, — выхватил тот письмо и отошел в сторону, чтобы внимательно прочесть вслух невыразительно написанный адрес на конверте.

— Дзенътёлак!

— Давай! Я здесь!

— Багинский, кто тебе пишет? Из дому? — допытывался Острейко.

— Да, из дому. Не мешай, я хочу сам...

— Ковальский! — выкрикнул Бачох и сразу же вспомнил, что тот пал в боях за порт в Колобжеге.

— Ковальский убит! — вздыхали солдаты. — А баба его все пишет и пишет, она еще ничего не знает...

— А над ним уже травка успела вырасти. Жаль мужика.

Приковылял сюда и Фрончак в расшнурованном ботинке.

— А мне ничего не было? Меня он не называл?

— Папаша, ваше письмецо адресовали к уланам, потому что вы свой зад на лошадке любите катать! — подтрунивали солдаты над старым воякой.

— Да ваша жена и писать-то не умеет!

— Посмотри-ка на него, какой ученый нашелся! — обиделся Фрончак. — Подожди, сучий сын, вот у меня нога заживет, я тебе покажу!

— Больше никому нет! Все! — Бачох соскочил с повозки.

Солдаты расходились, неудовлетворенные, каждый жаждал известий из дому, самых будничных известий: началась ли пахота, как с озимыми, кто на деревне женится, разрешено ли в казенном лесу спилить несколько сосен для починки крыши, и правда ли, что землю будут делить и уже никому, кто хочет работать, не придется бедствовать.

— Боже! — басом прохрипел Багинский и скорчился, словно кто-то двинул ему кулаком под ложечку. — Нет, неправда...

— Постой, — подскочил к нему Острейко, взяв из его безвольных пальцев скомканное письмо, и принялся громко читать, а Багинский с застывшим лицом слушал, как бы надеясь, что мог ошибиться.

— «... сегодня уже четвертый день, как мы схоронили нашего любимого сынка, Сташека, которого убили бандиты...» Постой! Багинский говорил, он — в милиции служит... Еще фотографию показывал. Парню всего девятнадцать лет!

— Багинский, что с вами? — Подошедший Наруг тронул за плечо охваченного горем солдата. — Плохие новости?..

— Сына у меня убили! — Багинский словно хотел выкрикнуть свою боль. — Понимаешь, сына! Что мне теперь делать?

— У меня тоже никого не осталось, — пытался утешить его Наруг.

— Да, но твоих убили немцы! А моего? Свои, соседи по деревне, которые ушли в лес.

— Ничего не поделаешь. — Капрал погладил его по спине, которая согнулась под непосильным бременем. — Даст бог, вернемся, накажем виновных. А теперь надо кончать войну.

Солдаты стояли, как оглушенные. Это не умещалось в их сознании. Из газет они знали, что в лесах еще хозяйничают политические банкроты, ставленники лондонского правительства. Но чтобы убить сына солдата, который на фронте сражается с немцами?! Это взывало к отмщению!

— Сейчас будет готов завтрак! — вернул всех к действительности сержант Валясек. — Ешьте, мойте ноги и на боковую; ночью снова выступаем...

Все с неохотой разошлись. Только добросердечный Бачох подсел к Багинскому, который, спрятав лицо в ладонях, делал вид, что дремлет. Бачох не знал, чем ему помочь. Он отвинтил крышку фляги, в которой приберегал на черный день немного водки, и робко протянул Багинскому.

Но тот потряс головой.

Теплый ветер шевелил волосы на его белом, как свежееочищенное крутое яйцо, лысеющем темени.

Тогда Бачох, пожав плечами, отхлебнул сам, — и ему взгрустнулось.

Уставшие солдаты разбрелись по домам, деревня снова опустела. Только из овинов, где были щедро разбросаны охапки соломы, доносился громкий храп да фыркание лошадей, которые ели овес, выщипы-

вали пучки сена из стогов, словно хотели насытиться впрок.

Около полудня Наруга разбудили солдаты, отправлявшиеся в наряд. Хотелось спать, но назойливо гудел самолет, и пришлось приподнять голову и внимательно оглядеть небо, впрочем, мочевой пузырь тоже напоминал о себе.

День сделался теплый, время от времени налетал ветерок, принося запах весенней зелени.

— Эх, чтобы черти побрали поскорее этого Гитлера! — Он потянулся, почесывая грудь, заросшую жесткой барсучьей шерстью. Потом долго полоскался у колодца. Приятная освежающая влага смывала липкий пот, пыль и сонное отупение.

Как добрый хозяин, он принялся обследовать район, где расположилась на привале рота. Повар у походного котла, забыв про вчерашние угрозы, напоил его сладким кофе и протянул в придачу ломоть хлеба со шпиком, посыпанным крупной солью, которая приятно пощипывала язык.

В роте он чувствовал себя, как в родной семье. Его любили, и хотя по временам он ругался и заставлял тянуть лямку, солдаты понимали: этого требует служба, ибо война еще не кончилась.

Под навесом капрал увидел немолодого Острейко, тот в нательной рубашке строгал рубанком балку, лежащую на козлах. Плотные стружки со свистом сворачивались кольцами, шуршали у него под ногами.

— Что это ты взялся столярничать, папаша?

— А ты отгадай, Войтек, пошевели мозгами, — распрямился он, и глаза его при этом смеялись: работа явно доставляла ему удовольствие.

— Хочешь дверь сколотить, чтобы запереть лес на замок?

— Эх, Войтек, плохи твои дела. Ты историю Польши знаешь?

— Ну, знаю.

— Куда мы идем? К Одре, где у Храброго когда-то была граница, верно?

— Да. И теперь снова будет граница.

— Ну вот. А раз наше, то надо огородить. Пусть все видят: отсюда начинается Польша. Вот подойдет ко мне капитан Поляк и спросит: «Ну, Острейко,

что ты должен теперь делать?» И я ему отвечаю: «Все готово. Столбы, как на картинке, только устанавливай».

Когда он с жаром это излагал, из дома вышел Бачох, вытирая пальцы тряпкой, заляпанной чем-то красным.

— Ты что, порезался, когда брился? — посочувствовал ему капрал. — Видать, у тебя руки трясутся?

— Это краска! Я решил немножко порисовать...

— Ну, медведь, не скромничай, покажи герб. Ты и не знаешь, Войтек, какой он у нас художник!

Бачох с готовностью побежал в дом и притащил большой, сбитый из досок щит, покрашенный в красный цвет, в середине его белела какая-то распластанная птица, смахивавшая на петуха, раздавленного машиной.

— Что это? — ткнул в изображение пальцем капрал.

— Орел! — подивился Бачох несообразительности своего кумира.

— Тогда это надо как-то обозначить, чтобы все понимали. Иначе трудно догадаться. Ну, чего уставился? Твори дальше, художник. Отличная работа, ребятки...

И он зашагал через фруктовые сады проверять посты.

— Ну так что? — опечалился Бачох. — Теперь я и сам не знаю... Тебе тоже кажется, что это плохо?

— Ты что Войтека не знаешь? Он обязательно должен поддеть. Ему стыдно, что сам он не подумал об этом. Не вешай нос. К нам этот щит будет повернут задом, немцы с того берега подробностей не заметят, да мы и не позволим им долго присматриваться... Снайперов хватает.

— Если так, то за дело, — обрадовался Михал Бачох. — Знаешь, это ведь настоящий орел, я его срисовал с того, что на наших конфедератках.

Вечером они вступили на территорию, по которой прокатилась война. Срезанные артиллерийским огнем тополя саперы успели опилить и тягачами оттащили в кюветы. В садах виднелись обгоревшие дома. В полях застыли, накренившись, мертвые танки, от которых шел запах паленых тел. Глубокие колеи от гусениц уходили прямо в ночь, поблескивая после вечернего ливня.

Время от времени вспыхивали потайные электрические фонарики! Это пробирались по рощам советские солдаты в брезентовых плащ-палатках. Тогда поляки замечали тщательно замаскированные огневые позиции артиллерии, штабеля ящиков со снарядами, подтянутые артсклады.

Прижимаясь к обочине, проносились грузовики с наклонно укрепленными металлическими решетками, едва прикрытыми полощущимися на ветру чехлами. Это стягивали к Одре батареи «катюш».

— Видишь? — с любопытством оглянулся по сторонам Залевский. — Тут что-то затевается...

— Конечно, вижу, — засопел Бачох. — Когда переправимся на другой берег, до Берлина будет — рукой подать.

— В тридцать девятом поручик Кольбуш, перед выступлением из казарм в Ясло, обещал нам парад в Берлине, на Унтер-ден-Линден, — с горечью вспомнил Багинский, — но его бомбой убило, а мы все пятились да отступали, потому что нас танками давили.

— Ты еще дождешься этого парада, — словно для присяги, поднял руку капрал Наруг. — Качмарек нас доведет до Берлина. С поляками всегда так, любят опаздывать.

— На этот раз здорово опоздали — на целых пять лет, — заметил Залевский.

И они упорно шагали дальше. Рота позвякивала боевым снаряжением, размеренно отдавались шаги во тьме, озаряемой только светом луны.

На третью ночь они вступили в густой лес. Должно быть, уже близко, потому что им приказано было дожидаться повозок, разгрузить их и дальше нести поклажу на себе.

Они спотыкались в темноте. Тут было полно срезанных ветвей, воронок от разрывов тяжелых снарядов. В кустах множество проводов.

Поодиночке, резко выделяясь во мраке повязками, шли навстречу русские солдаты, которых им предстояло подменить на передовой.

— Здрасте!

— Привет, союзники! — слышалось в ответ.

— Широкая эта река Одра? — пытались выведать они.

— Еще несколько шагов — и сами увидите...

Залевский вырвался вперед, готовый побежать первым, когда их прижал к земле свист проносящегося снаряда и сухой треск разрыва озарил стволы деревьев. Грохот вернулся, повторенный эхом.

— Осторожно, здесь пушки бьют, а осколки прыгунов не любят!

— И снайперы стреляют! — слышались предостерегающие слова.

— Папиросы у вас есть? — посыпались вопросы. — Может, и водка найдется?

— Пожалуйста, курите! — с готовностью угощали их вновь прибывшие, интересуясь расположением позиций, состоянием окопов, в которых им, видимо, предстояло прочно обосноваться.

— Держитесь, поляки! Берлин уже виден, — обнадеживали их. — До свидания!

— С богом! — напутствовали их на свой манер польские солдаты.

Во тьме шелестели ветки, за которые задевали стволы автоматов. Длинная цепочка вооруженных людей углубилась в лес.

Совсем рядом, мерцая, взмывали ракеты, и тогда на лица солдат падал зеленый отсвет.

— Ты похож на покойничка не первой свежести, — буркнул Залевский, поглядев на пожилого Фрончака, который как раз нагнал их с обозом.

— Тьфу! Типун тебе на язык! — трижды суеверно сплюнул через плечо Фрончак.

— Ты чего так долго ехал? Видно, твои лошадки едва тащились?

— Нам пришлось пропустить колонну русских, их отводили в тыл. Там — приличная мясорубка... Ну, пошевеливайтесь, помогите донести это.

Он осторожно подал им в руки столб, покрашенный в красно-белые полосы.

— Только не смажьте: Бачох не жалел краски — и малость липнет. Но, гnedые. — Взяв коней под уздцы, он стал поворачивать повозку, разыскивая дорогу среди кустов.

Неся в руках ящики с боеприпасами, они шли по лесу все время под гору, пока неожиданно не наткнулись на окоп. Траншеи извивались у подножья поло-

гого холма. Там стоял русский старшина и мигал фонариком, давая понять, чтобы они прибавили шаг.

Но они, сбившись в кучу, замерли, глядя на Одру: Река разлилась широко, напоенная весенними дождями, мелкая рябь на ее поверхности серебрилась в лунном свете.

— Не такая уж страшная, — констатировал Залевский.

— Утонуть — воды хватит, — вздохнул старый Фрончак. — А ты хоть плавать умеешь?

— В гимназии я даже в соревнованиях участвовал, — высокомерно отрезал тот. — А ты, Багинский?

— А я забыл уже, как это делается...

— Тогда советую тебе вспомнить, прежде чем всем нам представится для этого случай, — проворчал Наруг. — Спускаться в окоп, нам налево!

По ступеням, укрепленным колышками и досками, они спустились на дно узкой траншеи. Здесь пахло сырой землей. Над их головами небо пульсировало вспышками ракет.

— Квартира совсем не так уж плоха, — засвидетельствовал, чиркнув спичкой, Збышек Залевский и сбросил с плеч ранец. — Бачох, только не спи у стенки, а то червяк заползет в ухо.

— Эй ты, весельчак! — раздался у входа в землянку голос капрала. — Возьми лопату и поправь окоп: стенка обвалилась. Ты тоже, Бачох, только осторожнее, тут стреляют.

— Он меня и под землей найдет, — возмутился Залевский. — Невзлюбил, потому что я из АК!

— Не пори чушь! — засопел Багинский. — Давай я помогу.

Одновременно с первыми лопатами земли, выброшенной на бруствер, со стороны вражеских позиций отозвалась тяжелая артиллерия.

— Достоинно нас приветствуют! — прислушался к пронсящимся над головой снарядам Залевский. Гул пошел по лесу: один разрыв следовал за другим.

— Пронюхали, что пан Залевский прибыл на Одру, — съязвил Наруг. — Не сбрасывай песок на ту сторону... Немцы увидят. Русские там дерном все выложили, замаскировали. Поэтому противник и лупит

вслепую. Ну, поживее... Потом один из вас останется на посту, остальные могут поспать.

— Можно мне сразу вызваться добровольцем, — охидно вставил Залевский, — все равно известно, кого пан капрал назначит.

— Хорошо. Первый час отстоишь ты. Насмотришься вдоволь, — тотчас согласился Наруг.

В тишине лишь поскрипывали лопаты да летела земля со дна траншеи.

Поляки постепенно обжились в окопах. Через несколько дней они уже знали, когда можно выскочить в лес, потому что немцы строго соблюдали обеденный перерыв. Жизнь вошла в колею. Поэтому они очень удивились, когда однажды в безлунную ночь капрал поднял свой взвод.

— Сбор у старшины. Только не мешкать!

— Идем на задание? — допытывался Залевский.

— Поторапливайся, узнаешь.

Пригнувшись, они входили в землянку, где располагалась ротная канцелярия. Коптилка, искусно изготовленная из медной артиллерийской гильзы, рассеивала ровный, чуть желтоватый свет — горсть соли, брошенная в бензин, не давала ему вспыхнуть.

— Подходите ближе, — приглашал вошедших сержант Валясек. — Он взял в руки лист бумаги, густо исписанный каллиграфическим почерком, и, наклонившись к огню, начал читать:

— «Мы, солдаты первого пехотного полка, достигнув Одры, водружаем этот пограничный столб и устанавливаем здесь границу Польши на веки веков». — Пан капитан, извольте, — протянул он ручку командиру роты.

— По-польски или по-русски?

— Лучше по-польски.

— Получай! — отодвинулся тот от стола. — Подходите и расписывайтесь.

— Да пояснее пишите, ведь это войдет в историю, — напомнил им Валясек.

Они с усердием выводили пером буквы. Даже строптивый Залевский, остривший по любому поводу, почувствовал, как по спине у него побежали мурашки. Это не пустые разговоры, а настоящая История.

— Хорошо бы подписаться и за тех, которые не дошли, — слышался в полумраке чей-то голос.

— Список погибших мы приложим, — заверил солдат старшина роты. — Все это мы свернем, вложим в бутылку, закупорим ее и закопаем возле столба, на вечные времена. Ясно?

— Ясно! — хором отвечали они, глядя, как капли сургуча, украденного из штаба батальона, капают, запекаясь, словно кровь.

— Теперь берите столб да смотрите водружайте осторожно, чтобы швабы не повредили, — напутствовал их Валясек.

— Щебня подсыпьте, чтобы крепче стоял.

— Не раздавите бутылку! — забеспокоился Острейко.

— Не бойся, отец...

Поддерживаемый руками, столб застыл в вертикальном положении. Яму поспешно засыпали землей. Бутылку, как советовал Наруг, закопали донышком вверх, чтобы влага не разъела пробку. Они уже притапывали сверху землю, когда противник заметил движение у окопа, грянул далекий одиночный выстрел, свист пули полоснул, как бичом. Все скатились в траншею.

И тогда длинная очередь взметнула пыль на бруствере. Пули глухо уходили в песок.

— Растревожили мы их, как осиное гнездо! — усмехнулся, закусив губы, Острейко. — Заметили.

— Погляди, столб стоит?

Залевский высунул голову и с удовлетворением убедился, что столб стоит на месте, даже не задетый пулями.

— Порядок! Стоит!

— И пусть стоит, — неожиданно отозвался Багинский. Его слова восприняли с облегчением — он снова включался в жизнь роты и взвода, преодолевая собственную боль.

— Чтобы его свалить, им придется ударить из орудия и попасть точно, — заметил Острейко. — Зубы себе обломают, но не укусят. Знаете что? Пока мы стоим на этом рубеже, можно каждую ночь по столбу вдоль всего берега ставить, назло им. Ну, что вы на это скажете?

— Здравая мысли! Надо. Хороший хозяин огораживает свои земли, чтобы какая скотина не учинила потравы.

— На, Багинский! — ему первому поднес Бачох свою, постоянно пополняемую флягу.

— Эх, давай! За эту границу и за тех, кто ее охраняет, надо хлебнуть глоток.

Опустив потемневшие веки и запрокинув голову, он дважды хлебнул. Они, не отрываясь, глядели, как ходит его заросший щетиной кадык.

Днем в окопах оставалась лишь небольшая часть личного состава; наблюдатели бдительно следили за вспышками немецкой артиллерии: с высокого берега позиции врага хорошо просматривались.

Перед ними открывалась широкая панорама, начинавшаяся от взорванного железнодорожного моста, рухнувшие пролеты которого темным каркасом возвышались над бурой поверхностью реки, полной водоворотов, вплоть до ее излучины, исчезавшей в глубине леса. За главным руслом Одры пересекала луг другая сверкающая полоска, обнесенная валами с проволочными заграждениями, — Старая Одра и судоходный канал.

Деревушки, серые этернитовые крыши которых возвышались над фруктовыми деревьями, окопавшийся противник тоже, видимо, превратил в систему дотов. Трудно будет взламывать этот глубоко эшелонированный оборонительный рубеж.

— Мы должны приучить солдат к воде, — рассуждал на совещании командир полка. — Послушайте, капитан Поляк, ваши люди пойдут первыми. От того, сумеют ли они захватить хотя бы небольшой плацдарм, будет зависеть многое. С завтрашнего дня приказываю начать учения на лодках. Учитесь мастерски преодолевать водные преграды. Четко и с предельной быстротой производить посадку и высадку из лодок. Необходимо смело прыгать в воду. Выявить, сколько человек действительно умеют плавать. Я загляну к вам: мне самому любопытно, как пойдет дело. А теперь можете идти!

— Есть выполнять приказание! — повторил вслед за капитаном поручик Качмарек. И они упорно отрабатывали форсирование на озере, скрытом в лесу.

С рассвета до поздней ночи эхо разносило отголоски команд, стук топоров и молотков. Саперы сколачивали лодки-плоскодонки, а также готовили понтоны для будущего моста. Строго соблюдалась маскировка: даже щепу и стружки солдаты убирали с поляны и сжигали, радуясь возможности обсушиться. Вода еще сохраняла зимний холод, и вынужденное купанье в мундирах не доставляло удовольствия.

Время еще было слишком ранним, чтобы уходить с луга, закончив тактические занятия. Досыта или даже про запас наевшись (как этому научил их жизненный опыт), они расположились в кустах, одни дремали, другие покуривали, третьи переговаривались, найдя себе собеседника по необходимости или руководствуясь настоящим чувством дружбы.

— Тебя призывали в армию? — допытывался Бачох, подперев свою веснушчатую физиономию обеими руками. Лежа животом на траве, он перебирал в воздухе босыми ногами, как это делают мальчишки на выгоне.

— Я пошел добровольцем, — повел головой Залевский. — Пять лет ждал этой минуты...

— Ты был в Армии Крайовой, а таких берут не очень охотно.

— Да. Но я политикой не занимался, а стрелял, и то слишком мало, только во время восстания. Я хотел в армию, вот и пошел к вам добровольцем, понимаешь?

— Ага, — отозвался Бачох.

— Я должен был пойти, не то впоследствии вы все заслуги припишете себе.

— Ну, вы тоже немало дел понаделали, — поморщился воспитанник Наруга, — уложили уйму народу, погубили Варшаву.

— Не прикидывайся, будто не знаешь, почему так случилось! Не прикидывайся дураком, — возмутился, садясь на траву, Збышек; его привлекательная, несколько мальчишеская физиономия исказилась гримасой внезапного гнева. — Я пошел, чтобы пострелять в Берлине. Я веду свои счета, которые нужно сравнять. Не тани за язык, а то еще потом переврешь, когда станешь пересказывать наш разговор Наругу...

— Да ты что?.. Ведь ты меня знаешь. И Войтек — тоже свой парень.

— Только все вы ему гораздо больше свои, чем я.

— Это потому, что мы вместе уже давно. Мы друг друга лучше знаем.

Старшина роты раздвинул кусты, остановился над лежащими и поглядывал на них так, словно бы эта картина неожиданно вывела его из терпения.

— Рота, встать! К лодкам бегом, марш! — Он вышел на опушку. — К берегу! Воздух! В укрытие! — Он подошел к самому краю луга, где ярко-зеленая трава была мягкой, как пух. Незаметно она переходила в высокую стену камышей, за которой, подернутый легкой рябью, начинался плес.

— Чтобы я никого не видел! Пусть бомбы хоть градом сыплются, всем лежать возле лодок и ждать приказа. Ну, раз-два, взяли! Плохо... Опустить лодки на землю!

Он отступил на шаг и рывкнул:

— Все разом на плечи, дружно! Лодки на воду!

Они бросились бегом, только вязкая прибрежная почва хлюпала у них под ногами. Потом побрели уже по колено в воде, сталкивая плоскодонки с мелководья. Устанавливали на носу пулемет и коробки с боеприпасами. В лодки вскакивали поочередно, парами, чтобы избежать крена. Бойко брались за весла.

Когда отплыли немного дальше, дана была команда повернуть назад, началась высадка десанта.

По просеке из лесу выехал «виллис» с капитаном Поляком и командиром полка. Оба внимательно наблюдали за учениями.

— Недурно получается.

Солдаты выскакивали на берег, четверо подхватили пулемет и бросились занимать позицию, откуда можно было прикрывать наступление, подавлять огневые точки противника. Залевский размашистыми прыжками достиг кустов, он тащил деревянный ящик.

— Пошевеливайтесь, ребятки! Чтобы на другой берег переплыть, потребуется полчаса. Одра — река широкая, — вслух размышлял полковник.

— Когда в нас начнут стрелять, поднажмем, -- неловко пошутил поручик Камчарек, который как раз

в эту минуту подошел и доложил: — Разведрота в полном составе отрабатывает освоение плавсредств.

Офицеры двинулись вдоль берега. Они останавливались, прислушиваясь к тому, как нарастает канонада, потом полковник с капитаном уехали, а поручик пошел передохнуть в тени. Его лихорадило, и он опасался, что это малярия, которую он перенес в Казахстане.

Солдаты, которые на глазах полковника действовали весьма рьяно, теперь тяжело поднимались из наскоро открытых ячеек.

— Ну как? — спрашивали они, ожидая похвалы. — Полковник доволен?

— Он, может, и доволен, а вот я — нет. Я-то вас знаю, как облупленных. Залевский, ко мне бегом марш! Прихвати свой ящик!

Когда тот подбежал, Наруг приказал солдату открыть его. Скрипнула крышка.

— А гранаты у тебя где?

— Я оставил их на нарах, чтобы не отсырели, — объяснил Залевский, — ведь это только учения...

— Набей его камнями, не жалей себя, — приказал капрал. — Мне положено знать о том, чего не заметит полковник. А тебе надо знать настоящий вес ящика с гранатами, потом руки будут отваливаться... «Чем тяжелее в ученье, тем легче в бою», как сказал генерал Сверчевский¹, и он прав.

Залевский со злостью швырнул в ящик несколько камней, захлопнул крышку, накинул засов и, не выдержав, буркнул сердито: — Об этом еще Цезарь говорил, если не сам Александр Македонский... Правда, русские утверждают, будто это сказал Суворов...

— К лодкам, марш! — рявкнул Наруг. — Я вас, Залевский, обучу истории на наглядных примерах! Не волоки ящик по земле!

Согнувшись под тяжестью боеприпасов, солдаты ринулись вперед, к лодкам, чтобы столкнуть их на воду.

Капрал Наруг стоял на берегу и нетерпеливо следил за их действиями.

¹ Кароль Сверчевский (1897—1947) — участник Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны, сражался за свободу в Испании, один из организаторов Войска Польского в СССР, командующий 2-й Армией Войска Польского, Герой Советского Союза.

— Жизни больше, жизни, ребята! А головы пригните еще ниже: немцы не горохом стреляют!

Солнце уже садилось, когда рота вернулась с учений. Взвод капрала Наруга порядком вымотался. Солдаты лежали в одних шинелях, из-под которых высовывались голые ноги. Мокрые брюки сушились на проволоке, протянутой от сосны к сосне, кальсоны и нательные рубахи белели, словно на дворе после субботней стирки.

Костры едва тлели, чтобы по первому же сигналу тревоги «Воздух!» их можно было забросать песком.

Разостлав на земле одеяло, Бачох вытряхнул на него все свое барахло из вещмешка: эмблемы с воротников эсэсовских мундиров, орлы с фуражек, Железный крест, снятый с убитого гауптмана, внушительных размеров часы с компасом из подбитого немецкого танка, ракетницу.

— Чудная коллекция! — разглядывал трофеи Залевский, присев рядом на корточках. — Что ты собираешься с этим делать? На кой черт тебе эти побрякушки?

— Для нашей школы, я устрою там небольшой музей. Дети будут плясать от радости. О боже, капрал!

Он быстро прикрыл свои сокровища краем одеяла и улегся на них, делая вид, что спит.

Наруг прошел мимо, раскидав ногами костер.

— Не подбрасывать свежих веток, дым поднимается.

— Летчик подумает, это туман с озера, — пытался объяснить Залевский.

— Вы думаете за немецкого летчика, а мне приходится думать за вас.

С минуту он постоял, проверяя, как сохнет белье, и пошел по направлению к стреноженным лошадям, которые паслись на лугу.

— Ужинать! — издали покрикивал повар.

Все устремились туда с внезапным оживлением, так как капрал успел вытрясти из них обед.

Немецкая артиллерия снова открыла огонь, снаряды рвались где-то километром ниже по течению. Солдаты ели жадно, обжигая губы, и внимательно прислушивались. Заговорили орудия с нашего берега. Шум и свист скрещивались над лесом.

В этот вечер, пользуясь своими партизанскими привилегиями, капрал Наруг явился к поручику Качмареку.

— Чует мое сердце, мы скоро двинем в наступление, — начал он, — вы, наверно, больше знаете... Может, смотаться на ту сторону и попросить какого-нибудь немца, чтобы рассказал, чем хотят нас встретить?

— Одним словом, вы хотите привести «языка»?

— Так точно. Я...

— Один уже приходил перед вами. Тоже доброволец.

— Старый Фрончак?

— Нет, Залевский! — внимательно поглядел поручик на капрала, чья громоздкая тень колебалась на стене землянки. При громком взрыве песчинки сухо шелестели, падая на разложенную карту. — Что вы о нем думаете?

— Зеленый еще. Предпочитаю идти с Острейко, тот рыбачил на Немане, веслами так работает, что не вспугнет и рыбы.

— Хорошо. Плывите втроем. Разведчиков надо обучать... А этого юнца под удар не ставь.

— Мы можем отправиться сейчас же. Я уже все высмотрел. Ночь темная, будет дождь.

— Ладно. Если уж тебе нейдет, — неожиданно быстро согласился поручик. — Только возвращайтесь живыми-здоровыми.

Тогда Наруг понял, что дело особой важности. И у него сразу изменилась даже походка: весь подобравшись, он ступал мягко, неслышно, как ходят браконьеры. Наруг вызвал Залевского и Острейко, приказал им вынуть все из карманов, сунул за пояс свернутую веревку.

— Захотелось, вот и получай, — буркнул он Залевскому. — Да смотри, чтобы никаких фортелей. Ты обязан слушаться только меня. Надо сделать все без звука.

Когда они втолкнули лодку в камыши, оттуда с громким криканьем, хлопая по воде крыльями, взметнулась пара диких уток.

— Черт вас принес... — выругался Острейко. Им пришлось переждать: вдруг птичий переполох

пробудил бдительность немцев. Потом они поплыли вдоль берега вниз по реке, отталкиваясь шестом о твердое дно.

— Будем идти наискось по течению.

Тучи висели над самой землей, фронт молчал. Мелкий дождичек надоедливо моросил, увлажняя лица, сыпал, как песком, по крепко пахнущим полузатопленным кустам ракиты.

— Мертвая тишина, — пробормотал старый рыбак. — В такую ночь у часового глаза слипаются.

Неожиданно лодка оказалась на глубине, ее развернуло и вынесло на середину реки.

— Много здесь воды, много, — забеспокоился капрал. — С берега кажется, будто река уже. Хватит места, чтобы утонуть...

Они инстинктивно пригнулись, когда рядом с шумом плеснула рыба и пошли круги по воде. Им казалось, они плывут слишком медленно, но как раз в этот момент лодка вошла в полосу еще более плотного мрака, у самого неприятельского берега, и дважды слегка коснулась дна. Острейко сделал знак рукой, чтобы они ему не помогали. Он ухватился за ветку и подтянул нос плоскодонки к травянистой бровке. Половодье только недавно схлынуло отсюда, луг был сильно заболочен и заилен.

Капрал разулся, помазал босые ноги грязью, тронул рукой Збышека, чтобы тот последовал его примеру. Потом набрал ила в обе ладони, потер лицо, будто накладывая маску. Теперь видны были только его глаза. Наносный ил отдавал рыбой, гнилью, и Залевский с отвращением намазал себе щеки и лоб. А дождь между тем продолжал моросить.

Первый шаг на немецком берегу наполнил Залевского дрожью. А что, если предполье заминировано? Оба разведчика неслышно передвигались от куста к кусту. Потревоженные лягушки прыгали в лужи, казалось, кто-то бросает камни, и разведчики замирали на месте...

И вот уже перед ними крутой склон вала. Несколько правее над их головами со свистом взвилась ракета и повисла над серединой реки, разбрызгивая во все стороны светящиеся искры. Вокруг все заколеба-

лось. Они притаились, прижавшись к мокрой траве. Темноту, которая снова наступила, они ощутили, как удар.

Залевский, вытянув руку, почувствовал, как Наруг пополз на вал, словно ящерица, перевалил через хребет. Перед Збышеком, который перебирал руками, зияла глубокая воронка от авиабомбы. Он втиснулся в нее. Сердце бешено колотилось. Хотя продолжало моросить, он чувствовал, что его заливает пот, но, отерев лицо, только размазал грязь.

Он хотел последовать за капралом, но что-то крепко держало его за одежду. Пошарив рукой, Збышек наткнулся на свисающую сверху колючую проволоку. Замер. Вспомнились ему все солдатские рассказы о минах-ловушках. Перебирая пальцами, он установил, что проволока наискось тянулась к колу: это было просто развороченное взрывом снаряда проволоочное заграждение. «Как капрал безошибочно нащупал проход в такой темноте?» — подивился он интуиции разведчика и осторожно отцепил острые колючки...

И вот он уже на валу, нащупал в стрелковой ячейке разбитый ящик и кучки скользких патронных гильз, которые рассыпались, чуть позвякивая.

Капрала не было слышно. То ли он спустился ниже, то ли вдоль гребня пополз от ячейки к ячейке.

Неожиданно до него донеслись отзвуки борьбы, хриплое дыхание. «Ни в коем случае не стрелять», — решительно скомандовал он самому себе, продвигаясь вперед, и тут же наткнулся на борющихся. Капрал оказался внизу, а на него навалился рослый немец, его горшкообразная каска отливала влажным блеском. Залевский, продолжая ползти, ткнулся лицом в торчащий у врага из-за пояса короткий черенок саперной лопатки. Он выхватил ее. Потом затаился и неожиданно, словно топором, ударил ею наотмашь по незащищенному затылку гитлеровца. Тот обмяк. Тяжело осел.

Капрал засовывал ему в рот конфедератку, которая сделалась теплой от крови.

— Вяжи его, — выдохнул Залевский в ухо Наругу, но тот лишь перевернул вверх лицом обмякшее тело часового.

— Ты перестарался...

Они опустили труп в стрелковую ячейку и прикрыли плащ-палаткой, которую немец подстелил себе. Казалось, он спал, краем каски упершись в рыхлую землю. Дождь продолжал сыпать, мелкий, промозглый, он покалывал их разгоряченные лица.

— Надо было брать за горло, — вздохнул Наруг. — Ты поторопился...

Они тяжело дышали, вслушиваясь в шорохи ночи. Где-то далеко грянул выстрел. Около взорванного моста в небе снова вспыхнула ракета. Тень изуродованного каркаса упала на освещенную воду.

Внизу, за валом, скрипнула дверь землянки. «Неплохо устроились, — подумал Залевский. — Приволокли сюда даже застекленные двери из разбитого дома». Они слышали медленные шаги. Кто-то приближался.

— Franz, wo bist du? ¹ — спросил кто-то вполголоса, закашлялся и оплюнул. Напряжение усиливалось от каждого шороха.

Капрал толкнул Залевского, они отползли в разные стороны, притаились в траве, укрывшись в ближайших ячейках, нарытых в большом количестве у гребня вала. Только бы он не вздумал светить. Враг приближался, увеличивался в размерах, они уже видели его силуэт, измененный плащ-палаткой, которой он прикрылся от дождя.

«Не станет светить, — успокаивал себя Збышек, — побоится, как бы с того берега не пустили очередь. Ведь наши тоже на чеку».

Немец, должно быть, заметил едва различимую фигуру лежащего, может, решил попугать его, потому что присел рядом на корточки и потряс его за плечо:

— Франц!

Как по сигналу, они оба кинулись к нему, стукнувшись головами, прижали врага к земле и запеленали в плащ-палатку. Он слабо взвизгнул, но, получив удар прикладом автомата, затих и только стучал зубами от страха. Они суетились вокруг него, как пауки вокруг мухи, попавшей в паутину. Переворачивали его с боку на бок, крепко связывая и подавая друг другу концы

¹ Франц, где ты? (нем.)

веревки, которой стянули ему и ноги. В брызгах дождя они ощущали тепло своего дыхания. Немец затих, может, потерял сознание.

Перевалив его на другую сторону вала, разведчики поволокли ношу дальше. Теперь следовало поторопиться. Снова колючая проволока, целые спирали колючек, которые так и норовят впиться в одежду. Босые ноги с облегчением погружались в прибрежный ил. «Где укрылся этот проклятый Острейко? Мог бы подать сигнал. Все кусты похожи, один не отличишь от другого».

— Я здесь, — высунулся Острейко из камыша и помог им уложить связанного пленника на дне лодки; голова немца глухо ударилась о доски. «Теперь только добраться бы живыми-невредимыми к своим...»

— Прижми его ногой, чтобы не вывалился, — прошептал Наруг. — Ну, за весла! Если нас снесет ниже позиций батальона, то и свои могут открыть огонь — ночью все кошки серы...

— Сначала надо подняться вверх по реке, — изрек Острейко. — Лучше помучиться у берега с шестом, а потом, как и сюда, поплывем по течению.

Он правил веслом. Залевский опустил руку в воду, она приятно холодила пальцы. Потом нагнулся и осторожно смыл грязь с лица, испытывая облегчение: сердце, подступившее было к самому горлу, снова оказалось на месте, по левую сторону груди.

С немецкого берега взвилась ракета и ударила пулеметная очередь. Они произвольно пригнулись. Им показалось, что их лодка служит хорошей мишенью. Но зеленоватые вспышки гасли в непроницаемой дождевой мгле.

— Бьют вслепую, — прошептал Острейко. — Тоже перепугались.

— Меня прямо мутит, до того курить охота, — вздохнул Наруг. — Ну, взялись за весла!

— Теперь уже можно, — согласился рыбак. — Только не поднимайте весла над водой...

Едва они причалили, как кусты раздвинулись и несколько фигур появилось на берегу. Им помогли втащить лодку.

— Спугнули вас? — узнали они голос поручика Качмарека. — Ничего не вышло?

— Вышло. Доставили «языка», — шепотом отвечали солдаты, которые несли связанного пленника.

— Развяжите ему ноги, — перевел дух Наруг. — Пусть сам идет, нечего с ним нянчиться! Он должен нам ручки целовать, что свое отвоевал. Теперь он в плену. Ему повезло: уцелел!

Вначале они поднимались по тропке, потом шли по лесу. Солдаты, сопровождавшие их, расспрашивали, как все происходило... Тяжелые капли падали с веток, мокрые листья гладили их по лицам. Это тоже было приятно.

В землянке при свете коптящей лампы они «распеленали» немца, стащили с него брезент. Он вытаращил на них глаза, тяжело дыша широко открытым ртом.

— Ты что, самолет сбил, Наруг? — недоумевал поручик. — Это же летчик. На нем мундир Люфтваффе.

Потом он приказал пленному выложить на стол документы. Заглянув в удостоверение, Качмарек вслух прочел:

— Офицерская школа. Латают фронт чем придется. Видно, немцев крепко прижало. Чистая работа, Наруг!

— Служу родине, гражданин поручик, — обнажил он в улыбке некрупные зубы.

Когда они сидели уже в своей землянке и выливали воду из сапог, Залевский нагнулся к Острейко и доверительно спросил:

— Очень боялся? Ведь ждать страшнее всего...

— А ты?

— Я нет. — Он молодцевато тряхнул головой, хотя все, да и он сам, знали, что это неправда.

— Вы что-то долго там возились, — вздохнул Острейко.

— А я, по правде говоря, боялся, — неожиданно обратился к Залевскому Наруг, — что тебя стукнут... И я бы потом всю жизнь упрекал себя... Конечно, когда-то надо начинать, но мне не хотелось, чтобы этот грех оказался на моей совести...

Наруг говорил серьезно, без насмешки, но Залевский разозлился: «Чего ему надо? Ведь он видел меня в деле, убедился, что я не трушу. Кажется, я вовремя пришел ему на помощь».

Он машинально досуха вытирал тряпкой свой автомат, чтобы пятна ржавчины, похожие на запекшуюся кровь, не выступили утром.

Наруг подошел к нему, взял у него из рук оружие. И, показывая на зарубку, вырезанную на прикладе, спросил с издевкой, словно пожалел о недавней искренности:

— А того, второго, которого прикончил этой ночью, не запишешь на свой счет?

— А ну тебя к чертям! — буркнул Збышек и вырвал у него оружие. Повернувшись спиной к капралу, он водил тряпочкой, пропитанной маслом, по металлу.

Солдаты с недоумением прислушивались к перепалке, не понимая в чем дело.

— Может, закурите, ребята? — подсунул им кисет с табаком Бачох. — Пока немцев не разбили, нечего искать врагов среди своих...

Дождь шумел монотонно, и капли, стекавшие по брезенту, прикрывавшему вход в землянку, образовали лужу.

В лесной чаще под брезентовым пологом, за столом (сгодилась дверь от деревенского хлева), к которому пришили кальки и карты, сидела группа офицеров. В тени деревьев ржали кони: как видно, прибыл сам полковник.

Он появился вместе с советским майором. То был офицер связи из артдивизиона. Собравшиеся у стола встали, приветствуя командира полка.

— Садитесь. Прошу записывать. Вот тут перед вами плацдарм. В течение двух недель, несмотря на непрекращающиеся атаки, русские не только удержали его, но даже расширили в юго-западном направлении. Они передают его нам. Мы перебросим туда один полк, который поддержит фронтальный удар и вынудит немцев отойти. Тогда их внимание сосредоточится на вас, — посмотрел он прямо в глаза Поляку, — ибо завтра, капитан, вы форсируете Одру. Ваша полоса наступления — от железнодорожного моста до этой излучины... В пять ноль-ноль начнете переправу. Овладев валом, развивайте наступление, чтобы преодолеть канал на Старой Одре.

Наступайте на деревню Цекерик.

Собравшиеся офицеры, склонившись над столом, следили за его растопыренными пальцами, которыми он очерчивал поле завтрашнего сражения.

— Первым наносит удар ваш батальон, за ним, по мере того как сопротивление будет возрастать, мы введем в бой остальные. Вопросы есть?

Капитан Поляк почесал за ухом, сбив фуражку набекрень, и спросил:

— Будет ли артподготовка?

— Нет, — резко повернулся к нему полковник. — Мы используем фактор внезапности. Артиллерия поддержит вас в том случае, если вы наткнетесь на непреодолимые препятствия.

— Наверняка наткнемся. Немцы пишут в своих листовках: «Одра — река жизни немецкого народа!», «Ни шагу назад, держаться до конца!»

— С их точки зрения, пожалуй, так и есть... — сказал полковник; его мясистая физиономия выражала спокойствие и упорство, так что присутствующим показалось, будто он знакомит их с решением командования дивизии, которое, всесторонне взвесив все возможные сюрпризы противника, избрало наиболее оптимальный вариант.

— Перед вами, — разъяснял он, — семьдесят пятый гренадерский полк, основательно потрепанный, пополненный старичками из ландштурма; офицерская школа Люфтваффе, артбригада, несколько танковых рот, но там водные преграды, и танки не явятся для вас особой помехой. Внезапность удара должна быть основным вашим козырем.

— Тут нет ничего мудреного. Проблемы возникнут на той стороне. Наши артиллерийские наблюдатели будут наготове. Скорректируют огонь и уничтожат укрепления, которые окажутся вам не по зубам. Лодки и понтоны саперы уже свозят в прибрежные заросли.

— Ну, а теперь за победу!

Адъютант свернул карты. Штабной писарь наполнил хрустальные рюмки, наверняка извлеченные из помпезного буфета в одной из покинутых хозяевами вилл на окраине Колобжега.

— За победу! — чокнулся с полковником капитан Поляк, осушил рюмку и, шумно выдохнув воздух, произнес:

— Крепкий самогон!

— А ты надеялся, что это мартель?

Они закусывали тушенкой, подернутой желтым, как янтарь, желе, отщипывали хлеб, подхватывая вилками из глубокой тарелки квашеную капусту.

— Ну, по второй, чтобы дело не хромало!

— Звенит, как колокольчик, — щелкнул ногтем по пустой рюмке капитан Поляк. — Ну, наполни бокал! И простимся...

Секундная стрелка размеренно приближалась к назначенному часу. Пять ноль-ноль. Капитан протянул руку за спину, радист подал ему заряженную ракетницу. Они стояли в тени, под деревьями, так, чтобы в два прыжка достичь лодки, полной солдат. Только раздвинутые кое-где камыши указывали на то, что батальон готов начать переправу.

Над ветками затопленных половодьем лоз белела на рассвете Одра, по ее зеркальной поверхности стлался редкий туман, словно дым над едва тлеющим костром.

Поручик Качмарек снова и снова поглядывал то на свои часы, то на небо, то на противоположный берег, безжизненный и страшно далекий.

Фрончак опустил руку в воду и торопливо перекрестился. Бачох последовал его примеру.

— Чертовски холодная, — содрогнулся он.

— Сейчас тебе станет жарко, — утешил его капрал Наруг, вставляя диск в свой ППП.

Солдаты, пригнувшись, держали поднятые кверху весла, чтобы рывком выйти из укрытия. Каждый из них испытывал нетерпение; слишком медленно приближалась решающая минута. Воображение рисовало им заранее пристрелянные орудия, сотни солдат, которые припадут к бойницам и длинными очередями перепашут бурую воду.

Будто клочок красной ваты, высоко в небе вспыхнула ракета.

— Отчаливай! — крикнул поручик.

Из прибрежных кустов и камышей, из зарослей аира вынырнули лодки, гребцы упрямо разрезали веслами воду. Понтоны немного отставали. Немецкий берег все еще молчал.

Они успели пересечь Одру более чем на две трети, когда первые снаряды прошуршали по небосводу и с треском разорвались на берегу, который они уже покинули. Взметнулись фонтаны грязи, и так тоскливо завывли осколки, что у солдат пошел мороз по спине.

Они гребли с ожесточением. Но эти неуклюжие, перегруженные лодки тащились страшно медленно.

Белыми гейзерами, искрящимися столбами воды вздымались посреди реки разрывы снарядов. Вздыбилась, заходила ходуном вся поверхность Одры. Внезапно в багровой вспышке огня мелькнули обломки досок, клочья человеческих тел, разбитая лодка исчезла, только вода покраснела от крови да конфедератка с орлом, медленно крутясь, поплыла по течению.

Теперь уже и пулеметные очереди полоснули по воде, подбираясь к понтонам. Какой-то солдат перегнулся и молча скользнул за борт, пошел на дно.

Со всех лодок отозвались автоматы. Солдаты вели огонь больше наугад, стрельбой заглушая собственный страх.

— Быстрее, быстрее! — кричал Наруг. — К берегу! Оставить лодки!

Они соскакивали в реку, брели к берегу по колено в воде, только бы добраться до зарослей ивы, припасть грудью к земле и взять на мушку замаскировавшегося врага.

— Не залегать! Вперед, ребята! — выкрикнул поручик Качмарек. Пригнувшись, он раздвинул ветки, покрытые густой листвой, и нырнул в кусты. Пригорок слегка понижался, и скоро сквозь листья блеснула вода. Это был всего лишь остров, невысокий холм, затопленный весенним разливом Одры.

Перед ними баррикадой вставал поросший травой вал, из отрытых ячеек торчали горшкообразные немецкие каски.

— Бей по ним! — приказал поручик Валясеку. — Расчисти хотя бы небольшой проход, а мы сделаем бросок вперед. Иначе нас всех здесь перебьют!

Они скользили по заболоченному перешейку, пули вокруг предостерегающе свистели. Какой-то пулемет резанул с фланга, словно колотил палкой по листьям.

«Только бы их поднять, — с отчаянием подумал поручик. — Только бы пошли за мной...»

Он выскочил на открытое пространство. В лучах солнца сверкала вода, взбаламученная ногами бегущих. Из-за рва, кувыряясь, летели гранаты, поблескивали светлыми деревянными рукоятками.

Когда одна граната плюхнулась в грязь у самых ног Бахоча, тот машинально схватил ее и отбросил на гребень вала. Взрыв вырвал куски дерна, швырнул ему в лицо горсть песку...

Солдаты уже карабкались по склону вала. Немцы как бы притихли.

Збышек Залевский высунул голову. Перед ним был брошенный окоп, на склоне валялся труп немца с широко раскинутыми руками, чуть пониже его пулемет с упруго изогнутой металлической лентой, оцетинившейся неиспользованными зарядами.

Внизу он увидел немцев, которые перебегали с места на место. Открыл огонь, но безуспешно, они исчезали, как бы проваливаясь сквозь землю. «Там должны быть окопы... Черт побери, сколько колючей проволоки! Если дадим им время опомниться, то без артиллерии их с места не сдвинуть», — мелькнула у него мысль.

Он устремился вниз по склону холма. Бежал зигзагами, инстинктивно ища прикрытия. Он был не один, через вал перекатывалась цепь наступающих. Общее возбуждение захватило его — штурм! Из дзотов неожиданно полыхнули багровые языки разящего огня. Воздух наполнился криками и столами.

Поручик Качмарек с вершины вала оценил создавшуюся ситуацию. С немецкой стороны оглушительно грохотали орудия, артналеты следовали один за другим. Немцы вели заградительный огонь по правому берегу, там стеной поднимался черный дым. Горько было видеть это.

«На подкрепление рассчитывать нечего. Мы отрезаны. Надо переть вперед, захватить плацдарм, какой удастся, залезть в неприятельские блиндажи, окопаться, пустить корни и держаться. Завладеть

плацдармом. Отсюда начнется прорыв немецкой обороны. К вечеру подоспеет помощь...»

Он видел, как из неглубокой лужи выступают ползатонувшие тела павших солдат. Из-за острова саперы тянули понтон с противотанковым орудием. Им пришлось влезть в воду, так как понтон увяз на илистой отмели, намытой течением.

— Давайте сюда! — призывал их Качмарек взмахом руки.

Но легко сказать — давайте...

Сбившись в кучу, хрипя от натуги, солдаты пытались выкатить орудие. Снайпер, засевший на взорванном мосту, сразил капрала, который волок ящик со снарядами. Крышка отскочила, и снаряды легко покатились вниз, исчезая в мутной воде, она поглощала их бесследно.

Орудие соскальзывало. Наконец пушку все-таки дотащили. Орудийный ствол как бы с любопытством выглянул на другую сторону вала.

— Укрепи получше станины, — захрипели голоса, — иначе после первого же выстрела придется нырять за ним!

— Держите, я вижу дзот...

— Ослепи его, это оттуда косят наших ребят! — снова раздались сдавленные голоса.

— Надо спуститься за вал, тут мы на виду! Еще накроют!..

Наводчик установил прицел. Звякнул орудийный замок, резко ударил выстрел, после чего орудие перетащили за вал, там оно само покатило вниз — нужно было даже удерживать его, упираясь ногами в землю. Солдаты каблуками вспахивали склон, вцепившись в веревки и щит орудия.

Залевский, не слыша воя снарядов над головой, проскользнул сквозь проволочное заграждение. Из развороченной бойницы дзота вился голубоватый дымок.

Немцев выкуривали гранатами. Солдаты прыгали им на головы, дерущиеся стреляли в упор, почти упираясь друг другу в живот стволами автоматов. Наступление еще продолжалось.

Они шли вперед! Первая оборонительная линия была прорвана.

Артиллерия противника больше им не мешала, они были слишком близко от немцев. Снаряды делали перелет, вздымая над рекой фонтаны воды и грязи.

Капитан Поляк сидел на корточках рядом с радиостом, внимательно разглядывая предполье. Противник продолжал оттуда интенсивный обстрел. Огонь извергали пригорки, маскирующие пулеметные гнезда, кусты, которые скрывали позиции пехоты.

«Без поддержки артиллерии этот орешек не разгрызеши!»

«Только бы, не дай бог, они не ввели в действие танки!»

«Они уничтожат нас. Сбросят в реку и будут добивать, как уток. Ни одна живая душа не уйдет оттуда!»

Разноцветные дымы ракет медленно плыли над рощами. Небо очистилось, ясное и равнодушное к земным делам.

— Давай! — потянулся он к трубке полевого телефона. — Товарищ нуль-первый! Я прошу огня! Я не могу продвинуться вперед! — прохрипел он. — Я прошу огня! Что вы? Как же назад?

Горестное недоумение отражалось на лице капитана, когда он вернул радиосту трубку таким жестом, словно она стала настолько тяжела, что он не мог ее удержать.

Орудие с фланга еще продолжало вести огонь по пулеметным гнездам, разворачивая кусты; со свистом скручивалась колючая проволока, обрывки которой, раскачиваясь, блестели на солнце.

Станковый пулемет противника пробил щит орудия, наводчик свалился, закрыв лицо руками, из раны на подбородке сквозь пальцы текла кровь.

Подносчик снарядов припал к раскаленному орудийному замку, и только дырка в его каске говорила о том, что его уже нет смысла поворачивать лицом к свету.

У дзота стоял еще один, зацепившийся за проволоку, убитый солдат, тело его содрогалось. Он словно бы принимал на себя огонь, заслоняя от пуль товарищей.

Надсадным уханьем, вдавливавшим в землю грохотом разрывов завершались залпы тяжелой артиллерии. По польскому десанту вели огонь несколько дивизионов. Солдаты чувствовали, как под ними

сотрясается земля, будто сама охваченная ужасом от этой огневой жатвы. Были осколки и тяжело, как ножи, врезались в луговую траву, швыряя в лицо наступающим горсти песка и ослепляя их дымом. Кисловатый привкус его оседал на языке, вызывал жажду. Им невыносимо хотелось пить! Пот грязными струйками катился у них по вискам, разъедал глаза.

Они почти оглохли. И продолжали стрелять, как в забытых.

— Отходить! Передай по цепи! — прокричал в ухо Острейко сержант Валясек. Ему пришлось схватить солдата за плечо и рукой показать назад, чтобы тот наконец понял, в чем дело.

— Куда ты стреляешь? — прикрыл рукой Бачоха глаза капрал Наруг. — Что ты там увидел?

— Они, там... Они бьют по нашим, поэтому я в них, — заикался тот, ошалело поливая вслепую из автомата.

— Береги патроны! Бей, когда враг покажется из окопов!

И тут случилось то, чего больше всего опасался капитан Поляк: среди деревьев показались два танка. Значит, у немцев были танки на этой стороне Старой Одры, может, их перебросили сюда по какому-нибудь мосту.

Танки двигались на позиции роты, которая успела окопаться, они шли, не обращая внимания на пулеметные очереди, которые безуспешно барабанили по их бронированным башням, лишь высекая из них искры.

— Отходить! — кричал Наруг.

Однако никто не в состоянии был даже пошевелить головой, над окопом стоял сплошной вой. Из-за кустов появилась немецкая пехота в маскхалатах.

— Бей немца! Теперь цель перед тобой, — пытался увлечь Войтек Бачоха, который только что вставил новый диск.

В этот момент единственное их оружие полыхнуло огнем, и они увидели, как лопнула гусеница, а танк завертелся на месте, однако не горел... Башня развернулась, и снаряды ударили по окопу, солдаты откатили пушку, ища позицию лучше.

— Им не управиться, — кусал пальцы Острейко. — Его, гада, надо руками за горло взять...

— У тебя есть гранаты? — шарил вокруг себя пригнувшийся Залевский. — Давайте, я пойду.

Он связал гранаты проволокой и пополз к кустам, за ним, воодушевленный его примером, рванулся Ковалик и тут же упал, прошитый пулеметной очередью.

— Пан поручик! Наши устанавливают над рекой дымовую завесу! — закричал Фрончак. — Помощь идет!

— Чепуха! Отходить! Они хотят прикрыть нас!

Залевский был уже возле танка, когда противник обрушил новый шквал артиллерийского огня на узкий клочок земли, захваченный поляками, решив превратить его в сплошную братскую могилу.

— В лодки! Всем в лодки! — приказал старшина роты. — Бросьте этот ящик! Жизнь важнее! Бегом!

Возле танка что-то глухо грохнуло. Он вдруг словно бы подскочил и весь окутался пламенем. Бачох успел заметить, как Залевский скатился в заросли, и его тотчас накрыло черной волной, вздыбленной взрывом земли.

— Конец, — сморщился Бачох, точно собираясь расплакаться. — Разорвало его...

Немецкие танкисты выскакивали один за другим. Бачох притаился и послал вслед каждому по несколько метких пуль. Из танка текла горячая солярка. Один немец, видимо раненный, пытался отползти в сторону, однако багровые языки пламени расползались по его пропитавшейся маслом кожаной куртке. Он вспыхнул...

Бачох не мог вынести этого зрелища и добил раненого короткой очередью. Пусть не мучается.

— Отходить!

— Подобрать раненых и в лодки! — звучали команды.

— Не оставляйте меня, братцы! — голосил долговязый усатый артиллерист, единственный, кто уцелел из перебитого орудийного расчета. — Помогите... Я потерял много крови...

Его подхватили под руки и поволокли на вал.

— Где Залевский? — допытывался Наруг.

— Он бросился под танк, — нехотя отозвался кто-то. — Видно, получил свою порцию.

— Иначе бы он приполз...

Никто, однако, не порывался высунуться из-за укрытия, каким являлся вал. Пули со стуком впивались в землю или жалобно взвизгивали над самыми касками солдат.

Войтек, пригнувшись, скатился на другую сторону вала и побежал, переваливаясь с боку на бок. Когда осколок с шипением пронесся слишком близко, он на мгновение приседал. Казалось, он от них уклоняется, как от камней, которые бросают в него хулиганы.

— Вернись! Наруг, возвращайся! — гремел за ним голос Качмарека, но грохот разрывов заглушал эти крики.

— В лодки! — подгонял он солдат. — К реке! Бегом к реке!

— Я еще подожду, — сказал Бачох и перезарядил ручной пулемет. Нажал на спуск, проверяя, хорошо ли подает патроны диск.

Немцы сновали в кустах. И Бачох стрелял, тщательно прицеливаясь. Когда гитлеровцы проскальзывали в недавно оставленные ими траншеи, он не был уверен, попадал ли, так как в щелях дощатой обшивки все больше появлялось вспышек. Немцы отвечали огнем.

Капрал направился к танку, внутри которого весело, как дрова в печи, трещали патроны. Дым прикрывал разведчика.

Залевский лежал, скорчившись, полужасыпанный землей. Войтек ощупал его, перевернул на бок. Тот был еще теплый... Впрочем, припекало солнце. Капралу показалось, что жилка на шее у Збышека слегка пульсирует. В нем теплилась жизнь, как тиканье в часах, когда их встряхнешь. Надо забрать его. Войтек взвалил безвольное тело на спину, придерживая за свесившуюся руку. Вскинул его на себя, опершись о ствол поваленной вербы, как мешок с зерном. Оно казалось невыносимо тяжелым. Войтек чувствовал, как теплая кровь из рассеченной щеки Збышека капает ему на шею... Жив, пожалуй. Капрал, однако, помнил, что и раны убитых долго кровоточат...

От берега уже отваливала последняя лодка, а Бачох все еще продолжал стрелять. Оставаясь на валу, он по-

ливал врагов из своего «дегтярева», меняя позицию.

— Михал, — крикнул Наруг, с трудом распрямляясь. — Помоги, браток!

Но двое уже выскочили из лодки и помогли капралу дотащить безвольное тело, они брели в камышах, шумно разбрызгивая воду, пока ни свалили ношу на мокрые доски.

Бачох подал свой пулемет, уцепился за нос лодки и с трудом забрался в нее, так как вода уже доходила ему до груди.

Камыши за ним сомкнулись.

Еще один солдат прыгнул в реку. Продолжая плыть, он сбросил с головы каску, но никак не мог справиться с намокшей шинелью. Он уже почти уцепился за борт рукой, его подхватили под локти и стали подтягивать, когда автоматная очередь полоснула его по спине, так что кровь фонтаном ударила из рта... Товарищи выпустили его, и тело сразу же скрылось под водой, и та, омыв раны, только слегка порозовела.

— Быстрее! Дружно! — командовал капрал, подгоняя гребцов.

Их обволакивала сгущавшаяся пелена дыма, висевшая над руслом Одры, подобно траурной вуали.

Немецкая артиллерия была вслепую. Солдаты пригибались, когда по воздуху со зловещим шумом проносились тяжелые снаряды, падая в воду. Поверхность реки неожиданно вздыбливалась стеклянными горами, лодка кренилась, но упорно продолжала плыть дальше.

Высокий берег был в дыму. На нашей стороне пылал подожженный вражеским обстрелом лес. Усиленные эхом, среди деревьев непрерывно прокатывались взрывы.

С огромным облегчением чувствовали они, как их хлещут по лицу сырые стебли камышей, как шуршит лодка по песчаному дну. Выскочив на берег, солдаты ухватились за борт и вытянули плоскодонку на сушу.

— Возьмите его, — распорядился Острейко, — сердце у него бьется, я слышал. Его оглушило, как рыбу, но он выживет.

Неумело, но заботливо солдаты подняли Залевского, обвисшего у них на руках. Уложили на шинель и

тяжело побрели по заливному лугу. Так возвращаются шахтеры на рассвете, сплевывая черную от угольной пыли слюну, когда внезапный обвал помешал им вытащить из-под рухнувшего угольного пласта своих товарищей.

В блиндаже, где размещалось командование полка, горели две лампы. Полковник сидел за столом, перед ним возбужденно расхаживал, словно собираясь бежать к своим солдатам, капитан Поляк.

— Задачи мы не выполнили, товарищ полковник!

— Задача выполнена, — поднял голосу командир полка. — Немцы открыли огонь из всех батарей, обнаружили свои огневые точки. Это нам и требовалось. Подготовь списки особо отличившихся для представления к награде.

— Нет! Не могу!.. Не буду этого делать...

— Что случилось? Чего ты взбесился?

— Они заработали другие кресты. И остались на поле боя...

— Сколько погибло?

Поляк стремительно повернулся, его широкое лицо исказилось гримасой боли и внезапного гнева, словно он только теперь понял, с какой целью его рота была брошена первой.

— Четырнадцать.

— А раненых?

Капитан Поляк сорвал с плеч плащ-палатку, скомкал ее и в бешенстве швырнул на землю.

— Двадцать шесть!..

— А ты успокойся! Думаешь, мне их не жалко? Но ведь кто-то должен был это сделать. Вот цена, которую пришлось заплатить, чтобы завтра тысячи таких парней, как они, могли переправиться. Они переправятся без потерь.

— А вы знаете, сколько у меня народу осталось?

— Знаю. Поэтому, прежде чем подбросят пополнение, вы пойдете во втором эшелоне.

Капитан оперся руками о стол, его тень навалилась на сидящего полковника.

— Какой еще второй эшелон?

— Во втором эшелоне, чтобы передохнуть.

— Да вы что, товарищ полковник! Когда до Берлина осталось всего несколько километров, вы хотите перебросить нас во второй эшелон? У меня раненые не уходят в санчасть... Я вас очень прошу, не надо мне никаких крестов, дайте нам первыми войти в Берлин!

Он, видимо, был крайне возбужден, так как поднес к козырьку всю ладонь, — по-русски.

Полковник только кивнул головой в знак того, что все понимает и его просьбу принял к сведению.

Он долго следил за колеблющимся брезентовым пологом, пока тот не застыл неподвижно. Немецкие орудия одно за другим умолкли. Вокруг ламп кружились мелкие лесные мошки. Опаленные, они неслышно падали на развернутую карту.

Полковник потер пальцами воспаленные веки. Потом подошел к выходу. Глубоко вдохнул душистый аромат хвои и молодой листвы. Громкое кваканье лягушек из окрестных болот сливалось с далекими пулеметными очередями.

Он поднял голову. На востоке облачками светящихся снежинок мерцали знакомые звезды. На западе, за стеной леса, что-то вспыхивало, озаряя небо. Немцы все время были настороже; время от времени вверх взмывали ракеты.

Неожиданно до него донесся громкий гул моторов. Он прислушался. Где-то на большой высоте шли эскадрильи бомбардировщиков — шли на Берлин.

— Это наши, — уверил его адъютант, задирая голсу, — везут немцам подарки.

— Вот так, хотя и медленно, вершит свой суд история. Война возвращается туда, откуда разнесли ее по миру...

Они подождали, пока гул моторов растаял в легком шелесте сосен.

— Пойдемте! У нас еще масса работы! — напомнил ему адъютант, загасив сигарету. — Как только рассветет, мы ударим. Надо думать, все пойдет хорошо, хотя район — крайне сложный: каналы, деревушки, превращенные в опорные пункты... И, кроме того, надо признать, немец — стойкий солдат.

— Мы тоже уже кое-чему научились. — Полковник положил ему руку на плечо и шепнул: — Знаешь по-

следнюю новость? Скончался президент Рузвельт. Власть принял Трумэн.

— Это может что-то изменить?

— Нет. Уже не может... Мы все равно будем первыми. И подумать только, что русские так долго одни удерживали фронт в Европе. Запад недооценивал их. Теперь они также окажутся первыми в этом марше на Берлин, возьмут Гитлера в плен. Будет создан международный трибунал, — размышлял он, предугадывая будущее. — Должны его повесить как преступника.

— Только бы он не ускользнул, только бы попался нам в руки, чтобы можно было посадить его в клетку, как дикого зверя... Сами немцы расправились бы с ним, наконец-то они чувствуют на собственной шкуре, до чего довел их этот бесноватый.

Из темноты слышалось ржание и топот стреноженных обозных лошадей. Чей-то нетерпеливый голос спрашивал: «Где полковник?»

— Пора! Мы достаточно отдохнули. Время начинать совещание.

Они двинулись в ту сторону, откуда слабой полоской, как бы от самой земли, прсбивался свет ламп из штабной землянки.

Остатки разведроты расположились под деревьями. Солдаты ждали прибытия походной кухни, хотя желание есть у них пропало, их тела, как свинцом, налитые усталостью, жаждали только отдыха. Стоило им расстегнуть воротники и отпустить поясные ремни на три дырки, как они погружались в полную сновидений дрему.

Будили их голоса раненых, у которых сержант Валясек отбирал оружие. Прихрамывая, опираясь, словно на костыль, на свежесрезанные палки, они потянулись к санитарной машине.

Трое убитых, с головой накрытые одеялом, запятнанным запекшейся кровью, спали вечным сном, прижавшись друг к другу, как озябшие братья.

Залевский лежал, уронив голову на колени старого Острейко, который веткой сгонял мух с его поцарапанного лица.

— Ну, чего ты вертишься?

— Голова раскалывается, — зажмурил Залевский веки. — Солнце режет, как ножом.

— Тебя засыпало: рядом разорвался снаряд, здоровый, словно теленок.

— Поблагодари капрала, что вернулся за тобой! — вмешался сидящий рядом Бачох. — Мы уже отчаливали.

— Наруг?

— Нет, Святой Николай, — потешался над его несообразительностью Фрончак. — И, как видно, съездил тебя по башке своим посохом.

Залевский с трудом приподнялся, прислонился к дереву. Смотрел, как спят под кустами солдаты, с торожно-белыми стопами.

Подошел плотник, с глухим стуком сбросил на землю охапку только что сбитых березовых крестов.

Збышек, спотыкаясь о спящих, шел зигзагами, наконец заметил капрала, который, разбросав ноги, похрапывал на ворохе соломы в выпряженной повозке. Козырек конфедератки сдвинулся на нос, и Войтек посвистывал сквозь ощеренные зубы.

Залевский хлопнул его по колену, однако капрал только лягнул ногой. Тогда он стал трясти спящего до тех пор, пока тот не сел и не захлопал глазами, как сова.

— Чего ты меня треплешь, как собака нищего? Спать не даешь...

— Хотел поблагодарить тебя, что ты меня вытащил.

— А ты что? Хотел там остаться?

— Одурел, что ли? Ведь тебя могли кокнуть!

— Вытащил тебя, потому что вижу — цел, думаю: еще пригодишься. Отправляйся спать, пока есть возможность.

— Ты порядочный стервец, Войтек, но я тебя люблю!

Они крепко обнялись, припав друг к другу небритыми щеками. Это было грубоватое мужское примирение.

— Если хочешь, устраивайся на соломе, — предложил Войтек, — мне все равно пора в кусты, а потом

еще надо оглядеться, поразнюхать, что нам готовит начальство.

Он старательно, с большой сноровкой обернул ступню портянкой и сунул в непросохший ботинок. Збышек сел в повозку, проводил отходящего взглядом, а потом, словно подкошенный, свалился на солону. От нее пахло хлебом. Залевский зажмурил глаза и заснул с таким чувством, будто он снова в родной семье.

Полковник неожиданно обрел спокойствие, свет ламп озарил все до единого лица, люди собрались в полном составе, он мог начинать, настала пора отдавать приказы — бесспорные, четкие, запоминающиеся, вызывающие упорное желание действовать.

— Первая пехотная дивизия, вместе с восьмым инженерно-саперным батальоном, форсирует реку Одру на участке: высота пятьдесят один — Цекерик, занимает плацдарм на западном берегу и на два километра продвигается в глубь оборонительной полосы противника.

Принято решение: первый полк форсирует Одру в составе первого эшелона. Задача — овладеть высотами над Старым Каналом и закрепиться в деревне Альт Рудниц.

Головы офицеров склонились над оперативными картами, которые были сложены узкими полосками, и придвинуты к самым лампам.

— Артиллерия! — произнес командир полка таким тоном, словно уже непосредственно переходил к повестке дня. — Ваши задачи: подавить и уничтожить огневые средства противника, не позволяя им, после того как их прикроют своим ударом наши артдивизионы, менять свои позиции. Рассеять и парализовать противника как на переднем крае, так и в ближних тылах. Сопровождать огнем наступающую пехоту на глубине до двух километров... Артиллерийским наблюдателям находиться в боевых порядках.

Саперы обеспечивают переправу дивизии, поддерживая непрерывную связь не менее чем на пятидесяти лодках... Их задача — оперативно навести понтонный мост и сразу же переправить танки и дивизионную артиллерию.

В воцарившейся тишине послышались вдруг какие-то голоса. За приспущенной занавеской часовой пытался кого-то задержать.

— Гражданин полковник, срочно из штаба дивизии, — доложил связной, протягивая командиру запечатанный пакет. Только нижняя часть его лица, мальчишеский подбородок, выступала из густой тени, которую отбрасывала каска.

Полковник вскрыл пакет охотничьим ножом, извлек приказ, кальки и карты. Он быстро ознакомился с содержанием документов.

Все глядели на него в напряженном молчании.

— Офицеры, друзья, — торжественно начал он, — завтра, шестнадцатого апреля, в четыре тридцать начинается наступление... Итак, — он взглянул на циферблат, — в нашем распоряжении шесть часов. Не так уж много... Совещание окончено. Желаю удачи.

Все расходились, обмениваясь рукопожатиями, как бы присягали, что будут поддерживать друг друга. Землянка опустела.

Полковник видел, как папиросный дым, собравшийся под дощатым потолком, клубами выходит через отогнутую занавеску.

— Может быть, чаю? Стакан крепкого чаю вам не повредит... — предложил адъютант.

— Ты прав, — поднял голову полковник. — Давай чаю.

Разведрота в полной выкладке, с оружием, бережно покоящимся на коленях, сонно слушала, как старшина Валясек с трудом читал только что полученный текст Обращения...

Небо было ясное, и встающее солнце, освещая противоположный берег, било немцам прямо в глаза. С деревьев падали тяжелые капли росы. Скатываясь по солдатским каскам, они повисали на краю, как на кончике носа.

— «...Славой завоеванных побед, своим потом и кровью вы заслужили право на то, чтобы участвовать в разгроме берлинской группировки врага и штурме Берлина. Доблестные воины...» — Валясек поглядел на побледневшие, осунувшиеся солдатские лица и неожиданно рывкнул: — Чего вы разлеглись, как беременные

бабы! Я хочу видеть доблестных воинов! Я вам тут не сказочки почитываю, а исторический приказ! Нечего спать, а то всех поставлю по стойке «смирно»...

— Мы не спим, пан сержант, а просто прикрываем глаза, потому что так лучше думается, — защищался Фрончак. — Мы и так знаем, куда нас направляют...

— Кто хлебнул горя, у того не сон на уме.

— Молчать! «Доблестные воины! — торжественным тоном продолжал Валясек. — Вам предстоит внезапным ударом взломать оборонительные линии врага и уничтожить его. Вперед, на Берлин!

Командование Первого Белорусского фронта».

— А теперь встать, спуститься к воде... — приказал поручик Качмарек. — А каски советую на голову надеть. Они предназначены не для того, чтобы прикрывать пупки!

Он знал: сейчас солдаты послушно наденут каски, а в лодках снова снимут, потому что каска — лишний балласт и, если придется прыгать в воду, потянет на дно... На учениях они были в касках, но в настоящую атаку шли в конфедератках.

— Собрать лодки! — прозвучала команда.

Разведчики увидели, как саперы ловко монтируют лодки, закрепляя крюками борта на петлях. Другие вшестером уже тащили через кусты наскоро сколоченные плоскодонки.

— Тяжелые гробики, а? — пошутил Залевский.

— Типун тебе на язык! — суеверно сплюнул Острейко. — Лучше не искушай судьбу!

Они миновали тесно установленные на поляне орудия. На брезенте, прикрытые ветками, высились штабеля снарядов. Орудийные стволы медленно поднимались.

— А порядочно подвезли за ночь, — подивился Бачох. — Сейчас они устроят немцам такой подъем, что те с кроватей попадают!

— Который час?

— Как услышишь первый залп, можешь проверять часы, — заверил Войтек Наруг, который, пригнувшись, подбежал к ним. — Сначала их помолотят, перепашут им загон, как кабаны, а потом и наш черед наступит.

— Долго нам ждать?

— Еще будет на что посмотреть, не соскучимся...

Они спускались гуськом по узкому проходу, образованному руслом ручья, впадающего в пойму Одры. Склоны овражка поросли молодым ольшаником, листья которого еще хранили весеннюю свежесть.

С пронзительным шумом над деревьями пронеслись ракеты, выпущенные «катюшами». Вспоротое небо, казалось, начало кровоточить. И сразу же вслед за этим зазвучали на польском и русском языках команды, которые отдавались на батареях, поставленных посреди поляны.

— Огоны!

— Ognia!

— Огоны!

— Ognia!

Солдатам показалось, что высота раскололась и начинает сползать вниз, уходя из-под ног. Заколыхались кроны сосен, облаком взвились вверх сорванные листья.

Противоположный берег дымил, как вулкан, там гремело и грохотало, вставали черные клубы копоти, подбитые снизу языками пламени. Снаряды ложились так густо, что слышен был только грохот вздымаемой земли и свист проносящихся по небу ракет.

— Ну и врезали им, — радовался Острейко. — Оттуда ни одна живая душа не уйдет.

— Да, что-то они притихли, — рассуждал Фрончак. — Должно быть, русские им дали по зубам...

— На нашу долю немного осталось. Там теперь, пожалуй, сплошная братская могила!

— Не волнуйся... Как перенесут огонь подальше, а ты подойдешь, они повылезут из нор и пальнут в порядке приветствия, — успокоил его Наруг. — Мы еще упаримся, как мужики на молотье.

Они садились в лодки, укладывались возле пулеметов. Ждали только сигнала, чтобы двинуться.

— Отваливай! — крикнул капитан Поляк и выпустил ракету.

На реке сделалось тесно от лодок, которые выплывали из заводей, из камышей, ломая душистые стебли аира, почти прозрачного в лучах солнца.

Залевский, ощутивший страх, теперь яростно греб, угадывая силу удара. «На этот раз нас уже не сбросят», — разгребал он воду, закусив губы.

В облако дыма, которое висело над немецкими оборонительными линиями, вонзались алые острия ракет. Там должен быть настоящий ад. Они получили то, что им причиталось. За вчерашние жертвы, за Варшаву, за сентябрь тридцать девятого года, когда у немцев было такое превосходство, что они весь мир в грош не ставили.

Рядом с ними в воду плюхнулся снаряд, и вверх взметнулся свистящий фонтан грязи.

— Еще огрызаются! — удивился Острейко. — Стойкие, гады!

— Нажимай на весла! — покрикивал капрал Наруг. — Дай-ка мне, что-то у тебя слабо получается!

— Весло такое, — недовольно засопел Збышек. — Едва обстругали.

Из-за леса появились самолеты и, пройдя на бреющем полете, скрылись за тучами дыма, после чего послышался стон сброшенных бомб.

— Быстрее! Пока они не пришли в себя, — шипел Наруг. — Не давать немцам опомниться!

Несколько снарядов разорвалось посреди реки. На понтоне с орудием какой-то солдат страдальчески вскрикнул, взмахнул руками и, не найдя никакой опоры, рухнул в воду.

— Этот уже готов! — мрачно констатировал Фрончак.

— А ты откуда знаешь? — удивился Залевский. — Если его вытащат, то, возможно, еще спасут...

— Не видел, как смерть его выпрямила. Должно быть, здорово кольнула его косой... Прямо на небо вознесся!

— Вы что болтаете, как старые бабы на заутрене! Навались на весла! Раз, два! Раз, два! — поторапливал их капрал.

Лодки неслись подобно лавине, они уже подплывали к островку, где вчера кипела рукопашная схватка. Один убитый лежал в илистой воде, только стертые подковки сапог поблескивали на солнце. Может, это кто-то из их роты, или же Одра принес-

ла его сюда откуда-то издалека... Лучше не думать об этом.

Они уже выскакивали из лодок и, разбрызгивая воду, неслись к кустам. Отпечатки следов в заболоченной траве вели к проходам в проволочных заграждениях.

— Вперед! За вал!..

Над их головами нарастал зловеший рокот, звенел вспоротый воздух, — это завершал свой полет крупнокалиберный снаряд.

— Ложись! — бросился на землю капитан. — Ложись, ребята!

Они инстинктивно припали к траве. Гром обрушился на кусты, тоскливо запели осколки. Один шлепнулся около Залевского, зазубренный, как пила, поблескивая рваными краями. Он осторожно поднял осколок двумя пальцами и тотчас отбросил его — металл обжигал руку.

— Вперед!

— Вперед! — Наруг карабкался по откосу. Он первый ворвался в неприятельские окопы. Теперь они увидели сокрушительную работу артиллерии. Беспорядочно торчащие балки разбитых дзотов, черные круги воронок, густо темневшие на лугу. Убитых немцев было немного, зато полным-полно оказалось каких-то документов на вощенной бумаге, стреляных гильз, развороченных ящиков, обрывков окровавленных бинтов — огромная свалка, в какую превращается поле боя.

Издали отозвался пулемет, пули ударили по гребню вала.

— Они еще упорствуют, не желают отступать, — пробормотал Острейко, выглядывая из окопа.

Кое-где между кустами он заметил движение. Узнал голубые мундиры: летчики покидали позиции. Покидали в образцовом порядке, это была добротная солдатская работа. Один пулемет вел огонь, другой в это время менял позицию, чтобы прикрыть отход защитников дзотов.

— Гони их! — приказал Качмарек. — Вперед, ребята!

Пригнувшись, они продвигались короткими перебежками, используя любое прикрытие. Пули свистели

вокруг все чаще, а какой-то миномет начал бить по ним, пока одно из орудий не спугнуло его, заставив сменить позицию.

По перелескам неустанно била артиллерия, огневой вал помогал теснить немцев.

— Ну, как будто получается, — торжествующе усмехнулся Бачох. — Не то, что вчера...

— Не хвастай! — одернули его другие. — Только бы скорее перебраться через канал, там — их вторая линия...

Тропинки через широкий луг тянулись к деревушке, утопавшей в цветущих садах. Немцы ускорили темп отступления и внезапно рассеялись среди домов.

— Бегом! — крикнул капитан Поляк. — Скорее!

— На лугу мы перед ними, как на ладони, — выдохнул сержант Валясек, трюся рысцой. — Только бы добраться до забора и вон тех кустиков!

Едва они достигли деревни, как ударила длинная пулеметная очередь, и они увидели, что пехота, рассеявшаяся по лугу, залегла.

Через головы разведчиков немцы повели прицельный огонь по пехоте, прижатой к земле пулеметной очередью.

— Надо помочь им. — Наруг тыльной стороной ладони отер потное лицо. Волосы на затылке у него слиплись, пот разъедал глаза. — Только осторожно. Помните, ребята: нас ждет Берлин. Не суйтесь под пули!

С чердака кто-то обстреливал луг. Они подползли к самым дверям дома. Залевский нажал на ручку, замок не уступал.

— Может, подорвать гранатой?

— Немца все равно не достанешь, а только спугнешь, — пренебрежительно отмахнулся Багинский. — Его надо брать с тыла...

Приволокли лестницу. Подождали, пока рядом ухнет взрыв, и пробили черепицу. В образовавшуюся брешь Наруг увидел, как рослый эсэсовец, с комфортом устроившись на матрацах, принесенных снизу, тщательно прицеливаясь, стреляет по солдатам, передвигающимся по лугу. Он не выставлял ствол наружу, бил с чердака, поэтому даже вблизи не заме-

тишь вспышки, к тому же нелегко при таком грохоте установить, откуда доносится приглушенный звук выстрелов.

Его черная укороченная курточка (поручик Качмарек называл их «жакетами») чуть задралась. Постреляв, он прихлебывал компот из открытой стеклянной банки. Это пуще всего разъярило капрала: убивая, гитлеровец так себя ублажал! Наруг с упора прицелился врагу в затылок.

— Готово, — произнес он, спускаясь с автоматом по лестнице. — Будем прочесывать дальше...

Гранатами они заставили замолчать надежно окопавшийся пулеметный расчет. Валясек окинул пулемет хозяйским взглядом и взгромоздил его на Залевского.

— Нечего морщиться, своя ноша не тянет. Ты мне в знак благодарности еще ручку поцелуешь.

— Они наверняка готовят нам какую-нибудь пакость, — волновался Острейко. — Слишком все гладко пошло... деревня уже наша.

— Может, на них нажали с флангов, поэтому им пришлось отходить? — едва живой от усталости, Залевский поправил на плече трофейный пулемет.

— До полудня далеко, а мы уже выполнили все, что нам приказано, — с удовлетворением отметил поручик. — Передохните минуту. Перекусите, выпейте кофе, у кого есть. У кого нет — вода в колодце. Сержант, пошлите двоих проверить вон те кусты у дороги... Если что, пусть откроют огонь. И назад... Никакой самодеятельности!

Едва он отправился разыскивать капитана, как солдаты расположились на траве. Достали хлеб из своих вещмешков, штыком вскрыли банку консервов.

— Идите сюда, — позвал их Бачох. — Здесь пиво!

Они поднялись с недоверием: уж не разыгрывает ли он их? Может, и нашел бутылку, тогда все равно спешить нечего.

— Полная бочка! И какое пиво — холодненькое, с такой вот шапкой! — поднял он пенящуюся кружку.

Они прибавили шагу, бросив хлеб и консервы на зеленом столе, опоясывавшем старый каштан, вокруг которого стояли садовые стулья.

Солдаты поочередно подставляли кружки, взятые из буфета, под длинный кран, из которого била пенная струя. Вероятно, здесь раньше был трактир, а в последнее время — солдатская столовая, так как кругом валялись бланки каких-то ведомостей, картонные коробки с сигаретами «Юно».

— Берите, — радушно предлагал всем Бачох, — будет что покурить.

Они принялись запасаться сигаретами.

— Недурное пиво! — обтер Багинский пену с усов.

— Немедленно убирайтесь отсюда! — налетел на них сержант Валясек. — И чтобы я вас здесь больше не видел!.. Откуда вы знаете: а вдруг пиво отравлено?

— Как будто у них было для этого время?

— Такое великолепное пиво, — защищались солдаты. — Да вы сами пригубите кружечку.

— Убирайтесь! Я уже сказал вам раз, и нечего разводить дискуссию!

Они с неохотой выбрались на улицу, подобрали брошенный на столе хлеб и, пожеывая его всухомятку, расположились на траве.

Один только Бачох, сидя на корточках под стойкой, переждал завязавшийся спор и теперь, довольный, что старшина убрался прочь, наполнил до краев кружку и, сдувая пену, с удовольствием потягивал пиво.

— Где там — «отравлено»? Божественный нектар, — в упоении бормотал он. — А теперь можно и закурить...

Неожиданно он услышал вой летящего снаряда, который ударил в чердачное перекрытие. Спастись бегством было поздно, он успел только забиться в самый угол, когда с треском посыпались балки и кирпичи.

Солдаты увидели, как от разрыва трактир развалился. Острейко облегченно перекрестился.

— Видно, наш час еще не пробил... Старшина выгнал нас, будто чувствовал это, — воздал он должное Валясеку.

А снаряды ложились все гуще, они начисто разнесли верх соседнего дома, только огонь сухо потрескивал среди развалин.

— Боюсь, немцы попрут нас отсюда! — выкрикнул Багинский и побежал рысью, согнувшись под тяжестью вещмешка. — Надо окопаться и замаскироваться как следует.

— Подпустить их поближе и забросать гранатами!

— Оседлать дорогу! Не позволим снова сбросить нас в реку! — широко развел руками поручик Качмарек, указывая, как следует развернуться.

От кустов, поминутно оглядываясь, будто немцы гнались за ним по пятам, мчался солдат.

— Танки! — голос у него срывался. — Бронетранспортеры и танки!

— Много их?

— Много... Я не считал, но много. Они появились из-за деревьев...

— Прекрасно, у нас есть оружие, — показал Качмарек на придорожный ров с поваленной вербой. Из-под метелок беловатых снизу листьев выступало оружейное дуло. Расчет залег рядом, надежно укрытый от посторонних глаз. «Но после первого же выстрела они обнаружат себя, а другого такого укрытия не найти. Им придется вести огонь, пока их всех не перебьют. Если только связной не ошибся: ведь у страха глаза велики».

Но, подобно ударам бронированного кулака, по цветущим садам уже начали бить танковые орудия. Снаряды рвались в домах, высаживая окна прямо с рамами.

Залевский высадил ногой две доски в заборе. Он затаился в небольшом углублении рядом со старым Острейко. Немцы пока не появлялись, видны были только башни танков над кустами, их низко опущенные дула изрыгали огонь.

— Они не заметили орудия, — порадовался Збышек удачной засаде. — Почему они не стреляют?

Но как раз в этот момент они слышали, как что-то лязгнуло, и танк затрясся, будто наскочил на препятствие. Второй танк уже огибал его и, как спички, ломая заборы, тащил за собой вывороченные с корнем фруктовые деревья.

Прежде чем артиллеристы успели изменить угол прицела, танк вывернул на них откуда-то сбоку

и навалился сверху, проутюжив орудийный расчет горой металла.

Залевский уронил голову. Он не в силах был видеть гибель боевых товарищей. Из бронетранспортеров выскакивали гранадеры. Рукава засучены, в загорелых руках — винтовки. Они бежали ритмично, поддерживая танковую атаку.

— Бей по немцам, — наставлял Залевского Острейко. — Да выбирай тех, которые с нашивками.

Сам он стрелял редко, но Залевский видел, как дважды падали солдаты в горшкообразных касках, со светлыми черенками гранат за поясом.

— Наши отступают, — бормотал Острейко, — собирайся... Я тебя прикрою. Ну, я ведь постарше. Сматывайся, сынок!

Немцы миновали их. Отделения гранадеров продвигались под прикрытием танков, которые прорвали оборонительные линии поляков, в разрывы вливалось все больше пехоты, ждать было нечего.

Залевский развел в стороны выломанные в заборе доски, одна съехала вниз и зацепилась за ранец. Когда Збышек рванулся, брезентовая лямка лопнула...

— Черт с ним! — Он сорвал с плеча ранец. Обернувшись, Залевский увидел, что Острейко сменил позицию и затаился, как кот, что выслеживает мышь. Он прицеливался из винтовки в проход между горящими строениями.

— Проклятье, только бы мне вернуться с подмогой. — Он бросился через сады. — Ему уже пора отходить!

Залевский передвигался одновременно с наступающими немцами, но те его не видели с дороги: заслоняли изгороди и заросли.

— Я третий, слышишь меня? — долетел до него голос поручика. — Нас атакуют силой до батальона. Да, танки и бронетранспортеры... Я не только их видел... Они давят нас! Хорошо вам говорить: «Продержитесь еще!» Как я могу продержаться без единого орудия? У нас большие потери...

— Танки. Они идут прямо на нас!.. — крикнул связист.

— Тогда улепетывай! — отмахнулся от него поручик. Он еще слышал едва различимый в шуме битвы

голос капитана Поляка: — Марек, передай полковнику: танки прорвали нашу оборону... Огонь всей артиллерии на правый фланг! Мы отходим...

Связист, припавший к дверной фрамуге, неожиданно дрогнул и упал ничком, потянув за собой коробку телефонного аппарата; темное пятно расплылось по его спине.

Залевский бросился было бинтовать его.

— Оставь! — отстранил его Качмарек. — Прямо в сердце...

— Пан поручик, там еще обороняется Острейко, он просит подмогу. Хоть несколько человек...

Поручик взглянул в темные, полные отчаяния глаза парня и крикнул:

— Отступать... Там уже немцы.

Они видели зеленые фигуры, перебегающие совсем рядом. Качмарек выдернул чеку из гранаты и швырнул ее на дорогу под ноги бегущим.

Вместе с Залевским они высочили в сад за домом и еще увидели, как Войтек Наруг, припав к стволу дерева, стрелял через кусты. Два солдата тащили под руки раненого, у того по исцарапанному осколками лицу текла кровь.

— Там Острейко. — Залевский хватал за рукав поручика. — Его отрежут...

— Давай к тем домам, — приказал Качмарек. — Там в беседке — боеприпасы... Набери дисков, сколько дотащишь, и сюда...

Сам он лег рядом с Наругом, тяжело дыша после бега. В руке у Качмарека был автомат убитого связиста.

Залевский послушно бросился за патронами, перемахнул через забор из жердей, разорвав шинель. Навстречу ему попался Валясек с двумя солдатами, которые волкли ящики.

— Залевский, ты куда? Возвращайся на передовую! — рявкнул он.

— Поручик послал меня за патронами...

— А ты что, не видишь? — показал он на ящики. — Мы уже забрали их. Черт возьми, нам бы парочку орудий!

Польская артиллерия целым дивизионом начала бить по краю деревни. Среди немцев возникло

замешательство, но танки упорно шли по лугу. Если они оттеснят пехоту, то всех посекут из пулеметов, превратят в сплошное месиво.

Солдаты это прекрасно понимали. Пути для отступления не было.

Оглушенный взрывом, Бачох наконец пришел в себя, выплюнул набившуюся в рот известковую пыль и медленно приподнялся на колени. Он сообразил, что дом разбит прямым попаданием снаряда и стены рухнули внутрь здания. Ему казалось, что его товарищи все еще отдыхают в саду. Он слышал голоса, но не мог понять, о чем говорят.

Прислушавшись, он уяснил, что оказался в расположении немцев.

В проломе между кирпичами он разглядел Острейко, без ремня, с руками, сведенными на затылке, а рядом незнакомого солдата, который прижимал к груди, как младенца, раненую руку, обернутую тряпьем.

Напрасно Бачох искал свой ППШ: тот остался под развалинами. Его охватили отчаяние и злость, он был беспомощен.

Высунувшись из-за борта бронетранспортера, эсэсовец окликнул гренадеров, которые конвоировали пленных:

— Was machen Sie hier? ¹

— Wir haben die Gefangenen in den Dorf genommen ².

— Ich habe Befehl sie abzuführen ³.

Тяжелая, тупая физиономия под каской не предвещала ничего хорошего. Эсэсовец нагнулся и приблизил к лицам пленных дуло автомата:

— Bist du verrückt? Sofort nach vorn! ⁴

— Jawohl! ⁵ — вытянувшись в струнку, щелкнули каблуками гренадеры и послушно, как дворняги, получив пинка, не оглядываясь, удалились.

Судьба пленных была решена.

¹ Что вы тут делаете? (нем.)

² Мы захватили в деревне пленных (нем.).

³ У меня приказ их доставить (нем.).

⁴ Ты что, свихнулся? Немедленно вперед! (нем.)

⁵ Слушаюсь! (нем.)

Бачох сжался, когда услышал, как полоснула очередь. Потом взревел мотор бронетранспортера.

— Убийцы! — Он подавил беззвучное рыдание. Его глаза, воспаленные от известковой пыли, различили два тела, неподвижно застывшие в траве, перепавшей гусеницами танков. Ветерок перебирал седеющие волосы на затылке Острейко, молодой стрелок подогнул ноги, прижав обе руки к груди, словно пытался задержать пули, которые пробили ему легкие.

— Убивать!.. — В нем нарастала ненависть. — Я должен убивать... Каждого, кто попадет мне на мушку! Нужно избавить мир от этой заразы...

Солдаты сосредоточились вокруг поручика Качма-река. Необходимо было любой ценой удержаться в этих последних полуобгорелых домах, иначе они окажутся на лугу, за которым Одра, уже достаточно щедро напсенная польской кровью.

— Слушай, Войтек! — Залевский никак не мог примириться с тем, что они не спешат на выручку отрезанным от них товарищам. — Может, вот так — по самому краю садов... Ведь Острейко остался там!

— Он нырнет в подвал и отсидится. Мы тоже можем здесь остаться... Если немцы сосредоточат все свои силы, нам не удержаться.

Первые неприятельские танки уже вырывались на луг, немецкая пехота шла, развернувшись широкой цепью, и прочесывала сады.

— Еще не время, ребята, возьмите себя в руки, — напомнил им Качмарек. — Вот когда они перемахнут через забор...

— Огоны! — скомандовал капитан Поляк.

Гренадеры рухнули, как подкошенные, но не всех настигли пули, это было просто произвольное движение, теперь враги переползали от дерева к дереву, все вокруг поливая огнем. Пули буравили догорающие стены домов.

— Сейчас они вызовут танки, — хмуро предсказал Багинский. — Мне-то уже все равно. Ну вот еще один, — приготовился он уложить очередного гитлеровца, взятого на мушку.

Ближайший танк (им отчетливо виден был черный крест, обведенный белой каемкой) развернул свою башню прямо на них. Снаряд, пущенный в окно, прошел дом насквозь и разорвался далеко на лугу.

— Вот дьявол! Я при всем желании не сумел бы так прицелиться, — с восхищением ругнулся сержант Валясек.

— Пан капитан, слева танки! — раздался тревожный голос.

Все повернули головы. По лугу неслась танковая рота, отрезая им все возможности для отступления.

— Видно, придется здесь головы сложить!

— Ничего не поделаешь, — говорили они, как бы ожесточаясь в своем упорстве, продолжали стрелять по приближавшимся немцам. — Но не могут же нас бросить вот так, на произвол судьбы.

— Да это же наши танки! — крикнул обрадованный Фрончак. — Поднимайтесь, ребята, иначе, чего доброго, пустите корни... Теперь уж мы их погоним!

— Приготовить гранаты! Сменить диски, — приказал старшина роты, его лицо заливал пот, словно он только что пил воду из-под крана и не успел утереться.

— Ура! Ура!

— Хотя бы разочек пощекотать их штыком, да они не любят рукопашной...

Немцы между тем стремительно откатывались. Их танки, дав залп, скрылись за деревьями. Снаряды, пущенные вслепую, выковыривали болотные кочки на лугу, и разрывы их отзывались глухим эхом, словно это лопались наполненные воздухом бумажные кульки.

Станковые пулеметы молотили по стенам догоравших домов.

— Осторожно! Не высовываться!.. Не хватало только заработать от своих! — поучал их Наруг, перебегая от забора к забору. — Что-то немцев спешка одолела...

Польские танки уже ворвались в деревушку. Солдаты под защитой их брони устремились прямо по огородам, топча заботливо ухоженные грядки, на которых кудрявился молодой салат. Залевскому настолько хотелось пить, что он на бегу вырвал зеленый побег, отряхнул землю с корней и принялся жевать его, чувствуя, как кислая от порохового дыма слюна заполнила рот.

Немцы спешили оторваться от танков, принявших на себя основной удар: им приходилось прикрывать пехоту. Один из танков попытался преградить путь атакующим. Скрытый за разрушенным домом, он выезжал, стрелял и тут же подавался назад. Эта игра в прятки продолжалась бы значительно дольше, если бы наперерез ему через сады не двинулся польский танк, который ударил по нему с такой силой, что у того башню своротило набок.

Деревня пылала, столбы огня вставали над крышами, пламя перебрасывалось на ближние деревья, потрескивали листья, свертываясь от жары.

— Бачох! — заорал обрадованный Залевский. — Ты жив!

— Михал! А мы уже оплакивали тебя, — сжимал в объятиях пропавшего друга Наруг.

— Посмотрите, — показал Бачох рукой на трупы расстрелянных пленников. Он стоял, понурившись, в шинели, с ранцем за плечами, держа в руке «позаимствованный» у мертвого немца автомат. — Я ничем не мог им помочь... Я бы открыл огонь. Но дом рухнул. Оружие осталось под обломками. Их расстреляли на моих глазах...

Только теперь, оказавшись среди своих, он дал волю слезам. Слезы текли по щекам, оставляя отчетливые следы на его грязном лице.

Из-за домов двое пехотинцев гнали толпу немцев. Они безропотно бежали, с поднятыми вверх руками, мечтая оказаться подальше от фронта и от своих, которые после последнего призыва фюрера считали, что нет такого положения, в каком солдат имел бы право сдаться в плен. Воззвания на стенах домов требовали: «Сражаться, хотя бы тебе суждено было погибнуть. Для чего жизнь, если Германия не одержит победу!»

Бачох вскинул автомат, но Войтек успел ударить по стволу.

— Ты что, стрелять в пленного? — проворчал он с упреком.

— А они могли наших... раненых... — бормотал, как в лихорадке, Бачох.

— Вон там у тебя немцы, — показал капрал рукой на запад. — Они еще воюют... По ним и стреляй!

Уязвленный Михал склонился над убитыми. Залевский присел на корточках возле Острейко и мягким движением руки прикрыл ему веки.

— Ведь мы не оставим их так? — спросил Михал. — Надо похоронить их по-человечески.

— Этим займутся другие. — Капрал стряхнул комки штукатурки, застрявшие в волосах друга, и протянул ему каску, лежавшую около мертвых. — Пошли!

За спиной у них разорвался снаряд. Немецкая артиллерия открыла беспокоящий огонь, но у немцев не хватало наблюдателей.

Наступление продолжалось. Разведрота присоединилась к какому-то батальону и упорно продолжала наступать.

Немцы откатывались, потеряв надежду сдержать атакующих, их не сдержали ни широко разлившаяся Одра, ни глубоко эшелонированная линия обороны с минными полями и проволочными заграждениями.

Они преодолевали второй вал за руслом Старого канала. Капитан Поляк обернулся, окинул взглядом эту сырую равнину, которую они только что прошли. Он увидел высокий берег, где еще сегодня утром они сидели в окопах, увидел порозовевшую в заходящих лучах солнца реку. Саперы трудились у понтонного моста, по которому катили грузовики с орудиями на прицепах. Артдивизионы меняли свои позиции. Нескончаем был поток бегущей пехоты, устремленной вперед — рота за ротой, батальон за батальоном.

Высоко в небе над дымом горящих деревень кружили советские истребители, не подпуская к переправе немецких пикировщиков. Капитан почувствовал огромное облегчение. Операция удалась: прорыв час от часу ширится.

Он видел поручика Качмарека, который указывал отделениям, в каком направлении двигаться, увидел приземистую фигуру капрала Наруга и грузного сержанта Валясека, который нес на плече трофейный ручной пулемет.

И в этот момент пронесся артеллерийский снаряд. Он разорвался довольно далеко, только один осколок отлетел в сторону и вонзился в грудь капитана. Тот еще силился что-то крикнуть, но хлынувшая горлом

кровь наполнила рот и оборвала крик. Он попытался поднять руку, чтобы отереть губы, но не мог высвободить ее из складок плащ-палатки и скатился вниз по травянистому склону.

Солдат, который вел его лошадь под уздцы, подбежал к командиру:

— Осторожнее, пан капитан!

Он помогал ему подняться, думая, что капитан поскользнулся. Но тело офицера тяжело повисло у него на руках, и солдат опустил его на траву, потрясенный, не снимая, как и когда это произошло...

Разведрота сгрудилась у дороги. Солдаты ждали, когда наступит минута прощания с павшими товарищами. Пользуясь коротким отдыхом, они лежали на траве. Вспоминали обширнейшие познания Острейко в рыбацком деле, потому что он был завзятым рыбаком и в любом водоеме на каждом привале обязательно хотел попытать счастья. В этом отношении он был прямо-таки неутомим.

Говорили они о капитане, который хотя и носил фамилию Поляк, был русским. С неохотой согласился он служить в польской армии. Ведь его откомандировали к ним из гвардейской части. Но когда он попризывк, то прикипел к полякам всем сердцем, потому что когда солдаты бьются против общего врага, они становятся друг другу ближе, чем родные братья.

Заскрипели повозки. Ездовые, ссутулившись, сидели на козлах.

— Везут, — пронесся шепот.

— Да, это наши...

Ездовой натянул поводья, он понял: здесь хотят проститься с погибшими.

— Куда их везут? — спросил кто-то. — Может, лучше, чтобы мы сами их тут...

— За Одру. На польскую сторону. Они останутся там, и капитан вместе с ними. Его похоронят в польском мундире.

Солдаты сдергивали конфедератки, некоторые торопливо крестились, бормоча: «Вечная память...»

— Ну, езжайте, — тяжело вздохнул поручик Качмарек.

— Да, хороший был человек. Жалко его. — Багинский задумался: — А может, и ему следовало бы поставить крест?

Они построились в колонну и неторопливо потянулись по шоссе, четверка за четверкой, постепенно входя в ритм долгого перехода и подчиняясь мерному позвякиванию боевого снаряжения.

— Жалко человека, — пробормотал капрал Наруг. — Что за нелепая смерть! Словно бы курносая вдруг вспомнила про него и — раз-два, прикончила своей косой.

Он поднял голову и увидел большой, только что поставленный указатель: Берлин — 38 километров...

— Он был совсем близко от Берлина!

Все внимательно вглядывались в этот щит, который как бы возвещал им близкую победу.

Со стороны переправы шли «студебеккеры» с орудиями на прицепах; березки, привязанные к орудийным стволам, заметая шоссе, поднимали клубы пыли.

— Направо, посторонись! — раздалась сзади команда.

— Направо, посторонись! — басом повторил сержант Валясек, и рота тотчас же сдвинулась на самый край шоссе.

Они шли на запад, где багрянец заходящего солнца превращался в яркое зарево. Это пылал под бомбовыми ударами Берлин.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Эрнест Брыль — поэт, прозаик, драматург. Родился в 1935 году в Варшаве. Окончил филологический факультет Варшавского университета и Школу кино при Институте искусств. В 1958 году выпустил первый поэтический сборник «Сочельник безумца». Э. Брыль — автор сборников стихов: «Автопортрет с быком» (1960), «Лицо в тени» (1963), «Прикладное искусство» (1966), «Мазовия» (1967), «Раковина» (1968), «Фрашка на добрый день» (1969), «Избранные стихи» (1970), повестей: «Этюд» (1963), «Тетка» (1964), «Отец» (1964), «Можжевательник» (1965), сборников рассказов: «Горько, горько» (1965), «Второй воскресный автобус» (1969), драм: «Ноябрьское дело» (1968), «Курдеш» (1969), «По горам, по облакам» (1969), «Нарисовано на стекле» (1970), «Кто ты?» (1971), «Криком зову тебя» (1972).

В 1965 году за повести «Отец» и «Тетка» Э. Брыль был удостоен премии министерства культуры и искусства ПНР.

На русский язык переводились стихи и рассказы Э. Брылля. Повесть «Тетка» публикуется впервые.

Ежи Стефан Ставинский — прозаик, автор киносценариев, режиссер. Родился в 1921 году в Закренте под Варшавой. Окончил юридический факультет Варшавского университета. В сентябре 1939 года участвовал в боях с гитлеровцами, в годы оккупации Польши был в рядах подпольной Армии Крайовой, участвовал в Варшавском восстании 1944 года, был узником гитлеровских лагерей. Е. С. Ставинский — автор романов и повестей: «Свет

во мгле» (1952), «Геркулесы» (1953), «Катерина» (1955), «В погоне за Адамом» (1963), «Пингвин» (1965), «Час пик» (1968), «Не заходя в порты» (1970), «Воспоминания о трех морях и одном океане» (1973), нескольких сборников рассказов.

По повестям, новеллам и сценариям Ставинского сняты кинофильмы: «Канал», «Любовь в 20 лет» (режиссер Анджей Вайда), «Человек на рельсах», «Егоїса» и «Шесть превращений Яна Пищика» (режиссер Анджей Мунк), «Покушение» (режиссер Ежи Пассендорфер), «В погоне за Адамом» (режиссер Ежи Жажицкий) и др. Ставинский поставил фильмы «Разводов не будет», «Пингвин», «Предпраздничный вечер» и др. Повести «Пингвин», «В погоне за Адамом» и «Час пик» издавались на русском языке.

Корнель Филипович — прозаик. Лауреат премии министерства культуры и искусства, а также ряда других литературных премий. Родился в 1913 году в Тарнополе. Изучал биологию в Ягеллонском университете в Кракове. Дебютировал как публицист в 1936 году в левом журнале «Наш выраз». В сентябре 1939 года сражался с гитлеровцами, входил в подпольную коммунистическую группу «Народная Польша», с 1944 года и до конца войны был узником концлагерей Гросс-Розен и Ораниенбург. К. Филиповичу принадлежат романы: «Луна над Нидой» (1950), «Голубая тетрадь» (1955), «Беспокойство юного сердца» (1955), сборники рассказов: «Невозмутимый пейзаж» (1947), «Профили моих друзей» (1954), «После бури» (1956), «Тьма и свет» (1959), «Белая птица» (1960), «Мой друг и рыбы» (1963), «Девочка с куклой, или О необходимости грусти и одиночества» (1968), «Что есть в человеке?» (1971), микророманы (издавались на русском языке): «Провинциальный роман» (1960), «Дневник антигероя» (1961), «Пленный и девушка» (1964), «Сад господина Ничке» (1965), «Мужчина — это ребенок» (1967).

Станислав Дыгат — прозаик, фельетонист, автор киносценариев. Родился в 1914 году в Варшаве. Учился на архитектурном факультете Варшавского политехнического института, а затем на философском в Варшавском университете. С. Дыгат — автор романов: «Боденское озеро» (1946), «Прощание» (1948, переведен на русский язык), «Путешествие» (1958, переведен на русский язык), повестей: «Диснейленд» (1965), «Вокзал в Мюнхене» (1973), сборников рассказов, сатирических фельетонов, юморесок: «Ели-

сейские поля» (1949), «Весна и медведи» (1953), «Ненастные вечера» (1957), «Розовая тетрадка» (1958), «Размышления во время бритья» (1959).

Повесть «Диснейленд» издавалась на русском языке.

Войцех Жукровский — прозаик, публицист, автор книг для детей. Лауреат Государственной премии, а также ряда других литературных премий. Родился в 1916 году в Кракове. Окончил филологический факультет Вроцлавского университета. Сражался с гитлеровцами в сентябре 1939 года, в годы оккупации работал в каменоломне, был в партизанском отряде. После освобождения Польши был офицером Войска Польского. Начал писать в 1934 году. В. Жукровский — автор романов: «Дни поражения» (1952, издан на русском языке), «Крошки свадебного торта» (1958), «Крещенные огнем» (1961, издан на русском языке), «Каменные скрижали» (1966), повестей: «Направление — Берлин» (1970) и «Последние дни» (1970), книг для детей: «Похищение в Тютюрлистане» (1946, издана на русском языке), «Солнечное лето» (1952), «Мой друг слон» (1957) и др., репортажей о Вьетнаме «Дом без стен» (1954), очерков о Лаосе «В королевстве миллиона слонов» (1961, переведены на русский язык), сборников рассказов: «В стране молчания» (1946), «Перышком фламинго, или Коварные рассказы» (1947), «Странствия с моим Гуру» (1960, издан на русском языке), «Несмелый жених» (1964), «Рассказы с Дальнего Востока» (1965), «Счастливчик» (1967), «Ночи Ариадны» (1968); литературных фельетонов «Карамболи» (1973) и др.

По повести «Направление — Берлин» режиссером Е. Пассендорфером был поставлен одноименный фильм. На русском языке повесть публикуется впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ ВТОРОЙ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЬСКИЕ ПОВЕСТИ

Эрнест Брыль. Тетка. <i>Перевод С. Тонконоговой</i>	7
Ежи Ставинский. Пингвин. <i>Перевод З. Шаталовой</i>	102
Корнель Филипович. Сад господина Ничке. <i>Перевод В. Бори- сова</i>	181
Станислав Дыгат. Диснейленд. <i>Перевод С. Ларина</i>	281
Войцех Жукровский. Направление — Берлин. <i>Перевод С. Ла- рина</i>	470
Коротко об авторах	562

С 56

Современные польские повести.

Т. 2. Пер. с польск. Составители В. Борисов и В. Хорев. Справки об авторах В. Хорева. Худ. В. Медведев. М., «Худож. лит.», 1974.

568 с. (Б-ка польской литературы).

В настоящий том вошли наиболее известные повести современных польских писателей. В них на материале современности и военных лет ставятся этические проблемы, рассказывается о молодежи, о трудном процессе преобразования польской деревни, о братстве польского и советского оружия в годы войны.

С $\frac{70304-166}{028(01)-74}$ 152—74

И (Пол)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛЬСКИЕ ПОВЕСТИ

ТОМ II

✱

Редактор

Н. Подольская

Художественный редактор

Г. Маслаченко

Технический редактор

С. Журбицкий

Корректоры

М. Пастер и И. Тереховская

Сдано в набор 10/XII 1973 г. Подписано
в печать 8/IV 1974 г. Бум. типогр. № 1.
Формат 84×108/32. 17,75 печ. л. 20,43 уч.-
изд. л. 29,82 усл. печ. л. Тир. 50 000 экз.
Заказ 002. Цена 1 р. 90 к.

Издательство

«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2 имени
Евгении Соколовой Союзполиграф-
прома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной
торговли. 198052, Ленинград, Л-52,
Измайловский проспект, 29